

14

Владимир Карпов

Владимир
Карпов

*Избранные
труды*

1



Владимир
Карпов
*Избранные
произведения*
В ТРЕХ ТОМАХ

Владимир Карпов

*Избранные
произведения*

В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1990

Владимир Карпов

*Избранные
произведения*

ТОМ ПЕРВЫЙ

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ!

Роман

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ

Повесть

РАССКАЗЫ

О ВОЙНЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1990

ББК 84Р7
К26

Послесловие И. БАГРАМЯНА

Оформление художника Ю. БАЖАНОВА

К $\frac{4702010201-193}{028(01)-90}$ 37-90

ISBN 5-280-01058-8 (Т. 1) © Оформление. Издательство
ISBN 5-280-01059-6 «Художественная литература»,
1990 г.

О РАБОТЕ И ЖИЗНИ

Когда Паустовского попросили написать предисловие к его собранию сочинений, он удивился. Принято, чтобы предисловие или слово об авторе писал кто-то другой, обычно критик или литературовед. Но Константина Георгиевича убедили, что писатель знает себя лучше, чем критики. Он согласился, но начал «Вместо предисловия» с нескольких оговорок, которые завершил такими словами: «Поэтому я выскажу лишь некоторые соображения относительно своего творчества и вкратце передам свою биографию».

Я испытал те же сомнения, когда мне предложили написать предисловие к моему «Избранному». Паустовский был моим учителем в Литературном институте, и поэтому я, следуя его примеру, тоже коротко напишу о своей работе и жизни.

Некоторые, дожив до старости, восклицают: где мои семнадцать лет! Или говорят: если бы пришлось прожить жизнь заново, все повторил бы сначала!

О себе сказать так не могу. Я бы не хотел пройти через все пережитое — много в нем было тяжелого, опасного и невеселого. Через такое проходят только раз. Если бы это повторилось, мне едва ли удалось бы проскочить во второй раз. Пожалуй, страшна даже не смерть, которая подстерегала меня многожды, более опасным кажется внутреннее, психологическое испытание — сумею ли я еще раз выстоять, не сломаться? Многие друзья, близкие мне люди, хорошо знающие мою жизнь, поражались не столько тому, что я уцелел, но еще в большей степени что я остался нормальным человеком, не озлобился. Некоторые говорят, что у меня железные нервы. Может быть, и это имеет место. Но, на мой взгляд, одних нервов, как бы они ни были прочны, недостаточно. И нервами управляет все же рассудок, или, более точно, — убеждения, вера, мировоззрение.

Однако и это еще не все, потому что жизнь начала ломать, когда никаких убеждений у меня не было,

являл я собой сосуд незаполненный, на жизнь глядел широко открытыми, любопытствующими глазами. Этот интерес к жизни был опорой, позволившей мне выстоять в самых критических ситуациях.

Отец мой Василий Михайлович Карпов хватил лиха в годы первой мировой войны, был на фронте, а по возвращении включился в революционные события, которые охватили тогда все города России,— служил в Красногвардейском рабочем Оренбургском полку, воевал против частей Дутова. Мать моя Лидия Логиновна родилась в семье нотариуса, получила хорошее образование, окончила гимназию, знала французский и немецкий языки. В голодные годы после войны в поисках работы и хлеба переехала из Петербурга в Оренбург. Здесь она поселилась в доме Карповых, которые сдавали несколько комнат жильцам. В эти-то дни она и увидела Василия Карпова, который иногда приходил навестить своих родителей. Он был стройный, кудрявый чуб выбивался из-под фуражки с красной звездой, а на боку висела большая шашка с медным эфесом. Как признавалась позднее мать, хозяйский сын ей очень понравился. Заметил и красногвардеец красивую соседку. Вскоре они стали мужем и женой. И вот 28 июля 1922 года родилось чадо, единственное за их последующую долгую жизнь. Женитьбу почему-то не очень одобряли родственники. Желая избавиться от косых взглядов родичей, да и в поисках средств к существованию, молодожены в 1928 году отправились в Ташкент, который в те годы слыл городом хлебным.

В Ташкенте мы жили в старом городе, в узбекской махалле, друзьями моими были ребята-узбеки, и я в эти годы больше говорил, пожалуй, на узбекском, чем на русском. Учились мы в одной школе, в которой были и русские, и узбекские классы, поэтому я говорю на узбекском и хорошо знаю все махаллинские обычаи и законы. Жили мы в районе Шайхан-Тайура, Катор-Терак, Кор-Егды, Джар-Куча.

Учился я в школе им. Чапаева (на Хадыре), а с шестого класса в школе № 61 на Паркентской улице (ныне она носит имя генерала Петрова). В школе № 61 учились дети командиров, тогда еще не были введены офицерские звания. Там я познакомился с Юрой Петровым, сыном начальника военного училища, а позже и с самим Иваном Ефимовичем, в доме которого стал часто бывать. И училище, и особенно комбриг Иван

Ефимович Петров сыграли в моей жизни огромную роль, о чем я рассказал в своей повести «Полководец».

Любовь к литературе, тяга к писательству появились у меня в четвертом классе, и я начал писать стихи. Меня подбадривала учительница по литературе, подсказывала, как писать стихи. Но все же главным, кто приобщил меня к этому священному делу, я считаю Григория Цуркина, одного из сыновей тех Цуркиных, которые когда-то приютили моего деда-подкидыша. Поколения Карповых и Цуркиных продолжали дружить и считались родственниками. В тридцатые голодные годы приехали в Ташкент, тоже в поисках более сытой жизни, и Цуркины, младшим из которых был двадцатилетний Григорий. Он писал стихи, очень хорошо рисовал, особенно карикатуры. Гриша часто беседовал со мной и, узнав о моем увлечении, читал мне свои стихи, помогал овладеть техникой стихосложения, советовал, какие читать книги. Помог он мне выписать «Литературную учебу», созданную в свое время Горьким; в предвоенные годы это был очень интересный журнал. У меня по сей день сохранились годовые комплекты «Литературной учебы», которую я тогда часто перечитывал.

В эти же годы я начал заниматься боксом.

Не знаю почему, но бокс у меня всегда вызывал сладостное замирание сердца. Я вырезал из газет и журналов снимки боксеров. Увидев афишу о соревновании по боксу, спешил туда. И, забыв все, с трепетом наблюдал за боями. Боксеры были для меня людьми необыкновенными. Постоять рядом с боксером, послушать, о чем он говорит, было наслаждением. Потом я, конечно же, врал ребятам, что боксер именно около меня остановился и со мной разговаривал. Я прочитал о боксерах все, что находил. «Мексиканец» Джека Лондона был моим любимым рассказом.

В 1936 году созданный в Ташкенте Дворец пионеров пригласил меня заниматься боксом. Тренировался я у замечательного человека, чемпиона Соединенных Штатов Америки Сиднея Луи Джаксона.

Биография этого человека необычна и удивительна. Сидней Львович стал моим наставником в юпошеские годы и другом в более старшем возрасте.

Тренер «Спартака», к которому я перешел, выйдя из пионерского возраста, Бабкен Аракелян, тоже мудрый, знающий тренер и прекрасный боксер, помог мне

отшлифовать все, что заложил в меня Сидней Джаксон. Благодаря таким наставникам я позднее одержал немало побед на соревнованиях довольно высокого уровня.

Однажды в доме Юры Петрова у меня произошел с Иваном Ефимовичем Петровым очень важный в моей жизни разговор. Иван Ефимович сказал:

— Володя, ты здоровый парень, боксер, из тебя получился бы хороший командир.

Мне нравились сильные, загорелые, веселые курсанты и особенно командиры военного училища, я втайне мечтал быть на них похожим. И вдруг Иван Ефимович указывает мне на такой простой и очень реальный путь. Я спросил с некоторым сомнением:

— А примут ли меня, мне ведь еще не исполнилось восемнадцати?

Иван Ефимович посмотрел на меня с улыбкой и сказал:

— Вон какой ты здоровый, иные восемнадцатилетние послабее тебя. К тому же я начальник училища, этот вопрос решать буду я.

Вот так в 1939 году повернула моя жизнь на военную стезю.

В 1940 году я стал чемпионом Средне-Азиатского военного округа, а через несколько месяцев, будучи членом сборной Узбекистана по боксу, выиграл в Ташкентском цирке звание чемпиона Средней Азии по боксу в среднем весе.

1941 год был для курсантов — моих однокашников — выпускным. Мы готовились к экзаменам, международная обстановка была напряженной, все говорили о неминуемой войне. Ну, а мы, молодые командиры, конечно же, готовились к боям усиленно и добросовестно. Нам уже сшили форму, для того чтобы мы могли ее надеть сразу после объявления приказа о присвоении звания лейтенанта. Это была замечательная форма: габардиновые темно-зеленые гимнастерки, малиновые петлицы на воротнике, окаймленные золотым галуном, и два рубиновых кубика, малиновые шевроны, отороченные тоже золотым галуном на рукавах, хрустящие ремни с латунными пряжками, с большой звездой на середине,— в общем, форма эта была желанная, любимая, прекрасная. Я примерил ее и, как и другие сокурсники, не мог налюбоваться на себя в зеркале. Но до выпуска эта форма хранилась на складе.

Крутой поворот произошел в жизни всех советских людей: началась Великая Отечественная война. Но в моей судьбе поворот произошел несколько раньше.

Начать придется с того, что я не знал о грянувшей войне. В наши дни может показаться странным — как такое потрясшее весь мир событие могло пройти мимо какого-нибудь человека? И все же это так. Я не знал о пачавшейся войне ни 22 июня 1941, ни через неделю, ни через месяц...

В те дни я сидел в одиночной камере. Двери тюрьмы захлопнулись за мной в феврале сорок первого года. С той минуты я остался один, отрезанный от мира. Тюрьма подземная. В моей камере окна не было, только под потолком окованная решеткой дыра диаметром с водосточную трубу — отдушина, чтобы арестованный не задохся.

За что я угодил в это подземелье? В те годы попасть в тюрьму было очень просто. Достаточно было сказать... Впрочем, это не тема моих воспоминаний. То было страшное и непонятное время, о нем написано много, и теперь всем хорошо известно, как ни за что хватали и уничтожали людей. Не берусь делать каких-либо обобщений. Скажу лишь о себе.

Меня арестовали незадолго до выпуска.

Однажды, готовясь к семинару, я читал брошюру о работе Ленина «Что делать?». Не хочу сейчас извлекать из всего случившегося какой-либо политический «багаж». Поэтому сразу предупреждаю: сознательным борцом против культа личности Сталина я не был. Просто очень любил Ленина, и меня корбило оттого, что о Ленине вспоминали все реже и реже. Даже в тех случаях, когда все было сделано Лениным, почему-то обязательно прилеплялось имя Сталина.

Вот и в тот вечер, читая брошюру, я подчеркнул в ней красным карандашом имя Ленина — оно упоминалось 60 раз, а синим карандашом — Сталина, о нем говорилось 80 раз. Затем сказал соседу, такому же курсанту, как я (он сидел за этим же столом):

— Черт знает что! Когда Ленин писал «Что делать?», он даже не знал, что на свете существует Сталин. Они встретились гораздо позже! Ну почему нужно заслонять Ленина Сталиным? Зачем ему приписывать то, чего он не делал?

Я показал соседу свои подсчеты в брошюре. Этого было достаточно. Меня арестовали. В 19 лет я стал

«врагом народа». Первый вопрос, который мне задали на допросе, звучал так:

— Кто вам давал задание компрометировать вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина?

Серьезная формулировка для тех дней! И попробуйте на этот вопрос ответить!

Однако вернемся к воспоминаниям о войне. Через несколько месяцев меня перевели в общую камеру. Естественно, я стал спрашивать, какие новости на воле. Мой собеседник, пожилой, исхудавший человек, печально сказал:

— Дела плохи, наши войска оставили Киев.

В полной уверенности, что со мной говорит сумасшедший, я отошел от этого человека подальше. Затем я заговорил с другим, третьим. Я стал замечать, что теперь уже от меня люди отходят с опаской. Они меня принимали за помешанного. И не напрасно — может ли быть человек нормальным, если у него в сознании провал, если он ничего не знает о войне, которая полыхает над страной уже несколько месяцев?

Так я впервые услышал о войне. Дальнейшее развивалось по обычной для тех времен схеме. Чтоб не погибнуть в подземелье и выйти под небосвод, я «признал вину». Несправедливый суд. Пересыльный пункт. Обледеневшие товарные вагоны. Долгий путь на север. Лагеря.

Я опускаю всю свою тюремно-лагерную эпопею, хотя должен прямо сказать, ее хватило бы на интересную и большую книгу, не знаю, будет ли она когда-нибудь написана, и поэтому предоставляю читателям самим понять, как было сложно и драматично в те тяжелые годы.

В конце 1942 года одно из моих писем все же дошло до Михаила Ивановича Калинина. Я просил только об одном: отправьте на фронт, я военный человек, а Родина моя в опасности.

Меня освободили из лагеря с оговоркой: «Досиживать оставшийся срок после окончания войны, если во время боев не оправдает себя отважными действиями».

В ноябре 1942 года в составе штрафной роты я прибыл на Калининский фронт.

Как-то в ожидании наступления мы несколько дней находились в траншее на переднем крае. В одну из ночей я стоял часовым. Было очень холодно. Ледяная поэмка хлестала в мое лицо, которое было на уровне

поверхности земли, потому что я ходил по дну окопа. Снег заметал окоп, и я время от времени выбрасывал его на бруствер лопатой. Наш взвод отдыхал в блиндаже, дверью в который служила навешенная плащ-палатка. Я ходил из стороны в сторону мимо плащ-палатки и предвкушал: скоро выйдет смена, и я заберусь в теплую тьму блиндажа, втиснусь между горячих тел товарищей, пригреюсь и засну.

Вдруг мне показалось, что сугробы перед траншеей шевелятся. Прикрыв ладонями глаза от летящей поземки, стал всматриваться в мрак. В клубящемся на ветру снегу я увидел плотные белые бугорки, которые медленно подбирались к нашему окопу.

Я бросился к пулемету, зарядил его и хотел дать очередь по крадущимся немцам. Сердце от волнения стучало очень гулко, руки дрожали. Целясь в гитлеровцев, я обнаружил, что их не так уж много — небольшая группа, человек пятнадцать. Поняв, что это не общее наступление, а всего лишь разведка, решил не стрелять и подготовить фашистам сюрприз. Быстро подбежал к входу в блиндаж, разбудил товарищей. Коротко объяснил, в чем дело, и предложил:

— Давайте переловим их живыми!

Народ в штрафной роте отчаянный. Мое предложение было принято без долгих рассуждений. Ребята, пригибаясь, разошлись по траншее, приготовили оружие и сидели, не поднимая голов над бруствером. А я, чтобы не насторожить фашистов, продолжал торчать из окопа один. Когда немцы сделали последний рывок и кинулись к нашим позициям, я дал длинную очередь из «максима», а другие товарищи забросали их гранатами. Белые фигурки закувыркались по снегу. Кто-то завопил, объятый ужасом. Уцелевшие разведчики кинулись наутек. Охваченный спортивным азартом, я выпрыгнул из траншеи и крикнул:

— Лови их, ребята! Бери живьем!

Проваливаясь в глубокий снег, я быстрыми скачками догнал одного из фрицев и схватил за шиворот. Он задыхался от перенапряжения после бега. Без труда я его обезоружил, вывернул руку за спину и поволок в свою траншею. Двух других притащили солдаты нашего взвода.

О ночной стычке было доложено командованию. Пленные подтвердили — все происходило именно так. Начальники стали выявлять отличившихся. В числе

других чаще упоминалась фамилия красноармейца-пулеметчика Карпова — он обнаружил, он придумал захватить, он организовал и так далее. Меня и еще троих отличившихся штрафников за проявленную отвагу освободили из штрафной роты.

Итак, я стал рядовым разведчиком взвода пешей разведки 629-го стрелкового полка. Это самая маленькая должность в сложной и опасной разведывательной службе.

Неудобно говорить о себе, но сказать об одном качестве надо — оно объясняет то, почему я остался жив, побывав в многочисленных опасных вылазках в стан врага.

Боксер — это человек, не только умеющий хорошо пользоваться кулаками, но и привыкший быстро мыслить. На тренировках и в поединках на рингах я был приучен думать быстро. Сохраняя хладнокровие под градом ударов, я в десятые доли секунды рассчитывал, как отбить летящий в меня кулак противника и как самому при этом нанести удар. Вот эти десятые доли секунды, на которые я опережал в мышлении и во время войны врагов в критических, экстремальных ситуациях, были моим постоянным преимуществом, которое помогало выполнять задания и оставаться в живых.

И еще одно обстоятельство, которое заставляло меня действовать активнее моих боевых товарищей. Я понимал, если случится чудо и я вернусь домой живым, мне после войны с клеймом бывшего «врага народа» существовать будет непросто. Примут ли меня в институт? Возьмут ли на хорошую работу? И вообще, что я буду делать? Ведь профессии у меня никакой нет. Размышляя обо всем этом, я решил для себя так: если я на войне проявлю себя смелым, то могу заслужить орден. А с орденом мне будет легче! До войны я видел: орденосец — уважаемый человек, ему все дороги открыты.

Получив медаль «За отвагу», а затем орден Красной Звезды, я уже мечтал о третьей награде. Был я тогда молод и горяч — в 1942 году исполнилось мне всего двадцать лет. Очень хотелось вернуться в Ташкент с гордо поднятой головой, снять с себя и родителей незаслуженную тень, брошенную на нашу семью моей судимостью, вот я и лазил с разведчиками, как говорится, не щадя живота своего. Это не оставалось незамеченным. Мне присвоили звание сержанта, и я стал командиром отделения. Затем — младшего

лейтенанта, лейтепанта. Я уже командовал взводом разведки. Командир полка Картунов ценил меня, ибо наш полк никогда без «языков» не сидел. О наших делах шла добрая слава на Калининском фронте. Обычно разведчиков, как и летчиков, представляли к званию Героя Советского Союза не только за отдельный выдающийся подвиг, но и за суммарные боевые дела. Были такие неписанные законы, вроде даже правила — летчика представляли за сбитые 20—25 самолетов врага, а разведчика — за приведенных 15—20 «языков». Настал день, когда на моем счету было участие в захвате уже 45 «языков». Подполковник Картунов позже объяснил мне, что, учитывая темное пятно в моей биографии, он не представлял меня к высшей награде, когда на моем счету было 20 «языков», ждал, чтобы количество их было такое, когда не смогут отказать в присвоении мне звания Героя. И вот меня представили к этому званию, ходатайство пошло «наверх».

Время шло, я продолжал ходить на задания, а ответа «сверху» все не было. Вдруг меня вызывают к командиру полка. Пришел к Картунову. Он сидел мрачный, на меня глаз не поднял. В чем, думаю, дело? Вроде бы я ничем не провинился. Алексей Кириллович был чуткий и совестливый человек, то, что произошло, видно, обескуражило его настолько, что он испытывал передо мной (перед подчиненным!) неловкость. Он коротко сказал:

— Вот, почитай,— и повернул ко мне бумаги, которые лежали на столе.

Я прочитал заголовок: «Наградной лист». Ниже шла моя фамилия, биографические данные и описание тех дел, за которые меня представляли к званию Героя Советского Союза. Но как бы зачеркивая все это, наискосок наградного листа бежали крупные красные буквы кем-то написанной резолюции. В этих буквах, еще до того, как я понял их смысл, даже внешне виделось раздражение того, кто их писал: «Вы думаете, кого представляете?!» Подпись была неразборчивая, но какая-то жирная и сердитая, будто вся состояла из восклицательных знаков.

Картунов как-то тихо, по-домашнему, неофициально сказал:

— Ну ничего, Володя, не огорчайся! Правда на земле все же есть...

Командир впервые назвал меня по имени. И от этого у меня на душе стало теплее.

Вскоре, дней через десять — пятнадцать после беседы с Картуновым, меня опять вызвали в штаб. Вошел в блиндаж командира, вскинул руку к головному убору, хотел доложить о прибытии, а подполковник Картунов делает глазами знак — в сторону показывает и говорит мне негромко:

— Член военного совета Тридцать девятой армии генерал-майор Бойко.

Генерал с сияющей на груди Золотой Звездой Героя Советского Союза пожал мне руку, стал откровенно разглядывать. И все улыбался какой-то располагающей улыбкой.

— Наслышан о вас, товарищ Карпов, наслышан... Но все по бумагам, по телефонам. Вот смотрел оборону полка, решил и с вами познакомиться. Душно в блиндаже, пойдемте на воздух, погуляем, — неожиданно предложил мне генерал.

Спустились в лощину. Сюда не могла залететь шальная пуля, и осколки снаряда пронесутся выше головы, если он шлепнется неподалеку.

— Я ознакомился с вашим личным делом, но хотел бы от вас услышать короткий рассказ о себе, — сказал генерал.

Мы медленно шли по мягкой траве, и я рассказывал о том, как до войны учился в школе, а затем в Ташкентском военном училище имени Ленина, какой замечательный, любимый всеми курсантами был у нас начальник — генерал Петров.

Бойко вдруг сказал:

— Вы не думали о том, что пора вам вступать в партию?

— Вы это мне говорите? Но вы же знаете: я был в штрафной роте, — выпалил я.

— Это все в прошлом. Суть человека — в его делах, в том, каков он сегодня, сейчас, здесь, в боях. Вы — отличный разведчик, много раз доказали свою верность и преданность. Командование вам доверяет.

— Я бы с радостью подал заявление! — торопливо отвечаю. — Но вот сомневаюсь: дадут ли рекомендации, примут ли меня?

— А вы не сомневайтесь. Боевые товарищи знают вас хорошо. На фронте человек как на ладони...

В партию меня приняли в том же 1943 году, и я понимал — не без поддержки генерала Бойко и подполковника Картунова. Василий Романович, на мой

взгляд, не просто добрый, а смелый, принципиальный партийный работник. Зачем рекомендовать меня в партию, совсем постороннего для него, с «темным прошлым» человека? Тем более в те времена. Спокойно мог жить и без такого риска. Но в том-то и дело, что Бойко — настоящий коммунист-ленинец, который поступил так, как велела ему партийная совесть.

Василий Романович стал для меня как бы крестным отцом, и я никогда в жизни не забывал и не забуду этого. Бойко сейчас живет в Москве, теперь он генерал-лейтенант в отставке. В книге, которая издана в 1982 году и называется «С думой о Родине», Василий Романович вспомнил и меня добрым словом:

«Замечательными боевыми делами прославил себя командир взвода разведки 629-го полка 134-й стрелковой дивизии лейтенант В. В. Карпов.

За время наступательных боев в августе и сентябре на территории Духовщинского района Карпов неоднократно проявлял личное героичество и отвагу. Со своими разведчиками он десятки раз проходил через линию обороны противника в его тылы. Случалось и так, что ему по ходу создавшейся обстановки приходилось оказываться в самом пекле боя.

В ночь на 19 августа Карпов с группой разведчиков проник в расположение противника, который готовился к контратаке против наших войск. Рискуя жизнью, вызвал на себя артогонь, корректировал стрельбу, благодаря чему было уничтожено более сотни гитлеровцев, сожжены танк и самоходная пушка. Карпов получил ранение, но продолжал вести неравный бой. Контратака врага была сорвана.

15 сентября группа бойцов во главе с Карповым перешла линию фронта и решительным ударом с фланга уничтожила около 30 фашистов, захватила их опорный пункт. На следующий день разведчики под командованием Карпова, действуя опять в обход с фланга, ворвались в деревню Ефремово и вместе с подошедшими подразделениями полка разгромили оборонявшихся здесь гитлеровцев, захватили 11 пленных.

Во время отражения контратаки гитлеровцев в районе населенного пункта Василево командир полка подполковник Картунов с небольшой группой бойцов оказался в опасной обстановке. Узнав об этом, Карпов вместе с разведчиками ворвался в расположение противника, уничтожил до двух десятков фашистов, спас жизнь командира полка.

Счет подвигов этого выдающегося, беспримерно храброго разведчика, удостоенного звания Героя Советского Союза, продолжился и в последующих боях».

А теперь хочу вернуться к мысли о том, что я вглядывался в жизнь любопытствующим взором, воспринимал все окружающее с точки зрения своей будущей писательской работы: я всегда, начиная с первых стихов, считал, что буду писателем. Ко всему, что бы со мной ни происходило, — к самым неожиданным и подчас экстремальным поворотам в жизни, ко всем опасностям, к труднейшим лишениям, я внутренне всегда подходил с любопытством, со своеобразной наблюдательностью и уверенностью, что эти испытания дают мне как писателю необходимый жизненный багаж, возможность накопить определенный опыт, то есть все то, что когда-нибудь «ляжет» в мои книги. Такое отношение помогало переносить лишения, помогало воспринимать их не так, как другой человек. У другого это все тяжело отразилось бы и на психике, и на нервах, и на здоровье, а я, воспринимая это очень своеобразно, обращал все себе на пользу. Я вспоминал Джека Лондона с его очень сложной биографией, многими приключениями, в конечном счете оказавшимися полезными для его писательской судьбы. Вспоминал других писателей, у которых жизнь тоже была трудной. Мне казалось, это норма, одно из необходимых условий для будущего писателя — жизнь, наполненная многими перипетиями. Где бы я ни был, даже в смертельно опасных обстоятельствах, в душе почти бессознательно отмечал: вот как все круто обернулось, и это хорошо — теперь и это прибавится к моей писательской копилке, теперь и это буду знать до тонкостей.

Разумеется, в лагерях, да и на фронте я ничего не писал — не было ни условий, ни времени, но все эти дни и годы я внутренне считал себя будущим писателем. Наверное, не трудно представить, как много накопилось у меня наблюдений жизненных ситуаций, образов, характеров, их поведения в самых сложных обстоятельствах. Невозможность писать очень укрепила мою память, она цепко держала и держит по сей день многое из того, что довелось видеть.

В июне 1944 года мне было присвоено звание Героя Советского Союза. В том же году, после тяжелого ранения, направили меня учиться в Военную академию

имени Фрунзе, которую я окончил в 1947 году. В 1948 году учился на Высших академических курсах Генерального штаба, после окончания был оставлен там же преподавателем тактики, а затем получил назначение в Генеральный штаб Советской Армии. Это было очень высокое назначение: Генеральный штаб — мозг армии, здесь решаются самые сложные военные проблемы. Работать в таком высоком органе большая честь, но и огромная ответственность и напряжение.

Еще в академии, а точнее — в госпитале во время лечения, когда появилось свободное время, я начал писать рассказы, повести. Но все, что писал, меня не удовлетворяло. В конце концов я понял очевидную для других истину, в то время до меня не доходившую: литература, как и любое другое дело, имеет свою технологию, свою теорию, свои основы, каноны, которые надо знать, иначе останешься на всю жизнь кустарем. Надо было получить специальное литературное образование или самостоятельно изучить особенности этого сложного дела. И я решил получить настоящее образование, поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, где проучился с 1948 по 1954 год. Моими творческими руководителями были — на первом курсе Константин Федин, на втором, третьем, четвертом — Константин Паустовский и на последнем, выпускном — Александр Чаковский.

К. Паустовский прививал нам чуткость к языку, к слову, вкус к краткости выражения мыслей, к точности этих мыслей, приучал мыслить оригинально, гнаться не за количеством, а за качеством написанного, работать упорно, систематически, повседневно, отдаваться своему писательскому труду с любовью и чувством высокой ответственности.

Окончив Военную академию и Литературный институт, я встал перед сложной дилеммой: кто же я в конце концов — профессиональный офицер или писатель? Выход я видел в том, чтобы поехать служить в какие-то обычные части, встречаться с людьми, о которых можно и нужно писать. С помощью генерала армии Петрова мне удалось получить назначение в родное Ташкентское высшее общевойсковое командное училище заместителем начальника по строевой. Вновь я приехал туда, где когда-то жил вместе с родителями. Работа в училище была интересная, напряженная, продолжалась она два с половиной года, после

чего я получил назначение командиром полка. Через два года был переведен командиром полка в предгорья Памира, еще через два года получил следующее назначение — в очень дальний гарнизон, в пески Каракумов. Откомандовав полками в общей сложности более шести лет, я стал заместителем командира дивизии в одном из гарнизонов в Туркестанском военном округе, а через два года был направлен начальником штаба гвардейской механизированной дивизии. В 1965 году в звании гвардии полковника, отслужив двадцать пять календарных лет в Советской Армии, уволился в запас.

В годы службы в мирные дни у меня выходили книги о современной армии и о войне. Одна из первых была «24 часа из жизни разведчика», затем — сборник повестей и рассказов «Командиры седеют рано», «Рассказы разведчика», «Портрет лейтенанта», «Маршальский жезл».

После увольнения из армии я вернулся с семьей в Ташкент, в дом родителей. Вот такая деталь из офицерской жизни: отслужив двадцать пять лет, седеющий полковник с тремя детьми и с парой чемоданов возвращается опять к отцу и к матери, чтобы его приютили.

Здесь с первых же дней я засел за роман «Вечный бой». Это роман сложный — о современной армии, о воспитательной работе, смысл его названия в том, что этот воспитательный бой длится долго и упорно, в течение многих лет, и этот вид боя завершается не потерями, не гибелью, а появлением нового человека с хорошими новыми качествами. Это бой вечный, он будет идти всегда, пока будет существовать армия.

Роман «Вечный бой» был встречен хорошо и критикой, и читателем. Особенно приятна мне высокая оценка такого требовательного и строгого к своим товарищам и к себе писателя, каким был Валентин Овечкин:

«Долго ждал я хорошего романа на темы армейской жизни в мирных условиях и наконец дождался. От души желаю этому роману большого успеха у читателей, военных и невоенных».

Кстати, мы подружились с Валентином Овечкиным, он тоже жил в те годы в Ташкенте. Встречались часто, судьба его читателям известная, это были для него нелегкие годы.

Валентин Овечкин знал и правдиво освещал сельскохозяйственную проблематику. Но я его помню еще и как талантливого военного писателя. Овечкин в годы

войны был корреспондентом. Причем корреспондентом, если можно так сказать, низовым, который служил в боевых частях, он вел свои репортажи прямо с поля боя. Его работы военных лет малоизвестны, даже в личном архиве не сохранились, он их не собирал и не придавал им значения. Понимая ценность всего, что написал Овечкин на эту тему, я собрал что было можно из творчества военных лет и составил сборник, который называется «С фронтовым приветом». Он вышел в Военном издательстве. Получилась довольно объемистая книжка из корреспонденций, где каждое слово, каждая фраза взвешены и написаны известным всем нам овечкинским языком.

После увольнения в запас времени появилось много, но самые обычные бытовые жизненные обстоятельства не дали возможности заниматься только литературным трудом. На плечах большая семья — отец, мать, трое детей, жена, а работник я один, военной пенсии на всех не хватало. Пошел работать в Государственный комитет по печати на должность заместителя главного редактора отдела художественной литературы, где и проработал несколько лет.

Но все же мне хотелось поглубже окунуться в литературную жизнь нашей страны. Если учесть, что в годы военной службы я все-таки находился в стороне, вдалеке от эпицентра литературной жизни, то мое желание наверстать упущенное, пожить настоящей литературной жизнью будет понято. Мои однокашники по институту — Юрий Бондарев, Владимир Солоухин, Владимир Тендряков, Григорий Бакланов, Михаил Голденко, Расул Гамзатов и многие другие за эти годы выросли в известных писателей, а я, несмотря на огромный запас и материала, и сил, все еще был где-то на подступах к своим главным книгам. Поэтому я переехал в Москву, работал заместителем, а через некоторое время первым заместителем главного редактора журнала «Октябрь». В эти же годы был ведущим телеальманаха «Подвиг», который начинал Сергей Сергеевич Смирнов.

Жизнь Московской писательской организации сразу же захватила своим накалом, многочисленными мероприятиями, как организационными, так и чисто творческими. Меня избрали секретарем Московской писательской организации, а коммунисты избрали заместителем секретаря парткома Московской писательской

организации и позднее переизбрали на эту должность еще раз, до 1979 года, когда, в связи с назначением первым заместителем главного редактора журнала «Новый мир», я выбыл из этой партийной организации.

Назначение в «Новый мир», жизнь и работа в этом журнале — очень важный этап в моей творческой жизни. В «Новый мир» меня пригласил Сергей Сергеевич Наровчатов в феврале 1979 года. «Новый мир» — это не только журнал, это и своеобразный, мудрый, опытный, разбирающийся в жизни литературы мир. Здесь работали знатоки своего дела. Возглавлял журнал один из ведущих советских поэтов, человек, который прошел две войны — финскую и Великую Отечественную — Сергей Сергеевич Наровчатов. Он был широко образованный человек и интеллигент в самом лучшем понимании слова. Он глубоко знал историю, я бы сказал даже, знал ее на уровне профессора исторического факультета. Тонко разбирался в теории литературы, вел семинар в Литературном институте и написал теоретическую книгу «Необычное литературоведение».

Работа в «Новом мире» была для меня настоящей высшей школой практической работы в литературе. В журнал приходят тысячи рукописей как именитых, опытных писателей, так и начинающих и, разумеется, графоманов. Чтение рукописей, анализ их, редакция, подготовка к печати — вся эта черновая работа дает для писателя, по-моему, не меньше, чем теоретическое обучение в Литературном институте.

Взаимоотношения с Сергеем Сергеевичем Наровчатовым у нас складывались хорошие, товарищеские. Года через два после того, как я пришел в «Новый мир», болезнь Сергея Наровчатова обострилась (у него были обморожены ноги на финском фронте), и вот с течением лет это сказывалось, ему трудно было ходить, он стал реже бывать в журнале, и мне как первому заместителю приходилось часто бывать у него дома. Мы обсуждали материалы, рукописи, которые готовились к публикации. В общем, я помогал ему работать в последние годы его жизни. Он рассказывал мне о своих творческих планах и показывал рукописи, над которыми трудился.

На VII съезде писателей в 1982 году меня избрали одним из секретарей правления Союза писателей СССР. А затем я стал рабочим секретарем Союза писателей, и мне пришлось уйти из журнала «Но-

вый мир». Сергей Наровчатов очень не хотел отпускать меня, но назначение состоялось, и нам пришлось расстаться. Я проработал в Секретариате правления Союза писателей меньше года, случилась беда — умер Сергей Наровчатов, и меня назначили главным редактором журнала «Новый мир». За годы работы в «Новом мире» мне доводилось постоянно работать над рукописями, читать их одним из первых, давать советы, следить за процессом доработки произведений таких крупных современных писателей, как Чингиз Айтматов, Леонид Леопов, Юрий Бондарев, Федор Абрамов, Даниил Гранин, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Анатолий Ананьев, Расул Гамзатов и многих других известных писателей нашего времени. Это общение, беседы, доверительные совместные размышления над их рукописями дали мне как писателю очень много.

В годы работы в Москве я закончил роман «Взять живым!», в 1975 году он был опубликован в журнале «Знамя». «Взять живым!» — это своеобразный итог войны, итог моей работы в войсковой разведке. Но это не мемуары, а настоящий роман со всеми свойственными этому жанру обобщениями и полнокровными характерами героев, хотя, конечно же, главному герою романа Василию Ромашкину отдано мной немало из собственного военного опыта. За этот роман я был отмечен званием лауреата премии Александра Фадеева. В 1978 году за сборник повестей и рассказов «Не мечом единым» я был удостоен премии Министерства обороны СССР.

Работая в «Новом мире», я написал одну из наиболее дорогих для меня книг — «Полководец». Она была принята и читателями, и писателями очень доброжелательно. Многие журналы — и толстые, и тонкие, а также газеты — откликнулись на эту повесть положительными рецензиями. В 1986 году я удостоен звания лауреата Государственной премии.

В 1984 году советская литература потеряла одного из крупнейших писателей Михаила Шолохова. Я был в составе делегации Союза писателей СССР, которая выезжала на похороны Михаила Александровича в станицу Вешенскую. Вскоре после смерти Шолохова проходили выборы в Верховный Совет СССР, и, поскольку Шолохова как кандидата в депутаты теперь не было в живых, совершенно для меня неожиданно в Ростовской области была выдвинута моя кандидатура.

Я сказал избирателям в станице Вешенской:

— Шолохова нельзя заменить ни как человека, ни как писателя, ни как народного депутата, но поскольку вы мне оказываете такую честь, я в меру своих сил сделаю все возможное, чтобы оправдать ваше доверие.

Наверное, надо сказать еще об одной очень важной стороне моей жизни, потому что она давала мне как писателю огромный материал как для размышлений, так и для творческой работы, а может быть, больше всего — для накопления и расширения того багажа, на который опирается писатель в своем труде. Я имею в виду многочисленные поездки за рубеж, во время которых доводилось встречаться с известными писателями, политическими деятелями, быть свидетелем многих, порой драматических событий. Рассказать обо всем этом, конечно же, в краткой статье нет возможности, поэтому лишь перечислю страны, в которых мне довелось побывать только за последние годы: США, Англия, Франция, Испания, Афганистан, Греция, Турция, Египет, Иран, Кения, Танзания, Тунис, Индия, Вьетнам, Лаос, Кампучия, Мексика, Аргентина, Корея, Израиль, Япония, все социалистические страны Европы и многие другие государства. 16 апреля 1987 г. Стратклайдовский университет (Великобритания) избрал меня почетным доктором литературы.

В феврале 1987 года на XXVII съезде КПСС, делегатом которого я был, меня избрали кандидатом в члены ЦК КПСС. В 1988 г. на майском пленуме ЦК КПСС переведен в члены ЦК.

В июне 1987 года на VIII съезде писателей избран первым секретарем правления Союза писателей СССР.

Как и многие писатели, я могу писать только о том, что пережил сам, что прошло через мой мозг, мое сердце, мои нервы. Это не значит, что я постоянно пишу мемуары, пережитое мной служит постоянным источником, постоянным кладезем, из которого я черпаю все то, что мне удастся написать. Итогом моей более чем сорокалетней жизни в литературе, моей многолетней службы в армии и пребывания на фронте, я думаю (если удастся, конечно, завершить эту работу), станет большая, очень важная для меня книга о Маршале Советского Союза Жукове, рукопись которой сейчас лежит на моем столе...

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ!

РОМАН

Наконец-то Василий Ромашкин ехал на фронт.

Сколько препятствий было на его пути! И как вообще все обернулось неожиданно.

Только закончились экзамены в школе. После выпускного вечера ребята долго ходили по улицам, ночные лампочки отражались на асфальте, как в темной воде. Шурик говорил, что пойдет учиться в строительный, Ася — в медицинский, Витька, школьный поэт, конечно же, на филфак. А сам Василий собирался в авиационное училище.

Но в эти часы обстоятельства, или, как прежде говорили, судьба, уже все решили за них, распорядились совсем иначе. Мальчишки провожали девчат домой, целовались тайком за деревьями. А в городах на западной границе их сверстники уже сражались с врагом, а некоторые были погребены под развалинами школ и домов, разрушенных фашистскими самолетами.

Едва узнав, что началась война, Василий побежал в военкомат, не позвал даже ребят из своего класса — вдруг не всех будут брать.

— Иди отсюда и не мешай работать. Подрастешь — сами вызовем, — сказал ему хмурый капитан.

Но Василий был уверен: все будет кончено гораздо раньше — месяца через два, от силы три Красная Армия разобьет фашистов, а рабочие в Германии совершат революцию.

Во дворе военкомата, как на толкучке, полпо пароду — женщины, мужчины, дети стояли группами, ходили туда-сюда. Под открытым небом накурено, как в помещении.

Праздничная взволнованность Василия была омрачена обидой — его-то не берут. Вокруг плакали женщины и даже пожилые мужчины, и его это раздражало — чего они плачут? У одной тетушки слезы сочились будто из всего лица: из помятой коричневой кожи вокруг глаз, из покрасневшего рыхлого носа, из влажных обмякших губ, из дряблых щек.

— Господи, беда-то какая, горе-то какое,— повторяла она монотонно.

Василий не выдержал. Его просто возмущала непонятливость этой женщины, и он сказал ей с веселым укором:

— Ну в чем беда! Они скоро станут орденосносцами, Героями!..

Женщина перевела на Василия мокрые глаза, улыбнулась раскисшими губами, сказала влажным, хлюпающим голосом:

— Ах ты несмышлениш!.. Большой вымахал верблюжонок, а умишко детский.

Конечно, Василий не стал ждать, пока исполнится восемнадцать. Он написал заявление в военкомат, в райком комсомола, бегал по военным учреждениям и наконец добился — взяли на курсы младших лейтенантов при военном училище.

Когда научился, в армию призвали отца. По слухам, отец должен был около месяца оставаться здесь же, в Оренбурге. Но через неделю на курсы прибежала мама и запаленно выдохнула:

— Папу отправляют... Я на вокзал. Приезжай скорее.

Ромашкин был в ротном наряде, пока отпросился, пока нашли замену... Примчался на вокзал, а там на пустом перроне стояла одна заплаканная мама — эшелон ушел. Так он и не увидел перед отъездом отца. Утешал мать и себя:

— Скоро догоню его. Там встретимся.

На курсах Василию повезло дважды. Во-первых, выпуск состоялся на два месяца раньше — на фронте были нужны командиры, даже праздника не стали ждать, выпустили первого ноября. И, во-вторых, Ромашкину сразу присвоили звание лейтенанта — в порядке поощрения, как отличнику из отличников.

При распределении его, как лучшего выпускника, по старой, довоенной традиции спросили:

— Где желаете служить?

— На фронте под Москвой,— не задумываясь ответил Ромашкин.

— Хотите на главное направление, защищать столицу?

— Хочу,— сказал Ромашкин и добавил: — Отец мой там воюет.— Василий тут же смутился: подумают — стремится под отцовское крылышко, будто он большой начальник.— Отец мой простой красноармеец.

Его призвали, когда я учился. Точно даже не знаю, в какой части он служит, написал только, что под Москвой, и сообщил полевую почту.

— Ну ничего, там разберетесь, — сказал майор и пообещал включить Василия в список «москвичей».

На вокзале мать плакала больше других, как та незнакомая женщина с красным мокрым лицом.

— Ой, сыночек! — причитала она, рыдая и вздрагивая.

Ему было стыдно за мать и жалко ее. Он просил:

— Ну ладно, мам, не надо. Ну чего ты так плачешь?

А мать все повторяла и повторяла:

— Ой, сыночек! — Ей стало дурно, прибежала из вокзального медпункта сестра с пашатырем. Ромашкину помогали держать обмякшую, готовую рухнуть на землю маму. Она так и осталась на руках у незнакомых людей, не видела, как тронулся и покатил поезд.

...И вот наконец он мчится из Оренбурга на север, с каждым часом становится все холоднее. Лишь бы скорее туда, думал Василий, уж он себя покажет! Ему все казалось, что на передовой не хватает таких, как он, там что-то недопонимают, недоделывают, поэтому отступают наши войска.

После обучения на курсах Василий рассуждал, конечно, не как десятиклассник. Теперь он понимал, что такое внезапность нападения, превосходство в технике, заранее отмобилизованные, сосредоточенные войска. Но, несмотря на эти знания, военную форму, скрипящие ремни, кобуру, комсоставские хромовые сапоги, он еще не был настоящим командиром, оставался наивным юношей, которому не терпелось показать свою удаль. Он не думал о том, что его могут убить. Если такая мысль и приходила, то какой-то внутренний самоуверенный голос сразу отгонял ее: на фронте убивают только других!

В команде, с которой ехал Ромашкин, было двадцать человек. Восемнадцать младших лейтенантов, молоденьких, румяных, как и он, в новеньких гимнастерках, не утративших запах складского нафталина, с рубиновыми кубарями на петлицах.

Ехал в этой же команде кроме Ромашкина еще один лейтенант — Григорий Куржаков. Он был года на три старше выпускников, отличался от них многим — служил в армии еще до войны, провоевал первые, самые

тяжелые месяцы, был ранен — на выгоревшей гимнастерке его две заштопанные дырочки на груди и спине — влет и вылет пули.

Куржаков был худ, костистые скулы обтягивала желтоватая нездоровая кожа, голова острижена под машинку, зеленые глаза злые, тонкие ноздри белели, когда его охватывал гнев. Казалось, в нем ничего нет, кроме этой злости, она то и дело сверкала в его зеленых глазах, слетала с колкого языка — Григорий ругался по поводу и без повода.

В отделе кадров Куржакова, как более опытного, назначили старшим команды.

Казалось бы, фронтовик, бывалый вояка должен вызвать уважение, любопытство у необстрелянных лейтенантиков. Но этого не произошло. Старший команды и выпускники с первой минуты не понравились друг другу.

Получив проездные документы, продовольственные аттестаты и список, Куржаков построил команду, чтобы проверить, все ли налицо. С нескрываемым презрением он смотрел на чистеньких командирчиков, морщился от того, что они четко и слишком громко отзывались на свои фамилии.

Куржаков закончил проверку, громко выругал временно ему подчиненных и сказал:

— Нарядились, как на парад, салаги сопливые. Имейте в виду, кто в дороге отстанет, морду набью сам лично. Пошли на вокзал.

И повел их не строем, как привыкли ходить в училище, а просто повернулся и пошел прочь, даже не подав команду «Разойдись». Лейтенанты переглянулись и поплелись за ним. «Наверное, у них на фронте все такие,— подумал Ромашкин,— поэтому ничего и не получается. Какой же это командир — ни одной команды по-уставному не подал!»

В поезде Куржаков держался замкнуто, почти ни с кем не разговаривал, больше спал, отвернувшись лицом к стенке. Лейтенанты ходили по вагону, красовались, как молодые петушки, и казались себе отчаянными вояками. Старшего команды все же побаивались, вино пили тайком. Ромашкин, как равный в звании с Куржаковым, вынужден был занять место в том же купе, его втолкнули туда свои же ребята. Соседство было ему неприятно, портило настроение. Василий проводил время со своей братвой, на их местах, дымил

папиросами, рассказывал анекдоты, всем было весело. После строгой дисциплины в училище лейтенантов охватило чувство полной свободы и независимости. Если бы не этот Куржаков, поездка была бы прекрасной. О чем бы ни говорили молодые командиры, разговор то и дело возвращался к старшему команды. Ребята распались не на шутку.

— Надо устроить ему темную,— предложил Синицкий, свирепо сжимая детские губы.

— Зачем темную, Васька ему в открытую врежет. Он лейтенант, и тот лейтенант. Равные по званию. Ваське ничего не будет,— рассудительно подсказывал Сабуров.

— И врежу,— подтвердил Василий,— у меня второй разряд по боксу, отработаю — сам себя не узнает.

— Жаль, оружие нам не выдали, а то бы я ему показал,— воскликнул Карапетян.

— Решено, братва, если Куржаков на кого-нибудь взьется, даем отпор!

Василий в свое купе вернулся поздно, в вагоне почти все улеглись. Куржаков выспался днем и теперь одиноко сидел у столика, перед ним стояла банка свинобобовых консервов и поллитровка, наполовину опустошенная. Как только он увидел Василия, ноздри его дернулись и побелели.

— Явился не запылится,— сквозь зубы сказал Куржаков.

— Да, явился,— вызывающе ответил Ромашкин,— и не твое дело, где я был и когда пришел.

— Чего? Чего? — спросил Куржаков и стал медленно подниматься, хищно втягивая голову в плечи.

— То, что слышал,— бросил ему Василий и почувствовал, как от взгляда Куржакова в груди стало вдруг холодно. Но горячий хмель вмиг залил этот холодок, и Ромашкин уже сам, желая драки, шагнул навстречу.

— Отдал немцам половину страны да еще выпендриваешься, героя из себя корчишь, фронтовик-драповик...

И сразу же на Василия посыпались частые удары, он даже не успел принять боксерскую стойку. Куржаков бил его справа и слева, бил с остервенением. На ринге Василий никогда не видел у противников таких неистовых глаз, он растерялся. А Куржаков, видно совсем осатанев, схватил со стола бутылку и ударил бы по голове, если бы Василий не защитился рукой. Григорий стал судорожно расстегивать облезлую ко-

буру. И, наверное, убил бы Василия, если бы не кинулся с верхней полки майор да не навалились прибежавшие из соседних купе.

— Убью гада! — хрипел Куржаков, вырываясь.

Куржакова связали, его пистолет взял майор.

— Отдам в конце пути, — сказал он Григорию. — Успокойся. Остынь. Хочется тебе руки пачкать? — Майор зло глянул на Ромашкина и процедил сквозь зубы: — А ты, сосунок, мотай отсюда, не то я сам тебя вышвырну. На кого руку поднял? На фронтовика...

Остаток пути Василий старался не встречаться с Куржаковым.

Когда прибыли в Москву и отправились на трамвае искать свою часть, Григорий все время глядел мимо Ромашкина, будто его не существовало. Но желваки на худых щеках, злые зеленые глаза выдавали — Куржаков не забыл о случившемся.

— Почему вы нас так ненавидите? — вдруг наивно и прямо спросил Карапетян, когда вся команда стояла на передней площадке вагона и глядела на притихшие московские дома и полупустынные улицы, перегороженные кое-где противотанковыми ежами и мешками с песком.

Куржаков сперва смутился, потом ответил негромко и твердо:

— Я себя ненавижу, когда смотрю на вас. Такой же, как вы, был питюнчик, пуговики, сапоги надраивал, на парадах ножку тянул, о подвигах мечтал... А немцы вот он, под Москвой... На войне злость нужна, а не ваша шагистика. Надо, чтобы все наконец обозлились, тогда фашистов погоним. А у вас на румяных рожах благодущие. Война для вас — подвиги, ордена. — Куржаков сбавил голос, выругал их и вообще всех и закончил, глядя в сторону: — Убьют вас, таких надраенных, а немцев опять мне гнать придется.

— А тебя что, убить не могут?

— Меня? Нет.

— А это? — Карапетян показал на заштопанную дырку на гимнастерке.

— Это бывает — ранение. Зацепить всегда может, особенно в атаке. А убить не дамся.

— Чудной ты. Чокнутый, — покачав головой, сказал Карапетян.

— Ну ладно, поговорили, — отрезал Куржаков. Ромашкину показалось, что Григорий объяснял это для него.

В части, куда прибыла команда, шла торопливая формировка. По казармам, коридорам, складам, каптеркам бегали сержанты и красноармейцы, все были одеты в новое обмундирование.

Тут и там строились роты. Командиры выкликали по спискам бойцов, старшины выдавали снаряжение. Полк заканчивал спешное формирование и должен был вот-вот выступить на фронт. Ходили слухи, что немцы снова где-то прорвались. Василий прислушивался и, казалось, улавливал глухой гул канонады. Но этот гул оказывался то грохочущим в узкой улице трамваем, то одиноким транспортным самолетом, который пролетел на небольшой высоте.

Молодых командиров без проволоочки распределили по ротам. Ромашкин попал во вторую стрелковую. И надо же такому случиться — командиром ее назначили Куржакова. Он, фронтовик, сразу получил роту. Василий хотел пойти в штаб, все объяснить и попроситься в другой батальон, но не успел: объявили общее построение.

Ромашкин знакомился с бойцами своего взвода. Сначала все двадцать два показались одинаковыми, потом стал различать — одни молодые, другие старше, двое совсем в годах — лет за сорок, такие же, как отец. «Посмотрел бы папа, какими людьми я команду! Надо спросить в штабе, может быть, знают, где расположена его полевая почта».

Строевой смотр был не таким, как ожидал Ромашкин. Оркестр почти не играл. Озабоченные, усталые командиры осматривали оружие, обувь, одежду, заглядывали в вещевые мешки. Только под конец роты прошли мимо полкового начальства нестройными, расползающимися рядами. На этом смотр и закончился.

Вечером Василий вышел за ограду, огляделся. Не верилось, что облупленные кирпичные и старые деревянные дома, узкие с грязным снегом улочки — это Москва. Совсем не такой представлялась ему столица. Он, конечно, понимал — здесь окраина; хотелось хотя бы ненадолго выбраться в центр, посмотреть на знакомый по открыткам Кремль, Мавзолей, проехаться в метро. Но было приказано никуда не отлучаться, да днем и минуты свободной не было. Ну, а ночью такая вылазка была исключена, во всех казармах и на проходной висел отпечатанный в типографии приказ:

«Постановление Государственного Комитета Обороны.

Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 100—120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом генералу армии т. Жукову, а на начальника гарнизона г. Москвы генерал-лейтенанта т. Артемьева возложена оборона Москвы на ее подступах.

В целях тылового обеспечения обороны Москвы и укрепления тыла войск, защищающих Москву, а также в целях пресечения подрывной деятельности шпионов, диверсантов и других агентов немецкого фашизма Государственный Комитет Обороны постановил:

1. Ввести с 20 октября 1941 г. в г. Москве и прилегающих к городу районах осадное положение.

2. Воспретить всякое уличное движение как отдельных лиц, так и транспортов с 12 часов ночи до 5 часов утра, за исключением транспортов и лиц, имеющих специальные пропуска от коменданта г. Москвы, причем в случае объявления воздушной тревоги передвижение населения и транспортов должно происходить согласно правилам, утвержденным московской противовоздушной обороной и опубликованным в печати.

3. Охрану строжайшего порядка в городе и в пригородных районах возложить на коменданта г. Москвы генерал-майора т. Синилова, для чего в распоряжение коменданта предоставить войска внутренней охраны НКВД, милицию и добровольческие рабочие отряды.

4. Нарушителей порядка немедленно привлекать к ответственности с передачей суду Военного трибунала, а провокаторов, шпионов и прочих агентов врага, призывающих к нарушению порядка, расстреливать на месте.

Государственный Комитет Обороны призывает всех трудящихся столицы соблюдать порядок и спокойствие и оказывать Красной Армии, обороняющей Москву, всяческое содействие.

Председатель Государственного Комитета
Обороны И. Сталин

Москва, Кремль, 19 октября 1941 г.».

Весь день Василий был на морозе — с утра тактика, после обеда занятия в холодном, как склеп, бетонированном тире. Учили стрелять красноармейцев, которые впервые держали винтовку в руках. Тяжелые выстрелы в бетонном узком тире так набили барабанные перепонки, что в голове гудело. После ужина в теплой казарме Василия охватила приятная истома, он прилег отдохнуть и быстро заснул под мерный гул голосов.

Куржаков ходил между кроватями, ругал медлительных, разомлевших в тепле красноармейцев:

— Оружие отпотело, протрите. Раскисли! На фронт завтра, забыли?

Он остановился у койки, на которой, сдвинув ноги в сапогах в проход, лежал одетый Ромашкин. Хотел поднять его — улегся, мол, раньше подчиненных, даже не привел оружие в порядок, но посмотрел на румяное чистое лицо сладко спавшего лейтенанта, и что-то жалостливое шевельнулось в груди. Куржаков тут же подавил в себе эту, как он считал, «бабью» слабость, но все же не разбудил Василия, пошел дальше, с яростью отчитывая бойцов:

— Оружие протирайте, вояки, завтра не в бирюльки играть, в бой пойдете!

Красноармейцы брали влажные, будто покрытые туманом, винтовки, протирали их, а влага вновь и вновь выступала на вороненых стволах и казенниках.

— Смотри, железо и то промерзло, притомилось, а мы ничего, еще и железу помогаем,— бодрясь, сказал молодой боец Оплеткин.

— Не тараторь, лейтенанта разбудишь,— остановил его сосед, кивнув на Ромашкина.

— Сморило командира, видать, городской, не привычный в поле на морозе,— шепнул Оплеткин.

В десять улеглась вся рота. Молодые здоровые люди, утомившись, скоро заснули и спали крепко.

Василию показалось, что он только что закрыл глаза, и вот уже в уши стучит знакомое, нелюбимое:

— Подъем! Подъем!

С первых дней в училище Василий по утрам тяжело перебарывал сладкую тяжесть недосыпания. Ему нравилось в армии все, кроме этого неприятного слова «Подъем!». Даже в поезде, где никто не кричал «Подъем!», глаза сами открывались в шесть, будто в голове, как в будильнике, срабатывала заведенная пружинка.

Сегодня пробуждение было особенно тяжелым. Ромашкин взглянул на часы — только три. «Наверное, дежурный ошибся», — подумал он, но тут же услышал знакомый, с хрипотцой голос Куржакова:

— По-одъем! Быстро умывайтесь и выходите строиться в полном снаряжении. Ничего не оставлять, в казарму больше не вернемся!

В полковом дворе происходило что-то непонятное. Роты строились не в походные колонны, а в длинные неуклюжие шеренги.

Куржаков подозвал взводных:

— Постройте строго по ранжиру, в ряду двадцать пять человек. Отработать движение строевым шагом. Особое внимание — на равнение.

У Ромашкина было всего двадцать два бойца, весь взвод составил одну шеренгу. Трех добавили из другого взвода. Выстраивая людей в темноте по росту, он замешкался, тут же подлетел Куржаков:

— Слушай мою команду! Направо! Выравняться чище в затылок! Головные уборы — снять! Встать плотнее! Еще ближе. Прижмись животом к спине соседа.

Обнаженные, остриженные под машинку головы вытянулись в ряд, кое-где они то возвышались, то западали.

— Ты перейди сюда. Ты сюда, — вытягивая то одного, то другого за рукав шинели, переставлял их командир роты. Через минуту круглые стриженные головы создали одну, постепенно снижающуюся линию.

— Головные уборы... — Куржаков помедлил и резко скомандовал: — Надеть! Нале-во!

Перед Ромашкиным стояла шеренга его взвода, идеально подогнанная по росту. Куржаков тихо сказал:

— Вот так надо строить по ранжиру, товарищ строевик, — и ушел.

Роты уже шагали по плацу и между казармами.

Все еще не понимая, зачем это нужно, Ромашкин стал учить свою шеренгу. Она расползалась, ходила то выпуклая — горбом, то западала дугой, а то вдруг ломалась зигзагом.

В конце двора шеренги, сбиваясь в кучу, поворачивали назад. Встретив здесь однокашников, Василий спросил Карапетяна:

— Ты не слышал, зачем вся эта петрушка?

— На парад пойдем. Ссегодня седьмое ноября. Забыл, да?

— Какой парад? Война же!

Подошел Куржаков, он слышал их разговор:

— Какой-нибудь строевик-дубовик, вроде вас, додумался. Парад, понимаешь! Немцы под Москвой, а мы в солдатиков играть будем. Мало нас бьют, всю дурь еще не выбили.

Ромашкин бежал вдоль строя, семенил перед ним, двигаясь спиной вперед, лицом к строю, кричал:

— Тверже ногу! Раз, раз! А равнение? Куда середи-на завалилась?

Завтракали здесь же, на дворе, гремя котелками, обдавая друг друга паром и приятным теплым запахом каши с мясной подливкой.

Было еще темно, когда полк двинулся в город. В черных окнах домов, заклеенных крест-накрест белыми полосками бумаги, ни огонька, ни светлой щелочки. По тихим безлюдным улицам полк шел парадными шеренгами, и всю дорогу до Красной площади раздавались команды:

— Строевым! Раз, два! Раз, два! Чище равнение!

Командир полка майор Караваев за долгую службу много раз участвовал в парадах и теперь, глядя на кривые шеренги, тихо говорил комиссару Гарбузу:

— К парадам готовились минимум месяц. Как мы пройдем по Красной площади, не представляю! Да еще в полном снаряжении. Опозорим и себя, и всю Красную Армию.

— Не беспокойтесь, Кирилл Алексеевич,— отвечал Гарбуз, который еще совсем недавно был вторым секрестарем райкома на Алтае, под Бийском, и не слишком разбирался в красоте строя.— Там обстановку понимают.— Комиссар показал пальцем вверх.— Не знаю, правильно ли я сужу, но, думается, сегодня важно не равнение в рядах, а сам факт проведения парада. Немцы под Москвой, на весь мир кричат о своей победе, а мы им дулю под нос — парад! Гитлера кондрашка хватит от такого сюрприза. Здорово придумано!

— Парад, конечно, затея смелая. Тут или пан, или пропал.

— Почему? — не понял комиссар.

— Если все пройдет хорошо — нам польза. А если нас разбомбят на Красной площади?

Комиссар нахмурился, ответил не сразу.

— Я думаю, там,— он опять показал пальцем

вверх,— все предусмотрели. Не допустят. Этим парадом, по-моему, сам Сталин занимается.

А шеренги все шли и шли мимо них, бойцы старательно топали, рассыпая drobный стук замерзших на морозе кожаных подметок. Единого хлесткого шага, который привык слышать и любил Караваев на довоенных парадах, не было.

Карапетян показал Ромашкину на светящуюся синим светом букву «М» над входом в метро, пояснил:

— До войны эти «М» были красные, чтоб далеко видно. Синие немецкие летчики не замечают.

На Красную площадь вошли, когда начало светать. Ромашкин впервые увидел Кремль не на картинке: узнал зубчатую стену, Мавзолей, высокие островерхие башни и удивился — звезды были не рубиновые, а зеленые — не то покрашены, не то закрыты чехлами. Площадь была затянута холодным сырым туманом. В мрачном небе висели аэростаты воздушного заграждения, казалось, они упираются спинами в плотные серые облака.

— Погода что надо — нелетная! — сказал радостно Карапетян.

— Ты бывал раньше на Красной площади? — спросил Василий.

— Бывал. Мой дядя в Наркомате внутренних дел работает. Водил меня на демонстрации. Раньше тут даже ночью, как днем, все сияло. А днем такое творилось — не рассказать!

— А почему не убрали мешки? — удивился Василий и показал на штабель мешков у собора Василия Блаженного.

— Чудак, их специально привезли — памятник Минину и Пожарскому обложить, чтобы при бомбежке не повредило.

— А если нас бомбить начнут? Представляешь, какая заваруха тут начнется?!

Куржаков, стоявший рядом, сказал:

— Кончайте болтать в строю!

Воинские части прибывали и выстраивались на отведенных им местах, красноармейцы закуривали по разрешению командиров, голубой дымок вился над строем.

Пошел снег. Сначала порошили мелкие снежинки, потом посыпались все плотнее и плотнее. Василий, Карапетян и, должно быть, все участники парада

с радостью подумали: бомбежки не будет. Облегчение это пришло не оттого, что снималось опасение за себя, за свою жизнь. Каждый понимал — это не простой парад. Надо, чтобы он обязательно состоялся.

Бывают в жизни дни и часы, когда человек ощущает: вот она, история, рядом. И сейчас, как только заиграли и начали бить Кремлевские куранты, у Василия затукало сердце, будто там, в груди, а не на башне была эта музыка и колокольный перезвон исторического времени. Василию хотелось запомнить все, что он видит и слышит, все, что происходит на площади. Он понимал: этому суждено остаться в веках. Он подумал и о том, что, пожалуй, не совсем прав, считая, что историческое вершится лишь в такие торжественные минуты. Каждый день, каждый час начинается, продолжается или завершается какое-то событие. Но есть минуты, которым суждено остаться не только в памяти его, Ромашкина, а всех, всего народа, вот такое и называется историческим событием. И такое вершилось сейчас, здесь.

...Без пяти минут восемь по Красной площади пролетел рокот, будто ветер по роще. Ромашкин смотрел вправо и влево, пытаясь понять, в чем дело. Его толкнул в бок стоявший рядом Синицкий:

— Не туда смотришь. Гляди на Мавзолей.

Ромашкин взглянул на мраморную пирамиду в центре площади и обмер: там, в шеренге фигур, одетых в пальто с каракулевыми воротниками, он увидел Сталина в знакомой по фотографиям шинели и суконной зеленой фуражке. «Сталин! — пронеслось в голове Василия. — Хоть бы он шапку надел, в фуражке-то замерзнет...» Куранты на Спасской башне рассыпали по площади мелодичный перезвон, генерал, плотно сидевший верхом на коне, вдруг что-то крикнул и поскакал вперед. От Спасской башни ему навстречу приближался другой всадник на коне с белыми ногами. Кто это — мешал узнать тихо падающий снег. Прежде чем всадники съехались, снова, будто ветер по макушкам деревьев, пронесся шепот над строем войск: «Буденный!.. Буденный!»

Буденный остановился перед их полком поздороваться, и только тогда Ромашкин увидел маршальские звезды на петлицах и черные усы вразлет. Еще никто не произнес речь, военачальники все еще объезжали строй войск, а Ромашкина так и распирало желание

кричать «ура». У него громко стучало сердце и голова кружилась от охмеляющей торжественности. Вот о такой военной службе, о такой войне он мечтал — красиво, величественно, грандиозно! Ромашкин покосился на Куржакова, который стоял справа. Лицо Григория будто окаменело, челюсти сжаты, только ноздри трепетали. Ромашкин не понял, что выражало это лицо — неизбывную злость или верную преданность. «Вот гляди,— злорадно думал Ромашкин,— гляди, сухарь холодный, вот она, красота воинской службы, а ты говорил — нет ее!..»

Наконец с другой площади, из-за угла красного кирпичного здания, как приближающийся обвал, показилось «ура». Василий набрал полную грудь воздуха, дождался, пока могучий возглас достигнет квадрата его полка, и закричал изо всех сил, но голоса своего не услышал. Общий гул — «У-р-р-а-а-а!» — пронесся над строем, подхватил голос Ромашкина и унесся дальше. Потом этот гул еще не раз накатывался на строй, и каждый раз Василий, как ни старался, так и не смог расслышать свой голос.

Буденный между тем поднялся на Мавзолей. Сталин дождался его, посмотрел на часы, едва заметная улыбка мелькнула под усами. Не обращаясь ни к кому, но уверенный — все, что он скажет, будет исполнено без промедления,— Сталин сказал:

— Включайте все радиостанции Союза.— И шагнул к микрофону.

Ромашкин, слушая Сталина, подался всем телом в сторону Мавзолея, не только уши, каждая жилка, казалось, превратилась в слух.

Сталин говорил негромко и спокойно, произносил фразы медленно, будто диктовал машинистке. Ромашкин подумал даже, что Сталин говорит слишком медленно. Он будто подчеркивал каждую фразу. Слова выговаривал без затруднения, по-русски правильно, и только в ударениях, в повышении и понижении тона проскальзывал грузинский акцент.

Василий проклинал снег, который повалил еще гуще и не давал ему возможности рассмотреть Сталина. «Ну ничего,— надеялся он,— разгляжу, когда пройдем у Мавзолея».

Сталин говорил о том, как трудно было бороться с врагами в годы гражданской войны — Красная Армия только создавалась, не было союзников, заседали

четырнадцать государств. Ленин тогда вел и вдохновлял нас на борьбу с интервентами...

«...Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как двадцать три года назад.

Разве можно сомневаться в том, что мы можем и должны победить немецких захватчиков?

...Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! На вас смотрит весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких захватчиков. На вас смотрят порабощенные народы Европы, подпавшие под иго немецких захватчиков, как на своих освободителей. Великая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

И опять Ромашкин кричал «Ура!», пьянея от ощущения огромной силы своей армии, частичку которой он представляет, от радости, что родился, живет, будет защищать такую великую страну, что участвует в таких грандиозных событиях.

Меньше всех видят, как происходит парад, обычно его участники. После команды «К торжественному маршу!» Василий забыл обо всем, кроме равнения: хотелось, чтобы его шеренга прошла лучше других, не завалила бы и не выпятилась. Он косил глазом, вполголоса командовал, пока не вышли на последнюю прямую. Где-то в подсознании пульсировала мысль: «Рассмотреть Сталина, рассмотреть Сталина». Но, когда зашагал строевым, высоко вскидывая ноги, забыл и об этом.

Вдруг у кого-то из красноармейцев в котелке заблямкала ложка. Василий не слышал оркестра, железное блямканье в котелке перекрыло все. Он похолодел от ужаса, ему казалось, это звяканье слышат на Мавзолее и оно портит весь парад. В этот момент Василий увидел человека, который слегка возвышался над площадью и взмахивал руками — то правой, то левой. Василию показалось, что он ищет, у кого стучит эта

злополучная ложка. Человек один был виден над головами марширующих и, несомненно, высматривал виновника. Только подойдя ближе, Ромашкин сообразил: «Это же дирижер!»

Василий спохватился, метнул глазами в сторону Мавзолея, но было поздно — Сталина разглядеть не успел. А в голове мелькали какие-то цифры: «Семьдесят пять... семьдесят шесть...» Когда и почему начал он считать? Лишь миновав трибуны и произнеся мысленно «сто шестьдесят», вспомнил: «Это я по поводу того, что участники парада видят меньше всех. Вот отшагал я сто шестьдесят шагов, и на этом парад для меня закончен. Но какие это шаги! Это не шаги — полет! Кажется, сердце летит впереди и не барабан вовсе, а сердце отстукивает ритм шага: «бум, бум!» Только проклятая ложка в котелке все подпортила».

Ромашкин поглядел на Карапетяна, Синицкого — они улыбались. И сам он тоже улыбался. Чему? Неизвестно. Просто хорошо, радостно было на душе. Стук ложки, оказывается, никто и не слышал. Даже Куржаков посветлел, зеленые глаза потеплели, но, встретив взгляд Ромашкина, ротный нахмурился и отвернулся.

За Москвой-рекой, в тесной улочке, майор Караванов остановил полк. Пронеслось от роты к роте: «Можно курить», и сиреневый дымок тут же заструился над шапками, запорошенными снегом. Позади, на Красной площади, еще играл оркестр — там продолжался парад.

Четыре девушки в красноармейской форме шли по тротуару. Карапетян не мог упустить случая познакомиться. Он шагнул на тротуар, лихо откозырял и спросил, играя черными бровями:

— Разрешите обратиться?

— Это мы должны спрашивать: вы старший по званию, — сказала голубоглазая, у которой светлые локоны выбивались из-под шапки. Другие девушки хихикнули. Только одна, ладная, стройная, с ниточками бровей над карими глазами, осталась серьезной и больше других приглянулась Ромашкину. Синицкий и Сабуров шагнули на подкрепление Карапетяну, а Василий подошел к строгой девушке:

— Здравствуйте. Как вас зовут?

— Вы считаете, сейчас подходящее время для знакомства?

— А почему бы и нет?

— В любом случае наше знакомство ни к чему.

— Потому что я иду на фронт?

Девушка грустно поглядела ему в глаза, непонятно ответила:

— Мы никогда больше не встретимся.— И добавила, чтобы не обидеть: — Не потому, что вас могут убить. Просто ни к чему сейчас эти знакомства.— Она помедлила и явно из опасения, что лейтенант неправильно ее понял, сказала: — А зовут меня Таня.

— Где вы живете?

— Здесь, под Москвой, в лесу. Нас отпустили на праздник домой, я москвичка. Скоро тоже поедem на фронт.

— Может быть, там встретимся?

Таня покачала головой.

— Едва ли.

От головы колонны донеслось:

— Кончай курить! Становись!

Оборвался смех и веселый разговор лейтенантов.

Ромашкин попрощался с Таней. У него осталось ощущение, что их встреча была не случайной, таила какую-то значительность и обязательно будет иметь продолжение.

— Номер полевой почты скажите,— быстро, уже из строя, попросил Ромашкин.

— Не надо, ни к чему это,— ласково сказала Таня и помахала на прощание рукой в зеленой варежке домашней вязки.

* * *

Полк майора Караваева грузился в эшелон. Артиллерия, штаб, тылы полка были отправлены еще ночью.

В промерзших, покрытых инеем, скрипучих вагонах надышались, накурили, и вскоре стало жарко. Красноармейцы все еще говорили о параде, но больше всего о Сталине.

— Говорят, он рыжий, рябой и одна рука у него сохлая,— тихо сказал своему соседу Кружилину Оплеткин.

— Ты знаешь, что может быть за такие слова? — возмутился Кружилин.— Тебя знаешь куда за это?

— А чего я такого сказал? — хорохорился явно струхнувший Оплеткин.

— Разве можно так про товарища Сталина?

— Как «так»?

— А вот как ты. Ну ежели бы ты вчера такое болтал. А то ведь я сам недавно его видел. Какой он рябой? Не рябой вовсе. И не рыжий. И обе руки при нем. Зачем болтаешь?

— Вот чудак, я что от людей слышал, то и говорю.

— То-то от людей! А может, ты меня прощупываешь? — недоверчиво глядя на Оплеткина, спросил Кружилин.

— А чего мне тебя шупать, баба ты, что ли? — Оплеткин принужденно засмеялся и отошел подальше от опасного собеседника.

Поезд мчался без остановки, за окном мелькали красивые дачные домики, веселые названия станций.

Прошел по вагону политрук, направо, налево раздавая, будто сеял, газеты. Зашелестели бумагой красноармейцы, каждый начинал не с любимой страницы, как бывало до войны, — одни с четвертой: происшествия, театральные новости; другие с передовицы; третьи с середины: как там на полях, на заводах, — нет, теперь все начали со сводки Советского информбюро.

«Утреннее сообщение 7 ноября.

В течение ночи на 7 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах».

«Плохо дело, — подумал Ромашкин. — После таких сообщений выясняется, что Красная Армия отступала, и немного позже сообщают: «Оставили Киев», «Оставили Минск», «Оставили Харьков».

«За один день боевых действий части тт. Василенко и Кузьмина, действующие на Южном фронте, уничтожили и подбили 60 немецких танков и более двух батальонов пехоты противника».

«Хорошо поработали, — отметил Василий. — Вот и мне бы подбивать их вместе с вами. Ну, ничего, фронт рядом, скоро и я постреляю по фашистам...»

«Стрелковое подразделение младшего лейтенанта Румянцева, действующее на Южном фронте, оказалось в окружении 60 вражеских танков. В течение суток бойцы уничтожили ручными гранатами и бутылками с горючей жидкостью 12 танков противника и вышли из окружения».

«Румянцев? Не с наших ли курсов? Кажется, была у нас такая фамилия. Румянцев вполне мог доехать до Южного фронта и отличиться в первом же бою. Но как он отбил 60 танков, это же по два танка на бойца, если взводом командовал? Но мог и ротой. Допустим,

ротный погиб, а Румянцев взял командование на себя. Молодец он. Где же про московское направление пишут? Вот...»

«Минометчики части командира Голубева, действующей на малоярославецком участке фронта, 5 ноября минометным огнем рессеяли и уничтожили батальон вражеской пехоты и батарею немецких минометов».

«Не густо. Значит, и здесь наши отступают», — решил Василий.

Далее шло о делах уральского завода, и то, что о них говорилось именно в сводке Информбюро, Василий понимал — работу в тылу приравнивают к боевым делам на фронте.

Красноармейцы оживленно заговорили о новостях, взволнованно задымили махоркой.

Вдруг поезд резко затормозил. Все попадали вперед, потом сразу назад. Где-то дзинькнули стекла, кто-то вскрикнул:

— Ой, чтоб тебя! Куда же ты винтовкой тычешь?

И сразу же крики:

— Воздух! Воздух!

Отрывисто и тревожно стал гудеть паровоз. Красноармейцы выпрыгивали из вагонов, скатывались по снежному склону вниз и бежали к редкому лесу, который чернел в стороне. Василий бежал вместе со всеми, крича на ходу:

— Взвод, ко мне!..

И его бойцы, кто оказался поблизости, старались держаться с ним рядом.

Сзади бухнуло несколько взрывов, пролетел над головой запоздалый звук самолета. Василий вбежал в лес и внезапно услышал веселый хохот. Он не успел еще отдышаться, не мог понять, кто может смеяться в такую страшную минуту, под бомбежкой!

Пройдя сквозь заснеженные кусты, Ромашкин вдруг с изумлением увидел — хохочут немцы! И смеются они над теми, кто убегал от бомбежки. «Мы уже здесь? Как же так? Мы в окружении? Или уже в плену?» — растерянно думал Ромашкин, с отчаянием вырывая пистолет из кобуры. «В какого из них стрелять?» — не мог решить он и наконец все понял. За узкой полосой леса проходило шоссе, там вели небольшую группу пленных — вот они-то и смеялись, увидев, как русские бегут от немецких самолетов.

Это были первые живые фашисты, которых увидел

Василий. Чтобы лучше их рассмотреть, он подошел поближе. От страха перед авиацией не осталось и следа, он совершенно забыл о бомбежке. Позади где-то грохали взрывы, а Василий во все глаза смотрел на хохочущих немцев. Это были совсем не трусливые вояки, которых он собирался убивать «пачками», а здоровые, спортивного сложения солдаты, в хорошо сшитых и подогнанных по фигурам шинелях, в хромовых сапогах.

— Шнель, шнель, рус, ложись земля, рейхсмаршал Геринг сделает тебе капут! — кричал голубоглазый немец с мощной шеей и плечами атлета.

Остальные опять громко захохотали.

— Ах, гады! — вдруг выдохнул со свистом в горле невесть откуда появившийся Куржаков. Василий мельком увидел его ненавидящие глаза с черными кругляшками зрачков. Мгновенно Григорий рванул пистолет, не целясь, выстрелил. Немцы сразу попадали на землю и замерли, словно все были убиты одной пулей.

К Куржакову подскочил лейтенант из конвоя, заслоня собой немцев, решительно крикнул:

— Нельзя, товарищ! Нельзя! — И тут же с угрозой: — Вы за это ответите! Под трибунал пойдете!

— Я за фашистов под трибунал? Да я тебя, гада, самого!

Куржакова схватили за руки. Немцы поднялись с земли. Теперь они испуганно топтались, сбившись в кучу. К счастью, лейтенант промахнулся. Старший конвоя пытался выяснить фамилию и записать номер части. Но пришедший на шум комбат Журавлев сказал ему:

— Уводи ты своих пленных подальше. А то разозлишь людей — всех перебьют.

Лейтенант поспешил на дорогу, все еще угрожая:

— Вы ответите! Я все равно узнаю...

А от поезда уже кричали:

— Отбой! По вагонам!

И опять Ромашкин мчался в поскрипывающем вагоне к фронту и жадно смотрел в окно. В дачных поселках, в открытом поле, в рощах и заводских дворах — всюду стояли войска — зенитные, танковые, артиллерийские части, крытые брезентом автомобили и повозки. «Столько у нас людей, столько техники и всего горсточка пленных. Что происходит? Почему они нас бьют?» — с болью в сердце думал Василий.

Ехали после бомбежки недолго. Не успели обогреться, уже вот он — фронт. «Выходи!» В лесу

у дороги старшины выдали боеприпасы. Ромашкин набил карманы новенькими красивыми патрончиками для своего ТТ. Здесь же пообедали. Горячий суп и макароны показались очень вкусными на морозе.

Дальше пошли в пешем строю. Уже слышался гул артиллерийской стрельбы, бой гремел впереди совсем близко.

Полк занял готовые, кем-то заранее отрытые траншеи. Не успели изготавиться к обороне, прибежал какой-то суматошный связист, затараторил:

— Товарищ лейтенант, в роще немцы. Я вдоль кабеля шел, порыв искал. А он, гад, бах в меня. Хорошо — промахнулся!

— Где немцы? — недоверчиво спросил Куржаков. — Ты мне панику не наводи!

— Вон в той роще.

— Откуда там немцы? Мы недавно проходили через эту рощу.

— Так стреляли же в меня!

— Сколько их?

Связист помялся:

— Одного я видел.

— Лейтенант Ромашкин, — приказал Куржаков, — возьми отделение, прочеши рощу.

Василий, хоть и устал за день, отличиться всегда был готов. Прихватив отделение, он впереди всех поспешил за связистом, который все тараторил:

— Я только вышел на поляну, а он в меня — бах! Я вдоль кабеля шел...

— А ты почему не стрелял?

— Так у меня винтовка на ремне за спиной.

— Снял бы!..

— Я снял, а потом думаю: кто знает, сколько их там? Может, десант целый. Убьют меня — и наши их не обнаружат. Решил доложить.

— Правильно сделал.

Василия и его группу встретил пожилой небритый старшина-артиллерист.

— За немцем, товарищ лейтенант?

— А вы откуда знаете?

— Это наш немец.

— Как ваш?

— Его самолет сбили, а он с парашютом сиганул. Вот и держим в окружении. Пока патроны не расстреляет, брать не будем. Зачем людей губить? Он тут

рядом, глядите.— Старшина слепил снежок, кинул в заросли молодых елочек. Оттуда щелкнул пистолетный выстрел.— Нехай все патроны расстреляет.

— Зачем же вы связиста на него пустили?

— О, так это ты утикал? — засмеялся старшина, разглядывая связиста.— Мы его не пустили, товарищ лейтенант, он не по дороге шел, а по целине, мы не заметили сначала. А когда утикал, стали звать, так он и нас, наверное, за немцев принял.

— Вот видите, старшина, связист утек, и немец может уйти. Тем более уже смеркается. Надо сейчас брать. Он один — это точно?

Старшина подтвердил.

— В цепь разомкнись! — скомандовал Ромашкин.— Стрелять выше головы! Прижмем к земле, может, живым захватим.

Красноармейцы защелкали затворами, недоверчиво поглядывая на лейтенанта.

— Стрелять?

— Огонь!

Выстрелы хлестнули по лесу, и звонкое эхо, как ответный залп, донеслось издалека. Бойцы, с хрустом обламывая корку на снегу, пошли в лес.

— Еще стрелять? — весело крикнул ближний к лейтенанту боец.

— Да стреляйте, чего спрашиваете, на войну приехали!

Красноармейцы заулыбались и с явным удовольствием стали беспорядочно палить в гущу деревьев.

Ромашкин не слышал ответных выстрелов и удивился, когда боец, который весело спрашивал, стрелять или нет, вдруг ойкнул и упал.

— Что с тобой?

— Что-то ударило.— Боец прижимал руку к бедру, а когда отнял — рука была в крови.

— Ранен я, товарищ лейтенант,— удивленно и виновато сказал он.

— Перевязывайся. Сейчас мы его возьмем. Вперед! — властно крикнул Василий, опасаясь, как бы раненый не повлиял на боевой дух красноармейцев.— Вперед! — И побежал к зарослям.

— Лейтенант, лейтенант! — звал его старшина-артиллерист, поспешая следом.— Не надо бы так! И себя и людей погубишь...

Но Ромашкина уже охватил азарт. Пробежав сквозь низкие елочки, он вдруг увидел перед собой

немца. Одежда на летчике была изорвана и кое-где обгорела, белые волосы трепал ветер, в голубых глазах — никакого страха. У летчика кончились патроны, а то бы он выстрелил почти в упор. Сейчас немец стоял с ножом в руке.

Ромашкин крикнул своим:

— Не стрелять! — И сам остановился, не зная, что делать, как же брать в плен, ведь немец будет отбиваться ножом.

Старшина-артиллерист спрятал улыбку, подошел к бойцу, буднично сказал:

— Дай-ка винтовку...

Взял ее, как дубинку, за ствол, спокойно, будто делал это много раз, подошел к немцу и, когда тот взмахнул ножом, ударил его бережно прикладом по шее. Немец упал. Старшина великодушно молвил:

— Теперь берите.

До траншеи летчика тащили под руки, волоком, он еще не пришел в себя. Ромашкин радостно доложил Куржакову:

— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил, немец взят живым. У меня ранен один боец.

— Кто? Куда ранен?

— Да я, собственно, фамилию его не запомнил. В ногу вроде бы. — Ромашкин даже не смутился, ему все это казалось неважным, главное, он немца поймал живого! Летчика!

А Куржаков, явно желая смазать боевую заслугу Василия, продолжал все о том же:

— Где раненый?

— Ведут его. Отстал.

— Перевязку сделали?

— Да, сделали. Вы немца оглядите, может быть, он офицер.

— Чего мне глядеть? Жаль, не добились гниду. Теперь будет в тылу хлеб жрать, который лучше бы твоей матери отдали. Я бы их, гадов, ни одного живым не брал.

А летчик между тем пришел в себя. Он сел на снег, обвел красными глазами бойцов, которые его с любопытством рассматривали, потом вдруг закрыл лицо испачканными в гари руками и зарыдал. Ромашкину стало жаль его. А немец, немного порыдав, вскочил и стал выкрикивать, как на митинге, какие-то фразы. Ромашкин в школе изучал немецкий: поняв отдельные слова, разобрал и общий смысл.

— Я не боюсь вас, русские свиньи! Я, майор Шранке, презираю вас! Со мной недавно говорил сам фюрер! Я кавалер Рыцарского креста! Я не боюсь смерти! Хайль Гитлер! Хайль! Хайль!..

Ромашкина очень удивило такое поведение пленного. Никто из русских даже не подозревал, какой крах переживал сейчас пилот. Беда даже не в том, что сбили. Совсем недавно произошло следующее.

Рано утром Гитлер подошел к огромному полированному приемнику — подарок фирмы «Телефункен» — и повернул ручку. Бодрая, ритмичная музыка русского военного марша заполнила комнату. Сквозь музыку пробивались глухие шаги торжественно проходящего строя, слышался неясный говор, выкрики далеких команд.

Гитлер сразу все понял и быстро подошел к телефону. Ругать приближенных не было времени. Он приказал немедленно вызвать штаб группы «Центр», фельдмаршала Бока. Услыхав чей-то голос, стараясь быть спокойным, чтоб не напугать отозвавшегося, ибо это лишь затруднит дело, сдержанно сказал:

— Здесь у телефона Гитлер, соедините меня с командиром ближайшей бомбардировочной дивизии.

В трубке ответили: «Есть», и некоторое время Гитлер слышал обрывки фраз, щелчки переключения на коммутаторах. В эти секунды в нем, будто переключаясь со скорости на скорость, разгорался гнев. «Мерзавцы, обманывают не только красные, но и свои. Ну погодите, я вам покажу!»

Взволнованный голос закричал в трубке:

— Где, где фюрер, я его не слышу!..

— Я здесь,— сказал Гитлер.— Кто это?

— Командир двенадцатой бомбардировочной авиадивизии генерал...

— Вы осел, а не командир дивизии. У вас под носом русские устроили парад, а вы спите, как свинья!

— Но погода, мой фюрер... она нелетная... снег,— залепетал генерал.

— Хорошие летчики летают в любую погоду, и я докажу вам это. Дайте мне немедленно лучшего летчика вашей дивизии!

Лучшие летчики были далеко на полковых аэродромах, генерал, глядя на трубку, поманил к себе офицера, случайно оказавшегося в кабинете. Офицер слышал, с кем говорил командир дивизии, лихо представился:

— Обер-лейтенант Шранке у телефона!

Гитлер подавил гнев и заговорил очень ласково, он вообще разносил только высших военных начальников, а с боевыми офицерами среднего и младшего звена всегда был добр.

— Мой дорогой Шранке, вы уже не обер-лейтенант, вы капитан, и даже не капитан, а майор. У меня в руках Рыцарский крест — это ваша награда! Немедленно поднимайтесь в воздух и сбросьте бомбы на Красную площадь. Об этом прошу я — ваш фюрер. Этой услуги я никогда вам не забуду!

— Немедленно вылетаю, мой фюрер! — воскликнул Шранке и побежал к выходу. В голове его мелькали радужные картины: он бросает бомбы на Красную площадь, фюрер вручает ему Рыцарский крест, вот он уже генерал, фюрер встречает его с улыбкой, вот уже рядом сам рейхсмаршал авиации Геринг, вот уже... Да разве можно предвидеть все, что последует после того, как сам фюрер сказал: «Я никогда не забуду этой услуги!»

Услыхав потрескивание в трубке, командир дивизии поднес ее к уху, там звал его голос Гитлера:

— Генерал, генерал, куда вы пропали?

— Я здесь, мой фюрер, — сказал упавшим голосом генерал и тоскливо подумал: «Сейчас он меня разжалует». Гитлеру действительно очень хотелось крикнуть: «Какой вы, к черту, генерал, вы полковник, нет, даже не полковник, а простой майор интендантской службы!» Но Гитлер понимал: сейчас главное — успеть разбомбить парад, времени для разжалования и нового назначения нет, надо подхлестнуть этого дурака генерала, чтобы он, охваченный беспокойством за свою шкуру, сделал все возможное и невозможное.

— Генерал, даю вам час для искупления вины. Если вы не сбросите бомбы на Красную площадь, я вас разжалую и сниму с должности. Немедленно вслед за рыцарем, которого я послал, вылетайте всем вашим соединением. Ведите его сами. Лично! Жду вашего рапорта после возвращения. Все!

Вновь испеченный майор Шранке через несколько минут был уже в воздухе. Он видел, как вслед за ним взлетали тройки других бомбардировщиков. «Все равно я буду первый. Все равно фюрер запомнит только меня», — счастливо думал Шранке. Облачность была плотная, ничего не видно вокруг. «Ни черта, — весело

думал Шранке,— это для меня же лучше. Пойду по компасу и по расчету дальности». Он приказал штурману тщательно проделать все расчеты для точного выхода на цель.

Шранке уже слышал, видел, представлял, как по радио, в кино, в газетах будут прославлять рыцарский подвиг аса Шранке, который один сумел сбросить бомбы на Красную площадь.

Шранке не долетел до Москвы, его самолет и еще двадцать пять бомбардировщиков сбили на дальних подступах, остальные повернули назад.

Шранке не мог вынести таких потрясений за короткий срок: разговор с фюрером, награда, звание майора, надежды на лучезарное будущее и — плен, может быть, смерть. Все рухнуло, стало куда хуже, чем до разговора с Гитлером. Шранке явно сходил с ума, он то истерически кричал, то плакал, наконец повалился на спину и забился в конвульсиях, ссрая пена с кровью выступила на его губах.

— Псих какой-то,— растерянно сказал Ромашкин.

— Вот видишь, а ты за него бойца загубил,— упрекнул Куржаков.— Отправляйте в тыл раненого и этого.

* * *

Ночью лейтенант Куржаков вызвал взводных на свой наблюдательный пункт.

— Собирайте бойцов. Через тридцать минут двинемся в первую траншею. Будем менять тех, кто там уцелел. Наш участок вот здесь.— Куржаков показал на карте, где должна занять оборону рота и каждый взвод.— На месте уточню. Ну, братцы, завтра будет нам крещение.

Роты во мраке шли по разбитой проселочной дороге, под снегом бутрились застывшие с осени комья грязи. Впереди было тихо и темно, только иногда взлетали ракеты. Чем ближе к передовой, тем больше воронок — широких и малых, старых, с замерзшей водой, и совсем свежих, черных внутри. Деревья были похожи на столбы, ветви их срезало осколками снарядов. Два черных дымящихся квадрата Ромашкин принял за домики, в которых топят печки, но это были подбитые догорающие танки.

Первая траншея показалась Ромашкину пустой. «Кто же здесь воевал? Почему фашисты не идут

вперед? Тут никого нет». Но за третьим поворотом траншеи встретил красноармейца неопределенного возраста, с небритым и, видно, давно не выдавшим воды и мыла лицом. Уши его шапки были опущены и тесемки завязаны, испачканная землей шинель, покрытая на груди инеем, походила на промерзший балахон.

— Ты здесь один? — удивленно спросил Ромашкин.

— Зачем один? Народ отдыхает. Вон там, в землянке.

— Показывай где. Мы сменять вас пришли.

— Это хорошо. На формировку отойдем, значит.— Красноармеец подошел к плащ-палатке, откинул ее и крикнул в черную дыру:

— Эй, народ, выходи, смена пришла!

Из блиндажа вылезли четверо в грязных шинелях, с лицами, испачканными сажей коптилок.

— Смена? — спросил один.— Ну, давай принимай, кто старшой?

— Командир взвода лейтенант Ромашкин.

— Командир взвода рядовой Герасимов. Пойдем, лейтенант, покажу тебе участок.

Василий пошел за ним по траншее. Окопы здесь были не такие, как оставленные позади, там — ровенькие, вырытые, будто на учениях, а здесь — избытые снарядами, кое-где полузасыпанные, с вырванными краями, с глубокими норами, уходящими под бруствер.

Герасимов шел вперевалячку, не торопясь, как усталый мужичок после утомительной работы, он похозяйски, просто объяснял лейтенанту, говорил «ты», будто не знал об уставном «вы».

— Место перед тобой будет ровное, танки идут свободно. Справа овраг, окопов наших там нету, стало быть, разрыв с соседом. Поставь у оврага для пехоты пулемет. Для танков мины уже накиданы. Как забомбят или артиллерия начнет гвоздить, людей вот в эти норы поховай,— он показал на дыры в передней стене траншеи.— Когда танки через голову пойдут, там — в этих норах — бутылки с горючкой припасены. Только гляди: кверху горлом кидайте, а то у нас один себя облил, сгорел сам заместо танка.

Когда вернулись к землянке, Василий, как учили на курсах, хотел начертить схему обороны и подписать: сдал, принял.

— Ни к чему это,— сказал Герасимов,— да и не кумекаю я в твоих схемах, товарищ лейтенант. Позицию тебе сдал. Мы ее удержали. Теперь ты держи, пока тебя сменят. Ну прощайте.

— А где же твой взвод?

— Вот он, весь тут. Три дня назад у нас и лейтенант был и сержанты...

Герасимов махнул рукой, и четверо красноармейцев двинулись за ним так же, как он, раскачиваясь из стороны в сторону.

Василий глядел им вслед и не мог понять, как эти невзрачные, закопченные мужички не пропустили механизированную лавину немцев? Он представлял фронтовых героев богатырями, грудь колесом, в очах огонь — он и Куржакова сначала невзлюбил за то, что тот не был таким. И вот, оказывается, бьют фашистов простые мужики вроде этого Герасимова. Ромашкину жаль было расставаться с образом лихого, бесстрашного воина, наверное, потому, что даже перед лицом смерти человек стремится к хорошему, ему не безразлично, как он умрет и что скажут о нем люди.

Василий развел отделения по траншее, выбрал огневые позиции для пулеметов, назначил наблюдателей. Подумал: «Секрет бы надо выслать, вдруг ночью немцы пойдут». Но, посмотрев на загадочную темную нейтральную зону, решил: «Вышлю завтра, огляжусь, где и что».

До утра Василий так и не смог заснуть. Сначала зашел Куржаков, проверил, как заняли оборону. Потом заглянул комбат — длинный, худой капитан Журавлев. Когда они ушли, Ромашкин все равно не лег, то и дело выходил из землянки, прислушивался, вглядывался во мрак. Казалось, фашисты могут подползти и броситься в траншею.

Но впереди было тихо. «Нсужели враг так близко, на этом вот черном поле? — думал Василий.— Ну ничего, завтра мы им покажем! Пусть только сунутся».

Лишь перед самым утром, когда чуть начало сиять, Ромашкина свалил сон, он забылся, сидя в темной прокуренной землянке.

Проснулся Василий от оглушительного грохота. Через края плащ-палатки, которая закрывала вход, сочился утренний свет. Будто горы рушились там, снаружи, страшно было выходить. Но Ромашкин, выхватив пистолет, все же выскочил. С неба неся

пронзительный вой, который сковывал все мышцы и вжимал в землю. Втянув голову в плечи, Ромашкин нашел в себе силы посмотреть вверх. Оттуда черными птицами стремительно шли вниз, один за другим, пикирующие бомбардировщики, их было очень много, они неслись стремительно, затем, будто присев, сбрасывали бомбы и круто уходили ввысь. Бомбы тоже были, как самолеты. Потом они тяжело бухались в землю, взрывались, земля вздрагивала, казалось, даже прогибалась от ударов и вскидывалась черными конусами с огнем и дымом. А самолеты все были и были, скатываясь вниз, будто по крутой горке на санках.

«Сколько же их там? — подумал Ромашкин. — Надо сосчитать». Он приподнял голову и обнаружил, что пикировщиков не так уж много. Они построились вертикальной каруселью, непрерывно кружили, бросали не все бомбы сразу, а порциями. На смену одной эскадрилье пришла другая и тоже закружила, завывала. Едкий дым от разрывов, запах гари и взрывчатки затянул траншею. Когда, отбомбившись, эскадрилья улетела, Ромашкин собрался было вздохнуть с облегчением, но взрывы все долбили и долбили землю, она все вздрагивала и вскидывалась черными веерами. «Откуда же летят бомбы? Самолеты ушли... — поразился Ромашкин и понял: — Это бьет артиллерия!»

Два снаряда угодили в окоп. Кто-то по-звериному завыл, новый разрыв заглушил этот крик. «Добило, — с щемящей жалостью подумал Ромашкин. — Кого же?»

Одиноким испуганным голосом вдруг закричал: «Танки справа!» И Василий только теперь, придя в себя, вспомнил: бомбит авиация и бьет артиллерия для того, чтобы подвести сюда танки и пехоту. А он — командир и не должен их пропустить. Еще не увидев наступающих — впереди все было затянуто дымом, — Ромашкин закричал:

— К бою! Приготовить гранаты!

Ромашкину было страшно, однако в нем еще не угасли задор и желание отличиться. «Сейчас я вам покажу! — Василий огляделся: кто же оценит его мужество? В траншее никого не было, все забились в норы. — А кто же кричал про танки? Наверное, наблюдатели, я запретил им прятаться в щели».

Снаряды рвались перед траншеей, брызгали землей и осколками или, взвизгнув над самым ухом, взрывались позади и тоже обсыпали землей и черным снегом.

Пули свистели сплошной метелью. Василию страшно было взглянуть через бруствер, но он заставил себя приподняться.

В нейтральной зоне Ромашкин сначала ничего не увидел, кроме грязного снежного поля, покрытого воронками, будто оспой. «Где же танки? Ах, вот они!» Вдали Ромашкин заметил коробки, похожие на спичечные, они двигались тремя линиями в шахматном порядке. Их было много, и казалось, все идут на взвод лейтенанта Ромашкина. Пехота врага еще не показывалась.

Разрыв снаряда оглушил Ромашкина. Он упал, но успел увидеть — в конце траншеи сорвало с землянки бревно, и они, легкие, будто не настоящие, полетели высоко вверх, и все заволокло дымом. Ромашкин, шатаясь, поднялся и подбежал к землянке. То, что он увидел, заставило его оцепенеть: люди, потеряв свои очертания, были размазаны по стенам. В черной копоти было много красного и куски чего-то ярко-белого. Ромашкин в ужасе побежал прочь. Спотыкаясь об убитых и раненых, он бежал по траншее и с отчаянием думал: «С кем же я буду воевать? Немцы еще не приблизились, а взвода уже нет!» Только теперь Ромашкин понял, почему в газетах писали о мужестве бойцов-одиночек — то артиллерист остался у пушки один, то пулеметчик стрелял из двух пулеметов, то красноармеец вступил в бой с тремя танками. «Значит, бомбами и снарядами фашисты перемешивают наших с землей и лишь тогда идут в атаку! Как же с ними воевать? Они приходят в траншеи, когда в них почти нет живых! А где же наша авиация, артиллерия? Почему нас не прикрывают?»

Ромашкин поглядел в небо — там кружили темные крестики, звука моторов не было слышно из-за артиллерийской канонады. «Значит авиация есть!» Да и среди приближающихся танков то и дело вскидывались черные фонтаны земли. А один танк уже дымил, и ветер тянул черно-белый шлейф через поле. «Значит, и артиллерия наша бьет! Чего же я паникую? Людей побито?..— Ромашкин вспомнил пятерых солдат, которых сменил его взвод.— Они устояли. Неужели мы не выдержим?» Он пошел по траншее, выкрикивая:

— Кто живой, отзовись!

— Я живой — Оплеткин!

— Я тоже — Кружилин!

— И я пока цел, товарищ лейтенант.

— Здесь живые! — кричали из глубоких нор.

У Ромашкина легче стало на душе. «Есть народ. Есть с кем воевать!»

— Сидите пока в щелях, — приказал он. — Я подам сигнал, когда подойдет близко.

— Вы бы сами схоронились. Наблюдатели есть, — посоветовал Оплеткин.

— Убиты уже наблюдатели, — сказал Ромашкин, глядя на безжизненные тела на дне траншеи.

Прибежал запыхавшийся Куржаков, быстро окинул своими цепкими зелеными глазами Ромашкина, нейтралку, танки, окоп. Он вроде бы помолодел и даже улыбался. Ни разу еще не видал его Ромашкин таким веселым.

— Ну, как ты тут? — весело спросил Куржаков, будто не было никогда между ними ни вражды, ни драки.

— Ждем!

— Сейчас пожалуют. Людей много побило?

— Полвзвода уже нет.

— Это еще ничего. У других хуже. — Куржаков перестал улыбаться. — Дружков твоих — Карапетяна, Сеницкого, Сабурова — уже накрыло.

— Ранены? — воскликнул Василий.

— Начисто. Ну, давай готовься к отражению танков. Бутылки, связки гранат чтобы под рукой были. — Куржаков опять улыбнулся и весело сказал, кивнув на пистолет, который держал Ромашкин: — Ты спрячь эту штуку. Возьми вон винтовку убитого. Она дальше бьет и в рукопашной надежнее. Чудно: командир лучше всех во взводе стреляет, а ему винтовка по штату не положена. Ну ладно, держись! Назад ни шагу! В случае чего пришлешь связного. — Куржаков, пригибаясь, побежал назад по ходу сообщения.

Ромашкин никак не мог представить товарищей мертвыми. Казалось, Карапетян откуда-то издалека смотрел на него черными глянцевыми очами, рядом смеялся Сеницкий и хмурил белесые брови Сабуров, а доброта так и растекалась по его простому деревенскому лицу. «Неужели они мертвы? Какие они теперь? Как эти, неподвижные, на дне траншеи? Или как те, размазанные по стенкам блиндажа? Да зачем это знать? Их уже нет, вот что непоправимо. Они не дышат, не смеются, не существуют...»

Танки приблизились, и по траншее, вдобавок к немецкой артиллерии и минометам, захлестали снаряды, пущенные из танковых пушек: выстрел — разрыв, выстрел — разрыв — почти без паузы.

Василий взял винтовку убитого наблюдателя, вложил пистолет в кобуру и приподнялся над бруствером. «Где же пехота? Где эти сволочи, которых так хочется бить?»

Позади танков, плохо различимые, в зеленоватой одежде, шли цепочкой автоматчики. Они строчили очередями, упирая автоматы в живот. Ромашкину стало страшно. Его испугали не танки, не цепь пехоты, а именно это спокойствие. Приближались настоящие солдаты, а не трусливые вояки с газетных карикатур. Гитлеровцы шли, как на работу, он понял: они знали свое дело и намеревались сделать его хорошо.

— К бою! — закричал Ромашкин и приложил винтовку к плечу. — По фашистам — огонь! — скомандовал он себе и красноармейцам, которые выскочили из брустверных нор. Они уже оценили, что лейтенант берег их от артобстрела, и теперь понимали: если зовет — медлить нельзя.

Ромашкин никак не мог поймать в прорезь прицела зеленую фигурку — то ли рука дрожала, то ли земля. Ударил неподалеку снаряд, пришлось присесть. Только поднялся, другой снаряд хлестнул левее. Не успел выпрямиться, прямо над головой чиркнула по брустверу автоматная очередь. «Сейчас они свалятся на голову, специально не дают подняться...» Ромашкин опять закричал:

— Огонь!

И, собрав все силы, все же выставил винтовку и принялся стрелять, почти не целясь. Первая линия танков была рядом. Пехота шла позади третьей. Танки лязгали и скрежетали гусеницами. Ромашкину казалось — три машины нацелились прямо на него. Он все же не потерял самообладания, скомандовал:

— Приготовить гранаты и бутылки!

И сам выхватил из ниши тяжелую зеленую бутылку. «Наверное, из-под пива», — мелькнуло в голове. Только поднялся, как тут же увидел чистые, надраенные траки гусеницы. Бросить бутылку у Ромашкина уже не хватило сил, он как-то сразу обмяк и упал лицом вниз. Танк, рыча, накатился на траншею, обдал горячей гарью, скрежеща и повизгивая, полез дальше.

«В спину удобнее, у него позади нет пулемета», — вспомнил Ромашкин. И, стараясь оправдать свою секундную слабость, ухватился за эту мысль: упал он для того, чтобы перехитрить танк. Вскочив, Василий метнул бутылку в корму танка, грязную, покрытую копотью и снегом. Бутылка разбилась, слабо звякнули осколки. Но пламя, которое ожидал увидеть Ромашкин, не вспыхнуло. Все машины первой линии прошли невредимыми через траншею.

«Что же это? Почему танки не горят?» — растерянно думал Ромашкин. Он взял связку гранат — четыре ручки, как рога, в одну сторону, и одна, за которую держать, в противоположную. Связка была тяжелой. Ромашкин кинул ее вслед удаляющемуся танку, целясь в корму. Но связка, не пролетев и половины расстояния, упала на грязный снег. Ромашкин присел, чтобы не попасть под свои же осколки.

Рыча, приближалась вторая линия танков. Сквозь гудение моторов слышался крик пехоты.

И тут словно из-под земли выскочил Куржаков.

— Вы что, черти окопные, заснули? Почему пропустили танки? — Увидев Ромашкина, искренно удивился: — Ты живой? А почему пропустил танки? Пристрелю гада!.. — закричал Куржаков.

— Не загораются они. Я бросал бутылки, — виновато сказал Ромашкин.

— Бросал, бросал! А куда бросал? — кричал Куржаков так, что жилы надувались на шее.

Холодея от ужаса, Василий вспомнил: «Бросить бутылку надо на корму так, чтобы горючка затекла в мотор».

— Да что с тобой время терять! — Куржаков схватил бутылку и побежал наперерез танку — тот выходил на траншею немного левее. Ромашкин тоже с бутылкой ринулся за ним. Куржаков пропустил танк, вlepил бутылку в дымящую корму и тут же лег. Ромашкин метнул свою бутылку и, так как бежать было некуда, свалился на ротного.

Куржаков сразу завозился, сбрасывая с себя Ромашкина, и вдруг стал смеяться.

— Ты чего? — удивился Ромашкин.

— Бутылки-то не гранаты — не взорвутся, а мы с тобой, два дурака, улеглись.

Без всякой паузы Куржаков, стараясь перекрыть шум боя, скомандовал взводу:

— По пехоте — огонь! — Он стал стрелять, быстро двигая затвор винтовки.

Расстреляв обойму, Куржаков спросил:

— Где твои пулеметы, почему молчат?

Василий кинулся туда, где перед боем поставил ручные пулеметы. Самый ближний оказался на площадке, но пулеметчик, раненный и перебинтованный, сидел на дне траншеи. «Когда он успел перевязаться?» — удивился Василий и спросил:

— Ну, как ты? Стоять можешь?

— Могу, — ответил пулеметчик.

— Так в чем же дело? Надо вести огонь, — сказал Ромашкин, помог бойцу встать к пулемету, а сам побежал дальше.

Второй пулеметчик был убит. Василий прицелился и застрочил по зеленым фигуркам. Они закувыркались, стали падать. Первый пулемет тоже бил короткими очередями, и немецкая пехота залегла.

— Ага, не нравится! — воскликнул Ромашкин и прицельно стал бить по копошащимся на снегу фашистам.

Подбежал веселый Куржаков:

— Видишь — дело пошло! Смотри, наш танк разгорелся...

Ромашкин оглянулся и увидел охваченный огнем, метавшийся по полю танк. Другой, со свернутой набок башней, дымил густым черным столбом. Правее и левее горело еще пять машин, это поработали артиллеристы.

Вдруг снаряды накрыли фашистов, залегших перед траншеей. В перерывах между артналетами они стали убегать из-под огня назад, к третьей линии танков, почему-то остановившейся. И тут из-за леса вылетели штурмовики с красными звездочками на крыльях и пошли вдоль строя немецких машин. Частые всплески от разрывов бомб, вздыбившийся снег, земля и дым заволокли всю нейтральную зону. Сделав еще заход, штурмовики улетели. В поле чадили и пылали огнем подбитые танки. В одном из них рванули снаряды, бронированная коробка развалилась, из нутра ее вырвались яркие космы огня.

— Так держать! — сказал довольный Куржаков и добавил: — Но учти: ты должен все делать сам. Я за тебя взводом командовать не буду. — Повернулся и ушел на свой наблюдательный пункт.

«Зачем он так?.. — пожалел Ромашкин. — Вроде бы все наладилось, и опять обидел. Но, с другой стороны, он прав, без него дело могло кончиться плохо. А я, лопух, растерялся, даже как бутылки бросать забыл».

До вечера отбили еще одну атаку. Ромашкин чувствовал предельную слабость: сил не осталось, даже шинель казалась тяжелой. Вспомнил: «Сегодня мы не завтракали, не обедали, не ужинали». Вспомнил и ощутил, что совсем не хочется есть. Попить бы только. Чаю бы крепкого, горячего. Ромашкин обошел уцелевших солдат, сосчитал убитых, велел отнести их в лошинуку позади траншеи. Вспомнил раненых — они сами, без помощи ушли в тыл. Он глядел на почерневшие, осунувшиеся лица красноармейцев, и его поразило сходство с теми, которых они сменили. Теперь и его бойцы ходили, как те, устало, вразвалочку, шинели на них испачканы землей и гарью. «Вот и мы стали чернорабочими войны», — подумал Ромашкин, и его охватила грусть оттого, что война совсем не такая, какой он представлял ее. «Откуда же правду о войне знала та женщина в военкомате? Откуда знали другие, они ведь никогда не видели фронта? И почему я не знал всего этого?»

Когда начало смеркаться, за Ромашкиным прибежал связной.

— Командир роты вызывает.

На НП Василий встретился с тремя сержантами — это были новые командиры взводов. Кроме Ромашкина, ни один взводный не уцелел.

— Хватит мне к вам бегать, — беззлобно сказал ротный, и Ромашкин понял: в трудные минуты Куржаков бывал в каждом взводе. — Решил вызвать вас. Доложите о потерях.

Докладывали по очереди — по номерам взводов.

— Восемь убитых, четверо раненых, — сообщил Ромашкин.

— Раненых обычно бывает в два раза больше, а у тебя наоборот, — сказал Куржаков.

— В землянке сразу шестерых одним снарядом, — стал оправдываться Василий.

— А ты куда смотрел? Людей на время артобстрела надо рассредоточить по лисьим норам, пусть сидят. Будет прямое попадание — убьет одного, а не как у тебя — сразу целое отделение.

Куржаков решил не ругать лейтенанта в присутствии сержантов, но все же наставлял:

— Или вот еще у некоторых с бутылками не получилось. Бросают, понимаешь, а танки не горят. Надо на моторную часть кидать. В башню или на гусеницы — бесполезно.

В землянку, согнувшись, влез комбат Журавлев:

— О, все начальство в сборе! Вовремя я пришел. Ну как, отцы-командиры? Живых накормили? Мертвые похоронены?

— Кормим и считаем живых. Мертвым спешить некуда,— ответил Куржаков.

— Сколько людей осталось?

— Полторы наберется.

— Сколько танков подбили?

— Два.

— У тебя же семь на участке роты стоит.

— Пять артиллеристы сожгли. Моих два.

— Считай все.

— Что же получится, я семь и артиллеристы семь укажут — в донесении четырнадцать будет. Кому это надо?

— Ты давай не мудри,— холодно сказал Журавлев,— уничтожено семь — так и докладывай.

— Моих два,— упрямо сказал Куржаков, и ноздри его побелели.

— Ну ладно, математик,— сердито сказал капитан.— Получи вот карты. Сегодня прислали. Начштаба в третью роту понес, а я для вас прихватил.— Журавлев, шелестя картами, стал подбирать листы, проверяя маркировку.

— А эти зачем? — спросил Куржаков, показывая два листа с окраинами Москвы.

Журавлев понял скрытый смысл вопроса, ответил:

— На всякий случай.

— Для меня такого случая не будет,— сказал Куржаков.— И взводным моим эти листы не давайте. Я пристрелю каждого, кто попытается.

Он протянул комбату листы. Журавлев какой-то миг молча смотрел на Куржакова, но листы все же взял.

Ромашкин возвращался в свою траншею и думал о Куржакове: «Что за странный человек? В бою улыбается, когда затишье — на людей рычит. Даже комбату резко отвечал...»

Ромашкин шел по хрустящему снегу, видел редкие ракеты над передним краем и цепочки трассирующих

пуль. Он думал о том, что получил боевое крещение и теперь дела пойдут лучше, он стал настоящим фронтовиком. Вдруг одна из цепочек полетела прямо в него. Ромашкин не успел лечь, и огненная струя ударила в грудь. Падая, он ощутил, будто оса впиалась и грызет, жалит уже где-то внутри, подбираясь к самому сердцу.

«Как же так? Почему в меня?» — удивился Ромашкин. А оса жалила так больно, что померк свет в глазах.

Во взводе подумали — лейтенант засиделся у ротного. Куржаков считал, что Ромашкин давно отсыпается в своей землянке. А телефон взводному командиру не полагался.

Всю ночь пролежал на снегу Ромашкин, истек кровью, зачоченел. Наткнулись на него только на расвете, оттащили к воронке. Там не зарытыми еще лежали бойцы, расплюснутые прямым попаданием в блиндаж. Совсем недавно на них с содроганием смотрел сам Ромашкин.

Куржаков пришел взглянуть на последнего взводного своей роты. Да, он постоянно ругал Ромашкина и высказывал свою неприязнь, но в душе считал его наиболее способным из своих командиров и теперь искренно опечалился его смертью. Тем более что кое-чему уже научил лейтенанта Ромашкина, дальше с ним воевать было бы легче.

Куржаков расстегнул нагрудный карман Ромашкина, чтобы взять документы, и уловил слабое веяние живого тепла. Ротный искал пульс, не нашел и приложил ухо к груди лейтенанта.

— Куда же вы его волокете? — гневно спросил Куржаков оторопевших красноармейцев. — Живой ваш командир! Несите в санчасть. Эх вы, братья-славяне!

— Так задубел он весь, — виновато сказал Оплеткин.

— Ты сам задубел, в могилу живого тянешь! Несите бегом, может, и выживет.

* * *

Ромашкин открыл глаза и увидел пожилую женщину в белой косынке.

— Ну вот мы и очнулись, — сказала она.

Василий удивился — откуда женщина его знает? Кажется, это она когда-то назвала его верблюжонком. Но как она сюда попала? А вернее, как он попал к ней? Василий спросил:

— Это вы плакали в военкомате?

Она кивнула.

— Я, милый, я. Все бабы плачут в военкомате: кто живого провожает, кто похоронную получил.

— Нет, я про двадцать второе июня.

— Правильно,— согласилась женщина,— и в тот день я плакала.

Ромашкин понял — она соглашается потому, что он больной, нет, не больной, а раненый. Он вспомнил: однажды болел отец, и мама всему, что бы он ни говорил, поддакивала, со всем соглашалась. Тяжелобольным не возражают, им нельзя волноваться. Значит, я тяжелый.

— Он еще бредит,— сказал грубый голос рядом.

Василий посмотрел — на кровати сидел человек в нижнем белье.

— Нет, не бредит,— удивился тот,— на меня смотрит.

— Где я? — спросил Ромашкин женщину.

— В госпитале, милый, в госпитале.

— А в каком городе?

— В поселке Индюшкино.

Ромашкин улыбнулся.

— Смешное название.

— Смешное, милый. Ты больше не говори. Нельзя тебе.

— А почему? Куда я ранен? — И вдруг вспомнил, как огненная оса впилась в грудь. Она тут же заворочалась, стала жалить внутри. Ромашкина забил сухой, разрывающий грудь кашель.— Осу выньте, осу! — застонал он.

— Опять завел про осу,— сказал сосед нянечке.— Опять он поплыл, Мария Никифоровна.

— Это ничего,— ответила нянечка, поправляя подушку.— Уж коли в себя приходил, значит, на поправку идет.

Ромашкин лежал в полевом госпитале километрах в двадцати от передовой. Здесь были самые разные раненые: такие, кого не было смысла увозить в тыл — ранения легкие, несколько недель — и человек пойдет в строй; и такие, кого сразу нельзя эвакуировать, они

назывались нетранспортабельными. Их выводили из тяжелого состояния и уж потом отправляли дальше. Ромашкин был «тяжелым» не по ранению, а из-за простуды и большой потери крови.

Вскоре ему стало лучше. Теперь он уже не проваливался в темную мягкую пропасть, все время был в сознании. Только мучил раздражающий все в груди кашель. От этого кашля и сотрясения рана горела и кровоточила.

Пожилой военврач со шпалой на петлице, видневшейся из-под белого халата, весело говорил:

— Просто удивительно!.. В мирное время человек с таким букетом — сквозное ранение в грудь плюс крупозное воспаление легких — поправлялся, как минимум, месяц. А теперь неделя — и уже молодец.

— Еще через неделю и на танцы пойдет, — улыбаясь, сказала Мария Никифоровна, нянечка офицерской палаты.

Когда военврач ушел, раненые занялись разговорами. Василий знал только тех, кто лежал поблизости. Слева — капитан Городецкий, командир батареи, крепкий, рослый. У него и голос артиллерийский — громкий, зычный. Справа — чистенький, красивый батальонный комиссар Линтварев, тщательно выбритый, чернобровый, с волнистой темной шевелюрой. Ромашкину было приятно, что такой красивый, серьезный и, видно, очень умный комиссар лежит рядом. Комиссар нравился и своей учтивостью. Он всем говорил «вы», «извините», «пожалуйста», «благодарю вас».

Капитан Городецкий был груб, оглушал Ромашкина своим пушечным голосом, любил шутить, но шутки его не вызывали смеха. Когда Ромашкина сотрясал кашель, комбат вроде бы ворчал:

— Ты это брось, не прикидывайся, все равно на передовую отправят. — И бережно приподнимал Василия вместе с подушкой, помогал преодолеть приступ. — Кашляй не кашляй, загремишь в полк, только ветер позади завиваться будет.

Рядом с артиллеристом лежал приземистый, широкоплечий танкист, старший лейтенант Демин. Белобрысый, белобровый, даже зимой с розовым, будто обгоревшим на солнце, лицом, Демин был неразговорчив, целыми днями читал газеты и книги.

Других обитателей палаты Василий пока не знал. Некоторые из них, мотая свои тела на костылях, проходили мимо, но никто с Ромашкиным не разговаривал.

Госпиталь размещался в здании школы, командирская палата была большой, в ней поместилось пятнадцать кроватей. Дверь из палаты выходила в зал. Там, как в казарме, длинными рядами стояли койки, на них лежали красноармейцы в исподних пожелтевших рубашках.

В командирской палате пахло лекарствами, засыхающей кровью, из общего зала тянуло таким же запахом, но еще более густым, с ощутимой примесью гниющих ран и стиранных портянок.

Ромашкин со своей койки видел в зале небольшую сцену. На покоробившемся, облупленном по краям холсте, висевшем на сцене, был нарисован сельский пейзаж — березы, поля, деревушка на взгорке. «В точности моя школа, — думал Василий, — по одному проекту, наверное, построены. На такой же сцене мы получали аттестаты — Зина, Шурик, Ася, Витька. Где-то они сейчас? Надо написать Зине».

Размолвка, которая у них произошла, казалась теперь пустяковой. Василий помнил, как сказал Зине, что собирается поступать в авиационное училище, и как обидно она ответила: «Хочешь жить всю жизнь по командам ать-два?» Как далеко отодвинулось все это! Василий не мог вспомнить адрес Зины, улицу знал — Осоавиахимовская, а номер дома забыл. «Ну ничего, можно через маму узнать». Домой Ромашкин написал сразу, как только смог держать карандаш. «В следующем письме попрошу у мамы адрес и напишу Зине. Скорей бы пришел ответ, как там воюет папа. Не ранен ли?» Ромашкин вспомнил солдат, которых сменил его взвод, вспомнил своих бойцов, какими они стали за один день боя. «Неужели и папа такой?» Ромашкин не мог представить его таким, отец всегда ходил в наглаженном костюме, при галстукe — этаким интеллигентный, как мама называла в шутку, «руководящий товарищ из горисполкома».

Вечером в общем зале установили киноаппарат, повесили экран и приготовились крутить кино. Зрители лежали на своих кроватях. Ходячие командиры пришли со своими табуретками.

Когда готовились к сеансу, Ромашкин спал. Городецкий и Линтварев доигрывали партию в шахматы.

— Давай думай быстрее, я добыю тебя, пока журнал прокрутят, — басил комбат.

— Пожалуйста, — соглашался комиссар, — только не вышла бы у вас осечка.

Запустили киножурнал, а Ромашкин все еще не проснулся, ему приснился странный сон — будто стоит он на Красной площади, дирижер в белых перчатках машет руками, а перед ним отчаянно дерутся Куржаков и тот психованный немец-летчик, которого поймал Ромашкин. Немец и Куржаков колотят друг друга руками, зажатými в них пистолетами, ножами, выхватывают из-под ног брусчатку и бьют по голове этими камнями. А музыка все играет, и дирижер машет руками в белых перчатках. Василий проснулся. В комнате звучал парадный марш, а перед глазами была Красная площадь с войсками. Он не сразу понял, что показывают кинохронику — парад 7 ноября. Наконец сообразил, что происходит, и с любопытством стал всматриваться. «Может быть, покажут и меня? Крутились и возле нас операторы». На экране стояли войска, снятые откуда-то сверху, потом показали крупно суровые лица участников парада, их шапки и плечи были занесены снегом. Но себя Ромашкин не увидел.

— Я там был! — все же воскликнул Василий.

— Где? — спросил комбат.

— На параде.

— Молодец. Одобряем и будем ходатайствовать.

— О чем? — не понял Василий.

— Об отправке на передовую.

Ромашкин с досадой махнул рукой, Городецкий болтал все об одном: на передовую, на передовую... А на экране Сталин уже говорил речь. Он был виден по пояс, крупный, во весь экран, в фуражке и шинели, говорил спокойно и веско.

— Тогда же снег падал! — вспомнил и сказал изумленно Ромашкин. — Почему его нет на экране? И пар изо рта не идет у Сталина, а стоял мороз.

Сталин говорил долго, речь передавали полностью, поэтому и Линтварев, и Городецкий, оставив шахматы, могли убедиться — Ромашкин говорит правду.

— Видите, все войска в снегу, видите? Да у меня на шапке был целый сугроб. А мимо Сталина ни одна снежинка не пролетает. И пара нет. На морозе пар обязательно должен быть.

Линтварев резко поднялся:

— Вы, товарищ лейтенант, говорите, да не заговаривайтесь. Зачем вы пытаетесь породить какие-то сомнения насчет товарища Сталина? Вы, товарищ капитан, слышали его слова?

Комбат подошел к Василию, склонился над ним, глухо сказал:

— Ничего я не слышал. Бредит парень, а ты, комиссар, политику ему пришиваешь. Лежи, лейтенант, лежи спокойно. Сейчас я тебе водички подам.

Ромашкина стал бить кашель, он застонал от боли, но сознание было ясное.

— Нет, я все помню... Я же там был... Кых-ких.

Комбат моргал ему глазами: молчи, мол, не будь дураком. И Ромашкин понял.

Когда Линтварев куда-то вышел, Городецкий сказал:

— Ты поосторожнее с такими словами. Не то отправят тебя куда-нибудь подальше и в противоположную сторону от передовой.

— Почему вы всегда о передовой говорите как-то странно?

Городецкий улыбнулся, обнажив прокуренные желтые зубы, и стал рассказывать:

— С этим делом так было. Я служил на Дальнем Востоке. Ну, как началась война, все стали проситься на фронт. А командир полка никого не отпускал. Да от него это и не зависело. А был он мужик хитрый и всем обещал: «Кто проявит себя хорошо и окажется достойным, буду ходатайствовать об отправке на передовую». На стрельбах я и еще один комбат — капитан Чикунов — отличились. Командир полка сказал перед строем: «Буду ходатайствовать о направлении в действующую армию». А сам, конечно, не выполнил. Вот и пошла меж командиров поговорка — чуть что: «Будем ходатайствовать об отправке на передовую». Надолго прилипли эти слова. И я забыть их не могу.

Добрейшая Мария Никифоровна принесла Ромашкину из деревни домашнего молока, нагрела его, добавила «нутряного» сала и поила, приговаривая:

— Нутряное сало как рукой всю болезнь сымет. А молоко настоящее, не порошковое. В порошковом никакой силы нет. Налъешь в него воду — и все: вода была, вода и осталась. Нешто это молоко?

Ромашкину была приятна заботливость Марии Никифоровны. Но втайне он жалел, что за ним ухаживает старенькая нянечка. В большой палате ухаживали за ранеными да и к ним заходили молодые медсестры, с подведенными бровями и кокетливо пристроенными накрахмаленными платочками. Хорошо, если бы такая

постояла рядом, поговорила, прикоснулась к лицу или к руке. У Марии Никифоровны косынка тоже белая, только подвязана по-бабьи, узелком под подбородком. Старая нянечка замечала взгляды Василия в сторону молоденьких сестриц и радовалась — совсем ожил парень.

— Скоро на ноги поднимешься,— говорила она,— будем на танцы ходить. Ты со мной будешь фокстротить, как я выходила тебя.

Ромашкин смущался, но поддерживал шутку:

— Мы с вами румбу оторвем, тетя Маня.

Госпиталь пополнялся новыми ранеными. Стоны, ругань, крики слышались в большом зале и в классах. Вновь прибывшие приносили в дом свежесть морозного воздуха. Но через день, другой все входило в прежнюю колею. Многие тяжело раненные умирали — их уносили. Тем, кто выживал, облегчали страдания. А воздух наполнялся гнилостным запахом старых ран.

Ромашкин уже стал ходить. Когда показывали кино, он со своей табуреткой отправлялся в общую залу, шутил с молодыми сестрами.

В его палате появился новый сосед — старший лейтенант Гасанов. Ему оторвало стопу, но он еще не понимал этого, просил Ромашкина:

— Накрой ногу, мерзнет.

Ромашкин расспрашивал Гасанова о последних боях.

— Ты где был, на каком участке?

— Истру знаешь? Водохранилище там.

— Слышал.

— Вот его и удерживали.

— На берегу легче обороняться, это не то, что в открытом поле.

— Легче, говоришь? Оно же замерзло, как по земле ходить можно.

— Правильно. Да ты говори спокойно, не волнуйся.

— Как говорить спокойно, если оттуда нас выбили? Понимаешь, ночью по льду подошли, атаковали, захватили плацдарм. Вот на этом плацдарме меня и ранило в плечо и в ногу. Ты не видал, большая у меня рана?

— В бинтах все,— опуская глаза, врал Ромашкин.

— Ну ничего, зарастет. Так вот, понимаешь, они к нам по сплошному льду подкрались, а мы, когда

вышибали их, в атаку шли где по льдинам, а где вплавь между ними. Разбило все нашими и немецкими снарядами. Ух, и вода была! До сих пор нога мерзнет. Закрой, пожалуйста, будь другом.

Ромашкин сам уже ходил на перевязки и за лекарствами, подолгу задерживался в процедурной, разговаривал то с рыженькой белолицей Ритой, то с черноглазой татарочкой Фатимой. Мария Никифоровна теперь все время хлопотала у койки Гасанова, что-то ворковала ему про «танции», про теплый Ташкент, куда его скоро эвакуируют, а там — на родине — он непременно согреется.

Дни в госпитале тянулись однообразно и скучно. Раненые, в большинстве молодые парни, как только начинали ходить, искали развлечений. А что придумаешь в четырех стенах? Но все же забавлялись. У красноармейца Посохина не ладился желудок, ему делали клизмы. Как только он удалялся в процедурную для принятия очередной порции воды, несколько бойцов занимали все кабины в уборной. Посохин бегал вдоль дверей и с нарастающим смятением звал:

— Братцы, откройте! Ребята, нельзя же так!

Вся большая палата хохотала. Потом и Посохин смеялся, он был добродушный парень. Как он ни хитрил, как ни старался юркнуть в процедурную незамеченным, за ним приглядывали, и представление повторялось.

Другому бойцу положили в сапог щетку, и он, сунув босую ногу, испуганно заорал; третьему в компот подсыпали хины и долго ждали, пока он хлебнет этой смеси. За сестрами ухаживали наперебой, тут разгоралось отчаянное соперничество.

Просыпались рано, первым делом слушали радио — сводку Информбюро, потом с нетерпением ждали газеты. Батальонный комиссар Линтварев читал их последним. Давали по одному экземпляру «Правды» и «Красной звезды» на палату. Командиры быстро просматривали фронтовые новости. И когда газеты освобождались, Линтварев читал их от первой до последней строчки, что-то выписывал в толстый блокнот.

Иногда с ним горячо спорил танкист Демин.

— Ну все, немцы выдохлись! — сказал однажды Линтварев, прочитав какую-то заметку.

— И кто же это определил? — тут же откликнулся Демин.

— Объективный ход событий.

— А именно?

— Вот приводятся выдержки из немецких газет. Фашисты уже не сообщают о планомерных наступлениях, а говорят, будто на Восточном фронте свирепствуют морозы, что не позволяет проводить больших наступательных операций.

— Ну и что? — возразил Демин. — Правильно пишут — зимой воевать труднее, снега маневр сковывают. Немцы к тому же непривычны к нашим морозам.

Линтварев спокойно ждал, пока танкист выскажется, по его ироническому лицу Ромашкин видел — комиссар подготовил веское опровержение:

— К зиме суровой они непривычны, правильно вы говорите. Но где она, зима? Где морозы? Холоднее трех — пяти градусов еще и не было! Зима в этом году поздняя. Так что погода благоприятствует немцам. А почему они кричат о морозах? Ищут оправдание своим неудачам. Значит, выдохлись!

Ромашкин в споре не участвовал, но соглашался с Линтваревым — холодов действительно не было. Василий не раз выходил во двор госпиталя в одном синем байковом халате, дышал свежим воздухом.

— Очень хорошо, что Совинформбюро опубликовало такую статью, — убежденно говорил комиссар. — Это официальный документ. Придет время, историки откроют сегодняшний номер газеты «Правда» и увидят — не генерал Мороз, как утверждают немцы, остановил их, а мы — Красная Армия.

Ромашкин надел свой линялый старый халат, собрался на прогулку — не для того, чтобы убедиться в отсутствии мороза, а просто на очередную вылазку, тайком от сестер.

Он спустился на первый этаж и вышел за дверь. Голова закружилась от чистого холодного воздуха и едва уловимого запаха снега. Василий каждый день удлиннял прогулки и постепенно узнавал, что делается во дворе госпиталя, где какие службы, отделения.

Раньше он слышал стук молотков в большом сарае, в дальнем углу двора. Сегодня добрался и до этого сарая. Оттуда вышел такой же, как и он, выздоравливающий в синем теплом халате, подпоясанном куском бинта.

— Что здесь за мастерская? — спросил Ромашкин, надеясь, что и себе найдет какое-нибудь занятие от скуки.

— Шьем деревянные телогрейки для нашего брата, — ответил выздоравливающий.

— Чего? — не понял Ромашкин.

— А ты зайди, посмотри.

Василий заглянул за дверь, откуда пахнуло приятным теплом свежих стружек и опилок. В большом просторном помещении, прислоненные к стене, рядами стояли гробы, сбитые из свежеструганных досок.

Ромашкин отшатнулся.

— Не понравилось? — усмехнулся парень. — Есть и другая работа. Иди вот в лесок, там увидишь.

— Мне так далеко нельзя ходить.

— Подумаешь, даль — двести метров. Небось до Берлина собирался дойти, да немцы тебе маршрут укоротили, — съязвил боец.

Ромашкин обиделся, подумал о Линтвареве: «Вот какие разговорчики тебе, комиссар, надо слышать» — и ответил:

— Трепач. Совсем не думаешь, о чем болтаешь.

Выздоровливающий рассмеялся.

— Ничего, злее будешь. Это полезно.

Ромашкин вспоминал Куржакова. «Жив ли? Тоже все время про злость говорил. А в бою был веселый, улыбался. Я думал, пристрелит меня за танки, а он даже помог».

Еще через три дня Ромашкин вышел за ограду и добрался до того самого лесочка, где, он теперь знал, была работа для выздоравливающих. В лесочке оказалось кладбище. На большой поляне одинаковые могилы выстроились ровными рядами. «И мертвые в строю», — подумал Ромашкин. Большинство могил занесено снегом, но были холмики свежей, темной земли. Над всеми — старыми и новыми — возвышались пирамидки со звездочками. У свежего холма курили, опираясь на лопаты, выздоравливающие в полущубках и синих пижамных штанах, заправленных в сапоги. «Вот какую работу предлагал мне тот парень — могилы рыть... Ну и тип!»

Василий тихо побрел вдоль старых могил, читая фамилии. «Может быть, наши ребята — Карапетян, Сабуров, Синицкий — здесь похоронены? Хотя едва ли. Они же не были ранены. Их сразу. Где-нибудь в братской могиле зарыты». Ромашкин вдруг оторопел, увидев свою фамилию. Еще раз прочитал — «Рядовой Ромашкин П. Н.». Что-то холодное побежало от ног к сердцу. «Рядовой... П. Н. — Петр Николаевич... Не может быть! Почему не может? Всего три

дня пролежал Гасанов, и вынесли. Теперь ляжет вот в ту могилу, которую роют, и завтра уже будет написано: «Гасанов». Так и не узнал, что у него нет ноги...» Василий понял, как бы он ни хитрил, как бы ни уводил мысли в сторону, от беды ему не уйти — это инициалы отца, Ромашкина Петра Николаевича.

Василий побежал в госпиталь, влетел к лечащему врачу.

— Почему такой взъерошенный? — спросил военврач, привыкший видеть его спокойным.

— Вы не помните раненого Ромашкина? Пожилой такой. Худощавый, высокий. Его здесь лечили... Он там похоронен. Инициалы совпадают — П. Н., у моего отца такие же. Понимаете?

— Успокойся. Сейчас проверим. Какое звание у отца?

— Рядовой.

— Все ясно. Я его знать не мог: меня сразу закрепили за командирскими палатами. Идем.

В управлении госпиталя они зашли в тесную комнату со стеллажами. Там в папках лежали врачебные документы на выбывших раненых.

— Посмотрите, пожалуйста, на «Р» — Ромашкин, — попросил военврач старую женщину в очках.

Она пошуршала страницами около выступающей картонки с черной буквой «Р» и, выдернув папочку, подала доктору. Он полистал бумажки, жалостливо посмотрел на лейтенанта, тихо сказал:

— Да, это он. Все совпадает — Оренбург, имя, отчество, даже адрес. Екатерина Львовна, дайте, пожалуйста, лейтенанту стул. Садитесь, читайте. Здесь все сказано. В палату историю болезни дать не могу. Читайте здесь.

Василий раскрыл синюю папку. Прочитал: «Ф.И.О.— Ромашкин Петр Николаевич. Год рождения — 1903. Национальность — русский». «Зачем здесь нужна национальность?» «Партийность — беспартийный, — мелькало перед глазами. — Диагноз — сквозное ранение в грудь с повреждением сердечной сумки». «И я в грудь, и папа...» Буквы расплылись, будто бумагу намочили водой. И тут же Василий почувствовал, что слезы заливают глаза и уже катятся по щекам...

Остаток дня Василий пролежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку. Мария Никифоровна опять

хлопотала возле него. Соседняя кровать была пуста, на место Гасанова никого еще не положили.

— Сердечный ты мой, надо же случиться такому, — тихо приговаривала тетя Маня и гладила Василия по голове. Ее глаза были влажными, но слез уже не было — выплакала вчера, когда умер Гасанов. — Ну уймись, ты ведь большой, — просила она, как ребенка. — О себе подумай, о своем здоровье. Теперь и за себя и за него воевать придется. Уймись, сынок!..

С этого дня Ромашкин стал торопиться на фронт. Его торопливость была теперь не только от желания отличиться и показать свою удаль — нет, он еще хотел мстить за отца. У него что-то окаменело в груди, и, чтобы там стало легче, надо было, он понимал, скорее оказаться на фронте, бить фашистов, бить много и беспощадно.

Доктор говорил — необходимо еще с полмесяца лечиться, предлагал отпуск.

— Домой съездите, матери покажетесь, поможете горе перенести.

Встречи с мамой Василий даже испугался. Оказаться в квартире, где все будет напоминать отца, и знать, что он никогда не появится, казалось непосильным.

— Нет, что вы, какой может быть отпуск, — отрезанно сказал Василий, — только на фронт!

Он каждый день надоедал военврачу, перестал ходить к сестричкам в процедурную, замкнулся, похудел.

В это время пришло письмо от мамы. Охваченная страхом за его жизнь и здоровье, она расспрашивала — куда ранен, могут ли быть последствия? Об отце не писала ни слова. А сообщение о его смерти она получила из этого же госпиталья. Василий сам видел копию в той синей папочке.

«Если мама так поступает, значит, ей так легче», — решил он и ответил, что рана пустяковая, скоро он вернется на фронт и пришлет свой новый адрес. Смерть отца стала тайной, которую знали оба, и, чтобы облегчить страдания другому, каждый хотел взять на себя большую часть этого горя.

* * *

16 ноября началось новое наступление гитлеровцев на Москву.

В районе Яхромы, Солнечногорска фашисты бросили

в атаку много танков. На одном из участков наша оборона была прорвана. Ночью немецкие танки и пехота на бронетранспортерах ворвались в деревню Индюшкино.

Госпиталь спал. Как только раздались выстрелы и взрывы, раненые, кто мог, вскочили с постелей.

— Немцы!

— Откуда они здесь?

— Не знаешь, откуда бывают немцы?

— Гаси свет!

— Зачем? Это же не бомбежка.

— Наоборот, зажгите все лампы, пусть видят, что здесь госпиталь.

Прибежали из своих комнатушек врачи, сестры, торопливо завязывая тесемки халатов.

— Товарищи! — властно и громко крикнул батальонный комиссар Линтварев, он стоял в центре общей палаты. — Оставайтесь на своих местах. Раненые находятся под защитой международной организации «Красный Крест». Медицинский персонал объяснит немцам, что здесь госпиталь.

— Плохо ты фашистов знаешь! Они тебя другим крестом благословят, — сказал боец на костылях.

— Вы, пожалуйста, не тыкайте, а обращайтесь как положено. Я — батальонный комиссар и приказываю всем сохранять спокойствие.

— У тебя на кальсонах шпалов нету, не видно, что ты комиссар, — не унимался боец.

Вмешался врач, поддержал Линтварева:

— Правильно, товарищи, о раненых есть международное соглашение.

Бойцы, приученные к дисциплине, кто лег, кто сел на свою койку. Тетя Маша сняла свой белый платочек и повязала казенную косынку с красным крестиком на лбу.

— Где наше оружие? — спросил Ромашкин.

— На складе. Кто прибывает с оружием, у всех берут — и на склад.

— А склад где?

— Там, за сарайчиком, ну, за тем, где гробы делают.

Капитан Городецкий достал из-под подушки пистолет, молча положил его за пазуху.

— Эх, напрасно я сдал свой наган, — пожалел бс-лобрысый танкист.

— Ложитесь, ложитесь, — успокаивал Линтварев. — Сделайте вид, что вы не ходячие.

Внизу, на первом этаже, хлопнули двери. Все замерли, тревожно вслушиваясь.

Затопали по лестнице тяжелые сапоги, зацокали металлические шляпки гвоздей. Ромашкин будто увидел подошвы немецких сапог, утыканные гвоздями.

Военврач двинулся к двери, чтобы встретить тех, кто поднимался по лестнице. Сестры испуганно прижались к стене. Вдруг дверь брызнула стеклами и распахнулась — ее ударили ногой. В зал с автоматами наперевес ввалились гитлеровцы в зеленых шинелях и касках, покрытых ишем.

— Здесь раненые,— сказал врач, стал на пути врагов, раскинув руки.

Треснула короткая очередь, и врач упал с раскинутыми в стороны руками. Вскрикнула сестра. И тут же автоматы забились, заплесались огнем. Беленькие сестры сползли по стенам на пол. А фашисты уже косили тех, кто вскочил, и тех, кто лежал еще на кроватях.

Ромашкин кинулся на подоконник, вышиб ногой раму и прыгнул в мягкий холодный снег. За ним выпрыгнули танкист Демин и комиссар Линтварев.

— Бегите, братцы, я прикрою! — крикнул сверху капитан Городецкий и выстрелил в гитлеровца, который побежал наперерез Линтвареву и Демину.

Пока Ромашкин бежал вдоль стены к углу дома, сверху хлестнули еще несколько выстрелов, и он услышал, как отчаянно заматерился Городецкий.

За деревянным сараем трое командиров увидели кирпичную пристройку. Это, наверное, и был склад. Но едва они выбежали из-за угла, их остановил властный окрик:

— Стой, кто идет?

Часовой сидел в окопчике, оттуда торчала лишь заиндевелая ушанка.

— Свои,— тихо сказал танкист.

— Какие свои? Где разводящий?

— Немцы прорвались! Ты что, стрельбы не слыхал?

Часовой молчал. Он слышал стрельбу, но не знал, что происходит и как ему поступить. Командиры опять двинулись вперед.

— Дай нам оружие,— попросил Ромашкин,— там немцы раненых бьют...

— Не подходи, стрелять буду! — Часовой клацнул затвором.

— Я батальонный комиссар, верьте мне, это не провокация,— властно сказал Линтварев.— Я приказываю...— Тут же грохнул выстрел, и пуля свистнула над головой. Все трое упали в снег.

— Теперь не допустит,— печально и тихо сказал танкист.— Раз услышал, что комиссар приказывает, будет стоять до конца. Подвиг совершает! — Танкист истерически засмеялся, тут же заплакал, стал бить кулаками снег и надрывно выкрикивать: — До каких же пор так будет? До каких? В июне нам не позволили машины вывести: приказ — не поддаваться на провокацию. И что же? Многие танки сгорели в парке. Вот, смотрите, он тоже не поддается на провокацию, этот дурак!

Внезапно Демин вскочил и грудью пошел на часового:

— Стреляй, гад! Стреляй в своего! Фашисты раненых там убивают, а ты...

Часовой выстрелил раз и другой, а Демин все шел. Наконец он достиг окопа, нагнулся, вырвал винтовку и ударил часового ногой в лицо.

— Ах ты, курва! — закричал боец.— Надо было тебя пристрелить! Я же специально вверх стрелял, чтобы ты обезоружил меня. Закон не велит тебя на пост допускать, не имею права.

Демин, не вступая в долгий разговор, подбежал к двери, засунул ствол винтовки за пробой и двумя рывками сорвал замок. Посвечивая спичками, стали искать оружие и патроны.

— Да здесь вот,— подсказывал пожилой боец, двигаясь за Деминым.— Вон в тех ящиках автоматы, в тех — винтовки.

— А где гранаты? — спросил Ромашкин.

— Гранат нема: вы на передовой их оставляете.

— А патроны?

— Патронов тоже чуть. Устав надо знать: уходя в лазарет, отдай патроны товарищу, который остается на передовой,— поучающе процитировал красноармеец.

— Да заткнись, буквоед проклятый! — закричал Демин.— Показывай, где патроны!

— Вот туточки.— Он открыл деревянный ящик, там тускло блеснула серая цинковая коробка.

Ромашкин выхватил из ящика автомат — с него потекли тяжелые стуски солидола.

— Надо же так намазать! — Ромашкин выругался: — Тыловые чучела безголовые!

Он схватил какие-то тряпки, стал обтирать кожу и затвор автомата.

— Государственное добро полагается беречь, — невозмутимо поучал боец.

Он отбегал куда-то в темные углы и возвращался то с шинелями, то с гимнастерками.

— Одевайтесь по-быстрому! Сапоги вот, шинелки. Околеете в бельешке-то!

Едва они успели одеться, как у госпиталя послышалась частая стрельба, взревели моторы танков, хлестко вспороли морозный воздух выстрелы танковых пушек, грохнули близкие разрывы.

Крадучись, все четверо вышли из-за сарая и увидели свои родные тридцатьчетверки. Стреляя вдогон уходящим гитлеровцам, танки неслись по центральной улице поселка.

Ромашкин вслед за Деминым и Линтваревым вбежал в палату и в наступающем утреннем рассвете увидел страшное зрелище. Убитые лежали в самых невероятных позах. Было ясно, что все они метались в поисках спасения, и так, на бегу, настигла их смерть. Только военврач лежал у входа с раскинутыми руками да девушки-медсестры сжались комочками у стены.

То ли от предутренних сумерек, то ли от пережитого Ромашкину все окружающее казалось синего цвета: оконные проемы без стекол, халаты на убитых, лица стоявших рядом людей и даже кровь, растекшаяся по полу.

У входа в свою палату Василий перешагнул через трупы двух фашистов, мысленно отметил: «Это Городецкий их застрелил. Где же он сам?»

Капитан лежал у окна, вокруг него были грязные следы сапог и россыпь стреляных немецких гильз. В Городецкого, видно, выпустили несколько автоматных очередей. На полу возле двери Василий увидел тетю Машу с раскинутыми, как и у военврача, руками. Она тоже встала на пути врагов, не хотела из пускать.

Пришли в госпиталь командиры из батальона, бывшего фашистов.

Линтварев, где-то нашедший свою одежду, в полной форме, подтянутый, подошел к ним и строго сказал:

— Товарищи, вы все это видите своими глазами, будете свидетелями. Надо составить акт — это нару-

шение международного пакта. Это варварское преступление.

Командир в овчинном полушубке мрачно посмотрел на него, ответил сухо:

— Нет, мы не свидетели. Мы — судьи, нам не нужны никакие акты. Мы будем бить сволочей беспощадно.

Они ушли. А Линтварев спросил Ромашкина и Демина:

— Может, мы с вами составим?..

— Иди ты... знаешь куда? — грубо сказал танкист.

— Вы, пожалуйста, не забывайте, товарищ старший лейтенант, — одернул его Линтварев. — Я старше вас по званию...

Но танкист, уже не слушая, ушел из палаты.

Ромашкин достал из тумбочки бритву, планшетку, письмо от мамы, аккуратно сложил все и пошел на склад искать свою одежду. Когда он в полной форме вернулся в госпиталь, там наводили порядок откуда-то подоспевшие незнакомые медики.

— Вы из здешних раненых? — спросила женщина-военврач, похожая на армянку.

— Я уже выписывался. Мне бы документы, — соврал Ромашкин.

Женщина с состраданием глядела на лейтенанта. Он так крепко сжимал автомат, что пальцы на руке побелели и, наверное, онемели, а сам он не замечал этого. Она понимала — лейтенанту надо уйти отсюда как можно скорее.

— Может быть, вас направить в другой госпиталь? — спросила она участливо.

Ромашкин испугался.

— Нет, нет, только на фронт.

— Я понимаю, милый. Но здоров ли ты? У тебя повязка. — За расстегнутым воротом гимнастерки был виден бинт.

— Это последняя повязка. Точно вам говорю, меня собирались выписать.

— Хорошо, лейтенант. Пойдем в штаб, посмотрим твои бумаги и все оформим.

Через час Ромашкин получил свои документы, направление в офицерский резерв армии, продовольственный аттестат и дорожный паек — колечко сухой колбасы, две селетки, кусочек старого свиного сала, полбуханки черного хлеба и немного сахарного песку в газетном кульке.

Он пошел на опушку леса, где выстроились в ряд братские могилы. Постоял у пирамидки со своей фамилией и инициалами отца. Подумал: «Теперь, папа, рядом с тобой лягут тетя Маня, капитан Городецкий, доктор Микушов, Рита и Фатима — наши сестрички». Василий жалел этих так внезапно погибших людей, от которых видел только хорошее. Но оттого, что они будут похоронены рядом с отцом, на душе Василия становилось не то чтобы легче, а как-то спокойней за отца.

— Прощай, папа. Прощайте, товарищи... — тихо сказал он и пошел на окраину поселка, к дороге, по которой сновали машины и скрипели на морозе повозки.

Василий тревожно вслушивался в себя — не даст ли знать беганье босиком по снегу, да еще в одном белье? Но внутри, в груди и особенно в голове, было пусто — ни жара, ни тепла, будто там остались холод и тишина, которые он застал в палате с расстрелянными. Лишь где-то на дне души возникло новое чувство, колющее, обжигающее, болезненное, которое он не ощущал в себе раньше. Как оно называлось, это новое чувство, Василий не знал. На что оно похоже? И вдруг вспомнил Куржакова: как тот дрался, как иступленно бил всем, что попадало под руку. Вот и Василию хотелось сейчас так же бить фашистов, стрелять в них, колоть штыком, душить руками, грызть зубами. «Это — ненависть!» — понял Василий и даже остановился, чтобы прислушаться к ней и лучше ощутить ее жжение.

* * *

На полях Подмосковья чернели сгоревшие танки, опрокинутые автомобили, изуродованные пушки с разорванными стволами — все это, как и тысячи вражеских трупов, постепенно заметала снежная поземка.

Однако и наши войска несли в ходе боев большие потери. Постепенно атаки полков и дивизий, как штормовые волны затихающего океана, истощив силы, были все слабее и слабее и наконец остановились, kloчoca и бушуя местными боями на изогнутой и изломанной линии фронта.

Полк, в который вернулся из госпиталя Ромашкин, совершенно выбился из сил. Поредевшие батальоны

закрепились в открытом снежном поле между двумя сгоревшими деревеньками, вдолбились в промерзшую землю и держали оборону в ожидании дальнейших распоряжений.

Пришла новогодняя ночь. Подвывал ветер, шуршала поземка. В небе вместо луны — тусклое ее подобие, будто жирное пятно на серой оберточной бумаге.

Василий Ромашкин отодвинул загремевшую на морозе жесткую плащ-палатку и вышел из блиндажа в траншею. Постоял там, втянув голову в теплый воротник полушубка, дождался, пока глаза привыкли к мраку. Холодный воздух быстро обволакивал его, вытесняя из-под одежды тепло землянки, пахнущее хлебом и махоркой. Стараясь не двигаться, чтобы подольше сохранить это приятное тепло, Василий спокойно и привычно оглядел нейтральную зону. Пологие скаты спускались от нас и от немцев к извилистой полосе кустарника, росшего вдоль речушки, спрятанной подо льдом.

Было мглисто и тихо. Поземка подкралась к траншее и с легким шипением кинула жесткий снег в лицо. Ромашкин только попытался сдунуть его, но рук из карманов так и не вынул: в карманах еще осталось домовитое тепло.

Дежурный пулеметчик Ефремов, пожилой человек, выглянул из-за поворота. Шинель его спереди была испачкана землей: наблюдая за нейтралкой, он прижился к стенке траншеи. Увидев командира, не без умысла завел неторопливый разговор со своим помощником:

— Чтой-то долго не волокут нам седни харчи.

— Загуляли, наверное, и запомятавали о нас, — весело и звонко ответил молоденький солдатик Махоткин. — Новый год — сам бог велел гулять!

— Не может такого быть, — спокойно возразил Ефремов осипшим на морозе голосом. — Если бы ты сидел там, запомятавал бы. Ты вертопрах известный. А ротный командир никак запомятавать не может.

Василий сам был голоден и хорошо понял солдат.

— Звонил я, вышли уже, — сказал он, не сводя глаз с нейтральной зоны. — Давно вышли. Где их черти мотают?..

Пулеметчики ничего не ответили, только Махоткин подмигнул Ефремову, что, наверное, значило: «Порядок. Узнали, что хотели».

А Василий, глядя на редкие, лениво взлетающие немецкие ракеты, думал о своем: «Говорят, желание,

загаданное на Новый год, сбывается. Ну, какое у меня желание? О чем загадать? Чтобы не убили? Сегодня каждый и у нас и у немцев такое загадывает. Что же, все живы останутся?.. Нет, надо задумать что-нибудь более реальное».

Вспомнилось, как несколько месяцев назад он рвался на фронт, боялся, что не успеет отличиться — война ведь скоро может кончиться, и тогда не видать ему ни орденов, ни медалей. А так хотелось получить Красное Знамя!..

Стало стыдно за себя: «О чем, дурак, думал! У людей сердце разрывалось от горя, когда близких на фронт провожали, а я — об этом...»

Василий даже сплюнул от досады и пошел проверять посты.

Постов было три. Один уже видел — это пулеметчики. Другой — в самом конце траншеи, на правом фланге. Третий — на левом.

Блиндаж, из которого вышел Василий, находился посередине — на него и опиралась дуга траншеи, как брошенное на землю коромысло. Высотка же, со всех сторон окруженная полями и перерезанная поперек этой траншеей, походила на лепешку. Она была далеко впереди позиций батальона, и солдатам, занимавшим ее, полагалось раньше всех обнаружить противника, если тот двинется вперед, задержать его, дать батальону возможность подготовиться к отпору. Потому-то и высотка и лейтенант с двенадцатью солдатами, окопавшимися здесь, назывались боевым охранением.

Днем сюда не могли подойти и даже подползти ни свои, ни немцы. Зато ночью можно подобраться с любой стороны — ни минных полей, ни колючей проволоки перед траншеей нет. Единственным тоненьким нервом, который связывал взвод с главными силами батальона, была черная ниточка телефонного кабеля. Она лежала прямо на снегу, ее, наверное, хорошо видно в бинокль со стороны противника — немецкие минометчики, дурачась от нечего делать, перебивали кабель многократно. После этого взвод подолгу сидел отрезанным: в светлое время связисты на голое поле не выходили, знали, что их поджидают фашистские снайперы.

...К последнему изгибу траншеи Василий приблизился крадучись. Выглянув из-за поворота, увидел часового, тот стоял к нему спиной.

— Спишь?

— Заснешь тут,— мрачно сказал часовой,— в животе как на шарманке играют. Я вас слышал, товарищ лейтенант, когда вы еще с Ефремовым разговаривали. На морозе далеко слышно... Так где же кормильцы-то наши, товарищ лейтенант? Почему жрать не принесли?

— Несут. Скоро будут...

На другом — левом — фланге рядовой Бирюков тоже не спал и тоже спросил о еде.

Василий не успел ответить, стрелы трассирующих пуль пронеслись над головой, звонко, будто хлысты цирковых дрессировщиков, щелкнули над самым ухом. Лейтенант и солдат пригнулись, пулеметная очередь вспорола бруствер и обдала их земляным и снежным крошевом.

— Во дает! — сказал Бирюков.

Василий мгновенно представил немецкого пулеметчика в зеленоватой шинели, в каске, пулемет с толстым дырчатым кожухом на стволе, колышки разной высоты или ступенчатую дощечку под прикладом пулемета. Все важные цели пулеметчик пристрелял засветло, для каждой под приклад забил колышек или сделал срез на доске, а теперь вот, ночью, ставит приклад на эти подпорки и в темноте бьет точно по цели. Вон как резанул по брустверу, высунь голову — сразу продырявил бы!

Дорисовав картину со всеми ее подробностями, Василий недовольно сказал солдату:

— Немец-то дает, а ты можешь так?

Бирюков удивленно поглядел на командира, почуяв его официальную строгость, поправил ремень, отряхнул землю, которой, как и у Ефремова, была испачкана спереди шинель, и, ничего не ответив, без особой сноровки, но все же выпрямился, пытаясь изобразить положение «смирно».

Василий обратил внимание на ноги солдата, расставленные врозь под балахоном промерзшей шинели, вспомнил лихих и красивых своих товарищей по училищу и сердито упрскнул Бирюкова:

— Строевик!.. Чего же молчишь? Стрелять, как он, говорю, умеешь?

Солдат потоптался, виновато ответил:

— Так бьем же их, товарищ лейтенант.

— Бить-то бьем, да где? Под Москвой, Смоленск-то вон, за спиной у того фрица.

— Так ить, товарищ лейтенант, ежели по башке из-за угла шваркнуть, какой ни на есть здоровяк не устоит. Теперича вот оправились и от Москвы отогнали.

— «Оправились»! — язвительно передразнил Василий. — Нашел тоже словечко — «оправились»!

— Я же не в тех смыслах, товарищ лейтенант.

— Ну, ладно, гляди лучше, как бы на Новый год нам с тобой подарочек не поднесли...

Василий вернулся к землянке, постоял у входа, прислушался. Еще одна ракета белой струйкой взмыла вверх, раскрылась, расцвела в огромный светящийся конус и, покачиваясь, стала опускаться.

Круг снега, высвеченный ракетой, напомнил Василию боксерский ринг. Так же вот освещен бывает. Только не круг, а квадрат. И поменьше. Окаймлен канатами. А зрители где-то там, во мраке, за пределами света.

Очень ясно Василий вспомнил, прямо увидел, как рефери, весь в белом, лишь на шее черный галстук-бабочка, показал в его сторону и громкоговорители тут же объявили: «В правом углу боксер Ромашкин, общество «Спартак», второй разряд, средний вес, провел тридцать шесть боев, тридцать два выиграл, боксом занимается три года». Кто-то из зрителей, как всегда, отреагировал на его фамилию: «Молодец, Ромашка! Цветочек!» Зал ответил глухим вздохом смеха, но тут же болельщики его соперника выкрикнули другое: «Ромашке сегодня лепестки посшибают! Погадают на нем: любит — не любит...»

Василий грустно улыбнулся. «Где они сейчас, мои соперники и те, кто кричал мне обидные слова? Все, конечно, воюют. Многие, наверное, уже «отработались». С любым из них он встретился бы теперь, как с братом. Впрочем, и тогда Василий не испытывал злобы ни к своим соперникам, ни к их болельщикам, а стремился лишь получше понять, разгадать противника, оказаться ловчее и находчивей его. Дрался беззлобно, но решительно и настойчиво, как полагается в спорте.

«Да, многие теперь уже «отработались», — опять подумал Василий. Было горестно вспомнить родное, обиходное среди боксеров слово «отработались». Так они говорят о тех, кто закончил бой. Ромашкин вложил в это слово совсем иной смысл и потому нахмурился.

Мысли о боксе, о веселой довоенной жизни пронизал холодный сквознячок: выбило почти всех выпускников училища, которые приехали с ним в этот полк.

И его, Ромашкина, тоже выбивало: был ранен. Чуть бы левее — и привет, лежал бы сейчас в братской могиле под Вязьмой. А может, рядом с отцом, скончавшимся от ран в госпитале.

Василия потрясла тогда быстротечность судьбы взводного командира. Всего один бой, одна атака, преодоление двух-трех немецких траншей — и не осталось в ротах ни одного взводного! А роты и взводы тем не менее существуют, хотя и сильно поредевшие...

Там же, в госпитале, где появилось время для размышлений, Ромашкин сделал и еще один важный, как ему казалось, вывод: у людей на войне жизнь коллективная. Мы — взвод, мы — батальон, мы — полк. Даже временные объединения в группы и команды помнятся долго. Вот он сам выехал из училища в полк с командой в двадцать человек, и все время, пока они ехали, везде и всеми рассматривались как единое целое — команда. На железной дороге военные коменданты отводили место в вагоне не каждому из них, а команде. Продукты отпускались тоже всей команде «чохом» — по одному продаттестату. Только по прибытии в полк разъединились они, разошлись на короткий срок по батальонам и ротам. Но все равно их числили по старинке: из такой-то команды. И после боя они опять собрались вместе. Не все, конечно, а только те, кому нужен был госпиталь. Остальные легли в общую братскую могилу — погибли за общее дело.

Одни прибывают, другие выбывают, а бои идут. Когда двадцать лейтенантов выехали из училища, великая битва за Москву уже полыхала. Когда они шагали торжественным маршем на параде по Красной площади, битва эта продолжалась. Иные успели сгореть в ее огне, Василий в госпитале отлежался и вот опять много дней участвует все в том же сражении за столицу...

Основательно продрогнув, Ромашкин собирался уже нырнуть под плащ-палатку, заменявшую дверь, в приятную теплоту блиндажа, но в этот миг справа громко крикнул Бирюков:

— Стой! Кто идет? Стрелять буду!

Ему сразу же негромко, откуда-то со стороны, ответили:

— Да свои, свои. Погоди стрелять, сначала сто граммов выпей.

Василий поспешил на голоса. Прибыли двое. Окружные от поддетых под шинели ватников, запорошенные снегом, они, видно, умаялись и неловко сползали в траншею. Ворсинки шапок вокруг лиц и сами лица заиндевели. Солдаты, как точно выразился Ефремов, «волокли» еду. Один тащил по снегу плоский темно-зеленый термос с лямками для крепления на спине, другой — два вещевых мешка, тоже зеленых, только посветлее.

Подошли Ефремов и Махоткин, взяли у солдат ношу. От вещевых мешков пахло примороженным хлебом, а от термоса, хоть он и был завинчен, исходил желанный аромат борща.

— В Москву, что ли, за праздничной шамовкой бегали? — спросил Махоткин.

— Угадал, — хмуро ответил солдат, принесший термос. — Прямо из ресторана «Балчуг» бифштексы вам доставили.

Другой, который тащил мешки, оказался разговорчивее. Сознывая, как их здесь заждались, принялся объяснять:

— Зацепило у нас одного. Мы сначала втроем шли... Крепко зацепило. В живот. Если бы полегче, мы бы его назад своим ходом пустили. А тут нельзя было, пришлось выносить...

Гитлеровцы, очевидно, услышали говор, огненные струи хлестнули по траншее. Все присели, взбитый пулями снег посыпался сверху.

— Вот и новогоднее конфетти, — сказал солдат, вручивший Махоткину термос.

— Слушай, а ты вправду не в ресторане работал? — спросил Махоткин. — Бифштекс знаешь, конфетти.

Тот, однако, не принял этого явного предложения поговорить о довоенной жизни. Только вздохнул и доложил лейтенанту:

— Тут все: завтрак и ужин сухим пайком; обед, стало быть, горячий. Водка — во фляжках, хлеб и сахар — в мешке. Вам еще доппаек, товарищ лейтенант: печенье и масло.

— Спасибо, — сказал Василий и, повернувшись к Ефремову, распорядился: — Вы тут оставайтесь, глядите, как бы фрицы на угощение не пожаловали. Скоро вас подменю: поедят ребята — сразу пошлю на смену.

— Понятно, товарищ лейтенант, — ответил Ефремов.

Термос и вещевые мешки были переданы в чьи-то руки — темные, испачканные сажей, с желтыми подпа-

линами от сигарок. Руки эти тянулись из-под плащ-палатки, не откидывая ее далеко, сберегая тепло внутри землянки.

Василий, пропустив в землянку продовольственников, сам пока задержался в траншее. Не любил он процедуру дележки продуктов. Знал, что и без него все будет разделено по совести, надувательство исключено.

А в блиндаже сразу же началась веселая возня. Солдаты рассаживались поудобнее, гремели котелками. Послышались шутки, потом знакомый вопрос:

— Кому?

И кто-то, непременно отвернувшись в сторону, может быть, из-под наброшенной на голову шинели, — кто именно, Василий не узнал — глухо ответил:

— Ефремову!

Потом снова:

— Кому?

И опять тот же глухой голос:

— Бирюкову!

— Кому?

— Лейтенанту!..

Когда ритуал дележки закончился, Василий откинул плащ-палатку. В блиндаже было накурено. Тепло, напитанное влагой земляных стен, приятно коснулось его. Гильза от снаряда, сплюснутая сверху, держала фитиль из обрезка бязи и освещала землянку язычком чадающего пламени. Солдаты сидели, прижавшись спинами к стенам. В узком проходе на расстеленных серых измятых полотенцах стояли котелки, кружки, лежали хлеб и сахар. Когда можно спать, эти люди вот так же, как сейчас, садятся, лишь опускаются чуть ниже, вытягивая ноги от стены к стене.

Василий был доволен блиндажом: удобный. Будто специально рассчитан на его взвод: две свободные смены — восемь человек — сразу могут отдыхать в тепле. А для него, командира, есть даже земляное возвышенье в дальнем углу, и напротив этого возвышенья выложена печурка из неведомо где взятого кирпича. Ее много раз обмазывали глиной, но она и теперь вся в трещинах — алые угли вываливаются сквозь щели. Над печкой протянулись черные обрывки кабеля, там постоянно сушатся портянки и рукавицы, заполняя блиндаж кислым запахом шерсти, пота и паленой ткани. Сейчас все эти запахи перекрыл дух наваристого борща.

«И еще чем хорош блиндаж,— размышлял Василий,— над головой двойной накат из нетолстых бревешек, присыпанных слоем земли и снега. Не каждая дурная мина прошибет. Снаряд, конечно, пропорет насквозь и взорвется внутри, но не так уж часто на войне случаются прямые попадания!»

Ромашкин со своим взводом немало сменил позиций. Приходилось жить по-всякому: и без печки, и вообще без блиндажа, в траншеях, где по колено воды. И от сознания теперешнего удобства да и от тихого поведения немцев у Василия было по-настоящему праздничное настроение. Подняв свою кружку и отметив про себя, что солдаты налили ему побольше положенных ста граммов («Уважают, черти!»), лейтенант от души сказал:

— Ну, что же, братья-славяне, с Новым годом вас! И дотопать нам до Берлина!

Когда все поели, продовольственники, забрав термос, вещевые мешки и фляги, собрались в обратный путь.

— Идите так, чтобы высотка прикрывала,— посоветовал Ромашкин.

— Дойдем! Налегке-то быстрее,— откликнулся один из них.

— Слышь, дядя,— спросил его Махоткин,— а третьего-то вашего до двенадцати или после зацепило?

— Вроде бы до,— ответил тот.

— Уходили к нам, он живой был?

— Дышал.

— Тогда порядок, в Новый год перевалил — жив будет.

— Хорошо бы,— тихо сказал другой. И неуклюжие продовольственники полезли из траншеи, пригнувшись, покатались, словно колобки, за обратный скат высотки.

Василий настороженно ждал. «Если сейчас немцы чесапнут точной пристрелянной очередью, срежут обоих». Но пулеметы молчали. Даже не взлетали ракеты. Впереди было тихо и черно. Только на флангах перед соседями справа и слева иногда зацвели, как одуванчики, тусклые на расстоянии желто-зеленые шапки. «Тоже, наверное, ужинают,— думал Василий о немцах.— Что-то им принесли? Наверное, сосиски, а может, и гуся с тушеной капустой. Грабят, сволочи, наших колхозников!»

Воспоминание о тушеной капусте было настолько живое, что он даже принялся, не тая ли от немецких траншей капустным запахом. У тушеной капусты запах очень пробивной, по ветру, пожалуй, и на таком расстоянии дошел бы!..

Вдруг Ромашкину показалось, что сугроб в нейтральной зоне шевельнулся. Так бывает порой, когда осветительная ракета опускается вниз: в ее колеблющемся свете и кусты, и тени от них, и сугробы слегка вроде бы покачиваются. Но сейчас не было ракеты. Ромашкин присмотрелся. Увидел еще несколько движущихся сугробиков. «Что за черт! Неужели от ста граммов?» Он прижался к краю траншеи, вгляделся попристальнее и понял: немцы ползут! Крадутся, одетые в белые костюмы! Потому и пулеметчики у них не стреляют, и ракет нет.

Не отрывая глаз от ползущих, Ромашкин кинулся к станковому пулемету. Первая мысль — немедленно скомандовать: «В ружье! Огонь по фашистам!» Не будь он боксером, наверное, так и поступил бы. Но тренеры приучили его не поддаваться первому впечатлению, не паниковать, спокойно разобраться в том, что происходит. Пусть на это уйдет несколько секунд, зато потом будешь действовать правильно и решительно.

Вот потому Ромашкин и не поднял тревогу сразу же. Несколько мгновений, пока спешил к пулемету, ему хватило на то, чтобы сообразить: гитлеровцев не так уж много, ползут не по всему фронту, а отдельной группой, значит, это не общее наступление, значит, разведка или хотят снять наше боевое охранение перед атакой более крупных сил. А может, Новый год хотят отметить захватом «языка»?.. Ну, если так, то и кричать не надо. Тут следует какой-то сюрприз им приготовить!..

Ромашкин спокойно зарядил пулемет новой лентой. Ефремову и Махоткину сказал:

— Ползут. Видите?

Пулеметчики разом прилипли животами к стене окопа.

— Язви их в душу! — выругался Махоткин. — Стреляйте же, товарищ лейтенант! Чего вы мешкаете?

— Подожди, Махоткин, сейчас мы их встретим, пусть подползут ближе. Следи, Ефремов, стреляй, только если вскочат. Я людей позову.

Ромашкин подбежал к блиндажу, рванул плащ-палатку, хриплым от волнения голосом скомандовал:

— В ружье! Только тихо. Немцы ползут, человек двадцать. Наверное, разведка. Всем выходить пригнувшись — не показываться. Приготовить гранаты. Огонь по моей команде... Кулагин, доложи ротному по телефону, скажи, я в траншее.

Ромашкин опять поискал и нашел на снежном поле выпуклые бугорки — до них было еще метров шестьдесят. «С такого расстояния не кинутся. И гранаты лежа не добросят,— лихорадочно думал он.— Надо уловить момент, когда в рост встанут, когда ринутся к траншее. Лежачих много не набьешь».

Солдаты разбегались вправо и влево. Присаживаясь на дно траншеи, тревожно поглядывали на командира из-под серых ушанок, сжимая лимонки в голых руках.

Увидев гранаты, Ромашкин подумал: «Когда фрицы вскочат, дорога́ будет каждая доля секунды». Шепотом приказал:

— Разогнуть усики на гранатах!

Тихая эта команда пошла по траншее. Солдаты передавали ее друг другу:

— Разогнуть усики...

Василий поглядел в тыл: не подбираются ли сзади? И опять негромко сказал, уверенный, что его слова тут же передаст «солдатский телефон»:

— Внимательно следить на флангах!

Короткий говорок опять побегал от командира в противоположные концы траншеи.

А призрачные фигуры в белом чем ближе подползали, тем медленнее двигались. Ромашкин от перенапряжения мысленно даже звал их: «Ну, давайте, давайте!.. Чего медлите?» Сердце у него стучало так громко, что невольно подумал: не услышали бы этого стука немцы. Стало вдруг жарко. Он расстегнул полушубок.

«Перед броском вперед они должны приостановиться, подождать отставших»,— соображал Ромашкин и тут же увидел, как один из немцев приподнялся, потом разом встали остальные и покатались по глубокому снегу вперед без единого звука, словно ватные.

— Огонь! — заорал Ромашкин во всю грудь и метнул гранату.

Солдаты тоже вскочили со дна траншеи. Замелькали в замахе руки. Торопливо затараторил пулемет

Ефремова. Забухали взрывы гранат. Взвизгнули, брызнув в стороны, осколки. Закувыркались, заметались, закричали белые фигурки между огненными и черными всплесками земли.

— Бей гадов! — кричал Ромашкин.

Он бросил еще одну гранату, затем вскинул автомат и стал стрелять. Справа и слева гулко гремели винтовочные выстрелы.

Радость оттого, что все получилось, как было задумано, и особенно вид удирающих врагов вытолкнули Ромашкина из траншеи.

— Лови их! За мной, ребята!

Он бежал скачками, проваливаясь в глубокий утоптаный снег, стреляя на ходу. «Живьем бы, живьем бы взять хоть парочку!» — с азартом думал Василий, догоняя удирающих. Вот уже совсем рядом один, запаленное дыхание со свистом вырывается из его груди — не дышит, а стонет от перенапряжения: «Ых! Ых!»

Ромашкин схватил немца за плечо. Оно оказалось мягким, рукой прощупывалась вата. «В разведку пошел, а столько понадевал на себя, вояка!» — мысленно упрекнул его Василий и ударил автоматом по голове. Уже размахнувшись, успел подумать: «Не пробить бы голову, вполсилы надо!» Фашист, взмахнув руками, упал в снег. Но сразу вскочил и бросился на Ромашкина, стремясь схватить за горло скрюченными, растопыренными пальцами. «Когда же он успел рукавицы сбросить?» — удивился Ромашкин и привычным приемом, который много раз применял на ринге, отбил в сторону руки врага и так же автоматически вlepил ему увесистый хук в челюсть. Немец крикнул и опрокинулся навзничь. Василий, будто на ринге, стал отсчитывать про себя: «Раз, два, три... Тьфу, да что я — рехнулся?»

Он окинул взглядом место стычки. Все было кончено. Солдаты тянули, держа за шиворот, еще двух упирающихся гитлеровцев. Несколько убитых лежали, уткнувшись лицом в снег. Человек шесть мелькали вдали. Бирюков стоя, а Махоткин с колена били по ним одиночными, хлесткими на морозе выстрелами.

— Ушли, язви их в душу! — сказал Махоткин с досадой и прекратил стрельбу.

Ромашкин кивнул на убитых:

— Собирай их, ребята; и давайте быстро в траншею. Сейчас сабантуй начнется! — Склонившись

к своему пленному, дернул его за рукав: — Эй, ауфштеен! Хватит прикидываться, не так уж сильно я тебе врезал. — И честно признался: — Но врезал все-таки от души! Давай, давай, ауфштеен!

Немец тарашил мутные после нокаута глаза, тряс головой, пытаясь смахнуть одурь, с опаской поглядывал на лейтенанта.

— Пошли, форвертс! — командовал Ромашкин. — Сейчас твои друзья долбить начнут. Теперь твоя жизненка им до феньки. Теперь им важнее убить тебя. Чтобы не давал сведений. Понял?

Солдаты за руки и за ноги волокли убитых гитлеровцев. Надо оттащить их в сторону, а при случае и закопать. В боевом охранении были опытные бойцы, знали: чуть потеплеет, и трупы станут разлагаться, тогда не устоишь от смрада на посту.

В душе каждый гордился своим командиром: «Башковитый, хоть и молоденький».

Бирюков подвел к взводному еще одного немца и, как бы продолжая недавний разговор, сказал:

— Вот, товарищ лейтенант, может, он и хорошо стреляет, а все же я изловил его.

— Молодец, Бирюков, ты как русский медведь, тебя только раскачать надо.

Солдат насупился.

— Какой же я медведь? Я человек, красноармеец. У меня дети есть. Они, чай, не медвежата.

— Не обижайся, так обо всех нас, о русских, говорят. И, может, правильно это: не очень мы поворотливые, долго раскачиваемся, но уж когда встанем на дыбы, клочья полетят.

— Если в таких смыслах, я согласен. — Бирюков улыбнулся.

Пока темно, надо было поспешить с отправкой пленных на НП командира роты. Днем с ними не выбраться. И от обстрела их нужно сберечь.

Странное дело — война. Вот стоят перед Ромашкиным враги. Они хотели убить лейтенанта и двенадцать его солдат. Если бы им повезло, перебили бы всех беспощадно. Может быть, одного-двух пощадили, потому что нуждаются в «языках». Но попались сами. И лейтенант Ромашкин, которого они хотели убить, заботится, чтобы поскорее увести их от опасности. А сам останется здесь под обстрелом, и, кто знает, может, его убьют в отместку за этих вот пленных.

Василий по телефону доложил обо всем командиру роты, применяя нехитрый код, который вряд ли мог ввести кого-нибудь в заблуждение, но все же имел на фронте широчайшее распространение:

— У меня «у» нет, «р» тоже нет. Пришлите «картошки», «гороха» не надо. Трех «зеленых карандашей» высылаю в сопровождении двух моих «карандашей».

— Давай зеленых немедленно! — громко и властно сказал лейтенант Куржаков. Он всегда говорил с Ромашкиным громко и властно — считал, что так нужно, потому что в равном с ним звании занимал должность командира роты...

Первая мина взвыла, забираясь вверх и отфыркиваясь, стала падать на высотку боевого охранения. С железным хряском и звоном она разорвалась недалеко от траншеи. И тут же другие мины замолотили в мерзлую, звонкую землю, будто их бросали сверху. Ни выстрелов, ни воя при их приближении в грохоте разрывов уже не было слышно.

Тяжелые снаряды тоже долбили землю. Высотка вздрагивала и гудела от этих тупых ударов.

Боевое охранение укрылось в своем блиндаже. Все молча курили. Лица казались спокойными, даже безразличными. Когда близко разрывался снаряд, из всех щелей между бревнами паката словно опускались грязные тонкие занавески. Если же мина или снаряд грохались подальше, из-под бревен — там и тут — текли прозрачные струйки. И хотя солдаты внешне не выказывали беспокойства, в душе каждый гадал: попадет или нет? И каждый, не веря ни в бога, ни в черта, не зная ни одной молитвы, все же обращался к какой-то высшей силе, робко просил ее: «Пронеси мимо!.. Пронеси!...»

* * *

А в другом блиндаже попросторнее, у стола, сбитого из снарядных ящиков, сидели командир полка майор Караваев и батальонный комиссар Гарбуз.

По внешности Караваев скорее сошел бы за политработника: среднего роста, в меру общителен, русоволос, голубоглаз, и потому лицо его выражает какую-то домашнюю мягкость. Гарбуз, напротив, высокий, плечистый, с лобастой бритой головой, с оглушающе громким голосом, будто рожден быть командиром.

Но если приглядеться внимательнее, у Караваева можно заметить строгую холодность в глазах и жесткую складку волевых губ. А Гарбуз весь доброта и покладистость.

До войны Караваев служил в Особом Белорусском военном округе, учился дважды на краткосрочных курсах и командовал последовательно взводом, ротой, батальоном. В сорок первом его батальон не раз попадал в окружение, но умело прорывался к своим, при этом Караваеву приходилось порой заменять и старших начальников, погибших в бою. Под Вязьмой он вывел из окружения остатки стрелкового полка, который потом доукомплектовал в Москве и снова повел в бой, теперь уже в качестве полномочного командира части, назначенного на этот пост приказом. А комиссаром к нему политуправление фронта прислало Гарбуза. В мирное время тот был вторым секретарем райкома партии на Алтае, с августа уже воевал и тоже успел вкушать горечь отступления, а потом радость первых побед.

Сейчас и Караваев и Гарбуз были настроены на веселый лад — их только что похвалил командир дивизии. Сам того не подозревая, лейтенант Ромашкин своей находчивостью принес радость многим начальникам.

Но донесения об отпоре, который был дан фашистам взводом Ромашкина, шли снизу вверх по телефонной эстафете, и где-то на середине пути фамилия лейтенанта из них исчезла. Злого умысла тут, конечно, не было — никто не хотел присваивать его славу. Просто майор Караваев, докладывая командиру дивизии, сказал:

— У меня первый отличился — Журавлев. Отбил ночной налет, взял трех пленных.

Командир дивизии в свою очередь доложил командиру корпуса:

— Мой Караваев хорошо новый год пачал — направляю пленных.

А командарма информировали в еще более обобщенной форме:

— В хозяйстве Доброхотова была ночная стычка, в результате взяты пленные...

Потом по той же эстафете пошла обратная волна и утром докатилась наконец до Ромашкина. Ему было приказано прибыть с наступлением темноты

к командиру полка. Василий обрадовался: во-первых, приятно побывать в тылу (штаб полка представлялся ему глубоким тылом), во-вторых, он знал — ругать там его не будут, наоборот, наверно, скажут доброе слово, может быть, даже приказом объявят благодарность. Но как раз в те минуты, когда он шагал по тропе, натопанной по дну лощины, куда не залетали шальные пули, Караваев и Гарбуз уже по-своему распорядились его судьбой...

Блиндаж командира полка приятно удивил Ромашкина. Здесь можно было стоять в полный рост, и до накатов оставалось еще расстояние на две шапки. Стол хотя и из ящиков, но на нем яркая керосиновая лампа с прозрачным пузатым стеклом, алюминиевые кружки, а не самоделки из консервных банок, настоящие магазинные стаканы с подстанниками и чайными ложками. В углу блиндажа топчан, застланный серым байковым одеялом, и даже подушка в белой наволочке. И, что уже совсем невероятно, у самой лампы, хорошо ею освещенная, лежала на блюдечке неведомо откуда попавшая в такое время на фронт половинка желтого лимона. Василий увидел лимон и сразу ощутил его вкус и даже конфетный запах, хотя на столе конфет не было.

Стараясь не перепутать последовательность слов в рапорте, он доложил о прибытии.

— Покажись, герой, — весело сказал Караваев и пошел ему навстречу.

Василий покраснел, думая о своей затасканной шинели: в нее так въелась траншейная земля, что никак не удавалось отчистить бурые пятна. Он втянул и без того тощий живот, напряг ноги, выше поднял подбородок, чтобы хоть выправкой слегка походить на героя.

— Хорош! — похвалил майор и крепко пожал ему руку.

Комиссар Гарбуз тоже откровенно разглядывал Ромашкина.

— Раздевайся. Снимай шинель, — дружески предложил комиссар.

Ромашкин смутился еще больше. Он не предполагал, что его так примут. Думал, поблагодарят — и будь здоров! А тут вдруг: раздевайся. Он же не раздевался почти полмесяца! Правда, все это время на нем был полушубок. Только собираясь в штаб полка, Василий решил надеть шинель. Казалось, в шинели он

будет стройнее, аккуратнее. И, переодеваясь, с отвращением увидел, какая на нем мятая-перемятая гимнастерка. Предстать в ней сейчас перед командиром полка и комиссаром казалось просто невозможным.

— Может быть, я так?..— пролепетал Ромашкин.

— Запаришься, у нас жарко,— резонно возразил комиссар.— Снимай!

Пришлось подчиниться. Василий беспрерывно одергивал гимнастерку, но она снова коробилась и будто назло вылезала из-под ремня.

— Ладно, не смущайся,— ободрил командир полка,— с передовой пришел, не откуда-нибудь. Садись вот сюда, к столу.

И, едва он присел, опять загремел голос Гарбуза:

— Расскажи-ка о себе, добрый молодец. Мы, к стыду нашему, мало тебя знаем.

— погоди, Андрей Данилович,— сдержал его Караваев.— Что ты сразу за дело? Давай лейтенанту сто граммов поднесем: и с мороза он, и с Новым годом поздравить надо, и за умелые действия отблагодарить.

— Согласен, Кирилл Алексеевич.

— Гулиев, флягу!

Чернобровый, со жгучими кавказскими глазами ординарец мигом оказался возле стола и налил в стакан.

— Пей, герой, согревайся,— сказал Караваев.

Василию вспомнилось, каким недопустимым проступком в училище считалось «употребление спиртных напитков». А сейчас майор сам предлагает ему сто граммов. И он, лейтенант Ромашкин, возьмет вот и выпьет прямо на глазах у командования...

От волнения Василий не почувствовал ни крепости, ни горечи водки.

Командир пододвинул ему тарелку с кусочками колбасы и сала.

— Закуси. И давай рассказывай!

— Рассказывать-то нечего,— пожал плечами Ромашкин. И снова подумал, какая ужасная на нем гимнастерка, к тому же еще там и сям шерсть от полушубка.

— Ну, ясно, скромность героя украшает,— поощрительно улыбнулся Гарбуз.— А все-таки расскажи ты нам, лейтенант, где жил, учился, когда в полк прибыл.

Василий рассказал о родном Оренбурге, об училище, о команде, с которой прибыл сюда впервые, о ранении и возвращении в полк после поправки.

— Значит, ты еще и ветеран наш! — воскликнул Гарбуз. — Вот, Кирилл Алексеевич, как мы кадры изучаем: лейтенант в полку со дня формирования, боевой парень, а для нас это новость.

— Побольше бы таких новостей, — сдержанно сказал Караваев. — Патриот полка — это похвально.

Василий опустил глаза. Знал бы командир, какой он «патриот полка»! Из резерва командного состава все стремились вернуться в свои части. А он, Ромашкин, вспомнил, как в первом же бою выбило здесь его товарищей по училищу, представил на миг свиреного ротного Куржакова, и не захотелось ему сюда возвращаться. Но в отделе кадров пожилой майор, вскинув на Ромашкина усталые глаза, спросил:

— Тоже небось в свою часть хочешь? — И, не дожидаясь ответа, пообещал: — Сделаю. Полк искать не придется — до него рукой подать. Приходи после обеда за предписанием.

Так он и попал снова в роту Куржакова. И ему теперь ставят это в заслугу. А где она, заслуга? Однако опровергать ничего не стал — не хотел обидеть командира.

Тайком одергивая злосчастную гимнастерку, Василий думал с тоской: «Уж скорее бы отпустили... Но, если ранят вторично, обязательно буду искать свой полк. Не из-за того, что за это хвалят, и не потому, что знаю теперь здесь и Караваева, и Гарбуза, и бойцов своего взвода. Главное — они знают меня: кто я и на что способен. Оказывается, это очень важно».

— В гражданке, до войны, как жил? Кто отец, мать? Кем стать собирался? — продолжал расспрашивать Гарбуз.

На эти вопросы ответил, вздохнув:

— Отец в горисполкоме по строительству работал. Недавно погиб. Здесь, под Москвой. Мама преподает историю. Самому хотелось стать летчиком, да не прошел по зрению, одной десятой не хватило. Боксом еще занимался...

— И как успехи в боксе? — перебил командир. — Разряд имеешь?

Василий усмехнулся:

— Был чемпионом «Спартака» в среднем весе.

— Слушай, Ромашкин, да ты просто клад! — воскликнул Гарбуз. — Мы тут с командиром подобрали

тебе должность хорошую. Судили только по ночному бою, а оказывается, ты вообще находка для такой должности.— И, взглянув на Караваева, умолк выжидательно: командиру полка полагалось высказать Ромашкину официальное предложение.

— Есть в полку взвод пешей разведки,— начал Караваев.— Командует им лейтенант Казаков. Давно командует, засиделся, пора его на роту выдвигать. Но подходящей замены не было. Туда нужен человек особенный — энергичный, находчивый, ловкий. У вас есть все эти качества.

— И даже больше! — убежденно сказал Гарбуз.

— Кроме того,— продолжал спокойно Караваев,— боксерские ваши достижения... Каждый спортсмен — борец, самбист, гимнаст, боксер — это же потенциальный разведчик. Однако учтите, товарищ Ромашкин, сила разведчика не только в кулаках. Ему еще и голова нужна, причем постоянно.

Предложение было слишком уж неожиданным. Василий усомнился:

— Справлюсь ли я?

— Уже справился,— громогласно заверил Гарбуз.— Трех «языков» сразу взял. Что еще нужно?

Василию показалось, что майор чуть-чуть поморщился. Гарбуз тоже заметил это:

— Извини, Кирилл Алексеевич, я, кажется, перебил тебя?

И Караваев спохватился: не обидел ли комиссара произвольно мелькнувшей гримасой? Поспешил объяснить, почему поморщился:

— Уж очень ты, Андрей Данилович, на алтайских своих просторах громко говорить привык.

— Есть такой грех,— согласился Гарбуз.

— А опасения у лейтенанта правильные. Служба в разведке потребует учебы. Ну, ничего, поможем. Казаков опыт передаст. Раза два на задания сводит. Разберетесь вместе, что к чему.— Караваев посмотрел на часы, потом вопросительно взглянул на комиссара.— Пора бы уж ему прибыть...

— Да, задерживается,— откликнулся Гарбуз.

Василий подумал, что задерживается Казаков. Но тут раздался конский топот, скрипнули полозья, и командир с комиссаром, не надевая шинелей, только схватив шапки, метнулись к двери. Однако запоздали: в блиндаж вместе с клубами пара входил, пригибаясь,

генерал. Караваев, вскинув руку, четко стал докладывать ему:

— Товарищ генерал, девятьсот двадцать шестой стрелковый полк находится в обороне на прежнем рубеже. За истекшие сутки никаких происшествий не случилось, кроме доложенного вам ночью.

— Здравствуйте, товарищи! — еще более мощным, чем у Гарбуза, голосом сказал генерал.

Он был в высокой каракулевой папахе, в серой, хорошо сшитой шинели, очень длинной — кавалерийской.

«Меня бы за такую отругали,— подумал Василий,— нашему брату покороче положена».

— Ну, где ваш ночной герой? — спросил генерал, неторопливо расстегивая шинель.

— Вот он,— кивнул Караваев в сторону Ромашкина.

Генерал, не оглядываясь, сбросил шинель на руки Гулиеву, который уже стоял сзади. Осмотрел Ромашкина, не выпуская его руку из своей холодной и жесткой с мороза руки, произнес торжественно:

— Поздравляю, лейтенант, с наградой. Вручаю тебе от имени Верховного Совета медаль «За боевые заслуги».

Красивый, высокий старший лейтенант подал командиру дивизии красную коробочку.

— Дайте ножик или ножницы,— потребовал генерал.

Майор Караваев догадался, для чего это нужно, быстро подал остро заточенный карандаш.

— Тоже годится,— одобрил генерал и расстегнул пуговицу ужасной, будто изжеванной, гимнастерки Ромашкина. Покругив карандашом, сделал в гимнастерке дырку, вставил туда штифт медали, потом залез рукой Василию за пазуху, на ощупь завернул гаечку и, хлопнув его по плечу, сказал:

— Носи, сынок, на здоровье. Заслужил!

Оглушенный всем происходящим, Василий не мог понять, что Гарбуз, незаметно для других, подсказывает ему. Наконец, опомнясь, с большим опозданием гаркнул:

— Служу Советскому Союзу!

Гарбуз вздохнул с облегчением, а генерал похвалил:

— Ну, вот и молодец!

Адъютант развернул на столе карту, командир дивизии подошел к ней, подозвал Караваева и Гарбуза.

Ромашкин остался один на середине блиндажа и не знал, что же ему делать. Первое, на что он решился, — надеть шинель, чтобы никто не видел его отвратительной гимнастерки. Правда, на ней теперь сияла новенькая медаль, которую очень хотелось потрогать. Но у двери стоял Гулиев — неудобно было обнаруживать свою слабость перед солдатом. Шепотом спросил ординарца:

— Где моя шинель?

— Здесь, товарищ лейтенант, — ответил Гулиев, не двигаясь, однако, с места и пристально глядя на медаль. — Разрешите посмотреть, товарищ лейтенант?

— Любопытствуй, — милостиво разрешил Ромашкин.

Гулиев осторожно приподнял медаль двумя пальцами:

— Тяжелая. Серебряная, наверно?

— Конечно, — убежденно сказал Ромашкин, чувствуя, как успокаивается и обретает уверенность от этого разговора.

Он оделся, но некоторое время постоял еще на середине блиндажа, не решаясь обратиться к склонившимся над картой старшим начальникам. Самым рослым меж них казался почему-то генерал, хотя был он в действительности не выше Караваева и много ниже Гарбуза.

Когда командир полка наконец оглянулся, Ромашкин тихо спросил:

— Разрешите идти?

Караваев шагнул к нему и тоже негромко сказал:

— Идите к начальнику штаба. Он вызовет Казакова и даст необходимые указания. Он в курсе дела.

Василий вышел на морозный воздух и вздохнул полной грудью. Часовой, охранявший блиндаж, усмехнулся, кивая на Ромашкина:

— Во, дали баню лейтенанту! Смотри, — обратился он к генеральскому коноводу, — аж пар валит!

— Мой может, — подтвердил коновод. — Так поддаст, что и дым пойдет!

Ромашкин никак не отреагировал на это. Он стоял счастливый, наслаждаясь тишиной и прохладой. Окружавший его заснеженный мир весь искрился...

Начальник штаба майор Колокольцев встретил Василия приветливо. Только дел у него было слишком

много — разговаривать с лейтенантом не мог. А знал он все: и о назначении лейтенанта, и о награждении медалью, и о том, что должен свести Ромашкина с Казаковым.

— Садитесь и ждите. Казаков сейчас придет,— пообещал майор, принимаясь что-то писать, временами поглядывая на развернутую карту, где цветными карандашами было нанесено положение войск — наших и противника, флажками обозначены штабы.

Ромашкин осмотрелся. Блиндаж начальника штаба был поменьше, чем у командира полка, но, пожалуй, еще уютней и удобней для работы: стол шире, хорошо освещен двумя лампами, которые стояли на полочках, прибитых к стене справа и слева: от такого освещения на карте не появлялось теней. На отдельной полочке — цветные карандаши, командирские, линейки, циркули, компас, курвиметр, стопки бумаги, стеариновые свечи.

Писал начальник штаба быстро, крупным красивым почерком. Лицо у него отсвечивало желтизной не то от ламп, не то от усталости. Когда зуммерил телефон, майор брал трубку и, продолжая писать, говорил спокойным голосом: «Да, командир разрешает». Или: «Нет, командир с этим не согласен». Или даже так: «Не надо, к командиру не обращайтесь. Запрещаю!» И все писал, писал строчку за строчкой, которые, как и голос, у него были четкими и ровными.

Впервые наблюдал Ромашкин, как работает начальник штаба полка, и его многое при этом поразило. Откуда майор знает, с чем согласится и что отвергнет командир? Почему он так уверенно, без колебаний, не советуясь с Караваевым, отдает распоряжения от его имени? Даже запрещает к нему обращаться! Ромашкин не предполагал, что у начальника штаба такие права и власть.

Размышления эти прервались с появлением Казакова. Был он в сдвинутой на затылок шапке, из-под шапки выбивался темный чуб, под носом усики, в глазах веселое лукавство.

И в докладе Казакова прозвучала некоторая вольность:

— Я прибыл, товарищ майор.

— Проходи, Иван Петрович, знакомься — вот тебе замена,— тоже как-то по-свойски ответил ему начальник штаба, не отрываясь от своего дела.

Ромашкин с удовольствием пожал крепкую руку Казакова и с первой же минуты полюбил разведчика. Была в его удали какая-то распахнутость, готовность к дружбе, добродушие.

— Нашелся? — подмигнул ему Казаков. — Вот и хорошо!.. Так мы пойдем, товарищ майор?

— Погоди! — остановил Колокольников и, дописав фразу, повернулся к лейтенантам. — Значит, так, Иван Петрович: ты не просто передай взвод Ромашкину, а подучи его, своди разок-два на задания, познакомь с людьми, поддержи, а то ведь твои орлы, сам знаешь, какой народ.

— Все будет в порядке, товарищ майор, — сияя улыбкой, заверил Казаков. — Ребята примут лейтенанта, не сомневайтесь. Я же на повышение ухажу.

— Надеюсь на тебя, Иван Петрович. А пока Люленков подлечится, ты и за него поработаешь. — И, обращаясь уже к Ромашкину, пояснил: — Ранило моего помощника по разведке, капитана Люленкова, в медсанбате сейчас.

Казаков энергично возразил:

— Я на роту собрался, товарищ майор, а вы про замену Люленкова говорите. Лейтенанту помогу, его обучу, а за ПНШа не сработаю. В бумагах этих — сводках, картах — я ни бум-бум.

— Ты заменишь Люленкова временно.

— И временно не могу: не кумекаю.

— Все! Занимайся с Ромашкиным.

— Понял. Идем, лейтенант, — заспешил Казаков, опасаясь, как бы начальник штаба еще чего-нибудь не надумал.

В овраге, по которому они шли к жилью разведчиков, Казаков сперва сердито молчал, потом начал ворчать:

— «Временно»!.. А там Люленков разболеется — и на постоянно застрянешь! Нужна мне эта штабная колготня, как зайцу бакенбарды! — И лишь отворчавшись, обратился к Ромашкину: — Ладно, расскажи, брат, маленько про себя.

Слушал он Василия внимательно, одобрительно кивал, а итог подвел такой:

— В разведке главное — не тушуйся. Никогда не спеши, но всегда поторапливайся. Ты видишь всех, а тебя не видит никто. Понял? — Казаков засмеялся. — Будет полный порядочек, Ромашкин. Сейчас тебя познакомлю с нашими ребятами. Правда что орлы!

«Языка» хоть из самого Берлина приволокут... Заходи в наш дворец...

Жилье разведчиков и впрямь оказалось хорошим. Целая рубленая изба была опущена в землю. Сразу под накатом врезаны две оконные рамы. Вдоль стен — дощатые нары, на них душистое сено, застланное плащ-палатками. В изголовье висят на крюках автоматы, гранаты, фляги. В проходе между нарами стол с газетами и журналами, домино в консервной банке, шахматы в немецком котелке, парафиновые немецкие плошки.

«Богато живут», — подумал Ромашкин, еще не совсем веря, что все это будет теперь его «хозяйством».

Разведчики отдыхали. Несколько человек лежали на парах. Двое чистили автоматы. Один у окна читал растрепанную книгу.

— Внимание! — громко сказал Казаков и, когда все обернулись в его сторону, заявил серьезно: — Я говорил и говорить буду, что сырое молоко лучше кипяченой воды! Я утверждал и утверждать буду, что кипяток на всех железнодорожных станциях подается бесплатно!

Разведчики засмеялись и стали подниматься с нар.

— Какие новости, Петрович? — спросил здоровенный детина, любяще, по-детски глядя на командира.

— Вот и я про новости, — продолжал Казаков. — Представляю вам нового командира — лейтенанта Ромашкина. Он боевой фронтовик, вчера ночью поймал сразу трех фрицев. Никому не советую с ним пререкаться, потому как он боксер, чемпион и может вложить ума по всем правилам!

Разведчики как-то мельком, без того интереса, которого ожидал Ромашкин, посмотрели на него и сели вдоль стола.

— Значит, уходишь? — грустно произнес тот же здоровяк. — Кидаешь нас?

— Куда же я вас кидаю? — стараясь быть веселым, ответил ему Казаков. — В одном ведь полку служить будем, в одних боях итсья.

— Там что, получка больше? — спросил другой.

— На сотню больше.

— Так мы две соберем.

Ромашкин понял: происходит не просто шутливый разговор, а горькое расставание разведчиков с любимым командиром. Казакову верили, с ним не раз

ходили на смерть, и не раз он своею находчивостью спасал им жизни. А теперь вот они остаются без него.

Казаков пытался смягчить эту горечь балагурством:

— Не в деньгах дело, ребята. Не могу же я всю войну взводным ходить. Из дома письма получаю: сосед Никола уже батальоном командует, Тимофей Башлыков — ротой, Никита Луговой — тоже батальоном. Что ж, я хуже всех? Если вернусь взводным, теща живым съест. Ух, и теща у меня, хуже шестиствольного миномета! Хотите, расскажу вам, как я придумал домой вернуться?

Ромашкин видел колебание разведчиков. Они пытались сохранить обиженное выражение: не время, мол, для шуток. Но глаза у ребят уже теплели.

— Что ж, расскажи, Петрович, — попросил кто-то.

Казаков присел у стола и начал:

— Ну, вот, представьте себе, явлюсь я домой в капитанском облиии. На груди у меня — ордена, в вещевом мешке — подарки. Жена, конечно, сразу ко мне. Теща выставляет пельмени, пироги, закуски всякие. А я: «Нет, погодите, дорогие родственники. Прежде всего расскажу вам, что же такое война, и покажу наглядно, какая она есть. Пожалуйста, идемте все во двор или вон в садик. Берите каждый по лопатке...» Отмеряю им метра по три каждому. «Копайте! Глубина чтоб была в полный профиль — полтора метра, значит». Ну, станут они копать, руки до кровавых мозолей набьют и взмолятся: «Отпусти нас, Иван Петрович». «Нет, — скажу, — копайте». А когда выроют траншею, принесу для каждого по два ведра воды, вылью на голову и повелю: «Сидите в этой яме мокрыми одну почку». Они опять начнут просить: «Отпусти, Иван Петрович...»

Казаков помолчал, давая возможность слушателям представить все это, перевел дух и продолжал:

— Потом, конечно, я отпущу их, скажу только: «Вот вы и одной ночи в таких условиях не выдержали, а я — два года... — Или сколько мы там провоеваем еще? — Словом, сотни дней и ночей провел под дождем и снегом. Да к тому же мины, снаряды и бомбы с самолетов меня долбили. И все это я стерпел, вас защищая. А теперь подумайте, какое у вас должно быть ко мне уважение». Полагаю, после такого примера теща станет ходить вокруг на цыпочках.

Разведчики совсем повеселели.

— Ладно, Петрович, жми в капитаны...

Шутка шуткой, но они и сами понимали: не сидеть же всю войну в лейтенантах хорошему командиру. А раз так, то и внимание их тут же переключилось на Ромашкина. Он сразу это почувствовал, вспомнил про свою медаль и решил: «Разденусь-ка я, пусть посмотрят». Украдкой оглядел разведчиков: наград ни у кого из них не было.

— Тепло у вас,— сказал Ромашкин вслух и, расстегнув шинель, поискал взглядом, куда бы ее повесить.

— Прости, друг, не предложил тебе сразу раздеться,— виновато сказал Казаков.— Вон там мой угол. Повесь туда. И спать там со мной будешь, старшина постель оборудует.

Василий повесил шинель на гвоздь, поправил гимнастерку и, сверкая медалью, вернулся к столу. Разведчики переглянулись, явно из-за медали. Довольный произведенным впечатлением, Ромашкин подумал, что даже гимнастерка измятая и в белых волосках от полушубка работает здесь на его авторитет — не какой-нибудь тыловичок, а боевой, траншейный командир. Такого разведчики, ясное дело, заважают.

* * *

Днем в боевое охранение не проползти, поэтому Ромашкин пробыл у разведчиков до вечера. Лишь когда смеркалось, пришел в свою роту — сдать взвод, забрать вещевой мешок с пожитками и попрощаться с бойцами.

— Ага! Явился не запылится! — встретил его, как всегда сурово, Куржаков.— Я уж думал, не придешь, обрадовался, что с передовой смылся!

Василию казалось, что и тон этот, и оскорбительные слова — от зависти. Но теперь-то он не подчинен Куржакову, сам пользуется правами ротного. Впрочем, и в подчинении Василий не лебезил перед ним. А сейчас ответил с явным вызовом:

— Я, товарищ лейтенант, смываюсь с передовой в нейтральную зону и дальше. В общем, все остается, как было: я — впереди, а вы — за моей спиной.

Ромашкин подчеркнул «выкал», хотя раньше, чтобы позлить Куржакова, иногда говорил ему «ты». Сейчас это «вы» звучало свысока, как напоминание Куржакову, что он уже не имеет права «тыкать» ему.

Куржаков воспринял поведение Василия как хамство выскочки: впервые отличился и уже зазнался до

умопомрачения. Он тоже подчеркнул «вы», но вложил в него прежний смысл их отношений — подчиненности взводного ротному:

— Вы передайте взвод сержанту Авдесву по всей форме, как положено. А потом придете вместе с сержантом и доложите о приемке-сдаче!

Ромашкин понял скрытый смысл, вложенный в распоряжение ротного. Делать было нечего, формально Куржаков прав. Хотя немного имущества во взводе и обычно не передавали его взводные командиры, чаще всего убывая в госпиталь или на тот свет, но устав предусматривал такой порядок.

— Будет сделано, товарищ лейтенант, — намеренно не по-уставному ответил Ромашкин и, чтобы еще раз кольнуть Куржакова, предложил: — А может быть, ввиду такого исключительного случая вы сами пройдете со мной в охранение, лично проследите за приемом и сдачей и на местности отдадите боевой приказ новому командиру?

Куржаков саркастически усмехнулся:

— Я додумался до этого без ваших напоминаний, Ромашкин. Побывал там и все сделал. А ваш взвод уже здесь. В боевое охранение назначено другое подразделение во главе с лейтенантом. Так что идите передавайте имущество. Жду вашего доклада.

Свой взвод Ромашкин нашел в первой траншее. Она была глубже, чем та, в которой он сидел на одинокой высотке впереди. В стенках вырыты «лисьи норы», сделаны ступеньки, чтобы удобней вести огонь и выскакивать в атаку. И блиндажи здесь попрочнее.

— Командир второго взвода сержант Авдеев! — представился его преемник.

— Поздравляю! — сказал Ромашкин.

— С чем? — спросил сержант. — С тем, что первым в атаку буду теперь вставать?

— На то и командир!

— Вот и я говорю...

Передать взвод — дело не хитрое, но следовало кое о чем договориться с сержантом: Куржаков будет цепляться за каждую мелочь.

Авдеев, парень сговорчивый, слушал и соглашался.

— Людей во взводе двенадцать. Так?

— Так.

— Винтовок одиннадцать, станкач один. Так?

— Так.

— Лопат малых двенадцать, противогазов — тоже. Так? — спросил Ромашкин и насторожился: противогазов у многих не было, их давно выбросили, а в сумках хранили еду, патроны и всякие личные вещи.

— Так, — ответил, не задумываясь, сержант.

— Но с противогазами-то сам знаешь какое положение.

— Знаю, товарищ лейтенант.

— Как же быть?

— Если возникнет химическая угроза, думаю, наша разведка не проморгает. Подвезут нам новые противогазы.

— Я о докладе ротному говорю.

— Да что вы, товарищ лейтенант, какой разговор? Вы сдали, я принял все полностью. — Сержант слегка замялся и неуверенно попросил: — Вот если бы автомат вы передали мне как взводному.

Ромашкин решил, что в разведке для него автомат найдется. В крайнем случае Казаков свой тоже отдаст, не унесет.

— Бери, сержант, он действительно тебе нужен. На вот и запасной диск. Оба диска снаряжены полностью. В вещмешке у меня еще и рассыпные патроны есть. Пойдем — отдам и их...

Без привычной тяжести автомата Василий почувствовал себя неловко, сразу стало чего-то не хватать. В блиндаже, увидев своих бойцов, подумал: «Интересно, как они проводят меня? Разведчики, узнав об уходе Казакова, опечалились. А что скажут мои славяне? Жил ведь я с ними в одной землянке, ел из одного термоса, обстреливали нас одни пулеметы, возможно, и в одной братской могиле довелось бы лежать, а вот ни разу не поинтересовался, что они думают обо мне. Может, будут рады, что ухожу? Не должны бы: я не выпендривался, как Куржаков. Тот хоть и поступает точно по уставу, хоть и не спрашивает больше, чем позволяют его права, но есть в нем что-то, порождающее желание возразить, защититься от его обидной холодности. За мной такого, кажется, не водится...»

Он смотрел на Махоткина, Бирюкова, Ефремова — эти люди всегда первыми поднимались в атаку по сговору, шли с ним рядом на пулеметы врага. И вчера ночью они действовали лучше некуда. Хорошие ребята!..

Спросил их, не скрывая своей грусти:

— Ну что. братья-славяне, расстаемся?

Бойцы обступили его. За всех подал голос Махоткин:

— Не забывайте нас, товарищ лейтенант.

— Как вас забыть? — сказал Ромашкин и подумал о своей медали. Стало почему-то неловко перед этими людьми: фашистов били вместе, а наградили только его. — Как же я вас забуду? — произвольно повторил он. — Вы мне вон что заработали!..

Василий растегнул шинель и показал на груди сияющий кругляшок. Бойцы рассматривали медаль, читали надпись и номер.

Рассудительный Ефремов уточнил:

— Медаль эту вы сами заработали, товарищ лейтенант. Такое дело в один миг придумали! И немца поймали сами. Так что не сомневайтесь.

— Мне хотелось, чтоб и других наградили. Вас, например, Бирюкова, Махоткина — тоже ведь гитлеровцев поймали.

— Наши награды впереди, — весело сказал Махоткин, — вон сколько еще до Берлина топать!..

На душе у Ромашкина стало полегче. Хотя его бойцы и не выказали такой любви, как разведчики к Казакову, но все же он им небезразличен.

«Да и я ведь не Казаков, — отметил про себя Василий. — Тот вон какой молодец. Я с ним полдня провел и то полюбил».

— Заходите к нам, — попросил Махоткин.

— Вас не минуешь, — ответил на это Ромашкин, — путь к немцам идет через вас. Ну, бывайте здоровы, ребята. Идем, Авдеев, доложимся ротному.

...Куржаков поднялся, чтоб стоя, как и полагалось, выслушать рапорт. А выслушав, строго спросил Авдеева:

— Все приняли?

— Так точно! — без колебания заявил сержант.

— И пэпэша передал?

— Так точно, и пэпэша.

В ротах автоматы только появились, их дали пока лишь взводным да некоторым сержантам, и Куржакову не хотелось терять «одну единицу автоматического оружия».

Ромашкин ждал придинок. Но придинок не было.

— Вы можете идти, — сказал ротный Авдееву и, когда сержант вышел, предложил Ромашкину: — Садись, попрощаемся хоть по-человечески.

— Можно и так... попрощаться, — хмуро согласился Василий.

— Интересно, что ты будешь обо мне думать?

Ромашкин ответил смело и прямо:

— Думать буду о тебе, что и раньше думал: зануда ты. Вот и все.

Он ждал взрыва, но Куржаков лишь усмехнулся. Посмотрел как-то сбоку и сказал примирительно:

— Видел когда-нибудь, как петушки молодые дерутся? То и дело пырх да пырх — друг на друга насккивают. А из-за чего? Не знаешь! И они не знают! Вот и ты петушок. Ничего еще в жизни не видел. Выпорхнул из училища, разок в атаке кукарекнул — и в госпиталь. Теперь, правда, посильнее, по-настоящему кукарекнул. И возомнил себя отчаянным воякой... Ладно, иди, петушок. Кто из нас чего стоит, сам потом поймешь! Будь здоров!

Ромашкин вышел в полной растерянности. По дороге к штабу полка вспоминал и перебирал всю свою недолгую службу с Куржаковым. И получалось, как пирути, он, Ромашкин, не всегда был прав. С чего-то взял, что Куржаков нарочно свою власть показывает. А он не власть показывал, он командовал, как полагается ротному. Смотрел свысока? Так он полный курс училища закончил, с июня сорок первого — в боях...

От этих размышлений Василий перешел к делам домашним: «Маме писать о новом назначении пока не буду. И так беспокоится, а тут и вовсе спать не станет...»

* * *

Ромашкин предполагал, что он уже в следующую ночь пойдет с разведчиками на задание и притащит «языка». Но оказалось, прежде чем идти за «языком», надо выбрать объект и тщательно изучить его.

Лейтенант Казаков в сопровождении двух разведчиков выходил с Ромашкиным в первую траншею, на разные участки обороны полка. Вместе наблюдали за немецкими позициями в бинокль, с разрешения артиллеристов пользовались их стереотрубами. Наводя перекрестие стереотрубы на огневые точки, Казаков звал к окулярам Ромашкина, спрашивал, что он видит, и сам рассказывал ему об увиденном. Притом всегда получалось, что Иван Петрович обнаруживает гораздо больше существенных деталей. Слушая его спокойный,

доброжелательный голос, Василий подумал однажды: «Если бы Куржаков обнаружил настолько больше меня, уж он бы покуражился!»

Иногда Ромашкин недоумевал:

— Какая разница, где брать «языка»? Куда ни ползи, везде могут встретить огнем.

— Это верно, везде могут... И встретят, и огонька подсыпят так, что землю зубами грызть будешь! — соглашался Казаков. — А ты кумекай, как сработать, чтобы втихую все обошлось. Для этого что надо?

— Ползти осторожно.

— Тоже правильно, только надо еще подумать, где ползти. По открытому месту поползешь — он тебя за сто метров обнаружит.

— Зачем же по открытому?

— Ну, вот и докумекал: подходы, значит, надо искать к объекту. Удобные подходы! Мы с тобой этим и занимаемся. Объектов много, а подходы есть не ко всем...

Наконец объект был выбран — пулемет на высоте. Ромашкин сам ни за что не остановился бы на таком объекте: разве к нему подберешься? Но Казаков рассмотрел удобную лощинку.

— По ней и пойдем, — объявил он. — Там должно быть мертвое пространство. В рост не пройдешь, а проползти можно.

Ночью Казаков, Ромашкин и те же два разведчика — сержант Коноплев и красноармеец Рогатин — ушли в нейтральную зону. Прощупывали подступы к высоте поосновательнее. Кланялись пулеметным очередям, лежали, уткнувшись в снег, под ярким светом ракет. Под конец присели за кусты покурить, повернувшись спинами к немецким траншеям, чтобы оттуда не заметили огоньков сигарок.

— При подготовке поиска близко к объекту старайся не подходить, — посоветовал тихим голосом Казаков. — Следы на снегу оставишь, немцы их обнаружат и догадаются, что к чему. Тогда, конечно, встретят. Понял?

Ромашкин кивал, соглашался, но его снедало нетерпение. Зачем столько канителиться? Можно было бы сразу идти сюда сегодня всей группой. Были бы у них ножницы для резки проволоки, подползли бы сейчас к немецким заграждениям, сделали проход и уволокли бы фрица. Такие, как Рогатин, Коноплев, Казаков,

в одиночку любого немца скрутят. И себя он тоже со счетов не сбрасывал: ему бы только в немецкую траншею забраться...

Но Казаков не торопился. Днем отобрал еще пятерых разведчиков и повел всех не в сторону фронта, а в полковые тылы, за артиллерийские позиции. Выбрал там высотку, похожую на ту, куда предполагалось идти ночью. Без лишних формальностей поставил задачу:

— Ты, Ромашкин, командир над всеми и главный в группе захвата. В группу захвата назначаются вместе с тобой Коноплев и Рогатин. Группа обеспечения — старший сержант Лузгин и с ним еще четверо: Пролеткип, Фоменко, Студилин, Цикунов. Кроме того, у нас будет два сапера. Ты,— показал Казаков пальцем на Лузгина,— ляжешь со своей группой у прохода, проделанного саперами. Если все сложится удачно, пропустишь лейтенанта с «языком» и только после этого начнешь отходить сам. Если фрицы будут мешать отходу группы захвата, должен забросать их гранатами и задержать огнем из автоматов. Если они поведут преследование большими силами, вызовешь огонь артиллерии — одна красная ракета. С артиллеристами я договорился. Не забудь ракетницу взять. Все ясно?

— Ясно.

— Тогда давайте разок проделаем практически. Группа обеспечения — вперед!

Лузгин и с ним еще четверо пошли к высотке.

— С вами пойдут и саперы,— сказал им вслед Казаков.— Теперь твоя группа,— взглянул он на Ромашкина.— Идете метрах в пятидесяти от Лузгина. Марш!..

Петрович и сам пошел рядом.

Когда обе группы приблизились к высоте метров на сто, Казаков пояснил:

— Дальше — а может быть, и раньше — поползете по той самой лощине. Здесь ее нет, но ты же помнишь, в стереотрубу ее видел и вчера ночью к ней подползал.

— Отлично помню,— подтвердил Ромашкин.

— Когда саперы будут резать проволоку, вы лежите и наблюдаете. Лузгин,— позвал Казаков,— какой сигнал подашь, когда проход будет готов?

— Рукой махну.

— А если не увидят?

— Ну, подползу поближе и махну.

— Ползать опасно, там каждое лишнее движение могут обнаружить, и все труды к черту! Лучше не ползай. А ты,— Казаков обратился к Ромашкину,— и вся группа захвата должны наблюдать за Лузгиным внимательно. Надо обязательно увидеть, когда он махнет.

— Увидим.

— Ну, хорошо. Теперь прорепетируем несколько вариантов отхода. Первый — если будут преследовать; второй — без погони; третий — с убитыми и ранеными.— Казаков пристально поглядел в глаза Ромашкину и впервые строго сказал: — Запомни, лейтенант, в разведке закон — раненых и убитых не оставлять ни в коем случае! Убитому, конечно, все равно, где лежать. Но если бросишь убитого, в другой раз живые с тобой пойдут опасливо. Каждый вправе подумать: а не был ли тот, оставленный, раненным? И не случится ли с кем-нибудь на новом задании то же самое? Так что усвой раз и навсегда нерушимый закон: сколько разведчиков ушло на задание, столько должно и вернуться. Кто живой, кто мертвый, дома разберетесь...

Тренировались долго. Ромашкин взмок, бегая и ползая по глубокому снегу. Взмокли и остальные. Василий смотрел на разведчиков и думал: «Наверное, проклинают меня. Мучаются-то они из-за моей неопытности. Самим им все до тонкостей давно известно». Но когда занятия кончились, Казаков, тоже потный — пар валил от него, чубчик прилип ко лбу,— сказал назидательно:

— Вот так, дружище, надо репетировать каждое задание. Все отрабатывай здесь. Там,— он махнул в сторону противника,— ни говорить, ни командовать нельзя. Там должно все проходить как по нотам. Понял?

— Уяснил.

— Ну и молодец. А этих двоих — Коноплева и Рогатина — мы с тобой таскали повсюду для чего? Для охраны или для компании? Нет, конечно. Они теперь все наши замыслы знают. А зачем это?

— Лучше помогут.

— Ты просто талант! — похвалил Казаков и добавил: — Мы живем на войне. И тебя и меня в любой момент, даже при подготовке, могли ухлопать. А в разведке перерыва быть не должно. Меня убили — ты пойдешь, тебя убили — они поведут группу.

Ромашкин успел заметить, что, если даже отвечает Казакову невпопад, тот все равно говорит ему: «Правильно». И тут же сам, будто повторяя его слова, высказывает совсем иное — то, что следовало бы ответить на вопрос. «Добрый и тактичный командир, не зря его разведчики любят», — думал Василий.

— Ну что ж, братцы, пошли обедать, — распорядился Казаков.

Такие распоряжения всегда выполняются моментально. Разведчики двинулись по старому следу один за другим.

Иван Петрович склонился к Василию, тихо спросил:

— Видишь, как идут?

— Колонной по одному.

— Точно. По уставу это называется так. Но ты запомни, лейтенант, в уставе разных строев много, а разведчики ходят только так: след в след, даже по своей земле. Жизнь к этому приучила. И ты ходи обязательно след в след. На мины нарветесь — одного потеряете. Благополучно пройдете по снегу, по траве, по пашне — один след оставите, будто один человек прошел. Это тоже очень важно в тылу врага...

* * *

До выхода на задание остались считанные часы. Разведчики поели и теперь могут отдохнуть. Однако не все спешат на нары. Большинство из отобранных Казаковым в ночной поиск продолжает приготовления к нему. Каждый сейчас, наверное, волнуется, но внешне это незаметно. Все спокойны и даже веселы.

Иван Рогатин обматывает чистым бинтом автомат, чтобы не выделялось оружие на белом снегу. Здоровый, плечистый, неразговорчивый, он делает это не торопясь, солидно.

Саша Пролеткин рядом с Иваном кажется мальчиком. Движения у него быстрые, сам он юркий. Мурлыкая песенку, Саша тоже меняет бинт на автомате и, как всегда, задирает Рогатина:

— Скажи, Иван, почему у тебя такая фамилия?

Все затихают, прислушиваются, знают: Сашка что-нибудь отчудит.

Иван отвечает не сразу. Продолжая аккуратно прилаживать бинт, между делом бросает:

— Какая такая? -

— Ну, не совсем обычная — Рогатин. Ты что, из рогатки стрелял?

Иван качает укоризненно головой.

— Фамилию разве по мне дали? Полагаю, что мои деды ходили на медведя с рогатиной.

— А ты ходил?

— Я с ружьем ходил. Теперь можно и без рогатины.

— Значит, ты охотник?

— Вовсе и не значит. Я хлебороб. Хлеб растил, тебя кормил. А охота — для души. Она как бы отдых.

— И все же ты охотник.

— Пусть так, — соглашается Иван.

— А скажи, Рогатин, жирафа ты ел?

— Жирафы в наших краях не водятся. Они в Африке.

— А я вот ел жирафа, — спокойно заявляет Саша.

— Как же ты в Африку попал?

— Зачем в Африку? Когда Киев наши войска оставляли, там зверинец разбежался. Вот мы с дружкой и попробовали жирафятинки. Хотели еще бегемота попробовать, но я жирное мясо не люблю.

— Уж молчал бы, — осуждающе говорил Рогатин.

— А что?

— Под суд тебя надо за такие дела, вот что! Редких животных истреблял.

— Какой ты быстрый! — юлит Саша перед Иваном. — А ты бы не истреблял?

— Я — нет.

— Вот, значит, тебя и надо под суд! Приказ ведь был: отступая, ничего не оставлять фашистам — либо эвакуируй, либо уничтожай! А жирафа как эвакуируешь? Он ни в какой вагон не помещается. И на платформу его не заведешь: будет цеплять за семафоры. Ты у жирафа шею видал? Она, брат, поздоровше твоей!

Разведчики дружно смеялись: «Ну и Саша! Прищучил-таки Рогатина!»

На короткое время все смолкают: тема исчерпана. Но молчать в такой час не принято. Перед самым выходом на задание всегда полезно несколько отвлечься: ни к чему загоя переживать предстоящие трудности и опасности. Молчаливый Рогатин знает это не хуже других и потому сам возобновляет разговор, явно рассчитанный на всеобщее внимание:

— Да, братцы мои, разные в жизни бывают истории. Вот у меня, к примеру, такое произошло, что вы, пожалуй, и не поверите. Отслужил я срочную в тридцать восьмом году, еду домой. Все чин чинарем — в купейном вагоне, телеграмму мамане послал: скоро, мол, буду. Вышел из поезда на полустанке Булаево, оттуда до нашей деревни рукой подать — километров сто. В Сибири сто километров не расстояние. Сначала подвез меня на тарантасе лесник, потом на двуколке ветеринарный фельдшер. Около Павлинки он в сторону свернул, ну а мне пришлось время заночевать. Иду вдоль деревни с новым чемоданчиком, сапоги скрипят, на груди «ГТО» и «Ворошиловский стрелок». Бабы на меня зырк-зырк.

— Конечно, такая кувалда прет! — хохотнул Саша Пролеткин.

— Ты погоди встrevать, — одернул его Иван. — Так вот, иду я вдоль деревни, а впереди — музыка. Гуляют, значит. Подхожу к одной избе — окна в ней нараспах, каблуки стучат по полу, с крыльца сбегает кто-то и прямо ко мне: «Просим вас, товарищ боец, к нам на свадьбу». Я по скромности стал отнекиваться: нет, мол, благодарствую, ни к чему на свадьбе посторонний прохожий. А они: «Какой же вы посторонний, вы защитник Родины!» Одним словом, затащили меня в хату. Гости плотнее сдвинулись, место мне дали. Ну, выпил. Молодых я поздравил. «Горько!» — сказал. Поцеловались они. Невеста такая крепкая, не то чтобы очень красивая, но крепкая...

— Жениха ты, конечно, не заметил, у тебя после службы глаза одну невесту видели, — опять вставил Саша.

Иван с укором поглядел на Пролеткина.

— Ох, и балаболка ж ты, язык болтается в тебе, как в свистке горошина!.. Был и жених, видел я его, да он мне не приглянулся — какой-то прыщавый, маленький. — Иван поглядел на Сашу и решил ему отплатить: — Ну, вроде тебя, такой же маломерка.

Саша обиделся, но промолчал.

— Как водится, — продолжал Рогатин, — и я в пляс пошел. Сперва барыню отгрохал, потом под патефон городские танцы с девками выкручивал. А пока, значит, я танцевал, в свадьбе какой-то разлад получился. Точно как у писателя Чехова в рассказе: жениху чего-то недодали, он и заартачился. Невеста — в слезы.

А жених смахнул на пол тарелки с закусками и прямо по этим закускам прошагал к двери. Вынул цветок, который на пиджаке у него был, кинул на пол. «Все с вами!» — говорит. И ушел. Тут даже пьяные протрезвели, а трезвые, наоборот, очумели. Все притихли. Невеста рыдает. И так мне жалко ее стало, ну, не знаю, что бы для нее сделал. «Хочешь, — говорю, — я того сморчка возьму за ноги и разорву на две штанины?» Мамаша невестина струхнула: ох да ах, вы, конечно, наш защитник, но все же так по-страшному защищать не надо, может, Петька еще одумается. А я в ответ: да пусть хоть десять раз одумается, разве он ей пара?! Такая девка, а он прыщ, и ничего больше. Мамаша урезонивает меня: «Ну, все ж таки он жених. Куды она без него? Кто ее возьмет теперь, опозоренную?» — «Да хотя бы я! — говорю. — Со всей душой и сердцем!» Невеста даже плакать перестала. А у гостей рты так и раскрылись, будто хором букву «о» поют. На меня все внимание. Я и рад! Сажусь рядом с новобрачной, спрашиваю: «Пойдешь за меня?» У нее в каждой слезинке улыбка засверкала. «Пойду, — говорит, — с радостью, если вы всерьез». Ответствую ей: я, мол, боец Красной Армии, мне трепаться не полагается. Я не как тот сморчок, мне никаких приданных не надо. Мы сами с тобой своими руками все добудем и сделаем. Гости, которые поверили, стали опять гулять, а которые не поверили, ушли от греха подальше. Только сам я чуть оконфузился: ведь три года в армии не пил, захмелел с непривычки и свалился.

— Много же в тебя было влито, если такого бугая свалило! — не удержался Пролеткин.

На этот раз Рогатин не удостоил его даже взглядом и повел рассказ свой дальше без перерыва:

— Наутро просыпаюсь. Где я? Пуховики подо мною. Постель вся новая, аж хрустит. Рядом девка спит румяная, пригожая. А в башке гудит, будто грузовик буксует на подъеме. Открывает девка свои ясные синие очи, глядит на меня, как в сказке. «Ты кто?» — спрашиваю. «Как — кто? Твоя жена. Или забыл?» Вижу, у нее уже вода в глазах накапливается. Вспомнил я вчерашнюю кутерьму и принялся утешать. А она плачет и плачет. «Чего же ты, — говорю, — слезы-то льешь? Я не отказываюсь. Как вчера обещал, так все и будет». А она опять плачет. «Скажи, — говорю, — напрямки, в чем дело?» — «Да я, — говорит, — не для

тебя плачу, а для себя. Какая несчастная — два раза замуж вышла, а бабой все никак стать не могу».

Тут грохнул такой хохот, что даже стекло в оконце, возле которого сидел Ромашкин, зазвенело тоненько, словно при близком разрыве снаряда.

— Ну, и чем это кончилось? — спросил Василий, когда все отсмеялись.

— А ничем и не кончилось, — солидно ответил Иван. — Мы с Груней душа в душу и по сей день. Вы, конечно, считаете, что у людей всегда сперва любовь появляется, потом они женятся. А вот у нас с Груней по-своему: сперва женились, а потом любовь расплылась... Я ведь и фашиста почему в первом своем поиске удавил? Все от этой самой любви. Подумал, как фашисты над нашими бабами измываются, и не стерпел. От таких дум мне и теперь не убить фашиста тяжело, чем убить.

Иван окинул всех быстрым взглядом. Разведчики не смеялись. Обращаясь к Ромашкину, сказал:

— Конец не конец, а вроде бы точку какую в той истории я, товарищ лейтенант, все же поставил. Вышел через неделю после свадьбы рыбки наловить: Груня ухи захотела. А на реке меня этот прыщ, сам-шестой, встречает. Кроме него самого, ребята все здоровые, убить не убьют, а покалечить могут. Уточнюю обстановку: «Не бить ли меня собрались?» — «Догадливый», — сипит Петька. «А за что? Не за девку ведь спор. Груня — законная моя жена». Вижу, смутил их, замялись. «Правильно, жена, — говорит Петька, — а у кого ты увел ее?» Да тут Назар, коннох, дал Петьке под зад, он аж в кусты полетел. Поднялся, вопит: «Меня же за мое угощение обижают!» — «Ты сам обидел нас, Петро, — сказал Назар. — На худое дело смутил: законного мужа разве бьют? Ставь еще две литры и пригласи Ивана, а не то самому фонарей подвесим». И что бы вы думали? Выставил Петька водку. За мир, значит. Одна маманя моя в обиде осталась: до дома не дотянул, без нее по дороге женился.

— Дуже гарно все зробилось! — воскликнул Богдан Шовкопляс. — Ты, Иван, сам великий, и душа у тэбэ большая. А вот за мэнэ пи одна дивчина замуж выходить не хотела.

Разведчики недоверчиво поглядели на Шовкопляса: парень чернобровый, белозубый, глаза веселые. Правда, нижняя челюсть немного вперед выдается и нос

чуть набок. Но это замечаешь, лишь приглядевшись, а так всем хорош — крепкий, рослый.

— Так я тильки теперь на справного чоловіка похож став,— пояснил Богдан.— А був пикудышний. Лежал колодой на печи, ревматизма мэни расколола ще хлопчиком, в десять рокив. По хате ковыляю, а щоб яку работу зробити или на игрище с хлопцами — ни-ни. Долежал до семнадцати рокив. В школи до седьмого классу доучился — учителя и на печи не забывали. Стал я почти жених, да кто за меня пойдет? Кому потрібна така колода?

— Как же тебя в армию взяли? — удивился Королевич.

— Погодь, Костя, не забегай наперед... Ходили до мэнэ с уроками разни девчатки. И была среди них одна красавица, Галей ее звали. Така гарна, що очи ризало. А в самой ей очи — что твое море или там стратосфера. Звезды в них горят, як у той самой стратосферы.

Богдан разволновался, щеки у него порозовели, в глазах вроде бы тоже засверкали звезды.

— Я больной, больной, а красоту понимал. Дивлюсь на цю Галю, знаю — не для мэнэ вона, но ничего зробить не могу. Вона ще по вулице иде, а у мэнэ сердце аж в присядки пляшет... Женихи за Галей гужом, один краше другого: Харитон — бригадир, орденосец, Михайло — тракторист, весь в куделях, як Пушкин, и даже учитель из школы, культурный, при галстучке, а голову потерял. И вдруг та Галю сама кидается на колени перед моей постелью. Положила голову мэни на плечо, плаче и причитае: «Не могу я быть счастлива, коли ты всю жизнь маяться будешь. Зачем нас в школе учили? Или неправду умный человек сказал: не милости мы должны ждать у природы, а сами зробити себе счастливо життя! Я тэбэ выкохаю!» Як сказала она мэни такое, усе у мэнэ перевернулось. Уси тормоза, уси прокладки в суставах ослабились, кровь забегала там, куда раньше ей ходу не было! И свадьба у нас, Иван, тоже была не обычная. Я не хотел свадьбы. «Погодь,— говорю,— проверь себя, Галю». А она: «Нет! Пусть будет свадьба, пусть люди бачут!» Сами понимаете, яко веселье, когда жених сиднем сидит, а невеста-раскрасавица вокруг него одна пляшет. Гости слезы тайком утирали. А моя Галю знай пляшет та песни спивае!

Богдан помолчал, вздохнул.

— После свадьбы она мэнэ в сад под яблони цветущие стала выводить. Где там выводить — выносила на руках своих. И все со смехом, с шутками. В хате — патефон, радио. Картинки из журнала «Огонек» на стены наклеены, таки веселы, ярки картинки — цветы, море, птицы, корабли, леса. Вот так без докторов и выкохала мэнэ Галю. Ходить я начал, потом бегать, плавать. На комбайнера выучился, и все село любовалось нами. Я с поля иду, а Галя дожидаться не может, навстречу бежит. Будто чуяла — короткое наше счастье, будто знала наперед, что разлучит нас война...

На том и оборвал Шовкопляс свой рассказ о себе и о своей Гале.

В блиндаже было тепло, от печки шел домовитый запах сохнувшей одежды. Воркуя, закипал чайник, но вдали потрескивали приглушенные бревенчатым накалом пулеметные очереди.

— Кто еще, братцы, расскажет о свадьбе-женитьбе? — спросил Лузгин. — Может быть, Костя?

Королевич залился стыдливым румянцем, прикрыл ресницами голубые глаза.

— Я не женат...

— Но девах-то есть?

Костя молчал. Казаков, выручая Королевича, попытался втянуть в разговор Голощапова:

— Может, ты, Алексей Кузьмич, о своем житье-бытье поведаешь?

Голощапов почесал в затылке и, как обухом, врезал:

— Все это муть! Первый год после женитьбы у всех сладкий. А проживете лет десять — двадцать, еще неизвестно, какие ваши Грунечки да Галечки станут.

— Язва ты, Голощапов! — остановил его старшина разведвзвода Жмаченко. — Зачем людей обижаешь? Хочешь говорить — скажи про себя, не хочешь — помолчи, а людей не трожь.

— Я и говорю про себя, а не про тебя.

Голощапов посопел и вдруг выложил, вызываясь глядя на слушателей:

— А я вот свою жену бил!.. Она тоже красавица была и, как в гости пойдем, хвостом туда-сюда. Ну, я и поддавал ей: не забывай, что муж есть!

— Про такое и слушать неинтересно, — махнул рукой старшина. — Рассказал бы ты, Жук? Ты инженер, у тебя жизнь городская.

Жук был во взводе радистом. Рация, правда, взводу разведки не полагалась, но она была захвачена у немцев и застряла здесь. Анатолий Жук сразу разобрался в ней, что-то перемонтировал и с той поры стал взводным радистом.

— Ну, во-первых, я не инженер, а всего-навсего радиотехник,— поправил он Жмаченко.— А во-вторых, мои семейные дела тоже неинтересные.— Помедлил, подумал и продолжил: — Сначала все шло хорошо, и любовь была, а потом рассыпалась. Перестали мы друг друга понимать, будто на разных волнах говорили: она не слышит меня, я не могу уловить ее.

— Почему же так получилось? — насторожился дотошный Коноплев, комсорт взвода.

— Да все из-за Шарика,— неопределенно ответил Жук.

— Из-за какого шарика? Земного, что ли? Мировые проблемы решали?

— Нет, собачка у нас была, Шариком звали.

Ребята выжидательно улыбнулись. Начало всем показалось занятым.

— Разве может у людей, к тому же образованных, из-за какой-то собачки жизнь испортиться? — удивился Коноплев.

— Может,— твердо сказал Жук.— До войны я жил под Москвой, в городе Пушкине. Домик там собственный у отца и матери. Шарик по двору бегал — веселый такой рыжий пес, дворняжка простая. Окончил я техникум, послали работать в Караганду. Там встретил девчонку. Лизой звать. Тоже после техникума отработывала, зубной техник. Она москвичка, я вроде бы тоже москвич. Одним словом, поженились. Подработали деньжонок, мотоцикл с коляской купили. Живем не тужим. А мать с отцом в каждом письме: приезжай да приезжай, мы старые, кому дом оставим? Ну, отработали мы с Лизой положенное и махнули домой. Приехали ночью. Шарик нас встретил как полагается: прыгает, ластится и все норовит руку лизнуть. Только мотоцикл ему не понравился — понюхал, чихнул и отошел в сторону. И вот однажды Лиза говорит мне: «Давай хорошую собаку заведем». — «А Шарик чем плох?» — «Уж кормить, так породистую. Я сама достану в Москве, у моих знакомых есть отличные породы». Шарик стоит тут же, языком в себя ветерок гонит — жарко ему, смотрит преданными глазами, не

понимает, о чем она речь ведет. Отец и мать промолчали, не хотели портить отношения с невесткой, думали: поговорит и забудет. Но Лиза не забыла. Недели через две принесла щенка-дога. И паспорт на этого пса принесла, там до шестого колена его родословная описана, а наречен он Нероном. Шарик встретил Нерона ласково, понял, что это щенок, хотя и был тот здоровущим. Ну, думаю, все уладится: одна или две собаки, какая разница? Но вскоре Лиза ведет меня к мотоциклу: «Заводи». — «Зачем?» — «Шарика увезем, он уже там, под брезентом, в коляске». Выехали мы за город, Лиза выпустила Шарика, он скулит, жмется ко мне. Я говорю: «Его завтра же собачники поймают. Давай хоть подальше отвезем, в деревню, там собачников нет. К кому-нибудь прибьется». Лиза молча отвернулась. Смалодушничал я, бросил Шарика. И с той поры что-то надломилось в наших семейных отношениях: не тянет меня домой. Завел со мной серьезный разговор отец: «Может быть, из-за нас нелады у тебя с Лизой? Так мы свой век прожили. Хотите назад в Караганду, езжайте. Или нас, если мешаем, отправляй куда-нибудь». Я отцу ничего не сказал, а про себя подумал: «Ну да, как Шарика, посажу вас с матерью в коляску, завезу подальше и брошу».

— Зачем же ты потакал своей Лизе? — возмутился Голощапов.

— Любил.

Голощапов зло плюнул в сторону.

Кто-то вздохнул.

— Начали за здравие, кончили за упокой.

— Хватит, орлы, мирную жизнь вспоминать, — сказал Казаков, — пора войной заниматься.

К Ромашкину подошел старшина Жмаченко, низенький толстячок с веселым, скользящим взглядом сельского доставалы. Такой может добыть все, что нужно: хоть гвозди, хоть трактор. За эти качества его и определили в разведвзвод. У заместителя командира полка по хозяйству глаз наметанный, увидал Жмаченко — и решение готово: «Пойдете в разведвзвод. Подразделение это особое. Прежде чем разведчиков накормить, их надо пайти — у них работа такая. Как вы это будете делать, не знаю. Только если не справитесь, наказывать не я буду: разведчики сами вам голову оторвут. Понятно?»

Пробивной Жмаченко все понимал с полуслова. С обязанностями своими он, конечно, справился. Ис-

кренне полюбил разведчиков за их опасную работу и старался добыть им что положено и что не положено. В выборе средств не стеснялся. Если даже его уличали иногда в ловкости рук, умел изобразить святую простоту, говорил проникновенным голосом: «Я ведь для разведчиков! Это же осознать надо!»

Кладовщики и начальники всех рангов в таких случаях всегда добрели. Разведчикам часто выдавались папиросы вместо махорки, а мясные консервы заменялись колбасой, разливная водка — водкой в бутылках.

Жмаченко трудно было смутить, но сейчас он казался смущенным. Скользя взглядом мимо Ромашкина, виновато сказал:

— Товарищ лейтенант, такой порядок: документы ваши и, я извиняюсь, медаль сдать полагается.

Ромашкин знал это правило. Ругнул себя за то, что сам не догадался сдать все заранее.

— Чего же извиняться, если так полагается? Вот, принимайте: удостоверение личности, комсомольский билет и медаль. Тут еще письма и деньги, тоже возьмите.

— Все сохранию, товарищ лейтенант, в полном порядке, не сомневайтесь,— заверил старшина, преданно глядя на Ромашкина.

Хотя и был Жмаченко пройдохой, все знали, что сердце у него доброе. Перед выходом разведчиков на задание он готов был сделать для них что угодно. Всегда казнил: «Они ж уходят к черту в зубы, а я остаюсь дома. Вот улыбаются все, шутят, а к утру, глядишь, принесут кого-то из них мертвым на плащ-палатке».

Забирая у Ромашкина документы, старшина посчитал нужным сразу внести ясность в будущие свои отношения с новым командиром:

— Я ведь сам не могу ходить на задания, потому как больной слабодушием. Я там помру, еще до проволоки.

— Ладно, Жмаченко, не страдай,— остановил его Казаков.— Ты зато здесь, в тылу, хорошо берешь за горло кого надо.

Старшина, явно польщенный этим, проформы ради стал оправдываться, адресуясь опять к Ромашкину:

— Слышите, товарищ лейтенант, вот так все обо мне думают, а я ведь никого не обманул и под ответственность не подставил. Я только обхожу

неправильные инструкции, и опять же не ради себя, а исключительно для героических людей, чтобы им хорошо было.

— Ладно, борец за правое дело! — снова прервал его Казаков. — Позаботься лучше, чтобы к нашему приходу картошки наварили, чаю нагрели. Ребятам — две фляги горячего. А мне с лейтенантом Ромашкиным — пузырек засургученной.

— Все будет в полной норме и даже сверх того, товарищ лейтенант, только возвращайтесь на своих ногах...

Ромашкину хотелось показать разведчикам, что ему тоже ведомы давние боевые традиции. Достал из вещевого мешка чистую пару белья и не торопясь, с достоинством надел его взамен того, в котором был.

Ребята переглянулись. Ромашкин не понял этих взглядов, посчитал — одобрили. Однако Иван Петрович, улучив момент, когда никого поблизости не было, сказал:

— Это ты напрасно с бельем-то. На задание придется очень часто ходить. Целого бельевого магазина тебе не хватит.

В голове Казакова не слышалось ни подначки, ни насмешки, он просто по-товарищески советовал.

Ромашкин смутился, не знал, как поступить, — снять, что ли, чистое белье? Но Казаков и тут понял его, успокоил:

— Снимать не надо. Для тебя это первое задание — вроде крещения. Тебе можно такое позволить. Ребята поймут. А на будущее учти...

Пришли два сапера в белых маскировочных костюмах и с длинными ножницами, похожими на клешни раков.

Казаков поднялся.

— В путь, хлопцы! Ни пуха ни пера!

Вслед за командиром поднялись все — и те, кто уходил на задание, и кто оставался дома. На минуту воцарилась тишина. Потом группа Ромашкина отделилась от остальных и направилась к двери.

До первой траншеи двигались молча и опять след в след. Все налегке, под маскировочными костюмами только ватные брюки и телогрейки. Оружие — автомат, нож, гранаты. Ромашкин вспомнил немца, которого поймал, будучи в боевом охранении: «Как много было на нем одежек!» А вот самого Ромашкина одеж-

да сейчас не стесняла, прямо хоть на ринг. Он чувствовал себя окрыленным. Такое ощущение перед соревнованием всегда предвещало победу. Но здесь не на ринге. Вот уже пули посвистывают над головой и, ударяясь в бугор или дерево, с гудением, как шмели, отскакивают в стороны.

В первой траншее разведчики покурили. К ним подошли бойцы из стрелковых подразделений, разглядывали каждого с уважением и любопытством.

— К фрицам в гости пойдете? — сдержанно спросил кто-то.

— К ним. Куда же еще, — небрежно ответил за всех Пролеткин.

Казаков, однако, не дал покалякать. Сказал негромко:

— Кончай курить. Давай, Ромашкин, команду. Дальше я не пойду.

Для Ромашкина это оказалось неожиданностью. Он считал, что при выполнении первого задания Казаков все время будет рядом. На миг растерялся, но тут же подумал: «Так даже лучше!» Хоть и опытный разведчик Иван Петрович, все же Василию не терпелось испытать свои силы.

Ромашкин бросил окурок, наступил на него, взглянул на разведчиков и приказал:

— Вперед!

Первым сам выпрыгнул на бруствер и, пригибаясь, зашагал в нейтральную зону. Две белые фигуры мгновенно появились рядом. «Ага, группа захвата — Коноплев и Рогатин, — соображал Василий. — Но почему они пытаются обогнать меня, а не идут след в след?»

— Ты куда? — тихо спросил он Рогатина.

— Негоже, товарищ лейтенант, командиру идти как дозорному, — строго сказал тот и, обернувшись к группе обеспечения, распорядился: — Ну-ка, жирафный охотник, давай в дозор с Фоменко.

Саша Пролеткин и Фоменко беспрекословно пошли вперед. Когда они стали пропадать из виду, Рогатин кивнул Ромашкину, и все двинулись дальше.

При вспышках ракет стали ложиться. А с того места, где Ромашкин уже побывал однажды вместе с Казаковым, совсем не поднимались, только ползли. Снег был сухой, промерзший. Он шуршал, казалось, очень громко. Пахло холодной сыростью. Все вокруг

слилось в белой мгле, похожей на густой туман. Ориентироваться на местности помогали немецкие ракеты и пулеметные очереди.

Василию стало казаться, что разведгруппа отклоняется вправо. Он приподнялся раз и другой, пытаясь разглядеть высотку с пулеметом, но ничего не увидел во мраке. Внезапно, будто по какому-то сигналу, группа замерла, влипнув в снег. Несколько белых фигур, обгоняя остальных, поплыли по сугробам вперед. «Это саперы и Лузгин с ними,— понял Ромашкин, и тут же мелькнула неприятная догадка: — Кто-то командует вместо меня». Но, вспомнив тренировки, успокоился: «Все, наверное, идет само собой, Казаков же требовал, чтобы все шло как по нотам. Не проморгать бы только, когда Лузгин подаст сигнал о готовности прохода».

Ромашкин опять приподнял голову, но не увидел ни Лузгина, ни проволочного ограждения. Вспреди чернел кустарник. Василий двинулся туда, но кто-то ухватил его за ногу, потом подполз вплотную — это был Рогатин. Ромашкин махнул рукой в сторону кустарника. Рогатин отрицательно покачал головой. «Зачем он меня опекает? — возмутился Ромашкин. — Кустарник хорошо будет маскировать нас». И еще раз строптиво махнул рукой в том же направлении. Тогда Рогатин шепнул в ухо:

— Хрустеть будет.

Кистью руки вильнул перед глазами Ромашкина, как бы изображая плывущую рыбу. Василий понял: нужно обтекать кустарник, ползти опушкой — и двинулся по снегу, разворошенному группой обеспечения.

Вскоре он увидел почти рядом два белых силуэта. Один солдат, лежа на спине, зажимал в кулаках проволоку, другой перекусывал ее как раз между рук напарника, и тот осторожно, чтобы не звякнули, разводил концы. Резали лишь самый нижний ряд — только бы проползти.

У Василия прошел по спине холодный озноб. «Если нас обнаружат, ни одному не уйти, в упор всех побьют». Он хорошо помнил, как сам недавно проучил фашистов при сходных обстоятельствах.

Где-то рядом отчетливо щелкнула ракетница. Шурша, ракета понеслась вверх и с легким хлопком раскрылась в огромный яркий световой зонт. Разведчики ткнулись лицами в снег. Единственное не закрытое белой тканью место — лицо.

Лежали не дыша. Ромашкину казалось, что даже сердце у него перестало биться.

Но вот ракета сгорела. На несколько мгновений вокруг стало темно. Потом глаза привыкли, и Ромашкин увидел, как машет ему Лузгин. «Значит, проход готов».

Надо было ползти вперед, а Василий не мог преодолеть свою скованность. Наконец решился, пополз медленно, сжимая в руке гранату.

Подполз к брустверу, с огромным усилием поборов страх, заглянул вниз. Ждал — увидит там притаившихся немцев, но траншея была пуста. Сразу на душе стало легче.

Он спустился в траншею. Вслед за ним туда же соскользнули Коноплев и Рогатин. Василий с опаской двинулся вперед. Где-то там, на вершине холма, пулеметная площадка, выбранная для нападения...

Увидев телефонный кабель, прикрепленный к стене окопа металлическими скобками, показал на него Коноплеву. Тот кивнул, и Ромашкин понял: надо перерезать. Вынул финку, стал пилить кабель. И тут-то из-за поворота выплыли две белые фигуры. Немцы были в таких же, как и разведчики, маскировочных костюмах. На мгновение они остановились, но, заметив, что Ромашкин возится с кабелем, успокоились: очевидно, приняли разведчиков за своих связистов. Один из немцев что-то громко спросил.

Чужая речь и близость врагов опять сковали Ромашкина. Он стоял как деревянный, не в силах справиться с омертвевшим от неожиданной встречи телом. Лишь одна какая-то жилка осталась живой, она пульсировала где-то в голове, позволяла держать в поле зрения немцев, искать выхода. Вдруг эта жилка сработала, как электрический выключатель. Ромашкин вскинул автомат и выстрелил короткой очередью в ближнего немца. Тот рухнул, а второй кинулся бежать.

— Что же ты?.. Живьем же надо! — напомнил Рогатин, пытаясь проскочить в тесной траншее мимо Ромашкина и догнать убегающего.

Ромашкин не пустил, перешагнул через убитого и сам в три прыжка настиг фашиста, суматошно стукавшегося о стенки траншеи на поворотах. Схватил его за плечи. Гитлеровец завизжал тонким поросычьим визгом.

Разведчики стремились осуществить задуманное без шума. И ползли, и резали проволоку, и по траншее

шли, помня лишь об одном: тише, тише, ни звука! И вдруг этот ужасный крик! Ромашкин ударил гитлеровца ножом. Визгун умолк, обмяк и повалился на дно траншеи.

— Что же ты, гад, делаешь?! — простонал рядом Рогатин. — И этого убил!

Ромашкин огляделся широко раскрытыми, но плохо видящими глазами. Опомнился. «Действительно, что же я натворил? С ума сошел от страха?» И, овладевая собой, ответил:

— Сейчас еще найдем.

— Нельзя искать. Нашумели. Уходить надо.

Ромашкин не успел ответить — автоматные очереди ударили по траншее из-за поворота. Пули бились в земляную стену, неистово грызли ее, поднимая сухую, колючую пыль.

Разведчики прижались к противоположной стене. Стреляли рядом, но выстрелы почему-то были глухие. Ромашкин заглянул за поворот и все понял: там блиндаж, и гитлеровцы стреляли из него наугад, прямо через дверь.

Сняв в пояса гранату, Ромашкин метнул ее под дверь. Грохнул взрыв. Дверь сорвало. Из блиндажа слышались крики, и снова застрекотали автоматные очереди. Рогатин метнул в черный проем вторую гранату. Опять взрыв, и в блиндаже все стихло. Только дымок тянулся из дверного проема и кто-то стонал там в черноте.

«Нужно лезть туда, братя «языка», — подумал Ромашкин. Теперь, как это ни странно, он действовал не то чтобы спокойно, а более хладнокровно и рассудительно. «Как туда влезть? — прикидывал Василий. — Если кто-нибудь из немцев уцелел, непременно караулит с автоматом наготове. А топтаться нельзя: сейчас прибегут на помощь соседи».

Решение созрело мгновенно. «Брошу гранату с кольцом. Кто уцелел — ляжет, ожидая взрыва, которого не будет. Тут-то я и вбегу!»

Секунда — и граната полетела в блиндаж. Еще миг — и Ромашкин вбежал. За порогом блиндажа сразу отскочил в сторону, чтобы не стать мишенью на фоне дверного проема. В блиндаже была непроглядная темень. Пахло гарью и странной смесью пота с одеколоном. Неподалеку слышалось тяжелое дыхание немца. «Наверное, раненый. Хоть бы его взять, пока не застукали! Где же он, этот раненый!..» Ромашкин сделал шаг и споткнулся о мягкое человеческое тело — немец был неподвижен.

На ощупь нашел еще несколько тел без признаков жизни. Наконец приблизился к стонавшему в глубине блиндажа.

В дверях вспыхнул свет карманного фонаря.

— Лейтенант, где ты? — тревожно спрашивал невидимый Коноплев.

— Здесь я. Порядок! — ответил Ромашкин.

Раненый сидел на земле, вытянув вверх руки, будто защищая лицо от удара. Ромашкин шагнул вплотную к нему, а тот, сидя, подался в угол, вжимаясь в земляные стены. Василий схватил его за шиворот, поднял и встряхнул. Немец не мог стоять, ноги у него подгибались, как резиновые.

— Ауфштеен! — приказал Ромашкин.

Гитлеровец все-таки встал на ноги, его била дрожь. Василию стало противно оттого, что дрожит взрослый мужчина. Но эта дрожь врага в то же время вселяла чувство уверенности и своего превосходства. Толкнув пленного к выходу, сказал разведчикам:

— Принимайте.

Рогатин сноровисто связал пленному руки и всунул ему в рот кляп. Коноплев тем временем забирал документы из карманов убитых, прикидывая, что еще надо прихватить из блиндажа.

— Хватит, пошли, — сказал Рогатин. — Не ровен час, застанут. Вон ведь чего наворочали.

Разведчики выбрались на чистый морозный воздух. Прислушались и, не уловив никаких признаков тревоги, стали спускаться вниз по траншее. У основания вышки чуть не столкнулись еще с тремя белыми призраками. С автоматами наготове они крались навстречу.

— Свой, — сказал Рогатин, узнав Лузгина.

— Вы чего здесь? — спросил Ромашкин, зная, что такие действия не предусматривались.

— Заваруха у вас началась, решили идти на помощь.

— У нас порядок, давайте быстрее за проволоку...

Все нырнули в проход, цепляясь маскхалатами за колючки, и, пригибаясь, побежали к ложинке.

Вспыхнула неподалеку ракета. Разведчики кинулись в снег, как в воду. Рогатин упал на немца в зеленой форме, чтобы прикрыть его своим белым одеянием.

Когда ракета погасла, быстро вскочили и понеслись дальше. Рогатин подталкивал немца: тому было трудно бежать со связанными руками и кляпом во рту, он спотыкался, падал, но Иван поднимал его и хрипел:

— Давай, давай, фриц, не задерживай!

Немец мычал и послушно трусил вперед, падая и поднимаясь.

Вот наконец и черная полоска своих позиций. Разведчики прыгнули в спасательные окопы, в полном изнеможении повалились на землю.

Прибежал Казаков. Группа вернулась немного правее того места, где ждали ее. Увидев скрюченного немца, лейтенант обрадовался:

— Приволокли?! Ух, орлы! Ну, Ромашкин, с первым «языком» тебя!

А разведчики, запаленно дыша, не могли еще говорить, лишь смотрели на командира счастливыми глазами.

— Зачем... мы... так... драпали? — еле выдавил из себя Саша Пролеткин. — Немцы же не гнались.

— Так вышло, — прохрипел в ответ Рогатин.

— Да чего там об этом... Главное — все вернулись и «языка» взяли, — продолжал радоваться Казаков. — Ну и молодчаги! Дышите, дышите, глотайте кислород!.. И как быстро управились — только два часа прошло!

Саша отдышался раньше других. Встал, откинул белый капюшон, сказал с восхищением:

— Ох, и фартовый лейтенант Ромашкин! Из-за него так удачно все прошло. Когда стрельба началась и гранаты забухали, я думал — каюк, не выберется группа захвата из-за проволоки! И вдруг смотрю — идут. Фрица тащат. А погони нет.

Поднялся на ноги и Рогатин, пояснил Пролеткину и другим:

— Некому было гнаться: лейтенант всех гранатами побил. А соседи, видать, не слыхали, взрывы-то были в блиндаже. Да и вообще война. Тут взрыв, там взрыв, могли принять за минометный обстрел.

Коноплев поддержал:

— Они до сих пор, наверно, не знают, что произошло.

Казаков заторопил:

— Давайте-ка, хлопцы, поднимайтесь, а то обнаружат гитлеровцы пропажу и начнут со злости сюда мины швырять. Пошли домой. Подъем! Пошли, пошли!..

Шумным ликованием встретили возвращение разведгруппы старшина Жмаченко и все другие разведчики, не ходившие в этот раз на задание. Под их возгласы при свете ламп Ромашкин оглядел своих

спутников и удивился, как они переменились: лица у всех осунулись, под глазами темные тени, будто не спали две ночи, маскировочные костюмы промокли, а у тех, кто лазил под проволоку, на спине и рукавах висят клочья. Коноплев, Иван Рогатин да, наверное, и сам он черны от пороховой гари.

Немец, уже развязанный и без кляпа во рту, стоял у двери, обалдело и удивленно смотрел на разведчиков. Никто не обращал на него внимания.

Жмаченко раздавал вернувшимся завернутые в носовые платки документы. Многим говорил при этом:

— Нате, покрасуйтесь.— И Ромашкину сказал так же: — Покрасуйтесь.

Василий сначала не понял, почему старшина так говорит. Вспомнил: «Ему же приказано было приготовить ужин. А стол почему-то пуст».

— Надо доложить о выполнении задания и сдать пленного,— объявил Казаков.

— Кому докладывать? — спросил Василий.

— Командиру полка или начальнику штаба. Идем, они ведь не спят, ждут. Им уже сообщили по телефону, что «язык» взят. Но ты обязан доложить сам.

— А может быть, ты доложишь? Ведь ты же все готовил и организовал...

— Брось трепаться, Ромашкин! При чем здесь я? Идем...

Командира и комиссара на месте не было: уехали по вызову на КП дивизии. Ромашкин привел пленного к начальнику штаба. Казаков зашел вместе с ними, но остановился позади.

— Товарищ майор, задание выполнено.— Ромашкин сбился с официального тона и радостно закончил: — Принимайте «языка»!

Вечно озабоченный чем-нибудь и потому хмуроватый начальник штаба на этот раз заулыбался.

— Поздравляю, лейтенант! Хорошо начали службу в разведке. Благодарю вас от имени командования.

— Служу Советскому Союзу! — отчеканил Ромашкин и рассмеялся, увидев, что немец тоже встал по стойке «смирно». — Смотрите, товарищ майор, как фриц тянется!

— Дисциплинированный! — серьезно заметил Колокольцев.— Ладно, выбросьте его из головы, идите отдыхать. Пленного мы допросим, будет что интересное для вас — сообщу...

За то время, пока они ходили к начальнику штаба, в блиндаже разведзвезда произошли разительные перемены. Стол уже был застлан чистыми газетами и готов для пира. На нем крупно нарезанная колбаса, сало, хлеб, лук, два ряда пустых эмалированных кружек и несколько немецких, обшитых сукном, фляг. В торце стола, на хозяйском месте, где должны сидеть командиры, сверкала стеклом пол-литровая бутылка с сургучной головкой.

Ромашкин узнал, почему не подготовили ужин заранее. Есть, оказывается примета: если накрыть стол до возвращения разведгруппы, ее может постигнуть неудача. Выпивка и закуска выставляются, когда все явятся на свою базу живыми и здоровыми.

К столу сели только ходившие на задание, остальным места не хватило. Они стояли со своими кружками рядом, похлопывая отличившихся по плечам и спинам.

Лишь сейчас Ромашкин понял, почему старшина Жмаченко говорил: «Покрасуйтесь». На гимнастерке Рогатина был орден Красного Знамени, у Коноплева — Красная Звезда, у Пролеткина — медаль «За отвагу». Василий смутился, вспомнив, как при знакомстве с разведчиками снял шинель, намереваясь их поразить. «Вот так блеснул! — со стыдом думал он. — Кого хотел удивить своей медалью!» А она, новенькая, как назло, сияла ярче орденов.

Жмаченко, выпив свою долю водки и заев наскоро салом, суетился вокруг стола, подкладывая разведчикам еду, и, красный, лоснящийся от пота, приговаривал:

— Ешьте, хлопцы, ешьте, а то захмелеете.

Казаков напомнил:

— После задания полагается разобрать, как действовали. Давай, Ромашкин, командирскую оценку каждому.

— Действовали все очень хорошо, — сказал Василий. — Особенно Лузгин, Пролеткин и Фоменко. Они услышали стрельбу и сразу кинулись нам на помощь. Такой вариант при подготовке не предусматривался, но Лузгин сам принял решение.

— Можно мне? — спросил Лузгин.

— Давай, — разрешил Казаков.

— Не понравилось мне, как мы отходили. Гурьбой, все вместе — и группа захвата, и группа обеспечения. Обрадовались — «язык» есть — и рванули домой без оглядки!

— Ты должен был прикрывать, — сказал Казаков, лукаво блестя хмельными глазами.

— Я тоже обрадовался. Бежал со всеми, чуть не задохнулся.

— Да уж, драпали, аж в глазах потемнело! — весело сказал Саша Пролеткин.

— Жираф и тот не догнал бы,— к месту ввернул Рогатин, прибавляя веселья.

— На будущее надо учесть. Отход — дело важное,— советовал Казаков.— Могло быть так: в траншее у фрицев обошлось без потерь, а когда драпали, случайной очередью положило бы несколько человек.

После разбора Василий вышел из блиндажа покурить. Яркие звезды сияли в небе. Они были похожи в тот миг на вспышки выстрелов из многочисленных автоматов, и казалось, далекое потрескивание очередей прилетает оттуда, сверху, а не с передовой.

В овраге было тихо. Штаб спал, только часовые, поскрипывая снегом, топтались у блиндажей.

Вслед за Василием вышел Рогатин. Постоял рядом, смущенно покашлял, явно желая что-то сказать, но не решался.

— Что с тобой, Рогатин?

— Уж вы извиняйте, товарищ лейтенант, лез я на задании с советами, а вы и сами...

— Спасибо тебе, Иван,— сказал Ромашкин, почувствовав не только уважение, но и прилив какой-то нежности к этому доброму, смелому человеку.— Прощу тебя, помогай мне и дальше. Я хоть и лейтенант, а в разведке новичок.

— Чего там, вы сами все хорошо понимаете. Как ловко с гранатой-то придумали! Когда в блиндаж полезли, я вас чуть за плечи не схватил. Думаю, сейчас рванет, куда же он? Не понял сначала хитрость. Очень ловко придумали!

Похвала эта была приятна Василию. Краем уха он слышал, что за дверью тоже говорили о нем, о его храбрости. Саша Пролеткин уже в который раз повторял:

— Фартовый у нас командир, с таким дело пойдет!

* * *

О действиях и намерениях противника, непосредственно угрожающих полку или дивизии, войсковые разведчики узнают обычно первыми. Зато все другие

новости частенько доходят до них с опозданием. Случается это потому, что, выполнив задание на рассвете или ночью, они сразу ложатся спать, а просыпаются, когда уже весь полк и газеты прочитал, и радио прослушал, и по «солдатскому телеграфу» проинформировался.

Так было и в тот раз.

Ромашкин умылся снегом, забежал в блиндаж, растерся вафельным полотенцем. Орлы его сидели за столом в ожидании завтрака. Коноплев шуршал газетой — он каждый день просвещает ребят. Комсорга охотно слушали, дымя махрой и вставляя свои замечания.

Василий подошел к столу. В раскрытой Коноплевым газете увидал заголовок, напечатанный крупными буквами: «Таня». Вспомнилась девушка, которую встретил в Москве, когда полк после парада остановился покурить. Ее тоже звали Таней.

— Ну-ка, дай на минутку, — попросил он газету и, не садясь за стол, принялся читать сам: — «В первых числах декабря 1941 года в Петрищеве, близ города Вереи, немцы казнили восемнадцатилетнюю девушку-партизанку. Девушка назвала себя Таней... То было в дни наибольшей опасности для Москвы. Генеральное наступление немцев на нашу столицу, начавшееся 16 ноября, достигло к этому моменту своего предела... Москва отбирала добровольцев-смельчаков и посылала их через фронт для помощи партизанским отрядам. Вот тогда-то в Верейском районе и появилась Таня».

Василий прикидывал: «Все совпадает. Восемнадцатилетняя... Встретились мы седьмого ноября... Говорила, что тоже собирается на фронт, оттого и адрес свой московский не захотела сказать. Эх, Таня, Таня!»

Он отчетливо видел перед собой ее задумчивые карие глаза, румяные от мороза щеки, тонкие, строгие губы. На ней была хорошо подогнанная шинелька и аккуратненькие варежки домашней вязки. Наверное, связала мама. Василию тогда показалось, варежки очень дороги ей.

В газете был описан допрос Тани:

«— Кто вы? — спросил офицер.

— Не скажу.

— Это вы подожгли вчера конюшню?

— Да, я.

— Ваша цель?

— Уничтожить вас...

- Когда вы перешли линию фронта?
- В пятницу.
- Вы слишком быстро дошли.
- Что же, зевать, что ли?»

Потом Таню спрашивали, кто послал ее за линию фронта и кто еще был с нею. Требовали, чтобы выдала своих друзей. Она отвечала: «Нет», «Не знаю», «Не скажу». Ее избивали четверо фашистов. Она не издала ни звука.

«Часовой, вскинув винтовку, велел Татьяне подняться и выйти из дома. Он шел позади нее, вдоль по улице, почти вплотную приставив штык к ее спине. Так, босая, в одном белье, ходила она по снегу до тех пор, пока ее мучитель сам не продрог и не решил, что пора вернуться под теплый кров... Через каждый час он выводил девушку на улицу на пятнадцать — двадцать минут».

Дважды перечитал Ромашкин, как Таня провела последние часы перед казнью.

«Принесли Татьянины вещи: кофточку, брюки, чулки. Тут же был вещевой мешок, и в нем сахар, спички и соль. Шапка, меховая куртка, пуховая вязаная фуфайка и валяные сапоги исчезли. Их успели поделить между собой унтер-офицеры, а варежки достались повару с офицерской кухни».

Вот и варежки! Не перчатки или рукавицы, а именно варежки. Только не сказано, какого цвета. У Тани светло-зеленые. Василий запомнил, как на прощание она помахала рукой в этой зеленой варежке.

Дальше следовало описание казни.

«Отважную девушку палачи приподняли, поставили на ящик и накинули на шею петлю. Один из офицеров стал наводить на виселицу объектив своего «кодака» — фашисты любят фотографировать казни и порки.

Палач подтянул веревку, и петля сдавила Танино горло... Она приподнялась на носки и крикнула, напрягая все силы:

— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь!..»

Ромашкину тоже будто петлей персхватило горло. Он опустил газету и только теперь заметил: в блиндаже тишина и все смотрят на него.

Коноплев взял газету и продолжил чтение. Сначала голос его звучал тихо, потом все громче, и наконец комсорг стал чеканить слова, как с трибуны:

— «Друг! Целясь в фашиста, вспомни Таню. Пусть пуля твоя полетит без промаха и отомстит за нее. Идя в атаку, вспомни Таню...»

Разведчики украдкой поглядывали на командира. Пролеткин не удержался, спросил:

— Вы знали ее, товарищ лейтенант?

— Кажется, знал.

И рассказал Василий ребятам о своей московской встрече.

— Хорошо бы, товарищ лейтенант, узнать, какая дивизия казнила Таню,— сказал Коноплев.— Может быть, встретится.

— Верно говоришь,— согласился Василий.

В тот же день, обсуждая с капитаном Люленковым предстоящее задание, Ромашкин спросил:

— Помогите узнать, из какой дивизии фашисты, которые замучили партизанку Таню.

— Зачем тебе?

Ромашкин рассказал.

Люленков при нем попытался дозвониться до штаба армии.

— В разведотделе меня знают,— говорил он Ромашкину и тут же кричал в трубку: — «Заноза», дай «Весну»!.. В разведотделе должны иметь точные сведения,— продолжал Люленков тихо и опять вдруг переходил на крик: — «Весна»? Дай, милая, «Рошу». — И снова Ромашкину: — По такому поводу самого начальника разведки армии побеспокоюм... «Роша»?! Двадцать седьмого, пожалуйста... Товарищ двадцать седьмой, сегодня в газете про партизанку Таню читали?.. Да нет, комиссара я подменять не собираюсь. Нас интересует, чьих это рук дело, какой дивизии?.. Сто девяносто седьмая, триста тридцать второй полк, командир — подполковник Рюдерер. Есть! И фотографии казни имеются? А нельзя ли прислать нам копии? У нас один товарищ был знаком с Таней... Благодарю вас. До свидания.

Люленков положил трубку, сказал Ромашкину:

— Взят в плен унтер-офицер. У него нашли фотографии казни. Тебе пришлют копии.

— Спасибо, товарищ капитан,— поблагодарил Василий.— Только бы встала против нас эта сто девяносто седьмая!..

Василий действительно получил пакет с фотографиями, были они очень тусклыми. На одной из карточек Таня — в ватных брюках, без шапки — стояла под

виселицей. На груди фанерка с надписью: «Зажигатель домов». Но как ни вглядывался Василий в ее лицо, не мог найти сходства с московской знакомой. Эта подстрижена под мальчика, а у той были длинные волосы, выбивались из-под шапки. «Могла, впрочем, остричься перед уходом в тыл,— соображал Ромашкин,— где там возиться с волосами». Варежек на руках Тани не было. «Ах, да, их забрал повар с офицерской кухни...»

Мучители обступили Таню плотной толпой. А она стояла перед ними с высоко поднятой головой.

«Ну, гады, только бы попался кто из вас!» — скрипнул зубами Василий.

* * *

Ранним апрельским утром, едва рассвело, разведчики заметили в расположении немцев флаги с черной свастикой. Прикрепленные к длинным мачтам, они плавно развеивались по ветру на высотах за неприятельскими траншеями.

Ромашкин вместе с Коноплевым и Голощаповым всю ночь провели на переднем крае — примеривались, где сподручнее брать «языка». Ночь была сырая, земляные стены полкового НП, куда они зашли перед рассветом, неприятно осклизли. На полу кисла солома, втопанная в липкую грязь.

Разведчики промерзли, устали, всех одолевал сон. Ромашкин принял напоследок к окулярам стереотрубы. С радостью подумал о том, что ночная работа закончена, сейчас он вернется в свой теплый блиндаж, напьется горячего чая и ляжет наконец спать. И тут-то, чуть повернув трубу вправо, обнаружил фашистские флаги. Вначале один, потом еще несколько.

— Что бы это значило?

— Опять нам где-то морду набили,— мрачно сказал Голощапов. Острый кадык на его шее нервно прошелся вверх и вниз.

Ромашкин обратился к Коноплеву:

— Ты вчера сводку в газете читал? Где фрицы наступали?

— Я читал,— с прежним раздражением откликнулся Голощапов,— да чего в ней поймешь?

Ромашкину не хотелось ввязываться в спор с Голощаповым — характер у него «ругательный»: скажи о фашистах — станет их поносить, пойдет речь о чем

своем — и своим достанется. А ведь судьба пока милостива к нему: весь сорок первый год продержался в полку, побывал во многих боях и окружениях, долгие часы провел в нейтральной зоне, но ни разу еще не был ранен.

Ромашкин позвонил в штаб, доложил о флагах. У дежурного трубку взял комиссар Гарбуз.

— Как ведут себя немцы?

— Тихо.

Гарбуз помолчал, потом сказал с нажимом:

— Учтите, день сегодня такой, ждать можно любой подлости.

— А что за день?

— Сейчас приду на НП, расскажу. Дождитесь меня там, пожалуйста.

Гарбуз всегда прибавлял: «пожалуйста», «прошу вас», «было бы очень хорошо». Все не мог перестроиться на приказной лад. И явно избегал, отдавая распоряжения, стоять по стойке «смирно» — понимал, что у него это выглядит смешно. Тем не менее, если уж Гарбуз сказал «прошу вас», каждый в полку готов был идти на все, лишь бы только наилучшим образом выполнить его просьбу.

И еще одно свойство было у комиссара — он мучительно смущался, когда приходилось обременять подчиненного неслужебным делом. Ромашкин видел однажды, как покашливал и мялся Гарбуз, прежде чем попросить об одной услуге интенданта, уезжавшего в Москву на курсы. А услуга-то была пустяковая, всего-навсего опустить его личное письмо в московский почтовый ящик, чтобы быстрее дошло оно до Алтая.

...Василий досадовал на себя за то, что доложил об этих чертовых флагах. Сиди вот теперь, жди Гарбуза, сон и отдых — насмарку. Однако комиссар явился скоро. Протиснулся в узкий вход и сразу заполнил весь НП. Поздоровался с каждым, кто был здесь, за руку — тоже старая гражданская привычка.

От Гарбуза веяло одеколоном, большое мясистое лицо его блестело — недавно побрился. Наклонился к стереотрубе, долго и внимательно разглядывал флаги. Глаза стали строгими, на лбу образовались морщинки. Не распрямляясь, сказал:

— Празднуют! Эти флаги, товарищ Ромашкин, в честь дня рождения Гитлера.

Ромашкин посмотрел на ближайший флаг в бинокль. Флаг по-прежнему тяжело и плавно колыхался на ветру. Подумалось: «Вот бы сорвать его!»

Василий перевел взгляд на комиссара и легко прочел в ответном взгляде, что Гарбуз думает о том же. Ему уже звонили из батальонов, докладывали, как раздражает бойцов фашистское торжество: «Очухались, сволочи, после зимнего нашего наступления!» Артиллеристы пробовали сбить флаги — не получилось. Теперь все уповали на разведчиков: «Уж они-то сумеют сдернуть эти тряпки со свастики!..»

Гарбуз продолжал изучающе рассматривать Ромашкина. Лицо лейтенанта было усталым, под глазами тени, за неполных четыре месяца службы в разведке кожа на щеках побелела. Невольно представил его мертвым: «Будет такой же, как сейчас, бледный, с зеленоватым оттенком, только закроет глаза». Этого молодого командира Гарбуз любил, радовался его удачливости и, по правде говоря, побаивался, что однажды эта удачливость может изменить лейтенанту.

Не хотелось подвергать Ромашкина дополнительному риску, но чувство долга взяло верх: рассказал, чего ждут от разведчиков товарищи.

Говорил он спокойно, неторопливо, и Василий втайне досадовал: «Чего тянет резину? Надо,— значит, надо». С напускной небрежностью сказал:

— Сдернем мы этот флаг, товарищ комиссар, не беспокойтесь!

— Не так просто,— возразил Гарбуз.— Да и времени у вас маловато. Ночью немцы сами флаг снимут. Они педантичные, обязательно снимут в двадцать четыре ноль-ноль. Значит, вы располагаете лишь четырьмя-пятью часами темноты. Исходя из этого, тщательно все обдумать надо.

И по пути к своей землянке Ромашкин обдумывал, как ему действовать. Флаг, конечно, охраняется специальным караулом. Туда назначены отборные солдаты. Как несут они службу: ходит часовой по тропе или сидит в окопе? Где отдыхающая смена караула — далеко или близко от часового? Все это станет ясно только там, в расположении врага. Придется создать две группы захвата, человека по два в каждой. Эти группы обойдут высоту с противоположных сторон и там увидят, которой из них удобнее напасть на часового. А пока одна группа будет заниматься

часовым, другая кинется к флагу, спустит его и унесет. На случай, если осуществить такой маневр втихую не удастся, должна быть третья группа — специально для блокировки караула...

Вариант с блокировкой караула был настолько нежелательным, что даже думать о нем не хотелось. Но Василий додумал все до конца.

В землянке разведчиков Ромашкина ждал капитан Люленков. «Гарбуз прислал», — понял Василий. И точно: Люленков был в курсе задуманного дела.

На чистом листе бумаги Ромашкин начертил схему местности, поставил жирную точку там, где находился флаг, и стал излагать капитану свой замысел и последовательность действий. Разведчики, обступившие командиров, слушали внимательно. Они еще не знали, кто пойдет на это рискованное задание.

Только часам к одиннадцати дня план был разработан полностью и после некоторых колебаний утвержден командиром полка. Разведчики, идущие на задание, поели и легли спать. Остальные покинули блиндаж.

Ромашкин долго не мог заснуть. Наконец приказал себе: «А ну, спать, спать, спать!..»

Приказал и уснул.

Перед выходом на передовую разведгруппа в полном составе построилась у блиндажа. Коноплев, Рогатин, Пролеткин, Голощапов, Лузгин, одетые в белое, стояли в полной готовности.

— Ну-ка попрыгайте! — приказал им Ромашкин.

Разведчики беззвучно и мягко, словно тряпичные, поднимались и опускались, держа автоматы в руках. И все же Василий уловил едва приметное постукивание.

— У кого? — спросил он.

— Мой автомат не в порядке, — признался Пролеткин. — Антабка проклятая стучит. Сейчас устраню...

Василий еще раз придирчиво осмотрел разведчиков. Что-то ему сегодня не нравилось в них. Наконец понял: «Слишком белые, такого снега уже нет нигде».

— Жмаченко, замени маскостюмы на осенние, — распорядился он и пояснил: — Земля во многих местах обнажилась, если ракета застанет на снежном поле, лежите неподвижно — немцы примут за проталины.

Разведчики нарядились в зеленоватые с желтыми пятнами балахоны.

— Как лешие, — пошутил Рогатин.

Василий хотел было вывести свою группу в первую траншею засветло. Чтобы сэкономить время. Но в последний момент передумал: немецкие наблюдатели могут увидеть их на подходе к передовой: сразу догадаются, что это за зеленые лешаки. Лучше уж потерять полчаса драгоценной темноты, но выйти незамеченными.

В первой траншее разведчиков ждали комиссар, начальник артиллерии капитан Аганян, начальник разведки Люленков.

— Как боевой дух? — спросил Гарбуз.

— В норме, — ответил Ромашкин.

— Ракетницу не забыл? Цвет проверил? — осведомился Аганян. — Я буду открывать огонь по красной.

— Товарищ капитан!.. — с обидой протянул Ромашкин.

— Я, дорогой, только о тебе беспокоюсь!

— Ну, Ромашкин, ни пуха тебе, ни пера! — прервал его Гарбуз.

Он стоял в нерешительности, то ли хотел обнять, то ли пожать руку, но не сделал ни того, ни другого, а лишь энергично махнул кулаком и сказал:

— Давай!

В этом коротком «давай» были и ненависть к фашистам, и горечь оттого, что надо посылать таких хороших ребят на смертельно опасное дело, и пожелание им удачи — всем вместе.

Разведчики один за другим выскочили на бруствер; зашуршала, посыпалась в траншею земля...

Сначала шли во весь рост, сверкающие нити трасирующих пуль проносились где-то стороной — не прицельные. Под ногами слегка пружинила мягкая земля — днем она оттаяла, а к вечеру покрылась упругой корочкой. Ромашкин обходил снежные островки, знал: подмерзший снег будет хрустеть.

Когда до немецких окопов осталось метров двести, опустились на четвереньки. Приблизившись на сто, поползли.

Здесь не было колючей проволоки и немцы еще не успели нарыть сплошных траншей. Вглядываясь вперед, напрягая слух, Ромашкин стремился уловить голоса или топот, чтобы лучше сориентироваться и провести группу в промежутке между окопами. Днем Василий видел в стереотрубу эти прерывчатые окопы, они тянулись по полю, как извилистый пунктир.

Справа забил длинными очередями пулемет. От разведчиков далеко, но эта стрельба могла насторожить других. «Какой черт его там потревожил?» С нашей стороны тоже застучал «максим». Немецкий пулеметчик помолчал, потом вновь пустил огненные жала. «Максим» тут же влил ему ответную порцию пуль. Немец смолк.

Иногда вспыхивали ракеты. Пока их свет падал на землю, из наших траншей гремели одиночные выстрелы. Пули летели точно в то место, где сидел ракетчик. Это работали снайперы.

Ромашкин знал: сейчас там, позади, хлопочет комиссар. Уже при второй очереди, пущенной немецким пулеметом, Гарбуз наверняка позвонил командиру правофлангового батальона и холодно спросил: «Товарищ Журавлев, почему в вашем районе немецкий пулемет разгулялся? Попрошу вас — займитесь, и чтобы я вам больше не звонил».

Ромашкин ясно представлял, как Журавлев, чертыхаясь, хриплым, сорванным на телефонах голосом отдает кому-то распоряжение идти или даже спешит сам в пулеметный взвод. И вот, пожалуйста, результат: фашиста заставили замолчать.

Впереди послышался наконец сдержанный говор — немцы. Движения Василия стали предельно осторожными. Он пополз влево. Оглядываясь назад, следил, чтобы не отстала группа. Разведчики бесшумно скользили за ним. Сейчас только брякни автоматом или кашляни, сразу все вокруг закипит огнем. Взметнутся вверх ракеты, польются сплошным дождем трассирующие пули, забухают взрывы гранат.

Говор постепенно отодвигался назад. Осторожно уползая от него, Ромашкин радовался: «Кажется, передний край пересекли, теперь добраться бы до кустарника, а там недалеко и высота с флагом».

Когда перед глазами встали черные ветки, он поднялся и, пригибаясь, повел группу по самому краю кустарника, маскируясь его темными опушками.

Впереди на светлом фоне неба отчетливо проецировалась высота. Подойдя ближе, Ромашкин увидел и флаг на ее вершине. Взглянул на часы — было десять. Флаг казался черным.

Ромашкин указал пальцем на Коноплева и Голощапова, махнул в сторону, с которой им предстояло заходить. Коноплев кивнул напарнику, и они скрылись

в темноте. Во второй группе были сам Ромашкин и Рогатин. Для третьей, блокирующей группы задача пока не определилась. Поэтому Василий махнул Лузгину, чтобы тот вместе с Пролеткиным следовал за ним.

Высота вблизи выглядела огромной. У подошвы ее росли одинокие кусты и виднелись черные промоины от многочисленных ручьев.

Выбрав одну из промоин, Ромашкин приподнялся, жестом приказал группе Лузгина остаться здесь, а сам с Рогатиным пополз дальше. В промоине было темно. Ползли по твердому, очистившемуся от снега руслу. Вот и часовой: в шинели и каске, с автоматом на груди, он неторопливо прохаживался по тропке, пролежавшей значительно ниже флага, и был в полной безопасности от пуль, прилетающих с нашей стороны. Тропка хорошо видна даже в темноте — ее натоптали за день. Она одним своим концом почти упиралась в промоину, а на другом ее конце, откуда должны подползти Коноплев с Голощаповым, кустов не видать и промоин, наверное, нет.

«У меня подступ удобнее, — определил Василий, — часового придется снимать мне».

Отдал автомат Рогатину. Переложил пистолет за пазуху, в рукопашной некогда искать кобуру под маскировочной одеждой. Вынул нож и спрятал лезвие в рукав, чтобы не выдал его блеск.

Приготоваясь таким образом к схватке, Василий пополз к часовому один. Если тот шел навстречу ему, он лежал неподвижно, а когда часовой поворачивал назад, Ромашкин возобновлял движение вперед. В то же время Василий осматривался вокруг, стараясь определить, где находится караул.

Сколько стоит на посту часовой — час, два? Хорошо бы снять его сразу после заступления на пост. Тогда больше времени и шансов на благополучное возвращение. А то кинешься на часового, и тут смена пожалует...

До тропинки осталось шагов пять. Как их преодолеть? Ползти ближе нельзя: часовой увидит. Подбежать, когда он пойдет назад? Выдадут сапоги: немец услышит топот и успеет обернуться.

Василий посмотрел на сапоги: «Обмотать их чем-нибудь? Но чем? Перчатки не палезут. А не проще ли снять? Босой пролечу — ахнуть не успеет!» Лежа стал разуваться. Портянки тоже пришлось сбросить.

Холодная земля колко защипала ноги. Он поджал пальцы.

Приближался момент броска. Василий крепче сжал рукоятку ножа. Знал: врага не так-то просто свалить одним ножевым ударом. Тут нужна немалая сила...

Легко, невесомо, как во сне, пролетел Ромашкин расстояние, отделявшее его от темного силуэта. Что есть силы ударил ножом в голую шею. Другой рукой мгновенно зажал разинутый для вскрика рот. Повалил бьющегося немца на землю, навалился на него всем корпусом, не давая кричать. И даже в этот миг уловил чужой запах табака и потного, давно не мытого тела.

Подоспел Рогатин. Вдвоем они держали часового, пока не затих. Ромашкин сбегал за сапогами, рывком натянул их на голые ноги — портянки наматывать некогда.

При таком варианте действий вторая группа захвата должна была бы уже снимать флаг. Но у флага никого не было. «Неужели Коноплев и Голощапов трусили? Не может быть, ребята надежные. Тогда почему их нет? Не видели, как мы убрали часового?.. Придется снимать флаг самим».

Флаг был поднят на стальном тросике. Перерезать тросик ножом не удалось. Что делать? Ромашкин потянул его вниз — идет, но туго. Принялись тянуть вдвоем, повисая всей своей тяжестью, и флаг медленно стал снижаться. Он оказался огромным, трепыхаясь на ветру, сопротивлялся. «Какой, черт, большой, издали казался куда меньше», — досадовал Ромашкин.

Когда флаг наконец упал и полотнище скрутили, образовался громоздкий сверток. Рогатин взвалил его на спину, и они побежали вниз к Лузгину.

— Ну и здорово получилось, товарищ лейтенант, — зашептал Лузгин.

— Подожди радоваться, еще не выбрались, — так же тихо ответил Ромашкин и, узнав, что Коноплев не вернулся, затревожился: что-то у них произошло.

— Все время было тихо, — ответил Лузгин.

— Ну, ладно. Остаться здесь больше нельзя. Забирайте флаг и дуйте назад. А я с Рогатиным пойду искать Коноплева и Голощапова.

Лузгин попытался возразить:

— Товарищ лейтенант, вы сегодня и так поработали, может быть, я?..

— Делайте, что сказано! — прервал его Василий.

Перед заданием Ромашкин мог выслушать любое возражение, даже сам иногда вступал в спор. Но в тылу врага никаких рассуждений он не терпел.

Разведчики уже двинулись в обратный путь, когда на склоне высоты показалась темная громада. Она приближалась медленно, словно вздыбленный медведь. Все притаились.

Коноплев нес на спине Голощапова.

— Что с ним? — спросил Ромашкин.

— Ранен, — выдохнул Коноплев.

— Вроде бы тихо было, — сказал Рогатин.

— Потому и тихо было, — непонятно ответил Коноплев.

— Ладно, дома разберемся, — сказал Ромашкин.

Он вновь двинулся первым, стараясь найти свои следы и вернуться по ним. Но в темноте это оказалось невозможным. Миновав знакомые кусты, Василий прислушался: где-то здесь звучали немецкие голоса, когда группа пробиралась на высоту. Не заговорят ли снова? Нет, вокруг было тихо.

Продолжая ползти, он увидел свежеврытую землю, а за ней окоп. Предостерегающе поднял руку.

Обжитый окоп был пуст. Но за первым же его изгибом могли оказаться немцы. Обошли опасное место стороной и, казалось, достигли нейтральной зоны.

Разведчики уже готовы были вздохнуть с облегчением, как вдруг позади раздались тревожные крики. Немцы кричали в глубине своей обороны, наверное, на высоте, где остался шест без флага. Одна за другой взмыли в небо ракеты, осветив все вокруг.

«Хватились! — понял Ромашкин. — Ну, сейчас начнется! Эх, не успели отползти подальше, нельзя вызвать огонь артиллерии — свои снаряды побьют!»

Поднялась беспорядочная, еще не прицельная стрельба. Разведчики лежали в воронках, прижимаясь к земле, вслушивались, озирались.

«Неужели не выскочим? — подумал Василий. — Все сделали, только уйти осталось».

Ракеты вспыхивали и гасли. Свет сменялся мраком, мрак светом, будто кто-то баловался рубильником — то включал, то выключал его.

При вспышке очередной ракеты Ромашкин разглядел еще один немецкий окоп. Он находился метров на пятьдесят впереди и левее. Лишь за ним, оказывается, начиналась нейтральная зона. Немцы из

окопа не видели разведчиков, все их внимание было устремлено в сторону наших позиций. А разведчики лежали позади.

Окоп был недлинным, здесь оборонялось не больше отделения: Ромашкин насчитал девять торчащих из земли касок.

«Если этих не перебьем, уйти не дадут — всех порежут огнем с близкого расстояния». Решение, вполне естественное для таких обстоятельств, пришло само собой. Василий просунул руку под маскировочный костюм, снял с поясного ремня две гранаты. Лег на бок и осторожно, при вспышке ракет, показал гранаты ближним разведчикам. Они поняли командира, также достали лимонки и показали тем, кто лежал позади. Убедившись, что группа наготове, Ромашкин пополз к окопу — с пятидесяти метров, да еще лежа, гранату не добросить.

Разведчики двинулись за ним.

Но не успели они преодолеть и несколько метров, как один из немцев оглянулся. Василий отчетливо увидел его белое при свете ракеты лицо. Потом немец заорал так, что спину Василия закололо, словно иглами. Таиться дальше было бессмысленно. Ромашкин вскочил, метнул гранату, целясь в орущего, и тут же лег. Рядом бросали гранаты и падали на землю Рогатин, Лузгин, Пролеткин. Сейчас брызнут осколки — некоторые из гранат не долетели до траншеи.

Никогда прежде три секунды, пока горит запал, не казались Ромашкину такими бесконечно долгими. Он даже подумал: «Может, гранаты неисправные? Тогда хана!»

Взрывы заухали один за другим.

Едва переждав их, Василий вскочил, скомандовал: «Вперед!» Оглянувшись: все ли поднялись, несут ли флаг и Голощапова? Перепрыгивая через окоп, увидел на дне его темные фигуры: то ли убитые, то ли пригнулись от взрывов. Рванул кольцо гранаты, которая все еще была в руке, и на всякий случай швырнул ее туда. Затем выхватил ракетницу. Ракета круто взмыла в черное небо и брызнула красными огнями.

Василий рассчитывал: пока долетят сюда наши снаряды, его разведгруппа успеет отбежать на безопасное расстояние. Но артиллеристы, видимо, стояли с натянутыми уже спусковыми шнурами. Ракета еще не погасла, как вдали бухнули орудия, и первые снаряды, едва не задев убегающих, разорвались неподалеку. Развед-

чики попадали. Снаряды на излете неслись так низко, что не было сил подняться. Позиции немцев зацвели частыми огненными цветами и тотчас скрылись за густой завесой вздыбленной земли и дыма.

Выбиваясь из сил, разведчики ползли к своим траншеям. Голощапова тащили по очереди — одна пара передавала его другой. Немецкие пулеметы продолжали бить по нейтральной зоне длинными злыми очередями. Трассирующие пули сверкали и шелкали тут и там. Однако Василий понял: никто из немцев толком не знает, куда стрелять.

Заговорила и немецкая артиллерия. На середине нейтральной зоны, в узкой ложбинке, Василий остановил группу передохнуть. Сейчас тут было безопаснее, чем в своих траншеях. Артиллерийский обстрел разгорелся, как при хорошем наступлении. Ромашкин нашел в темноте Коноплева, напарника Голощапова, спросил:

— Что у вас произошло?

Коноплев стал рассказывать:

— Когда вы кинулись на часового, мы видели. Хотели уже к флагу податься. А тут, глядим, смена идет. Их двое, наверное разводящий и караульный. Ну, думаю, сейчас застукают вас, поднимут хай! Поравнялись они с нами — мы прыгнули на них. Втихую думали обтяпать. Я своего по башке прикладом, а Голощапов своего ножом хотел...

Неожиданно Голощапов, не подававший до того признаков жизни, шевельнулся и сказал слабым, но ядовитым голосом:

— Хотел, хотел, да хотелка сдала.

Ромашкин обрадовался:

— Жив?

— Да живой, что мне сделается!

Сначала засмеялся один разведчик. Потом этот не очень уместный смех нерешительно как-то поддержали другие. А через минуту, уже не таясь, смехом разразилась вся группа. Василий тоже смеялся. Так сходило нервное напряжение, наступала разрядка.

— Угломонитесь, ребята! — попросил Ромашкин. — Дайте человеку высказаться до конца.

Смех прекратился не сразу, кое-кто украдкой еще всхлипывал.

— Давай, Голощапов, рассказывай, — обратился Василий к раненому.

— Чё тут рассказывать! Не успел я пожом его пырнуть, вижу: он рот разевает и сей минут заголосит.

С переполоху я нож бросил и вцепился ему в глотку. Давлю что есть силы, а он, подлюка, руками и ногами от меня отбивается, ну просто скребет по всей морде. Повалились мы на землю, и тут ему под руку ножик мой пришелся. Первый раз он глубоко мне засадил — сила в нем еще была. Почуял я, как железо холодное промеж ребер прошло. А сам все держу фрица за горло, не выпускаю. Что было дальше, уже не помню, сомлел.

Досказывал Коноплев:

— Задавил он гитлеровца насмерть. Аж пальцы заклинило, еле отодрал я их от фашистской шеи.

— В общем, срамота получилась: фриц моим же ножом чуть не заколол меня, — горько вздохнул Голощапов.

— Ты молодец, — похвалил Василий, — если бы твой фриц хоть пикнул, нам не уйти бы.

Голощапов, верный своей привычке, засопел, видно, искал, кого бы ругнуть, но поскольку разговор шел о нем самом, ограничился самокритикой:

— Какой там молодец? Я сам чуть не завыл, когда он меня ножом полосовал.

— Перевязал его как следует? — спросил Ромашкин Коноплева.

— Главную рану, которая в боку, перетянул, а на другие бинтов не хватило, — ответил Коноплев.

— Почему не сказал? Пошли, ребята! Поторапливаться надо, как бы Голощапов кровью не истек.

— Она не текет, кровь-то. Сухой я, будто концентрат, — невесело пошутил Голощапов...

В траншее разведчиков встретили тревожно.

— Ну, как? Все живы?

— Раненых не оставили?

— Флаг приволокли?..

Растроганный Гарбуз обнял Ромашкина. Командир полка стоял рядом с комиссаром: ждал своей очереди.

Когда первая волна радости улеглась, комиссар сказал командиру:

— Ну, Кирилл Алексеевич, теперь нужно ребятам пир устроить. Этим я сам займусь. — И, повернувшись к разведчикам, добавил: — Я с вами, чертяки, тоже суеверным стал — не разрешил ничего для встречи готовить. Идите отдыхайте, а потом будем вас чествовать. И еще одна задумка у меня есть, но это уже на потом, когда отдохнете...

«Чествование» проходило уже на следующий день, в овраге, около кухни, в которой готовили пищу для штаба. Разведчиков посадили за настоящие столы, поставили перед ними давно не виданные ими белые тарелки, накормили борщом с копченой колбасой, гречневой кашей, политой мясным соусом. На столе стояли миски с головками очищенного лука и даже раздобытыми где-то солеными огурцами. В апреле огурцы, хоть и мятые и пустые в середине, — невидаль. Водкой угощали без стограммовой нормы: кто сколько захочет. Но ребята пили сдержанно — стеснялись начальства.

Все в тот день выглядело празднично. Апрельский снегогон катил вовсю. От теплой земли поднимался пар, в низинах все шире разливались лужи. По небу плыли пухленькие и белые, как подушки, облака. Из ближнего леса тянуло горьковатым запахом березовых почек, готовых лопнуть с минуты на минуту.

Ромашкин чувствовал обновление не только в природе, что-то сегодня менялось и в людях.

После угощения комиссар поднялся, сказал:

— Товарищи разведчики, еще раз спасибо вам. А сейчас пойдемте по батальонам, покажу вас всему полку. Пока что, товарищ Ромашкин, вами выполнена только первая, правда, самая трудная, половина задания. Впереди — уйма работы.

Василий не сразу понял, о какой работе говорил комиссар. А тот принялся водить разведчиков по ротам и батареям.

Траншеи заливала весенняя талая вода, ноги вязли в грязь до обрезки голенищ. А комиссар все водил и водил их. И в каждом подразделении рассказывал:

— Вот, товарищи, это наши герои! Они сорвали фашистское знамя, которое вы видели вон на той высоте. Скоро мы, наверное, доберемся до самого Гитлера. Готовьтесь, товарищи, к наступлению. Если уж знамя свое фашисты укараулить не смогли, значит, погоним мы их в шею. Но для этого нужно...

Тут комиссар переходил к конкретным полковым делам. И в зависимости от того, с кем говорил — артиллеристами, стрелками, саперами или связистами, — разъяснял, что кому следует делать.

Разведчики так устали от этих импровизированных митингов, что начали роптать:

— Лучше, товарищ комиссар, еще раз к немцам за флагом сходить, чем с вами по траншеям мотаться.

Гарбуз наконец сжалился и отпустил разведчиков.

Прежде чем идти в свою землянку, Ромашкин остановился на бугорке, посмотрел на высоту, где недавно развевался фашистский флаг. Теперь там не было и шеста. Ширская панорама холмов и голых перелесков раскинулась во все стороны от Василия. И повсюду мокрая земля была перепажана минами и снарядами, опоясана колючей проволокой, повсюду зарылись в нее люди. Кажется, впервые Ромашкин ощутил, какая махина — полк!

В своей землянке он встретил медиков и с порога еще услышал раздраженный голос Голощапова:

— Слетелись, понимаетесь, как воронье! Не поеду я никуда, и точка! Пропади он пропадом, ваш госпиталь, из-за него и полк и товарищей потеряешь! Не поеду!

* * *

Ромашкина вызвал майор Караваев.

Он сидел в одиночестве над развернутой картой, и Ромашкин увидел на ней зеленые массивы леса, ниточки дорог, голубые ленты речушек. А поверх всего этого в карту впились синие и красные скобы, упирались одна в другую такой же расцветки стрелы.

«Вон там между ними я и ползаю по ночам уже четвертый месяц», — подумал Василий, глядя на карту.

Майор не очень приветливо кивнул ему и начал разговор, сразу настороживший разведчика:

— Я, Ромашкин, тебя не ругаю и не упрекаю, пойми правильно. Противника знаем, воюем не вслепую. Но бывают обстоятельства, когда знать надо больше.

Василий согласно наклонил голову, а про себя решил: «Такое начало неспроста. Будет, наверно, лихое заданье».

— Суди сам, — продолжал Караваев, — многое ли можно узнать от фрица из первой траншеи? Он назовет номер своего полка, скажет, кто полком командует, когда сам прибыл сюда. А перспективы? Что немцы собираются делать? Где и какие у них резервы? Этого «язык» из первой траншеи не знает. Нам же сейчас требуются именно такие сведения. Ведь скоро, наверно, опять начнем наступать... В общем, нужен «язык» из глубины — офицер или, на худой конец, штабной писарь. Кто имеет дело с бумагами да телефонами, всегда знает больше. — Караваев ткнул в карту карандашом. — Вот здесь, в деревне Симаки, штаб полка

у них. Деревня в шести километрах от переднего края. За ночь можно сходить туда и вернуться обратно. Если не успеете, оставайтесь еще на сутки. Замаскируйтесь в лесочке, понаблюдайте, изучите расположение штаба и в следующую ночь действуйте наверняка. Главное, «язык» должен быть знающий. Уяснил?

— Так точно.

— Тогда действуй. Срок тебе — три дня.

Ромашкина такое задание даже чуть разочаровало: он ожидал большего. А что здесь? Обычное дело. Много раз уже выполнял похожие. Даже посложнее дела бывали. Хотя бы с флагом...

Он отобрал в группу самых надежных ребят. Нашел место, где можно незаметно пробраться в тыл противника, наметил ориентиры, чтобы в темноте не сбиться с пути. В общем, все поначалу шло, как десяти раз до этого. Но ни в первую ночь, ни во вторую, ни в третью пересечь линию фронта не удавалось. Днем снег подтаивал, а к ночи подмораживало, и на снегу появлялось такое хрустящее, ломкое крошево, что немцы слышали приближение разведчиков за несколько сот метров и открывали огонь, не подпуская к своим позициям.

«Что же делать?» — мучительно размышлял Василий. С утра он ушел из своего блиндажа, бродил в одиночестве по перелеску и все думал, как же выполнить задание. Тропинка вывела его к замерзшей речке, уходившей на вражескую сторону. По льду этой речки разведчики уже пытались однажды проникнуть в тыл противника, но затея оказалась напрасной. У немцев на льду была огневая точка. Как в тире, они расстреливали каждого, кто появлялся между крутыми берегами.

Ромашкин пошел вдоль речки в свой тыл. На некотором удалении от передовой попробовал перейти ее, но подтаявший лед сразу же треснул, и Василий провалился по колени в воду. Пришлось вернуться в блиндаж и развесить над печуркой мокрые портянки.

Вдруг его осенило: раз лед не держит, значит, огневая точка теперь не действует.

Он сунул босые ноги в чьи-то валенки, накинуд полушубок, побежал опять к речке. Вышел на лед раз, другой и дважды побывал в воде.

Ромашкин лег на живот и сполз на лед, отталиваясь руками. Держит! Пополз к середине речки,

повернул вправо, влево, лед покачивался — «дышал», но не проламывался. Что и требовалось доказать!

Переобувшись в блиндаже в свои уже просохшие сапоги, Василий отправился в первую траншею — в то место, где она уперлась в речку. Там дежурил пожилой солдат-пулеметчик.

— Не замечал, папаша, огневая точка у немцев, та, что на льду, стреляет ночью?

— Ночей пять уже молчит.

— А почему?

— Да небось фрицы не раз искупались, лед хлипкий стал. Бросили, надо полагать, эту позицию.

— А откуда знаешь, что лед ослаб?

— Видите лунки? Это я камни с обрыва кидал для проверки: могут фрицы подойти ночью сюда или нет? Ну, и получилось — не могут.

— В рост пойдут, лед не выдержит. А ползком можно, я сейчас пробовал. Что делать будешь, если поползут?

Солдат усмехнулся.

— Вот! — Он показал на кучку гранат. — Пусть сунутся, всех потоплю. А кто не утонет, из пулемета порежу. По льду не убегут, сами говорите: можно только ползком.

Солдат был прав. Ромашкин не сомневался, что и нашим разведчикам уготована такая же судьба, если их обнаружат на льду. Наверняка ведь немцы расставили наблюдателей по берегам.

И все-таки надо идти здесь — это единственный сейчас путь. «Попробуем использовать случай, — решил Василий, — немцы думают, что по льду ходить невозможно, а мы пойдем».

Каждому из разведчиков, отправляющихся с ним на это задание, приказал получить у старшины по два маскировочных костюма: белый — ползти по льду и пятнистый — под цвет оттаявшей местности. Прихватили запасные костюмы и для пленных: их ведь тоже придется маскировать.

В сумерки вышли к речке. В группе было семь человек. «Зубров» только двое: Рогатин, как всегда молчаливый, и Саша Пролеткин, на этот раз тоже не очень разговорчивый — сказались и на нем неудачи прошлых трех ночей.

На берегу, как водится перед каждым трудным делом, посидели, покурили. Еще раз опробовали лед. К вечеру он стал вроде бы прочнее.

— Товарищ лейтенант, не следовало нам Рогатина брать на это задание,— привычно начал Пролеткин.

— Почему?

— Он как тумба железная, лед сразу проломит.

Рогатин принял предложенную игру, огрызнулся:

— Ты, Пролеткин, все равно не потонешь: навоз всегда сверху плавает.

— Кончайте треп! — строго сказал Ромашкин.— Двигаться будем метрах в пяти друг от друга, ближе нельзя: провалимся. А для определения впопыхах заданных интервалов и чтобы чувствовать соседа — вот шпагат с узлами через пять метров. Каждый должен держаться за узелок и подергиванием сигналить соседу — ползти тому быстрее или остановиться...

Тронулись. Между высокими берегами было куда темнее, чем наверху. Ромашкин думал: «Это в нашу пользу. Надо только смотреть в оба — фашисты не дураки: могли где-то продолбить лед, где-то поставить мины, могли натянуть сигнальные шнуры или просто набросать консервных банок, чтобы звенели».

Впереди на льду показалось какое-то темное сооружение. Конечно, это та огневая точка.

Василий остановился метрах в двадцати от дзота. Вслушался: не заговорит ли там кто, не стукнет ли что-нибудь внутри? Не слышно. Только наверху перекликались пулеметы, изредка прочесывали нейтральную зону.

Вынул гранату и стал подкрадываться к дзоту. Правее полз Рогатин. Заметили издали: дверь открыта. Это уже говорило о том, что дзот пуст: о тепле никто не заботится.

Подползли с двух сторон одновременно. Заглянули внутрь. На полу затоптанная солома, окурки, гильзы, словом, пусто. Можно двигаться дальше.

Поглядев вверх, Василий вспомнил слова пулеметчика: «Пусть сунутся, всех потоплю». И немецкий часовой потопит, если обнаружит. Правда, капитан Люленков договорился с минометной батареей, она сейчас наготове и в критический момент поддержит огоньком. Но огонь откроют не раньше, чем услышат шум боя на реке и увидят красную ракету. Мины прилетят через несколько минут. Тяжелыми будут эти минуты!

Когда вся группа отползла от брошенного немцами дзота метров на двести, Василий махнул рукой Рогатину, чтобы тот выбирался на берег в кусты. За ним

повернул Пролеткин и остальные пятеро. Василий ждал, пока выйдет на берег последний. «Все-таки прошли! До деревни, где стоит немецкий штаб, осталось километра четыре, а там выбирай «языка». Хорошо бы взять офицера».

Ромашкин на миг забыл осторожность, оперся локтем, и тут же хрустнуло, лед проломился. Холоднющая вода обожгла тело. Василий ухватился за край пролома. Лед опять треснул, и он окунулся с головой. Вынырнул, бросился на лед, и вновь лед сломался. Намокшая одежда тянула Василия на дно. Едва удалось ему схватиться за ремень, брошенный с берега Рогатиным. Кое-как выкарабкался.

Кто-то скинул с себя нательную рубаху, другой — гимнастерку, третий — портянки. Василий переоделся в сухое, но никак не мог согреться. Его колотил озноб.

— Спиртику бы вам, — сказал Рогатин.

— Где же его взять? — отозвался Пролеткин. — Давай, хлопцы, погреем лейтенанта, без спиртика.

Все подняли куртки масккостюмов, расстегнули телогрейки — раскрылились и облепили Ромашкина теплыми телами. Неунывающий Пролеткин поздравил:

— С легким паром, товарищ лейтенант.

Василию стыдно было перед разведчиками. «Так хорошо все началось! И вот на тебе — сам как мокрая курица, автомат — на дне речки». Василия охватила злость.

— Пустите, ребята! — Он высвободился из их объятий. — Не греть же меня так всю ночь! Идти надо.

Надел два запасных маскировочных костюма. Подпоясался сигнальным шпагатом.

— Двигаем!..

Деревня Симаки чернела в низине, вытянувшись длинной улицей вдоль дороги. Разведчики зашли со стороны огородов. Подкрались к сарайчику, от него — к плетню.

Василий посмотрел поверх плетня, стараясь разобраться в обстановке. Нет ли поблизости часовых? Спят ли в соседних домах? Если ребята набросятся здесь на проходящего гитлеровца, с какой стороны может подоспеть помощь?

В ближнем доме света в окнах не было. Но Василий на всякий случай приказал двум разведчикам подпереть дверь бревнышком, лежавшим у завалинки. На

другой стороне улицы стояла хатенка под соломенной крышей. Едва ли там поселились немцы: хатенка уж больно убога.

Место для засады как будто подходящее. Только бы появился на улице «чин» покрупнее. Решили ждать. Брать фрица из дома опасно — такое дело без шума проходит редко. А шуметь ни в коем случае нельзя: по речке отход возможен только без преследования, спокойно.

— Если появится один, берем его я и Рогатин, — зашептал Ромашкин разведчикам. — Если группа — пропустим.

И стал примеряться, как прыгнуть через ограду. Но едва он дотронулся до плетня, тот затрепал так, что все испуганно присели. Как же тут внезапно нападать? Затрепшит чертов плетень.

Ромашкин встал на четвереньки.

— Ты, Рогатин, с моей спины перемахнешь через ограду, а я уж вслед за тобой.

— Может, мне первым, товарищ лейтенант? — предложил Саша Пролеткин. — Если этот громила залезет вам на спину, из вас блин получится. А я легкий.

— Ты делай, что прикажут, — рассердился Ромашкин. — Сейчас не до шуток, понимать надо!

Саша виновато замолчал.

Ждали долго. Но вот слышались шаги. Мимо прошла смена караула: унтер и два солдата. Они протопали совсем рядом, их можно было достать рукой. С троими, однако, без шума не справиться.

Немцы дошли до конца улицы, сменили там часового и возвратились обратно. Протопали мимо в другой раз.

«Неужели вернемся с пустыми руками? — терзался Василий. — С таким трудом пробрались сюда и ничего не можем сделать! А скоро рассвет».

— Будем брать часового, — сказал он решительно, — иного выбора нет. Пойдем в конец улицы, разыщем пост и на месте все прикинем окончательно.

Осторожно, опасаясь собак, пошли огородам вдоль забора. Неожиданно чуть впереди в одном из домов, скрипнув, распахнулась дверь. Полоса желтого света упала на землю и сразу исчезла — дверь притворили. Одинокий силуэт отделился от дома: какой-то фриц двинулся по улице прямо на разведчиков. Василий огляделся — других прохожих не было. Встал на четвереньки, жестом приказал Рогатину прыгать.

Иван, почти не коснувшись его спины, перелетел через забор и свалился на проходившего. Они упали, покатались по земле. Ромашкин тоже перемахнул через ограду и подскочил к борющимся.

Рогатин крепко держал фашиста за горло, не давая ему кричать. Василий быстро затолкал схваченному рукавицу в рот, подобрал два каких-то ящика и фуражку с серебристым шнурком. «Ого, офицер!»

Пленного перевалили через плетень. Связали руки брючным ремнем. Наблюдая за этими сноровистыми действиями разведчиков, Ромашкин думал: «Вот ока-янные! Ни бог, ни дьявол им не страшен, но до чего ж суеверны! Ни один, уходя за «языком», не возьмет веревку или кляп. Вот и сейчас во рту у немецкого офицера моя рукавица, а связан он поясными ремнями. И когда я провалился под лед, мне тоже бросили брючный ремень. А как нужна была веревка! Ведь я приказывал взять ее».

Спросил Сашу Пролеткина:

— Где веревка?

Тот посмотрел на командира безгрешными глазами и, не моргнув, ответил:

— Забыл я ее, товарищ лейтенант. Да обойдемся, вы не беспокойтесь! Было бы кого вязать...

Ромашкин осмотрел снаружи подобранные ящики. Они были из полированного дерева, чем-то напоминали этюдники. Откинул крючки, поднял крышку. Ожидал увидеть все, что угодно, только не это. «Мать родная! Вот так удача! Неужели и во втором ящике такое же?» Он открыл другую крышку, а там еще лучше.

Нет, не штабные документы и не карты! В изящных футлярах, обтянутых изнутри бархатом, лежали коллекционные вина. Каждая бутылка особой формы и пристегнута лакированными ремешками. «Наверное, фриц шел на гулянку, вовремя мы его зацапали, а то, проклятый, вылакал бы все без нас!» — усмехнулся про себя Ромашкин.

Разведчики оттащили пленного подальше от деревенской улицы, рассмотрели повнимательнее: все в порядке, обер-лейтенант. Теперь только бы уйти тихо.

Но «язык» сел на землю и — ни с места. Рот у него заткнут, руки связаны, а двигать ногами не желает. Его поднимали, подталкивали в спину, он не сделал ни шагу. Попробовали нести — тяжел, к тому же начал

брыкаться. Терпение разведчиков иссякло. Рогатин поставил фашиста на ноги и вlepил ему такую затрещину, что тот грохнулся наземь, как неживой. Все подбежали и остолбенели — обер лежал пластом. Убил!

— Ты что, очумел! — накинулся Василий на Рогатина.

— Я в четверть силы. С воспитательной целью, товарищ лейтенант, — оправдывался Иван.

Разведчики опять подняли немца, и он «ожил». С опаской поглядел на Рогатина. А когда тот подошел поближе и слегка замахнулся, фашист побежал так прытко, что за ним едва поспевали.

Вышли к речке. «Как же теперь? — задумался Ромашкин. — Пленный сам не поползет, а лежать с ним рядом нельзя: начнет брыкаться, утопит и себя и других».

— Дайте оберу мне, — попросил Пролеткин. — Я из него саночки сделаю.

— Какие саночки?

— А вот увидите...

Пролеткин выломал в кустарнике две длинные палки и скомандовал:

— Снимай, хлопцы, ремни!

Ему подали ремни. Саша заставил пленного надеть белый костюм и в этом наряде уложил его на палки, привязал к ним ремнями. Теперь немецкий офицер не мог сделать ни единого движения.

Все по одному сползли на лед. Пленного поручили Саше. Из бинтов ему сделали длинную лямку, и Пролеткин тянул немца за собой.

Вскоре окликнул знакомый пулеметчик:

— Вы, товарищ лейтенант?

— Мы.

— Ну, как лед? Держит?

— Держит.

— Скажи пожалуйста! А я совсем не наблюдал за речкой. Теперь буду поглядывать. Приволокли, что ли?

— Приволокли.

Было около шести часов утра. В штабе все еще спали. Но приятной вестью начальство можно побеспокоить. Ромашкин повел обер-лейтенанта к Колокольцеву. Ящички с вином решил пока не сдавать, это не документы, никакого влияния на решение командования они не окажут.

Возвратясь из штаба, подозвал к столу разведчиков и с заговорщицким видом открыл один футляр.

— Вот это да! — восхищенно оценили все.

Фиолетовый бархат отсвечивал матово. Бутылки — одна пузатая с длинным горлом, другая с длинным телом и короткой шеей, третья гнутая в талии, четвертая каким-то кубом — искрились. Их украшали этикетки с замысловатыми золотыми вензелями.

Разведчики развязали «сидора», полезли за кружками.

— Только по сто граммов, — предупредил Василий.

— Да больше, чем по сто, на весь взвод и не придется, — с деланным безразличием сказал Сапа, хотя ему явно не терпелось отведать диковинных напитков.

— Французское, — определил Жук, разглядывая этикетку.

— Давайте один ящик командиру полка подарим. У него начальство бывает, пусть пофорсит, — предложил находчивый старшина.

— Я розумию так, що нам же слава буде, — поддержал Шовкопляс и представил Караваева, который угощает начальство. — Чи не покуштуєте, товарищ генерал, вина хрэнцузского, мои славни разведчики просто закидали меня разними трохфеями.

— Решено, дарим один ящик командиру полка! — согласился Ромашкин.

Вино в одной бутылке оказалось густо-красным, в другой — черное, как тушь, в третьей — апельсиново-оранжевое, в четвертой — зеленое, будто весенняя травка. Разведчики опрокидывали кружки в рот, морщились.

— Очень сладкое, — сплюнул Голощапов.

— И градусов мало, — сожалеючи произнес Рогатин.

Жук разъяснил:

— Кто же так пьет коллекционные вина? В каждом из них свой букет. Пить надо не торопясь, вдыхать аромат, смаковать вкус.

Шовкопляс ухмыльнулся:

— Щось меня цей букет не забирае. Добавлю-ка я нашенского букету. — Он отвинтил крышечку фляги, налил в кружку водки. Выпил. Крякнул, утирая рот рукавом, и блаженно улыбнулся: — О це букет! О це по-нашему! Аж пятки свербит!

Разведчики посмеялись и тоже запили «французское баловство» ста граммами.

Днем Ромашкин отнес второй ящичек Караваеву. Командир полка поблагодарил за подарок, полюбовался бутылками, но откупоривать не захотел, отдал Гулиеву.

— Спрячь и сбереги. Нагрянут какие-нибудь высокие гости — поднесем.— Потом испытующе взглянул на Ромашкина.— А может, сохраним до победы? Может, тогда вместе с тобой разопьем?

— Для такого случая мы и получше достанем,— уверенно пообещал Василий.

* * *

Василий сидел на берегу тихой речки, смотрел на юрких мальков в воде, слушал щебет лесных пичужек и на миг позавидовал им — даже не знают, что идет война. От рощи тянуло чистой прохладой, она отгоняла запах пригорелой каши, который шел от кухонь, врытых в берега лощины. Василий ушел сюда, чтобы выписать из «Словаря военного переводчика» незнакомые фразы и заучить их. Словарь дал ему капитан Люленков. Он владел немецким свободно. Ромашкин часто жалел, что в школе относился к немецкому легкомысленно. «Если бы запомнил слова, которые мы тогда учили, теперь понимал бы, о чем говорят немцы в своих траншеях, и мог поговорить с пленными».

Ромашкин упорно занимался. Кроме словаря он читал подобранные немецкие газеты, пытался делать переводы.

Подошел капитан Морейко, начальник связи полка, стройный, гибкий, с аккуратным носиком и томным взором. Василию казалось, что Морейко стесняется своей красивой внешности и хочет выглядеть мужественным воякой. Поэтому он говорил развязно, часто матерился, но это выглядело так же неестественно, как выглядела бы вежливость у Куржакова.

- Привет разведке!
- Салют связистам!
- Зубришь?
- Приходится.
- И не жалко?

— Чего?

— Времени! Убьют — все труды насмарку. Пошел бы лучше во второй эшелон — там, говорят, у начфина такая казначейша появилась, закачаешься!

Ромашкина неприятно кольнули слова о смерти, произнесенные с такой оскорбительной легкостью. Захотелось осадить этого лопуха в звании капитана, но Василий сдержался.

— Значит, не желаешь заняться женским полом? — жужжал Морейко. — Что же, учтем, займемся сами! А тебя начальник штаба вызывает.

Говорить с Морейко не хотелось, но, чтобы не молчать, спросил:

— Ты опять дежуришь?

— Судьба такая: начним, начинж да я грешный — вечные дежурные по штабу. Слыхал, как я начхима Гоглидзе разыграл? — И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Говорю ему вчера: Арсен, тебе заместителя ввели по штату. Бедный Гоглидзе даже растерялся. «Зачем? — говорит. — Мне самому делать по специальности нечего!» Вот поэтому, говорю, и ввели. Будет тебя с боку на бок переворачивать, чтобы пролежней не было. Видел бы ты, как он раскипятился, чуть в драку не полез. Теперь со мной не разговаривает. Умора, одним словом. Ну идем, разведка, Колокольников ждет.

Начальник штаба пил чай — это было его любимым занятием в свободное время. Небольшой потемневший самовар, тяжелый серебряный подстаканник с витыми узорами, позолоченная чайная ложка, украшенная монограммой, были известны в штабе всем старожилам. Но никто не знал, какие воспоминания посещают Виктора Ильича Колокольцева, когда он так вот чаевничает.

Кроме дорогих сердцу майора самовара и подстаканника вечной спутницей его по фронтовым землянкам была никелированная машинка, с помощью которой он любил на досуге собственноручно набивать «Охотничьим» табаком гильзы. Папиросы получались плотными, как фабричные.

Колокольников был из тех военных, которые в двадцатые и тридцатые годы стыдливо замалчивали свое офицерское прошлое, а в сороковые стали гордиться этим прошлым и той школой, которую они прошли в старой армии. Виктор Ильич стал офицером в начале

первой мировой войны. Из Томского университета он ушел в школу прапорщиков, заслужил на Западном фронте два «Георгия» и чин поручика, а после революции вступил в Красную Армию. Но во время гражданской войны особого старания не проявил, это нашло отражение в аттестациях, и служба, как говорится, не заладилась. Пришлось уволиться в запас, стать преподавателем математики в техникуме. О военной карьере он уже и не думал, огорчился даже, когда его вновь призвали в армию и назначили начальником штаба батальона. Было это в тридцать девятом году, перед финской кампанией.

За участие в прорыве линии Маннергейма получил Виктор Ильич орден Красной Звезды и звание майора. С тех пор и отдался всецело службе, будто хотел наверстать упущенное.

Майор Колокольцев обладал спокойной деловитостью человека, знающего себе цену. Неумоимо учил он своих помощников, заставлял их на первых порах по нескольку раз переделывать штабные бумаги, заново отрабатывать карту. А потом спокойно попивал чаек и, почти не глядя, подписывал документы. Знал: помощники не подведут, в сводках и донесениях все будет в порядке.

Помощников Виктора Ильича иногда убивало, иногда их выдвигали с повышением. Он воспринимал это как неизбежность — в первом случае горестную, во втором — приятную — и тут же принимался учить новых.

Учил Колокольцев и Ромашкина. И не только по долгу службы, а и по душевному влечению, потому что видел в нем свою молодость — сам был таким же на германском фронте: юным, бесхитростным, безотказным. Наедине называл Василия голубчиком и величал непременно по имени-отчеству.

— Садитесь, Василий Петрович, чаю желаете?

— Спасибо, товарищ майор, я уже поел.

— Чай не еда, голубчик...

Ромашкин смотрел на массивный подстаканник, и ему хотелось завести такой же или похожий и так же пить чай, не торопясь, с торжественностью.

— Давно собираюсь спросить: батюшка ваш служил в старой армии?

— Нет, — ответил Ромашкин и в свою очередь поинтересовался: — А почему, товарищ майор, у вас возник такой вопрос?

— Есть в вас что-то офицерское. Врожденная, что ли, интеллигентность. Вы, конечно, из интеллигентной семьи?

Колокольцеву, видимо, очень нравилось слово «интеллигентность», он произносил его как-то замедленно, чуть растягивая звук «е».

— Мой отец был инженером-строителем. Погиб под Москвой в сорок первом.

— Помню, голубчик, мне рассказывали... Ну что ж, приступим к делу. Я пригласил вас для того, чтобы осуществить суворовский завет: «Каждый солдат должен знать свой маневр». Поверьте, Василий Петрович, сотни раз я слышал эти слова, когда был еще поручиком, но истинный смысл их открылся мне относительно недавно — на финском фронте. Оказывается, главное совсем не в том, чтобы солдат понимал какой-то тактический маневр — обход там, охват или нечто подобное. Это, разумеется, тоже не исключается. Но, мне кажется, Суворов мыслил шире: солдат лучше, добросовестнее, с бóльшим энтузиазмом будет делать любое дело, если смысл и необходимость этого дела ему разъяснили и оно дошло и до его ума и до его сердца. Вот, голубчик, что означают слова великого Суворова. В нашей армии эту работу хорошо делают комиссары. Именно они прежде всего помогают солдату, и не только солдату, а каждому из нас, понять свой маневр.

Василий любил такие беседы с начальником штаба. Приятны были его доверительность и подчеркнутое уважение к собеседнику. Но он-то знал, что за преамбулой обязательно последует деловая часть, в которой не всегда и не все приятно.

— Вы читали нынче «Правду»? — неожиданно спросил Колокольцев.

— Не успел еще, спал после задания...

— Не оправдывайтесь, голубчик, отлично вас понимаю. Вот газета, пожалуйста, прочтите здесь. — Он указал на сообщение Совинформбюро о летней кампании сорок второго года.

Ромашкин углубился в чтение.

«К началу лета германское командование сосредоточило на южных участках фронта большое количество войск, тысячи танков и самолетов. Оно очистило под метелку многие гарнизоны во Франции, Бельгии, Голландии. Только за последние два месяца оттуда

было переброшено на советско-германский фронт 22 дивизии. В вассальных странах — Италии, Румынии, Венгрии, Словакии — Гитлер мобилизовал до 70 дивизий и бригад, не считая финских войск на севере, и бросил их на советско-германский фронт».

Невольно вспомнилось, что на протяжении этого лета в газетах появлялись и вскоре пропадали бесследно ворошиловградское, новочеркасское, ростовское, краснодарское направления. Потом в сводках Совинформбюро грянуло слово «Сталинград». Из сегодняшнего сообщения следовало, что именно там сейчас наибольшее напряжение. Может быть, такое же, как в сорок первом под Москвой. Вывод этот подтвердил и Колокольцев.

— Прочли? Очень хорошо. Битва за Москву — это уже история. Фашисты поняли: лобовым ударом Москву им не взять. Они решили выйти к Волге, чтобы разрезать нас пополам. Если противник овладеет Сталинградом... Впрочем, этого допустить нельзя. — Он строго посмотрел на Ромашкина. — И потому вам, голубчик, опять придется много поработать. Мы, как и другие части, все время должны знать, кто держит фронт против нашего полка, и не позволять, чтобы немцы снимали свои силы отсюда и перебрасывали их на юг. Надо будет, Василий Петрович, ежедневно, а вернее, еженощно подтверждать группировку противника. Поймите необходимость этого. На Волге решается судьба Отечества. — Виктор Ильич произнес это торжественно, выпрямясь и приподняв голову, как офицеры старой армии, которых Ромашкин видел только в кино. И, безотчетно подражая киногероям, Василий тоже энергично встал, расправил грудь, опустил в поклоне голову, чего никогда не делал прежде, и ответил в тон майору:

— Я сделаю все, что в моих силах.

— Прекрасно! — оценил Колокольцев и пожал ему руку.

Но, выбравшись из сумрака блиндажа и увидав перед собой зеленеющие под солнцем склоны холмов, Ромашкин тотчас почувствовал себя как бы сошедшим с киноэкрана в реальную жизнь. А у своей землянки, уже совсем освобождаясь от наваждения, навешанного Колокольцевым, подумал о майоре жестко и трезво: «Блажит старик. Преувеличивает. Если даже фашисты форсируют Волгу, мы все равно их раздолбаем. Но как

бы то ни было, обстановка неприятная, особенно для нашего брата. Все будут сидеть в обороне, а разведчиков теперь загоняют».

На другой день и ночь Василий еще раз обследовал оборону противника, дал задание своим наблюдателям и стал готовить сразу три объекта для нападения. В этом ему помог Иван Петрович Казаков. Командуя стрелковой ротой, он по-прежнему проявлял интерес к захвату «языков».

— Смотри, что я придумал,— сказал Казаков и повел Ромашкина в отросток траншеи, выдвинутый вперед.— Вот, гляди.

Василий увидел толстую палку, вбитую в землю, к ней был привязан конец синего немецкого телефонного кабеля, который уходил в нейтральную зону и терялся в кустах.

— Видал? Немцев приучаю.

— Не понял. К чему приучаешь?

— К шуму. Другой конец мы ночью привязали к проволочному заграждению. У них там банки консервные навешаны, чтобы тебя подловить, когда проволоку резать будешь. Вот я и дрессирую фрицев. Приходи вечером, покажу.

Василий пообещал прийти и направился в роту Куржакова — проверить своих наблюдателей.

— Ну, чем порадуете, что у вас нового? — спросил он Сашу Пролеткина.

— Все нормально, товарищ лейтенант,— бодро ответил Саша.— Против нас прежняя дивизия стоит.

— Какие доказательства?

— Точные, как в аптеке,— уверенно продолжал Саша.— Посмотрите в бинокль, вон в той балочке — километра два за их передним краем — серая кобылка пасется. Видите?

Ромашкин подкрутил окуляры бинокля и отчетливо увидел вдали серую лошадь, она щипала траву.

— Эта кобыла, товарищ лейтенант, ночью в первую траншею харчи подвозит. Если бы дивизия ушла, кобылку не бросили бы, увели б с собой. Так?

— Предположим.

— Значит, если она здесь, дивизия тоже здесь.

Пока Пролеткин рассказывал, Рогатин ядовито ухмылялся.

— А что скажешь ты, Иван?

— Балаболка он,— вздохнул Рогатин.

— Ты давай про фрицев! — огрызнулся Пролеткин.

— Все рассмотрел! — покачал головой Рогатин. — Даже, что кобыла, а не мерин, определил. Вон какой глазастый!

Пролеткин вспыхнул, набрал было воздуха, чтобы отпарировать, но не нашелся, шумно выдохнул вхолостую, промолчал.

— А может, фрицы, — не унимался Рогатин, — того конягу специально оставили, чтобы нас обмануть? Подумали: «Мы уйдем, а у русских есть хитрый разведчик Саша Пролеткин, нехай он любителю на эту лошадку и свое командование в заблуждение вводит».

Саша собрался наконец с мыслями:

— Разведчик должен по разным признакам судить об обстановке. А ты все только на силу свою надеешься — хватай фрица за шкуру да волокни к себе в траншеи, вот и вся твоя разведка. Надо ж и мозгами шевелить.

— Согласен, — невозмутимо ответил Иван.

— Соображать же надо! — торжествовал Саша.

— А где же твое соображение? — спросил вдруг Рогатин. — Ты сам чего сейчас говоришь?

— Чего?

— Вспомни-ка! Ладно, я подскажу: «По разным признакам судить!..» А где у тебя разные признаки? Всего одна кобылка, да и та, наверное, жеребец.

— Ну, ладно, — примирительно сказал Ромашкин. — Наблюдайте, ребята. После обеда пришлю вам смену.

По ходу сообщения он направился в тыл. У спуска в лощину встретил Куржакова.

— Привет! — сказал дружелюбно ротный. — Куда путь держишь?

— Домой.

— Идем ко мне обедать.

Куржаков был под хмельком, и поэтому Василию не хотелось идти к нему. На отказ Ромашкина Куржаков обиделся. Даже обругал по привычке бывшего своего взводного.

«Ничего, в другой раз навещу, отойдет», — подумал Василий.

Вечером он вместе с Коноплевым опять пришел к Ивану Петровичу посмотреть, что же тот придумал. Казаков подвел их к палке, которую показывал днем, сказал:

— Слушайте, чего сейчас будет,— и потянул изо всех сил за кабель.

Тут же несколько немецких пулеметов залились длинными очередями. Это были не те спокойные очереди, которыми пулеметчики прочесывают нейтралку или переговариваются между собой. Пулеметы били взмахом. Так бьют только по обнаруженному противнику.

— Теперь давайте посидим, покурим,— предложил между тем Казаков.— Как твои дела? Как ребята?

У Ромашкина вдруг мелькнул дерзкий замысел.

— Петрович, твою затею можно использовать.

— Конечно, знаю. Для того она и затеяна.

— Сегодня же использовать ее надо. Днем фрицы провсрят, почему гремели банки на проволоке, обнаружат твой кабель, обрежут — и делу конец. Надо действовать сегодня же, до наступления рассвета. Втроем справимся?

— Попробуем,— с нарочитым безразличием откликнулся Казаков и велел своему ординарцу принести ножницы для резки проволоки.

Втроем — два офицера и сержант,— сидя в траншее, продолжали дергать кабель. Их охватила веселая удаль, а противник все хлестал и хлестал по своим заграждениям длинными пулеметными очередями.

Лишь часам к трем ночи немцы наконец поняли, что им морочат голову. Они почти перестали реагировать на подергивание кабеля.

— Ну, пора,— сказал Казаков.

— А не влетит, если Каравасв узнает? — заколебался в последний момент Василий.— Ты же ротный.

— Конечно, влетит,— весело подтвердил Казаков. И, вызвав тут же одного из своих взводных, приказал: — Остаешься за меня. Предупреди всех в роте, что мы с лейтенантом и сержантом в нейтралке будем работать. Чтобы нас не побили, пусть огонь ведут повыше и в стороны.

— Будет сделано.

— Ну, пошли!

Они выскочили на бруствер и, пригибаясь, побежали вдоль кабеля. В низинке Казаков прилег, шепнул:

— Давайте шумнем еще разок.

Дернули кабель. В ответ рокотнули две коротенькие и вроде бы ленивые очереди. Поползли дальше.

Вот и проволока. Коноплев сразу перевернулся на спину. Василий лег рядом, осторожно взял обеими

руками первую нить, и сержант тут же перекусил ее ножницами. Ромашкин подал длинный конец Петровичу, тот опустил проволоку на землю так осторожно, что не звякнула ни одна консервная банка.

Вскоре проход был готов. Петрович кивнул. Вместе с Ромашкиным они поползли к траншее. Коноплев тоже пополз было вперед, но Ромашкин остановил его: надо же кому-то охранять и расширять проход.

Казаков спустился в траншею первым. Ромашкин последовал за ним. Прислушались. Тихо.

Казаков взглянул за ближайший поворот и тут же отпрянул. Показал туда большим пальцем, затем поднял указательный. Ромашкин понял: там один немец. Казаков ткнул себя в грудь, Василию показал автомат и махнул рукой вдоль траншеи. И опять Василий понял: Петрович сам берет пленного, а он должен прикрывать.

Старший лейтенант пригнулся, хорошенько поставил ноги. В этой позе он походил на пловца, собравшегося прыгнуть с трамплина в воду. Минуту помедлив, как бы проверяя устойчивость, а на самом деле собирая силы для решающего броска, Казаков ринулся наконец вперед. Ромашкин за ним. Он видел, как Петрович очутился рядом с пулеметчиком, мгновенно захватил его согнутой рукой за горло и рывком приподнял над землей. Этот прием разведчики называют «подвесил». Гитлеровец сдавленно хрипел, болтал ногами. А Петрович уже показывал ему нож, чтоб не орал. Солдат затих. Ромашкин затолкал пленному кляп в рот, связал руки.

Все быстро и тихо.

А через час они вдвоем стояли навтыжку в блиндаже Караваева, недавно получившего звание подполковника.

— Это надо же додуматься! — возмущался Караваев. — Два командира идут за каким-то вшивым фрицем: командир роты и командир взвода разведки. Ну, лейтенант Ромашкин — ладно: это его работа. А вам, Казаков, какое дело до разведки?

— Я же ходил в разведку раньше, — вяло оправдывался Петрович.

— Раньше!.. А сегодня кто вас посылал? Кто? Молчите? Никто не утверждал, никто не разрешал этот поиск.

— Да, отличились! — гудел из-за стола Гарбуз. — Один коммунист, другой комсомолец.

— Больше всех виноваты вы, старший лейтенант,— жестко сказал Караваев, сверля взглядом Петровича.— Вы ведь и по должности старший — командир роты. Почему бросили свое подразделение?

— Я не бросил подразделения,— обиделся Петрович.— Был в полосе своей роты, только чуть впереди.

— А где вам полагается быть?

Стремясь выручить Казакова, Ромашкин почти умоляющим взглядом посмотрел на Колокольцева. Начальник штаба, встретив этот взгляд, кашлянул, задвигался на своей заскрипевшей табуретке и солидно произнес:

— Может быть, я в некотором отношении виноват в случившемся. Я вызвал вчера лейтенанта Ромашкина, ознакомил его с обстановкой и обязал еженочно уточнять группировку противника.

Караваев изобразил на лице удивление.

— Что же это получается, Виктор Ильич? Под защиту их берете? Ну, нет, не позволю! В наказание именно вы лично напишете приказ, в котором...— Караваев подумал, подбирая меры взыскания.— В котором командиру роты старшему лейтенанту Казакову объявить выговор, а лейтенанту Ромашкину... Ромашкину... С этим я ограничиваюсь разговором.

Казаков и Василий вышли из командного блиндажа, минуту постояли, не глядя друг другу в глаза, и вдруг рассмеялись. На душе было совсем не горько. Ими до сих пор владела радость удачно проведенного палета, и была она сильнее всех последующих неприятностей.

— Идем ко мне ужинать,— тихо предложил Ромашкин.

Но Казаков не согласился.

— Лучше ко мне. Позвонить могут. Опять, скажуг, ушел из роты.

* * *

После этого веселого происшествия у Ромашкина пошла полоса горьких неудач. «Язык», которого они так лихо захватили втроем, оказался последним на долгое время.

А из штаба дивизии, как и предвидел Колокольцев, ежедневно требовали уточненных сведений о против-

нике. Высшее командование, до Ставки включительно, стремилось вовремя уследить, когда и откуда противник попытается снять часть своих сил для переброски на юг, к Сталинграду. Приказы письменные и устные следовали один за другим. Войсковые разведчики сбились с ног, каждую ночь они ползали в нейтральной зоне, но все безрезультатно. Лишь раздражили немцев так, что те по ночам стали держать в окопах не только дежурных пулеметчиков, как делали это раньше, а оставляли здесь целиком подразделения первого эшелона. Попробуй-ка сунься, возьми «языка»!

Ромашкин устал, измучился.

Однажды его вызвал Гарбуз. «Будет ругать», — с тоской решил Василий. Но комиссар ругать не стал. Поглядел на его осунувшееся, несчастное лицо и заговорил спокойно:

— Мне кажется, надо менять тактику. Вы действуете шаблонно, поэтому и неудача за неудачей. Противник вас ждет. Все ваши действия ему заранее известны.

— Что можно придумать нового в нашем деле? — пожал плечами Ромашкин. — дождался темноты и ползи в чужие траншеи. Только будь осторожен. В том и вся наша тактика.

— Надо придумать что-то, — не унимался Гарбуз. — Подкоп, что ли, какой-нибудь устроить? Или хитростью выманить фашистов в нейтральную зону? Не знаю, что именно, но убежден: надо искать новые приемы. Иди, дорогой, думай. Надумаешь — приходи, посоветуемся. Если надо, я сам организую обеспечение поиска.

Ромашкин ушел от комиссара, унося в душе благодарность за спокойный разговор и веря, что если уж Гарбуз обещал поддержку, то все перевернет вверх дном, заставит всех «ходить на цыпочках» перед разведчиками.

Так что же придумать?

Сколько ни ломал Василий голову, ничего путного не придумал. Саша Пролеткин пожалел его, пытался утешить, как мог:

— Не огорчайтесь, товарищ лейтенант. В нынешних условиях, будь у вас хоть с бочку голова, все равно «языка» нам не добыть.

Ромашкин в ответ грустно улыбнулся и не очень уверенно стал размышлять: «Если ночью немцы не спят, значит, спят днем. Не могут же бодрствовать

целые подразделения сутки, и двое, и трое! Вот бы этим и воспользоваться?!» Но тут же спасовал. В самом деле, что за бред? Если ночью не получается, днем тем более ничего не выйдет.

Однако дерзкая мысль о захвате «языка» днем продолжала жить в нем, постепенно обростала деталями, и в конце концов он поделился ею со всем взводом. Разведчики отнеслись к ней с большим сомнением. Затем начали прикидывать, что тут выгодно и что невыгодно. А под конец решили: дело, пожалуй, осуществимое.

Доложили свой план командованию. Он был одобрен. И в ближайшую же ночь шесть разведчиков с плащ-палатками и малыми саперными лопатами направились в нейтральную зону. Там, вблизи немецкой проволоки, была уже облюбована заросшая кустарником высотка. На ней и стали рыть глубокие щели. Работали с величайшей осторожностью: до вражеских траншей было не больше ста метров, еле слышный стук мог погубить все задуманное. Землю ссыпали на плащ-палатки и уносили в ложину, чтобы с рассветом не привлекла внимания немцев.

В щелях должны были засесть на весь день Ромашкин, Коноплев и Рогатин. Они в подготовке укрытий не участвовали, набирались сил для выполнения задания. Перед рассветом за ними прислали связного. Никто из троих, конечно, не спал. Дело готовилось весьма рискованное, до сна ли тут!

Приползли к укрытиям, засели. Им опустили еду, воду, запас патронов и гранат. Над головой каждого укрепили жердочки, сверху положили дерн и оставили во тьме, в одиночестве, в полном неведении, что-то будет.

Страшно попасть в руки врага живым. За бессонные ночи и нервотрепку фашисты на куски изрежут. Перед Ромашкиным явственно предстали все виденные раньше истерзанные фашистами трупы пленных. Особенно запомнился один, закоченевший в сарае каком-то. У него были отрублены топором пальцы на руках и ногах. Ромашкин поежился и даже ощутил боль в кончиках собственных пальцев.

Начали досаждать предположения: «Возможно, гитлеровцы слышали возню за кустами и сейчас ползут сюда проверить: что здесь творилось? А может, они уже разгадали наши намерения?.. Не исключено, что

с рассветом начнут наступление: это тоже грозит разведчикам гибелью».

Иногда, успокаивая человека, ему говорят: «Выхода нет только из могилы». Ромашкин сам многократно говаривал так. И сейчас, вспомнив об этом, подумал невесело: «А ведь я тут как в могиле. Но при всем том надеюсь на благополучный исход: просижу так день, изучу режим жизни противника и смогу завтра действовать наверняка...»

Приближался рассвет. Василию был виден клочок неба. Сначала он казался черным, потом серым, наконец, синим, а когда взошло солнце, стал нежно-голубым.

Осторожно Ромашкин поднял перископ. Это маленькое приспособление прислали в полк недавно. Зеленая трубка не больше метра длиной, на одном конце ее глазок, на другом — окуляр в резиновой оправе. Прибор позволяет наблюдать, не высываясь из укрытия. Но едва Василий прильнул к окуляру, как тут же в страхе дернулся назад и вниз. Сердце замерло, рука инстинктивно схватилась за автомат. Все видимое пространство заслонила одутловатая рожа с рыжей щетиной на рыхлых щеках. Вот-вот она заглянет в яму!

Стекла перископа, как и полагалось, приблизили врага вплотную, а в действительности он находился метрах в шестидесяти. Ромашкин выругал себя за несообразительность и вновь выставил перископ. Гитлеровец стоял на том же месте, небритый, сонный, равнодушный. Рядом с ним на площадке был пулемет, правее и левее в траншее — еще двое солдат. Они разговаривали между собой, не глядя в нейтральную зону. Ночь прошла, и противник, видимо, чувствовал себя в безопасности.

Василий наблюдал за чужой траншейной жизнью с таким же напряженным интересом, с каким в детстве смотрел приключенческие фильмы. Немцы прохаживались, топтались на месте, и лица у них были усталыми.

Немного попривыкнув к жутковатому соседству, Ромашкин переключился на изучение местности. Впереди через поле тянулось проволочное ограждение. Проволока рыжая, ржавая. Вдоль нее траншея с бруствером, обложенным дерном. От траншеи ответвлялись в ложину несколько ходов сообщения. По ложине немцы ходили в полный рост. Там же

блиндаж. У входа в него умывались двое, поливали друг другу на руки из чайника. За ложиной была высотка, и Ромашкин уже не мог разглядеть, что там дальше.

К восьми часам у немцев почти прекратилось движение, все ушли в блиндаж и, наверное, завалились спать. Перед Василием остался только рыжий у пулемета. Он слонялся взад-вперед, хмурясь и шевеля губами, должно быть, о чем-то размышлял. Справа и слева от него на значительном расстоянии маячили такие же одинокие фигуры. Тактически это объяснялось просто: обозримый из щели участок обороняется взводом пехоты и сейчас здесь оставлены три наблюдателя — по одному от каждого отделения.

Часа через два рыжего сменил белобрысый. Этот оказался более деятельным. Он то и дело поглядывал в нашу сторону, иногда брался за пулемет, тщательно прицеливался, выжидал и вдруг давал очередь...

Часам к двенадцати обстановка прояснилась окончательно. А впереди еще долгий-долгий день. Ромашкин не спеша поел хлеба, колбасы, запил водой из фляжки. Очнь хотелось курить. Но курева он не взял, чтобы избежать соблазна. От неподвижного сидения затекли руки и ноги, ломило спину. Поворочался, изгибаясь, насколько позволяла щель. Горло иногда перехватывал кашель, и тогда приходилось накрывать голову телогрейкой, чтобы заглушить его.

В течение дня Василий стал различать по лицам и повадкам каждого из неприятельских солдат, ютившихся в блиндаже. Они стояли на посту поочередно, и всех он успел разглядеть до мельчайших подробностей. В голове вдруг мелькнуло: «Если бы тут оказался кто-нибудь из мучителей Тани, я бы непременно узнал его по фотографии».

Едва стало смеркаться, в траншею бодро вышли все обитатели блиндажа. Ромашкин усмехнулся, когда они встали перед ним. «Как в театре после концерта: выступали по одному, а на прощание высыпали все».

Немцы готовились к ночи: укрепляли оружие на деревянных подставках, пристреливали его по определенным целям.

Когда совсем стемнело, Ромашкин почувствовал себя как рыба в воде. Он не стал дожидаться подмоги, сам разобрал «крышу» над головой и пополз к Рогатину. Тот бесшумно выскользнул из своей норы, двинул-

ся за лейтенантом. Затем они забрали Коноплева и отправились восвояси.

Ромашкин рассчитывал встретить своих на подходе и действительно обнаружил их в середине нейтральной зоны, когда сошлись уже метров на двадцать. Его наметанный глаз, привыкший различать предметы и улавливать даже легкое движение во мраке, заметил разведчиков с трудом. «Неплохо работают», — подумал Василий, любуясь, как стелются они по земле, словно тени.

Самостоятельный выход наблюдателей планом не предусматривался. Чтобы их не приняли за немцев, Ромашкин вполголоса окликнул:

— Саша! Пролеткин!

Это было надежнее всякого пароля. Тени на миг замерли, потом метнулись к ним:

— Ну, как? Нормально?

— Потом, потом... Скорей домой, — шепнул в ответ Ромашкин.

«Дома» Ромашкина, Рогатина и Коноплева все разглядывали, как после долгой разлуки. Заботливо подавали миски с горячим борщом, ломти хлеба, густо заваренный чай. Не докучали расспросами, терпеливо ждали, когда сами наблюдатели поведут рассказ о всем увиденном и пережитом за этот бесконечно длинный день.

Ромашкин расстелил на столе лист бумаги, стал чертить схему обороны немецкого взвода. Рогатин и Коноплев дополнили его чертеж своими деталями. И все трое заявили: днем взять «языка» можно, надо только затемно подползти еще ближе к проволоке, окопаться там, а когда немцы уйдут отдыхать, проникнуть к ним в траншею. Если удастся — схватить часового, если нет — блокировать блиндаж и извлечь кого-нибудь оттуда.

Ну, а дальше? Разведчиков, конечно, обнаружат. Придется бежать через нейтральную среду бела дня. Вслед им откроет огонь вся неприятельская оборона. Возможно ли под таким огнем добраться до своих окопов?

Надо попробовать...

Ночью к проволочным заграждениям противника вышел весь разведвзвод. Отыры еще пять окопчиков и оставили здесь на день уже не троих, а восемь человек.

Когда рассвело, Ромашкин, глянув в перископ, легко узнал своих вчерашних знакомых.

Утро разгорелось веселое, солнечное. Но на Василия этот яркий солнечный свет действовал угнетающе. Он привык ходить на задания ночью. Дневная вылазка казалась авантюрой, хотя немцы вели себя спокойно.

Как и вчера, на дневное дежурство у пулемета первым заступил рыжий. Сегодня он был побрит. Скучая, походил по траншее и остановился поговорить с соседом слева.

Разведчики не предполагали, что удобный момент наступит так скоро. Саша Пролеткин первым выскользнул из окопчика, ужом подполз к проволоке. Перевернулся на спину и торопливо стал выстригать проход. Все, затаив дыхание, следили за ним. Немцев на всякий случай держали на мушке.

Саша быстро продвигался вперед между кольями заграждения. Вот он безмолвно махнул рукой. Из щелей поползли к нему еще двое. И в ту же минуту немец, стоявший лицом к разведчикам, закричал, показывая рыжему на ползущих.

Две короткие очереди из автоматов ударили одновременно. Немцы не то упали, не то присели. Ромашкин кинулся к проходу, торопливо полез под проволоку. Колбочки рвали одежду, больно царапали тело. Разведчики, назначенные в прикрытие, тоже спрыгнули в траншею и разбежались по двое вправо и влево, стреляя из автоматов по наблюдателям.

Ромашкин кинулся к рыжему. Тот был мертв. Второй немец оказался живым, только на плече у него раползалось кровавое пятно. Он угрожающе сжимал в руке гранату. Рогатин вырвал ее, отбросил, схватил немца за ремень, выкинул из траншеи и поволок к проволоке. Тот отчаянно сопротивлялся и визжал.

Из блиндажа на этот визг выбежали те, что отдыхали. Ромашкин оперся о край траншеи и дал по ним несколько длинных очередей. Двое свалились, остальные юркнули опять в блиндаж. Василий продолжал стрелять по входной двери, а Рогатин уже тащил «языка» за проволокой.

Отстреливаясь на три стороны, стали отходить и другие разведчики. Саша Пролеткин выбрался за проволоку последним, и Ромашкин тут же подал сигнал своим артиллеристам. Ракета его еще не успела погаснуть, как дрогнула и вскинулась черной стеной земля.

Пригнувшись, разведчики побежали к своим окопам в полный рост. Снаряды гудели над самой головой. Сначала только свои, а потом и чужие —

немецкая артиллерия открыла ответный огонь. Пришлось залечь. В нейтральной зоне, между двух шквальных огней, было сейчас самое безопасное место.

Пленному перевязали плечо, и он послушно лежал рядом с Рогатиным.

— Гляди у меня, не шебуршись! — погрозил ему пальцем Рогатин. — Не то по шее получишь.

Немец согласно закивал:

— Яволь, яволь. Гитлер капут.

— Понятливый, — усмехнулся Рогатин...

Когда канонада стала чуть затихать, поползли опять к своим траншеям. И доползли. Все, как один, невредимые.

Перед отправкой пленного в штаб дивизии его, как всегда, первым допрашивал Люленков. Капитан расположился на бревне при входе в блиндаж. Все штабники, когда нст обстрела, выбирались из-под земли на солнышко.

Ромашкин подсел к Люленкову.

— Дивизия перед нами прежняя, — сказал ему капитан и тут же задал очередной вопрос немцу: — Значит, вы рабочий?

— Да, я токарь. Работал на заводе в Дрездене.

— Почему же вы против нас воюете, у нас же государство рабочих и крестьян?

— Меня призвали в армию. Разве я мог не воевать?

Ромашкин еще раз оглядел пленного. Да, это был тот самый бледный, светловолосый. Теперь прикидывается овечкой, а в траншее вел себя по-другому. Василий, медленно подбирая слова, напомнил ему:

— Ты много стрелял. Подкарауливал наших и стрелял.

— Это моя обязанность, я солдат.

— Другие солдаты днем не стреляли, только ты подкарауливал и стрелял.

— Лейтенант все видел, — уточнил Люленков. — Два дня он лежал перед вашей проволокой.

— О, лейтенант очень храбрый человек! — льстиво откликнулся пленный. — Мы не ждали вас днем. Мы знали: вы приходите ночью.

Он явно хотел уйти от разговора о том, что стрелял больше других. И Ромашкину почему-то подумалось, что рыжий, наверное, был лучше этого — честнее и порядочней. Поинтересовался: кто же такой рыжий?

Люленков перевел вопрос.

— Его звали Франтишек, он чех из Брно, до войны был маляром,— охотно ответил пленный.

— У вас что, смешанная часть? — заинтересовался капитан.

— Да, теперь многие немецкие части и подразделения пополняются солдатами других национальностей. Мы понесли большие потери.

— А может быть, это потому, что другие национальности — чехи, венгры, румыны — не хотят воевать против нас, а вы их заставляете?

— Не знаю. Я малснький человек. Политика не мое дело.

Ромашкина все больше раздражал этот хитрец. «Маскируется под рабочего, спасает шкуру, фашист проклятый». Брезгливо отодвинулся подальше от него.

А вернувшись в свой блиндаж, сказал Пролеткину:

— Саша, ты был прав насчет той лошади... Перед нами стоит прежняя дивизия.

Пролеткин просиял, взглянул на Рогатина победителем.

— Слышал, что лейтенант сказал? Вот и подумай теперь, кто из нас балаболка?

Рогатин только почесал в затылке.

Остаток дня Ромашкин вместе со всеми участвовал в пиршестве, которое устроил старшина Жмаченко. Был весел, но неприятный холодок нет-нет да и окатывал его. Все еще не верилось, что днем, на виду у врага они утащили «языка» и вернулись без потерь!

А когда легли спать и в блиндаже погасили свет, его стала бить нервная дрожь. «Тормоза не держат,— с грустью подумал Василий.— Да тут натяни хоть стальную проволоку вместо нервов, и то не выдержит. Это ж надо, днем, на виду у всех! И как мы решились? Если пошлют еще раз на такое задание, у меня, наверно, не хватит сил. Впрочем, днем теперь и не пошлют,— подумал он с облегчением.— Командование тоже понимает, что такое может получиться только раз».

* * *

Все лето полк Караваяева провел в обороне, а с сентября начались тяжелые и на первый взгляд совсем безрезультатные наступательные бои. Велись они почти непрерывно.

В полном изнеможении Ромашкин снял изодранный, грязный маскировочный костюм. Обессилевшие руки не поднимались. Его разведчики находились в таком же состоянии.

Позвал старшину, приказал:

— Тебе, Жмаченко, и всем, кто с тобой оставался, всю ночь дежурить посменно. В первой траншее — по одному бойцу на сто метров, и те, наверное, уже спят. Как бы фрицы голыми руками всех нас не передушили.

— Фрицы тоже вповалку лежат, вы крепко им поддали сегодня, — ответил Жмаченко. — А охрану я выставляю, отдыхайте спокойно, товарищ лейтенант. — Лейтенантом назвал по привычке — со вчерашнего дня Ромашкин старший лейтенант, однако он и сам еще не освоился с новым званием.

— Поддали своими боками, — заворчал Голощапов.

И Василий мысленно вновь увидел, как малочисленные роты поднимались нынче в атаку. Больно смотреть.

«Куда там наступать! Если фашисты нанесут контрудар — на своих позициях не удержишься».

Не раздеваясь, Ромашкин повалился на жесткие нары и мигом заснул. Спал, казалось, совсем недолго, а уже кто-то тянет за ногу.

— Товарищ старший лейтенант, проснитесь!..

В блиндаже было темно, лишь алый бок железной печки светился в углу. Усталость еще не прошла, в тепле она расплылась по телу вязкой тяжестью.

— Вас до командира полка требуют, — шептал старшина, опасаясь разбудить других, и шепот его ублаживал еще сильнее.

«Зачем понадобился? — соображал в полусне Ромашкин... — Неужто опять за «языком» пошлют?»

Он встал на слабые еще ноги, нащупал автомат, привычно вскинул на плечо и, не открывая полностью глаз, досыпая на ходу, направился к двери.

Колючий ночной мороз сразу прогнал сонливость, взбодрил. Ромашкин втянул шею, сунул руки в карманы и хмурый зашагал по оврагу. Снег взвизгивал под ногами, будто от боли.

У блиндажа командира полка какие-то люди усердно дымили самокрутками. Подойдя вплотную, Василий рассмотрел: собрались командиры батальонов, артиллеристы, политработники, тыловики.

Караваев и Гарбуз вышли, когда адъютант доложил, что все прибыли. Лицо у командира полка тоже мрачное, в глазницах сплошная чернота. Гарбуз чуть бодрее.

— Товарищи командиры,— негромко сказал Караваев,— в блиндаже мы, пожалуй, не поместимся, давайте говорим здесь. Я не задержу вас. Мы вот с комиссаром только что вернулись из дивизии. Нам опять поставлена задача наступать!

Ромашкин не поверил своим ушам: «Не может быть!» Остальные отозвались сдержанным, явно неодобрительным гулом. Командир первого батальона, худой и длинный капитан Журавлев, спросил:

— С кем же, товарищ подполковник, наступать? В ротах людей — раз, два и обчелся.

Караваев посмотрел на него сочувственно, но ответил твердо:

— И все равно будем наступать. Немцы снимают войска с нашего фронта и перебрасывают под Сталинград. Пленный, добытый вчера разведчиками, подтвердил это: немецкий полк, с которым до сих пор имели дело только мы, теперь обороняется на широком фронте против двух полков нашей дивизии, потому что его сосед справа выведен в тыл.

Комбат Журавлев зло глянул на Ромашкина, будто он был виноват в том, что немцы перегруппировывают свои силы.

— Не одним нам тяжело,— продолжал Караваев.— Вся дивизия... да что дивизия, несколько дивизий ведут наступление на пределе своих возможностей. Но мы должны сорвать планы противника! Я уже распорядился о пополнении стрелковых рот за счет тыловых подразделений. На передовую направляются повара, писари, коноводы, ремонтники. Кто что получит и кто кого обязан отдать, узнаете у начальника штаба. А теперь слушайте боевой приказ...

Караваев поставил задачи стрелковым батальонам, артиллерии, специальным подразделениям. Разведвзвод он оставил в своем резерве. Приказал Ромашкину быть рядом с полковым НП.

После командира говорил Гарбуз:

— Товарищи, я знаю, как вы все устали. Но под Сталинградом решается наша общая судьба. Разъясните это всем. Люди поймут. Коммунистам и комсомольцам надо первыми вставать в атаку и вести других за собой...

Ромашкин еще затемно расположил свой взвод в указанном месте. Разведчики подминали под себя мелкий кустарник и в ожидании, пока потребуется резерв, устраивались «досыпать» на морозе.

Василий поднес к глазам бинокль. Утренний снег отливал синевой. В нейтральной зоне чернели редкие кусты. Вчерашних убитых там не было: их убрали ночью. Вражеские траншеи просматривались еще смутно, а в наших уже можно было разглядеть даже лица солдат. Вон мелькнуло очень знакомое чернобровое лицо. «Это же Гулиев! — узнал Ромашкин. — И своего ординарца командир полка отправил в цепь».

В семь часов ударили пушки и зачали минометы. Выбрасывая из-под снега темную землю, разорвались первые снаряды в расположении фашистов. Огонь нашей артиллерии был слабее обычного, залпы ее не образовали единого слитного гула. Пыль и дым на позициях врага успевали оседать между нечастыми всплесками взрывов.

На душе у Ромашкина было тоскливо. «Как же пехота пойдет в атаку после такого чихания вместо настоящей артподготовки?» Но едва взлетела зеленая ракета, люди выскочили из траншей и реденькими цепочками двинулись через поле. Они не бежали, а шли почесу-то шагом, стреляя на ходу.

Застучали, будто швейные машинки, немецкие пулеметы. С треском разорвалось несколько мин. Это как бы подстегнуло нашу пехоту, бойцы побежали вперед. И Ромашкин услышал, как кричит Караваев артиллеристам по телефону:

— Огневые точки давите! Не видите, что ли?!

Взрывы в расположении врага начали перемещаться, букетами собирались у площадок, с которых били пулеметы.

И вот уже первый батальон приблизился к фашистам, с ходу ворвался в их траншею. «Ай да Журавлев! Ворчал, скрипел, а теперь вон как действует!» — оживился Ромашкин, наблюдая, как наши солдаты разбегаются по траншее и забрасывают блиндажи гранатами.

А подполковник Караваев все еще заседал на артиллеристов. Истом его заглушил голос Гарбуза. Комиссар упрекал по телефону командира второго батальона:

— Спиридонов, почему вы топчетесь? Журавлев уже первую траншею очистил, а вы все топчетесь. Да? Я вижу. Все прекрасно вижу. И вас и его...

Вопреки мрачным предположениям на этот раз наступление имело успех: к середине дня полк овладел и второй траншеей. Караваев перешел на новый НП, а с ним вместе двинулся и резерв. Подполковник теперь сам разговаривал с ушедшим вперед вторым батальоном, подбадривал Спиридонова:

— Вы же убедились, что перед нами слабый противник. Не снижайте темпа наступления. Фланг открыт? Прикроем. Сейчас позвоню Журавлеву, он подравняется и прикроет.

Но батальон Журавлева залег под плотным огнем пулеметов и хлесткими выстрелами немецких штурмовых орудий.

— Вернулись, сволочи! — выругался Караваев.

— Заставили вернуться, — уточнил Гарбуз. — Самоходок здесь дня три уже не было.

— Сейчас они дадут прикурить Журавлеву, — продолжал Караваев с жалостью. — Почему он лежит? Раздолбают же его на ровном месте. — И в телефон: — Журавлев! Броском вперед! Займи вторую траншею... Как не можешь? Моги! Самому в траншее легче будет и соседу фланг прикроешь. Сейчас поддержу огоньком.

Но и артогонь не помог Журавлеву. Красноармейцы расползлись по воронкам, батальона будто и не было. А Спиридонов уже не говорил, а стонал в телефон:

— Прикройте же меня справа! Обходят! Сейчас выбьют из траншеи, а то и вовсе отрежут!

— Сейчас, сейчас, — обещал Караваев и позвал: — Ромашкин!

— Я здесь.

— Бегом со взводом в первый батальон. Поднять там людей и занять траншею!

— Есть!

Через минуту разведчики уже мчались напрямую к воронкам, в которых залег первый батальон. На бегу Василий думал: «Уж лучше бы с самого начала идти в атаку, чем включаться в нее в такой момент!»

Вражеские минометчики, заметив выдвижение резерва, ударили по нему. Но разведчикам это не в диковинку. Уклоняясь от взрывов мин то вправо, то влево, они с прежней стремительностью неслись вслед за Ромашкиным.

Вот наконец и черные воронки, в которых попрятались стрелки. Не зная, где тут комбат или хотя бы кто из ротных, Ромашкин сам стал командовать:

— А ну, славяне, вперед! В атаку, за мной!

Ни один человек не внял его призыву.

— Что же вы, братцы? За мной! — еще раз крикнул Ромашкин и приказал разведчикам: — А ну, ребята, выгоняй их из ям!

— Давай вылазь! — забасил Иван Рогатин.

— Чего землю скребешь, меня же не убивают, а я над тобой стою,— уговаривал кого-то Пролеткин.

А Голощапов действовал по-своему: размахивая немецкой гранатой на длинной деревянной ручке, он спрашивал строго:

— Ну, что, дядя, сам встанешь? Или подсобить?..

Командиры рот и взводов тоже стали принимать свои меры. Тут и там на поле замаячили сначала одинокие фигурки, призывно машущие руками, а вслед за тем образовалась и цепь. Она опять покатилась вперед, и как ни стрекотали пулеметы, как ни взбивали снег пули, все же цепь достигла траншеи и потекла туда.

В траншее сразу же сцепились врукопашную. Ромашкин стрелял из своего автомата экономными короткими очередями и все время с опаской думал: «Только бы патроны не кончились до срока». А немцы все выскакивали и выскакивали из-за поворотов траншеи, из блиндажей. И каждый раз Василий опережал их своими выстрелами, продолжая беспокоиться, что вот щелкнет затвор впустую и очередной гитлеровец всадит пулю в него. Сменить магазин было невозможно: вокруг метались, стреляли, били прикладами свои и чужие. Казалось, фашистов куда больше, чем наших. «И Караваев сказал: подошли немецкие резервы». Но люди в серых шинелях, такие медлительные и неуклюжие в своих окопах, сейчас вели себя как одержимые, бесстрашно бросались в одиночку на двоих-троих зеленых, матерясь, рыча, хватали их за глотки.

И все же в этой кутерьме — стрельбе, криках, топоте солдатских сапог и взрывах гранат — Ромашкин услышал слабенький роковой щелчок затвора, которого ждал. «Ну, вот и все,— мелькнуло в усталом мозгу.— Вот она и смерть моя...»

Перед ним стоял, в очках, небритый, тощий, будто чахоточный, гитлеровец. Черный глазок в стволе его автомата показался Ромашкину орудийным жерлом. Мелькнул перед глазами огонь. Зазвенело в правом ухе. И... немец вдруг стал падать на спину, выронил автомат. Ромашкин оглянулся. Сзади

оказался рябоватый — лицо будто в мелких воронках — красноармеец. Ощерив прокуренные зубы, он крикнул:

— Левашов моя фамилия! С вас причитается, товарищ старший лейтенант! — и побежал дальше.

Ромашкин, торопясь, сменил магазин, огляделся: «Куда стрелять?» Но рукопашная уже кончилась, в траншее валялись убитые фашисты. Лежали они и наверху, недалеко от бруствера. А те, что отошли по ходам сообщения, злобно отстреливались из следующей траншеи.

Василий вспомнил о своих главных обязанностях — всегда и везде добывать сведения о противнике. Стал осматривать сумки убитых офицеров: нет ли в них карт с обстановкой или других важных документов. У входа в блиндаж лежал, уткнувшись лицом в свою каску, огромный плечистый унтер. Лица не было видно, торчали только большие мясистые уши, а на мощной шее белели кругляшки от заживших нарывов. Из его карманов Ромашкин вынул несколько писем на голубой бумаге. Попробовал прочесть одно из них и с радостью убедился, что упорные занятия немецким языком уже сказываются: целую страничку одолел без затруднения.

«Милый Фридрих, сегодня опять передавали по радио, что каждый, кто отличится в боях, получит земельный надел на Востоке. Ты уже имешь Железный крест, и, мне кажется, пора бы тебе присмотреть место получше. Я вижу его таким...»

Каким видится жене убитого Фридриха обещанный ей надел на чужой земле, Василий читать не стал: недосуг. Заглянул в полевую сумку унтера и обнаружил там нечто более интересное — листки какой-то инструкции. На листках этих карандашом старательно были подчеркнуты слова: «Следует воспитывать у немецких солдат чувство беспощадности... Следует поощрять солдат, своими действиями вызывающих страх перед германской расой... Никакой мягкотелости по отношению к кому бы то ни было, независимо от пола и возраста...»

Ромашкин перешагнул через унтера, взял автомат на изготовку и побежал в дальний конец траншеи, где усилилась перестрелка.

Два раза противник пытался отбить свои позиции и все-таки не отбил. Вскоре после второй контратаки Ромашкина разыскал Журавлев, потный и еще больше осунувшийся. Сказал, сдерживая запаленное дыхание:

— Спасибо тебе, брат, выручил. Бери своих орлов и дуй назад. Командир полка приказал восстановить резерв.

Ромашкин пошел собирать разведчиков. Пролеткин и Рогатин предстали перед ним с добычей — захватили раненого гитлеровца.

Когда Ромашкин возвратился на НП и доложил командиру полка о действиях своего взвода, подполковник Каравасв, кажется, впервые за тот день улыбнулся.

— Ну, молодцы! Начальник штаба, допроси пленного.

Пленный находился неподалеку — в овражке, где отдыхали разведчики. Был он уже перевязан и чувствовал себя довольно бодро, но при появлении Колокольцева почему-то закрыл глаза. Майор задал ему несколько вопросов. Немец, молча и не открывая глаз, отвернулся.

— Не желает разговаривать, падла! — рассвирепел Рогатин.

— Это он с перепугу. Думает, конец пришел, — предположил Пролеткин.

— Да мне, собственно, разговор его и не нужен, — спокойно сказал майор, вынимая из кармана пленного служебную книжку и заглядывая в нее. — Все без слов ясно — шестьдесят седьмой полк, тот самый, который был снят отсюда. Вернулись, голубчики!

Колокольцев ушел опять на НП порадовать этим открытием командира полка. Но к радости невольно примешивалось чувство горечи и тревоги. Да, они выполнили свою задачу: притянули на себя вражеские резервы, а сдержать-то их нечем, обескровленные роты не сумеют отстоять занятые позиции.

Двое суток полк отбивался от превосходящих сил противника, медленно отходя назад. Ромашкин глядел в бинокль на поле боя и в который уже раз дивился: «Кто же там бьется?..»

И все-таки неприятельские контратаки захлебывались одна за другой. Едва фашисты приближались к нашим окопам, их встречал плотный огонь пулеметов и автоматов. Неведомо откуда возникали перед ними серые шинели и овчинные полушубки.

А ведь уже четверо суток пехота без сна, на холоде, под витающей всюду смертью. «Сейчас там люди до того задубели, что о смерти, пожалуй, не думают, — размышлял Ромашкин. — Хоть бы уж мой взвод бросили им на помощь».

Иногда с НП долетал осипший, но все же громкий голос Гарбуза. Комиссар докладывал по телефону в дивизию:

— Красноармеец Нашекин с перебитыми ногами заряжает оружие и подает стрелкам. Пулеметчик Ефремов тоже ранен, но точным огнем прикрывает фланг роты.

«Вот Ефремов мой и отличился,— с удовольствием отметил Ромашкин.— Жив пока. А как другие ребята?»

Днем к разведчикам, где бы они ни находились, дважды приползал с термосом старшина Жмаченко. Кормил горячей душистой кашей, наливал по сто граммов. По-бабьи жалостливо смотрел на каждого, пока разведчики ели.

На исходе четвертого дня, когда люди изнемогли окончательно, полк оказался на старых позициях — тех, откуда начинал наступать. Но дальше, как ни лезли гитлеровцы, им хода не было. Ночью они оставили и нейтральную зону — убрались в свои полуразрушенные блиндажи.

Караваев устало сказал:

— Дело сделали. Теперь закрепиться — и ни шагу назад.

Он оперся лбом о стереотрубу и тут же заснул. Колокольцев стал давать батальонам распоряжения по организации охранения и разведки.

А у другого телефона хрипел сорванным голосом Гарбуз. Для всех работа кончилась, а комиссару предстояло еще написать донесения об отличившихся и погибших, проверить, все ли накормлены, обеспечен ли отдых бойцам.

Разведчики тем временем вернулись в свой обжитой блиндаж. Натопленный и прибранный старшиной, он показался им родным домом. Тепло, светло, на столе хлеб и горячая каша с мясной подливкой, в ведерке прозрачная как слеза вода. Но не было сил в полной мере насладиться всей этой благодатью — раздеться, умыться, поесть неторопливо. Хотелось упасть прямо в проходе, закрыть глаза и спать, спать, спать.

Прилечь, однако, не пришлось. Прибежал посыльный из штаба: Ромашкина вызывал майор Колокольцев. Сам землисто-серый от усталости, начальник штаба сострадательно поглядел в глаза Ромашкину и мягко сказал:

— Знаете, голубчик, в каком состоянии полк? Все валяются с ног. Поэтому разделите свой взвод на три группы и выходите в нейтральную зону: на фланги и в центр. Ползите под самую проволоку немцев. Чтобы они сюрприз нам не преподнесли. Поняли? Спать будете завтра. Идите, голубчик, действуйте, да побыстрее.— Майор загадочно улыбнулся, поманил Ромашкина пальцем, доверительно шепнул: — Под Сталинградом наши перешли в наступление, по радио передали.

С Ромашкина будто тяжелый груз свалили. Тело оставалось по-прежнему усталым, но какой-то освежающий ветерок прошелся по душе. «Ну, теперь и у нас здесь фрицы попритихнут!»

Возвращаясь к себе, Василий думал: «Начну разговор с ребятами прямо с этой новости. Радость всем прибавит сил».

Когда подошел к блиндажу, услышал скрипучий голос Голощапова, он с кем-то спорил:

— Никакой ты не особый человек, а самая что ни на есть обыкновенная затычка. Всем отдых в обороне — а разведчик за «языком» ходи, пехота залегла — ты в атаку ее подымай, где-то фрицы вклинились — опять разведчику спасать положение.

— Вот в том и особенность наша,— возразил Саша Пролеткин.— Никто не может, а ты моги.

— Кабы мы с тобой железные были, кабы пули бы от нас отскакивали, тогда ладно. А то ведь жизнь и у нас, как у всех, одна,— не сдавался Голощапов.

Ромашкин толкнул дверь.

Все, словно по команде, подняли на него осоловевшие глаза. Угрюмо ждали: неужели опять какое-то задание? Каждому казалось: подняться нет сил.

— Братцы, наши перешли в наступление под Сталинградом! — звенящим от радости голосом объявил Ромашкин.

И сразу как бы стерлась с лиц усталость. Разведчики задвигались, заулыбались, загалдели весело:

— Значит, мы не зря выкладывались!

— Молодцы сталинградцы!

— А ведь им потяжелей нашего досталось!

Ромашкин выждал с минуту и продолжал:

— Собирайтесь, хлопцы, для нас еще одно дело есть, как говорится, не пыльное и денежное.

— Опять особое? — хитровато сощурив глаз, спросил Голощапов.

— Точно. Все в полку будут спать, а мы их должны караулить. Если ж и мы заснем, фрицы полк перебьют, а нас за то свои к стенке поставят. Это вам, Голощапов, подходит?

— Мне в самый раз. После такой новости сдюжу. Ножом себя подкалывать буду, а не засну,— захохотился Голощапов...

На правый фланг Ромашкин послал несколько разведчиков во главе с Коноплевым, на левый — другую группу под командованием Ивана Рогатина. Сам возглавил центральную.

Пока ползли к немецким заграждениям, самочувствие было вполне сносным. А забрались в воронки, и сразу стал одолевать сон. Толкали и тормозили друг друга, натирали снегом лица, курили по очереди, прильнув к самому дну воронки,— ничто не помогало. Ромашкин кусал губы до крови, а сонливость все клонила голову к земле, склеивала глаза. Когда-то и где-то он вычитал, что в старину «запечных дел мастера», пытая человека, не давали ему спать. И уже на вторые сутки у подвергавшегося пытке ослабевала воля, а на третьи он становился безумным. «Мы же не спим пятые сутки. И как-то держимся, соображаем, воюем!» — удивился Василий.

Это была самая длинная ночь в его жизни. И, наверное, такую же показалась она всем разведчикам. Утром Ромашкин поразился, как изменились ребята: иней не таял на их лицах! Промерзшие, посиневшие, они едва шевелились.

«Никогда бы не поверил раньше, что не спать труднее, чем добыть «языка», и даже хуже, чем умереть сразу», — размышлял Ромашкин, шагая одеревеневшими ногами к жилью. А у блиндажа его опять поджидал посыльный из штаба. Василий чуть не вскрикнул от отчаяния, однако на этот раз его никто и никуда не вызывал. Посыльный лишь вручил газету.

— Комиссар товарищ Гарбуз велел вам отнести...

Ромашкин вошел в блиндаж, повесил автомат, хотя, через силу развернул не измятый еще и потому гремевший, как жесть, газетный лист. Внимание привлек заголовок: «В последний час. Успешное наступление наших войск в районе гор. Сталинграда».

Дальше под этим броским заголовком следовало:

«На днях наши войска, расположенные на подступах Сталинграда, перешли в наступление против неме-

цко-фашистских войск. Наступление началось в двух направлениях: с северо-запада и с юга от Сталинграда».

Мысли путались. Как в тумане, виделись и едва доходили до сознания слова: «продвинулись на 60—70 километров... заняты города Калач, Абганерово... перерезаны обе железные дороги... захвачено за три дня боев 13 000 пленных... на поле боя более 14 000 трупов...»

Глаза Василия сами собой закрылись. Уже ничего не видя и не чувствуя, он стал падать набок. Старшина Жмаченко и Рогатин подхватили его, уложили на нары.

— Совсем дошел! — покачал головой Рогатин и тут же сам, как убитый, свалился рядом с Ромашкиным.

Жмаченко окинул взглядом блиндаж, и ему стало жутко: будто в белых саванах, повсюду лежали в неестественных позах безмолвные разведчики, и лица у них были как у мертвецов: заострившиеся, бледные, щетинистые.

На столе высились горкой ломти хлеба, белели кубики сахара. Легкий пар поднимался над кашей, разложенной в алюминиевые котелки. И никто к этому не притронулся...

Прошло еще несколько дней. Под Сталинградом было завершено окружение огромной армии противника. И Ромашкин впервые увидел немца, улыбавшегося ему вполне доброжелательно. А произошло это при таких обстоятельствах.

Разведчики отправились в очередной ночной поиск. Проползли, пожалуй, только половину расстояния, отделявшего наши траншеи от неприятельских. Вдруг действительно как из-под земли перед ними возник немецкий солдат с негромким и вроде бы радостным возгласом:

— Гитлер капут!

Темная фигура с поднятыми вверх руками на фоне неугасшего еще неба казалась огромной. Непривычно прозвучали и два слова, брошенные этим немцем. Ромашкин сначала понял их в буквальном смысле — Гитлера нет в живых. «Может, убили при бомбежке?»

— Гитлер капут! Плен, плен! — повторил немец.

«Ах, вон в чем дело — в плен сам захотел!»

Опасаясь подвоха, Ромашкин, не имевший до этого встреч с перебежчиками, скомандовал грозно:

— Комен, форвертс! Хенде хох!

Немец понял, послушно пошел к нашей траншее и, как только спустился в нее, прямо-таки по-приятельски улыбнулся Ромашкину...

Допрашивал перебежчика капитан Люленков. Протокол допроса вел Ромашкин. Колокольцев сидел чуть поодаль, занимаясь своими делами.

Перед Ромашкиным лежал стандартный бланк, куда он вписывал лишь ответы немца:

Фамилия: «Мартин Цейнер».

Год рождения: «1916».

Место рождения: «Дрезден».

Образование: «Высшее».

Профессия до службы в армии: «Учитель».

Звание и должность в армии: «Сейчас рядовой, но недавно был фельдфебелем. Служил в охране лагеря для военнопленных. Там и принял решение перейти на вашу сторону. Умышленно нагрубил коменданту гауптману Феттеру, был разжалован в рядовые и отправлен на передовую, чего сам хотел...»

У Цейнера тонкие черные брови, живые веселые глаза, волосы расчесаны на аккуратный, в ниточку, пробор. Хотелось ему верить. Он не походил на тупых солдафонов, которые вскакивают при каждом допросе и на все у них один ответ: «Да, господин офицер!», «Так точно, господин офицер!» Не был он похож и на юлящих хитрецов: «Я человек маленький», «Мое дело выполнять приказ». Этот обо всем рассказывал охотно, достаточно подробно, не подбирал обтекаемых выражений.

— Кто содержался в лагере?

— По инструкции должны бы содержаться только военнопленные. Но штатские тоже были. Много штатских.

— Где располагается лагерь?

— Недалеко от Вязьмы.

— Сколько человек там содержалось?

— Когда я прибыл, за проволокой находилось около двадцати тысяч.

— Вы были в постоянной охране?

— Меня прислали туда с командой в тридцать солдат перед началом вашего наступления. Мы получили приказ перегнать пленных подальше в тыл.

— Сколько пленных вы увели из лагеря и куда?

— Тысяч пятнадцать в Шмоленгс.

— Где этот город? В Германии?

— Нет, нет... Это ваш город... Здесь недалеко — Шмоленгс.

— Он говорит о Смоленске, — пояснил Колокольцев, не поднимая головы от своих бумаг.

— Почему вы повели только пятнадцать тысяч? Куда делись остальные?

— Остальные не могли идти. Особенно женщины, старики, раненые. Они остались за проволокой. — Цейнер помолчал, заметно заволновался. Уточнил жестко: — Их добила охрана лагеря, я это видел. Тогда и решил: такое грязное дело не для меня. Охрана ушла вместе с нами, дорогой она занималась тем же. В Шмоленгс мы привели только три тысячи.

— Куда же делись еще двенадцать тысяч?

— Люди были истощены, останавливались, чтобы собраться с силами, иные падали. Их били прикладами, в них стреляли.

— Были случаи побега из колонны?

— Да, однажды человек десять набросились на конвоира, убили его камнем. Забрали автомат и побежали к лесу. Семерых поймали, вернули на дорогу, по которой двигалась колонна, и натравили на них собак. Собаки загрызли их на глазах у всех. А из той группы, с которой шли бежавшие, был расстрелян каждый пятый. Делалось это с ужасающей обыденностью: «На первый — пятый рассчитайсь!.. Пятые номера, двадцать шагов вперед!.. На середину сомкнись! Огонь!..» Остальных предупредили: так будет в каждом подобном случас. А охране гауптман Феттер внушал: «Пленных и арестованных должно быть как можно меньше. Тогда вашим женам и матерям больше еды достанется. Смотрите, сколько этих скотов, они способны сожрать все, даже если держать их впроголодь».

Ромашкин ушел с допроса подавленный. О том, что рассказывал Цейнер, Василий много раз читал в газетах. Да и самому ему не раз приходилось видеть в освобожденных деревнях убитых женщин и детей. Но у него почему-то всегда оставалась ниточка сомнений: может быть, эти люди погибли при бомбежке, артобстреле или от случайной пули? В беспощадное уничтожение оккупантами беззащитных людей Василий окончательно поверил лишь после допроса этого

немца. «Он же очевидец! И сгущать краски ему незачем. Мог умолчать о чем-то, что-то преуменьшить, а преувеличивать не мог — сам из оккупантов».

И еще подумалось Ромашкину: «Как странно устроена жизнь — вон там, рядом, всего в нескольких сотнях метров от нас, другие люди, другие законы, другие порядки. Все, что у нас хорошо, правильно, законно, там, наоборот, враждебно, предосудительно, неправомерно. Между ними и нами нет ни пропасти, ни стены до небес. Сидим на одной земле и уничтожаем друг друга. Ну, мы их бьем потому, что они бешеные собаки, людоеды, если их не скрутить, они на всей земле заведут такой порядок, о котором рассказывал Цейнер. Но они-то?! Как они в двадцатом веке выродились в диких зверей? Вот даже Мартин Цейнер ужасается. Он все понял и сам пришел к нам. Да, но когда понял? После Сталинграда? Неужто для того, чтобы человек до конца понял себя, его надо долго и хорошо лупить?»

* * *

Капитан Люленков подразделял пленных немцев на «фанатиков», «мыслящих» и «размазню».

«Фанатики» преобладали в первые месяцы войны. На допросах они кричали «Хайль Гитлер!» и грозились всех повесить, когда Великая Германия завоюет Россию.

С «мыслящими» Люленков впервые встретился после нашей победы под Москвой. Эти на допросах сокрушенно покачивали головами, показания давали покорно и почти всегда точные.

«Размазня» густо потекла после разгрома шестой немецкой армии под Сталинградом. Пленные из этой категории вытягивались в струнку, угодничали и плели такие басни, что это было хуже любой преднамеренной дезинформации. Люленков не любил «размазню».

У начальника полковой разведки постепенно сложилась своя, почти безотказная метода ведения допросов.

— Ваше имя, фамилия? — спрашивал он и не столько прислушивался к ответу на этот первый вопрос, сколько следил за реакцией пленного, чтобы сразу определить, кто же стоит перед ним: «фанатик», «мыслящий» или «размазня»?

Только что добытый Ромашкиным «язык» поначалу повел себя не очень определенно. Услышав первый вопрос, он вскочил со своего места довольно резво, но ответил без особого подобоострастия:

— Рядовой Франц Дитцер.

— Номера вашей дивизии, полка, батальона, роты?

Пленный замялся, потерял строевую выправку: его спрашивали о том, что является военной тайной. Он оглянулся — не стоит ли кто-нибудь сзади, готовый ударить? Позади никого не оказалось.

— Я жду! — строго напомнил капитан.

— Сто девяносто седьмая дивизия, триста тридцать второй полк, второй батальон, пятая пехотная рота, — последовал вялый ответ.

— Задача вашего полка?

Пленный пожал плечами:

— Я рядовой. Задачу полка не знаю.

— Что должна делать ваша рота?

— Обороняться...

Люленков чувствовал, Дитцер чего-то недоговаривает.

— Потом что?.. Обороняться и — дальше?

— Недавно прошел слух, что решено спрямить оборону и мы отойдем при этом на новый рубеж.

— Где же тот рубеж? Когда начнется отход? — быстро спросил капитан, приглашая пленного к карте, развернутой на столе.

— Я карту не понимаю, — замямлил солдат.

— Смотрите сюда! — приказал капитан. — Сейчас ваша рота здесь. А вот здесь штаб вашего полка. Это река. Куда вы должны отойти?

— Не знаю, господин офицер. Я просто слышал разговор, когда дежурил у пулемета.

— Не знаете или не хотите сказать? — настаивал Люленков, несколько повышая голос.

— Не надо так, товарищ капитан, — неожиданно вмешался Ромашкин. — Он совсем обалдеет от страха.

Люленков рассердился, резко оборвал:

— Не лезьте не в свое дело! — Но тут же смягчился и перешел с начальственного «вы» на всегдашнее «ты». — Не понимаю, как ты их там в плен берешь? Кисейная барышня!..

— Там мы на равных: он с оружием и я с оружием.

— Тоже мне рыцарь!..

Ромашкин не стал оправдываться. Сам не понимал, прав он или нет. Быть великодушным к незащитному вроде бы хорошо. Но сейчас он видел перед собой одного из тех, кто замучил Таню. Франц же этот из сто девяносто седьмой пехотной дивизии.

«Что, если бы я попал к нему в лапы? — спросил себя Ромашкин и живо представил этого белобрысого не сгорбленным и понурым, а властным хозяином положения. — Он бы со мной церемониться не стал! А у нас, русских, всегдашняя жалость к слабому и какая-то нестойкая память к злу. Врагам-то нашим это на руку, но самим нам такая покладистость боком выходит».

Пленный заметил какое-то несогласие между русскими офицерами и беспокойно заерзал на табурете. Но несогласие уже исчезло. Капитан успел определить, что имеет дело с «мыслящим». А если так, то Ромашкин прав: допрос нужно вести по-другому — надо предоставить пленному возможность мыслить.

Люленков почти механически перебирал письма и фотографии, изъятые у Дитцера, тщательно изученные перед началом допроса. Писем было до десятка. Писались они в разное время — и в начале войны, и в последние дни. Писала их мать Дитцера.

— Значит, вы не хотите говорить правду? — уже по-иному повторил свой вопрос Люленков. — Тогда возьмите вот это письмо вашей матери, почитайте еще раз и вспомните, что она вам советовала.

Дитцер с грустной улыбкой стал читать хорошо знакомые ему строки:

«Дорогой Франц!

У нас ужасное несчастье. Я потеряла сына, а ты старшего брата. Нет больше нашего доброго Генриха! Целый месяц от него не было писем, а вчера пришло уведомление, что Генрих убит под Петербургом. Эта страшная война сломала, исковеркала всю нашу жизнь. Меня пытаются утешить: «Слушайте, по радио сообщили о новой победе, наша армия захватила еще один город». А на что мне нужен чужой город? Пусть мне вернут моего Генриха. Теперь только ты остался у меня. И вдруг пошлют тебя занимать еще какой-нибудь город, и ты там тоже можешь погибнуть, как Генрих!.. В нашем Лейпциге появилось много калек. Кто без ног, кто без рук. Когда-то я старалась уберечь тебя от простуды, а теперь думаю: пусть бы у тебя не стало ноги или руки, только бы ты был жив и избавился от этой проклятой войны...»

— Наверное, мать будет рада, что вы попали в плен. Теперь ее желание сбудется: вы останетесь живы,— сказал капитан.

— Да, спасибо вам...— Дитцер запнулся.

Люленков уловил, что незаконченная эта фраза произнесена от души.

— Вот вы нас благодарите, а помочь нам не желаете,— продолжал он.— И подумайте, в чем помочь? В том, чтобы остались живы ваши друзья, чтобы скорее кончилась война. Почитайте, что вам советует мать в другом письме.— Люленков подал пленному листок, датированный июлем сорок первого.

«Мой славный Франц! Я восхищаюсь вашими победами. Каждый день в газетах длинный перечень городов, которыми вы овладели. Это под силу только такой великой армии, как наша. Генрих прислал свою фотографию. Он выглядит прекрасно. Я горжусь, что у меня такие сыновья...»

Листок в руке пленного задрожал. Франц Дитцер испуганно посмотрел на Люленкова, и тот решил: «Дошло». Однако внешне выразил иное:

— Я, кажется, дал вам не то письмо?

— Да, да, это не то... это очень старое письмо,— подтвердил Дитцер и положил листок на стол.

Капитан посмотрел на дату:

— Не очень старое. Написано два года назад.

Пленный опустил глаза. Он прекрасно понял капитана. Горестно вздохнул:

— Бедный Генрих...

И тут же решительно встал, сам подошел к столу с картой.

— Завтра ночью главные силы нашего батальона отойдут за реку по этой вот дороге.— Дитцер показал на карте и дорогу, и реку, и новый оборонительный рубеж. Он хорошо разбирался в топографии.— Там, где наш полк стоит теперь, останется только прикрытие: по взводу от батальона. Я знаю об этом потому, что в прикрытие назначен и мой взвод. Все, кого оставят здесь, должны много стрелять, создавая видимость, что обстановка не изменилась, что оборону держат прежние силы.

— Ну, вот и прекрасно! Большие мне от вас ничего не нужно. Впрочем...— Люленков подал Дитцеру групповую фотографию немецких солдат и офицеров. Они стояли возле бревенчатого дома и хмуро глядели в аппарат.— Не знаете ли кого-нибудь из этих людей? Они

ваши сослуживцы по сто девяносто седьмой дивизии.

Дитцер долго вглядывался и отрицательно покачал головой:

— Нет, никого не знаю.

Капитан подал ему другую фотографию — на ней были те же лица, а сбоку ясно просматривались столбы виселицы, и кто-то в белом висел на веревке. Это была «Таня» — Зоя Космодемьянская.

Пленный отшатнулся. Наверное, подумал: «Господи, как хорошо, что я никого не узнал на первом снимке!»

Люленков поспешил успокоить его:

— Нам известно об этой трагедии все: имя казненной девушки, фамилии палачей, где и когда это случилось. Моего коллегу, — он кивнул в сторону Ромашкина, — интересует только один вопрос. Если вы случайно были в этой деревне или слышали чей-нибудь рассказ о том, как вешали молодую партизанку, не вспомните ли такую деталь: у повешенной были зеленые вязаные варежки?

— Я об этом вообще ничего не слышал. — Дитцер еще раз опасливо взглянул на фотографию и по склонности своей к логичным суждениям добавил: — Она же висит в нижнем белье, разве могут при этом быть на ней варежки?

— Ваши солдаты ее раздели, разули и водили босую по снегу. А до этого она была одета. И вот нам бы очень хотелось узнать: были у нее зеленые варежки или нет?

— Верьте мне, господа офицеры, — взмолился пленный, — я к этой казни не имею никакого отношения...

Его отправили в штаб дивизии, а полк стал готовиться к преследованию противника. Колокольцев вызвал Ромашкина, приказал:

— Вы, голубчик, пойдите за немцами раньше всех. Как только батальоны нажмут с фронта, постарайтесь проскочить в глубину и разведайте: нет ли у противника промежуточных рубежей, минных полей, в каком состоянии мосты, дороги.

Из блиндажа начальника штаба Василий вышел вместе с Люленковым. Капитан посоветовал:

— Ты, Ромашкин, не жди, когда батальоны ударят. В тыл идти лучше до начала атаки. Когда перестрелка начнется, можешь потери понести.

Ромашкин согласился с этим. Если немцы оставят здесь только прикрытие, проскочить нетрудно.

— Я возьму с собой весь свой взвод,— сказал Василий.— Вам на всякий случай оставлю несколько разведчиков во главе с сержантом.

— Правильно! — одобрил Люленков.— И Жмаченко там делать нечего, он со своим хозяйством пусть к штабу пристроится. Кстати, подыщи там место и для штаба полка — мы здесь тоже не задержимся. Ради такого дела попрошу, чтобы дали в помощь тебе саперов.

— Хорошо бы взвод сержанта Епифанова, я с ним уже работал.

— Ладно, схлопочу Епифанова,— пообещал Люленков.

В глубине души он ревниво относился к успехам и славе Ромашкина. Искренне сожалел, что теперешнее служебное положение не позволяет самому ходить на задания. Убежден был, что если уж у этого юнца все так хорошо получается, то у него-то — человека, куда более сведущего в делах разведки,— получилось бы и получше. Но при всем том капитан всегда помогал Ромашкину чем только мог.

К ночи ромашкинский взвод, усиленный саперами, перебрался в первую траншею. Конечно, туда, где располагалась рота Казакова. Там все уже были готовы к движению вперед. Бойцы, туго подпоясанные, с «сидорами» на спине и противогазными сумками, набитыми всяческим солдатским скарбом, с нетерпением ждали сигнала. Преследование — это не прорыв долговременной обороны, когда приходится под огнем артиллерии идти на вражеские пулеметы. Тут лишь бы столкнуть прикрытие...

Казаков тоже позавидовал Ромашкину:

— Вы как вольные птицы, лети куда хочешь! Не то что я, грешный: граница справа, граница слева, на такой-то рубеж выйти в десять ноль-ноль, на такой-то к пяти ноль-ноль.

— Зато ты теперь большое начальство,— пошутил Ромашкин.

Казаков пропустил шутку мимо, сказал серьезно:

— Слушай, Ромашкин, а если набрехал твой фриц? Если никакое там не прикрытие, а главные силы нас встретят?

— Не должно бы... По-моему, фриц сказал правду.

— Знаешь завет разведчика? Верить верь, но проверь!

— Вот и проверим. Если нарвемся на главные силы, предупредим весь полк.

— Ты взводом сразу не суйся, дозорами сначала пощупай...— Казаков прислушался к немецким пулеметам.— Вроде поболее обычного стреляют. Перестаралось прикрытие.

— И мне кажется, сегодня огня больше,— сказал Епифанов.

Казаков поглядел на него и спокойно посоветовал:

— Ты, сержант, не об этом пекись, а внимательней под ноги смотри. При отходе фрицы хитроумные ловушки устраивают. В одной деревне, помню, боец взбежал на крыльцо — взрыв, под ступенькой мина была. В другом доме дверь стали отворять — опять взрыв, фрицы к двери мину присобачили, а сами в окно драпанули. Так что гляди в оба!

— Постараемся,— заверил Епифанов.

— Ну, тогда пойдемте, хлопцы,— пригласил Казаков.

— А ты куда? — удивился Ромашкин.

— Я вас до немецкой передовой провожу. Надо же мне знать: прошли вы или нет? У меня там хорошая балочка есть на примете. Помогу опять по старой дружбе.

— Смотри, Караваев узнает, будет снова баня!

— Не узнает,— убежденно сказал Казаков.

Вскоре он вывел всех в темную, заросшую кустами низину. Шепнул Ромашкину:

— Мин здесь нет, я проверил.

Эх, Петрович, Петрович! Был ты разведчиком и остался им. Видно, не раз выбирался сюда по ночам, чтобы отвести душу!

Сам Казаков объяснил это так:

— В парилке, бывает, хлещешь себя веником — и больно и приятно. Уж и дышать-то нечем, вот-вот концы отдашь, а остановиться не можешь, все поддаешь! Вот и здесь, в нейтральной, происходит со мной то же: вроде бы смерть кругом, а мне интересно с ней в кошки-мышки поиграть. Конечно, не всякому это понятно.

Но Ромашкин-то его понимал...

Из ложины были посланы в дозор Рогатин, Шовкопляс и Пролеткин.

Они возвратились скоро.

— В траншее никого нет, а на высотке, на самом пупу, фриц с пулеметом,— доложил Пролеткин.— Я предлагал снять его, да Иван не позволил. Талдычит: не велено — и хоть режь самого.

В данной обстановке разумней было бы, пожалуй, снять пулеметчика. Но не хотелось конфузить Рогатина. Василий поддержал его:

— Вас посылали в разведку. И хорошо сделали, что не сняли фрица, могли нашуметь.

— Да мы бы его без всякого шума...— уверял Саша.

— А может, и правда снимем? — озорно подмигнул Казаков.— Моей роте будет легче. На один пулемет поменьше — и то дело.

Ромашкин посмотрел в черные глаза Петровича. Там светился азартный охотничий огонек.

— Не надо, Ваня,— попросил Ромашкин.— Узнает Караваев, плохо тебе будет. Мы сами снимем пулеметчика, поможем твоей роте.

Казаков вздохнул, огоньки в его глазах потухли.

— Ну, ладно. Только прежде свой взвод за их траншею уведи. А то нашумите — сорвется задание.

— Не сомневайтесь, Иван Петрович, мы чисто все сделаем,— сказал Рогатин.

Казаков с любовью посмотрел на него.

— Ты можешь.

Взвод выполз к немецкой траншее. Один за другим разведчики и саперы перемахнули ее и скрылись в кустах.

Когда все собрались, Рогатин приподнялся, посмотрел на Ромашкина. Василий кивнул. Иван толкнул Сашу Пролеткина, и они исчезли во тьме. Ромашкин напряженно вслушивался. Лежавший рядом с ним Епифанов шептал:

— Может, им надо было группу обеспечения дать?

— Справятся сами. Не от кого обеспечивать, немцев в траншее мало.

— Пройти бы по всей обороне и всех часовых поснимать! — мечтательно выдохнул Епифанов.

— У нас другая задача.

— Петровичу бы подсказать, он бы со своими ребятами сделал.

— Догадается без нас...

Мелькнули две темные фигуры у основания кустов. Саша держал поблескивающий вороненой сталью немецкий пулемет.

— Ну, как вы его? — спросил Епифанов.

Излишнее любопытство, как и разговорчивость не ко времени, считалось у разведчиков предосудительным. Потом, в свой час, на отдыхе, все будет рассказано с шутливыми дорисовками, а в ходе задания болтать не полагалось.

— Порядок,— коротко ответил Рогатин и прилег по другую сторону от командира. Он тяжело дышал, руки дрожали: видно, «порядок» дался нелегко.

— Закурить бы,— попросил Иван.

Ромашкин разрешил:

— Покури, Ваня. Ну-ка, хлопцы, прикройте его.

Разведчики окружили Рогатина, растянув в стороны широкие рубахи маскировочных костюмов. Иван стукнул кресалом, прикурил от тлеющего фитиля. Приятный дымок зашекотал в ноздрах разведчиков.

Большое ли дело — позволить человеку покурить в трудную минуту? А вот Ивану запомнится эта чуткость командира и доброта товарищей. За все постарается отплатить им Иван: в бою ли, на отдыхе ли, где придется, но отплатит добром. В большом и малом помогает солдат солдату. Иногда вот так. А в другой раз, может быть, прикроет от пули. Разведчики столь часто рискуют жизнью и так много выручают друг друга из беды, что невозможно понять, кто у кого здесь в долгу. Да об этих долгах, о взаимных выручках никто и не думает, потому что взвод разведки — одна дружная семья.

Сейчас этот взвод спешил по бездорожью к деревне Квашино. Раньше там стоял штаб неприятельского полка. Теперь штаб, конечно, переместился. Но Василий надеялся прихватить какого-нибудь отставшего писарька или хозяйственника. От них можно добыть очень нужные сейчас сведения, узнать о том, чего ночью личным наблюдением или, как говорят штабники, визуально, не обнаружишь.

Еще на подходе к деревне разведчики услышали говор людей; там и сям мелькали светящиеся точки карманных фонариков.

— Неужели штаб не отошел? — удивился Ромашкин.

— Остался кто-то,— уверенно ответил Коноплев.— Какая-нибудь АХЧ.

Василий велел разведчикам лежать в огороде между грядками, а сам с Коноплевым и Рогатиным стал

подбираться к единственной деревенской улице. На дороге увидел лошадей, запряженных в повозки. По-дальше рокотал грузовик. Люди торопливо таскали какие-то ящики к повозкам.

— Грузятся,— объяснил Ромашкин, возвратясь к разведчикам.— Самый подходящий для нас момент. Упускать нельзя. Ты, Коноплев, бери Шовкопляса, Студилина, Голощапова и Епифанова с саперами. Пойдешь туда, где мы сейчас были. Ты, Иван, вместе с Пролеткиным, Жуком, Пантелеевым — на восточную окраину. Все остальные со мной — на западную. Сверьте часы, сейчас половина второго. Ровно через пятнадцать минут забросать фрицев гранатами и бить из автоматов. Главное, больше шума. Пехотные батальоны отошли, бояться нам некого. После налета собраться опять здесь же. Если станут преследовать, отходить вон на ту высоту. Понятно?

— Ясно.

— Усвоили.

По четким этим ответам Ромашкин понял: у ребят хорошее настроение. Да и сам он ощущал веселую дрожь — верный предвестник удачи.

— Действуйте!

Он вывел остатки взвода на вероятный путь отхода противника и поставил дополнительную задачу:

— Мы откроем огонь позже коноплевской и рогатинской групп. Они пусть начнут. А когда фрицы драпанут из деревни, мы их тут и ударим.

Ромашкин расставил людей так, чтоб фронт был пошире, приготовил две гранаты и стал ждать, поглядывая на светящиеся стрелки трофейных часов. Стрелки будто остановились. Поднес часы к уху, послушал: тикают.

Наконец время истекло.

— Ну, пора! — тихо сказал Ромашкин.

И его будто слышали на противоположной окраине и в центре деревни. Там забухали гранаты, затрещали частые автоматные очереди. Послышались крики немцев, беспорядочная ответная стрельба. И вот уже по дороге мчат галопом две повозки, а по обеим их сторонам — немцы.

Ромашкин напрягся. Кровь толчками понеслась по телу. Он приподнялся и метнул гранату, целясь в повозку. Тут же открыли огонь разведчики, лежавшие рядом с ним, но невидимые в темноте.

Василий тоже приложил автомат к плечу и дал несколько очередей. Дико заржала лошадь, упала и забилась на земле, ломая оглобли. Другая скачками умчалась в поле, волоча за собой опрокинутую повозку.

Ромашкин, пригибаясь, пошел к повозке, оставшейся на дороге. За ним выскочили Цикунов и еще двое.

— Быстро осмотреть повозку, собрать документы,— скомандовал Ромашкин.— Поглядите, может, раненого подберете. Только чтобы на своих ногах ходил, таскать сейчас некогда.

Возле забора возникла темная фигура. Василий схватился за автомат.

— Товарищ старший лейтенант, не стреляйте! Это я — Саша!

— Почему здесь болтаешься?

— Так все трофеи к вам убежали.

— А где грузовик? Упустили?

— На месте стоит. Мы гранатами его покалечили. В нем мины. Полный кузов. Наверное, здесь саперы были. Хотели дороги минировать.

— Вовремя мы застукали их,— сказал вдруг из мрака Иван.

— И ты здесь?

— Я в дома наведалься. Поглядел, может, бумаги какие оставили. Ничего нет.

Цикунов позвал Ромашкина.

— Офицер убитый. Посмотрите.

Василий подошел, оглядел пожилого толстого обер-лейтенанта. Убитый как убитый, ничего интересного.

— Ну все! Пошли на место сбора. Цикунов, не забудь взять документы у офицера.

— Я тут чемодан нашел — его, наверное. В чемодане много бумаг и фотографий.

— Неси, разберемся.

В назначенном месте собрались все. От возбуждения много курили, пряча сигарки в пригоршнях. Ромашкин спросил:

— Никого не зацепило?

Все молчали.

— Двигаем дальше.

Вереницей вытянулись вдоль дороги. Рогатин и Пролеткин шагали впереди на значительном удалении с автоматами наготове.

На рассвете разведчики обнаружили до роты гитлеровцев. Те ходили в полный рост по склону высоты, копали окопы.

— Вот и промежуточный рубеж,— определил Ромашкин.— Я буду готовить донесение, а ты, Елифанов, выясни, есть ли мины перед траншеями. Давай быстро! И поосторожнее, чтобы не засекали.

Сержант с несколькими саперами скрылся в кустах.

Пока Ромашкин чертил схему, наносил на бумагу почти уже готовую траншею и обнаруженные в ней пулеметы, Елифанов успел вернуться.

— Мин нет,— доложил он.

— Как определили?

— Немцы сами ходят перед траншеей, в овраг спускаются за дерном. Не по тропинкам идут, а кому где вздумается.

— Хорошо. Так и доложим,— удовлетворенно сказал Ромашкин.— Студилин и ты, Голощапов, возвращайтесь в полк. Эту схему передадите начальнику штаба или капитану Люленкову. Потом найдете старшину Жмаченко — он со штабом идет — и топайте вместе с ним.

Многие из разведчиков, не теряя времени, уже спали под кустами, совершенно сливаясь в пятнистых своих костюмах с окружающей местностью.

— Подъем, ребята! Здесь нам больше делать нечего,— скомандовал Ромашкин...

К исходу дня они достигли главной полосы в новой обороне противника. Немцы чувствовали себя в безопасности и особой бдительности не проявляли. Василий, как умел, воспользовался этим. Елифанов рассмотрел здесь же длинную лощину с крутым берегом, очень удобным для устройства штабных блиндажей. Лощина была зеленая, травянистая, на дне ее протекал ручей.

— Не штаб, а санаторий будет,— одобрил выбор Ромашкин. Он выставил наблюдателей, послал на встречу полку дозор с очередным донесением и облегченно вздохнул: — Ну, братцы, мы все свои дела сделали, теперь не грех и передохнуть, дайте сюда чемодан обера, пора разобраться, что там в нем.

Цикунов открыл чемодан, вынул парадный мундир с Железным крестом и еще какими-то значками, отметил вслух:

— Заслуженный фриц был.— Проверил карманы и бросил мундир в кусты.— А вот это нам годится.

Тут у него ветчина и консервы. Есть еще какие-то баночки вонючие, мазь, наверное.

— Ну-ка покажи... Чудило, это же сыр! Лучший в мире.

— Фотографий полно, письма,— продолжал разбираться в содержимом чемодана Цикунов.

Фотографии попили по рукам. На одной из них обер-лейтенант в парадном мундире, наверное, том самом, который выбросил Цикунов, стоял рядом с высокой сухопарой жепщиной, в лице ее было что-то совиное.

Письмами Ромашкин занялся сам, одолевая неразборчивый почерк, прочитал:

«Веймар. 26.7.42 года.

Мой дорогой Ганс!

Я много раз в день подхожу к твоему портрету и люблюсь тобой. Какое счастье дал нам фюрер! Жили мы с тобой скучной жизнью, никто нас не знал. А теперь ты — офицер, кавалер Железного креста. Как я счастлива! Смотрю на тебя и не верю, неужели это мой Ганс? Вот и лето пришло. Бог хранит тебя для новых подвигов во имя Великой Германии. Вперед, мой рыцарь! Фюрер смотрит на вас.

Целую нежно. Твоя Гретхен».

— Вот стерва! — мрачно выругался Рогатин.

— Их заставляют так писать,— сказал Коноплев.— Не всегда по своей воле такое пишут.

— Нет, эта бабенка от души писала...

Неподалеку вдруг затрепали редкие выстрелы. Из-за немецких траншей ударили минометы. Ромашкин в бинокль увидел цепи наших бойцов.

— Идут! — обрадовался Василий, продолжая глядеть в бинокль.— Как всегда, впереди рота Куржакова.

Интересно было наблюдать за своими со стороны противника. Бойцы бежали, пригибаясь, и почему-то не стреляли. Куржаков с автоматом на груди широко вышагивал в боевых порядках и что-то кричал отступающим, наверное, ругался, но лицо у него было веселым.

— Цикунов! Выйди им навстречу, а то примут нас за немцев...

Вскоре Куржаков, сопровождаемый Цикуновым, подошел к разведчикам.

— Явился не запылился,— весело сказал Ромашкин.

— А вы прохлаждаетесь?

— Чего же еще!.. Оборону разведали, вас поджидаем.

— Не очень-то далеко мы отстали. Вслед за вами шли.

— А все же вслед,— подмигнул Ромашкин.— Ну, ладно, старшой, есть хочешь? Садись, у нас тут трофеи.

— Пожрать не мешало бы,— признался Куржаков,— да некогда. Попробую с ходу влететь в оборону фрицев, пока они не очухались. Может, зацеплюсь вот на той высотке. Я ведь не разведка, не по кустам воюю. Привет!

Он побежал дальше за своими бойцами.

Немецкая оборона затарахтела пулеметами, забухала орудиями. Особенно плотным был огонь там, куда нацелился Куржаков. Коноплев в бинокль наблюдал за боем и докладывал, не отрывая глаз от окуляров:

— Зацепились наши за высоту!.. Куржакова вижу...

— Ну и дьявол! — восхитился Василий.— Все же влез. Ох и дадут ему фрицы жару!.. Вот чертов Куржак, ни себе, ни людям покоя не дает. Помогать надо. Подъем, ребятки! А ты, Епифанов, здесь с саперами оставайся, встретишь штаб.

— Мне бы с вами! — попросился Епифанов.

— Нет, сержант, кончилось наше с тобой взаимодействие. Теперь твое дело — землю копать. Готовь НП, Караваев в тылу не засидится.

* * *

О подготовке немцами нового грозного наступления на Курской дуге весной 1943 года первыми узнали те разведчики, что носили немецкую форму и работали в глубоком тылу врага, в его штабах и государственных учреждениях. Но и для Ромашкина вместе со всем его взводом перед этой битвой дел было невпроворот. Недаром зачастил в блиндаж разведвзвода Гарбуз — теперь уже не комиссар, а замполит.

Разведчики с интересом разглядывали его темно-зеленые погоны с малиновыми просветами и звездочкой в центре. По приказу погоны полагались всем еще

с января, но, пока их шили в тылу, пока везли на фронт, времени прошло немало.

— Скоро, скоро и вас обрядим,— обещал Гарбуз.— В дивизии погоны получены. На днях привезут и нам. А сейчас прошу внимания.

И в который уже раз заводил речь о задуманной в немецком генеральном штабе операции, о том, какие надежды связывает с нею Гитлер и насколько важно для нашего командования постоянно быть в курсе событий, происходящих по ту сторону фронта.

А тем временем весь полк все глубже и глубже закапывался в землю. Сеть свежих траншей покрыла поля, холмы, опускалась в лощины, уходила в перелески. Каких только позиций не настроили многострадальные солдатские руки — основные, запасные, отсечные, ложные, передовые, тыльные! Руки эти перелопатили столько родной земли, что ладони покрылись сначала твердыми, как роговица, обычными трудовыми мозолями, потом стали появляться белые прозрачно-водянистые волдыри, потом волдыри заполнились розовой сукровицей, а затем кожа порвалась в клочья, обнажив живое мясо, прилипавшее к рукояткам лопат.

Строительство оборонительных сооружений ежедневно проверяли офицеры из управления дивизии. Не сидело в штабе и армейское начальство. Однажды в полк прибыл член Военного совета армии генерал-майор Бойков. Командиру полка, начальнику штаба, начальнику артиллерии и другим, кто намеревался сопровождать его, сказал:

— Свиты не надо. Пойду по батальонам только с Гарбузом. Свиту немец заметит, работать не даст, больше придется лежать под обстрелом.

Начальника политотдела дивизии, который приехал вместе с ним, тоже вернул:

— Ты, Борис Григорьевич, действуй по своему плану...

К середине дня Бойков обошел почти всю оборону полка и позвонил Караваеву из правофлангового батальона:

— Кирилл Алексеевич, мы закончили, сейчас возвращаемся. Соберите-ка минут через двадцать работников штаба и командиров специальных подразделений, которые поблизости окажутся.

— Пообедать бы надо, товарищ одиннадцатый,— напомнил Караваев.

— А мы уже пообедали,— ответил Бойков.— Вот здесь, где я теперь нахожусь. Должен сказать, харч мне понравился. Солдат любит, чтобы в супе ложка стояла. Мы с Андреем Даниловичем проверили — ложка стоит!.. И мы, и солдаты довольны...

Среди приглашенных на совещание оказался и Ромашкин. Собрались в самом большом из штабных блиндажей. От скопления людей здесь было душно, хотя двери раскрыли настежь.

Генерал сбросил пыльную плащ-палатку у входа. Румяный и бодрый, шагнул, пригибаясь, под низкую притолоку. На груди у него маленьким ярким солнышком светилась Золотая Звезда Героя Советского Союза. Василий первый раз в жизни увидел так близко человека, удостоенного самой высокой боевой награды.

— За что? — показав глазами на Звезду, шепотом спросил он капитана Люленкова, сидевшего рядом.

— За штурм линии Маннергейма,— тоже шепотом ответил капитан.— Он тогда комиссаром полка был...

Бойков сначала высказал свое мнение о состоянии обороны полка. Похвалил — хорошо поработали. Посоветовал обратить внимание на стык с соседом справа.

Подробно рассказал о положении на фронтах. Много и с уважением говорил также о тружениках тыла. Приводил цифры и заверения рабочих, колхозников в том, что они дадут фронту все необходимое для победы.

Перед отъездом Бойков спохватился:

— Кирилл Алексеевич, чуть не забыл спросить: среди ваших знакомых есть инженер Початкин?

— Инженер? У меня сосед под Москвой — Початкин. Старик, участник гражданской войны.

— Нет, этот молодой. Сегодня утром его задержали тут поблизости. Думали, местный житель. Проверили документы — москвич.

— Подождите, не Женька ли Початкин?

— Точно, Евгений!

— Так это сын моего соседа!

— Вот и он так отрекомендовался. И еще сказал, что хочет у вас служить. Некоторые горячие головы в трибунал его направить собирались. Если не как шпиона, то уж как дезертира. А я говорю: какой же он дезертир? Дезертиры убегают с фронта, а этот на

фронт прибежал... В общем, забирайте его. Опознаете — ваш. Оформим — и пусть служит. Парень, видно, хороший. Пошлите за ним кого-нибудь в особый отдел. Попутно могу довезти туда.

— Старший лейтенант Ромашкин! — позвал Караваев.

Василий подошел.

— Поедете в штаб армии с генералом. Обрато на попутных привезете задержанного Початкина. Только не как «языка» везите, — улыбнулся подполковник, — хоть он и задержанный.

— Это не тот ли Ромашкин, который на Новый год отличился? — спросил генерал.

— Тот самый! — подтвердил Караваев. — Он теперь у нас разведзводом командует.

— Рад познакомиться. Поехали, старший лейтенант...

В «эмку» Бойков сел рядом с шофером и сразу задремал — намаялся за день. Но дремал он недолго. И, открыв глаза, повернулся к Ромашкину:

— Здорово вы, старший лейтенант, в новогоднюю ночь действовали. А как сейчас дела?

— По-всякому. Разведка — дело мудреное.

— Учиться надо. Карту читаешь хорошо?

— Вроде бы ничего.

— А вот посмотрим. Ну-ка, Степаныч, притормози. — Генерал вышел, раскрыл планшетку с картой, подал Ромашкину. — Определи точку стояния и что вокруг нас.

Василий в первый момент смутился, потом нашел на карте, где стоит полк. Прикинул, сколько отъехал от передовой, огляделся и начал докладывать:

— Вот здесь мы. Вот лес, на юг от нас восемьсот метров. Вон деревня Лукино — трубы торчат. Вот дорога, по которой едем. Впереди мостик через речку.

— Верно! Садись, поедем дальше.

«Эмка» виляла по избитой, тряской дороге, делала повороты. Ромашкина тоже стало убаюкивать. Сам не заметил, как заснул, привалясь в угол.

Пробудился от толчка на каком-то ухабе.

— С добрым утром! — пошутил генерал и опять остановил машину. — А ну-ка, старший лейтенант, определись, где мы теперь?

Василий выбрался из машины и, даже не поглядев как следует вокруг, показал на карте точку.

— Ну, молодчина! Ориентируешься, как летчик, мгновенно.

— Не взяли меня в летчики,— признался Ромашкин.

— Напрасно. Очей не успел продрать, а на местности уже сориентировался...

Когда подъехали к особому отделу и Бойков стал прощаться, Василий сказал:

— А ориентировался я, товарищ генерал, по спидометру вашего автомобиля. Вижу, проехали шесть километров, откладываю их по дороге и — порядок. Проехали четыре — снова отмеряю, и опять точно все получилось.

— Ах ты, бестия! — рассмеялся генерал. — Для разведчика и это недурно. Будь здоров! — И коротко бросил работнику особого отдела, вышедшему навстречу: — Отдайте старшему лейтенанту задержанного Початкина.

Початкин вышел в сопровождении сержанта. В прифронтовой полосе внешность его действительно могла вызвать подозрение: гражданское демисезонное пальто, меховая черная шапка, сам слегка припадает на правую ногу. Лицо заросло щетиной, взгляд угрюмый.

— Узнаете? — строго спросил дежурный.

Ромашкин молча переглянулся с Початкиным, но врать не стал.

— Его хорошо знает наш командир полка. А мне поручено только доставить этого товарища на НП.

— Распишись вот здесь в получении задержанного,— подсунул дежурный какую-то бумажку.— Да смотри, чтобы не ушел по дороге. Может, он и не тот, за кого выдает себя.

— Да ведь к фронту шел,— вспомнив рассказ Бойкова, заметил Ромашкин.

— К фронту! Всех нас это гипнотизирует. А если фашистскому агенту надо к своим вернуться, куда он пойдет? К Уралу, что ли?

Ромашкин насторожился: «Чем черт не шутит? Караваев-то пока что не видел этого Початкина. Может быть, достал чужие документы и вынюхивает здесь что-то. У немцев в тылу я тоже мог бы так поступить».

Початкин заметил настороженность старшего лейтенанта и молча шел рядом, не набиваясь на разговор.

Встали на дороге. Ромашкин поднимал руку перед каждой мчавшейся к фронту машиной, однако ни один шофер не затормозил, все пронеслись мимо.

— Тут не выгорит, идем к регулировщику,— подсказал Початкин.

— А ты, оказывается, опыт имеешь.

— Я ж от самой Москвы на попутных ехал.

— Как же тебя раньше не задержали?

Початкин промолчал.

Подошли к девушке-регулирующей. Ромашкин попросил ее:

— Посади нас, милая, в сторону хозяйства генерала Доброхотова. Слыхала о таком?

— Слыхала, слыхала. Я все ваши хозяйства знаю,— ответила деловитая регулировщица.— Идите в сторону, не мешайте. Позову, как попутная будет.

Ромашкин с Початкиным присели на бугорок у дороги. Здесь уже дымили сигарками несколько человек. Девушка время от времени вызывала:

— Хозяйство Никишина! Садитесь.

— Хозяйство Трегубова кто спрашивал?

С бугорка к машинам сбегали пассажиры. На бегу благодарили регулировщицу:

— Спасибо, красавица!

— Спасибо, милая, дай бог тебе хорошего жениха!

Вскоре дошла очередь и до Ромашкина с его подопечным. Не более как через час они уже входили в землянку командира полка. Караваев обнял Початкина, обрадованно воскликнул:

— Женька! Ну и вырос ты! Совсем взрослым стал. Правда, что инженер?

— Только что испечен. Вот диплом.— Початкин достал синюю книжечку из бокового кармана.

Ромашкин стоял у двери, ожидая указаний. Их, однако, не последовало, Караваев сказал запросто:

— Раздевайся, Ромашкин, садись... Я хочу, чтобы вы подружались.— И тут же опять обратился к Початкину: — Это наш разведчик, очень хороший парень.

Початкин взглянул на Ромашкина с укором, будто хотел возразить командиру полка: «Какой же хороший? Я к нему всей душой, а он замкнулся на все запоры. Вез меня, как шпиона».

Ромашкину не хотелось оставаться здесь, испытывать и дальше неловкость. Да и незачем мешать, когда встретились близкие люди,— пусть поговорят без постороннего. Деликатно, но настойчиво попросил:

— Разрешите идти, товарищ подполковник. Дела у меня...

— Да что вы не поладили? — изумился Каравачев. — Что у вас произошло, Женя?

— Ничего. Взял он меня под расписку и приконвоировал. Вот и все.

— Не обижайся, его обязанность такая, — примиряюще сказал подполковник. — Идите к столу, ребята. Ты, Женя, голоден, наверное? Ну и арестант! Кстати, мать-то с отцом уведомил, когда в бега подался?

— Письмо на столе оставил.

— Сегодня же напиши, что добрался благополучно.

— Мне бы умыться, побриться, Кирилл Алексеевич!

— Извини, сразу не предложил. Гулиев! Дай бритву. Да помоги умыться гостю. У нас, Женя, ванной здесь нет, привыкай. Иди вон туда, в уголок, Гулиев тебе сольет.

Пока Женя приводил себя в порядок, подполковник рассказывал:

— Он не первый раз в бегах. Лет двенадцати в Африку бежал. Где тебя тогда поймали? В Клину, кажется?

— В Волоколамске, — рассеянно ответил Початкин.

Голый до пояса, он нагнулся над ведром. Ромашкин сразу определил: «Спортсмен. Мышцы на плечах и руках плотные, бугристые».

Каравачев, проследив за взглядом Ромашкина, пояснил:

— Гимнаст первого разряда. И с детства сорвиголова. Однажды выхожу из дома, вижу, Женькина мать стоит во дворе, руки сцепила перед грудью, глядит вверх, будто молится. «Что с вами?» — спрашиваю. А она мне: «Тихо». И на крышу дома нашего показывает. Гляжу, а там на печной трубе Женька вверх ногами стойку делает. Мать пикнуть боялась, чтобы не испугать свое дитяtko... Ты сейчас-то в форме? — спросил подполковник Початкина. — Стойку делаешь?

— Пожалуйста, — с готовностью откликнулся Початкин и, уперевшись в края табуретки, легко вскинул тело вверх ботинками, дотянулся ими до бревенчатого наката.

Гулиев ошалело глядел на гостя. Его изумила не ловкость Початкина, а то, что этот парень встал вверх

ногами в присутствии командира полка. Караваев же явно залюбовался Женькой.

— Видал миндал? Силенка есть. Куда же тебя определить?

— В разведчики,— попросил Початкин, опуская ноги на пол. Кивнул на Василия: — К нему вон.

— Не выйдет! — погрозил пальцем подполковник.

— Почему?

— А если убьют тебя, что я родителям скажу?

— Я бы на месте Ромашкина обиделся. Ему, значит, можно рисковать, а меня побережь надо?

— погоди, не петушись. У тебя высшее образование, ты инженер — пойдешь ко мне адъютантом.

— Нет уж, дядя Кирилл, в адъютанты не пойду. Лучше назад в особый отдел отправляйте.

— Пререкаешься?

— Я ж пока что не военный,— усмехнулся Женька.

— И то правда! — согласился Караваев.— Ну, ладно, сейчас присвою тебе своей властью звание сержанта и упеку... Куда же тебя упечь? Да, ты же инженер,— значит, быть тебе сапером!

— Ну, это еще куда ни шло! А может, все же в разведку?

— Саперы тоже в разведку ходят. Спроси Ромашкина, кто им проходы делает?

— Саперы,— подтвердил Василий, а сам подумал: «Из Женьки разведчик получился бы».

— Итак, решено: примешь присягу, подучишься кое-чему и будешь вместе с нами бить фашистов.

— С вами, дядя Кирилл! — воскликнул как-то по-мальчишески Початкин, влюбленно глядя на подполковника.

И Василий ясно представил, как этот самый Женька в свои школьные годы с завистью смотрел на красивого соседа в командирской форме, как ему хотелось быть похожим на Караваева!

Гулиев уже поставил на стол тарелки с консервированной тушенкой, свиным салом, копченой рыбой, миски с пшенной кашей и совсем домашнюю хлебницу с крупными, будто топором нарубленными, кусками черного хлеба.

— Давайте, ребята, заправляйтесь,— пригласил подполковник.

Початкин брал еду не торопясь и жевать старался так же медленно. Но по тревожному взгляду, который

он устремлял иногда на пустеющие тарелки, Ромашкин понял — парень наголодался. Караваев тоже понимал Женькино состояние и, чтобы не смущать его, повел разговор о делах семейных:

— Отец-то чем сейчас занимается? Мама как?

Женя рассказывал:

— Сейчас все работают. Отец опять на завод вернулся. «Не до пенсии теперь», — говорит. Мама работу берет на дом, белье шьет солдатское. На здоровье не жалуется... У ваших также все вроде бы хорошо. Валерка в школу ходит. Любаша бегают, щечки румяные. Был я у них на прошлой неделе. Тетя Аня усадила меня чай пить. Любаша у нее на руках вертелась, а потом говорит: «Я к дяде Жене хочу». Забавная такая! Спустилась на пол, топ-топ ко мне, забралась на колени. И вдруг вытаращила глазенки, спрашивает: «А сахар куда убежал?» Мы все рассмеялись. Оказывается, она ко мне из-за сахарницы пришла. А тетя Аня догадалась и, пока та по полу топала, сахарницу спрятала... — Початкин осекся и тут же поправился: — Это я так, к слову, про сахар вспомнил. Все дети сладкое любят.

— Ладно, дипломат, не выкручивайся, — невесело улыбнулся подполковник. — Понимаю все. Но вот что странно, ребята, чем дальше мы уходим от дома, тем спокойнее на душе...

* * *

Местность здесь была слегка всхолмленной. Взгорки в заплатах старой пашни.

Несколько дней лили серые дожди. В бороздах стояли мутные лужи. Неширокая река вздулась и залила отлогие берега. А к вечеру подул вдруг пронзительный ветер, резко похолодало.

На задание разведчики вышли поздно — все ждали, может, потемнеет. Но луна светила так ярко, что вся нейтральная зона просматривалась почти как днем.

Прошли первые сто метров, и Ромашкин понял, что в таких условиях захватить «языка» не удастся.

Немцы обнаружили их на середине нейтральной зоны. Пришлось залечь меж борозд, прямо в ледяную воду. Одежда сразу промокла.

Вражеские пулеметчики — сначала один, а потом и другой — били длинными очередями. Пули шле-

пались рядом, брызгали в лица жидкой грязью. Разведчики вжимались в лужи до твердого грунта, вытесняя на края борозд глинистое месиво.

Перед глазами Василия внезапно взметнулся столб огня. От взрыва зазвенело в ушах. Несколько таких же взрывов сверкнуло справа. Это уже минометы! Ромашкин дал команду отходить и сам стал разворачиваться в борозде. Рядом раздался негромкий вскрик.

— Кто ранен? — спросил Ромашкин.

— Я, Лузгин.

— Сам ползти можешь?

— Могу.

— Давай отходи первым...

В траншее их встретил озабоченный Люленков.

— Все живы?

— Лузгина ранило. Куда тебя, Лузгин?

— В ногу.

Разведчики были так вымазаны грязью, что сами с трудом узнавали друг друга.

— Ну что ж, — вздохнул начальник разведки, — идите к себе, сушитесь и чиститесь...

На следующую ночь все повторилось с удручающей неизменностью. Не принесла успеха и третья ночь. Луна будто смеялась над разведчиками.

Ромашкина вызвал начальник разведки дивизии Рутковский. Резко спросил:

— Долго вы намерены докладывать «на три О»?

Ромашкин хорошо знал, что значит докладывать «на три О»: обнаружены, обстреляны, отошли. Это был обидный упрек в неудачливости, даже, может быть, в неспособности правильно подготовить и провести ночной поиск. Хотелось возразить Рутковскому, а тот не дал, закончил строго:

— «Язык» должен быть захвачен во что бы то ни стало!

Выручить могло только ненастье. Но, всем на радость, а разведчикам назло, погода установилась хорошая — с теплыми днями и холодными, ясными ночами.

Однажды все же удалось подобраться к немецкому проволочному заграждению. Осторожно перерезали нижние нити. Ромашкин подал знак и первым полез в дыру, ощерившюся колючками, как зубастая пасть. К обычному в такие минуты волнению прибавилось предчувствие неотвратимой беды. Полз и ждал: «Сейчас начнется... Сейчас...»

Он не ошибся. Как только разведчики миновали узкий проход, с боку из траншеи ударила струя трасирующих пуль. Она била почти в упор. «Ну, все!..» — решил Ромашкин. И в тот же миг увидел, как кто-то из его ребят вскинулся над землей и побежал к пулемету. Огненная трасса ужалила его, но он все же успел метнуть гранату. Грянул взрыв. Пулемет смолк. Разведчики тут же кинулись назад. Они лезли под проволоку, оставляя на колючках клочья одежды, царапая тело и не чувствуя при этом боли.

Ромашкин заставил себя посмотреть — не оставлен ли за проволокой тот, кто метнул гранату? Увидев, что его волокут, дал из автомата несколько очередей по траншее и продолжал отход.

Немецкая оборона вся брызгала огнями. При этом зловещем освещении Василий ясно различал бегущих врассыпную разведчиков, видел, как они падали на землю, только не знал, кто из них жив, а кто рухнул за мертво.

За пригорком группа собралась. Ромашкин быстро пересчитал ребят — все семеро здесь. Но один неподвижно лежит на земле.

— Кто это?

— Костя Королевич, — ответил Рогатин, держа в руках бинт, приготовленный для перевязки.

Иван расстегивал Костину гимнастерку, искал рану.

— Не надо, — остановил его Сапа Пролеткин и показал на две круглые, величиной с вишню, дырочки, черневшие в голове Королевича там, где начинался тоненький пробор.

Еще двое были ранены: Коноплев — в плечо, Студилин — в руку. Царапины от колочей проволоки не в счет.

Королевича принесли в овраг и положили возле блиндажа разведвзвода. Впервые Костя не вошел вместе со всеми в их шумное жилье.

Там разведчиков поджидал уже накрытый стол — старшина Жмаченко почему-то нарушил традицию. У Ромашкина мелькнула глупая мысль: «Вот потому и убило Костю». Зло спросил старшину:

— Ты зачем это сделал?

— Да жалко стало вас, уж столько ночей не спите... Хотел, чтобы сразу поужинали, скорей легли спать, — виновато отвечал старшина, и щеки у него заметно подрагивали.

За стол никто не сел. Обтерев оружие и сбросив маскировочную одежду, разведчики легли спать. Но

заснули не сразу, каждый вспоминал Костю Королевича. Теперь, когда его не стало, все вдруг ясно поняли, какой это был добрый и покладистый парень, никогда не вздорил, ни с кем не задибался.

Перед Ромашкиным стоял живой Костя — с голубыми глазами, стеснительной улыбкой и девичьим румянцем. Не зря разведчики прозвали Костю Барышней. Но прозвище это не было ни злым, ни насмешливым. Оно лишь отражало чисто внешние особенности Кости. Из-за такой внешности Ромашкин сначала избегал брать его на задания. Да и потом, когда уже знал, что на Костю можно положиться, включал его только в группы обеспечения. Для жестокой работы в группе захвата Королевич казался неподходящим — смущала чистая голубизна его добрых глаз.

«А не я ли виновен в том, что погиб Костя? — думал теперь Ромашкин и ужасался этой мысли. — Не брал на задания, не включал в группу захвата, вот он и решил доказать, на что способен».

Хоронили Костю утром. Могилу вырыли на пригорке («чтоб посуше была»), почти рядом с блиндажом разведсвода («пусть будет с нами»). На дно постелили сосновых веток. И когда Костю, завернутого в плащ-палатку, уже опустили на эти душистые ветки, туда же осторожно прыгнул Саша Пролеткин и отвернул уши Костиной шапки — пилотка его осталась за немецкой проволокой, — стянул в узелок шнурки. Все понимали — мертвому разведчику теплее не будет, но мысленно одобрили эту последнюю заботу о товарище.

Плакал один старшина Жмаченко. Не стесняясь, утирал слезы рукавом телогрейки и даже тихонько причитал по-бабьи.

Грянул трескучий залп из автоматов. На могилу поставили деревянную пирамидку с фанерной звездой, покрашенной красной тушью, а масляной черной краской написали: «Костя Королевич, 1922 года рождения, разведчик. Геройски погиб при выполнении боевого задания 30 июня 1943 года».

* * *

В те дни в полосе соседней дивизии пленный все же был захвачен. В разведсводке, разосланной по всем частям армии, сообщалось: «Немецкое командование,

желая во что бы то ни стало сохранить в тайне группировку своих войск, издало строжайший приказ, предупреждающий командиров подразделений первого эшелона, что они будут немедленно сняты с должности и разжалованы в рядовые, если русские разведчики возьмут у них пленного».

Вот почему так трудно стало проникать в расположение фашистов. А проникать тем не менее надо. И притом систематически. Обстановка на фронте накаляется. Немцы назначают и отменяют сроки наступления, перемещают войска, подтягивают резервы, в том числе эшелоны новых тяжелых танков с устрашающим названием «тигр».

Тысячи оптических приборов следят за врагом с наблюдательных пунктов, усиленно ведется фотографирование его позиций и войсковых тылов с воздуха. Но всего этого недостаточно. Нужен живой человек, хотя бы частично посвященный в замыслы немецкого командования и способный рассказать о них.

Ромашкин до изнеможения сновал по всей первой траншее, выискивал удобные подступы к обороне противника. И все думал о Королевиче: «Если бы он не бросил гранату, ни один из нас не ушел бы от смерти!»

После многократных неудач поисковых групп командир дивизии принял решение: добыть «языка» в открытом бою. Разведчиков удручала эта крайняя мера. Неловко было глядеть в глаза товарищам: за неудачи разведзвода должны теперь отдуваться стрелковые роты, саперы, артиллерия — да вообще все.

Штаб полка во главе с Колокольцевым целые сутки трудился над планом разведки боем. Исполнять этот план поручили роте капитана Казакова. В подчинение Казакову временно передали и разведзвод.

Никогда еще на памяти Ромашкина в жилье разведчиков не было так тихо. Люди молча готовили оружие, гранаты, патроны, бинты. Даже Саша Пролеткин не шутил.

Василий, поглядывая на своих ребят, тоже приуныл: «Не исключено, что всех нас принесут сегодня на плащ-палатках...» Он понимал: нельзя идти в бой с таким настроением, надо встряхнуться самому и всколыхнуть людей, настроить всех по-боевому.

— Что, братцы, загрустили? — начал Василий. — Разве мы не рисковали раньше? Такие орлы, как Иван Рогатин, Толя Жук, Саша Пролеткин, Богдан

Шовкоплас, Коноплев, Голощапов, да и все мы неужто не выволокем какого-нибудь паршивого фрица?

— За паршивым и ходить не стоит. Уж братъ — так дельного, чтоб побольше знал,— вроде бы возразил, но в то же время и поддержал командира комсорг.

Остальные не оттаивали, молчали.

— Вспомните, как не хотели вы расставаться с Иваном Петровичем Казаковым. А теперь вот опять вместе с ним на задание пойдем.

— Может, и меня сегодня возьмете? — попросил старшина.

Это всем показалось смешным. Жмаченко сам создал о себе превратное мнение.

— Не надо, товарищ старшина,— с напускной серьезностью сказал Саша.— Если фрицы узнают, что сам Жмаченко на задание пошел, разбегутся кто куда. И опять «языка» не возьмем.

— А что ты думаешь? — подбоченился Жмаченко.— Я тихий-тихий, а как разойдусь, дров могу наломать за милую душу! Костей не соберешь и от смеха наплачешься.

Понятны были потуги старшины и ободряющие слова командира. То и другое разведчики восприняли с благодарностью, но сдержанно.

Ночью Ромашкин привел их в роту Казакова. Заняли исходное положение. Последним напутствием командира полка было:

— Помните, успех решают внезапность и быстрота. Мы вас поддержим всем, что у нас есть, но главное — стремительность.

Ромашкин лежал на непросохшей земле, прислушивался, не хрустнет ли кто-нибудь веткой, не кашляет ли. Впереди уже работали саперы Початкина.

Участие в разведке боем куда страшнее общего наступления. Перед тем как двинуть вперед корпуса и армии, вражескую оборону долго подавляют и крушат артиллерией и авиацией. Уцелевшие при этом батареи противника отбивают атаку каждая на своем направлении. А в случае разведки боем все минометы и пушки врага остаются невредимыми и осуществляют так называемый «маневр траекториями» — со всех сторон начинают бить по одной-единственной роте, рискнувшей кинуться на мощную оборону...

Возвратились саперы, молча легли в сторонке, Жения шепнул Василию:

— Порядок...

Стало светать.

Позади раздался надсадный скрип, будто взвизгивали, распахиваясь, десятки дверей на несмазанных петлях. Небо озарилось желтой вспышкой, и по нему стремительно полетели огненные бревна.

Залп «катюш» был одновременно и поддержкой атаки и сигналом к ней. Ромашкин и Казаков вскочили первыми, побежали вперед. Василий так отвык в ночных поисках подавать команды, что и на этот раз молча устремился к проволоке, знал — ребята не отстанут. А Казаков, все время оглядываясь, покрикивал на бегу:

— За мной! Не отставать!

Вот и подготовленный саперами проход — проволока разрезана, в сторонке валяются обезвреженные мины. «Спасибо Женьке, хорошо потрудились — не проход, а целая улица! И главное, тихо все сделал, не насторожил фрицев», — с благодарностью подумал Василий.

В немецкой траншее замелькали каски, блестящие и обтянутые маскировочными сеточками. Брызнули огнем автоматы, защелкали пули. Хоть и громок шум боя, все же чуткое ухо Василия улавливало, когда пули уносились мимо и когда шлепали, как с силой брошенный камешек, во что-то мягкое и мокрое — так звучат они при попадании в человека. «В кого?..» Оглядываясь некогда. Ромашкин сам стрелял по торчащим из траншеи каскам, водил туда-сюда быющим в руках, как брандспойт, автоматом.

Забухали гранаты, их кидали откуда-то сзади. Казаков перепрыгнул через траншею, крикнул Ромашкину:

— Давай действуй! — И тут же стал звать своих солдат: — За мной! Не задерживаться в окопе!

Рота Казакова по замыслу должна была еще продвинуться вперед и тем обеспечить работу разведчиков.

Василий видел, как его ребята уже поднимали лежащих немцев, переворачивали вверх лицом — искали живых: бывает, притворяются убитыми. У поворота траншеи Саша Пролеткин отстегнул сумку у распластавшегося унтера. «Саша невредим». Ромашкин все

еще помнил, как шлепались пули, попадая в живые человеческие тела. Рогатин выволакивал из блиндажа здоровенного упирающегося фельдфебеля и так крепко держал фрица за шиворот, что тот лишь таращил глаза, покоряясь его силе. «Иван тоже цел!» — обрадовался Ромашкин. Пробежал Шовкопляс. Мелькнули на фланге Жук, Голощапов, Коноплев. «Кого же не стало?» Эта навязчивая мысль чуть отступила лишь в тот момент, когда будто небо обрушилось на землю: фашисты убедились, что их первая траншея занята, и открыли по ней артиллерийский огонь. Били сначала ближние батареи, а потом начался тот самый «маневр траекториями». В траншее, окутавшейся желтым и сизым чадом, невозможно стало дышать, тут и там взрывались снаряды и мины.

— Кто с пленными, немедленно отходите! — крикнул Ромашкин.

Разведчики его услышали, поволокли фельдфебеля и еще двоих. «Хоть бы живы остались», — думал Василий теперь уже не столько о своих, сколько о пленных.

Наша артиллерия тоже работала вовсю, но ее выстрелов не было слышно — они заглушались разрывами вражеских снарядов, и потому разведчикам казалось, что их никто не поддерживает, бьют только гитлеровцы.

— Всем назад! — скомандовал Ромашкин и замахал рукой.

«Как там Петрович? Ему труднее, чем нам». За клубящимся дымом разрывов, за летящей вверх землей Ромашкин не видел ни роты Казакова, ни его самого. Хотелось узнать, что с ним, помочь, если ранен, напомнить — пора отходить. Но железный закон разведки боем требовал: пленные прежде всего! И Ромашкин, помня об этой главной задаче, стал смотреть, где же пленные, все ли разведчики отходят, и сам, спотыкаясь о комья земли, скатываясь в воронки, то и дело пригибаясь, побежал назад. «Петрович — мужик грамотный, без моей подсказки знает, что делать».

На наблюдательном пункте их ждал командир дивизии. Когда перед ним поставили рядом троих пленных, он удовлетворенно хмыкнул.

Пленные еще не пришли в себя, а увидев генерала, растерялись окончательно. Несколько минут назад ротный обер-лейтенант был самым большим из на-

чальников, с которыми они встречались лично. А тут вдруг в трех шагах, не больше, — высокий и, наверное, свирепый русский генерал, одни косматые брови его приводили в трепет. И еще свита генеральская — полковники, майоры, капитаны.

Доброхотов окинул пленных взглядом, приказал Рутковскому:

— Спрашивай их о главном. Сейчас они до того обалдели, что подробностей из них не вытянешь. Подробно поговорим позднее.

— Когда начнется ваше наступление? — начал Рутковский.

Солдаты покосились на фельдфебеля. А тот, вспомнив свое начальственное положение, приосанился, повыше поднял голову, явно готовясь показать солдатам пример, как надо держаться на допросе.

— Нужно их развести, — сказал тихо Рутковский. — Обособить младших от старшего. Тут психологический фактор играет роль. И вообще допрашивать полагается каждого в отдельности, исключая возможность сговора.

Генералу стало неловко, что в спешке он пренебрег этим элементарным правилом. Однако существует и другой неписанный закон — старший всегда прав. Генерал, сохраняя достоинство, стал выговаривать Рутковскому:

— А какого же лешего ты не делаешь как полагается? Это твоя работа, ты и делай! У меня нет времени вникать в твои «факторы» и «психологии». Организуй все как положено и немедленно!

— Уведите фельдфебеля и солдат разведите друг от друга. Этого оставьте, — приказал Рутковский разведчикам, охранявшим пленных.

Рогатин потянул фельдфебеля за рукав, и тот решил, по-видимому, что разгневанный русский генерал приказал расстрелять его. Фельдфебель рвался из рук разведчика, кричал в отчаянии:

— Я все скажу! Все скажу!

Рутковскому пришлось изменить свое намерение — начал допрос с фельдфебеля.

И фельдфебель и двое других пленных, допрошенные каждый врозь, показали: наступление намечалось на середину мая, потом его перенесли на конец июня, а теперь войскам приказано быть в готовности к пятому июля.

— Я пошел докладывать командарму, а вы продолжайте допрос,— распорядился Доброхотов и зашагал вверх по лесенке на НП, к телефону.

Ромашкин наблюдал за всем этим вполглаза, слушал допрос вполуха. Внимание его сосредоточилось на дальнем конце оврага, где собиралась рота Казакова, куда несли на плащ-палатках убитых и раненых. Сам Казаков расхаживал среди бойцов, отдавал какие-то распоряжения.

Высматривал Василий и своих разведчиков. Вроде бы все здесь. Рогатин перевязывал в сторонке Сашу Пролеткина. Около Шовкопляся хлопотал с бинтами Жук. «А где Коноплев? — спохватился Ромашкин. — Может, пошел к замполиту?» После задания Коноплев всегда докладывал Гарбузу об отличившихся комсомольцах. Однако сейчас Гарбуз находился здесь, а комсорга не было.

— Где Коноплев? — спросил Василий уже вслух.

Разведчики огляделись, будто надеясь увидеть его рядом. И все молчали.

— Кто видел его последним?

— Не знаю, последним или нет, но я видел его там, в траншее. Он побег к блиндажу,— сообщил Голощапов.

— Я помню, как он зашел в блиндаж,— сказал Пролеткин.

— А потом?

— Потом я вон того фрица поволок,— ответил Пролеткин.

— Вышел Коноплев из блиндажа?

— Не знаю.

— Кто знает? — домогался Василий, но сам уже понимал: произошло непоправимое.

— Наверно, он вошел в блиндаж, а там на него фриц набросился,— предположил Пролеткин.

— Не из таких Сергей, чтоб фриц ему стал помехой,— возразил Голощапов. — Да и не дуром влетел он в блиндаж этот. Небось осторожно шел.

— А если там фрицев трое-четверо было? И оглушили сразу? — настаивал Саша.

— Ну, тогда... — Голощапов не знал, что сказать.

— Тогда надо немедленно, пока фрицы не опомнились, лезть к ним опять,— решительно сказал Иван.

— Поздно, уже опомнились,— заключил Голощапов.

— Что же, бросим Сергея, да? — не унимался Рогатин.

— Бросать нельзя,— стараясь быть спокойным, рассуждал Голощапов,— надо выручать как-то по-другому.

Ромашкин лихорадочно думал о том же: «Выручать надо, но как? Как спасти Коноплева?» Понимая, что сам он не в состоянии предпринять что-то надежное, решил поскорее доложить о случившемся командиру полка.

Тем временем дивизионные начальники, прихватив пленных, уже уехали. Были отосланы в тыл и офицеры полковых служб — не имело смысла подвергать их ненужной опасности: гитлеровцы злобно гвоздили наши позиции тяжелыми снарядами. Караваев и Гарбуз тоже намеревались уйти с НП в штаб, но сообщение Ромашкина остановило их.

Караваев, выслушав сбивчивый доклад командира разведвзвода, стиснул зубы и отвернулся. Гарбуз всплеснул руками:

— Как же вы раньше не заметили?

Ромашкин стоял, виновато опустив голову.

— Комсорга потеряли! — сокрушался Гарбуз. — Не только потеряли, оставили! Это же позор! Может быть, он ранен?..

От стереотрубы тревожно прозвучал голос наблюдателя:

— Товарищ майор, я вижу разведчика, про которого вы говорите.

Гарбуз подбежал к стереотрубе.

— Где он? — тихо спросил Ромашкин наблюдателя.

— Стоит привязанный к колу проволочного заграждения,— ответил тот.

— Живой?

— Не знаю. Вроде бы нет. Висит на веревках...

Никогда и никто не желал гибели близкому человеку. Но Василий со щемящей болью в сердце подумал в тот миг о Сергее Коноплеве: «Хорошо, если мертвый: мучиться не будет».

Караваев, уже сменивший Гарбуза у стереотрубы, отрываясь от окуляров, позвал:

— Иди-ка, Ромашкин, приглядишься, у тебя глаза помоложе.

Василий склонился к окантованным резиной окулярам. Черный крестик наводки перечеркивал Сергея Коноплева. Он был прикручен к столбу проволочного заграждения: руки вывернуты назад, за кол; тело — до

половины оголенное — в крови; клочья маскировочного костюма и гимнастерки свисают к ногам. Изображение в стереотрубе раздвоилось, будто сбилась резкость, но Василий не поправлял наводку, догадался, что причина в другом. Надо было уступать место старшим, они, наверное, хотели разглядеть все более детально, но Ромашкин, ничего не видя, продолжал прижиматься глазницами к резиновым кружочкам: хотелось скрыть слезы.

Гарбуз решительно отстранил его и, заметив на резинках влагу, сказал сочувственно:

— Не казись, Ромашкин! На войне, брат, все бывает. Коноплев попал в их руки уже мертвым. Был бы жив, ранен, его бы допрашивали, мучили. А если выставили нам напоказ, значит, убит. Ему теперь не поможешь.

Караваев тоже стал утешать:

— В роте Казакова потерь больше — шесть раненых, трое убитых. И о том подумай, Ромашкин: задачу мы все же выполнили — трех пленных взяли!

— Да я Сергея на весь их вшивый полк не променял бы! — воскликнул Василий. — Его нельзя так оставить. Надо что-то делать!

— Предлагай, что именно, — покладисто согласился Караваев. Но тут же предупредил: — Поднять полк я не могу. Выделить батальон — тоже. Какие у них здесь силы сосредоточены — знаешь не хуже меня.

— Может быть, мы ночью его вынесем? — с отчаянием спросил Ромашкин, хорошо понимая, что у тела Коноплева будут и засада, и мины, и другие смертоносные «сюрпризы».

Понимал это и командир полка. Он твердо сказал:

— И ночью не разрешу лезть в петлю. Ты погубишь опытных людей и погибнешь сам. Нет, Ромашкин, чувства чувствами, а здравый смысл, польза делу на войне должны ставиться выше их. То, что ты предлагаешь, обречено на провал. Немцы вас ждать будут. Коноплева они выставили как приманку.

Ромашкин поглядел на замполита, прося этим взглядом поддержки. Гарбуз отвел глаза.

— Может, добровольцы сходят? — попытался обойти командирскую строгость Василий.

— Ты не мудри и не хитри, — обрезал Караваев, — у тебя добровольцы — все тот же взвод. Иди. Будет еще возможность рассчитаться за Коноплева. Фрицы

скоро сами сюда пожалуют. Помнишь, что сказал фельдфебель? Вот иди и готовь своих людей к этому. За успешное выполнение задания объявляю благодарность. Отличившихся представь к наградам.

— Есть,— тихо сказал Ромашкин и ушел с НП.

Вечером к разведчикам заглянул Початкин. Прознал, наверное, о настроении Василия. Кивнул с порога:

— Пойдем поговорим.

Ромашкин покорно вышел из блиндажа. Молча они двинулись вдоль речушки.

— Даже помянуть Коноплева нечем,— сказал огорченно Василий.

Летом войскам не выдавали «наркомовские сто граммов», водка полагалась только зимой, в стужу. Правда, разведчикам, в их особом пайке, эти граммы были предусмотрены на весь год. Но уже вторую неделю водку почему-то не подвозили.

— Есть возможность добыть немного,— подумав, сказал Початкин.

— Где?

— Помнишь, ты принес ящичек вин Караваеву?

— Гулиев не даст.

— Попытка не пытка...

Гулиева они нашли у подсобки, где хранил он личное имущество командира: простыни, наволочки, летом — зимнюю одежду, зимой — летнюю; запасные стекла для лампы, посуду на случай гостей.

Гулиев читал какую-то книгу. Страницы ее были испещрены непонятными знаками, похожими на извивающихся черных червячков.

— Какие люди были! — воскликнул ординарец, ударяя ладонью по книге. — Какая красивая война!

— Да, сейчас таких людей нет,— поддакнул Женька.

— Пачиму нет? — вспыхнул Гулиев. — Люди есть. Война нехороший стала. Снаряды, бомбы — все в дыму. Какое может быть благородство, если никто его не видит! Раньше герои сражались у всех на глазах.

— А Сережу Коноплева ты разве не видел на колючей проволоке?

— Да, Серожа у всех на виду.

— Скажи, Гулиев, как по вашему обычаю героев поминают? — сделал Женька еще один осторожный шаг к намеченной цели, а Василий подумал: «Подло мы поступаем, надо остановить Женьку».

— О! Наш обычай очень красивый,— откликнулся Гулиев.— Мужчинам плакать не полагается — они поют старинные песни, танцуют в кругу тесно, плечом к плечу. Вино пьют. Только сердцем плачут!

— Мы со старшим лейтенантом песен кавказских не знаем, танцевать не умеем. Но давай хоть вином помянем боевого товарища.

Очи Гулиева засверкали еще жарче.

— Да-авайте! — Однако он тут же озабоченно спросил: — А где вино взять?

— У нас вина нету,— сказал Початкин.— Мы думали, ты одолжишь.

— У меня тоже нет.

— А тот ящик, помнишь, Ромашкин принес?

— Нельзя. Командир велел беречь для гостей.

— Сейчас тяжелые бои пойдут, не до гостей ему. А потом старший лейтенант и получше вино достанет.

Ромашкин был уверен — эта затея напрасна. Гулиев ни за что не согласится на такой поступок. Но, видно, книга разбередила его сердце, а Женька заставил поверить, что вино будет потом возмещено. Гулиев решительно махнул рукой, будто в ней была сабля:

— Э! За хорошего разведчика Гулиев на все согласен!..

Втроем они еле втиснулись в тесную подсобку. Гулиев расстелил командирскую бурку, достал консервы, хлеб. У него нашелся даже рог, отделанный потемневшим серебром.

— Отец подарил, когда на фронт провожал,— объяснил Гулиев.— Здесь написано: «Войну убивают войной, кровь смывают кровью, зло вернется к тому, кто его сотворил!»

Он достал ящичек, без колебаний вскрыл бутылку, даже не взглянул на красивую наклейку, вылил вино в рог и запел грустную песню. Пел Гулиев тихо, полужакрыв глаза и раскачиваясь из стороны в сторону. Василий и Женя, хотя и не понимали слов, сразу покорились мелодии. Она не вызывала слез, не подавляла, а как бы очищала сердце от тяжести, заставляла расправить плечи, ощутить в себе силу. От Женькиной мелкой хитрости не осталось и следа. Все трое — и Женька, и Василий, и, конечно, Гулиев — ощутили себя участниками старинного ритуала и целиком были захвачены его торжественностью. Емкий рог несколь-

ко раз обошел их небольшой круг. Василий, почувствовав облегчение, просил Гулиева:

— Спой, пожалуйста, еще. Спой, дорогой Гулиев. Песни твоего народа целительнее вина.

* * *

В предвидении наступления фашистов советские полки и дивизии, оборонявшиеся на Курской дуге, пополнялись до штатной численности.

В полк Караваева очередное пополнение прибыло рано утром. От станции выгрузки бойцы шли пешком всю ночь и вымотались изрядно. Когда построили их в две шеренги на дне оврага, картина была не очень красивой. Шеренги выпячивались и западали, поднимались вверх и проваливались вниз, повторяя неровности рельефа местности. В пополнении преобладали молодые, только что призванные, в необмятых еще шинелях и неразношенных ботинках, казавшихся огромными и тяжелыми, как утюги. Но были здесь и выписанные из госпиталей фронтовики в ладно сидевшем, хотя и поношенном, обмундировании, невесть как и когда добытых яловых сапогах.

Распределять пополнение вышел майор Колокольцев. Начальники служб и командиры специальных подразделений прохаживались вдоль строя, искали нужных им людей.

— Плотники, кузнецы, строители есть? — громко спросил полковой инженер Биркин и записывал фамилии откликнувшихся.

— Радисты, телефонисты! — зывал начальник связи капитан Морейко.

— Боги войны имеются? — басил артиллерист Богданов.

Каждому хотелось заполучить готового, на худой конец, почти готового специалиста. Но существовала определенная последовательность в распределении вновь прибывших. И Колокольцев сразу водворил порядок:

— Кончайте базар! Незачем зря время тратить!

Первым имел право подбирать себе людей капитан Люленков. Он появился перед строем в сопровождении Ромашкина, ухарски сдвинув пилотку на правый висок. Зычно скомандовал:

— Кто хочет в разведку, три шага вперед!

Строй не шелохнулся.

— Наверное, вас не расслышали или не поняли, — тихо сказал капитану удивленный Ромашкин.

Люленков не в первый раз имел дело с пополнением. С ехидцей ответил Ромашкину:

— Они поняли все. Это, знаешь, не в кино. — И вновь, обращаясь к прибывшим, заговорил тоном искусителя: — В разведке особый паек, сто граммов зимой и летом.

— И девять граммов свинца без очереди, — откликнулся кто-то в строю.

— Ну, те граммы на войне любой получить может. А в разведке служба интересная, особо почетная.

Бойцы стояли потупясь, никто не хотел встретиться взглядом с капитаном.

— Неужели все прибывшие — трусы? — обозлился Ромашкин.

— погоди, не горячись, — остановил его Люленков.

— А при чем здесь трусость? — громко и обиженно спросил из строя высокий боец с густыми русыми бровями и строгим длинным лицом.

— Как при чем? Бойтесь идти в разведку, — продолжал горячиться Ромашкин.

— Боимся, — подтвердил высокий боец. — Но не из трусости.

— Как же это вас понимать?

— А так и понимайте. Товарищ капитан правильно говорит: разведка — служба особая. Не каждый в себе чувствует такое, что надо для разведки, вот и опасаемся. А вы сразу нас — в трусы. Нехорошо, товарищ старший лейтенант.

Ромашкин смутился. Действительно неловко получилось, обидел всех сразу, не подумав брякнул.

— Ну, ладно, — примирительно сказал Люленков, — вот вы сами пойдете служить в разведку?

— Если надо, пойду.

— Надо.

— Значит, пойду.

— Фамилия?

— Севостьянов Захар.

— Запиши, Ромашкин. Кто еще хочет? Имейте в виду, товарищи, разведка — единственная служба в армии, куда идут по желанию.

— А хоба ж никто не пожелает, тоди разведки не буде? Услепую воювати, чи як? — звонко спросил голубоглазый, чернобровый, черноусый украинец.

— Ну, тогда приказом назначат. Без разведки еще никто не воевал. Однако лучше, когда человек идет по собственному желанию. Почему бы вам, например, не пойти? — спросил его капитан.

— Та я вроде того хлопца; не знаю, чи е у мене потрібные качества, чи немає.

— Ты парень здоровый, веселый — нам такие как раз и нужны. Подучим, будешь лихим разведчиком. Кстати, в разведываде служит твой земляк Шовкопляс, — сказал Люленков.

— Ну, тоди зачисляйте. Зовут Миколой, фамилие Цимбалюк.

— Товарищ капитан, и со мной поговорите! Может, я сгожусь, — попросил щуплый паренек с веснушчатым озорным лицом. Он улыбался, обнажая мелкие зубы.

— Фамилия? — спросил Люленков.

— Пряхин Кузя.

В строю засмеялись. Пряхин не растерялся, тут же дал насмешникам отпор:

— Ржать нсчего. Меня Кузьмой зовут, а сокращенно, значит, Кузя.

Капитан оценивающе рассматривал Пряхина.

— Откуда родом? Чем занимался до призыва?

— Из-под Рязани. Колхозник деревенский... Не подведу... — И смутился: то ли потому, что не к месту вставил слово «деревенский», то ли из-за непривычной похвальбы — «не подведу».

— Слабоват. С фрицами в рукопашной не справишься, — сказал капитан.

— Я поэтому и не вылез вперед, а в разведку хотелось бы.

— Ромашкин, как думаешь?

— Пусть подрастет. Мне ждать некогда, завтра на задание идем.

Молодой солдатик виновато отступил в глубь строя. Василию стало жаль его. Но что поделаешь, в разведке пужна сила.

Обойдя весь строй, Люленков выбрал только троих: Севостьянова, Цимбалюка да крепыша Хамидулина. Этот уже был обстрелян, воевал до ранения в Сталинграде.

Ромашкин привел отобранных в новое жилье разведчиков — сарай в лесу. Они остановились у двери, не зная, куда положить свои вещички.

— Проходите к столу, ребята,— подбодрил их Ромашкин.— Жмаченко, ну-ка накорми хлопцев. А вы садитесь. Чувствуйте себя как дома.

Разведчики поднялись с сена, расстеленного на полу, разглядывали новичков.

— Ты прямо запорожский казак,— сказал Пролеткин усатому украинцу.

— А я и е запорижский казак. Мои диды булы настоящи запорижски казаки. Тильки я верхом на тракторе козаковал.

— Значит, дед казак, отец твой сын казачий, а ты хвост собачий,— вставил Голощапов.

Цимбалюк укоризненно посмотрел на него:

— А ще разведчик! Такой некультурный — незнакомому человеку глупи слова говоришь.

Товарищи не осудили Голощапова, даже посмеялись малость. Цимбалюка не поддержал никто. Язвительный и немного вредный Голощапов не раз был проверен в деле, а этот еще неизвестно на что способен.

— Гуртуйся до мэнэ, земляк,— позвал Шовкопляс,— мы с тобой побалакаем.

— Комбайнер был, тракторист прибавился — можно хохлацкий колхоз создавать,— подначивал Саша Пролеткин.

— Точно! — согласился Шовкопляс.— Мы и тэбэ примем. Жирафов та бегемотив разводить будешь.

— А ты, паря, откуда? — спросил Рогатин другого новичка.

— Я с Кубани,— с готовностью отозвался Севостьянов и чуть замялся: — Профессия у меня не шибко боевая — пекарь. Но силенка есть. До механизации тесто вручную месил. За смену, бывало, не одну тонну перекидаешь.— Севостьянов уперся локтем в стол, предложил: — Давай, кто хочет испробовать?

Первым подошел Саша Пролеткин. Пекарь, даже не взглянув на него, свалил Сашину руку, будто пустой рукав. Следующей жертвой был Жук. Севостьянов по очереди, не напрягаясь, положил всех. Устоял лишь Иван Рогатин, но пекаря, как ни старался, одолеть не смог.

— Вот чертушка! — восхищался Пролеткин.— Вот это токарь-пекарь!

— Гвозди есть? — спросил Севостьянов.

— Найдем,— пообещал Саша.

Он снял со стены автомат и, раскачав гвоздь, дернул его, но неудачно. Покачал еще и наконец вытянул.

Севостьянов осмотрел этот большой старый гвоздь, попросил Шовкопляса, сидевшего у дверей:

— Дай-ка, друг, полешко или палку.

Потом он поставил гвоздь острием на стол, накрыл шляпку полешком, пояснил:

— Чтоб руку не повредить...

И не успели разведчики опомниться, как Захар несколькими ударами вогнал гвоздь кулаком в стол почти до самой шляпки.

Все одобрительно загудели, а Севостьянов скромно объявил:

— Это полдела. Теперь надо его вытянуть.

— Без клещей? — изумился Пролеткин.

— Клещами каждый сумеет, — снисходительно заметил Захар. Он ухватился за оставленный кончик гвоздя, сдвинул его так, что пальцы побелели, и выдернул одним рывком.

— Слушай, да тебе можно в цирке выступать! — воскликнул Саша. — Подковы гнуть. Доски ломать.

— Ломать я не люблю. Моя сила смирная. Буду жив — опять пойду людей хлебушком кормить. Ничего на свете приятнее хлебного духа нет! Иду на работу, за километр чую — вынули там без меня буханки, или они еще в печи доходят. Эх, братцы, до чего же дивная работа — хлеб выпекать! Намаешься за смену, ноги не держат, руки отваливаются. А утром встаешь свеженький как огурчик и опять бежишь к своему хлебушку.

— Да, твой хлебушек, наверное, не то, что этот, — сказал Пролеткин, постучав зачерстневшей буханкой по столу.

— Этот еще куда ни шло, — возразил Жмаченко. — Ты немецкий трофейный посмотри. По-моему, в нем наполовину опилки.

Жмаченко принес из своего закутка буханку в плотной бумаге. На бумаге было помечено: «Год выпечки — 1939».

Севостьянов с любопытством осматривал это удивительное изделие,

— Ты на вкус попробуй, — потчевал Жмаченко.

Буханка внутри была белая, но когда Захар откусил кусок, совершенно не почувствовал хлебного вкуса.

— Опилки!

— Эрзац и есть эрзац, — подвел итог Рогатин.

— Ну, а ты чего молчишь? — спросил старшина Хамидуллина.

— Очередь не дошла,— дружелюбно ответил тот.
— Тебя как звать?
— Наиль.
— А где ты жил, чего делал?
— Жил в городе Горьком, на Волге. Делал автомобили-полуторки, «эмки».
— Лучше бы танков побольше наделал,— буркнул Голощапов.
— Не моя специальность,— отшутился Хамидуллин.
— Семья есть?
— Нет. Не успел обзавестись.
— Это хорошо,— вздохнув, сказал старшина.
— Почему?
— В разведке лучше служить несемейному. Без оглядки работает человек... Ну а, кроме автомобилей, чем еще занимался?
— Спортивной борьбой. Второй разряд имею.
Жмаченко оглядел разведчиков, будто искал, кто бы испытал силу Хамидуллина.
— Может, ты, Рогатин? — спросил старшина.
— Ну его, он всякие приемы знает,— отмахнулся Иван.
— Знаю,— подтвердил Хамидуллин,— и вас научу, если захотите.
Саша Пролеткин не любил ничего откладывать. Вышел из-за стола, встал в проходе.
— Давай показывай!
Наиль осмотрелся, покачал головой:
— Тут нельзя, я тебе ребра переломаю. На просторе надо.
— Испугался! — выкатив грудь, петушился Саша.
— Ну, хватит, братцы,— вмешался Ромашкин.— Айда на занятия. Новичков поучим и сами кое-что вспомним. В форме нужно быть...

* * *

И вот настала ночь, когда, по показаниям пленных, немецкая армия должна ринуться в наступление.

В наших окопах никто не спал, все были наготове. Ромашкин вглядывался в темноту. Он знал лучшие многих, какие огромные силы стянуты сюда противником.

Легкий ветерок приносил с полей запах созревающей пшеницы. Ночь была теплая, но Василий иногда вздрагивал и поводил плечами в нервном ознобе.

В два часа двадцать минут советское командование преподнесло врагу убийственный «сюрприз»: черноту ночи вспороли яркие трассы «катюш», загрохотала ствольная артиллерия. Огонь и грохот контрартподготовки были так сильны, что казалось, будто рядом рушатся горы. За несколько минут артиллеристы израсходовали боекомплект, рассчитанный на целый день напряженного боя.

— Что сейчас творится у них там! Страшное дело! — крикнул Ромашкин стоявшему рядом Люленкову, но тот в гуле и грохоте не расслышал его.

Ромашкин представлял себе вражеские траншеи, набитые солдатами, сосредоточенными для атаки. Им не хватает блиндажей, чтоб укрыться от огня, и сейчас они лежат вповалку друг на друге. Танки, выдвинутые на исходные рубежи, горят, не успев вступить в бой. Тысячи тонн снарядов, предназначенных для разрушения и подавления нашей обороны, взрываются на огневых позициях своих батарей, опрокидывая, ломая, калеча все вокруг. «Да, Сережа, — подумал Ромашкин о Коноплеве, — твоя жизнь дорого обошлась фашистам. Мы узнали день и час их наступления и вот долбанули в самый опасный для них момент!»

И все же, несмотря на значительные потери, в пять часов тридцать минут противник перешел в наступление. На полк Караваева по созревшему хлебному полю двинулись танки. Их было так много, что они образовали бы сплошную стальную стену, если б не построились в шахматном порядке в несколько линий, накатывающихся одна за другой, как волны.

Сражение это для каждого из его участников имело свои масштабы. Для советского Верховного Главнокомандования оно представлялось как одновременное сокрушение двух сильнейших группировок противника — орловской и белгородской. Для командующего Центральным фронтом К. К. Рокоссовского это было единоборством с 9-й немецкой армией, рвавшейся к Курску с севера. Для командующего Воронежским фронтом Н. Ф. Ватутина — недопущением прорыва к тому же Курску с юга 4-й танковой армии неприятеля. Для командира дивизии Добрыхотова и командира полка Караваева главный смысл состоял

в отражении таранного удара танков, обрушившихся на их боевые порядки. А для взводного Ромашкина это была смертельная схватка с одним-единственным «тигром», ворвавшимся в расположение разведчиков.

Ромашкин впервые увидел такую машину. Она была огромна и угловата. Уже по формам ее можно было судить, насколько прочна и толста броня «тигров». При таком надежном броневом прикрытии обтекаемость не обязательна.

За «тиграми» следовали автоматчики с засученными рукавами. Эти их засученные рукава действовали устрашающе — шли вояки, знающие свое дело. Шли, как на работу, с твердым решением не останавливаться ни перед чем! Они были похожи на тех гитлеровских солдат, которых Василий впервые увидел на шоссе под Москвой в сорок первом году!

Но времена настали другие, и не то оружие в наших руках. Теперь немецким пикировщикам, как они ни старались, не удалось построить карусель над головами обороняющихся. Едва появились, как на них тут же обрушились из-за облаков истребители. Защелкали скорострельные пушки, и задымили черными шлейфами «юнкерсы» и «мессершмитты», падая на землю один за другим. Падали и наши «яки» и «лавоочкины». Однако сбросить бомбы точно на боевые порядки наземных войск они не дали.

Даже «тигры» выглядели несокрушимой силой лишь издалека. А как только приблизились на прицельное расстояние, новые наши пушки ЗИС стали пропарывать броню особыми снарядами и сжигать танки.

Матушка-пехота сидела в траншеях, не трепеща от волнения, хорошо зная, что все это должно было двинуться на нее именно в тот час, именно с этих направлений и в таком именно количестве. Под рукой у солдат лежали теперь не хрупкие стеклянные бутылки с горючкой, а специальные противотанковые гранаты. И в каждом взводе были еще противотанковые ружья с длинными, словно водопроводные трубы, черными стволами. Они прожигали шкуру «тиграм», ослепляли их, сбивали с катков гусеницы.

«Да, теперь мы не те, — думал Ромашкин, — теперь нас так просто не возьмешь! Народ тертый, солдат битый, тот самый, который трех небитых стоит». Василий пристально взглянул на своих бойцов. Стоят мол-

ча, исподлобья рассматривая черные кресты на бортах «тигров», пушки с набалдашниками, скрежещущие и клацающие, начищенные землей до блеска траки.

Василий понимал — надо, чтобы атака захлебнулась на первой позиции. Но от ощущения спокойной уверенности в своих силах у него возникло странное желание: неплохо, если бы хоть один из «тигров» прорвался сюда, во второй эшелон полка, где, как обычно, находился в резерве взвод разведки. Не терпелось самому встретиться с этим чудовищем.

Словно исполняя это неразумное желание, «тигры» дошли и до первой и до второй траншеи. Их подбивали, жгли, подрывали, но уцелевшие лезли вперед, сметая на своем пути все живое.

И настал момент, когда «тигр» направил свой пушечный ствол прямо в лицо Василию. Круглая дыра этого ствола оказалась такой необъятной, что заслонила поле боя и то, что творилось в небе. «Сейчас из этой дыры вылетит огненный снап, и от меня не останется ничего», — мелькнуло в сознании Ромашкина.

Уверенность, которая совсем недавно наполняла его душу, вдруг испарилась. Желание потягаться с «тигром» показалось глупостью, которая и привела к беде. «Сам, дурак, напросился, теперь получай!»

Танк выстрелил. Огонь ослепил Ромашкина, и сразу же наступила глубокая тишина. Так бывает в кино, когда пропадает звук. Василий видел: по-прежнему вокруг вскидывается земля от разрывов снарядов, солдаты что-то кричат, раскрывая рты, но все это беззвучно. «Лопнули перепонки», — будто не о себе подумал Василий, не отводя глаз от подползающего еще ближе «тигра».

Когда жаркое дыхание машины коснулось уже лица, Ромашкин деловито метнул гранату. Беззвучно вскинулся еще один фонтан земли и дыма. Танк непроизвольно крутнулся на исправной гусенице, а другая, перебитая, железным удавом сползла на землю. Василий, а за ним Рогатин и Шовкопляс кинулись вперед. Знали — чем ближе к танку, тем безопаснее.

Иван взобрался на танковую корму и встал над люком, держа автомат наготове: экипаж попытается исправить гусеницу или в крайнем случае удрать, чтобы не сожгли в этой железной коробке. Разведчик не ошибся: крышка люка чуть приподнялась. Рогатин мгновенно сунул ствол автомата в щель и пустил

внутри машины длинную очередь. Крышка, теперь уже никем не придерживаемая, легко поддалась сильному рывку Шовкопляса. Он добавил в чрево танка лимонку и тут же захлопнул люк, чтоб не попасть под осколки.

Василий не слышал взрыва гранаты, только увидел желтый дымок, потескший из щели неплотно прикрытого люка. Шовкопляс и Рогатин безголосо двигали губами. «Неужели оглох навсегда?» — опять спросил себя Василий и показал ребятам на свои уши, помахал руками — ничего, мол, не слышу. Иван настойчиво кивал куда-то назад. Оглянувшись, Василий убедился, что немецкие танки не только горели. Поредевший их боевой порядок все глубже вклинивался в нашу оборону. «Тигры» и сопровождавшая их пехота уже миновали и штаб и тылы полка, устремлялись куда-то к дивизионным резервам. «Как же нас автоматчики не побили?» — удивился Василий и прыгнул назад в окоп: приближались новые немецкие танки. Только эти шли уже не сплошным развернутым фронтом, а отдельными подразделениями, рассредоточенно.

«Что же происходит? Мы в окружении, что ли? Уцелел ли полк? Где Караваев? Гарбуз?» Ромашкин посмотрел в бинокль на полковой НП. Там мелькали чьи-то головы, похоже, в наших касках.

— За мной! — скомандовал Василий и опять удивился: он не слышит своего голоса, а ребята поняли команду.

К НП полка стягивались уцелевшие роты. Куржаков, как всегда в бою, возбужденный и веселый, энергично жестикулировал, но Василий не понимал, о чем он говорит. Полковое командование тоже в целости. Караваев отдавал распоряжения, показывая на холмы и овраги.

С жалостью поглядев на своего комвзвода, Иван Рогатин написал пальцем на рыхлой земле, вывороченной снарядами: «Занимаем круговую оборону».

В ушах Ромашкина тишина сменилась каким-то гудением, будто их заливала вода. Голова болела. Ломило в затылке. Разведчики повели его под руки на участок, отведенный для обороны взвода. И здесь сознание Ромашкина стало гаснуть. Он лег в кусты и забылся.

Немцы, не обращая внимания на советские части, оставшиеся в их тылу, все рвались и рвались вперед. Только вперед! Стремись во что бы то ни стало замкнуть свои клещи у Курска.

Ромашкин иногда приходил в себя, открывал глаза; к нему склонялся кто-нибудь из разведчиков, давал попить, предлагал еду. Василий плохо соображал, где он и что происходит вокруг. Опять проваливался куда-то, и не то в бреду, не то в действительности ему виделось бездонное жерло танковой пушки. Он силился убежать от ее разверстой пасти и не мог — его держали.

Эвакуировать контуженного старшего лейтенанта было некуда.

На шестой день Василию стало лучше. Открыв глаза, увидел Гарбуза. Попытался встать перед замполитом, но подняться не смог.

— Лежи, лежи.— Гарбуз придержал его рукой.— Ну, как самочувствие?

— Нормально, товарищ майор,— ответил Ромашкин. Ему казалось, ответил громко и четко, а на самом деле Гарбуз едва понял его тихую запletaющуюся речь.

— Значит, ты меня слышишь? — обрадовался Гарбуз.

— А как же! Говорю ведь с вами!

— Верно. И даже мыслишь логично. Значит, все в порядке.

— А как наступление?

— Немецкое?

— Наше.

— Откуда ты знаешь о нашем наступлении? Тебя контузило, когда мы отходили.

— Знаю. Должны мы наступать!

Гарбуз был растроган этой уверенностью.

— Дорогой ты мой, все будет в свой срок. Фашисты выдыхаются. За неделю всего на семь километров к Понырям продвинулись. А от Белгорода чуть больше тридцати. Не получилось у них окружения. Не дотянулись до Курска. Поправляйся, Василий, скоро наши погонят фрицев, и мы подключимся.

— Я хоть сейчас.— Ромашкин хотел встать, но земля с обгоревшей пшеницей, черными, закопченными танками, с Гарбузом и разведчиками, его окружающими, вдруг качнулась, накренилась, и он прилег, чтобы не покатиться по этой качающейся земле куда-то к горизонту.

— Ты лежи, не хорохорься,— приказал Гарбуз.

Ночью на Василия опять полз танк, наводил длинную и глубокую, как тоннель, пушку, а гитлеровцы

с засученными рукавами старались загнать Ромашкина в эту круглую железную дыру.

Навестил Василия и Куржаков. Усталый, он говорил с веселой злостью:

— Вот, Ромашкин, как надо воевать! Научились!

— Завелся! — ухмыльнулся Ромашкин.

— А я, брат, всегда заводной! — совсем по-дружески признался Куржаков...

Черный удушливый дым стлался над полями и перелесками, над яблоневыми садами и сожженными селами, над разбомбленными железнодорожными станциями и взорванными, рухнувшими в реки мостами.

Два миллиона людей днем и ночью кидались в этом дыму и пыли друг на друга, стреляли из пушек, танков и пулеметов, кололи штыками, били прикладами. Танковые армады, разбомбленные авиацией и расстрелянные артиллерией, горели в полях, как железные города.

Наконец фашисты понятились. Сначала медленно, то и дело бросаясь в свирепые контратаки, потом быстрее, но все же организованно, от рубежа к рубежу. Наши войска преследовали их по пятам. Нет, не только дивизиями, сохранившимися в резерве, а главным образом теми же самыми, которые стояли насмерть в обороне. Усталые, небритые, пропитанные гарью бойцы день и ночь теснили противника. Усталость накопилась такая, что люди засыпали порой на ходу и двигались вперед в полусне, с закрытыми глазами, держась рукой за повозку, пушку или соседа.

Шагал среди них и Ромашкин со своим взводом. Контузия иногда напоминала о себе, голова болела, подступала тошнота, но все же идти вперед было приятнее и веселее, чем валяться где-нибудь в госпитале.

И Василий крепился.

* * *

В середине сентября Ромашкина вместе с Люленковым вызвали в штаб дивизии. Туда же, в небольшую рошу, съезжались офицеры-разведчики из других полков. Кто на коне, кто на трофейном мотоцикле, а кто и на немецком автомобиле.

Знакомый голос окликнул Ромашкина. Обернувшись, он увидел Егора Воробьева — тоже командира взвода разведки.

— Живой! — обрадовался Василий.

Они виделись до того всего два раза, но встретились теперь, как давние друзья. Ромашкину нравился этот отчаянный двадцатилетний лейтенант, выполняющий задания с особой лихостью. Выглядел Егор, как всегда, картинно — в щеголеватых сапожках, в пятнистых брюках маскировочного костюма, с ножом на поясе, в кубанке с алым верхом, несмотря на теплынь бабьего лета...

Подошел Володя Климов из дивизионной разведки. Сдержанно поздоровался. Он был полной противоположностью Воробьеву — строгий, неразговорчивый. Ромашкин впервые заметил, какие у Климова внимательные глаза. Люди с такими глазами обычно мало говорят, но много думают.

Климов собирал всех прибывших в одно место — на поляну.

Туда пришел начальник штаба дивизии полковник Стародубцев. Обрисовал обстановку в полосе наступления дивизии, рассказал, как поделена эта полоса между полками, и потребовал, чтобы разведчики держались по возможности в границах своих полков, не мешали друг другу.

— Действовать вам придется в отрыве от главных сил, — говорил полковник. — На промежуточных рубежах противника не задерживайтесь. Основная ваша задача — выйти на западный берег Днепра, разведать там оборону и силы немцев. Назад до особого распоряжения не возвращаться. Поняли?

Разведчики молчали. Днепр-то не рядом, до него еще далеко!

Официально задание формулировалось так: вести разведку в преследовании. А что это значило практически?

В преследовании обе стороны непрерывно перемещаются. Противник устраивает засады, минирует дороги, мосты, дома. На промежуточных рубежах он непременно попытается создать видимость серьезной обороны, чтобы подольше задержать наши войска. Ну, а разведчики, двигаясь то в его тылу, то на флангах, должны все это своевременно раскрывать и предупреждать своих.

На сей раз Ромашкин взял с собою на задание двенадцать человек. В группу были включены, конечно, самые опытные разведчики: Рогатин, Пролеткин, Шовкоплас, Голощاپов, Жук. На Жуке — особая ответственность: он радист. Даже самые важные сведения, добытые разведкой, если их не передать в срок, теряют всякую ценность.

Жук так нагрузился своей аппаратурой и запасными принадлежностями к ней, что ноги подламывались под этой тяжестью. Пришлось раздать часть имущества другим.

Выступили вечером, чтобы затемно пробраться поглубже в тыл противника и с рассветом приступить к делу. Сейчас не было ни развитой траншейной системы, ни проволоки, фронт имел многочисленные разрывы. Гитлеровцы ходили лишь по шоссе и железным дорогам. Проселки же и лесные тропы оставались бесконтрольными.

По одной из таких троп и проскользнула группа Ромашкина.

На исходе ночи Ромашкин облюбовал тихую балочку, выставил охрану, а остальным приказал ложиться спать.

— Вот это приказ! — балагурил Пролеткин. — Побольше бы таких приказов!

— Эх ты, детский сад! У тебя все думки только о приятном! — вздохнул Рогатин и, положив голову на вещевой мешок, тут же уснул.

Саша свернулся клубком, прижался к широкой спине Рогатина и тоже задышал ровно и глубоко.

Спали все. Только часовые, преодолевая дрему, выползли на бугорок, чтобы их обдувало ветром. Василий специально назначил парный пост. Нельзя надеяться на одного — люди так утомлены. Из-за этого ведь и привал устроили. Начинать разведывательные действия в переутомленном состоянии тоже рискованно: разведчику нужны ясный ум, мгновенная реакция.

Проснулся Ромашкин первым, когда небо только начало бледнеть на востоке. В тених уходящей ночи за каждым кустом, в каждом овраге могли притаиться фашисты. И вскоре разведчики действительно обнаружили их в близком соседстве — на дороге.

Фашисты шли растянувшимся строем. Человек пятьдесят — шестьдесят. Некоторые несли на плечах шестидесятимиллиметровые минометы. «Пехотная рота, — определил Василий, — такие минометы на воору-

жении только в пехотных ротах. Но рота неполная. Обычная ее численность более ста человек. Вероятно, один взвод оставлен позади для прикрытия... Ну, а если идет рота, значит, где-то должен быть и ее батальон. Скорее всего, главные силы батальона уже отошли под покровом темноты, чтобы занять оборону на промежуточном рубеже. Рота их догоняет...»

Так вот, по деталям, раскрывается в разведке общая картина.

Жук передал по радио предположения командира и его решение идти на поиски промежуточного рубежа.

Шли теперь осторожнее. Впереди дозор — Шовкопляс и Голощапов. Они пробирались от кустов к роще, от рощи к оврагу. Открытое пространство переползали. Достигнув очередного укрытия, подавали сигнал: «Путь свободен».

В полдень дозор вызвал сигналом одного комвзвода. Ромашкин выполз на высоту и увидел: внизу, перед деревней, работают немцы. По пояс голые, они углубляли траншею. Другие у ручья резали дерн, подносили его и маскировали бруствер.

Поводив биноклем, Василий заметил в некотором отдалении еще несколько немецких подразделений, занятых такой же работой. Видно, здесь и оборудуется промежуточный рубеж. И за траншеями тоже копошатся солдаты, наверное, артиллеристы и минометчики.

— Ну, хлопцы,— сказал Василий,— тут все ясно, передний край промежуточного рубежа — вот он. Теперь надо осмотреть глубину. Как пойдем?

Первым высказался Пролеткин:

— Давайте построимся и двинемся строем, не таясь. Фрицы как пить дать примут нас за своих.

Жук усмехнулся, покосившись на Сашу:

— А если разглядят? В бинокль, например?

— Отобьемся,— уверенно заявил Саша.

— Отобьемся! — передразнил Рогатин.— После этого нас так гонять станут, только пыль сзади нас завьется. А пока ты здесь бегаешь, полк будет стоять без сведений.

Саша не уступал:

— Чего вы накинулись? Можете предложить что-нибудь лучше, давайте выкладываете!

Разведчики молчали. Наконец Рогатин, как всегда не торопясь, спросил:

— Что вы скажете, товарищ старший лейтенант, насчет вон той балочки?

Балочка эта огибала высоту вблизи копошившихся немцев и уходила на противоположную окраину деревни, где виднелись такие же зеленые кусты.

— Как же! — съязвил Саша. — Фрицы в этой балке дорогу тебе приготовили! Дураки они, что ли, чтоб такой обход без мин оставить?

— А чего ты мин боишься? Не видел их раньше? Фрицы мины поставили, а мы снимем!

Предложение Рогатина было принято. Ползком разведчики потянулись к оврагу. По дну его бежал ржавый ручей. Там пахло болотом, свирепствовали комары. Под коленями и локтями предательски хрустели трухлявые ветки. Впереди осторожно крался Голощапов, руками прощупывая траву. Он лучше любого сапера мог обнаружить проволоочки мин натяжного действия или усики нажимных. От его внимательного взгляда не ускользал ни один подозрительный их признак. Помята трава? Сломан сучок на кусте? Значит, надо быть начеку!.. Наконец он остановился, поманил Ромашкина, тихо сказал:

— Вот они, милые.

Приглядевшись, Ромашкин увидел на колышках железные головки с глубокими насечками. Они были похожи на ручные гранаты лимонки, только крупнее. Такая штука, если дернуть за проводок, подпрыгивает и взрывается, разбрызгивая сотни осколков. Эти «попрыгунчики» хорошо знакомы разведчикам: их можно оставить на месте, достаточно перекусить проволоочки.

Простригли проход, благополучно выбрались за деревню и уже оттуда донесли в полк по радио: «Промежуточный рубеж в квадратах 2415, 2418. В квадрате 2512 — опорный пункт. Обходы с юга минированы. Продолжаю движение в направлении 2117—2011».

За последующие пять дней группа Ромашкина раскрыла еще несколько таких рубежей. Не раз сталкивалась с врагами почти лицом к лицу, но удачно избегала боя.

Однажды разведчики увидели, как вражеские факельщики деловито обливали керосином и поджигали дома в селе. Очень хотелось выскочить из укрытия и расправиться с этими подлецами. Однако сдержали себя — не позволяла задача, которую выполняли.

На шестые сутки, когда солнце совсем уже спустилось и не грело, а лишь било в глаза тревожным

красным светом, как догорающая хата, впереди между деревьями блеснула широкая полоса воды.

Днепр!..

Все знали, что он должен показаться с минуты на минуту. И все же вид спокойной большой реки взволновал разведчиков. Чуть не бегом бросились они к воде, но остановились за деревьями, чтобы не обнаружить себя.

Только Шовкопляс не утерпел — прокрался к самому берегу, присел там в кустах, гладил воду, как живое существо, и шептал:

— Днипро мий... Днипро мий коханий... Мы прийшли...

До наступления темноты разведчики, тщательно маскируясь, вели наблюдение. Немцы укрепляли и минировали оба берега. На западном вместе с солдатами работали насильно согнанные сюда женщины. Их разноцветные косынки Василий ясно видел в бинокль.

Западный берег как бы сама природа уготовила для обороны: он высок и обрывист. Трудно преодолеть под огнем эту широкую водную преграду. Не легче и выкарабкаться на кручу того берега.

Чтобы облегчить форсирование Днепра войсками, надо собрать как можно больше вполне достоверных сведений о противнике, его укреплениях. А для этого разведчикам придется первыми переправляться на тот берег.

Впотьмах они связали два сухих дерева, поваленных бурей, прикрепили к ним вещевые мешки, одежду, оружие, а сами поплыли рядом с этим неуклюжим плотом, толкая его перед собой. На середине реки у многих стало сводить судорогой руки и ноги. Мышцы задубели от напряжения. Ромашкина тянуло на дно, как каменного. Он дробно стучал зубами, с трудом дышал — грудь словно железными обручами стянуло.

Казалось, не будет конца этому плаванью. Какое расстояние уже преодолено и далеко ли до другого берега, определить невозможно — ничего не видно. Только черная холодная вода вокруг.

Но вот впереди обозначилась, кажется, полоса более плотной черноты. Ноги коснулись донной тины. Слава богу — дотянули!

Совсем обессиленные, разведчики едва выбрались на узкую отмель. Их далеко снесло течением влево.

Полежали. Отдышались. А холод все еще сотрясал тело. Надо вставать и возвращаться в полосу своего полка. Однако берегом идти опасно: он наверняка минирован, да и наблюдатели здесь, конечно, выставлены.

— Отойдем от Днепра вглубь на километр-другой и там повернем вправо,— распорядился Ромашкин.

Выкарабкались наверх. Снова залегли, прислушались. Неподалеку пиликала губная гармошка и слышалась немецкая речь.

Поползли чуть правее и вскоре обнаружили траншею полного профиля. Земля свежая, рыли недавно. На площадке стоял пулемет. Саша зыркнул на командира — не прихватить? Ромашкин показал ему кулак.

Перебрались через траншею, пошли дальше и наткнулись еще на одну линию окопов. В темноте звучали команды, угадывалось движение многих людей. Ясно различались удары кирок о землю, звяканье лопат. Здесь работали даже ночью.

Пересекать эту линию не решились — могут заметить. Отступив назад, пошли направо вдоль окопов. Через полчаса окопы кончились, и не стало слышно ни голосов, ни шума земляных работ.

Углубившись еще на километр, разведчики втянулись в густой кустарник и решили отдохнуть здесь. За двумя рубежами вражеской обороны они почувствовали себя в относительной безопасности. Внимание немцев направлено сейчас к востоку, а группа Ромашкина сидит у них за спиной. Отсюда и днем удобно будет вести разведку.

Жук передал первые сведения о западном берегу. В ответ последовало поздравление с удачей и пожелание новых успехов.

Но утром разведчики вдруг обнаружили, что попали они в очень опасное место. Впереди и сзади копошились немцы. Неподалеку окапывались минометчики. Вскоре двое немецких солдат направились к кустам, где замаскировалась группа.

— Брать втихую,— шепнул Ромашкин.

Все напряглись.

Немцы, разговаривая, шли к ним. У одного был топор, у другого веревка. Стали рубить кустарник, наверное, для укрепления стенок траншеи. Работали они почти рядом. Василий уловил даже специфический запах: смесь одеколона и порошка от вшей. Стоило

кому-то из разведчиков чихнуть, и группа была бы обнаружена.

Затянув увесистую вязанку, немцы заспорили — кому нести. Наконец один помог другому взвалить ее на спину и, посмеиваясь, пошел сзади.

Разведчики отползли поглубже в кусты. И вовремя! Вслед за первыми двумя пришли еще четверо немцев. «А что, если сюда пожалует целый взвод?» Ромашкин старательно высматривал, куда бы скрыться, но спрятаться негде — за кустарником голые травянистые холмы.

Трудным был этот день — ни покурить, ни размяться нельзя. Только в сумерки разведчики выползли к черному пожарищу. Когда-то это был, наверное, хутор. Теперь здесь торчала одинокая печная труба, валялись закопченные кирпичи да чернели обгоревшие остатки плетня. Василий надеялся, что немцы сюда не придут, поживиться тут нечем.

Стали обследовать развалины, выбирая, где бы замаскироваться понадежнее. Можно было залечь на огороде между грядок в ботве. Можно расположиться в бурьяне вдоль плетня. Однако Саша Пролеткин нашел место получше.

Он повел Ромашкина туда, где прежде стоял, очевидно, сарай. Разгреб сапогом головешки и золу. Показался какой-то квардрат.

— Погреб,— сказал Саша.

Подожли другие разведчики, подняли обгоревшую крышку. Из черной дыры потянуло сыростью и гнилой картошкой. Саша нащупал ногой лестницу, стал спускаться вниз. Чиркнул там спичкой, и все увидели в глубокой яме бочки и ящики.

Следом за Пролеткиным спустился и Ромашкин. Осмотрел убежище, посвечивая фонариком.

— Гостиница «люкс»,— нахваливал свою находку Пролеткин.— Да еще и с закуской.— Он похлопал рукой в одной из бочек и поднес к лицу Василия крепкий соленый огурец.

— Что ж, давайте располагаться здесь,— сказал Василий.

В погребе было тесновато, но каждый нашел, где присесть. Над лазом поставили искореженную в огне железную кровать и бросили на нее остатки плетня так, чтобы сквозь них можно было вести наблюдение. И дружно все захрупали огурцами.

Саша стоял над бочкой, выпятив грудь, приговаривал:

— Соблюдайте очередь, граждане! Обжорам вроде Рогатина устанавливается норма.

Ромашкин смеялся вместе со всеми. Лишь в какой-то миг, взглянув на себя и своих орлов как бы со стороны, удивился: «Только ведь пережили смертельную опасность — и вот уже радуемся сырому погребу, соленым огурцам. Веселимся даже! И где? В тылу врага, который каждую минуту может обнаружить нас, и тогда...» Что будет «тогда», Ромашкин хорошо представлял себе, но не хотел думать об этом.

Остаток ночи использовали для разведки вражеских инженерных сооружений на берегу. Надо было поторапливаться. Полк приближался: из-за Днепра уже долетал сюда гул артиллерийской стрельбы.

Немцы тоже спешили: работа и ночью не прекращалась ни на минуту. Со всех сторон слышались удары кирок, ломов, топоров. Передвигаться между работающими можно было лишь с крайней осторожностью, чаще всего ползком.

С берега Ромашкин опять увидел широкий плес Днепра. Теперь на нем чуть дрожала, переливаясь, лунная дорожка. Вдали чернел противоположный берег. Может быть, оттуда в эту минуту смотрели сюда Куржаков, Петрович, Караваев? Они почти уверены, что натолкнутся здесь на мощнейшую оборону. Громкое название «Восточный вал», широко разрекламированное фашистами, рисовало в воображении нечто похожее на финскую линию Маннергейма — непробиваемые бетонные доты, подземные казематы, противотанковые рвы. А в действительности ничего подобного не было.

«Возможно, все это тщательно замаскировано?» — опасливо предположил Василий.

До самого рассвета ползал он по немецкой обороне, но железобетонных сооружений так и не нашел. Это его обрадовало. Теперь тревожила главным образом огромность водного пространства. Переплыть такую реку не то что под огнем, а и просто так удастся не каждому. Вспомнилось, как сам окоченел и едва не утонул прошлой ночью. А как поплывут войска? По ним будут бить из пулеметов и орудий, их будут бомбить с воздуха. Скоростных катеров и лодок нет, придется воспользоваться только подручными средст-

вами. А какая у них скорость? На примитивном плоту, на связках соломы, на пустых бочках не очень-то разгонишься!..

Утром по радио получили распоряжение: «Будьте готовы к корректировке огня». Ромашкин заранее высчитал и нанес на схему координаты целей, чтобы не тратить на это время в разгар боя.

День прошел без происшествий, если не считать, что после соленых огурцов всех страшно мучила жажда. Фляги опустошили уже к середине дня, все стали попрекать Сашу Пролеткина.

— Дернул тебя черт найти эти огурцы, запеклось все во рту,— ворчал Голощапов.

— Сожрал полбочки, конечно, запечет! И не только во рту,— огрызнулся Саша.

Дотерпели дотемна. Но и тут муки не кончились — к воде не пробраться. Ударила артиллерия, забухали разрывы, и разведчики поняли — форсирование началось под покровом ночи.

Им не было видно, что творится на Днестре. Все высоты, с которых просматривалась река, были заняты гитлеровцами. Ориентировались по артиллерийской канонаде. Она грохотала вдоль всего побережья.

Первыми форсирование начали те, кто раньше других вышел к Днестру. Главных сил ждать не стали. Успех обеспечивался прежде всего внезапностью.

Справа и слева Ромашкин слышал уже трескотню автоматов. Это означало, что какие-то подразделения успели зацепиться за правый берег. А в полосе караваевского полка еще тихо.

Василий забеспокоился: «Неужели потопили всех? Течением полк снести не могло. Он отчаливал, конечно, повыше нас, мы ведь предупредили, какая тут скорость течения».

Несколько раз мощные налеты артиллерии едва не разнесли в клочья самих разведчиков. Было и страшно и радостно: бьют-то свои!

— Дают жизни! — комментировал Саша Пролеткин, и даже в темноте было видно, как он побледнел.

— Пусть дают,— глухо отозвался Рогатин,— на реке легче ребятам будет.

— А я что, возражаю? Нехай дают,— соглашался Саша.

И вот наконец торопливая трескотня автоматов, взрывы гранат, крики — совсем поблизости. Кто-то

отчаянно взвыл, видно, напоролся на штык или нож. В первой прибрежной траншее явно завязалась рукопашная. Не терпелось выскочить и бежать на помощь своим. Пролеткин трепетал, как лист на ветру, шептал в горячке:

— Товарищ старший лейтенант, пора... Ну, товарищ старший лейтенант...

Даже спокойный Рогатин весь подался вперед, с укором поглядывал на командира.

— Подождите, хлопцы,— сдерживал их Василий,— уж если ударим, то в самый нужный момент...

Их-то успокаивал, а сам думал: «Как угадать этот момент? Может быть, он уже наступил вот сейчас, когда наши цепляются за берег? Может, осталось там несколько человек и самое время помочь им?»

Из первой траншеи все еще слышалась стрельба. Теперь и пули летели в сторону разведгруппы. Неподалеку — торопливый топот множества сапог, говор на бегу и разгоряченное дыхание.

Ромашкин огляделся. Около роты фашистов разворачивалось для контратаки. «Значит, нашим удалось зацепиться! Но сейчас ударит эта свежая рота, и что станет с теми, кто отбивается у кромки воды?»

Он не мог больше ждать. Приподнялся, взвел автомат, тихо скомандовал:

— За мной!

Разведчики поняли все без разъяснения. Они как тени пошли на некотором удалении от немецкой цепи. Возможно, кто-то из фашистов, оглянувшись, и увидел их. Но разве мог он подумать, что по пятам следуют русские разведчики!

Прозвучало громкое «Хайль!», и немецкая рота кинулась вперед быстрее. Из прибрежной траншеи на встречу ей забрызгали огоньки автоматов.

Когда до траншеи осталось совсем рукой подать и неотвратимая волна контратаки готова была захлестнуть наших, Ромашкин закричал:

— Огонь по гадам! Бей их, ребята!

Двенадцать автоматов полоснули длинными очередями в спины атакующих. Темные фигурки закувыркались, закричали, поползли по земле.

На Ромашкина бежал дюжий немецкий офицер, истошно вопя:

— Нихт шиссен! Не стреляйте, здесь же свои!

Жук встретил его очередью. А впереди почти то же самое кричал Голощапов:

— Эй, славяне! Подождите стрелять! Мы свои!

Разведчики с ходу свалились в траншею. Их обступили солдаты с того берега. Начались радостные восклицания:

— Откуда вы взялись?

— Вот выручили!

— Мы думали — хана!

— Ну, спасибо, разведчики!

Василию показался знакомым паренек, который верховодил в траншее.

— Где-то видел тебя, — не очень уверенно сказал Ромашкин.

— А как же! — воскликнул тот. — Я Пряхин. Помните, как вы из пополнения разведчиков отбирали? Я вам не понравился тогда — Кузя Пряхин...

— Ты уже сержант?

— Стараюсь!

— А чья это рота, где офицеры?

— Куржаков у нас ротным. Он ранен в руку, на том берегу остался. Если бы в ногу, говорит, ранило, все равно поплыл бы, а в руку — не смог. Взводных тоже кого убило, кто утоп. Вот я самым старшим и оказался. Вступайте теперь вы в командование, товарищ старший лейтенант.

— У тебя тоже хорошо получается. Действуй, я помогу. Сейчас вот огонька попросим! Жук, развернуть рацию!

Ромашкин не принял на себя командование потому, что разведчикам в любой момент могли поставить новую задачу. Да и не хотелось ему, по правде говоря, еще раз обижать Кузю своим неверием в него.

На середине реки зачернели не то плоты, не то лодки. «Вторая волна десанта», — догадался Василий. Белые фонтаны воды со всех сторон обступили плывущих, а потом их вовсе заслонила стена артиллерийских разрывов. Из-за этой стены кое-где выскакивали какие-то неясные предметы. Что это — доски, живые люди, погибшие?

И тут же пошла в контратаку еще одна рота противника. Отстреливались без суматохи. По траншее бегал сержант Пряхин, писклявым мальчишечьим голосом кричал:

— Патроны зазря не жечь! Боепитание — на том берегу! Норма — один патрон на одного хрица! Понятно?

— Куда понятней...— отвечали солдаты.

— Как думаете, товарищ старший лейтенант, правильная норма?

— Молодец, Пряхин, помощь будет не скоро. Видал, что на реке творилось?

— Видал...

Отбили и эту контратаку. А гитлеровцы тем временем отразили еще две попытки полка Караваяева переправиться через Днепр.

Ромашкин с нарастающей тревогой поглядывал на восток. «Скоро будет светать. Значит, на весь день остаемся без подмоги. Тяжелый будет денек...»

Отыскал глазами Пряхина. И когда тот прибежал на зов, Ромашкин окончательно убедился, что ночь уже кончилась: на лице сержанта отчетливо проступали крупные веснушки.

— Надо получше окопаться, днем нас засыпят минами,— предупредил Василий.

— Понял,— ответил сметливый сержант и понесся по траншее, отдавая распоряжение: — Всем готовить «лисы норки»!

Василий знал эти «лисы норки» со времени битвы под Москвой — убежища надежные. Нору начинают рыть прямо со дна траншеи вперед и вниз. Толща земли сверху надежно укрывает солдата от пуль и осколков. Из такой норы может выбить только прямое попадание снаряда. А это, как известно, случается из тысячи один раз.

С рассветом огляделись. Бой шел по всему берегу. Кое-где наши подразделения продвинулись на километр, а то и больше. Широкий фронт высадки лишал фашистов свободы маневра. Стоило им сосредоточить усилия на одном опасном участке, как тут же начиналось продвижение в других местах.

Ромашкин тоже воспользовался одним таким моментом и, несмотря на малые силы, ворвался во вторую траншею. Почти без потерь. Только при этом открылись фланги. Раньше крохотный плацдарм упирался флангами в Днепр, образуя что-то вроде дуги. Теперь же, отойдя от реки метров на триста, разведчики и солдаты Пряхина были открыты с двух сторон. А тут еще начала гвоздить со все нарастающей силой немецкая артиллерия.

На противоположном берегу поняли, каково им, и заставили немецкие батареи ослабить огонь. Это было очень кстати. Бойцы опять принялись рыть «ли-

сьи норы». Несколько человек Пряхин послал собирать трофейные автоматы, патроны к ним, гранаты.

— Теперь перебьемся! — сказал неунывающий сержант, подавая Ромашкину немецкий автомат и снаряженные магазины.

Буря в океане, ураган в песках, землетрясение в горах — если бы все это объединить, получилось бы, пожалуй, нечто похожее на то, что творилось здесь. Контратаки следовали одна за другой. Ромашкин едва успевал менять в автомате магазины. Даже пикировщики заходили два раза.

Появилось много раненых. Были и убитые. Из разведчиков погибли Цимбалюк и Разгонов. Василия тоже зацепило осколком в руку. Кончились бинты, перевязывать раны пришлось нательными рубашками.

Над Днепром плыла сплошная завеса пыли и дыма. Под прикрытием этой завесы с восточного берега попытались подкинуть подкрепление. Но вражеская артиллерия опять разнесла плоты в щепки. Только двое солдат вплавь добрались к Ромашкину. Мокрые, раненые, едва живые от усталости, они спрашивали:

— Ну, как вы здесь? Держитесь?

— Держимся.

— Вот и хорошо. Мы к вам, товарищ старший лейтенант, на подкрепление.

Василий невольно улыбнулся. Хоть и невелика помощь — два солдата, но они как бы олицетворяли порыв, которым были охвачены люди на том берегу. Больше верилось теперь, что оттуда поддержат при первой возможности.

По радио тоже подбадривали. Майор Гарбуз спокойным баском говорил:

— Передайте всем: форсирование идет успешно на широком фронте. Мы гордимся вами. Все вы представлены к правительственным наградам.

А гитлеровцы неистовствовали. Тоже понимали, что ночью сил на плацдарме прибавится, и старались ликвидировать его засветло. Атаковали уже и танками. Особенно угрожающее положение создалось на правом фланге. Ромашкин кинулся туда, но, пока добежал, опасность миновала. Рогатин вытирал взмокший лоб, а Саша Пролеткин нервно раскуривал сигарку. На дне траншеи валялись трупы фашистов.

— Паскуды, — дрожащим голосом ругался Пролеткин, — чуть не затоптали! Здоровые, как жеребцы!

Рогатин смотрел на своего друга с восхищением, пояснил командиру:

— Когда эти гады свалились на нас, я троих на себя принял. А Сашок упал, будто мертвый. Лежит, шельмец, и снизу постреливает. Придумал же!

Саша, напуская на себя суровость, отпарировал сердито:

— Хорошо тебе, ты вон какой: махнул прикладом — бац! — двое лежат. А я что с ними сделаю? Один по мне пробежал, до сих пор вся грудь болит. Наступил сапожищем, чуть не растоптал! — Саша лукаво подмигнул: — Ну, и я ему снизу в сиделку как дал очередь, так он из траншеи без помощи рук выскочил! Вон лежит. Ишь, харя до сих пор обиженная.

Ромашкин выглянул из траншеи, там действительно лежал рослый фашист в багровых от крови штанах.

Да, разведчики умели шутить даже в таком аду! И Василий был благодарен им за это. С такими людьми и в пекле не страшно.

В коротких перерывах между контратаками ребята успевали доложить ему обо всем, что заслуживало внимания разведки. Жук непрерывно передавал добытые сведения на левый берег...

С наступлением ночи через Днепр снова поплыли лодки, паромы, плоты. Фашисты отбивались отчаянно. Но с разбитых плотов уцелевшие солдаты выбирались только вперед.

Недалеко от Василия разорвался снаряд. Опять оглушило. Страхивая землю, осыпавшую его при взрыве, почувствовал — кто-то тянет за рукав. Перед ним стоял Жук. Его осунувшееся небритое лицо расплывалось в улыбке. Радист делал какие-то знаки, губы его шевелились, а слов Ромашкин не слышал, в ушах стоял звон.

Жук приблизился вплотную и крикнул в самое ухо:

— Всех нас к наградам представили! А вам с сержантом Пряхиным, наверное, Героя дадут. Точно говорю!

Ромашкин не верил: «Ошибка, наверное...»

А у Василия в ушах теперь не звенело, там будто свистел зимний ветер. Из всех сил Ромашкин старался устоять на ногах, стыдно было падать: Жук может подумать, что от радости лишился чувств. Однако контузия брала свое, земля колыхалась, как плот на воде. Василий ухватился за край траншеи. И траншея раскачивалась вверх-вниз, вверх-вниз, словно качели.

Наконец земля опрокинулась, и Ромашкину показалось, что он ударился спиной о твердое небо...

Сознание возвращалось к нему урывками. Иногда при этом он слышал треск автоматов, совсем надорванный фальцет Кузьмы Пряхина. Надо бы встать, помочь сержанту, но не было сил.

Потом совершенно неожиданно для себя Василий оказался на мокром берегу. Рядом хлупает вода. Мелькает множество ног в солдатских обмотках: они валяются с плотов, бегут по отмели, лезут на крутой обрыв. И совсем рядом — голос майора Гарбуза:

— Берите свободную лодку и срочно везите его в санбат. Да осторожнее!

* * *

Бело вокруг. Ромашкин будто в заснеженном зимнем поле.

Над ним склоняется какой-то тоже белый шар. Из шара смотрят знакомые веселые глаза.

— Ну как, товарищ старший лейтенант, выдюжили?

Глаза сержанта Пряхина. И голос его же, писклявый. «Что это, бред? Почему летом выпал снег? Почему так тихо? Наверное, немцы к новому штурму готовятся?»

Василий огляделся. Небольшая изба, бревенчатые стены обтянуты старыми простынями. Кузьма с забинтованной головой сидит на соседней койке. Напоминает:

— Это я, Кузя Пряхин. На плацдарме вместе хрицам прикурить давали. Помните?

«Помню... Теперь все помню. Только чем там кончилось? Не сбросили нас в Днепр?»

— Как фор... форсир... — У Василия не хватило сил выговорить это длинное слово.

— Порядок! Хворсировали! Наши жмут на запад! — прокричал Кузя.

И Василий почувствовал, что засыпает. Спокойно засыпает, а не теряет сознание.

«Не напрасно, значит, стояли мы насмерть!» — как в тумане проплыла последняя мысль.

Ранение у Ромашкина было не опасным, а контузия оказалась тяжелой: голова была какая-то пустая, он

ничего не соображал. Потом выяснилось, из-за смертельной усталости это: не спал же трое суток. А когда отоспался, отмылся, побрился, все как рукой сняло. Через неделю встал.

Полевой госпиталь располагался в деревне; избы — палаты, клуб — столовая, правление колхоза — штаб госпиталя. Меж рубленых домов мелькали сестры в белых халатиках. Раненые в нижнем белье шкандыбали на костылях по садам и огородам — приелась окопная пресная пища. Яблочко, морковка, паслен у плетня — все это лакомство. Местных жителей в деревне не было: то ли фашисты истребили, то ли угнали, а может, ушли сами, когда наши отступали на восток.

Проворный Кузьма приносил Ромашкину репу, а однажды притащил пригоршню розовой малины.

— Ешьте, товарищ старший лейтенант. Солдаты все кусты по краям начисто обобрали. А я в заросли полез — колется, проклятая, не пускает, но лез, — сам наелся от пуза и вот вам набрал...

— Кто здесь Пряхин? Иди в штаб, вызывают! — крикнул от двери посыльный, такой же, как и все, раненый, с бинтами на шее и в белых подштанниках. Только заношенная красная повязка на руке показывала, что он при исполнении служебных обязанностей.

— Зачем это я понадобился? — изумился Кузьма.

— Иди, там узнаешь, — сказал Василий и тревожно подумал: «Уж не похоронка ли? Может, у него брата убили. Или отца...»

Пряхин убежал. Он всегда передвигался бегом.

А по деревне уже гуляла новость:

— Героя дали!

— Кому?

— Да тому конопатому, у которого башка в бинтах.

— Говорят, здорово на плацдарме воевал, полку переправу обеспечил...

Пряхин вернулся в хату, сияя глазами, словно голубыми фарами. Подбежал к кровати Василия, виновато зататорил:

— Как же так, товарищ старший лейтенант?! Кабы не вы, нешто я удержал бы тот плацдарм? И теперь вдруг я Герой, а вы нет. Не по справедливости получается.

Смотрел Ромашкин на его веснушчатый нос и сияющие голубые глаза, на бинты, испачканные у рта

борщом, на рубаху с тесемками вместо пуговиц, и не верилось, что это Герой Советского Союза, тот самый Пряхин, которого он когда-то не взял в разведку.

— Поздравляю тебя,— с чувством сказал Ромашкин.

— Чего же поздравлять-то?.. А как же с вами? Напишу товарищу Калинин, не по справедливости выходит.

— Брось ты кудяхтать. Рассказывай по порядку.

— Ну, вызвали, я доложил. Сказали, Указ, мол, есть и звонок по телефону был: как поправлюсь, ехать в Москву за высшей наградой... А что, если я там, в Кремле, скажу про вас Калинин?

— Не надо. Там не полагается об этом говорить. Начальству виднее, кто Герой, кто нет. Да ты сам вспомни, через какое пекло прошел. Заслужил. Не сомневайся!

— Так вы же рядом были и командовали больше меня.

— Разберутся...

Пряхин стал знаменитостью в госпитале. Ему выдали все новое со склада — белье, простыни, даже одеяло. В процедурной девушки размотали на его голове бинты, чтобы взглянуть на Героя. Им открылась веснушчатая, лукавая физиономия с щербатыми зубами и озорными голубыми глазенками.

Девушки захихикали, и каждая втайне отметила: «А он ничего, симпатичный...»

Ромашкин радовался за сержанта, а в глубине души копилась обида. «Что же это получается? На плацдарме всеми командовал я. И Пряхиним командовал. Но вот Кузя Пряхин — Герой, а меня обошли». Захотелось сейчас же уехать в полк. Не для того чтобы выяснить, как все это произошло: неловко стало находиться рядом с Пряхиним — и ему радость омрачаешь, и у самого душу саднит.

Только каким образом выбраться досрочно из госпиталя? В прошлый раз, под Москвой, помог военврач. Там учли гибель отца, подавленное состояние. Здесь никто не поможет, причин нет.

Однако разведчик и в своем тылу остается разведчиком: он наблюдательней и находчивей других.

В госпитале работников не хватало, раненые многое делали сами. Как только встал на ноги, берись за работу: на кухне, в управлении, в палате. Медсестры

перевязывали только неходячих. Остальные сами размазывали бинты, стирали их, сушили на деревьях. Раны показывали врачу, он говорил сестре, какую наложить мазь, сестричка мазала, а перевязывали сами друг друга.

Ромашкин постоял в процедурной, послушал разговоры. Многие просили выписать их раньше, но врач — пожилой, толстый, в очках с массивными, точно луны, стеклами — говорил:

— Полежишь еще десять дней. Все. Иди.

Были и такие, кто не прочь оттянуть срок выписки.

— Эх ты, сачок! — сердился врач, разглядывая ловкача через свои очки. — Иди в управление к Нине Павловне, скажи, майор Шапиро приказал немедленно отправить тебя в часть. Следующий.

Ромашкин вернулся в палату. Собрал вещички, спрятал бинты, завязал все тесемочки на рубашке и с полной уверенностью в успехе направился в управление госпиталя.

Нина Павловна, моложавая, красивая женщина со строгими глазами, работала споро. Когда подошла очередь Ромашкина, он, глядя прямо в глаза ей, с напускной вялостью сказал:

— Шапиро велел выписать.

— Вы вроде недавно у нас, — сочувственно отметила Нина Павловна.

Ромашкин испугался, как бы не разоблачили. Решил избавиться от ее сочувствия и, разыгрывая нахала, заговорил вызывающе:

— Вот и я толкую ему, что недавно прибыл, а он ноль внимания. Не вылечат, понимаешь, и уже гонят! Окопались тут в тылу...

— Ну, ты не очень-то! — осадила Нина Павловна. — Как фамилия?

— Ромашкин.

— Если майор Шапиро велел выписать, значит, пора! — Она вписала фамилию в заранее заготовленные бланки и подала их Ромашкину.

— Получай обмундирование и на фронт шагом марш. Вояка!..

Ромашкин был настолько опытным фронтовиком, что не нуждался в указаниях о маршруте к месту назначения. Он, конечно, не поехал в резерв офицерского состава, куда выдали предписание, а вышел на шоссе, на попутных машинах добрался до своей дивизии и к вечеру очутился в родном полку.

Встретили его радостно и начальники и разведчики. Должность в разведывае была свободна, специально для него сохраняли.

— Очень уж быстро вылечился! — подозрительно сказал Гарбуз, вглядываясь в похудевшее лицо Василия, и позвал его в свой блиндаж: — Пойдем, чаем тебя напою и обрадую.

У Ромашкина так и подпрыгнуло сердце: «Могло случиться, Пряхин в одном Указе, а я в другом».

Гарбуз усадил его к столу, сбитому из снарядных ящиков. Пододвинул стакан с чаем. Начал расспросы:

— Что, парнишечка, невесел? В госпитале ничего не натворил?

— Все в порядке, товарищ майор, вылечили.

— Хорошо, если так. Ну, ладно, я очень рад тебя видеть — это раз. И поздравить с правительственной наградой — это два. Орденом Красного Знамени тебя наградили за форсирование Днепра. Орден будет вручать командующий армией.

Гарбуз пожал руку Василию и опять испытующе глянул ему в глаза. Ромашкина обдало жаром. Нет, не этой награды он ждал! Пытался ругать себя, успокаивать: «Недавно с трепетом смотрел на Красное Знамя. Самой почетной наградой считал этот орден. А теперь смотри как зазнался, даже не радуешься!»

Гарбуз тоже был почему-то невесел.

— Да, брат, и я не того ждал, — вдруг сказал он.

Ромашкин испугался: откуда замполит узнал его мысли?

— Ты давно заслужил Золотую Звезду. Сколько уже «языков» натаскал? Штук полсотни?

— Сорок пять.

— Вот видишь. Разведчикам, по-моему, надо, как летчикам, боевой счет вести. Сбил двадцать пять самолетов врага — Герой. Привел двадцать пять «языков» — тоже Герой. — Гарбуз явно был расстроен. — Звонил я в штаб армии. Говорят, командиром подразделения, которое переправилось первым и удержало плацдарм, был сержант Пряхин. А помогали ему все. И вы в том числе, товарищ Гарбуз, что же, и вам давать Героя? Вот ведь как меня подсекли. Сразу говорить расхотелось... Но ты не огорчайся, Ромашкин, мы тебя знаем. Впереди еще много будет возможностей!

Ромашкин никогда не видел его таким расстроенным и вдруг сам стал успокаивать Гарбуза:

— Не огорчайтесь и вы, товарищ комиссар, не за награды воюем.

— Правильно, Василий. Но если награды существуют, значит, давать их нужно по заслугам.

— Сержант Пряхин, по-моему, честно заслужил Золотую Звезду — он дрался геройски, командира роты заменил! И после того, как меня ранило, один командовал, плацдарм отстоял!

Гарбуз досадливо отмахнулся:

— Не о том речь. Пряхин молодец. Я в принципе...

И Ромашкин почему-то представил себе Гарбуза в его прежней роли — секретаря райкома партии — в поле, у трактора, среди колхозников. Там он был таким же — рассудительным, справедливым. И его любили. А после войны больше любить будут, потому что стал он еще душевнее, еще умнее.

— Возьмите меня с собой после войны, — попросил Ромашкин, — правда, я не знаю, что там сумею делать...

Гарбуз просиял:

— Поедем! С радостью тебя возьму. А что делать?.. Ну, первым долгом я бы всему району тебя показал, рассказал бы всем, какой ты геройский разведчик. Потом тебя избрали бы секретарем райкома комсомола. Ну, а последнего своего «языка» — самую красивую девушку на Алтае — сам высмотришь! И пойдет она к тебе в плен без сопротивления! — Гарбуз засмеялся. — А пока отправляйся в свой взвод. Мне пора к Куржакову. Он после ранения даже от медсанбата отказался, в тылах полка лечится. От безделья начал чудить: нацепил самовольно четвертую звездочку на погоны, расхаживает капитаном. По штату ему это звание положено, но не присвоили, — значит, жди. А он говорит: не могу ждать, убьют — и капитаном не похожу!

Ромашкин улыбнулся: это на Куржакова похоже! Попросил замполита:

— Вы не ругайте его. Ругайте тех, кто не представил Куржакова к званию. Сами же говорили: положено — дай!

— Ишь ты! — удивился Гарбуз. — Быстро усвоил!.. Но правильнее будет сделать так: присвоение звания Куржакову ускорить, а самого его подправить. Да, кстати, и ты поговори с ним, вы старые друзья.

— Едва ли он со мной посчитается.

— Почему же? Он тебя уважает.

— Не замечал.

— Мне Куржаков сам про тебя говорил: хороший парень этот Ромашкин, смелый и умный офицер...

Гарбуз утаил конец этого разговора, не хотел напоминать о смерти. А Куржаков сказал тогда: «Зачем каждую ночь этого мальчика гоняете на задания? Привел «языка», пусть отдыхает. Думаете, просто каждую ночь в немецкие траншеи лазить? Загубите парня, сами потом пожалеете».

* * *

В Москве гремели салюты в честь героев Днестра. Без сна и отдыха работали люди в тылу по двадцать часов в сутки — им думалось, что бойцы действующей армии вообще не спят.

У фронтовиков действительно случались периоды, когда спать почти не приходилось. Один такой бессонный месяц был на Курской дуге, другой — на Днепре. Утешали себя: «Ну, форсируем Днепр, тогда отоспимся». Не тут-то было! Немцы старались удержать Восточный вал. Все их резервы, все, кто мог ходить и стрелять, были брошены на ликвидацию плацдармов, захваченных советскими войсками на западном берегу Днепра.

На фронт, к советским воинам, приезжали делегации с подарками, бригады артистов.

Гостей допускали лишь до широкой днепровской воды и здесь останавливали. На том берегу продолжались тяжелейшие бои.

Но гостей все же надо было принимать — они выступали в госпиталях, в резервных частях, во вторых эшелонах, в штабах, на аэродромах.

Приехали гости и в полк Караваева. Кирилл Алексеевич был на НП, когда ему доложил об этом по телефону начальник тыла подполковник Головачев.

— Хорошо,— устало сказал Караваев, а сам подумал: «Вот принесло не вовремя. Что же делать?» — Ну, вы там организуйте обед, угощение, чтобы все было на уровне.

— Это понятно, все сделаем. Только они на передовую просятся. Вас хотят видеть, героических бойцов.

— Ни в коем случае! Тут такое творится, не продохнешь! Сейчас шестую контратаку отбили. Я к тебе

Гарбуза пришло, он разберется.— И, положив трубку, сказал замполиту: — Давай, Андрей Данилович, это по твоей части. Я здесь как-нибудь без тебя обойдусь, а ты займи гостей.

— Ладно,— мрачно согласился Гарбуз.— И что же там прикажешь мне делать? Они ведь героев хотят видеть!

— Не злись, Данилыч. У нас все герои. Собери в штабе свободных офицеров да возьми Ромашкина с разведчиками — им сейчас тут делать нечего. Забери и Початкина с его саперами. Вот тебе и герои!

— Это же резерв.

— Не одни они в резерве. Продержимся и без них. У фашистов тоже не бездонная бочка. Смотри, сколько их уложили за день.— Караваев кивнул на поле, усеянное мертвыми вражескими солдатами.— Устоим. Не беспокойся, Андрей Данилович. Я еще в первый батальон позвоню, чтоб к тебе послали натурального Героя — сержанта Пряхина. Вот и будет полный комплект...

Так неожиданно-негаданно Ромашкин попал в разгар боя на торжество.

Переправившись на левый берег, разведчики забежали, конечно, к старшине Жмаченко. Почистились, приделались, нацепили ордена и медали.

— Ось як на українській землі, воювати, так с музикою! — гордо сказал Шовкопляс.

— Рано мы пируем,— возразил Голощапов,— немец может такую «барыню» сыграть, что в Днепр, как лягушки, прыгать станем.

— Не для того лезли на плацдармы, чтоб назад драпать! — пробасил Рогатин.

— Не кажи гоп, покуда не перескочишь... Хотя мы уже перескочили! — посмеивался Шовкопляс.

— погоди, немцы наскипидарят тебе одно место, поглядим, куда ты ускочишь,— задибался Голощапов.

Ромашкин привинтил на новую гимнастерку все свои награды. К первой его медали «За боевые заслуги» давно прибавились медаль «За отвагу» и два ордена Красной Звезды. Подумал: скоро еще за Днепр Красное Знамя вручат...

Жмаченко разглаживал на ребятах складки, одергивал, расправлял гимнастерки. Взмокший и красный от усердия, то и дело вытирал платком круглое лицо, лысину, шею.

— Ты тоже одевайся, с нами пойдешь,— сказал Василий старшине.

— Куда мне! — вздохнул с завистью Жмаченко.

Ромашкин понял этот вздох по-своему: «У него и на грудь-то нацепить нечего. Как же мы проглядели? Сколько добрых дел старшина сделал! Разведчики всегда одеты, обуты, сыты. А ведь часто, разыскивая взвод, старшина нарывается на фашистов, отбивается от них. Он сам себе и разведка, и охрана, и транспорт — сам ищет взвод, на себе тащит термосы, мешки с продуктами. Да, не отблагодарили мы старшину! Интенданты в больших штабах ордена получают — и правильно! — а мы своего кормильца, который не меньше других опасностям подвергается, забыли. Не хорошо. Сегодня же с Гарбузом поговорю».

Недалеко от штаба в машине с брезентовым тентом бойкая, веселая женщина продавала конфеты, папиросы, иголки, нитки, пуговицы — прибыл военторг.

К Василию подошел Початкин:

— Слушай, у нее там целая бочка вермута. Давай нальем в те бутылки на всякий случай. А то хватится батя, голову Гулиеву оторвет.

— Правильно. Где бутылки?

Женька принес ящичек. Подошли к машине, подали все сразу.

— Наполните, пожалуйста.

— Обмануть кого-нибудь хотите? — догадалась продавщица.— Ух какие пузырьчики красивые!

— У нас на фронте без обмана,— отрезал Початкин.

— Какой серьезный! — Продавщица обиженно поджала губы и подала бутылки с вермутом.

Василий и Женька тут же стали пробовать.

— Ну и дрянь! — сказал Ромашкин.

— Жженой пробкой пахнет,— поддержал Початкин.— А-а! — махнул он рукой.— Ничего, на немцев свалим: у них, мол, кто-то в эти красивые бутылки дряни налил.

— Давай хоть горлышки сургучом запечатаем,— предложил Ромашкин и принес из штабной землянки палочку сургуча. На спичках растопили его и накапали на горлышки.

— У меня еще вот что есть,— сказал Василий.

Из кармана он достал немецкие монеты, прищелкнул одною из них, как печатью, теплый сургуч.

— Здорово получилось! — оценил Женька.

Отнесли ящичек Гулиеву и заторопились на концерт.

Приезжие артисты выступали под открытым небом. Сцену соорудили из двух грузовиков с откинутыми бортами. Зрители сидели на траве. Немолодой конферансье Рафаил Зельдович, в черном костюме с атласными лацканами и платочком в нагрудном кармане, сиял улыбкой и сыпал шутками. Сам спел пародийную песенку о старом часовщике и отбил под нее чечетку:

Часы пока идут, и маятник качается,—
И стрелочки бегут, и все как полагается...

Песенка кончалась словами о скорой гибели гитлеровской армии, которая, как старые часы, пока еще воюет, но конец ее близок. Эту песенку, как всегда, слушатели хорошо приняли, бурно зааплодировали.

Потом блондинка в длинном с блестками розовом платье — Агния Ковальская — пела «Синий платочек». Ей аплодировали еще усерднее. Затем баритон Сидор Гордов, совсем уже пожилой, но с тщательно выбритым, напудренным лицом, во фраке и накрахмаленной манишке, исполнил «Жди меня» и «Темную ночь».

Все эти песни вызывали у Ромашкина тихую грусть: возможно, ему так и не придется испытать ни настоящей любви, ни женской нежности — за Днепром гудели взрывы, до Берлина далеко, сотни ночей еще надо будет ползать за «языками»...

После концерта артистов пригласили пообедать со знатными людьми полка. Столы стояли на опушке леса, недалеко от того места, где проходил концерт. Гарбуз, взявший на себя роль тамады, сидел под березой, рядом с подполковником Головачевым. Он объяснил гостям, почему командир полка не может сам приветствовать их, и предложил первый тост за труженников тыла, которые все дают для фронта и для победы. И когда все выпили, представил:

— Познакомьтесь, пожалуйста, с Героем Советского Союза сержантом Пряхиным. Первым переправился через Днепр, заменил раненого командира роты кашитана Куржакова, захватил и удержал плацдарм. Все, кто уцелел с ним на плацдарме, были ранены по два-три раза. Сам Пряхин тоже совсем недавно вер-

нулся из госпиталя. Золотая Звезда ему еще не вручена. Но он Герой — был Указ Верховного Совета.

Пряхина бурно приветствовали. А он покраснел так, что веснушки на лице исчезли, и казалось, вот-вот кровь брызнет через поры.

— Скажи что-нибудь гостям, товарищ Пряхин,— попросил Гарбуз.

— Куда мне! — еще более смутился сержант и согнулся так, будто хотел шмыгнуть под стол.

Ромашкин вспомнил, как Пряхин на плацдарме носился по траншее, подбадривал визгливым фальцетом бойцов, сам бил фашистов из автомата и в рукопашной гвоздил их прикладом. Стало обидно, что гости могут не оценить сержанта по достоинству. И Ромашкин неожиданно для себя поднялся.

— Товарищи, Пряхина надо было видеть там.— Василий кивнул на ту сторону Днепра.— Он не всегда такой застенчивый. В бою выделяется смелостью. Словом, настоящий Герой. Рядом с ним воевать легче.

Гости снова зааплодировали, а Гарбуз тут же пояснил:

— Своего боевого друга вам представил наш прославленный разведчик старший лейтенант Ромашкин. Он привел сорок пять «языков». В бою за плацдарм был рядом с Пряхиным и награжден орденом Красного Знамени.

Из-за спины замполита Василию лукаво улыбалась чернобровая физиономия Гулиева. В руках у него был тот злополучный ящик, похожий на этюдник.

Ромашкин обменялся встревоженным взглядом с Початкиным. А Гулиев уже тянулся на цыпочках к уху Гарбуза, торопливо шептал что-то.

— Очень хорошо! — громогласно объявил Гарбуз.— Командир полка прислал нам трофейный гостинец.

— Какая прелесть! — воскликнула Ковальская, увидав уложенные на плюше красивые бутылки с яркими наклейками.

— Таким чудесным вином сейчас могут угостить только на передовой,— многозначительно сказал Зельдович.

«Ты попробуй сначала, а потом уж нахваливай»,— мысленно упрекнул его Ромашкин.

Замполит налил всем понемногу из первой бутылки.

— Очень приятное вино,— одобрила Ковальская.

— Какой-то особый привкус,— неопределенно высказался Зельдович.

Баритон помалкивал. «Этого не проведешь»,— подумал Василий.

И тут в небе загудели «юнкерсы». Застолье притихло, все подняли головы вверх. Зенитки, словно кашляя, ударили по самолетам. Черные облачка взрывов повисли в вышине. Но бомбардировщики все-таки построились в карусель и стали пикировать на тот берег, на плацдарм.

— Наших бомбят,— сказал Гарбуз и поднялся.— Значит, готовят сильную контратаку.

Все встали. Гарбуз оглядел присутствующих, как-то жалко улыбнулся гостям:

— Извините нас, товарищи, мы должны идти. Там сейчас очень трудно. Оставляем вас на попечение подполковника Головачева.

«Юнкерсы» сбрасывали бомбы порциями, чтобы подольше держать защитников плацдарма в напряжении. Однако не успела их карусель сделать и два круга, как появились наши истребители. Один «юнкерс» задымил сразу. Еще один сперва завалился на крыло, а потом тоже рухнул на землю. Третий бомбардировщик окутался дымом уже вдали, над немецкими позициями.

— Вот это артисты! — восторженно сказал Зельдович.

А за Днепром все азартнее била артиллерия. Перекрывая общий гул, иногда с треском рвались тяжелые мины. Гарбуз в сопровождении Ромашкина, Початкина, Пряхина, всех разведчиков и саперов, только что сидевших за столом, бежал к переправе.

На противоположном берегу из кустов выскочил навстречу им сержант с перевязанной головой.

— Товарищ майор, дальше нельзя: гитлеровцы.

— Какие гитлеровцы?! — вскричал Гарбуз.— А где командир полка? Караваев где?

— Там, на высотке. И батальоны там. Фашисты их обошли. С фланга прорвались.

— А вы почему здесь?

— Мы раненые. На переправу шли. А пока вот держим фрицев.

- Сколько вас?
- Человек двадцать. Еще связисты подходят.
- Где немцы? Много их?
- Рота, не меньше. Вон там, в старых траншеях,

засели.

Гарбуз посмотрел в бинокль, куда показывал сержант, приказал:

— Ромашкин с разведчиками и ты, Початкин, со своими — за мной!

Всех, кто прибыл с ним, Гарбуз повел вдоль берега, прикрываясь обрывом. Потом они вылезли наверх и по кустам приблизились к траншее, занятой фашистами. Их заметили, начали обстреливать из минометов и пулеметов. Группа залегла.

— Огонька бы,— вздохнул Гарбуз.

Пряхин чиркнул трофейной зажигалкой.

— Не такого, артиллерийского,— улыбнулся замполит. Мокрые волосы прилипли к его лбу, он насто-роженно вслушивался.

Вдали кипел бой, рычали танки, слышались взрывы гранат и длинные пулеметные очереди.

— Надо выручать командира,— сказал Гарбуз.

— Давайте ударим напропалую,— поддержал замполита Пряхин.— Нас тоже почти рота. На плацдарме в первый день у меня двенадцать человек было — ротой считали. А тут вон сколько людей. Да каких! Одни разведчики чего стоят!

— Ишь ты, заговорил! Что же за столом молчал? — спросил Гарбуз.— Беги, Пряхин, к тем раненым и всех, кто может встать, подними в атаку. Отвлечешь фрицев на себя, а мы здесь ударим.

— Есть! — крикнул сержант и побежал исполнять приказ.

— Сколько у нас, Ромашкин, патронов, гранат?

— На одну атаку хватит.

— Давайте поближе подползем.

— Вы бы остались здесь,— не то попросил, не то посоветовал Ромашкин.— Мы сами все сделаем.

— Ты думаешь, я только тосты могу произносить?

— Не знаю вас, что ли?

— Вот и не обижай,— пожурил Андрей Данилович и пополз вместе со всеми.

Из прибрежных зарослей затрещали автоматы, донеслось жиденькое «ура!». Василию показалось, что он слышит тонкий, визгливый голосишко Кузи Пряхина.

— Жаль, если Пряхина убьют. И Золотую Звезду не поносит,— сказал неожиданно Гарбуз. Поднялся во весь рост и скомандовал: — Вперед, за мной!

Ромашкин, привыкший действовать тихо, подумал: «Надо бы и здесь без шума, без «ура!» подползти по кустам ближе». Но саперы и все, кто примкнул к их группе, уже закричали «ура!» и, стреляя на ходу, кинулись к траншее.

Немецкие пулеметы заработали остервенело. Ветки, срезанные пулями, посыпались на головы атакующих. Пулеметчики взяли высокогато, и это спасло многих.

Рогатин, взмахнув ручищей, на бегу добросил гранату до пулемета и тут же метнул вторую. Два взрыва грохнули почти одновременно.

Разведчики выбежали из кустов. Ромашкин заметил, что один пулемет свалился набок, а у другого что-то заело, и зеленые в касках пулеметчики лихорадочно дергают затвор. «Успеют или не успеют? — пронеслось в голове.— Если успеют, нам крышка. Да что же это я!» — спохватился он и, прицелясь, дал очередь из автомата. Пули взбили землю возле пулемета.

Разведчики вбежали на взгорок, где была траншея, и, не спускаясь в нее, ринулись поверху, стреляя в мелькающие под ними каски. Вражеские солдаты сталкивались на поворотах траншеи, лезли через убитых.

Рядом с Ромашкиным зарокотал пулемет. Василий оглянулся. Из немецкого пулемета шпарил по немцам Пролеткин. Он устранил задержку и теперь, уткнув приклад в живот, волоча по земле длинную ленту, как метлой, мел огнем впереди себя.

— Давай, давай, чертенок! — весело поощрил его Гарбуз.

Гитлеровцы сбились кучей в конце траншеи, мешая друг другу, пытались еще отстреливаться. Но когда Саша Пролеткин полоснул из пулемета в самую их гущу, оттуда послышались крики, стоны и знакомое «Гитлер канут!».

— Хендс хох! — приказал Ромашкин.

Несколько рук поднялось из траншеи.

Початкин побежал было к ним, но Ромашкин схватил его за гимнастерку.

— Погоди, не горячись. Может, руки подняли не все!

Женька остановился.

И тут произошло непоправимое. Из траншеи раздался одиночный выстрел. Немцы присели, опасаясь ответного огня.

— Вот видишь.— сказал Ромашкин и услышал, как позади кто-то свалился.

— Комиссар! — жалобно крикнул Саша Пролеткин.

Ромашкин оглянулся и увидел Гарбуза на земле. Струйка крови текла с виска под воротник гимнастерки.

— Товарищ майор! — позвал Ромашкин, склоняясь над Гарбузом и уже понимая, что тот мертв.

За спиной опять загремели выстрелы и взрывы гранат. Ромашкин догадывался, что там происходит, но даже не оглянулся. Держал холодеющую руку Гарбуза и шептал:

— Я же говорил вам, Андрей Данилович, не надо. Мы бы сами...

Шестеро разведчиков унесли Гарбуза на плащ-палатке к переправе.

Оттуда Ромашкин позвонил на НП полка, доложил о беде. Караваяев долго молчал, только слышно было его дыхание в трубке, потом чужим, одеревеневшим голосом приказал:

— Выносите Андрея Даниловича на тот берег. Хоронить будем всем полком.

— А на кого оставим плацдарм?

— Свято место пусто не бывает. Ночью нас сменят...

На левом берегу, где совсем недавно некому было слушать концерт, теперь стало многолюдно. Подходила свежая дивизия. Усталые солдаты рассаживались на косогоре и, пока паром перевозил через Днепр очередное подразделение, успевали прослушать и просмотреть весь не слишком обширный репертуар оказавшихся здесь артистов. Уплывала одна партия бойцов, подходила другая, и снова все в том же порядке выступали Зельдович, Агния Ковальская, баритон Гордов и балетная пара.

Когда разведчики поднимались по трапу с тяжелой своей и скорбной ношей, Ковальская пела:

...Как провожала и обещала
Синий платочек беречь...

Конферансье Зельдович узнал их, заметно заволовновался. Ему подумалось почему-то, что погиб тот

симпатичный рыженький Герой, который не умел говорить. Такой молодой, совсем мальчик...

Объявив перерыв, артисты побежали к опушке леса, где их угощали обедом. Агния Ковальская, придерживая подол своего красивого розового платья, семенила по лугу в лакированных туфлях. Ей помогал, подхватив под руку, баритон во фраке.

Вокруг тела, накрытого зеленой плащ-палаткой, стояли без пилоток их первые зрители.

— Кто это? — спросила Ковальская, кусая губы.

Ромашкин не мог выговорить ни слова, знал: голос задрожит и он расплчется. Молча приподнял край палатки, показал лицо Андрея Даниловича.

— Ах! — вскрикнула Ковальская, и из глаз ее покатались слезы...

...Ночью остатки полка были выведены во второй эшелон.

Гарбуза похоронили под той самой березой на опушке, где он вчера принимал гостей, правил застольем. На похоронах Караваев произнес недлинную, но очень трудную для него речь. Подполковник часто умолкал, и все опускали при этом глаза, как бы давая возможность командиру собраться с силами. Караваев снова начинал говорить и опять замирал на полуслове.

А Ромашкин видел перед собой далекое алтайское поле, залитое солнцем, на котором никогда не бывал, но которое отлично представлял себе по рассказам Гарбуза. На поле этом урчали тракторы, разворачивались комбайны, толпились колхозники. Только не было здесь секретаря райкома Гарбуза.

Когда прогремел прощальный залп, в задних рядах кто-то тихо спросил:

— Где тут артисты?

— А в чем дело? — оглянулся Зельдович.

— Мы на тот берег идем. Ну, и хотели бы... как всем, которым вы до нас... — смущенно просил загорелый усатый старшина.

* * *

В полк прибыл новый замполит. Караваев представил его офицерам штаба и командирам батальонов. Все посмотрели на вновь назначенного и невольно — на могилу Гарбуза под раскидистой березой. Ромаш-

кин узнал подполковника Линтварева — того самого батальонного комиссара, с которым лежал в госпитале. Помнил Василий и неприятный разговор с Линтваревым по поводу киножурнала о параде на Красной площади. Линтварев был в хорошо отутюженной форме, два ордена Красной Звезды поблескивали на его груди. Лицо у подполковника, как и тогда в госпитале, гладкое, глаза серьезные, умные.

Его первое указание всем понравилось краткостью и деловитостью:

— Дайте людям хорошенько выспаться. Мы организуем баню, постарайтесь соблюдать график, надо, чтобы все успели помыться. Последнее время, в боях, вам читать было некогда. Я привез с собой целую кипу газет, пришла вам. Полистайте старую прессу — там много интересного. — Линтварев заметил, что командиры поглядывали на могилу Гарбуза, и сказал: — Я хорошо знал Андрея Даниловича. Вместе с вами, товарищи, я переживаю тяжелую утрату. Много раз мы встречались с ним, часто говорили по телефону. До назначения в полк я работал в политотделе нашей же армии. Мы постоянно были связаны по службе.

Василий понимал — нет оснований для неприязни к новому замполиту. Короткого инцидента в госпитале для этого вроде бы недостаточно. Но все же неприятен ему был этот человек, а чем, он объяснить не мог.

Сразу после совещания в роты прибежали связные из штаба, зазвонили телефоны, которые успел и здесь, на отдыхе, наставить капитан Морейко. Срочно объявлялось построение полка.

На большой поляне Василий увидел три запыленные легковые машины. Там, разговаривая, стояли генералы. В стороне от других прохаживался, заложив руки за спину, маршал — государственный герб и большая звезда виднелись на его погонах.

Когда полк был построен и маршал подошел ближе, Ромашкин узнал — это Жуков!

Маршал поблагодарил всех за стойкость и мужество, проявленные при небывалом в истории войн форсировании такой водной преграды на широком фронте.

— Только вам — советским воинам — оказалось это под силу!

Подполковник Колокольцев стал читать список награжденных. Первым вызвал Героя Советского Союза

Пряхина. Быстрой походкой Кузьма подбежал к столу. Жуков впервые за все время улыбнулся:

— Спасибо тебе, сержант Пряхин!

— Служу Советскому Союзу! — браво пропищал Кузьма, и маршал опять улыбнулся.

— Молодец, хорошо служишь! — Он подал ему кумачовую папку — Грамоту Верховного Совета, на ней в раскрытой коробочке горела солнцем Золотая Звезда, а в другой — переливался теплым золотом орден Ленина.

Пряхин вернулся в строй, соседи тут же помогли ему прикрепить награды. Все с любопытством косили глазами на Героя, но порядок в строю не нарушали.

— Капитан Куржаков награждается орденом Красного Знамени, — вызвал начальник штаба.

Григорий пошел к столу, придерживая руку на черной повязке. «Не ранило бы его в начале форсирования, сейчас был бы Героем», — подумал Ромашкин. Давно уже Василий не испытывал неприязни, с которой началось их знакомство, он уважал Куржакова и втайне даже преклонялся перед его храбростью, понимал теперь причины его злости и грубости. Когда человек в бою отдает себя всего без остатка, как Куржаков, ему можно простить любую резкость. Правда, Ромашкину не нравились пьяные выходки Куржакова и даже не они сами, а последствия, к которым могли привести. Совсем недавно обнаружил Куржаков густые заросли малины в нейтральной зоне и взбеленлся:

— Не позволю фрицам жрать нашу малину!

Приказал вырыть ход сообщения, провел телефон и велел бойцам:

— Съесть всю малину!

Колокольцев, узнав о новом его фортеле, спросил по телефону:

— Где вы находитесь?

Куржаков, не моргнув глазом, ответил:

— В малине!

— Перестаньте шутить, возвращайтесь на свой НП, — приказал Колокольцев.

— А у меня здесь вспомогательный НП, товарищ подполковник. Дадите команду вперед, а я уже впереди!

— Хватит, Григорий Акимович, пошутили — и довольно, — устало сказал Колокольцев.

Куржаков уважал начальника штаба — вернулся.

...Следующим для получения награды был вызван Иван Петрович Казаков. Ему тоже вручили орден Красного Знамени. Потом настала очередь Ромашкина. С бьющимся сердцем строевым шагом он подошел к маршалу и с любопытством посмотрел ему в лицо. Низкие темные брови и тяжелый подбородок с глубокой ямкой посередине делали его суровым, а глаза у маршала оказались добрыми.

«Это сейчас они добрые, когда награды вручает», — подумал Ромашкин, он слышал много рассказов о крутости Жукова. Действительно, когда маршал появлялся на каком-нибудь участке фронта, люди сразу чувствовали его твердую волю. Жуков не терпел неисполнительности и неточности, за каждую оплошность взыскивал с виновных строго, и никто никогда не осуждал маршала, потому что все видели — взыскивает он справедливо, желая избавить войско от больших потерь и ускорить победу. Ромашкин слышал, как недавно в соседней дивизии Жуков обнаружил, что в одном полку плохо подготовились к наступлению: то ли устали, то ли поленились там работники штаба. «Пойдете сами со стрелковыми ротами, — сказал им Жуков. — Переносить срок общего наступления я не могу. Убедитесь, как трудно воевать солдату при таких организаторах, как вы».

Маршал крепко пожал руку Ромашкина. Взяв коробочку с орденом, Василий ответил, как все:

— Служу Советскому Союзу!

Чтобы ускорить вручение наград, генералы стали помогать маршалу.

Разведчики Рогатин, Пролеткин, Голощанов получили ордена Отечественной войны второй степени, все остальные, кто был с Ромашкиным и Пряхиным на плацдарме, — Красную Звезду. Много орденов и медалей осталось на столе в коробочках — кому они были предназначены, лежали в земле или на дне реки.

Потом Василий и все награжденные слушали концерт, на этот раз его дал фронтовой ансамбль песни и пляски.

Маршал и генералы на концерт не остались: впереди шел бой, и у них были свои заботы. После концерта обедали — каждая рота, батарея своей семьей. Ромашкин посидел с разведчиками, почувствовал, когда разговоры были в разгаре, что стесняет

ребят, и незаметно ушел в штаб. По дороге он встретил Початкина.

— Пойдем к Люленкову,— предложил тот,— там ордена обмывают.

Штабные офицеры охотно приняли их в свою компанию. Заставили Ромашкина снять новый орден, положили в кружку, налили водки.

Это была фронтовая традиция — так обмывали и ордена и новые звездочки на погоны. Ромашкин выпил, достал орден и поцеловал его на закуску — так тоже полагалось.

— Молодец. Дай бог тебе еще! — сказал Люленков Ромашкину.

Орден пошел по кругу, его стали рассматривать инженер Биркин, химик Гоглидзе, связист Морейко, писаря и машинистки, которые сидели здесь за общим столом.

В этот день Ромашкин побывал с Женькой у Ивана Петровича Казакова и у Куржакова. Их ордена тоже обмыли. Вечером, уже пошатываясь, Ромашкин опять оказался в штабе. Здесь остались одни офицеры, они курили, рассказывали анекдоты. Ромашкин подсел к ним, послушал и посмеялся вместе со всеми.

Может быть, все обошлось бы благополучно, если бы не перепили на бывальщины.

— Вот случилась однажды, братцы, со мной такая петрушка...— Гоглидзе рассказал, как он встретил в поезде женщину и внезапно полюбил ее.

Потом говорил Биркин. За ним опять Гоглидзе. Это был обычный мужской разговор, такой, когда, не называя имен, вспоминают о женщинах, встреченных давно, и говорят чаще всего с явным домислом, чтобы слушателям было интереснее. Такие рассказы никого не унижают и воспринимаются как анекдоты.

Но вдруг Морейко, разгоряченный выпитым, решил перехлестнуть всех.

— Вот здесь у меня в блокнотике...— Он достал из кармана блокнот с потертыми краями, похлопал по нему белой, будто женской, рукой.— Здесь записаны все, сколько их было.— Он стал читать: — Зиночка из Саратова, Нюрочка из Краснодара...

Ромашкину стало не по себе, он увидел длинный список имен, мокрые губы Морейко, его похотливые масляные глаза. Не помня себя, Ромашкин вдруг встал и влепил увесистый боксерский хук в лицо Морейко.

Тот упал на спину, выронил блокнот и несколько секунд лежал, ошалело моргая глазами. Кровь полилась из его разбитых губ. Пошатываясь, Морейко медленно поднялся.

— За что? — спросил он, вытирая рот и размазывая кровь по щеке.

— Правильно, слушай, сделал! — сказал Гоглидзе.

— За что? — спросил еще раз Морейко и, подвигав губами, выплюнул зуб. — Ты мне зуб выбил.

— И второй выбью, — сказал Ромашкин, угрожающе сжав кулаки.

Люленков и Биркин встали между ними.

— Что я такого сделал? — спрашивал Морейко. — Я старше его по званию...

— Ладно, потом разберемся, — сказал Люленков и увел Ромашкина к разведчикам. — Ложись, спи. Ну, натворил ты дел! Хорошо, если все обойдется тихо. Вы, ребята, его никуда не пускайте.

Однако скандал замять не удалось. Утром новый замполит увидел начальника связи со вздутой, посиневшей губой, без переднего зуба, отозвал его в сторону и выяснил, в чем дело.

Немедленно Линтварев сообщил в политотдел дивизии — скрывать такие грехи ему не было смысла. Пусть все видят, в каком состоянии он принимает полк.

Караваев, узнав о случившемся, хмуро спросил Линтварева:

— Почему не доложили мне, а сразу в политотдел?

— Это моя работа, товарищ подполковник, и я бы хотел сам выполнять возложенные на меня обязанности, — ответил холодно Линтварев и подумал: «Надо с первого дня поставить все на свои места, подмять себя не дам».

— Насколько мне известно, вы не комиссар, а мой заместитель. Поэтому прошу не обходить меня при решении любых вопросов.

— Я не только ваш зам, я представитель партии.

Караваев пристально посмотрел на Линтварева: «Вон ты какая птица! Значит, кончилась дружная жизнь в полку. Эх, Андрей Данилович, как же мы тебя не уберегли?! Уж если кто был представителем партии, так это ты». Линтвареву ответил жестко, с уверенностью в своей правоте:

— Нам в полку «представителей» не надо. У меня такой же партийный билет, как и у вас. Партия не

случайно отказалась от комиссаров. Вы должны это знать лучше меня. Ваш предшественник Андрей Данилович Гарбуз, даже будучи комиссаром, никогда не «комиссарил», а был нашим боевым товарищем.

— Наверное, поэтому в полку происходят пьянки и драки офицеров,— твердо сказал Линтварев.— Младшие выбивают зубы старшим. Докатились!

Караваев побледнел — факт есть факт, но как объяснить этому «представителю», что происшествие — единственный случай? И надо еще разобраться: может, Ромашкин отчасти прав? Но командир понимал — говорить с Линтваревым бесполезно, сейчас он неуязвим.

Линтварев считал первую стычку выигранной. Его донесение в политотдел было написано так, что начальник политотдела полковник Губин решил выехать в полк немедленно и сказал об этом комдиву.

— Я тоже поеду,— ответил генерал Доброхотов.

Он только что говорил по телефону с Караваевым, тот обиженно докладывал:

— Если мне перестали доверять и прислали «представителя», тогда лучше снимайте сразу.

«Караваев и его полк всегда были на хорошем счету,— думал Доброхотов,— да и этот Ромашкин — отличный офицер. Что там у них вдруг перевернулось? Конечно, Караваеву после гибели Гарбуза трудно сразу принять нового замполита. К тому же новый, наверное, не понял чувств командира к погибшему Гарбузу и сразу стал показывать свой характер.— Генерал посмотрел на полковника Губина, который сидел рядом в машине.— Вот Борис Григорьевич — прекрасный политработник и своим положением пользуется тактично, умело. Или член Военного совета армии Бойков — огромной властью наделен человек, а как осторожно употребляет ее! Гарбуз-то был, по сути дела, гражданским человеком, но каким замечательным политработником он стал! И как дружно работали они с Караваевым. Почему новый замполит не нашел с ним общего языка?»

— А кто такой Линтварев, что за человек? — спросил Доброхотов.

Губин слышал: Линтварев чем-то провинился и в полк направлен не по доброй воле. Но, желая поддержать его на новом месте, не стал говорить комдиву о слухах.

— Линтварев опытный политработник,— ответил он кратко,— направлен к нам из политотдела армии, он там служил.

Приехав в полк, командир дивизии и начальник политотдела вызвали виновников происшествия. Выяснив несложные обстоятельства, генерал попытался помирить офицеров:

— Я знал вас, товарищ Ромашкин, как боевого разведчика, дисциплинированного офицера. И вы, капитан Морейко, давно и неплохо служите в полку, вам, полагаю, не безразлична его честь. Ну, повздорили. Бывает. Вы извинились перед капитаном, товарищ Ромашкин?

— Нет, товарищ генерал,— ответил Василий и подумал: «За что я должен перед ним извиняться? Я бы ему с удовольствием еще раз по роже дал».

— Ну, тогда извинитесь — и делу конец.

Ромашкин молчал.

Такой исход событий Линтварева не устраивал. Ему хотелось, чтобы остался письменный след о происшествии, чтобы в любом случае можно было опереться на эту бумагу: станет дисциплина лучше — а вот что прежде было; ухудшится — смотрите, какие тут мордобои происходили еще до моего приезда.

Ромашкин не ответил генералу, молчал. И Линтварев сейчас же этим воспользовался:

— Вот видите, товарищ генерал, как ведет себя Ромашкин. Я считаю: это не дисциплинарный проступок, а преступление со всеми вытекающими последствиями. Избил капитана, к тому же при исполнении служебных обязанностей: Морейко был дежурным по штабу. Ромашкина следует судить. Это будет уроком и для других.

— Он храбро воевал,— попытался защитить генерал.— Смотрите, вся грудь в орденах.

Линтварев решил не сдаваться и выложил главный свой козырь.

— Я знаю старшего лейтенанта давно, мы лечились после ранения в одном госпитале. Еще там не понравились мне его разговоры: он выражал сомнения по поводу речи товарища Сталина на Красной площади седьмого ноября.

Дело принимало скверный оборот. Доброхотов хорошо знал, какие могут быть последствия при политических обвинениях. Он был уверен, что если Ромашкин и сболтнул какую-то глупость, то, конечно, не по

злому умыслу. «Нет, надо парня выручать». Чтобы быть объективным и заручиться поддержкой Губина, генерал спросил:

— Как думаешь, Борис Григорьевич?

— Обвинения подполковника Линтварева серьезные, надо разобраться,— задумчиво произнес Губин.— Обстоятельно следует разобраться,— подчеркнул он.

Генерал с досадой подумал: «Следствия, допросы, протоколы... Затаскают, погубят парнишку. Нет, откладывать дело нельзя, выяснить надо сейчас. Виноват — пусть отвечает, нет вины — нечего мытарить человека».

— Что ты там наговорил? — резко спросил Доброхотов разведчика.

— Пусть подполковник сам скажет,— огрызнулся Ромашкин.

— Вот видите, какой это озлобленный человек,— тут же сказал Линтварев.

— Да бросьте вы хаять его! — вмешался Караванов.— Мы знаем Ромашкина не хуже вас. Факты выкладывают, факты!

— Так что же он говорил? Что вас насторожило? — спросил генерал, нацелив колкие глаза и кустистые брови на Линтварева.

— Я точно не помню, но он сомневался по поводу каких-то слов товарища Сталина.

— Каких именно слов? — Доброхотов обратился к Ромашкину.

— Я был в сорок первом седьмого ноября на параде в Москве. Тогда шел снег, все мы и товарищ Сталин были в снегу. А в кинохронике перед товарищем Сталиным снег не падал и пар у него, когда говорил, изо рта не шел. Вот я и спросил: почему?

— Кого спросил?

— Да так, никого, сам себе сказал.

— И это вся «политика»? Мы тоже были на параде, снег действительно падал.— Генерал опять повернулся к Линтвареву.— Что вы усматриваете в этом подозрительного?

— Смысл не только в этом снеге. Окружающие слышали высказывание Ромашкина, он заронил сомнение. А зачем? Мне кажется, нашему особому отделу не мешает поинтересоваться этим.

«Ну, опять его понесло»,— раздраженно подумал Доброхотов и, чтобы разом всему положить конец, поднялся и громко объявил:

— Старшего лейтенанта Ромашкина за оскорбление капитана Морейко, старшего по званию, отправить в штрафную роту! Письменный приказ получите сегодня же.

Доброхотов расстроился оттого, что не смог защитить хорошего офицера и что в дивизии завелся такой человек, как Линтварев. Из-за этого Линтварева он, комдив, вынужден был принять крутое решение.

— Черт знает чем приходится здесь заниматься, когда люди на том берегу жизни кладут! — шумел генерал. — Вы, Караваев, наведите порядок в полку и будьте готовы завтра же выступить на плацдарм. Хватит, наотдыхались! Отличились!

Генерал и начальник политотдела уехали.

Ромашкину все сочувствовали: и Колокольцев, и Люленков, и офицеры штаба. Казаков и Початкин не отходили от него. Вызвал и Караваев.

— Садись поешь, наверное, не завтракал и не обедал сегодня? Ты вот что... Ты духом не падай. Бывает. Мы постараемся тебя выручить. Я поговорю с членом Военного совета.

Ромашкину было приятно, что командир поддерживает его в трудную минуту.

На капитана Морейко Василий не обижался, конечно, не следовало его бить. Но Линтварев — вот кто возмущал и удивлял: заварить такое дело, вспомнить госпитальный разговор, так бессовестно все извратить! Зачем ему это понадобилось? Почему невзлюбил? За что мстит?

Не знал и не думал Ромашкин о том, что Линтварев к нему не испытывал неприязни; будь на месте Василия другой, Линтварев поступил бы так же — это всего-навсего его тактический ход, желание упрочить свое служебное положение, своеобразный испуг перед большим командирским авторитетом Караваева, попытка поставить себя если не в равное с ним, то уж обязательно в независимое положение.

Непонятна была Ромашкину и суровость комдива — уж ему-то чем не угодил? Василий сидел напротив Караваева, сл, не замечая вкуса пищи, говорил будто о ком-то другом, не о себе:

— Все сразу забыли. Вчера был хороший, сегодня плохой. Генерал три награды вручил, а сегодня — бах! — в штрафную...

Караваев, понизив голос, сказал:

— Ты генералу спасибо скажи — выручил он тебя. Если бы не он, загремел бы под трибунал, да еще с политическим хвостом. Комдив с разрешения старших начальников направил тебя в штрафную роту, приданную нашей дивизии, а не в штрафной батальон. Побудешь в штрафной и вернешься в свой полк.

Ромашкина удивило это объяснение, но, поразмыслив, понял — командир полка прав, все могло кончиться гораздо хуже.

Трудно было Василию расставаться с разведчиками, только теперь почувствовал, как они ему дороги. Да и ребята были расстроены. Им хотелось чем-то помочь командиру, быстрый на руку Саша Пролеткин предложил:

— Может, мы этому капитану остальные зубы пересчитаем?

— Разведчики не хулиганы! — решительно возразил Василий. — И не вздумайте его трогать, будет позор всему взводу.

— Не слушайте вы этого балаболку, — мрачно сказал Рогатин.

— Може, вам у штрафной роти якусь отдельну задачу поставлят, а мы ее всем скопом сполним? — спросил Шовкопляс.

— Где она, штрафная рота, я и сам еще не знаю. Да и не бывает таких отдельных задач. Вы же знаете — штрафников посылают в самые горячие места. Нет, братцы, вы здесь воюйте, а я вернусь, если жив останусь.

Старшина Жмаченко нагрузил для Ромашкина полный вещмешок своих и трофейных продуктов.

— Зачем столько? — спросил Ромашкин.

— Там будет общий котел, товарищ старший лейтенант, берите, сгодится.

Ромашкин снял погоны, отвинтил ордена и подал старшине:

— Пусть во взводе хранится. Вроде бы я на задание ушел. В случае чего — адрес у тебя есть. Матери отправишь.

Жмаченко, чтобы не расплакаться, торопливо стал возражать:

— Ничего не случится, товарищ старший лейтенант, столько ночей лазили — все обошлось. А штрафники днем действуют, разглядите, что к чему. И голову-то особенно не подставляйте.

— Ничего не выйдет, знаешь закон — искупить вину кровью! Придется рисковать. Да и не умею я за чужой спиной прятаться.

На другой день Ромашкин получил в штабе копию приказа, предписание и отправился своим ходом в деревню Якимовку, где находились штрафники.

Шел он один, без сопровождающего. Колокольцев не хотел обижать его еще и конвоиром.

* * *

Штрафная рота, куда шел Ромашкин, была сформирована в тылу из людей, совершивших разные проступки и преступления. В нее вошли и бывшие заключенные, те, кто подавал просьбу об отправке на фронт. Им предоставлялась возможность искупить свою вину в бою. Рота — двести пятьдесят человек — прошла короткий курс обучения и эшелонам — в товарных вагонах, оборудованных нарами и железными печками, — прибыла во фронтовые тылы. Здесь в нее добавили местных провинившихся, вроде Ромашкина, укомплектовали офицерами и разместили в деревне Якимовка ждать наступления: штрафников разрешалось посылать в бой только в наступлении.

Ромашкин сдал документы пожилому командиру роты — капитану Телегину, осипшему от курева и простуды.

— За что? — спросил капитан.

Василий рассказал.

— Ну, это шалости. Против наших штрафников вы ребенок. Кстати, будьте с ними осторожны, у них есть свои атаманы, свои законы. Есть в роте и бывшие уголовники.

В Якимовке дома стояли лишь на одной стороне улицы, а на противоположной торчал длинный ряд печных труб, окруженных черными головешками.

Ромашкин пришел в избу, где располагался взвод штрафников, в который его зачислили. После разговора в штабе он с любопытством оглядел своих новых сослуживцев. Внешне это были солдаты как солдаты: в военной форме, со звездочками на новеньких пилотках и погонами на плечах. Ромашкину трудно было представить, что среди них есть и бывшие преступники, уголовники, люди с темным прошлым.

Ни кроватей, ни пар в избе не было. Василий нашел свободное место на полу, поставил вещевой мешок к стенке, уселся рядом. Слева лежал молодой симпатичный парень с быстрыми смысленными глазами, темные волосы расчесаны на ровный пробор. Парень был чистенький, но форма сидела на нем не очень ладно, он напоминал студента, недавно призванного в армию. Справа — пожилой, лысый, с полным ртом золотых зубов: видно, отец семейства, какой-нибудь бухгалтер-растратчик или проворовавший завскладом.

Когда Ромашкин вошел, все притихли. Помня предупреждение, Василий ожидал каких-нибудь козней, насмешек, розыгрышей и решил: «Это можно стерпеть. Если станут бить, от двоих-троих отмахуюсь. Ну, а в более сложной обстановке обращусь за помощью к командиру роты».

Внешне спокойный, внутренне настороженный, Василий привалился к стене, вроде отдыхал.

— Ты по какой статье? — спросил «студент».

— Что? — не понял Василий.

— Статья, говорю, какая, срок какой получил?

— У меня нет статьи, я по приказу.

— Фронтовик? Давно на передовой?

— Давно.— Василий чувствовал: говорит с ним один, а слушают все.

— За что угодил в штрафную?

— Рыло набил одному дундуку.

— Разве за это сажают? — усомнился парень.— Ты давай не темни. Пришел к нам жить — говори правду.

— Я не вру, тот дундук был старше по званию — капитан.

— А ты кто?

— Я старший лейтенант.

— А до войны, до армии кто ты был?

— Школьник,— простодушно ответил Ромашкин, и окружающие почему-то засмеялись. Он даже не подозревал, что сам себе дал кличку: с этой минуты он для всех стал Школьником, хотя это было очень далекое прошлое.

— Значит, ты домашний,— сказал парень.— А перо зачем носишь?

— Какое перо?

— А вот это.— Парень показал на финский нож, прицепленный к поясу Ромашкина.

— Гитлеровцев бить.
— И приходилось?
— Бывало.— Ромашкин подумал: пора и ему спросить.— А ты за что осужден?

Парень лукаво усмехнулся.

— За халатность.

— В чем ты ее допустил?

— Квартиру обокрал, а шмутки сплавить втихую не сумел. Засыпался. Вот, значит, проявил халатность, промашку дал.

В углу заржали. Ромашкин поглядел туда. Там сидели трое — один коротышка, плечистый, почти без шеи, мордастый, а двое других к Ромашкину сидели спиной, лица их не были видны. Они-то, хоть и негромко, но именно ржали, а не смеялись. Ромашкин никогда не слышал такого смеха у своих разведчиков, хотя шутили во взводе часто.

Коротышка подошел к Василию, привычно и удобно опустился на пол, видно, много пришлось ему сидеть на плоских нарах. Он посмотрел на Василия пронзительными наглыми глазами, спросил:

— Значит, фронтовичок?

— Да.

— Ну-ка, расскажи нам, как воевать с немцами? У них там, говорят, проволока, мины. Как же через всю эту мазуту до них добраться?

— Мины перед наступлением саперы снимут, проволоку артиллерия разобьет.

— А если не разобьет?

— Тогда сами порвете гранатами, прикладами, шинели набросаете.

— А ты немцев видал?

— Конечно. Я живыми их брал, в разведке служил.

Коротышка быстро взглянул на лысого, золотозубого «отца семейства», тот сделал глазом какой-то едва уловимый знак.

— Идем в наш куток! Про немцев расскажешь...— позвал коротышка.

Вопреки ожиданиям, Ромашкина приняли вполне дружелюбно, только посмеивались над его неопытностью в делах житейских и незнанием уголовных правил.

К вечеру Василий был в их компании своим. Познакомился со всеми. Коротышку звали Николой. Он много раз судился, имел несколько фамилий,

последняя была Фомич, при аресте брякнул первое, что пришло на ум. Фомичом воры называли ломик, которым срывают замки, взламывают двери. Кроме разных фамилий у Николы была постоянная кличка Мясник. Его побаивались даже уголовники, потому что Никола без долгих рассуждений пускал в ход нож и на его совести была не одна жизнь даже своего брата вора. Кличку ему дали за то, что Никола ходил грабить квартиры, спрятав топор под полый пиджака, и бил по голове того, кто отворял ему двери, глушил обухом. Последний раз суд вынес Мяснику высшую меру, но его все же помиловали. Отсидев пять лет, он решил воспользоваться тягой людей на фронт, чтобы выйти на волю.

Солдат, похожий на студента, оказался карманником высокой квалификации: он мог в трамвае снять часы с руки, а однажды увел у кого-то с глаз очки в золотой оправе. Звали его Вовка-Штымп — за то, что любил форсисто одеваться. Вовка не был безразличен к своим фамилиям, как Мясник, — он выбирал звучные и оригинальные, судился как Валетов, Солнцев, Трефовый. Очередная его фамилия была Голубой. Под одобрительный смех воров Штымп рассказал, как однажды, чтоб насолить следователю и сбить его с толку, выбрал такую фамилию, которую никто не мог записать.

— Вот пиши, — предложил он Ромашкину.

Ромашкин достал карандаш и блокнот из планшетки. Штымп произнес фамилию — два первых слога в ней были похожи на звуки, которыми останавливают лошадь:

— Тпрутпрункевич!

Василий под общий смех не мог написать такую фамилию.

— Вот и следователь так же. Ох, и помучился он со мной, когда протоколы допроса писал!

— А Голубым ты почему сделался? — спросил Ромашкин.

— Где-то слышал или читал — кого-то называли «голубой воришка». Понравилось мне это выражение. Ну, однажды засыпался — сумочку у одной тетki раскурочил, а она застучала меня и давай кудахтать: воришка да воришка! Стали составлять протокол: фамилия? Я и сказал: голубой воришка. «Воришку» отбросили, а «голубой» остался.

Заводилой в этой компании оказался лысый «отец семейства». Он держался в стороне, но его слово или жест был решающим. У него была кличка; Вовка сообщил ее Ромашкину шепотом:

— Червонный — у него зубы из червонного золота. Да смотри не назови его так — не любит.

Штрафники звали Червонного Петром Ивановичем, а командир штрафной роты по фамилии — Адвлин.

Петр Иванович неожиданно для Ромашкина отнесся к нему покровительственно, тоже расспрашивал о боях, о немцах, о том, как Ромашкин ходил в тыл.

— В общем, будешь жить с нами, Школьник,— добродушно улыбаясь, сказал Петр Иванович,— с нами не пропадешь!

Дружки Червонного достали из своих мешков такую еду, как и Ромашкин давно не видел: жареные утки, домашние пироги, копченую рыбу. Была у них и водка.

Заметив удивленный взгляд Ромашкина, Штымп объяснил:

— Наши все могут достать.

Поужинали, выпили, сели играть в карты. Ромашкин умел только в «очко», да и не на что было играть, деньги он отсылал матери. Штрафники играли в «стос» и в «буру». Они артистически тасовали карты, пускали их вразрез. Ловко, будто на гребенке, тресали колодой, проводя пальцами по картам снизу вверх. Играли азартно, Штымп кусал руки, если проигрывал. Опасаясь офицеров, деньги не показывали. Изредка, когда уже было трудно запоминать, кто кому и сколько должен, звучало одно слово: «Расчет!» И все быстро перебрасывались хрустящими бумажками, небрежно совали их в карманы.

Ночью роту подняли командиры:

— Выходи строиться!

— С вещами или просто так? — спросил из темноты Вовка.

— В полном боевом! Пойдем на передовую.

Агитатор сказал перед строем:

— Товарищи, настал час, когда вы сможете доказать свою преданность Родине, искупить грехи, очистить свою совесть и стать полноправными советскими гражданами. Страна вам поверила, дала оружие. Теперь дело за вами. Мы надеемся, вы оправдаете

доверие. За проявленное мужество и героизм каждый может быть освобожден из штрафной роты досрочно. Бейте врагов беспощадно — это будет лучшим доказательством вашей преданности! — Он помолчал, спросил: — Вопросы есть?

— Все понятно.

Через открытое окно было слышно, как командир роты доложил по телефону:

— Товарищ двадцатый, «Шурочка» вышла в три ноль-ноль, как было приказано.

Шли часа два. Сначала лесом, потом полем, за которым уже были видны вспышки ракет. Скоро стали долетать яркие трассирующие пули.

— Куда же они, гады, стреляют! — возмущался Вовка-Штымп. — Так до начала наступления живого человека убить можно.

Ромашкин вспомнил: вот так же на подходе к первой траншее под Москвой его ударила красная трассирующая пуля, впиалась огненной осой. И сейчас при одном воспоминании заныло и в груди, и на спине под лопаткой, где вылетела пуля.

Ветер стал обдавать тошнотворным сладковатым запахом.

— Это чем воняет? — спросил Вовка.

— Трупы, — ответил Ромашкин.

— Разве их не убирают?

— В нейтральной зоне не всегда можно убрать.

Когда вышли в первую траншею, командир взвода лейтенант Сиваков пояснил:

— Один день будете в этой траншее, чтобы оглядеться, изучить местность. В наступление пойдем завтра. Нам приказано овладеть высотой, которая перед нами, уничтожить там фашистов и в дальнейшем взять деревню Коробкино — ее не видно, она в глубине обороны немцев, за этой высоткой. Можно отдыхать, спать в блиндаже и в траншее. Дежурить будете парами по два часа. — Взводный объявил, кто с кем и в какое время будет дежурить. — Задача наблюдателей: своевременно обнаружить и подать сигнал тревоги в случае контратаки противника.

Лейтенант Сиваков, видно, опытный фронтовик, у него суровое, загорелое лицо, орден Красной Звезды и медаль «За отвагу» на груди. Молчаливый — разговаривал только командами. Ромашкин знал — в штрафные роты подбирали волевых, опытных офице-

ров, они пользовались правами и получали оклады на одну ступень выше штатной должности: взводный — как командир роты, ротный — как комбат. Ромашкину хотелось поговорить с лейтенантом, рассказать, что он такой же фронтовик, но мрачный вид Сивакова не располагал к доверительной беседе, да и ни к чему она — все здесь временное: взвод, рота, бойцы, командиры, даже сама жизнь. Ромашкину доводилось видеть, в какое пекло бросали штрафников: через несколько часов от роты оставалось немного. Собственно, шли штрафники в атаку наравне со всеми, только на самом тяжелом участке, обычно они атаквали решительно, до последней возможности, ведь каждому надо искупить вину кровью, пока не ранит, надо идти вперед.

Когда рассвело, стало видно поле, на котором лежали убитые фашисты, высота, окаймленная траншеей, кустарник в ложине.

— Сколько часов валяется, — с сожалением сказал Штымп.

— Каких часов? — не понял Ромашкин.

— Разных — ручных, карманных.

— Где?

— А вон — у каждого фрица, наверное, есть часы. Надо бы ночью туда слазить.

По распределению взводного Ромашкин попал дежурить в паре с Нагорным — человеком с какой-то неопределенной внешностью: худощавый, опрятный, лет сорока, но серые глаза такие усталые, будто прожил сто лет. Червонный о нем шепнул Ромашкину:

— Твой напарник опасный, приглядывай за ним. Как бы не рванул к фашистам. Читал в газетах, как фашисты таких, как он, бургомистрами назначают? Вот и этот, свободы мне не видать, туда нацелился!

— Не уйдет, кругом люди.

— А ночью? Выползет по-тихому из траншеи — и привет!

— Ночью может, — согласился Ромашкин и подумал: «Везет мне! Мало того, что за врагами надо смотреть, еще за своими поглядывать».

Через некоторое время Червонный опять подошел к Василию, на этот раз в сопровождении всей компании.

— Послушай, Школьник, есть у нас одна задумка. В атаке побьют всех нас — и привет тете Моте. А если

мы фрица притащим? Пойдем ночью — ты, я, Никола, Вовка, еще двое — и пригашим. Могут нас за это из штрафной освободить? Капитан сказал — за мужество можно без своей крови. Поведешь?

У Ромашкина при одной мысли о поиске, да еще с такими ребятами, взволнованно забилося сердце. Он смотрел в нейтральную зону: удобная балочка, поросшая кустарником, вела к проволочному заграждению фашистов. По ней легко подойти незамеченными, а там один миг — и эти орлы скрутят двух, а то и трех фрицев. Но Василий тут же вспомнил, как влетело ему и Казакову за самовольный налет. Там ругали любя. А тут никто не знает прошлых заслуг, к тому же могут подвести случайности, штрафники в разведке неопытные, нашумят, не дай бог кто-нибудь, раненный, в плен попадет, не выдержит пыток, скажет о предстоящем наступлении. За такое дело не помилуют.

— Ну что задумался? — спросил Червонный.

— Опасная это затея.

— Ты же говоришь, ходил много раз.

— Я-то ходил. Но без разрешения за такое по головке не погладят.

— Когда фрица приволокем — будет полный порядок.

— А если не приволокем?

— Да ты что, корешок, нам не веришь? Смотри, какая братва!

Ромашкин оценивающе поглядел на них: Никола-Мясник — приземистый, как краб, у такого фриц не вырвется, — Вовка-Штым — отчаянный, глаза полны лихой удали — и те двое, которые как тени ходят за Червонным, — просто идеальные разведчики. Но все же командирская дисциплинированность взяла верх.

— Не могу, братцы, не фашистов — своих боюсь. Не положено так в поиск ходить. Да мы с вами в наступлении себя покажем!

— Покажешь, — вдруг озлился Червонный, — влепят пулю в лоб — и покажешь, какой ты дурак был, что этого дождался!

Вскоре подошел Нагорный:

— Нам вместе дежурство предстоит, пожалуйста, вы, как офицер, человек опытный, просветите меня, что мы будем делать?

Ромашкин посмотрел на усталое лицо и в озабоченные глаза Нагорного.

— Будем следить за фашистами, чтоб неожиданно не напали.— Ромашкину захотелось испытать напарника, и он добавил: — И посматривать за своими, чтоб фашистам кто-нибудь не сдался.

Нагорный перешел на доверительный тон, соглашаясь с Ромашкиным, зашептал:

— Совершенно справедливые опасения, тут есть разные люди. От некоторых можно ожидать! Извините, если вам будет неприятен вопрос, но мне как-то непонятно, что общего вы нашли с компанией Червонного? Вы боевой офицер, а примкнули к ней.

— А мне интересно,— искренне сказал Ромашкин,— любопытно посмотреть на них вблизи.

— Ну и как вы их находите?

— Они могут стать хорошими разведчиками.

Нагорный задумчиво посмотрел в сторону.

— Простите меня, но не могу с вами согласиться. Я наблюдал таких людей в лагере не один год — и знаю, чего они стоят. Они живут удовлетворением самых примитивных потребностей — поесть, поспать, полодырничать. У Червонного и Мясника стремления самые низкие, я бы даже не назвал их скотскими, потому что животные не пьянствуют, не развратничают, не обворовывают, не играют в карты, не убивают. Таких людей надо остерегаться, держаться от них подальше, потому что они способны на все.

Ромашкин думал: «Но эти люди пошли защищать Родину,— значит, патриотическое чувство у них есть. А ты вот что задумал? Тебе поверили, дали оружие, а ты готовишься удрать... Что ты за человек? Почему ты такой?»

— Скажите, а где вы жили до ареста, кем были? И вообще, за что вас посадили?

Нагорный печально усмехнулся:

— За что? Я и сам этого не знаю. В общем, это еще предстоит узнать...

«Темнит,— подумал Ромашкин,— ни за что в тюрьму не сажают».

— Я литературовед, профессор. Жил в Ленинграде. У меня остались там жена и дочь... Чудесное шаловливое существо. Ей уже шестнадцать лет. В тридцать седьмом было всего девять. Живы ли? Они в ленинградской блокаде. Переписка прервалась. Написал я им письмо об отправке на фронт. Не знаю, дойдет ли.

Ромашкину хотелось верить этому человеку, очень искренней была его грусть, но жестокое суждение о бывших уголовниках не понравилось, некоторые из них казались не безнадежно погибшими людьми.

Опять подошел золотозубый со всей компанией, бесцеремонно сказал:

— Ты, контрик, пойдешь в паре с Николой. А я буду дежурить с тобой, Школьник.

— Но командир распределил иначе,— попытался возразить Нагорный.

— Кончай мычать, контра, пойдешь с кем сказано,— оборвал Червонный.

Попробовал воспротивиться и Ромашкин:

— Взводный узнает...

Но золотозубый вдруг улыбнулся удивленной, мелейшей улыбкой:

— Школьник, ты-то почему вякаешь? Ты же наш, свой парень! Иди сюда.— Он отвел Ромашкина в сторону и, отдавая табачным дыханием, зашептал:

— Мы тебе помочь хотим. Ты со своим культурным обхождением упустишь эту контру. Он тебе такого в уши надует, только слушать будешь! А Мясник парень тертый, он таких много видел, его не облапошит... Ну и мы с тобой на пару постоим, потолкуем. Или ты со мной не хочешь?

— Я — пожалуйста, только взводный...

— Да не узнает ничего твой лейтенант,— обрезал Червонный, переходя с улыбки сразу на леденящий душу непререкаемый тон.

Вечером, когда после ужина заступили на дежурство в первый раз, Червонный положил винтовку на бруствер, сказал Ромашкину:

— Хоть бы одного фашиста долбануть, за весь день даже каски не видел.

— У них, как и у нас, во время затишья только дежурные в траншее. Навоевались, устали фрицы, сидят, наверное, в блиндажах, вшей бьют.

— Они же культурный народ,— возразил Петр Иванович.

— Все до одного вшивые.

— Ты в газетах читал или сам видел?

— Даже вшей ихних кормил. Как поспишь в отбитом у фрицев блиндаже или в доме, где они стояли, обязательно этой дряни наловишься.

— Ну-ка, Школьник, растолкуй мне, где бы ты здесь за «языком» пошел?

Василий стал пояснять:

— Сначала я бы вон в ту балочку спустился. Она хоть и дугой, не напрямую к немецкому переднему краю идет, но зато не простреливается. Потом из балки к траншее пополз. Разрезал бы проволоку.

— Чем?

— Ножницы есть специальные.

— А где их взять?

— В роте нет, они у саперов бывают.

— А без ножниц можно?

Ромашкин улыбнулся:

— Можно и без ножниц: палку под нижнюю нить проволоки подставил и ползи, потом под другую тоже палку и опять вперед.

— А шарабан у тебя в рит! — похвалил Петр Иванович, удивляясь и радуясь находчивости разведчика.

Тут Ромашкин спохватился:

— Уж не собираетесь ли вы без меня идти? Смотрите, дело опасное, без опыта засыпаетесь в два счета.

— Ты же не хочешь нам помочь, — обиженно сказал Петр Иванович.

— Не могу. И вам не советую.

Подошли Мясник и Вовка.

— Ух и воняет! Дайте закурить, — сказал Никола.

— Вот и ты завтра будешь так же вонять, — спокойно ответил Петр Иванович. Мясник злобно зыркнул на него исподлобья, но ничего не сказал.

Ромашкин пошел по траншее, чтобы посмотреть на левый фланг, за ним, скучая, шагал Вовка.

— Безжалостный человек ваш Червонный, — сказал Ромашкин, думая о его последних словах.

— У него все со смыслом — учти. Он ни одного слова зря не говорит. Башковитый мужик. Вот, к примеру, ты его несколько дней знаешь. Ну-ка быстро вспомни, как его фамилия?

Ромашкин стал припоминать, но фамилию назвать не смог.

— Вот видишь. Это он специально подобрал. Даже липовую фамилию его не сразу ухватишь! Профессор в нашем деле.

Когда вернулись с фланга, Червонный все еще курил с Николой.

— Это у тебя ордена были? — спросил Мясник, показывая на дырки в гимнастерке.

— Ордена. Красного Знамени, две Красных Звезды и еще медали.

— Силен.

Иван Петрович прищурил глаз:

— А вот скажи, Школьник, почему тебе за мокрое дело орден давали, а Мяснику — вышку?

— Не понял.

— Он спрашивает, — перевел Вовка, — почему тебе за убитых фрицев ордена, а Николе за убийство расстрел?

Ромашкину не нравилось, что Червоный так настойчиво зовет его Школьником, понимал — и в этом разговоре он хитрит, судя по вопросу, хочет столкнуть его с Мясником. Но зачем ему это, Василий уловить не мог. Все же не хотелось выглядеть в глазах Петра Ивановича и его друзей действительно школьником, и Василий ответил как полагалось взрослому человеку, да к тому же еще и офицеру:

— А ты сам неужели не понимаешь, какая разница?

Червоный, несмотря на самоуверенность, все же на секунду отвел глаза от прямого взгляда Ромашкина, но тут же невозмутимо продолжал:

— Если спрашиваю, значит, не понимаю. Растолкуй, ты же офицер.

«И это он неспроста. — подумал Василий, — что-то замышляет, старый волк».

— Я врагов убивал, тех, кто пришел грабить нашу землю. Я своей жизнью рисковал, защищая Родину. Народ дал мне особые знаки отличия, чтобы показать меня всем: вот, смотрите и уважайте этого человека, он отстоял вашу свободу и благополучие. А Никола... — Ромашкин взглянул на хмурого Мясника, подумал: «Зачем я буду кривить душой, осторожничать и угождать перед этими людьми, нечего мне их бояться», — и высказал то, что считал правильным: — А Никола убивал тех же советских людей, которых убивают фашисты.

— Стало быть, он фашистам помогал, те бьют с фронта, а Мясник в спину? — усмехаясь и пристально глядя на Николу, спросил Петр Иванович.

— Выходит, так, — согласился Ромашкин, наблюдая, как недобрые огоньки замелькали в глазах Мясника.

Вдруг Червоный сам прервал возникшую натянутость и свел все на шутку:

— Ну, Школьник, если бы ты прокурором был, век не видать нам свободы! Но, слава богу, ты штрафник, и, может быть, завтра, а то и раньше немцы прострелят твоя умную голову.

Шутка получилась зловещей, никто не смеялся. Молча разошлись в разные стороны.

«Что это, угроза? Почему вдруг так резко изменилось отношение Червонного? Чем я обидел его? Отказался в поиск идти? Нет, что-то не то. Не хватало еще, чтоб завтра в атаке эти подонки мне пулю в затылок пустили...»

Во время ужина Ромашкин не пошел в блиндаж, где находились штрафники, он сел в стрелковой ячейке, закусил всухомятку. С тоской вспомнил своих замечательных ребят. Наверное, сейчас готовятся на очередное задание. Поведет Рогатин. Саша Пролеткин, как всегда, подшучивает над ним. Голощапов обязательно чем-нибудь недоволен. Шовкопляс что-нибудь рассказывает на своей певучей украинской мове. А старшина Жмаченко, как сердобольная хозяйка, кормит разведчиков ужином и проверяет, у всех ли достаточно гранат и патронов к автоматам. Полк после трудного боевого дня готовится поспать. Колокольцев пьет чай из маленького самоварчика, Караваев думает над картой — как завтра с рассветом бить фашистов. А новый замполит, наверное, гоняет своего ординарца, чтоб отутюжил ему одежду, подшил свежий подворотничок, почистил сапоги. Очень большая чистюля этот новый замполит!

Подошел командир взвода.

— Вот ты где. Послушай, старшой,— он впервые намекнул так на звание Ромашкина,— завтра, когда пойдем в атаку, помощи на левом фланге. Сам знаешь, народ необстрелянный, испугаются пулеметов, залягут, потом не поднять. Помогите, штрафники тебя в свою компанию приняли, ты с ними общий язык найдешь.

Много ли нужно человеку в беде? Иногда не деньги, не какие-то блага, а сознание, что ты сам кому-то нужен. Вот не помог лейтенант ничем, а сам помощи попросил — и светлело стало у Василия на душе, воспрянул духом.

— Не беспокойся, лейтенант, на левом фланге будет полный порядок!

— Ну, спасибо тебе, старшой.

Он пошел по тесной траншее, а Ромашкин благодарно смотрел ему в спину. Вспомнив затаенную угрозу в словах Червонного, Василий подумал: «Надо было сказать взводному: что-то затевают дружки Червонного. Я его обнадежил, а они меня самого как бы не пристукнули».

К Ромашкину подошел Нагорный.

— Я не хочу быть навязчивым, но все же скажу то, что думаю: вдруг тот человек не придет дежурить с вами? От таких, как он, можно всего ожидать. Заснет. Придется вам нести службу одному. А случись что-либо, по распределению командира я должен быть с вами. С меня спросят. Так что вы не обижайтесь.

— Его и правда нет. Не пришел. А по времени уже пора.

— Не жалейте, я охотно вам помогу, скажите, что я должен делать?

— Будем ходить от середины нашей позиции на фланги. Вы туда, я сюда. Сойдемся и опять разойдемся. Когда идете, прислушивайтесь, приглядывайтесь. Если что-то заметите, сообщайте мне. Вот так и будем ходить, чтоб на заснуть.

— Очень хорошо! Я все прекрасно понял — ухожу на свой фланг.

Нагорный неловко держал в руках винтовку, она мешала ему, он не знал, что с ней делать.

Ромашкин усмехнулся:

— Подождите.— Он взял оружие, отпустил ремень и подал Нагорному.— Теперь накиньте ее на плечо.

Нагорный сделал, как советовал Ромашкин, радостно удивился:

— Действительно очень удобно, благодарю вас. Элементарно просто, а я не додумался! Правильно говорят — дело мастера боится.

Они стали прохаживаться, каждый размышляя о своем. Прошел час, а может быть, больше. Вдруг Нагорный подбежал к Ромашкину, взволнованно зашептал:

— Там от нашей траншеи поползли люди — туда.— Он махнул рукой в сторону немцев.

Ромашкин растерялся — что делать? Это наверняка дружки Червонного двинулись за «языком». Поднять тревогу, вернуть? Уж тогда-то не миновать от них пули в спину! Промолчать нельзя — это может привести к самым тяжелым последствиям.

— Что же вы ничего не предпринимаете? — вдруг строго спросил Нагорный. — Они к фашистам пошли, я случайно слышал их разговор. Червонный сказал: «рвем когти» — это значит побег.

— Он так сказал?

— Уверяю вас.

Ромашкин побежал к землянке взводного.

— Лейтенант, четверо ушли к немцам!

Сиваков ошалело вытаращил глаза, зачем-то рванул пистолет из кобуры.

— Когда?

— Недавно.

— Почему не стрелял?

— Я их не видел. Нагорный заметил.

— За мной! — Лейтенант побежал, двоим, случайно встреченным в траншее, крикнул: — За мной!

Спросил Нагорного:

— Куда они пошли?

Тот показал направление.

— За мной! — опять крикнул взводный, и все, кто был рядом с ним, полезли из траншеи. Сухая земля с шелестом посыпалась вниз, запахло пылью. Но как только выбрались из траншеи на поверхность, этот запах сразу сменился сырой прохладой, которая тянула из балки. Ромашкин вспомнил свой разговор с Червонным.

— Они наверняка пошли низиной, — сказал Василий взводному. — Будут идти осторожно, с опаской, а мы давай напрямик поверху, через поле. У проволоки встретим.

— Верно говоришь! — Сиваков, пригибаясь, побежал вверх по косогору, все последовали за ним.

Ромашкин думал: «А что, если ребята за «языком» пошли, а Нагорный из ненависти наклеветал на них?» Но, вспоминая разговоры с Петром Ивановичем, Василий убеждался — тот исподволь выпрашивал, как безопаснее добраться до проволоки. И с Мясником сталкивал не случайно, об орденах рассуждал, чтоб ненависть разжечь у этого человека. И смертью Вовку пугал, и против Нагорного насторожил для маскировки своих планов.

Крадучись, стараясь не шуметь, добрались до выхода из балки. Залегли в последних поднимающихся на взгорок кустах. Сиваков осмотрелся: кто же с ним здесь? Лейтенант пожалел о своей горячности

и торопливости. Ромашкин был единственным, кто по-настоящему годился в этой засаде. Нагорный — ни рыба ни мясо. Двое других неизвестно кто такие, лейтенант даже фамилий их не знал. «Стало быть, у тех четыре винтовки, у нас два автомата — мой и старшего, эти трое с винтовками не в счет», — быстро прикидывал Сиваков. Ромашкину он сказал:

— Выпустим их на ровное место и здесь окликнем. Если не остановятся, стреляй.

— Я все думаю, не за «языком» ли они? Был с ними такой разговор. Позволь, я проверю?

— Как ты это сделаешь?

Ромашкин объяснил.

— Хорошо. Действуй, — согласился лейтенант.

Ждать пришлось недолго. Неподалеку хрустнула сухая ветка под ногой, зашлепали листья по одежде идущих. «А еще за «языком» собрались! — подумал Ромашкин. — За версту дураков слышно!»

Из темных кустов, опасливо озираясь, вышли четверо. Втягивая головы в плечи, крадучись пошли вверх по склону. У Мясника в плечи втягивать-то нечего было, Ромашкин сразу узнал его квадратную, словно комод, фигуру.

Когда группа приблизилась метров на двадцать и кусты, в которые она могла шмыгнуть, остались позади, Ромашкин, не показываясь из кустов, властным голосом скомандовал:

— Хальт! Хенде хох!

Беглецы испуганно присели и замерли.

Ромашкин, картавя под немца, пояснил, чтобы его поняли:

— Руки вверх! Оружие на земля!

Четверо быстро исполнили команду.

— Мы в плен! Сдаемся! — просительно сказал Червоный.

Василий ни разу не слышал, чтобы он говорил таким жалким голосом.

— Цюрук! Кругом! Спица ко мне! — грозно, но негромко, чтоб не услышали немцы, продолжал приказывать Ромашкин. — Кто ты есть? — спросил он.

— Мы политическис заключенные, нас привезли из лагеря. Мы против Советской власти. Хотим в плен, к вам. Хайль Гитлер! — блеял Червоный.

— Отшень карашо! — одобрил Ромашкин и шепнул Сивакову: — Берем оружие. — Они осторожно по-

дошли к задравшим руки предателям. Держа автоматы наготове, взяли у них из-под ног винтовки, положенные на траву. Подошли Нагорный и те двое, фамилии которых не знал Сиваков, они тоже держали свое оружие наготове.

— Ну, а теперь пошли назад! — спокойно сказал лейтенант.

Петр Иванович, не веря своим ушам, все еще держа руки вверх, опасливо оглянулся. Мясник быстро опустил короткие лапы, повернулся всем квадратным телом и, увидев Ромашкина, злобно и спокойно сказал Червонному:

— Я же тебе говорил, сука твой Школьник. Надо было его давно пришить. Эх ты, голова два уха, и себя и нас завалил.— Мяснику было приятно хоть раз в жизни неотразимо ужалить атамана, которому он в душе не только завидовал, но и ненавидел его.

— Где Вовка-Штым? — спросил Ромашкин.

— А он другой дорогой пошел,— вызывающе ответил Червонный.

— Какой дорогой? — спросил Сиваков и щелкнул затвором.— Говори, или сейчас я тебя, гада, прикончу при попытке к бегству.

Червонный упал на колени, быстро и жалко стал просить:

— Не надо. Я никуда не бегу. Вот все видят — не бегу. Они будут свидетелями.

— Куда пошел Голубой?

— Я пошутил. Он там, в траншее, остался. Откололся от нас.

— То-то! Шутник! Ну, пошли, вы вперед — мы за вами. И предупреждаю — побежит один, всех прибью. Держите друг друга за руки.

На рассвете из каждого взвода вызвали по десять человек, привели на опушку, построили. Сиваков умышленно поставил предателей рядом с валявшимися здесь трупами немцев. Лейтенант прочитал короткий приговор трибунала. Треснули очереди из автоматов. Четверо унали, подняв пыль в пересохшей траве. Их трупы не стали закапывать, оставили среди убитых врагов.

Когда совсем рассвело, началась артиллерийская подготовка, черная пыль и дым окутали позиции гитлеровцев, снаряды и мины долго долбили их расположение. Наконец Ромашкин увидел зеленые

ракеты услышал, как ротный доложил последний раз по телефону:

— «Шурочка» пошла вперед!

Капитан Телегин, взводные и Ромашкин выпрыгнули на бруствер первыми и, увлекая за собой остальных, побежали вперед, крича:

— За Родину! Вперед!

Рядом с Василием бежал Нагорный, он истоково провозглашал эти же слова:

— За Родину! За нашу Родину!

А с другого бока бежал Вовка-Штымп, он перепрыгивал через воронки и старые трупы немцев, не обращая внимания на грохот боя, совершенно не замечая взрывов немецких снарядов и свиста пуль, все старался объяснить Ромашкину:

— Ты пойми, Школьник, я с самого начала не хотел с ними уходить. Я русский. Что мне делать у немцев? Я Червонному просто так поддакивал, боялся его. Он мужик строгий. У него власть большая была! А когда они к немцам двинули, я в другом взводе спрятался.

Ромашкин с гулко бьющимся сердцем бежал вперед, невольно ждал знакомого уже не раз, тяжелого удара пули или осколка. Слушая объяснения Вовки, улавливал их смысл лишь наполовину, но все же отмечал в подсознании: «Какой смелый, черт, разговаривает, будто за чаем. Жаль, если его убьют, взял бы в разведку! О чем я думаю! Его убьют! Самого ведь сейчас свалить может!» Ромашкин помнил и просьбу взводного, наблюдал за левым флангом, покрикивал:

— Вперед! Вперед, ребята!

Заметив, как несколько человек залегли от близкого взрыва, метнулся к ним:

— Встать! Вперед!

На него смотрели снизу глаза, полные ужаса, бойцы вжимались в землю, не в силах оторваться от нее. Ромашкин знал: ни уговоры, ни просьбы сейчас не помогут, против животного страха может действовать лишь еще более сильная встряска, одолеть боязнь смерти поможет лишь еще более близкая реальность смерти.

— Пристрелю, гады! Встать! Вперед! — грозно крикнул Ромашкин, наводя автомат на лежащих. Они вскинулись и побежали вперед, глядя уже не на ту смерть, которая летела издали, а на ту, что была рядом, в руках Ромашкина.

Не успели добежать до траншеи врага, как с низкого серого неба хлынул дождь, он обливал разгоряченное тело, прибавил сил. Запах гари взрывов на некоторое время сменил аромат теплой травы.

— Ура! — кричали штрафники и неслись на торчащие из земли мокрые каски. Фашисты торопливо стреляли. Ромашкин видел их расширенные от ужаса глаза, дрожащие руки. Штрафники прыгали сверху прямо на головы врагов.

Рукопашная схватка была короткой — торопливые выстрелы в упор, крик раненых, ругань штрафников, несколько глухих взрывов гранат, брошенных в блиндаж.

— Вперед! — кричал Ромашкин. — Не задерживайся в первой траншее!

Справа командиры тоже выгоняли штрафников из блиндажей: кое-кто полез потрошить ранцы убитых гитлеровцев, снимать часы.

— Вперед, буду стрелять за мародерство! — неистовствовал капитан Телегин.

Волна атакующих покатилась дальше, ко второй траншее. А в первой, на дне ее, остались лежать, втоптаные в грязь, в зеленых мундирчиках те, кто несколько минут назад стрелял из пулеметов и автоматов. Вроде бы из первой траншеи никто из гитлеровцев не убежал, но из следующей опять стреляли пулеметы и автоматы, мелькали зеленые, блестящие под дождем каски.

Вдруг вскрикнул и зашатался Нагорный.

— Зацепило? — сочувственно спросил Ромашкин.

— Кажется, да. Но я пойду вперед. Я могу. — Нагорный держался за грудь рукой, под пальцами на мокрой гимнастерке расплывалось красное пятно. Он побежал вместе со всеми, но постепенно стал отставать. Несколько раз падал, спотыкаясь на ровном месте, но поднимался и шел вперед.

«Вот так, наверное, и папа, — подумал Василий. — Он тоже был скромным, тихим, но в бою от других не отставал».

Ромашкин, оглядываясь, видел Нагорного, очень хотел помочь ему, однако железный закон атаки — все идут только вперед — не позволял это сделать. Те, кто ранен, помогут друг другу, к ним подоспеют санитары. Живые должны продолжать свой бег навстречу врагу и поскорее убить его, иначе он сразит тебя.

Нагорный все же дошел до второй траншеи. Здесь на роту обрушился сильный артиллерийский налет. Все бросились на мокрое, скользкое дно, лежали некоторое время, не поднимая головы. Снаряды рвали землю совсем рядом. Кислый запах разопревшей от дождя и пота одежды заполнил траншею, набитую людьми.

Когда обстрел прекратился, Ромашкин хотел перевязать Нагорного — тот лежал рядом.

— Не надо. Бесполезно. — Он смотрел на Василия добрыми усталыми глазами. — Это даже к лучшему. Если бы вы знали, как я устал! Я очень боялся, что умру без пули. Без крови. Не сниму с себя обвинения. И вот слава богу, я убит. Очень прошу сообщить домой, в Ленинград. Пусть знают — я никогда врагом не был. Вот окончательно доказал это. Теперь жене, дочери... легче жить будет... — Нагорный обмяк, рука упала с груди, открыв густо-красное пятно на потемневшей от дождя гимнастерке.

«С простреленным сердцем шел человек в атаку, — подумал Ромашкин, — очень дорожил он своим добрым именем, сделал все, чтобы восстановить его».

Дождь обмывал лицо Нагорного, оно было спокойным и строгим, лишь одна обиженная морщинка пересекала его высокий лоб. Эта морщинка была единственным упреком за несправедливые подозрения и кару соотечественников.

Из-за поворота траншеи вдруг выбежал немец в ордене, с серебряным шитьем на воротнике и рукавах мундира. Василий схватился за автомат, но «фриц», весело улыбаясь, закричал:

— Это я, Школьник!

Ромашкин узнал Вовку-Штымпа.

— Ты зачем в эту дрянь нарядился?

— Мои шмутки промокли под дождем, а это сухое. Смотри, сукно — первый сорт! Я в блиндаже чемодан раскурочил. Там еще барахло есть, может, и ты в сухое переоденешься?

— Неужели не понимаешь, это же подло!

— Почему? — искренне удивился Вовка.

— Это одежда врага, фашиста. Смотри, кресты на ней. Он их получил за то, что нашего брата убивал. — Василий вспомнил слова Нагорного о том, что от Червонного и его компании можно ожидать любой подлости. Вовка вчера не подтвердил этого своим поведением — не пошел с друзьями к фашистам, а вот

сегодня надел на себя немецкую форму и не видит в этом ничего плохого.

Подошел Сиваков.

— Пленный? — спросил он Ромашкина. — По старой привычке живьем берешь?

Ромашкин, не зная, что сказать, молча отвернулся. Лейтенант узнал Голубого, разозлился.

— Чучело огородное! Снять немедленно!

Штымп убежал в блиндаж. Сиваков сказал Ромашкину:

— Спасибо тебе, старшой, вовремя ты поднял левый фланг, а то бы не дошли мы сюда. Уж как один фланг заляжет, и другой далеко не уйдет. Ну что ж, будем закрепляться здесь.

— Дальше разве не пойдём?

— Не с кем — немного в роте людей осталось. Соседи на первой позиции застряли. Только наша «Шурочка» вперед вырвалась.

Ромашкин оглянулся — на поле лежали под дождем те, кто еще утром составлял штрафную роту. Большинство головой вперед, как срезала на бегу пуля. Ромашкин во время атаки не видел, когда падали все эти люди. В атаке он следил только за тем, чтоб все бежали вперед, и сам смотрел туда, откуда должна прилететь смерть; кажется, на минуту ослабишь внимание — и она тебя сразит, а когда пристально глядишь ей в глаза — не тронет, минует.

* * *

Когда штрафная рота шла в общем наступлении, в полк Караваева приехал член Военного совета армии генерал Бойков. Сначала он намеревался побывать на НП командира дивизии Доброхотова. Но, услышав от Губина о натянутых отношениях нового замполита Линтварева и подполковника Караваева, решил побывать в полку, разобраться.

Генерал прибыл в полк, когда наступление было остановлено контратакой фашистов. На НП полка не было ни командира, ни замполита — они оба ушли в батальоны, которые дрогнули под сильным ударом танков.

Линтварев был в первом батальоне, у капитана Куржакова. Григорий уже командовал батальоном, заменив погибшего на Днепре Журавлева. Куржаков знал

о размолвках замполита и командира полка, знал и подробности отправки Ромашкина в штрафную роту — за все это невзлюбил Линтварева. Когда тот прибежал в батальон и с ходу закричал: «Почему не продвигаетесь?» — Куржаков, еле сдерживая себя, ответил:

— Может, вы покажете, как это сделать?

К удивлению капитана, Линтварев не смалодушничал, сухо и официально бросил:

— Покажу, если вы разучились. — Он вышел в первые ряды залегших рот и сказал Куржакову: — Попросите артиллеристов дать налет.

Куржаков позвонил по телефону, надорванным голосом передал координаты и команду. Вскоре слышались выстрелы пушек, и темные султаны намокшей под дождем земли вскинулись впереди на бугре, где засели немцы.

— Встать! За мной! За Родину! — закричал Линтварев и первым побежал вперед, размахивая пистолетом.

«Не трус», — подумал Куржаков, поспевая за ним.

Пулеметы встретили атакующих дружным огнем, и тут же заклевали землю мины. Бойцы залегли. Лег и Линтварев. Куржаков решил показать замполиту, что он все же храбрее его. Подошел к нему, распростертому на земле, и, спокойно скручивая сигарку, буднично спросил, стоя под свистящими пулями:

— Ну, что дальше будем делать?

Линтварев удивленно уставился на него снизу вверх, взял себя в руки:

— Прекратите этот глупый форс! Ложитесь! Я вам приказываю!

Куржаков опустился на землю, лег не на живот, а на спину, словно, загулявшись по этим полям, устал и теперь, отдыхая, пускал дым в небо.

У гитлеровцев заработали моторы танков, замелькали, задвигались каски в траншее.

— Сейчас пойдут в контратаку, — сказал сдержанно Линтварев. — На ровном месте они нас раздавят. Надо отойти, встречать танки в траншее.

— Вы же говорили: только вперед! — невозмутимо напомнил Куржаков.

Линтварев вдруг обложил его трехэтажным матом.

Куржаков засмеялся:

— Оказывается, вы умеете и по-человечески разговаривать! Разрешите отвести батальон?

— Отводите.

Потом они вместе отбивали контратаку, и Куржаков еще раз убедился — замполит не из трусливых! Когда бой стих, с НП полка сообщили: Бойков вызывает к себе Линтварева.

Генерал успел побеседовать с Караваевым и несколькими офицерами-коммунистами, все говорили не в пользу замполита, да Бойков и сам видел по фактам — не сумел Линтварев на новом месте войти в коллектив. Член Военного совета хорошо знал подполковника по работе в политотделе армии, там его педантичность, исполнительность с бумагами была очень полезна и уместна, а вот здесь в общении с людьми Линтварев, опираясь на служебную требовательность, боролся не за общее дело, а за свой личный авторитет.

Бойков собирался отругать Линтварева, но, посмотрев на усталое его лицо, на испачканную одежду, подумал: «Неуютно ему здесь. Одиноко, наверное, себя чувствует среди новых людей. Хотя и сам виноват в этом, надо его поддержать».

— Лихо ты, Алексей Кондратьевич, в атаки ходишь! — улыбаясь, сказал Бойков. — Видел я в стереотрубу.

— Приходится, — коротко ответил Линтварев, еще не отдышавшись после быстрой ходьбы.

— Ну, как ты на новом месте? Как народ? — непринужденно, будто ничего не знает и ведет обычный разговор, спросил генерал.

— Народ хороший, — ответил подполковник, сдерживаясь, чтоб не посмотреть на Караваева — оценит ли тот его благородство.

— Значит, все нормально?

— В основном.

— За исключением пустяка, как в песенке про маркизу? Ну-ка, давай пройдемся. Устал я целый день в машине скрюченным сидеть.

Они спустились в лошину, где можно было ходить в рост. И вот здесь Бойков перешел на серьезный тон. Генерал спрашивал со своих политработников гораздо строже, чем со строевых офицеров. Объяснял это не особым расположением к строевикам, не тем, что у них работа сложнее и ответственности больше, — политработник в глазах члена Военного совета был, да и на самом деле являлся, человеком, для которого моральная непогрешимость — самое необходимое качество его профессии.

— Почему вас не принял коллектив? Почему вы не сошлись с людьми? — строго спрашивал Бойков.

— Здесь был не коллектив, а семейственность. Старшие покрывали младших. Сор не выносили из избы. А я на это не пошел.

— Факты,— коротко спросил Бойков.

— Старший лейтенант Ромашкин избил капитана Морейко, дежурного по штабу. Это хотели замазать, а я не позволил. Поставил вопрос принципиально. Тем более у Ромашкина были антисоветские высказывания.

Генерал все это уже слышал от других; обвинение в политической неблагонадежности, по мнению Бойкова, было наиболее серьезным пунктом в деле Ромашкина. Поэтому до прихода Линтварева генерал побеседовал с уполномоченным особого отдела Штыревым, который сказал, что никогда у разведчика таких высказываний не наблюдалось, хороший, смелый парень, а обвинение это Линтварев привез с собой, якобы где-то в госпитале слышал крамольные слова от Ромашкина.

Свою информацию Штырев завершил таким мнением:

— Я разбирался — ничего серьезного нет. Случайно оброненная фраза, да и то без политического смысла. Зря подполковник на хорошего разведчика бочки катит.

Узнав все это, Бойков хотел выяснить, в чем же причина такого обвинения со стороны Линтварева. Поняв в конце концов, что Алексей Кондратьевич при самозащите просто «закусил удила», Бойков строго отчитал его:

— Вы не поняли ни людей, ни обстановки. Здесь не семейственность, а хорошая боевая семья! И очень плохо, что вас не приняли в эту семью. Вы здесь чужой. Вы противопоставили себя коллективу. Вас надо убирать из полка. Я не делаю этого лишь потому, что затронута честь политработников вообще. Уронили ее вы. Я еще не встречал в своей практике такого, чтобы политработник не нашел общего языка со здоровым коллективом. Подчеркиваю — со здоровым! Потому что полк всегда прекрасно справлялся со всеми боевыми задачами.— Генерал искренне переживал оплошность своего подчиненного, такое действительно редко случалось.— Я вас оставляю здесь для того, чтобы вы восстановили не только свое имя, но и доброе отношение к званию политработника. Обещаю

вам приехать через месяц. Если вы не справитесь с этой задачей, нам придется расстаться.

Генерал умышленно не напоминал Линтвареву грехи, за которые его убрали из штаба армии, считал это слишком примитивным воспитательным приемом, умолчать было более благородно и действенно.

— Желаю вам найти в себе силы и необходимые качества для того, чтобы поправить положение.

Линтварев все время ждал — вот-вот Бойков бросит ему в лицо обидную фразу о прошлой провинности. И то, что генерал не вспомнил об этом, еще больше обостряло сознание собственной вины.

Из полка Караваева генерал поехал на то направление, где наступала дивизия с приданной ей штрафной ротой. По дороге Бойков спросил шофера:

— Помнишь, Степаныч, разведчик с нами однажды ехал, по спидометру километраж засекал и точно указывал место на карте?

— Как же, помню, товарищ генерал, его сон сваливал, вот он и хитрил.

— Так вот этот парень угодил в штрафники.

— Что натворил?

— За мальчишескую несдержанность пострадал.

Шофер удивленно поглядел на начальника:

— Это как же понимать?

— Один субъект нехорошо говорил о женщинах, а Ромашкин дал ему за это по физиономии.

— И все?

— Все.

— Надо помочь парню, товарищ генерал.

— Вот едем помогать. Жаль, если убит или ранен, — хороший разведчик.

Шофер невольно прибавил скорость, будто это могло решить судьбу того хорошего лейтенанта.

Усталый, удрученный большими потерями, командир штрафной роты доложил генералу, что Ромашкин отличился — помог задержать предателей-перебежчиков, а в наступлении вел за собой атакующих на левом фланге. Говорил Телегин как-то неопределенно, в прошедшем времени.

Генералу еще в штабе дивизии сказали — от роты остались единицы, и он боялся спрашивать о Ромашкине. Капитан тоже не говорил о том, что особенно интересовало члена Военного совета. Наконец Бойков спросил:

— Жив?

— Утром был жив. Сейчас не знаю.

— Позвоните.

Телегин стал вызывать по телефону «Шурочку», долго искал ее через коммутаторы, наконец радостно закричал:

— «Шурочка»? Сиваков — ты? Слушай, где у тебя разведчик, ну тот, Ромашкин? Живой? — И, обращаясь к Бойкову, доложил: — Жив, товарищ генерал.

— Прикажите направить его сюда.

Через час Ромашкин стоял перед членом Военного совета.

— Здравствуй, орел! Рад, что ты жив! Ну как, не ранило тебя?

— Цел, товарищ генерал! — улыбаясь, говорил Василий, счастливый и гордый тем, что его помнят, о нем беспокоятся.

— Ты знаешь, для освобождения из штрафной роты нужно быть раненым. Просто для формальности нужна хотя бы небольшая царапина.

Ромашкин виновато переступил с ноги на ногу:

— Нет, не зацепило на этот раз.

— Ты, может, не почувствовал? Бывает, в горячке боя не замечаешь. Иди вон в кусты, раздешься: может, где-то под одеждой задело?

Ромашкин ушел в кусты, раздеваться не стал — уверен, нет ранения, — постоял, покурил, вернулся:

— Нет, товарищ генерал, никаких царапин.

Бесхитростная простота разведчика вызвала досаду у члена Военного совета — не мог найти какую-нибудь старую царапину, ну хоть прыщик какой-нибудь расковырял бы! Но ничего не подделаешь. Придется идти более длинным путем соблюдения всех формальностей, неизбежных при освобождении штрафника без ранения. Должен заседать трибунал и, всесторонне рассмотрев дело, вынести решение об освобождении Ромашкина из штрафной роты за проявленное мужество. Того, что совершил Ромашкин, было вполне достаточно для решения трибунала. И все же у Бойкова испортилось настроение. Эта длинная формалистика была нужна теперь не ему, не Ромашкину, а соблюдалась из-за Линтварева. Генерал хорошо знал людей, которые, не задумываясь, бросаются политическими обвинениями, как это сделал Линтварев. Такого человека побаиваются не только окружающие, но и начальники. Вот и он, Бойков, вынужден все оформлять строго документально, чтобы Линтварев при случае не

бросил тяжелую фразу и по его адресу: освободил своей властью политически неблагонадежного! «Ну, если соблюдать все тонкости, надо трибуналу заняться не одним только Ромашкиным», — подумал Бойков и спросил командира роты:

— Кто еще отличился в наступлении?

Капитан задумчиво сказал:

— Все шли в атаку смело.

Ромашкин помог ему:

— Рядовой Нагорный продолжал идти вперед с простреленным сердцем, товарищ генерал. Я сам это видел. Нельзя ли его наградить за мужество?

— Даже нужно! — поддержал Бойков. — Представьте материал, товарищ капитан. Ну, а еще кто?

— Есть один шустрый парень, правда, из уголовников, но из него может выйти хороший разведчик, — сказал Ромашкин.

— К себе во взвод намечаешь? — спросил генерал.

— Возьму, если разрешите.

— Представляйте и этого человека на рассмотрение трибунала. Как его фамилия?

— Голубой, — подсказал Василий.

Бойков усмехнулся:

— Смотри, чтобы он у тебя красным стал.

— Будет, парень смысленный.

В этот же вечер дивизионный трибунал, рассмотрев дела двух штрафников, отличившихся в боях, вынес решение освободить Ромашкина и Голубого из штрафной роты досрочно, о чем и выдал обоим соответствующие бумаги.

И снова Ромашкин, забыв все обиды, ехал в родной полк на попутных машинах, а Вовка-Штымп, еще более повеселевший от крутого поворота в жизни, расспрашивал Ромашкина:

— А разведчики, они кто, специально подготовленные или как?

— Разведчики, Вова, это особые, самые смелые и находчивые бойцы, самые верные и самые преданные Родине люди.

* * *

Уже был подготовлен проход в колючей проволоке, осталось в него пролезть по одному, потом перепрыгнуть траншею и уползти в тыл гитлеровцев, как вдруг

произошла смена. Часовой, который стоял до этого на посту, прохаживался в траншее, удаляясь влево от пулемета и от группы разведчиков. Разминая ноги, греясь, он уходил далеко в сторону, поэтому и решили делать проход именно здесь. Новый часовой стал ходить вправо от пулемета и мимо готового прохода.

Ромашкин с досадой глядел на темную голову и плечи немца, тот, как «грудная» мишень на стрельбище, проплывал над снежным обрезом траншеи. Проще всего было проползти под проволокой, спуститься в окоп, и фашист сам придет в руки. Но на этот раз перед разведчиками стояла иная задача. Василий хорошо помнил разговор с полковником Караваевым.

— Вот отсюда «язык» нужен.— Караваев показал на карте синий флажок, обозначавший немецкий штаб, посмотрел на Ромашкина пристальным испытывающим взглядом.— Сможешь?

— Попробуем.

— Это нужно не только мне, объект указан штабом армии.

— Постараемся.

И вот лежат у проволоки Василий и с ним еще пятеро: Пролеткин, Рогатин, Голубой, Голощапов и радист Жук. Все так хорошо началось: тихо добрались к заграждению, обнаружили наблюдателя, сделали проход... И надо же этому фрицу ходить именно в их сторону! Снять его нельзя: обнаружат следы группы, ведущие в тыл, начнут гонять с собаками, не уйдешь. Другой проход делать? Трата времени, да и риск немалый: надо отползти бесшумно в новое место, найти там часового. И еще неизвестно, как тот будет ходить. Лучше дожидаться здесь смены. Может, следующий часовой будет ходить влево. Ромашкин оттянул рукав маскхалата, показал разведчикам циферблат часов, покрутил над ними пальцем и ткнул в сторону отошедшего часового. Все поняли: будем ждать смену.

Василий опустил лицо на рукавицу, закрыл глаза. Хорошо бы заснуть на мягком снегу. Он действительно мог бы заснуть вблизи немцев, такое уже бывало, когда долгими часами приходилось выслеживать гитлеровцев, пережидать опасность в нейтралке или в тылу врага. Ко всему привыкает человек, даже к опасности. Василий вспомнил, как громко билось сердце, когда Казаков вывел его впервые из своих траншей.

Гитлеровцы находились неведомо где, очень далеко, а Ромашкину за каждым кустом мерещился фашист. И вот враг реальный, настоящий — в нескольких метрах, ему достаточно нажать на крючок пулемета — и все будет кончено, а Василию хочется спать, он абсолютно спокоен, потому что десятки раз бывал в переделках посложнее. Ромашкин уверен, если фашист обнаружит группу, он не успеет выстрелить из пулемета, его опередит автоматная очередь или взрыв гранаты. Когда-то за эту науку отдал жизнь Костя Королевич, но зато после его подвига разведчики знали — они не беспомощны вблизи врага, могут оставаться хозяевами положения, главное, не терять ни секунды, действовать смело и уверенно огнем, гранатами и только после этого отходить.

Смена произошла через час. Гитлеровцы недолго поговорили. Один из них засмеялся и ушел по ходу сообщения. Новый наблюдатель встал около пулемета, пустил вверх ракету, осмотрел перед собой нейтралку, дал очередь просто так, видно, хотел опробовать свой «машиненгевер». Ромашкин следил за ним, не поднимая лица, и мысленно подгонял: «Ну, давай гуляй. Куда ты, гад, будешь ходить?» Немец потоптался и двинулся... в сторону группы. «Ах, чтоб тебя! — ругнулся Ромашкин. — Столько ждали, время потратили, а ты сюда же зашагал! Ну, тем хуже для тебя. Того пощадил, тебя, гада, проучу». Василий по-настоящему разозлился на незадачливого часового, который, ничего не подозревая, нарушал планы разведчиков.

Рядом с Ромашкиным лежал Вовка Голубой, он вообще не отходил от командира ни на шаг. Сейчас пыгливо и вопросительно поблескивал озорными глазами.

Часовой, будто уловив нависшую опасность, прошел мимо пулемета и удалился влево. Теперь он стал ходить и вправо и влево от пулемета.

Ромашкин сразу почувствовал облегчение, оживился. Как только гитлеровец ушел на самое дальнее от группы расстояние, командир махнул Пролеткину, тот мигом юркнул под проволоку, пролетел над окопом и скрылся в заснеженных кустах. Так по одному прошмыгнули все. Ромашкин полз последним. Когда еще была видна спина удаляющегося наблюдателя, Василий пролез под проволоку, снял подпорки: проход был

сделан тем самым способом, о котором Ромашкин говорил Червонному, — это нужно было, чтобы немцы не обнаружили проход с рассветом. Сняв палки и убедившись, что проволока опустилась на прежнее место, Василий быстро перемахнул через темную пасть траншеи, которая дохнула на него специфическим «фрицевским» запахом.

Шли долго. От куста к кусту, от канавы к ямке, от дерева к дереву. К рассвету все же успели добраться до намеченного места. Замаскировались в небольшой рощице. Перекусили, напились воды и залегли спать. Только Ромашкин остался наблюдать первым. В течение дня все по очереди должны были наблюдать и изучать объект.

Штабные блиндажи были врыты в скаты оврага. Натоптанные в снегу тропинки сбегали со скатов на центральную дорожку на дне. Гитлеровцы с утра умывались, некоторые офицеры, оголяясь до пояса, делали зарядку. Промелькнуло в бинокле несколько женщин в форме, в пилотках, в сапожках. Ромашкин оживился: «Вот бы поймать одну из них. Такого «языка» у меня еще не было». Он стал следить, в какие блиндажи заходят немки, удобны ли их жилища для нападения ночью.

Главное, чтобы все произошло бесшумно, — разведчиков только шестеро, если начнут ловить, ноги не унесешь, до передовой километра четыре.

Немочки заходили в большие блиндажи в центре расположения штаба, туда идти опасно. Но кто знает, может быть, там рабочие землянки, а спать они пойдут куда-нибудь вот в эти крайние, небольшие блиндажишки.

Передавая бинокль сменившему его Саше Пролеткину, командир рассказал о женщинах. Саша насупился и презгливо сказал:

— Не дай бог на одну из них напороться в блиндаже.

Василий рассмеялся.

— Ну ладно, не будем связываться с женщинами. Следи вот за вторым от края блиндажом, туда два офицера зашли. Сейчас они там. Посмотри, посчитай, сколько к концу дня их там останется.

Когда стало вечереть и приблизилось время для захвата «языка», Ромашкин забеспокоился — не выявлена очень важная деталь. Определили, куда идти, знают, что в намеченном блиндаже не больше трех

человек, двое из них офицеры. Но где охрана? Это пока выяснить не удалось. А штаб не может быть без охраны. Она где-то есть, только разведчики ее не обнаружили. И это очень опасно в их положении: хорошо скрытая охрана для того и существует, чтобы обезопасить штаб от нападения таких групп, как Ромашкина.

Василий уже подумывал сообщить в полк по радио о том, что придется остаться еще на день, как вдруг Иван Рогатин, дежуривший с биноклем, замахал рукой, подзывая к себе:

— Есть охрана, товарищ старший лейтенант. Вон глядите — парный патруль. Поверху пошел.

Ромашкин приник к биноклю.

— Понятно. Значит, на ночь выставляют. Хороший маршрут выбран для патруля. Им видны и подходы и все, что внизу, в овраге, делается.

— Снимать будем? — спросил Вовка, он еще ни разу не снимал часовых, и поэтому у него «чесались руки». — Мы тихо с Иваном или вот с Голощаповым, — попросил нетерпеливый Штымп.

— Ты за себя говори, а меня не тронь, — заскрипел Голощапов. — Я один раз уже снимал часовых около флага. Как вспомню, до сих пор под ребром холодный нож чувствую. Ох, и полосовал же он меня, гад!

— Будем брать втихую, — прервал разведчиков Ромашкин. Он уже засек время, сделал необходимый расчет и теперь объяснял ребятам: — Патрульные обходят вокруг расположения штаба за семь-восемь минут. Пройдут мимо нашей рощи — мы в овраг. Ты, Жук, не спускай с них глаз, каждую минуту должен знать, где будет патруль.

— Понятно.

— В блиндаж пойдем я и Рогатин.

— Может, меня возьмете? — спросил Вовка.

Ромашкин так взглянул на него, что Голубой сразу понял: время разговоров и шуток прошло, сейчас все подчиняется беспрекословно.

— Голубой прикрывает вход в блиндаж слева, Пролеткин — справа. Голощапов остается у двери. Огонь открывать только в самом крайнем случае.

Дождались глухой ночи. Патруль сменился несколько раз. Луна еще не взошла. В черном овраге не было видно ни одного освещенного окошечка. Штаб спал. Только трубы блиндажей дымили.

Разведчики подползли к тропке, где ходил патруль. Напряженные, собранные, будто сжатые пружины, они следили за патрулем и ждали сигнала командира. Когда немцы отошли на достаточное расстояние, Ромашкин вскинулся и, ступая бесшумно, пригибаясь, пошел вниз. Он не оглядывался, знал — все идут за ним. У намеченного блиндажа Василий лег. Заметив тоненькие полоски света, пополз к окну. Стекло было занавешено черной бумагой изнутри. Через узкие щели Ромашкин разглядел на столе, застеленном газетой, термос, бутылку вина, вскрытую банку консервов, печенье, сигареты. У стола сидели двое. Один в полной форме — гауптман-капитан. Другой без кителя, в зеленой рубашке. Китель и ремень с парабеллумом висели на гвозде, вбитом в стену. «Почему они так поздно не спят? Может, дежурные? Какая нам разница — хорошо, что офицеры».

Ромашкин посмотрел на Жука, тот глянул на свои часы и, вскинув руку, показал, где сейчас может находиться патруль. Подождав, пока солдаты протопали поблизости, Ромашкин быстро вошел в трапезку, ведущую к двери. Иван последовал за ним.

У двери Василий остановился. Сердце стучало так громко, что казалось, его биение слышат офицеры там, в блиндаже. Испугавшись, что это действительно может произойти, Ромашкин рванул дверь и, вскинув пистолет, быстро шагнул через порог. Вплотную за ним с автоматом наготове вошел Иван. Он тут же захлопнул дверь, чтоб свет и возможную борьбу не увидели снаружи. А Ромашкин приглушенно, но властно скомандовал:

— Хальт! Хенде хох!

«Они же никуда не бегут, зачем я «хальт» сказал? — мелькнуло у Ромашкина. — Ну, ничего, поняли. Руки задирают».

Тот, который был в полной форме и стоял ближе к Ромашкину, поднял руки вверх и расширенными глазами пялился на неведомые существа в белых одеяниях. Другой гитлеровец стоял по ту сторону стола, руки поднимал нерешительно, одну выше другой, а глазами косил вбок. Ромашкин сразу уловил это движение, хотел еще раз скомандовать «Руки вверх!», но не успел. Офицер кинулся к висевшему на гвозде ремню и пытался выхватить пистолет из кобуры. Все произошло в считанные доли секунды, но Василий все

же успел оценить и правильно среагировать на происходящее. Свалить боксерским ударом офицера не удастся. Мешает стол. Парабеллум уже до половины выхвачен из кобуры. Надо стрелять. Ромашкин надавил на спуск. Выстрел показался громче орудийного! Офицер по ту сторону стола свалился, а у того, что стоял рядом, вдруг ожили глаза, лицо стало осмысленным. Он напряженно вслушивался: не бегут ли на помощь, услышав звук выстрела? Ромашкин и Иван тоже напряженно ждали — вот-вот послышится топот, стрельба прикрывающих разведчиков — и начнется...

Все кончилось благополучно для разведчиков. Выстрел, глухо прозвучавший в закрытом блиндаже, никто не услышал. Рогатин быстро «обработал» пленного — всунул ему в рот кляп, надел на него шинель, белый маскхалат, связал за спиной руки. Опытный Иван знал — все это надо делать быстрее, пока немец в шоке, скоро он опомнится и тогда будет сопротивляться.

Ромашкин тем временем собрал все бумаги в блиндаже, документы и оружие убитого офицера. Еще раз оглядел землянку и, погасив парафиновый светильник, открыл дверь. Сначала он никого не увидел во мраке. Потом различил Жука и его руку, направленную в сторону патруля. Затаившись у двери, Ромашкин ждал, когда солдаты пройдут. Темные фигурки были видны неподалеку. И вдруг, когда патруль находился на самом близком расстоянии, пленный офицер ударил Голощапова ногой, сбил его и попытался выбежать из траншейки, чтобы привлечь внимание своих. Гитлеровец мычал и, мотая головой, пытался выплюнуть кляп. Голощапов не растерялся, схватил его за ногу и, повалив на землю, зажал на всякий случай рот поверх кляпа. Офицер продолжал брыкаться. Патруль, ничего не заметив, прошел мимо.

Ромашкин поднял гитлеровца, радостно подумал: «Ну и везет нам сегодня: выстрел не услышали, этого не заметили». Вдруг немец опять отчаянно забил ногами, силясь освободиться. Ромашкин быстро прикинул: «Жирный, скотина, килограммов на восемьдесят, нести тяжело будет», — поэтому нокаутировать строптивого «языка» не стал, а врезал ему коротким аперкотом снизу в подбородок. Офицер икнул, вытаращил глаза и, сразу поняв, что с этими белыми призраками шутки плохи, затих. Ромашкин, махнув разведчикам, побежал вверх по косогору.

Потом они быстро, то бегом, то вприпрыжку, двигались к переднему краю, надо было уходить как можно скорее, пока в штабе не обнаружили пропажу.

Холодный ночной воздух и удача бодрили ребят — неслись, не чувствуя усталости. Осторожный Ромашкин осаживал разведчиков:

— Тихо вы, как кони топаете!

Когда были неподалеку от первой траншеи, выкатилась из-за туч луна и осветила группу. Все окружающее подернулось желтоватым отсветом.

— Только тебя не хватало! — Пролеткин ругнулся.

Ромашкин увидел на щеках гауптмана две мокрые полосы — офицер плакал. Это очень удивило Ромашкина. Он привык видеть на допросах вызывающе наглых гитлеровских офицеров. Этого еще ни о чем не спросили, а он уже нюни распустил. Странный фриц. «Неужели обиделся так сильно, что я ему по морде дал? Сам же виноват — не шебурнись. Какой чувствительный!»

По взлетающим вверх ракетам нашли в первой траншее пошире промежуток между немецкими ракетчиками. Осторожно выползли к траншее. Она была в этом месте пуста. Проверили, нет ли кого, до ближайших поворотов. Затем Саша достал из вещевого мешка ножницы, перемахнул через окоп и стал резать проволоку, теперь проход скрывать незачем, да и пошире он нужен, пленный ведь не умеет проползать в небольшую щель. Когда все было готово, Саша, махнув рукой, юркнул в нейтралку и по ту сторону проволоки на всякий случай приготовился прикрывать группу из своего автомата.

Ромашкин дернул пленного за плечо и, когда тот обернулся, показал вперед на проход, а чтобы фашист лучше усвоил и выполнял, что от него потребуется, поднес к его носу свой тяжелый кулак. Гитлеровец послушно закивал головой. «Ну вот и хорошо», — подумал Василий. Он помог пленному встать, так как со связанными за спиной руками офицер сам подняться не мог. Разведчики с автоматами наготове прикрывали справа и слева. Командир взял пленного за ремень крепко, чтоб тот почувствовал силу, вздернул его и, кивнув в сторону заграждения, так вот, держа пленного за ремень, перешагнул вместе с ним траншею. Потом они оба легли, и Василий, бесцеремонно взяв пленного за шиворот, протащил его под проволокой.

В штабе полка не спали только начальник разведки Люленков да дежурные связисты. Пленному развязали руки, вынули кляп изо рта. Когда офицер отдышался, Ромашкин полюбопытствовал:

— Почему вы плакали? Потому что я ударил?

Офицер с нескрываемой ненавистью искося поглядел на разведчика — он теперь видел, что имеет дело со старшим лейтенантом, поэтому демонстративно встал к нему боком, а лицом к капитану Люленкову, — заговорил на русском языке, не очень быстро находя нужные слова, перемежая их немецкими.

— Если бы я имел возможность, — с клопочущей в глотке злобой сказал гауптман, — если бы я мог получить такую возможность, я бы не только разорвал вас на куски, но еще топтал бы каждый кусок, пока он не стал мокрым местом!

— Неужели так обиделись за то, что ударил? Я еще вас пожалел, поучил легонько.

— Я обижен не только за удар. Вы мою всю жизнь испортили! Я сдал должность майору Франку, которого вы убили. Я имею новое назначение в резервный полк. Должен утром ехать. Для меня война кончена. Через несколько дней я бы увидел мою дорогую фрау Гильду, моих милых деток — Кетхен и Адольфа. И вот все так неожиданно перевернулось. Если бы мне бог дал несколько минут, я бы своими зубами перегрыз вам глотку!

Ромашкин сначала усмехнулся: «Да, уж ты бы надо мной покуражился», — потом спокойно сказал:

— Никаких особых бед я не принес — там для вас война кончилась, и здесь она кончилась. Там вы остались бы живы, и здесь будете жить. — Вдруг волна гнева окатила Ромашкина: «С такой кровожадной скотиной еще миндальничаю! Может быть, ты, гад, убил моего отца, и уж конечно ты лез на Москву в сорок первом!» Василий встретил злобный взгляд гитлеровца и с не меньшей неприязнью сказал ему прямо в лицо: — Если ты любишь свою фрау и своих киндеров, зачем ты здесь, у нас в России? У меня тоже есть мать и невеста. Моего отца, может быть, убил ты. Зачем ты здесь? Что тебе нужно на чужой земле? Платя моя мать для твоей Гильды?

Немец побледнел. Он не ожидал, что разговор примет такой оборот, и думал: «Сейчас этот обер-лейтенант меня пристрелит».

— Успокойся, Вася! — сказал капитан Люленков, положив руку на плечо Ромашкина. — Не расстраивайся из-за этой сволочи.

В блиндаж быстро вошел заспанный Караваев, он на ходу застегивал пуговицы на гимнастерке. Гитлеровец, увидев полковничьи погоны и улыбающееся лицо русского командира, с надеждой подумал: «Благодарю тебя, господи, кажется, я спасен».

Кирилл Алексеевич быстрым взором окинул гауптмана и пошел к Ромашкину, протянув для рукопожатия обе руки.

— Что у меня за разведчики! Великолепные мастера своего дела! Асы! «Языков» по заказу таскают. Надо с передовой — ведут, надо из тыла — пожалуйста. Попросил штабного офицера — получайте! Спасибо, дорогой Ромашкин!

Василий приложил руку к пилотке:

— Служу Советскому Союзу!

— Да ладно уж с этими официальностями, — остановил Караваев, похлопывая Ромашкина по обоим плечам вытянутыми вперед руками и любясь простым, улыбчивым лицом Василия. — Ну как, все живы? Никого не ранило? Люленков, есть у нас что-нибудь горяченькое поужинать?

— Найдём, товарищ полковник.

Караваев будто забыл о пленном офицере. А тот никак не мог понять, что происходит, почему полковник, величина в его представлении недостижимая, вдруг так запросто обращается с обер-лейтенантом, а обер-лейтенант и капитан чувствуют себя в присутствии полковника удивительно свободно. Все это казалось гауптману таким недопустимым нарушением военной субординации, что он с презрением думал: «Дикари, элементарных правил военного этикета не понимают! Скоты необразованные, мы еще заставим вас работать на Великую Германию». Больно и стыдно было гауптману, что он так нелепо попал в руки этих презираемых им людей. Он молил бога не о спасении своей жизни, не о сохранении жены и детей, он просил господ только об одном: «Пошли мне милость свою, дай еще возможность бить этих проклятых русских, жечь их дома, уничтожать вообще все на этой земле, чтобы освободить ее для Германии». Охваченный необыкновенно горячим порывом преданности к фюреру, гауптман вдруг неожиданно для всех, но с огромным

наслаждением для себя заорал, вскинув руку в фашистском приветствии:

— Хайль Гитлер!

Караваев поморщился, как от зубной боли, но даже не взглянул на гитлеровца.

— Ну ладно, ужинай и отдыхай, Вася. Скажи спасибо ребятам. Завтра поговорим.

* * *

И вот уже отгремела победная битва за Днепр. А затем очистилась от оккупантов и вся Правобережная Украина.

Заканчивалась третья военная зима. Нелегкая, но куда более радостная, чем две ее предшественницы. На очереди стояло освобождение Белоруссии.

При перегруппировке советских войск дивизия Доброхотова была переброшена на только что созданный 3-й Белорусский фронт. И в штаб этого нового фронта вызвали вдруг Ромашкина.

Вызов был срочным. Настолько срочным, что даже машину прислали. Больше того, за старшим лейтенантом приехал в качестве нарочного майор. Вопросов в подобных случаях задавать не полагается, но Ромашкин все-таки спросил:

— Что такое случилось?

— Там все узнаете,— ответил неразговорчивый майор.

По календарю была весна, а запоздалый снег сыпал по-зимнему. И ветер протягивал через открытый «виллис» белую поземку. Пока доехали до штаба фронта, Василий промерз до костей.

Майор сразу повел его к генералу Алехину, начальнику разведуправления. Ромашкин не впервые слышал эту фамилию, однако видеть Алехина еще не приходилось. И почему-то этот генерал представлялся ему высоким, с величественной осанкой, таким же молчаливым, как его майор, и, конечно, очень строгим. В действительности же Алехин оказался низеньким, толстеньким, глаза добрые, как у детского врача, голос мягкий.

В общем, главный разведчик фронта выглядел человеком совершенно бесхитростным.

— Вы, товарищ старший лейтенант, пойдете в Витебск,— объявил генерал Ромашкину.— Там наши

люди добыли схемы оборонительных полос противника. Принесете их сюда.

Он сказал это так спокойно, как будто чертежи надо было доставить из соседней комнаты, а не из города, лежащего по ту сторону фронта.

Ромашкин угадал, что начальник разведки избрал этот тон для того, чтобы не испугать его, не заронить с первой минуты сомнений. И действительно, спокойная уверенность Алехина передалась ему. «Пойду и принесу. Дело обычное».

Он хладнокровно выслушал, как представляется генералу выполнение этого задания. Встреппенулсч лишь под конец, когда начальник разведки сообщил:

— Командующий фронтом будет лично говорить с вами.

Спокойствие Ромашкина вмиг парушилось. Он смотрел на Алехина и думал: «Нет, товарищ генерал, дело тут не обычное. Вы хороший психолог, умсете держаться. Однако и я стреляный воробей, отдаю себе отчет, что это значит, если командующий фронтом собирается лично инструктировать исполнителя! Вы, наверное, долго перебирали разведчиков, прежде чем остановить свой выбор на мне. И сейчас все еще размышляете: справится ли этот парень, не подведет ли?...»

А генерал уже звонил по телефону, докладывал, что прибыл офицер, которого хотел видеть командующий. Положив трубку, поднялся из-за стола.

— Пойдемте, командующий ждет... И не тушуйтесь. О ваших боевых делах он наслышан, ценит ваш опыт, верит в вашу удачливость. Так что все будет гут!..

Генерал неожиданно перешел на немецкий. Сказал, что Черняховский любит разведчиков. Спросил, как относится к разведке Доброхотов. А когда шли они глубоким оврагом, завел разговор, по-немецки же, на совсем отвлеченные темы. Ромашкин понимал — проверяет. Отвечал короткими фразами.

Справа и слева в скатах оврага виднелись двери и окошечки: там размещались отделы штаба. Поднялись к одной из дверей по лестнице из свежих досок. В приемной их встретил адъютант с золотыми погонями. Василий золотых еще не видывал.

Адъютант ушел за вторую дверь, обитую желтой клеенкой, и тут же вернулся.

— Пройдите.

Ромашкин очутился в теплом, хорошо освещенном кабинете. За столом сидел Черняховский — плотный, крепкий, лицо мужественное, темные волнистые волосы, светло-карие глаза.

Вышел навстречу, пожал Василию руку, кивнул на диван:

— Садитесь.

И сам сел рядом, начал говорить о задании:

— До Витебска километров двадцать. По глубине это тактическая зона, поэтому всюду здесь войска: первые и вторые эшелоны пехоты, артиллерия, штабы, склады и прочее. Выброситься в этой зоне на парашюте слишком рискованно. Да если б высадка и удалась, возвращаться все равно нужно по земле. Самолет забрать не сможет. Понимаете?

— Понимаю, товарищ командующий.— Василий по привычке встал.

— Вы сидите, сидите,— потянул его за локоть Черняховский и продолжал: — Мне рекомендовали вас как удалого и грамотного разведчика, на которого вполне можно положиться.

— Я сделаю все, товарищ командующий, чтобы выполнить ваш приказ.

— Ну и добро. Выходите сегодня же, возвращайтесь как можно скорее.— Взглянул на Алехина: — Подготовили документы?

— Так точно, товарищ командующий. Осталось сфотографировать его в немецкой форме, и удостоверение через час будет готово.

— Группой пробраться труднее,— пояснил Черняховский,— пойдете один, в их форме, но избегайте встреч. Как у вас с немецким языком?

— В объеме десятилетки и курсов при военном училище, товарищ командующий... И то на тройку,— признался Ромашкин, с опаской подумав: «Не будет ли это принято за попытку уклониться от задания?»

Нет, Черняховский понял его правильно, однако переглянулся с Алехиным.

— Скромничает,— сказал уверенно Алехин.— Не знаю, как там в десятилетке было, а сейчас понимает немецкий хорошо. Я говорил с ним. Только произношение сразу его выдаст.

— Акцент порой опаснее молчания,— заключил командующий.— Значит, без крайней необходимости

ни в какие разговоры с немцами вступать нельзя... У нас есть люди, владеющие немецким безупречно, но это глубинные разведчики, они не умеют действовать в полевых условиях. А для вас зона, насыщенная войсками,— родная стихия. Что ж, давай руку, разведчик,— перешел он на «ты».— Нелегкое тебе предстоит дело, береги себя.— Командующий посмотрел Василию в глаза и как-то по-свойски добавил: — Мне очень нужны эти схемы, разведчик...

Возвращались тем же оврагом. На душе у Ромашкина было нсобыкновенно легко и просторно. Его всецело захватило стремление скорее выполнить то, о чем просил командующий. Да, не только приказывал, но и просил!

В управлении разведки Ромашкин переоделся в форму немецкого ефрейтора, его сфотографировали, освоил данные о явке — место, адрес, отзыв — и погрузился в изучение плана города. Прежде в Витебске он не бывал, а нужно заранее сориентироваться, с какой стороны войдет туда и куда двинется, ни у кого не спрашивая дорогу. Подсчитал: необходимо пересечь двенадцать — тринадцать улиц, пролегающих с севера на юг, и тогда окажешься в районе нужной «штрассе». Странно, в белорусском городе — и вдруг «штрассе»!..

Потом так же тщательно изучалась карта местности и обстановка на пути в Витебск. Ромашкин прикидывал, где необходимо проявить особую осторожность, какие объекты и с какой стороны лучше обойти.

Минут через сорок принесли служебную книжку с его фотографией. По книжке он значился Паулем Шуттером, ефрейтором 186-го пехотного полка. Все это удостоверялось цветными печатями с орлами и свастикой. Книжка была настоящая, видимо, одного из пленных. В ней только сменили фотографию.

Переброска Ромашкина через линию фронта была поручена тому же молчаливому майору. Опять сели с ним в «виллис» и поехали к передовой. В какой-то деревушке их встретил капитан — начальник разведки дивизии.

Дальше пошли пешком. По пути капитан подробно рассказал о системе оборонительных сооружений немцев на глубину до пяти километров, о поведении противника в этом районе.

На передовой Ромашкина поджидали пять полковых разведчиков и три сапера. На всех белые маскировочные костюмы, оружие обмотано бинтами.

Ромашкин тоже натянул маскировочный костюм. Последний раз молча покурил, попрощался с офицерами и выскочил из траншеи, сопровождаемый незнакомыми бойцами.

Шли пригнувшись, от куста к кусту, по лощинам. Проводники его хорошо знали здешнюю нейтральную зону, вели уверенно.

Пулеметные очереди потрескивали совсем близко. Не потому, что фашисты обнаружили разведчиков, а таков у них порядок: короткими очередями прочесывают местность. Ромашкин хорошо знал язык немецких пулеметов. Они своими очередями сообщают друг другу: «У меня все в порядке», или: «Здесь готовится нападение». Сейчас пулеметы выбивали дробь: «та-та-тра-та-та». Это означало, они спокойны.

Изредка в небо взлетала ракета. Пока ее яркий покачивающийся свет заливал местность, разведчики лежали, уткнувшись лицом в снег. Но как только ракета гасла, они моментально устремлялись вперед. Ромашкин отметил: «Зубры!» Неопытные подождали бы, пока привыкнут глаза, а эти знают, что в наступившей после ракеты темноте вражеский наблюдатель несколько секунд совсем ничего не видит, и используют каждый такой момент. А когда раздается пулеметная очередь, не очень-то заботятся о звуковой маскировке. Это еще раз подтверждает, что они «зубры». Новичок в таком случае обязательно заляжет, а опытные знают: пулеметчик во время стрельбы ничего не слышит, кроме своего пулемета. Свист пуль страшноват, однако обстрелянный боец понимает: свистит та, что мимо, а ту, что в тебя, не услышишь.

Впереди снежное поле пересечено серой полосой. Это проволочное заграждение. Саперы щупают голыми руками снег — нет ли мин со взрывателями натяжного действия. Добравшись до кола, один сапер ложится на спину и берет руками проволоку, другой перекусывает ее ножницами.

Очередная ракета метнулась в небо, шипя как змея. С легким хлопком она раскрылась, залила все вокруг предательским светом и упала почти к ногам разведчиков. Ракетчик где-то рядом. Ромашкин отчетливо слышал, как щелкнула ракетница, когда он ее заряжал. В темноте саперы продолжали свое дело и вот уже дают знать: «Проход готов».

Ромашкин посмотрел на часы: второй час ночи.

Стараясь не зацепиться за колючки, прополз под проволокой. Впереди чернела траншея. Как всегда, нелегки эти минуты! Очень трудно заставить себя приблизиться к темной щели. Нужно обязательно попасть в промежуток между двумя часовыми. А где они? Разве увидишь в темноте, да еще лежа, когда глаза над самой поверхностью снега?

Борьба с самим собой длится несколько секунд.

Василий достал гранату. Пополз к траншее с останками, прислушиваясь: может, затопает промерзший гитлеровец или заговорит с соседом. Но было тихо.

Кончилась гладкая поверхность снега, перед глазами комья и бугорки — это бруствер. До траншеи не более двух метров.

Василий осторожно приподнялся на руках, посмотрел вправо и влево: торчит ли поблизости каска? Нет. Прополз последние метры до траншеи и заглянул вниз. Граната наготове.

Траншея до ближайших поворотов пуста. Не поднимаясь высоко, перескочил через нее и быстро уполз к темнеющим кустам.

Ракеты вспыхивают позади. Пулеметы выстукивают прежнюю спокойную дробь.

Вторую траншею преодолеть легче. Здесь наблюдатели реже, и службу они несут менее бдительно. Слышно, как неподалеку кто-то колет дрова. Несколько человек спокойно разговаривают у своего блиндажа.

Вспышки ракет все дальше и дальше. Уже нет необходимости двигаться ползком. Ромашкин поднялся около деревьев. Осмотрелся. Наметил место следующей остановки, запомнил все, что должно встретиться на пути, и, пригнувшись, перебежал туда. Так же действовал и в дальнейшем. Разведчики называют этот способ «идти скачками».

Вскоре попалась наезженная дорога. Ромашкин просмотрел ее в обе стороны и, никого не обнаружив, пошел по ней вправо. Помнил, справа должно быть шоссе на Витебск.

Пройдя с километр, увидел — движется навстречу что-то большое, темное. Свернул и затаился в придорожных кустах. Через несколько минут мимо проползли груженные сани. Из ноздрей лошади выпархивали белые облачка пара. Ездовой — немец, весь в инее — шел рядом с саними. В другое время он непременно стал бы «языком», но сейчас трогать его нельзя.

Так, уступая дорогу всем встречным, Ромашкин достиг шоссе. Вдоль шоссе чернела деревня.

Идти напрямик, не зная, что делается в деревне, опасно. Обходить — потеряешь немало времени. Как быть?

«Что говорил об этой деревне начальник разведки дивизии?» Ничего определенного вспомнить не удалось. Темный ряд домишек выглядел загадочно.

Молодым разведчикам обычно внушают: в любой неясной обстановке есть незначительные на первый взгляд признаки, по которым можно разгадать ее. А вот он, хоть и опытен в разведке, никак не мог обнаружить здесь ни одного такого признака.

Подошел ближе. Если в деревне штаб, то должны к домишкам тянуться телефонные провода. Но, как ни напрягал зрение, в темноте проводов не увидел. Однако заметил: в некоторых окнах сквозь маскировку пробивались узенькие полоски света. Вот и признак! Этого достаточно. Местные жители не будут сидеть со светом в глухую ночь. В прифронтовой полосе они вообще не зажигают света с наступлением темноты.

Обогнув деревню, опять выбрался на шоссе. Чем ближе к Витебску, тем чаще попадаются машины, повозки, группы людей. Прячась от них, поглядывал на часы: «Медленно продвигаюсь! Так до рассвета не добраться. Надо что-то придумать».

Снял свой белый наряд, закопал у приметного дерева — пригодится на обратном пути. Вернулся к дороге и стал высматривать сани с гражданскими седоками. Вскоре такие показались. Возница дремал, лошадь шла шагом.

Ромашкин окликнул закутавшегося в тулуп дядьку и стал объясняться с ним на смешанном русско-немецком языке.

— Нах Витебск?

— Да, на Витебск, господин офицер.— Возница принял его за офицера.

— Их бин кайне офицер, их бин ефрейтор,— поправил Ромашкин и забрался в сани.

Поехали. Чтобы не замерзнуть и замаскироваться, зарылся в пахучее сено, которое лежало в санях. Вознице приказал:

— Нах Витебск! Их бин шлафен. Спать, спать. Понимаешь?

— Понимаю, чего же не понять... Спи, коли хочется, — ответил тот.

Ромашкин лежал в сене и следил за дорогой. Да и за возницей надо было присматривать. Кто знает, что у него на уме. Одиноким дремлющим фашист — заманчивая штука. Тукнет чем-нибудь по голове и свалит в овражек.

На рассвете достигли пригорода. В том месте, где шоссе превращалось в улицу, Василий заметил шлагбаум и танцующую около него фигуру прозябшего постового. Там могут проверить документы, спросить о чем-нибудь. Это Ромашкину ни к чему.

— Хальт! — скомандовал он вознице и, выбравшись из саней, махнул рукой: езжай, мол, дальше. Дядька послушно продолжал свой путь. Ромашкин ушел с шоссе и тихими заснеженными переулками углубился в город.

Витебск еще спал.

Где-то здесь, в этом скопище развалин и уцелевших домов, нужна квартира. Там его ждут. Туда сообщили по радио, что Ромашкин вышел.

Василий считал улицы — нужна четырнадцатая. Чем глубже в город, тем крупнее дома и чаще развалины. Черные проемы окон, лишенные рам и стекол, смотрят угрюмо.

Пересек десятый перекресток и вдруг прочитал на угловом доме название нужной «штрассе». Значит, в пригороде обсчитался на три улицы. Не беда!

Отыскал дом номер 27. Вошел в чистый освещенный подъезд. Квартира на первом этаже. На всякий случай положил руку в карман, на пистолет. Может, пока шел, здешних разведчиков раскрыли и сейчас за дверью засада?

Негромко, чтобы не разбудить соседей, постучал в дверь. Через минуту женский голос спросил:

— Кто там?

Стараясь подделаться под немца, сказал пароль:

— Я пришел от гауптмана Беккер; он имеет для вас срочная работа.

Дверь открывается, и женщина говорит отзыв:

— Во время войны всякая работа срочная.

Впустив Ромашкина и заперев дверь, хозяйка подавала руку, шепотом сказала:

— Проходите в комнату, товарищ. — А куда-то в сторону бросила: — Коля, это он.

Только теперь Василий заметил в конце коридорчика мужчину лет сорока. Мужчина подошел, представился:

— Николай Маркович.

Ромашкин снял шинель, хотел повесить ее на вешалку, но хозяйка остановила:

— Здесь не надо.

Она унесла шинель в комнату.

Сели к столу, Ромашкин рассматривал этих скромных, смелых людей. Сколько сил прилагает, наверное, гестапо, чтобы отыскать их! А они живут, работают, встречаясь с гестаповцами каждый день. Крепкие нужны нервы, чтобы вот так ходить день за днем по краю пропасти.

Николай Маркович в свою очередь присматривался к Василию. Сказал одобрительно:

— Быстро добрались. Я думал, придете завтра.

— Спешил. Переждать до следующей ночи негде — обнаружат, да и холод собачий — окоченеешь.

— Надюша, — спохватился хозяин, — организуй-ка чаю и другого-прочего, промерз человек.

Хозяйка ушла на кухню, а они сидели и не знали, о чем говорить. Разговор налачился лишь за завтраком. Ромашкина расспрашивали о жизни на Большой земле. Он охотно отвечал на эти расспросы. Но едва ослабло напряжение, начала сказываться усталость. От хозяев квартиры это не ускользнуло. Николай Маркович поднялся, мягко сказал:

— Нам пора на службу. А вы укладывайтесь спать. Набирайтесь сил. Вечером в обратный путь...

Они ушли, Ромашкин лег в постель. Слышал, как под окнами иногда топают немцы, доносился их резкий говор.

Проснулся, когда уже стало смеркаться. Надо собираться «домой», нет причин задерживаться здесь. Фото пленку с отснятыми чертежами Надежда Васильевна зашила ему в воротник под петлицу. А подлинники лежат где-то в сейфах, под охраной часовых.

«Чтобы попасть сюда, — подсчитывал Ромашкин, — мне понадобилось около семи часов. Если на возвращение уйдет столько же, то к двум часам ночи могу быть у своих. Однако спешить пельзя. Переходить линию фронта лучше попозже — часа в три ночи, когда часовые умятся и никто другой не будет слоняться по обороне. Сложнее теперь перебраться через

колючую проволоку: нет ни саперов, ни ножниц для проделывания прохода, а старого я, конечно, не найду. Придется подкопаться снизу или перелезть по колу. Оборвешься — порежешь руки, но лишь бы выбраться».

Договорились, что Николай Маркович и Надежда Васильевна будут сопровождать его по противоположной стороне улицы и проследят, как он выйдет из города. Николай Маркович предупредил:

— Если с вами что-нибудь стрясется, мы ничем не сможем помочь. Вы понимаете, мы не имеем права...

Он говорил смущенно, боясь, чтобы Ромашкин не принял это за трусость.

На прощание вышли по стопке за удачу. Эта стопка потом неожиданно сыграла очень важную роль.

Улицы были безлюдны. Редкие прохожие боязливо уступали Ромашкину дорогу. Он шел не торопясь, пистолет в кармане брюк, готовый к действию в любой момент. На противоположной стороне — Николай Маркович и его жена будто прогуливались.

Дошли до оживленной улицы. Поток людей несколько озадачил Ромашкина: не пересекал такой людной, когда шел утром. Но тут же сообразил, что ранним утром все улицы одинаково пустынные, а сейчас вечер — время прогулок.

По тротуарам прохаживались немецкие офицеры, в одиночку и с женщинами.

Выждав, когда на перекрестке станет помельче военных, Ромашкин двинулся вперед. Миновал тротуар, проезжую часть. Еще миг — и скрылся бы в желанном сумраке боковой улицы. Но тут как раз из-за угла этой улицы прямо на него вывернул парный патруль. На рукавах белые повязки с черной свастикой.

Патрульные остановили его, о чем-то спрашивали. По телу, от головы до ног, прокатилась горячая волна, а обратно, от ног к голове, хлынула волна холодная.

Боясь выдать себя произношением, Василий молча достал удостоверение. Что еще могут спрашивать, конечно, документы!

Худой, с твердыми желваками на скулах патрульный внимательно изучил его служебную книжку, спросил придирчиво:

— Почему ты здесь? Твой полк на передовой, а ты в тылах ошиваешься?..

Вопрос резонный. Но Василий не спешил вступать в разговор с немцами. В такой момент он и по-русски-то, наверное, говорил бы заикаясь, где уж там объясняться по-немецки!

Задержанный молчал, а патрульный все настойчивее домогался, почему он улизнул с передовой. Вокруг образовалось кольцо зевак, среди них много военных. Бежать невозможно.

Василий украдкой осмотрел окружающих. Искал, кто покрупнее чином. Пока не обыскали и пистолет при нем, хотел подороже взять за свою жизнь.

Вдруг патрульный засмеялся. Он наклонился к Ромашкину, принохался и весело объявил:

— Да он, скотина, пьян!

Ромашкин поразился: какое чутье у этого волкодава! Всего ведь по стопке выпили с Николаем Марковичем за удачу.

Трудно было определить, удача это или нет, но обстановка на какое-то время все-таки разрядилась. Коли пьян, разговор короткий. Ромашкина бесцеремонно повернули лицом в нужную сторону, сказали «Ком!» и повели в комендатуру.

Хорошо, что не обыскали! Пистолет, будто напоминая о себе, постукивал по ноге. Василий шел, покачиваясь слегка, как и полагается пьяному. Посматривал по сторонам. Патрульные, посмеиваясь, разговаривали между собой, подталкивали в спину, когда Ромашкин шел слишком медленно:

— Ком! Ком! Шнель!

Василий был внешне вроде бы безразличен к тому, что происходит, а в голове одна мысль: «Надо действовать! Надо что-то предпринимать! Если заведут в помещение, все пропало, оттуда не уйдешь. А где эта комендатура? Может, вон там, где освещен подъезд?»

Шли мимо двухэтажного дома, разрушенного бомбежкой. Внутри темно. Лучшего места не будет!

Василий выхватил пистолет, в упор выстрелил в патрульных и, вскочив на подоконник, прыгнул внутрь дома. Сзади послышались отчаянные крики. Захлопали пистолетные выстрелы.

Ромашкин делал все автоматически. Совсем не думая о том, что когда-то изучал приемы «отрезания хвоста», остановился у стены за одним из поворотов и, как только выбежал первый преследователь, выстрелил ему прямо в лицо. Потом выпрыгнул из окна во

двор, перемахнул через забор, перебежал садик. Выглянул из ворот на улицу, быстро перешел ее и опять скрылся во дворе.

Так и бежал по дворам, перелезая через изгороди. В одном из дворов женщина снимала с веревки белье. Ромашкин молча прошел мимо к воротам. Она с изумлением посмотрела на странного немца, который почему-то лезет через забор.

Ближе к окраине не стало дворов общего пользования. Калитки заперты.

Ромашкин пошел тихой улицей. По ней, видимо, мало ходили и совсем не ездили — на середине лежал нетронутый снег.

Погони пока не слышно. Но служебная книжка на имя Шуттера осталась у патруля, и Василий не сомневался, что из немецкой комендатуры позвонили в 186-й пехотный полк. Теперь, конечно, установлено, что никакого Шуттера там нет. Значит, его начнут искать всюду — и в городе, и на дорогах.

Ромашкин на ходу оценивал обстановку.

«Восемь часов. Быстро я проскочил город — заборы не помешали! Впереди еще целая ночь. Этого вполне достаточно, чтобы пробраться к своим».

Подошел к развилке дороги. Столб с указателями подробно информировал, в какой стороне какие деревни и сколько до каждой из них километров. Одним своим ответвлением дорога уходила к лесу. Ромашкин выбрал это направление: в лесу легче маскироваться. Однако вскоре он понял, что ошибся: лес был полон звуков. Ревели моторы танков — их, видимо, прогревали. Перекалились немецкие солдаты, трескали сломанные ветки.

Ромашкин свернул с дороги и вскоре очутился на обширной поляне. Поспешил к поваленному дереву в конце поляны. Но, подойдя ближе, вдруг разглядел, что это не дерево, а ствол пушки. Василий поспешил назад и только теперь услышал, как громко скрипит под сапогами снег. Пока не было явной опасности, не замечал, а сейчас этот скрип резал слух.

Обойдя батарею, опять двинулся на восток. Лес кончился, впереди у самого горизонта вспыхивали и гасли осветительные ракеты. Ромашкин обрадовался: «Значит, выхожу к траншейной системе». Но здесь войска стоят плотнее. Нужен маскировочный костюм, а его нет. Дерево, у которого Василий зарыл свой белый костюм, где-то совсем в другом месте.

«Как же я поползу в этой зеленой шинели? На снегу меня будет видно за километр!»

Ромашкин забрался в кустарник и разделся догола. Холодный ветер будто ожег его. Проворно надел брюки и куртку, а нижнее белье натянул сверху. Шинель пришлось бросить, на нее нательная рубашка не лезла. Оглядев себя, с досадой отметил: «На снегу будут выделяться руки, ноги, голова. Руки и ноги, в крайнем случае, можно ткнуть в снег, а вот как замаскировать голову?» Но и тут нашелся: достал носовой платок, завязал концы узелками. Еще мальчишкой, купаясь на речке, Василий мастерил такие шапочки. Маскировка, конечно, получилась не ахти какой, да что поделаешь!

Пошел «скачками». Без помех продвигался километра два. Наметил очередную остановку у развалин. Они были метрах в пятидесяти. Перебежал к ним, а это вовсе не развалины, это штабель боеприпасов, накрытый брезентом. В заблуждение ввели ящики, разбросанные вокруг этого полевого склада.

У противоположного конца штабеля маячил темный силуэт часового. Василий осторожно пополз в сторону.

Так вот — то ползком, то «скачками», то обливаясь потом, то промерзая до костей, когда надолго приходилось замирать в снегу, — он достиг наконец желанной цели. Между ним и нейтральной зоной осталась одна траншея и проволочное ограждение. К этому моменту Ромашкин настолько устал, что едва мог двигаться. Тело было как деревянное. Хотелось одного: поскорее выбраться за проволоку! Она совсем рядом, но по траншее ходит гитлеровец.

Ромашкин заметил его каску издали. Каска проплывала вправо шагов на двадцать, влево — на десять. Василий пересчитал эти шаги не раз. Когда часовой шел вправо, делал пятнадцатый шаг и должен был сделать еще пять, находясь к Ромашкину спиной, тот подползал ближе к траншее. Когда часовой возвращался, Василий лежал неподвижно.

И вот они рядом. Достаточно протянуть руку — и можно дотронуться до каски часового.

Самое правильное — без шума снять его и уйти в нейтральную зону. Но Ромашкин чувствовал: сейчас это ему не под силу. Он настолько изнемог и промерз, что гитлеровец легко отразит его нападение.

«Убить из пистолета — услышат соседние часовые, прибегут на помощь. Что же делать? Перепрыгнуть

через траншею, когда фашист будет ко мне спиной? Но я не успею отползти. Это сейчас он меня не видит, потому что я сзади, а он смотрит в сторону наших позиций. На противоположной же стороне траншеи я окажусь прямо перед его носом... Но и так лежать дальше нельзя — замерзну. Единственный выход — собрать все силы и ударить фашиста пистолетом по голове, когда будет проходить мимо».

Пытаясь хоть немного отогреть пальцы, Ромашкин дышал на них и совсем не чувствовал тепла. Рука может не удержать пистолета, удар не получится.

И все же, когда немец вновь поравнялся с ним, Василий ударил его пистолетом по каске. Плохо! Удар вскользь. Гитлеровец с перепугу заорал, бросился бежать. Пришлось выстрелить, после чего Ромашкин мигом оказался у проволочного заграждения. Ухватившись за кол, полез по нему, опираясь ногами о проволоку. Сзади уже кричали, стреляли.

Разрывая о колючки одежду и тело, Василий перебрался через второй ряд проволоки, и тут что-то тяжелое ударило в голову. Он потерял сознание.

Когда очнулся, в первую минуту ничего не мог понять. В глазах плыли оранжевые и лиловые круги. Чувствовал сильную боль, но где именно болит, сразу не разобрал. Пытался восстановить в памяти, что произошло. И вот смутно, будто очень давно это было, припомнил: «Лез через проволоку, потерял сознание от удара. Ранен... Но куда? И где я сейчас?»

Он лежал в снегу, вокруг ночная темень. Рядом разговаривали по-немецки. «Почему меня не поднимают, не допрашивают?» Позади кто-то работал лопатой. «Может, приняли за убитого и хотят закопать?» Вслушался: опять звон лопаты о проволоку, натужливое пыхтение. Догадался: «Да, фашисты считают меня убитым. Они по ту сторону проволочного заграждения. Я — по эту. Подкапываются под проволоку, чтобы втащить меня к себе... Вскочить бы сейчас и бежать! Но если у меня перебиты ноги?» На снегу недалеко от себя Ромашкин увидел свой пистолет. Постарался вспомнить, сколько раз из него выстрелил, есть ли в обойме хоть один патрон. «Живым не дамся. Все равно замучают».

Пока размышлял, к его ногам уже подкопались. Пробовали тащить, не получилось. Он лежал вдоль проволоки и, когда потянули за ноги, зацепился одеж-

дой за колючки. Гитлеровцы просунули лопату с длинным черенком и, толкая в спину, пытались отцепить его от колючек и повернуть так, чтобы тело свободно прошло в подкоп.

Ждать дальше было нельзя. Ромашкин подхватился и бросился бежать в сторону своих окопов.

У немцев — минутное замешательство: мертвец побежал! Потом они опомнились, открыли торопливую пальбу. А он бежал, падал, кидался из стороны в сторону. Над ним взвивались ракеты. Полосовали темень трассирующие пули.

Добежал до кустов. Пополз параллельно линии фронта. Неприятельский огонь по-прежнему перемещался в направлении наших позиций. Значит, потеряли из вида, считают, что он бежит к своим напрямую.

С нашей стороны ударила артиллерия, — это было очень кстати. Только непонятно, почему она откликнулась так быстро на всю эту кутерьму. Случайное стечение обстоятельств?..

На пути встретилась замерзшая речушка. У Василия еще хватило сил выползти на лед, но тут он опять потерял сознание. Кроме предельной усталости сказывалась и потеря крови.

Очнулся от толчка. Его перевернули на спину и, видимо, рассматривали. Кто-то сказал с досадой:

— Фриц, зараза!

Неласковые эти слова прозвучали для Ромашкина сладчайшей музыкой. Смог только выдохнуть:

— Не фриц я, братцы!

— Ты смотри, по-русски разговаривает! — удивился человек, назвавший его фрицем. — Ну-ка, хлопцы, бери его!

Ромашкин не запомнил, как и почему оказался он в блиндаже усатого командира полка, совершенно незнакомого. Едва перебинтовали голову, Василий оторвал от куртки воротник и попросил срочно доставить этот лоскут в штаб фронта — в разведывательное управление.

А там, оказывается, все были в тревожном ожидании. Николай Маркович успел сообщить по радио о столкновении Ромашкина с немецким патрулем и, кажется, удачном бегстве от преследователей. Командующий фронтом приказал в каждом полку первого эшелона держать наготове разведчиков и артиллерию. И когда в том месте, где Ромашкин переходил фронт, гитлеровцы проявили сильное беспокойство, наша

артиллерия немедленно произвела огневой налет по их передовым позициям, а группа разведчиков вышла в нейтральную зону. Она-то и подобрала Василия на льду.

Теперь он сидел в теплом блиндаже, смотрел и не мог насмотреться на дорогие ему русские лица. Казалось, не видел их целую вечность.

— Какая у меня рана? — спросил Ромашкин фельдшера, бинтовавшего ему голову.

Фельдшер замялся, но, видно, посчитал неприличным врать такому человеку.

— Надо поскорее вас в госпиталь. Ранение в голову всегда опасно.

Усатый командир полка заторопился: приказал немедленно подать его сани, накинул на Ромашкина полушубок, распорядился, чтобы фельдшер лично сопровождал раненого до госпиталя.

Прощаясь, подполковник дал Василию флягу, шепнул:

— Ты крови много потерял, как бы не замерз в пути. Принимай помаленьку.

Сани скользили легко и плавно. И так же легко было на душе у Василия. «Все же выбрался. И поручение командующего выполнил». Отвинтил крышку фляги и хлебнул на радостях несколько глотков. «Мама в эту ночь спокойно спала. Она даже не подозревает, как близко я был от гибели и каким чудом спасся». Ромашкин выпил еще несколько глотков — за нее.

В расположении своих войск все было прекрасно, даже запоздалый мороз нипочем и ветер ласковее. Вспомнил предупреждение усатого командира полка: «Как бы не замерз в пути». Замерзающим, говорят, всегда кажется тепло и хочется спать. Он еще раз приложился к фляге и прислушался к самому себе. Нет, спать ему не хотелось. Наоборот, его будоражило веселое возбуждение, хотелось петь. И он запел песенку, которую услышал на том концерте у Днепра:

Шаланды, полные кефали,
В Одессу Костя приводил...

В госпитале хирург, уже поджидавший раненого разведчика, сказал обнадеживающе:

— Ну, раз поет, все будет хорошо.

Ромашкину очень хотелось поговорить и с хирургом и с сестричками, которые почему-то хихикали в свои марлевые маски.

— Лежите спокойно, потом поговорим,— обещала одна из них.

— Ну и веселый раненый! — сказала другая.— У нас таких еще не было.

— Это точно,— согласился Ромашкин.— А вы знаете, почему я в немецкой форме? Вы не думайте, я не фриц.

— Все мы знаем, лежите, пожалуйста, спокойно, а то свяжем вас,— пригрозил хирург.

Ромашкин засмеялся. Ему казалось очень смешным, что будут связывать свои, да к тому же такие хорошенькие девушки.

— Связывайте! — великодушно разрешил он, и в тот же миг нестерпимая боль обожгла голову. Ромашкин сморщился, застонал: — Ммм, ну, это ни к чему, доктор! Все шло так хорошо...

— Терпи, дорогой, и радуйся: кажется, мозги тебе не задело. Твердолобый ты, пуля срикошетировала.

Ромашкин опять заулыбался.

— Значит, еще поживем?

Он закрыл глаза и, будто покачиваясь в теплой детской люльке, стал засыпать...

— Ну и парень! — шептали сестры. Они заходили сбоку и смотрели на бледное, осунувшееся лицо Ромашкина.

— Разведчик — этим все сказано! — значительно молвил хирург.— Не чета нам, тыловым ужам! — Доктор старался действовать осторожно, чтобы не разбудить этого необыкновенного, по его понятиям, человека. Кто-кто, а врач понимал, до какой степени утомлен человек, если заснул без наркоза под ножом хирурга!

* * *

После операции Ромашкина поместили в отдельную маленькую брезентовую палатку. Она была обтянута изнутри слоем белой ткани, обогревалась железной печуркой.

Василий понимал: такое внимание к нему не случайно. Наверное, об этом позаботился сам командующий фронтом. Только вот никто не навестил его, не поздравил с удачным возвращением. Из-за этого появилась обида. Она точила как червь, причиняя боль,

гораздо большую, чем рана в голове. Подумав, Ромашкин стал утешать себя: «О пережитом мною, о том, как проник в город, занятый противником, убил патрулей и ушел от преследования, раздевался догола на ледяном ветру, снимал часового и едва не угодил живым в могилу, знаю только я. Для других это выглядит по-другому: разведчик Ромашкин получил приказ доставить ценные сведения, задачу выполнил, в ходе выполнения ранен. Вот и все. Остальное лирика. Перед наступлением у каждого работы много, некогда вести душещипательные беседы с раненым. Лежишь в отдельной палате, лечат, кормят, чего тебе еще надо?»

И когда Ромашкин совсем уже успокоился, когда в душе его все встало на свои места, вдруг поднялся край палатки. Заглянул ладный солдат в отлично сшитой шинели, в комсоставских начищенных сапогах, в фуражке с лакированным козырьком. Солдат и не солдат, будто сошел с картинки. На фронте таких не было.

— Здравия желаю, товарищ старший лейтенант,— сказал, улыбаясь, красивый солдат.— Мы — фронтовой ансамбль песни и пляски.— Он показал рукой на вход в палатку, и Василий только сейчас услышал там, за брезентовым пологом, сдержанный говор многих людей.

Ромашкин не мог понять, что все это значит и какое он имеет отношение к ансамблю. Солдат пояснил:

— Нас прислал командующий фронтом. Сказал, что здесь, в госпитале, находится раненый разведчик, который выполнил очень важное задание, и его, то есть вас, надо повеселить. Вот мы и прибыли.

Приятная волна благодарности прихлынула к сердцу Ромашкина: «Не забыл. При всей своей невероятной занятости. Спасибо вам, товарищ командующий!»

— Как же вы будете это делать? В палатке больше трех — пяти человек не поместится,— растерянно спросил Василий и, только сказав это, догадался — есть иной выход: — Вы дайте концерт для госпиталя где-нибудь в общей столовой и доложите командующему, что приказ выполнен.

— Мы так не можем. Приказано поднять настроение лично вам. Для госпиталя будет особое выступление,— настаивал солдат.

— Ничего не получится, я еще не ходячий. Может, на носилках меня снесут куда-нибудь, где все будут слушать?

— Приказ есть приказ! Мы все организуем здесь... Меня зовут Игорь, фамилия Чешихин. Друзья шутки ради пустили слух, что это псевдоним, который, мол, происходит от главного моего занятия: чесать языком. Я ведь конферансье. По-военному — ведущий ансамбля...

Появился дежурный врач, пришли сестры, укрыли Ромашкина еще двумя одеялами, подняли полы палатки, и Василий увидел толпу хорошо одетых солдат, похожих, как братья, на Игоря Чешихина.

Профессионально улыбаясь, Игорь представил их единственному зрителю и слушателю. Звонко, как с эстрады, объявил:

— «Землянка», слова Алексея Суркова, музыка Константина Листова, исполняет солист ансамбля Родион Губанов.

Где-то сбоку бархатисто зарокотали баяны, зазвучал мягкий баритон. Василий видел певца только до ремня на шинели да его руки, которые то сплетались пальцами, то взлетали порознь куда-то вверх.

Происходящее было похоже на приятный сон — красивые люди, музыка, пение. И очнуться не хотелось: сон это или бред, пусть так и будет. Важно, что слова песни вполне отражают явь. «Бьется в тесной печурке огонь...» Вот она, печурка, и прыгает в ней красный огонь. «На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь...» Ну не в землянке, так в палатке. Только вот глаза перед Василием другие — мамины глаза. Мама, мама, нет никого роднее и ближе тебя! «Ты теперь далеко, далеко... а до смерти четыре шага». Сейчас, пожалуй, побольше четырех. А было меньше шага: когда вели патрули по Витебску, стволом автомата в спину подталкивали. И немец, которого не смог оглушить закованной рукой, чуть не выстрелил в упор. Как уцелел? Непонятно. Из нескольких автоматов били, пока лез через проволоку, а зацепила всего одна пуля!

— Вы не спите, товарищ старший лейтенант? — озабоченно спросил Игорь Чешихин.

— Нет, нет, я все слышу и вижу отлично. Только не повредит ли вашим товарищам пение на открытом воздухе? У них ведь голоса.

— Мы привычные. Всю зиму на морозе пели. Концертных залов на передовой нет. Теряли и голоса и певцов. Война!..

После пения показали пляски. Танцорам было тесно на узкой дорожке перед палаткой, но они все же лихо кружились, а еще лучше посвистывали.

— Специально для вас приготовлен отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин», — сообщил Игорь.

Ромашкин приподнялся. Он любил стихи Твардовского, в особенности про этого удалого парня Теркина!

Игорь читал отрывок совсем новый, еще не читанный Василием в газете:

Подзаправился на славу,
И хоть знает наперед,
Что совсем не на расправу
Генерал его зовет,
Все ж у главного порога
В генеральском блиндаже —
Был бы бог, так Теркин богу
Помолился бы в душе.

«Ну точно про меня! — думал с восторгом Василий. — Будто подсмотрел Твардовский, когда я шел к командующему».

И на этой половине —
У передних наших линий,
На войне — не кто, как он,
Твой ЦК и твой Калинин.
Суд. Отец. Глава. Закон.

Василий вспомнил всех генералов, с которыми довелось встречаться. Комдив Доброхотов — строгий, властный, но бывает и добр — таким он запомнился, когда вручал Василию первую медаль «За боевые заслуги». Член Военного совета Бойков — ну этот действительно и «ЦК и Калинин» — огромной масштабы человек... Вспомнился Черняховский — красивый, крепкий, молодой, а глаза мудрые. «Даже с маршалом Жуковым встречался! — вспомнил вдруг Василий. — С этим, правда, мельком, когда орден получал. Крепко на земле стоит, высоко голову держит. И теплый лучик в строгих глазах. На один лишь миг, когда руку пожимал. Маршалу иначе, наверное, и нельзя».

Вместе с генералами встал перед Ромашкиным, как живой, комиссар Гарбуз, Василий был уверен, что если б не погиб Андрей Данилович, стал бы и он генералом. Да и без этого звания он по своим делам, по силе влияния на людей был настоящим генералом...

— «Вот что, Теркин, на неделю можешь с орденном — домой...» — не декламировал, а как-то запро-

сто говорил Игорь. Чтец го превращался в Теркина, то в генерала, то в Твардовского. А то вдруг Василий узнавал в нем и себя. И было все это опять как во сне.

Радостное ощущение не покидало Ромашкина и после концерта. «Ансамбль для одного! Ну, пусть не полный, пусть несколько человек, но ведь для одного меня прислал командующий!..»

Словно продолжение этого сказочного сна, вечером в его палатку грузно ввалился член Военного совета Бойков.

— Лежишь? Правильно делаешь! Много сделал, отдохни!

Генерал расстегнул шинель, снял фуражку, сел на табуретку так, что она хрустнула. Поглядел на Василия улыбочиво и добро:

— Сейчас отдышусь...

«Больной человек,— подумал Василий, глядя на отеки под глазами генерала,— а по передовой мотается и днем и ночью».

Бойков поднялся, застегнул шинель на все пуговицы, надел фуражку, проверил, ровно ли она сидит. «Куда же он? — удивился Василий.— Ничего не сказал... Неужто за тем только и заходил, чтобы отдышаться?»

Но Бойков не ушел. Он встал против лежащего Ромашкина по стойке «смирно» и негромким, но торжественным голосом произнес:

— По поручению командующего фронтом генерала армии Черняховского вручаю вам, старший лейтенант Ромашкин, за выполнение особого задания ордена Красного Знамени.— Генерал подал картонную коробочку, в ней Ромашкин увидел красно-золотой орден и бело-красную ленту, натянутую на колодке.— От себя поздравляю, дорогой мой, и желаю тебе быстрее поправиться, совершить еще много героических дел на благо Отечества! — Бойков погладил Ромашкина по голове и уже буднично спросил: — Куда же тебе орден прикрепить? — Секунду подумал и решил: — А почему нельзя на белую нательную рубашку? У тебя сейчас такая форма одежды — госпитальная! — Он прикрепил орден, прихлопнул пухлой ладонью.— Носи на здоровье! И еще, Василий, обрадую тебя: можешь после выздоровления ехать в отпуск на пятнадцать суток. Командующий разрешил. Просил передать, что сам бы с удовольствием навестил тебя, да не может: дел много. И меня за торопливость тоже

извини. К большому мероприятию готовимся. Будь здоров! Передай привет маме.

Бойков пожал руку и ушел к поджидавшему его за палаткой автомобилю. Заурчал мотор, хрустнули ветки, и машина стала удаляться.

А в ушах Ромашкина вдруг зазвучал ясно и отчетливо голос Игоря Чехихина, будто концерт продолжался:

— Вот что, Вася, на неделю
Можешь с орденом — домой!

Ромашкин жалобно посмотрел на сестру, попросил:

— Сестричка, уколи меня чем-нибудь или облей водой.

— Вам плохо? Я сейчас дежурного врача вызову.

— Да нет же, хорошо! До смерти хорошо!

Сестра нежно молвила:

— Ничего, от радости еще никто не умирал!

* * *

Ромашкин пробирался по избитым фронтовым дорогам к Смоленску, от которого начинали ходить пассажирские поезда. Было радостно и непривычно ходить в полный рост, не пригибаясь, не прислушиваясь к летящим пулям и снарядам. Потом тыловая жизнь стала открывать свои другие «прелести». Дороги пыльные и в то же время грязные — во всех колдобинах и воронках зелено-черная дождевая вода. Шоферы гоняли машины по этим горбатым дорогам, как гончики на соревнованиях. Ромашкину казалось, вот-вот вылетят наружу внутренности от этой проклятой тряски по рытвинам. Он крикнул шоферу в окошечко:

— Ты бы хоть притормаживал, везешь как бревна!

— Я под пассажиров не приспособленный, тсварищ старший лейтенант, вы сами попросились. Пока фриц не прилетел, надо поторапливаться. Меня на передовой со снарядами ждут, — усмехаясь, ответил водитель.

Что ему скажешь? Он ведь так изо дня в день мотается.

На очередном перекрестке Ромашкин простоял с полчаса. Он заметил, что среди ожидающих есть офицеры, сержанты, солдаты какой-то особой тыловой категории, они знакомы с регулировщиками, разговаривают с ними по-приятельски. Регулировщиков слушались все, понимая свою полную от них зависимость,

одни эти дорожные боги точно знали, кому и куда нужно ехать, чтобы добраться в конечный пункт тряско-го путешествия.

— Старшой, садись, твоя карета,— весело сказал курносый ефрейтор, перекинувшись несколькими словами с шофером.

— Так мне на восток, к Смоленску, а он куда-то в сторону,— несмело возразил Ромашкин.

— Садись, будет полный порядок,— сказал курносый регулировщик и бросил шоферу: — Довезешь до горелого танка, там сбросишь. А вы потом пересядете на восток — там наши помогут, не сомневайтесь.

К середине дня Ромашкин уже не чувствовал себя таким счастливым, как утром в начале поездки: все болело от тряски, голова была тяжелой, хотелось есть, отдохнуть. Но как это делается в тылу, Василий не знал. Здесь какие-то свои законы — дали вот продаттестат, какие-то талончики, а куда с ними обращаться? Нет, на передовой лучше — там накормят, напоят, есть свое место в блиндаже. Все тебя знают, уважают, а тут ты какой-то чужой.

На пятом или шестом перекрестке Ромашкин подумывал — уж не возвратиться ли в полк? Он тоскливо смотрел на громыхающие мимо «ЗИСы» и «студебекеры». Шоферы на ходу кричали свой маршрут регулировщице, немолодой женщине, а она махала им флажком — «Давай». Попутной для Ромашкина все не было. Василий проклинал курного ефрейтора за то, что он заслал его сюда на какую-то боковую дорогу. «Говорил ведь ему, на Смоленск, так нет, засунул к черту на кулички. Надо бы вернуться да начистить ему конопатую рожу за такие дела».

Вдруг мимо проехала трехтонка, в окошечке ее кабины мелькнуло такое, что Ромашкин мгновенно вскочил и, как всегда, благодаря своей боксерской реакции, сначала отреагировал действием, а потом уже толком сообразил, что произошло. Он закричал истошным голосом, чтобы грузовик не умчался:

— Стой! Стой!

Кричал он так громко и взволнованно, что шофер, скрипнув тормозами, остановился. Регулировщица удивленно спросила:

— Что случилось? В чем дело?

Ромашкин побежал к кабине, из которой выглядывала русоволосая девушка в пилотке и удивленно смотрела на него. Ромашкин сразу узнал ее.

— Таня, это я — Василий Ромашкин, — запыхавшись от волнения, будто после долгого бега, счастливо сообщил Ромашкин.

Девушка пожала плечами, смущенно улыбнулась:

— Я вас не знаю.

— Как же не знаете? Москва, сорок первый год. После парада на Красной площади мы познакомились в переулке.

— Да, да, что-то припоминаю, — несмело подтвердила Таня.

— Вот видите. Это был я. А вы тоже на фронт должны были ехать, сказали, ни к чему наше знакомство.

— Теперь вспомнила.

— Я так много о вас думал! Даже с Зоей Космодемьянской спутал. Ее ведь как «Таню» казнили. Я у пленных из той дивизии все про ваши зеленые варежки спрашивал, помните, у вас были домашней вязки, когда встретились в Москве? Мне почему-то казалось, что вы и есть та самая Таня. И вдруг вот вы живы, здоровы и рядом, но... совсем другая.

— Нет, я все та же. Только мне нездоровится, — Таня почему-то смутилась. — А вы куда едете?

— В тыл, в отпуск после ранения. Мне в Смоленск на поезд надо.

— И мы туда же.

Ромашкин с укором посмотрел на регулировщицу, сердито спросил:

— Что же вы зря на дороге торчите? Машина идет в нужном мне направлении, а я сижу жду.

— Так их разве остановишь, носятся как скаженные, попробуй узнай, кто куда летит.

Ромашкин махнул рукой, вскочил в кузов, пристроился поближе к окну, из которого выглядывала Таня, и они помчались вперед, не слыша половину слов в грохоте разбитого старого кузова.

— Ладно, в Смоленске поговорим, — наконец сказал Ромашкин и сел поудобнее на запасной баллон. Он глядел на Таню сбоку. Надо же такому случиться — за два года первый раз выбрался в тыл и в этой чертовой дорожной кутерьме вдруг встретил Таню!

Таня очень изменилась, у нее было желтое болезненное лицо, усталые грустные глаза. Она уже не была той румяной на морозе русской красавицей, какой ее впервые встретил Ромашкин. Может быть, ранена или по болезни домой едет?

Машина шла мягче тех, на которых довелось ехать Василию раньше. «Что значит женщину везет!» — усмехнулся Ромашкин.

В Смоленске, как в вырубленном лесу, от домов остались только пеньки. Город просматривался насквозь во все стороны, груды кирпича, обгорелые трубы, одинокая, исклеванная снарядами церковь.

Около остатков вокзала — скопление людей, машин, повозок. Ромашкин выпрыгнул из кузова и остолбенел от того, что увидел. Таня, прощаясь с шофером, благодарила его, передавала приветы своим подружкам, под конец прослезилась и чмокнула шофера в щеку. Но не это поразило Василия. У Тани, задирая вверх подол зеленого форменного платья, торчал вперед огромный живот. Она была беременна. «Вот почему водитель вез осторожно!» Когда шофер отъехал, Таня просто и печально сказала:

— Как видите, не только немцы, и свои выводят бойцов из строя.

Василий сразу понял — не по любви у нее это, не встретила она своего единственного на фронте, кто-то обидел Таню. А раз это так, то и расспрашивать не надо, больно будет ей.

В развалинах вокзала уцелел небольшой зал, в нем было полно людей и так накурено, что совсем не видно старую довоенную пожелтевшую табличку «Не курить». Пассажиры — мужчины, женщины и даже дети — все сплошь в военной одежде: в солдатских ватниках, выгоревших гимнастерках, зеленых самодельных фуражках, цигейковых солдатских шапках. Военные отличались от гражданских только погонами.

В углу над двумя дырами, пробитыми в стене, надписи на фанерках: «Комендант», «Касса». Василия удивило, что возле этих окошечек никого не было, люди будто собрались здесь просто так потолкаться, поговорить, покурить.

Заглянув в одно отверстие, Ромашкин увидел солдата у полевого телефона:

— Послушай, когда будут продавать билеты?

— За час до отхода поезда. Сегодня уже ушел.

— А заранее нельзя? Завтра всем за час разве успеете? У меня больной товарищ, он в давке не сможет.

— Заранее нельзя, ваши деньги или проездные пропадут. Тут такое бывает! Нашу жизнь дальше чем на час вперед разглядеть невозможно, товарищ старший лейтенант. — В голосе солдата была явная гордость

близостью к загадочной опасности, на которую он намекал.— Вы бы шли до первого разъезда — там много товарняков формируется, сегодня уедете.

— Я же говорю: товарищ больной.

— Ну тогда ждите до завтра. Может, в гостинице примут вашего дружка. Он кто по званию?

— Да чин не велик.

— Ну тогда не примут, там только для старшего комсостава. На вокзале не оставайтесь, подальше идите, тут такие сабантуи бывают, не продохнешь.

Ромашкин все же повел Таню в гостиницу. Она оказалась в уцелевшей половине наискось обрубленного авиабомбой четырехэтажного дома. В верхних окнах просвечивало небо. В нижнем этаже одна большая комната была уставлена железными кроватями с крупной проволоочной сеткой, ни матрацев, ни подушек не было. На двери надпись на картонке «Только для старших офицеров». Заведовал этим «отелем» пожилой солдат с обвислыми запорожскими усами, который и в форме был простой колхозный дядько с украинского хутора. Он сидел у входа и дымил самосадом на все свое заведение. Взглянув на Танин живот, солдат сказал еще до того, как Ромашкин спросил:

— Вам можно. Занимайте вон ту коечку в уголку.

— А ему? — Таня кивнула на Ромашкина.

— Им невозможно, они старший лейтенант. А вам у порядке исключения.

— Он мой муж, куда же он пойдет?

— Уместе будете лягать дома, туточки только для старших охфицеров. Прийде якись полковник, куды я его положу? А вам две койки отдам? Нет, такое невозможно.

— А мы вместе, на одной,— оживляясь от своей догадливости, предложила Таня.

— Ну на одной лягайте. Мужу и жинке можно,— согласился солдат.

Когда Таня и Василий отошли, солдат потянул цыгарку так, что она затрещала, крутнув головой, понимающе сказал:

— И до чего только народ не додумается — и свое дело справил, и жинку в тыл отправил, и сам в отпуске побывает.

Рядом с кроватью, на которую Таня и Ромашкин бросили вещевые мешки, сидел пожилой полковник, белая густая седина была на нем словно парик, красные воспаленные глаза слезились, розовая старческая

кожа на щеках собралась в мягкие морщины. На кителе полковника были золотые повседневные погоны. Увидев Ромашкина, полковник обрадовался, сразу же заговорил с ним, как со старым знакомым, будто продолжая давний разговор:

— Я вот думаю, как же вы воюете? Залп современной стрелковой дивизии весит тысячу восемьсот килограммов. Батальон выпускает тридцать тысяч пуль в минуту. Каждого атакующего в цепи встречает огонь двух-трех орудий и пулеметов. Бомбовый удар в период авиаподготовки — сто — сто пятьдесят тонн на квадратный километр, — старик спохватился, — простите, я не представился: полковник Ризовский, преподаватель академии, еду на стажировку, на фронт. Еле выпросился! Нехорошо получается: учу фронтовых офицеров, а сам в боях не бывал. Вот хоть к концу войны направили, а то просто неловко себя чувствую, понимаете ли. Так вот объясните мне, пожалуйста, как при такой огневой плотности вы все же остаетесь живыми?

Ромашкин, чувствуя приятное превосходство над полковником-теоретиком, да еще в присутствии Тани, ответил полушутя-полусерьезно:

— Мы ведь в одну линию не выстраиваемся, товарищ полковник, на глубину и по фронту рассредоточены, к тому же в земле, а не на поверхности сидим. Вот пули летают, летают, а нас не находят, ну и приходится им лететь мимо.

— Вы совершенно справедливо это подметили, и я понимаю, а как же в атаке? Вы же на поверхности идете не защищенные.

— Перед атакой наши артиллеристы так гитлеровцев раздолбают, что уже не десяток пуль, а одна-две на мою долю останутся. И эти не успеет фриц в меня пустить, потому что я вплотную за огненным валом иду. Только после артподготовки пулеметчик голову поднимет, землю с себя стряхнет, а я тут как тут — трах его по башке или «Хенде хох!».

Полковник по-детски радостно засмеялся, одобрил:

— Ловко! Ваши слова научной статистикой подтверждаются: во время войн Наполеона погибало сорок процентов от огня и шестьдесят процентов от холодного оружия. А теперь сто процентов — от пулеметно-артиллерийского огня и лишь ноль два процента от холодного оружия. Счастливый вы человек.

Вы видели, все понимаете, живы остались, скоро отцом будете. У меня трое: две дочки, сын-офицер. Все в армии.

«Сын-офицер» полковник произнес гордо и был в этот миг очень похож на Колокольева.

Когда стемнело, комната заполнилась до самой двери. Офицеры лежали не только на кроватях, но и вдоль стен, и в проходах на топчанах, которые ставил для вновь прибывающих усатый дядько-солдат. Он был удивительно покладист, всех встречал добрым словом, успокаивал, чтобы не пугала теснота:

— Сейчас мы вам коечку соорудим, туточки тепло и сухо, хорошо поकिмираете, а завтра в путь-дорогу.

Василий и Таня легли лицом к лицу, накрылись шинелями, каждый своей. Пока было светло, они тихо разговаривали. Ромашкин теперь уже подробно рассказал Тане, почему он принял ее за Зою, как искал следы на допросах пленных. Таня поведала свою историю:

— Я была связисткой. Вскоре после встречи с вами поехала на фронт, попала в штаб армии. В политотделе работала. Сначала все шло хорошо, офицеры культурные, вежливые, приятно было с ними работать. Девочки хорошие подобрались. Хоть и бомбили по несколько раз в день, а жили весело, дружно. Потом приехал из госпиталя подполковник, он еще бинты носил, я в его отделе дежурила. Мне его жалко было. Все время занят, даже на перевязку некогда сходить. Я ему помогала. Ну а потом так уж случилось — понравился он мне: очень умный, деловой и такой чистюля — каждый час руки моет, через день белье меняет. В общем, влюбилась я. — Таня помолчала и потом решительно и коротко досказала: — И вдруг я узнала, что он женат. А мне врал — холост! Ну, я ему и выдала! Такой бенц устроила, что загудел мой Линтварев на передовую, сняли его с должности и послали с понижением. Так ему и надо! Не жалею! Меня опозорил да еще из строя вывел. Я на фронт разве за этим шла...

Ромашкин поднялся на локоть и, не слушая последние слова, перебил:

- Как, ты говоришь, его фамилия?
- Линтварев.
- Алексей Кондратьевич?
- Он самый. А ты откуда знаешь?

— Ох, я его всю жизнь помнить буду! Я с ним в госпитале под Москвой, в деревне Индюшкино, познакомился. Он мне еще там хотел дело пришить, но не получилось. А потом он в наш полк замполитом приехал. Ну, тут в его руках власть — в штрафную роту меня упек! Правда, и я повод дал, но, не будь этого типа, все обошлось бы. Смотри как получается, мы с тобой в одной армии, значит, были, одних людей знали, а сами ни разу не встретились!

— Ненавижу я этого человека за обман, за то, что первую любовь мою изгадил. Потом он мне клялся, обещал жену бросить, на мне жениться. А я его за это еще больше презираю — предатель подлый! Сегодня ее кинет, завтра меня, так и будет за каждой юбкой убегать от жен?

Когда погасили свет и надо было спать, Ромашкин долго лежал с открытыми глазами. От Тани веяло духами, приятным женским теплом. Таня была первая женщина, с которой Василий лежал на кровати так близко. Он пьянел от ароматного тепла, ему было жарко. Хотелось еще ближе, еще поплотнее почувствовать ее мягкое тело. Но он лежал, боясь пошевелиться, и мысленно иронизировал над собой: «Прямо кино получается, рядом женщина и не женщина, та самая, которую мечтал встретить, и совсем чужая, мы вроде нравимся друг другу, а она попадает в руки человека, которого мы оба ненавидим.— Потом Ромашкин стал думать о Зине.— Вот бы хорошо побыть с ней так близко.— Он вспомнил, как целовался с ней украдкой. Но тогда от тех поцелуев не охватывал жар, не пьянела голова, как сейчас от близости Тани. Тогда было совсем другое. Это немного пугало Василия: — Я вот уже мужчина, у меня башка мутнеет от прикосновения женских рук, а Зина еще девчонка. Как же мы будем с ней...»

Ромашкин проснулся от истошного воя. Выли сирены.

— В ружье, в ружье! — кричал дядько-солдат у двери, хотя у офицеров ничего, кроме пистолетов, не было.— Сейчас налет будет, тикайте в укрытия. Сразу за домом щели.

Ромашкин схватил свой и Танин вещевые мешки, взял ее за руку и поспешил к выходу, стучаясь о кровати и топчаны.

На улице было темно, чернели развалины, похожие на скалы.

— Куда пойдем? — спросил Ромашкин.

— Где-то здесь щели.

— Надо подальше от станции. Прежде всего эшелоны бомбить будут.

Будто подтверждая его слова, грохнули первые бомбы, осветив взрывом блестящие полосы рельсов и скопление вагонов. Перестали выть сирены, и сразу затарахтели пулеметы, закашляли торопливо и надсадно зепитки. Белые полосы прожекторов заметались, зашарили в небе. Ромашкин никогда не видел такого, остановился.

— Идем, что же ты,— потянула его за руку Таня.

Они побежали в город, подальше от станции.

— Ты не очень-то колыхайся,— вспомнив, убавил шаг Ромашкин.

— Заботливый, идем, а то и меня и его ухлопают. Мне еще три месяца, могу и побегать.

Они добежали до каких-то окопов, которые окаймляли развалины. В окопах уже сидели люди, они звали:

— Идите сюда! Чего вы бегаєте!

Только спустились в дохнувший сыростью и старой мочой окоп, земля затряслась, и все вокруг загрохотало от взрывов. В окопе люди повалились на дно, прижались друг к другу. Когда бомбы стали падать в стороне, Ромашкин увидел мальчика и девочку — они прижались к матери, а она их прикрывала руками, как клушка крыльями.

— Не плачут,— удивился Ромашкин.

— Они привычные,— сказала женщина грубым мужским голосом.

Налет длился минут пятнадцать. Гудение моторов уплыло в черном небе в сторону. А на вокзале все еще бухали взрывы. Горел эшелон с боеприпасами, рвались снаряды. Несколько раз, осветив развалины города темно-красным светом, рвануло, наверное, сразу целый вагон, черные шпалы и какие-то изогнутые обломки летели высоко в небо.

— Ну все, на сегодня кончилось,— сказала женщина с детьми и велела Тане: — Идем к нам, где ты с брюхом в этой темени да в пожарах блукать будешь.

В комнате, куда женщина их привела, пахло керосином и старыми тряпками. Лампа осветила небольшие нары, одеяло, сшитое из цветных лоскутков, серые мягкие подушки.

Таня поглядела на Ромашкина, виновато сказала женщине:

— Светает, мы пойдем, нам ведь ехать.

Женщина поняла, в чем дело, обиделась, грубо отчитала:

— Барыня какая! Брезгуешь. Тебе ж, дуре, помочь хотела. Ну иди, иди, не мотай мне душу, сама знаю, что не чисто у нас.

Ребятишки уже юркнули под теплое одеяло и, как лисята, глядели круглыми глазенками на незнакомых людей.

На станции еще дымили обгоревшие скелеты вагонов. Солдаты уже закапывали воронки, тянули рельсы на замену перебитых.

Таня и Ромашкин пошли к своей гостинице. Нашли ее не сразу, хотя и знали — она была где-то здесь, рядом. Дорога была изрыта свежими воронками, засыпана черной жирной землей. Развалины стали какие-то другие, будто их перевернуло, перебросило на другое место.

Вдруг их окликнул дядько-солдат, он волочил кровать, цепляя ею за битые кирпичи:

— О, постояльцы! Схоронились? А мой готель накрылся! Я тут подвальчик найшов, погуляйте часок, я новое место оборудую. Две койки вам предоставляю. Жильцов поубавилось, а новые только к вечеру сбегутся.

Он поволок тарахтящую кровать к лестнице, которая уходила под землю.

На одном из обломков стены Василий вдруг увидел золотой полковничий погон, в ушах мгновенно прозвучало: «Две дочки, сын-офицер, сотни пуль на погонный метр». Чтобы не увидела этот погон Таня, отвлек ее, сказал:

— Идем, насчет билетов узнаем.

На станции Ромашкин встретил солдата, которого видел вчера в окошечке с надписью «Касса». Теперь ни надписи, ни зала не было. Солдат сидел в товарном вагоне, который без колес лежал на земле. На боку вагона мелом было написано: «Комендант» и «Касса». «Уже работают!» — удивился Ромашкин. Как ни странно, солдат узнал Ромашкина, весело спросил:

— Видали? Вот, гады, что делают! А вы говорите, заранее билечивать! Вон сколько пассажиров отселось, им теперь билеты не пужны.

Ромашкин глядел на убитых, их снесли и уложили длинным рядом за вагоном коменданта. Сейчас уж совсем нельзя было отличить, кто из них военный, кто

гражданский,— на всех одинаковые грязные сапоги и одинаковая окровавленная одежда.

— А где же комендант? — спросил Ромашкин, вспомнив, что и вчера его не видел.

— Комендант на разъезде эшелоны формирует, я же вам вчера говорил, пошли бы туда, давно уехали. И сегодня скажу — топайте туда, верное дело. Отсюда поезд по расписанию в четырнадцать часов уйдет. А это когда будет! Фриц еще раз может наведаться. И так бывает.

Да, не думал Ромашкин, что в тылу такая суматошная жизнь. Ему казалось, достаточно добраться до штаба дивизии — и все, дальше война кончается, дальше штабы, склады, военторги, в которых работники по вечерам чай пьют. А тут, оказывается, хуже чем на передовой. Там Василий все повадки немцев знает, здесь поди разберись в этой чертовой карусели.

Пришлось на попутных машинах добираться к разъезду. Танин живот всюду служил надежным пропуском. Их взяли в эшелон с разбитыми танками, которые везли то ли на ремонт, то ли на переплавку.

— Садись, сестренка,— сказал начальник эшелона, пожилой техник-лейтенант,— и тебя в ремонт доставим.

До Москвы доехали благополучно. Когда выпрыгнули на путях, Таня предложила:

— Идем ко мне, отдохнешь с дороги, потом дальше поедешь.

— Дней мало осталось, Таня. В предписании ведь ни бомбежки, ни бездорожье фронтовое не учтены, на путь до Москвы сутки даны, а мы с тобой три дня потратили. Поеду, с матерью хоть неделю побуду.

— Может быть, на обратном пути зайдешь? — Она дала адрес, объяснила, как искать.— Правда, я и сама не знаю, ходят ли прежние номера автобусов и трамваев.

— Найду, я же разведчик,— пошутил Ромашкин.— Теперь адрес есть, не по варежкам буду искать.

* * *

От Москвы к Оренбургу шли настоящие пассажирские поезда с общими, плацкартными и даже мягкими вагонами. Правда, кроме обилеченных пассажиров

в тамбурах, на крышах и между вагонами ехало много людей, которым билетов не досталось. Их не гнали проводники, потому что понимали — всем ехать надо, к тому же проводники от этих «зайцев» получали и откуп — краюху хлеба, банку консервов, а то и поллитра водки. Все были довольны. Днем поезд мчался, обвешанный людьми снаружи. А на ночь всех пускали в тамбуры, в проходы между полками — замерзнет народ ночью на холодном ветру!

Ромашкин ехал в плацкартном вагоне на самом удобном месте — на третьем этаже. На нижних полках сидели днем по три-четыре человека, играли в карты, домино, курили, разговаривали, а здесь, на чердаке, Ромашкин был полновластным и единоличным владельцем всей полки.

Первые сутки он спал, на следующий день голод погнал искать пищу. Поправив бинт, который на шее размотался, Василий ощущал жесткую, ссохшуюся на ране заплатку и не стал ее срывать: «В Оренбурге схожу на перевязку».

В Куйбышеве поезд стоял больше часа. Ромашкин в страшной давке, чуть не растеряв ордена и медали, сумел вырвать по талонам краюху хлеба и три воблы.

Около своего вагона, усталый и потный после толкотни в очереди, остановился передохнуть. Вдруг он увидел, как здоровый детина, положив у ног мешок, начал стаскивать худенького парнишку с площадки между вагонами. Парнишка был так хил и тонок, что казалось, верзила раздерет его на части, как цыпленка. Шапка свалилась с головы паренька на землю, обнажив белую стриженную под машинку голову и худую, с острыми позвонками шею. Все происходило молча, паренек почему-то не кричал, он судорожно вцепился в какую-то железяку и жалобно глядел на Ромашкина огромными, как у ягненка, глазами.

Ромашкин не выдержал, подошел к обидчику и тихо, но требовательно сказал:

— Оставь его, чего привязался.

Детина, не выпуская тонкую руку мальчишки, хмуро буркнул:

— А ты кто такой?

Отдыхающие от вагонной духоты пассажиры остановились, стали образовывать полукруг — сейчас будет драка, можно немного развлечься, некоторые грызли воблу, такую же, как Ромашкин держал в руках.

— Отпусти парня, — еще более грозно сказал Василий и стал засовывать рыбу в карман, чтобы освободить руки.

— Тоже начальник нашелся! — огрызнулся детина, поворачиваясь широкой грудью к офицеру. Он поглядел на его ордена, медали и на окружающих, будто оценивал обстановку.

— Дай ему по соплям, чтобы не строил из себя начальника! — подзадорил какой-то доброжелатель в пиджаке.

— Чего-чего? — тут же надвинулся на советчика майор в гимнастерке, в галифе и в тапочках. — Я тебе дам по соплям! На фронтовика руку поднять хочешь? А ну, старшой, врежь ему между глаз, чтобы зрение лучше стало, пусть увидит, с кем дело имеет!

Зрители зашумели, задвигались, произошло явное разделение на две группы, назревала большая потасовка, люди, привыкшие на войне решать все силой, готовы были и в тылу без долгих слов прибегнуть к ней. Вовремя подоспел патруль. Начищенный, затянутый ремнями, капитан привычно крикнул:

— А ну, что случилось? Кому надоело ехать? Можем остановочку суток на пять устроить!

Патрульный знал — все спешат домой, магические слова действовали мгновенно, толпа быстро растаяла. Ромашкин тоже вспрыгнул на ступени своего вагона, но все же постоял там, пока мешочник не ушел дальше в поисках места.

На следующей станции паренек, не покидая свой шесток в промежутке между вагонами, робко сказал Ромашкину:

— Спасибо.

— Тебя как зовут?

— Шура.

— Куда едешь?

— В Ташкент.

— В город хлебный?

— Да.

— К родственникам или Неверова начитался?

— По книжке еду, потому что хлебный.

— Чудак. Где же ты наголодался?

— В Ленинграде. Всю блокаду. Мама умерла. Отец на фронте. Вот еду подкормиться.

— Ты серьезно веришь, что Ташкент — город хлебный? Туда, наверное, столько эвакуированных наехало...

— Хоть отогреюсь, там тепло, всегда солнышко. Работать буду. Как блокаду прорвали, немножко окреп, ноги стали держать, вот и двинулся.

— Далековато. Поезд почти неделю будет идти. Дотянешь ли?

— Дотяну, в блокаде и не такое перенес,— парнишка глядел пристально, бодрился. Но глаза его, много-страдальные, не по летам взрослые, говорили совсем о другом, были они такие большие, что казалось, на худеньком лице ничего не было, кроме этих широко распахнутых печальных глаз.

Василий вынес кусок хлеба и половину воблы. Паренек смутился, не хотел брать.

— Держи. Ослабнешь, свалишься под колеса.

Шура, наверное, проглотил бы воблу с чешуей и костями, если бы не сдерживала стыдливость. Василий заметил это, отошел, чтобы не смущать паренька. «Хорошо воспитан, все время на «вы», видно, из хорошей семьи. К тому же ленинградец, они всегда отличались интеллигентностью».

Когда парень съел хлеб и воблу, Ромашкин подошел и спросил:

— Кто твои родители, Шурик?

— Папа литературовед, мама играла на скрипке в оркестре оперного театра.

— А ты на чем играешь?

— На виолончели.

— Ну, выбрал инструмент, он, наверное, больше тебя ростом.

Шурик опустил глаза.

— Сколько тебе лет?

— Семнадцатый.

— Ого, уже взрослый, через год в армию. Но не возьмут тебя, усохся ты, лет на четырнадцать выглядишь.

— Я поправлюсь.

Ромашкину было жаль паренька, отец где-то воюет и не знает, что сынишка полуголодный скитается на буферах между вагонами. Василий привел Шурку в вагон:

— Лезь на чердак, пока я днем мотаюсь, спи на моей полке. Только погоди, у тебя этих бекасов нет?

Шурка запыхал от смущения.

— Что вы, я даже в блокаде мылся.

— Ну, лезь, спи.

...В Оренбурге Шурик так жалостливо смотрел на Василия при прощании, что защемило сердце от его липучего взгляда.

— Знаешь, парень, пойдём-ка со мной. Не дотянуть тебе до Ташкента. Может быть, здесь пристроишься. А нет, окрепнешь, дальше двинешь. Идем.

Василий шел по родному городу, знал знакомые дома, но вид их вызывал не радость, а грусть.

Город был какой-то постаревший, обшарпанный, дома облупленные, давно не отремонтированные, асфальт в трещинах и ямах.

Василий вспомнил, как до войны отец перед каждым праздником неделями не бывал дома, занимался побелкой, штукатуркой вот этих домов. Они тогда делались нарядными, радовали глаз. Теперь все деньги шли на войну... И все же, хоть и постаревшие, дома, как старые друзья, встречали Ромашкина, а он, узнавая их, пояснял Шурику:

— Вот здесь, во дворе, зал общества «Спартак», сюда я на тренировки ходил.

— А вы кем были?

— Боксером. Жаль — твой обидчик не кинулся, я бы ему провел пару серий. А вот здесь я книги покупал, видишь, магазин, плиточкой отделанный. Вон в ту киношку ходил — «Арс» называется.

Из боковой улицы высыпала стайка школьников, ребята и девушки. Размахивая портфелями, они смеялись и о чем-то громко разговаривали. Василий остановился, замер от неожиданности — это вроде бы ребята из его класса! Даже узнал некоторых — вот длинный белобрысый Сашка, рядом с ним черноглазая, нос с горбинкой, армяночка Ася, а в желтой куртке — школьный поэт Витька. Василий готов был раскинуть руки для объятий и крикнуть: «Здорово, братва!» Но ребята обходили его, как столб, продолжая разговаривать о своем. Ромашкин спохватился: прошло три года, друзья давно уж не школьники, они уже «дяди» и «тети».

Не на фронте, не при выполнении ответственного задания, а здесь, в родном городе, рядом со знакомыми домами и при виде этих вот старшекласников, Ромашкин вдруг впервые ощутил себя взрослым. Раньше он себе казался все тем же Васей, каким был в школе, дрался на ринге, гулял с Зиной, бегал в военкомат, ехал на фронт. И вот встреча с ребятами —

пусть это были другие, совсем не его школьные товарищи, но то, что они прошли мимо, даже не взглянув на Ромашкина, как-то сразу отгородило его каким-то невидимым занавесом — и юность ушла с веселой стайкой ребят, а он остался здесь, уже взрослый, в яловых сапогах, с перевязанной головой, наградами на измятой в дороге гимнастерке и с какой-то внутренней тяжестью, называемой жизненным опытом.

Около своего дома Василий остановился, сердце громко колотилось в груди. Даже на самом опасном задании оно так не билось. Телеграммы о своем приезде он маме не послал, не писал ей и о третьем ранении. О том, что ему посчастливится получить отпуск, он и сам не знал неделю назад. Сейчас он побаивался, как бы у мымы разрыв сердца не произошел от его неожиданного появления.

— Вот что, Шурик, иди ты вперед. Второй этаж, квартира семь. Маму зовут Надежда Степановна. Скажи ей, что встретил меня в Москве. Ты ускал раньше, а я билет не достал. В общем, соври что-нибудь. Подготовь, а то у нее сердце остановится, если я так вот сразу войду.

Шурик ушел, а Ромашкин стоял у входа в подъезд, поглядывал: может быть, пройдет кто-то знакомый.

Что там говорил Шурик, неизвестно, только вдруг сверху послышался крик:

— Вася! Васенька!

Ромашкин кинулся по лестнице вверх и столкнулся с матерью. Она не бежала — летела ему навстречу, не видя ни ступеней, ни переходов. Обхватив Василия дрожащими руками, прижимая его к груди, мать продолжала кричать на весь дом, как на пожаре:

— Вася! Васенька! Сыночек мой!

Из квартир, щелкая замками, выбегали жильцы. Поняв, что происходит, они стояли у своих дверей, молча разделяя неожиданную радость, свалившуюся на соседку.

— Мама, успокойся,— шептал Василий, целуя лицо матери, смешивая на нем ее и свои слезы.— Не плачь, мама. Я живой, вот он, цел и невредим.

— А что с головой? У тебя бинты...— опомнясь, спросила мать.

— Пустяк, царапина. Ну, идем домой, что же мы здесь стоим!

— Идем, идем! Ой, как ты неожиданно! Откуда ты? Почему не дал телеграммы?

Вспомнив о Шурике, который стоял на лестничной площадке и смотрел на них сверху, Василий объяснил:

— Этот паренек из Ленинграда, блокаду там перенес, отец его на фронте, мать умерла, пусть поживет у нас.

— Конечно. Идем, милый. А ты, Вася, надолго?

— На неделю, пять дней в дороге потерял, столько же надо считать обратно.

— Ой, как мало!

В квартире Василий обошел комнаты, кухню, ванную — все здесь было дорогое, близкое, теплое: кровать, на которой спал, стол, где делал уроки, учебники, будто вчера их сложил аккуратной стопкой, любимая чашка, из которой пил чай. Даже обмылки, когда пошел мыться в ванную, казались те самые, морковного цвета, «Красная Москва», такое мыло любил папа, а белое «Детское» — это мамино.

Василий размотал несвежие, испачканные в дороге бинты. Попытался отпарить и отодрать от раны намошенную корку с марлевой прокладкой, но стало очень больно.

— Мам, дай, пожалуйста, ножницы, — попросил он.

И когда мать просунула их в щель, осторожно обрезал бинты и слипшиеся от сукровицы волосы, оставил лишь заплату на ране. «Ничего, под фуражкой не видно будет». Бинт положил в карман брюк. «Выброшу где-нибудь, чтобы мать не терзалась, глядя на мою кровь».

Пока Ромашкин мылся, Надежда Степановна переоделась в знакомое Василию «праздничное» платье, в нем она ходила с отцом в гости. Сын помнил ее в этой одежде красивой, стройной, всегда счастливо улыбчивой. Мать даже не подозревала, какую боль причинила она Василию, надев это платье. Сразу бросилась в глаза разительная перемена — в мамином праздничном платье стояла другая женщина, поседевшая, в морщинах, с поблекшими от слез многострадальными глазами. У Василия засосало в груди и что-то стало подкрадываться через горло к глазам. Чтобы скрыть это, Ромашкин сказал:

— Шурик, теперь ты иди ныряй; мам, дай ему на смену мою рубашку и какие-нибудь брюки.

— Сейчас, сынок.

Шурка зашел в ванную. Когда мать подошла с одеждой, из-за двери мгновенно высунулась худая,

с голубоватой кожей рука, взяла одежду — и тут же щелкнула внутри задвижка.

— Стесняется, — сказала мать.

— Мужчина! Через год в армию. Да куда ему, отощал, один скелет! Ты поддержи его, мама, он из хорошей семьи, к трудной жизни не приспособлен. Пропадет.

Василий сел к столу, на нем стоял чайный сервиз, который раньше вынимали из буфета только для гостей, салфетки с монограммой — тоже гостевые, мама еще в молодости купила их на толкучке. Знакомый эмалированный коричневый чайник стоял на подставке. Все было как в счастливые довоенные дни, даже стул папу ждал, казалось, отец вот-вот войдет в комнату и скажет свою обычную фразу: «Ну, сегодня бог послал нам кусочек сыра?»

Василий глядел на посуду и ждал, что же вкусненькое мама даст ему сейчас, очень соскучился он по домашней еде. Но мать, отводя глаза в сторону, рассказывала:

— Витя погиб, пришла похоронка. Шурик пропал без вести. Ася тоже погибла.

Василий вспомнил недавно встреченных на улице ребят — принял их за тех, о ком говорила мама, а их, оказывается, нет в живых.

Глядя на пустые тарелки, понял: «У нее ничего нет», вспомнил дорожные продпункты, где чуть ли не с боем приходилось добывать паек. «Какой же я лопух! Надо было привезти матери консервы, масло, сахар — из офицерского допайка скопить. Вот сундук недогадливый!»

— Мам, как ты живешь? Я на вокзальных базарчиках видел — буханка хлеба триста рублей.

— Тружусь. В школе ребят учить не могу... после гибели папы. Хоть чем-нибудь для фронта хочу быть полезной. На оборонный завод устроилась, мне рабочую карточку дают — хлеба шестьсот граммов, крупу, сахар иногда.

— Ты рабочий? Что же ты делаешь?

— Мины, Вася.

Эти слова в устах матери были такие необычные и неожиданные.

— Значит, и ты воюешь?

— Вся страна воюет, сынок.

К вечеру переговорив обо всем, Василий стал искать повод, как бы уйти из дома, неудобно в первый

же день покидать маму, но и Зину видеть очень хотелось. Мать поняла:

— Иди уж, непоседа.

— Я не долго, мам,— крикнул Василий в дверях.

Расправив грудь, подровняв награды, Василий позвонил у знакомой двери. В подъезде было темновато, поэтому Ромашкин встал под лампочку, чтобы его хорошо освещало. Дверь открыл парень с белым, девичьим лицом и черными пробивающимися усиками. Это был Витька — брат Зины. Он очень вырос с тех пор, как Василий его видел перед отъездом на фронт.

— Ух ты! — сказал Витька, прежде всего взглянув на награды.— Силен! А Зинки нет дома. Здравствуй. Когда приехал?

— Где Зина?

— Она,— Витька замялся,— ушла куда-то с девочками, сегодня же выходной.

— На танцах она в Доме офицеров,— вдруг пропищал с лестницы следующего этажа мальчишка. Он, оказывается, давно уже рассматривал оттуда ордена и медали офицера.

— А ты откуда знаешь? — спросил Ромашкин.

— Да она там каждый вечер крутится.

— Витя, кто пришел, с кем ты беседуешь? — пропел из квартиры знакомый воркующий голос Матильды Николаевны, она слышала слова мальчишки и на ходу игриво, но и сердито спрашивала: — Это кто там на Зиночку наговаривает? — Увидев Ромашкина, плавно всплеснула красивыми холеными руками, будто показывая их.— Вася? Какой заслуженный! Что же вы здесь стоите? Виктор, почему сразу не пригласил? Заходи, Вася. Вот какая неожиданная встреча!

— Спасибо, Матильда Николаевна, пойду Зину искать.

— погоди, Расскажи о себе. Ты насовсем?

— В отпуск по ранению.

— Бедный мальчик. Куда тебя?

— В голову. Уже третье ранение.

— Ну и хватит. Может быть, можно тебя оставить здесь? Леван Георгиевич посодействует, у него большие связи.

— Нельзя, Матильда Николаевна, меня ждут в полку.

— Ну, зайди на минутку, неудобно же говорить на лестнице о серьезных делах.

Василий вошел в коридор, отделанный панелями из красного дерева. Фуражку не снял, явно показывая, что сейчас уйдет.

— Витя, иди в комнату, мне надо поговорить.

Когда сын ушел, Матильда Николаевна доверительно и просто зашептала Василию:

— Ты на Зиночку не обижайся. Все женихи на фронте, невестами в тылу пруд пруди. А ей уже двадцать, для девушки это критический возраст. Так что не осуждай ее, милый. Может, Леван Георгиевич все же займется твоим делом? Ты свое отвоевал, вон сколько наград. Зиночка так тебя любит.

— Нет, я не могу, это не от меня зависит,— Ромашкин попятился к двери.

— Подумай, Леван Георгиевич все может устроить.

Василий шагал по городу, лицо горело, будто недавно из немецкой траншеи выскочил, в груди перекатывались тяжелые жернова. «Вот такая ты, оказывается. Мне в письмах поцелуйчики, а сама на танцах каждый вечер пропадаешь! Жениха ловишь! Ну погоди, я тебе сейчас выдам!»

В парке Дома офицеров былолюдно. Красиво одетые девушки и женщины ходили с кавалерами по аллеям, посыпанным чистым песочком. Все мужчины были в военном, только подростки шныряли в теннисках и штатских брючишках. Офицеры в габардиновых гимнастерках и кителях с блестящими золотыми погонами. Ромашкин в хлопчатобумажном, с зелеными погонами, на которых было по две-три «волны» от дорожных ночевок, выглядел среди этой гуляющей публики неказисто. Он шел не прогулочным, а решительным деловым шагом, рассекая волны гуляющих,— они поглядывали на его награды и вежливо уступали дорогу.

У танцевальной площадки Василий встал за оградой и, с ненавистью глядя на танцующих, думал: «В аргентинских танго выгибаетесь, а наши ребята в траншейной грязи, не просыхая, годами сидят. Ах вы, тыловые крысы! Неужели мы там погибаем для того, чтобы вы здесь в румбах дергались? Вот почему у Куржакова дым из ноздрей шел: он нас за эту вот тыловую развлекательную жизнь ненавидел».

Зина танцевала с высоким красивым лейтенантом в летной форме. Он был без фуражки, светлые волосы

расчесаны на аккуратный, в ниточку, пробор, форменные брюки с голубым кантом по-модному расклешены. Зина в голубом платье с какими-то вставками из дымчатых кружев, красивые полные ноги в лакированных лодочках, лицо напудренное, губы подкрашены. «Взрослая танцплощадочная львица,— думал Ромашкин,— зачем она мажется? Ничего от прежней Зинки не осталось». Василий хотел уйти, но все же решил: «Нет, я скажу тебе пару слов».

Во время перерыва, когда все вышли в аллею гулять, Ромашкин неожиданно встал на их пути и строго сказал:

— Здравствуй, Зина.

— Ой,— слабо вскрикнула она и шагнула за спину своего кавалера.

Летчик растерянно смотрел на недружелюбное лицо фронтовика.

— Не бойся, я тебя бить не буду,— сказал Зине, усмехаясь, Ромашкин,— хотя и надо бы.

— Послушайте, товарищ старший лейтенант,— начал было спутник Зины.

— Ты, летчик, погоди, у нас тут свои старые отношения. Я сейчас уйду. Я хочу только ей в глаза посмотреть.

— Что же мне, из дома нельзя выйти? — опомнясь, запальчиво спросила Зина, она была сейчас очень похожа на Матильду Николаевну.

— Дома сидеть ты не обязана. Я тебе не муж.

Ромашкину хотелось сказать что-то обидное, но он понял, что сейчас может наговорить только грубости, именно этого и ждут от него зеваки, которые остановились неподалеку. Василий махнул рукой и пошел прочь.

Мать сразу заметила взъерошенное состояние Василия.

— Не расстраивайся, сынок. Я не хотела тебе говорить, ты бы неправильно меня понял, но теперь, раз уж ты в курсе дела, скажу: не стоит она того, чтобы из-за нее переживать. Встретишь еще свою единственную.

Поинтересовался и Шурик:

— Девушка вас не дождалась? Как же она могла! И давно вы ее знаете?

— В школе учились вместе.

— Ух, я бы ей сказал!

— Ну, ты бы ее просто сразил своим благородством.

— Напрасно вы шутите, я вполне серьезно.

— Давай, рыцарь, спать.

Мать долго сидела у кровати Василия, гладила его волосы, осторожно обходя заплатку на ране.

— Мама, ты когда провожала меня на фронт, уже знала, что папа погиб?

— Да. Поэтому так плакала.

Ромашкин вспомнил, какое ужасное письмо прислал он матери после первого боя, хотел похвастаться своим мужеством, расписал, что было и чего не было. «Ну и дурак же я был!»

— Ты не беспокойся, мам, сейчас я при штабе, там не так опасно, в атаку не хожу, сплю в блиндаже, рядом с командиром полка и другим начальством.

— Это хорошо. Значит, бог услышал мои молитвы. Я ведь о тебе, Васенька, каждую ночь молюсь.

— Ты же была неверующая.

— Как-то так получается — днем меня к этому не тянет. Днем я неверующая, а вот ночью, как лягу в постель, все о тебе думаю и начинаю просить бога, чтобы уберег он тебя. Молитв не знаю, по-своему прошу и прошу его.

Утром, уходя на работу, Надежда Степановна пригласила:

— Приходи встречать после смены. Пусть сослуживцы и начальники увидят, какой у меня сынок.

Вечером Ромашкин пришел к проходной.

— Вы чей же будете? — радушно спросил безногий вахтер с медалью «За отвагу» на груди.

— Надежды Степановны Ромашкиной сын.

— Вот этой? — спросил вахтер, показывая на портрет матери на Доске передовиков производства.

— Ее. Даже не сказала, что стахановка...

— Так иди к ней в цех, погляди, как мать трудится.

— А пропуск?

— Какой тебе пропуск — ты фронтовик, у тебя на весь мир пропуск. Иди, не сомневайся, я здесь до завтра буду сидеть — выпущу. Вон туда шагай, в сборочный, там твоя мамаша.

Ромашкин прошел через двор, несмело открыл дверь в огромный, как стадион, цех. Жужжание станков, кланье железа, гул под потолком, словно летели бомбардировщики. Повсюду мины: в ящиках, на стеллажах, на полу штабелями. Мины сразу перенесли Ромашкина в знакомую фронтовую обстановку. Только

мины здесь были из нового блестящего металла, еще не крашенные.

Мать увидела Василия, замахала ему рукой. Он шел к ней, внимательно разглядывая людей в черных и синих промасленных халатах и комбинезонах. В цеху работали только женщины и дети. У всех утомленные, серые, солдатские лица, темные круги под глазами, острые обтянутые скулы. Каждый делал свое, не разговаривая, быстро и сноровисто. Василий вспомнил тонкие ломтики хлеба на столе у матери. «Как же они на ногах держатся?» — думал он, еще пристальнее вглядываясь в худые, строгие лица работниц, мальчишек и девчонок, которые стояли у станков.

— Пришел? Как тебя пропустили?

— А там инвалид, он разрешил.

— Силантьев? Фронтовик, сам недавно с фронта. Теперь у тебя везде много друзей, всюду свои.

Ромашкин вспомнил публику в парке. «Напрасно я вчера злился. Не так уж много их там было. Да и офицеры ничем не виноваты, месяц, другой — и загрямят на фронт. Некоторые, наверное, как и я, после ранения. Не за что на них обижаться. А настоящий тыл вот он, здесь. Да и не тыл это вовсе — та же передовая. Мы хоть сытые, воюем, а эти по двенадцать часов полуголодные трудятся. Я бы, наверное, такого не вытерпел, месяц-другой — и концы, а они годами здесь вкалывают!»

После гудка женщины повеселели, на усталых лицах засветились улыбки.

— С праздником тебя, Надежда Степановна, — поздравила пожилая тетушка, вытирая руки замасленной ветошью.

— Рассказал бы нам чего, фронтовик?

— О чем? — смущенно спросил Ромашкин.

— Ну, как вы там воюете, куда вот эта наша продукция идет. Про себя что-нибудь — вон сколько наград.

Женщины обступили офицера.

— Давай лучше про себя, — задорно крикнула молодая белоzubая девушка.

Ромашкин растерялся. «Чего же им рассказать про себя? Геройских дел я не совершал. Соврать что-нибудь? Как же при матери? Она и так ночей не спит».

— Нечего, товарищи, мне про себя рассказывать, воюю как все. Взводом командую. Люди у меня заме-

чательные: Иван Рогатин, Саша Пролеткин, Голощапов, Шовкопляс, старшина Жмаченко — все отличные воины, бьют врага на совесть.

— Скромный, все про других,— сказал кто-то сбоку.

— Нет, я правду говорю. А за продукцию вашу спасибо, она очень помогает нам бить врага. Приеду, расскажу, как вы здесь работаете, как на воде и хлебе трудитесь с утра до ночи...

— Погоди, сынок,— перебила пожилая женщина,— про это не надо бойцам говорить. У солдата ум должен быть спокойный, чтобы без огляду врагов бить. Мы здесь выдюжим, не сомневайтесь. Ты скажи им, чтобы скорей Гитлера кончали, вот тогда всем — и нам, и вам — облегчение будет. Приезжайте домой, вместе новую жизнь ладить станем.

Женщины зашумели:

— Ну, Марковна, ты как на собрании!

— Не дала парню про себя рассказать.

— Ладно, бабы, домой пора, аль забыли, что там кухня, стирка, уборка, детишки ждут?

— Еще и в очередях надо постоять...

— И на танцы сходить вечером,— весело добавила задорная, а у самой у белозубого рта темные глубокие морщины, вокруг глаз фиолетовые круги.

Не думал Ромашкин, что дома в тылу будет его тяготить какое-то непонятное чувство растянутости времени. Когда объявили о пятнадцатидневном отпуске, первая мысль была — как мало! Всю дорогу спешил — на машинах, в поезде, чтобы побольше дней выгадать для дома. И вот прошло три дня — и тяжело на душе, нечего здесь делать, ничто не удерживает, кроме мамы, да и та с рассвета до ночи на заводе, и разговоры с ней все об одном: об отце, наказы — «береги себя», воспоминания о прошлой жизни. Нет больше трепетной тяги к Зине. Вместо нее горечь и обида.

Каждое утро искал Ромашкин в сводке Информбюро сообщения о своем фронте. «Как там дела? Как там ребята? Все ли живы? Может быть, кого-то принесли с задания на плащ-палатке. Написать письмо? Так сам раньше его в полк вернуть».

Шурка после долгих жизненных передрыг отсыпался, вставал, когда его будили поесть. Смущенно опуская свои огромные глаза, просил:

— Извините, пожалуйста, ничего не могу поделать, сон просто с ног валит.

— Спи, милый, набирайся сил,— утешала его Надежда Степановна.— Это у тебя разрядка после долгих мытарств. Поешь и ложишься.

Однажды Шурик спросил Ромашкина:

— Скучаете о боевых делах? Горите желанием опять бить врагов?

Василий с грустью посмотрел на паренька:

— Не о врагах думаю. Хочется поскорее вернуться на фронт и выслать маме посылку с продуктами.

Шурик удивленно посмотрел на офицера, понял его и тихо попросил:

— Простите, я сказал глупость.

Хоть и вызывали неприятное чувство тыловые надраенные офицеры, все же хотелось Ромашкину и самому поносить золотые погоны. «Это во мне остатки училищного задора, тогда служба красивой и легкой казалась. Может быть, хорошо, что где-то теплится то чувство. Я вовсе не хочу жить таким озлобленным, как Куржаков».

Василий пошел в центр города, отыскал магазин Военторга, попросил у продавщицы:

— Дайте пару повседневных погон.

Девушка иронически улыбнулась:

— Чего захотели!

— А почему бы и нет?

— Если очень надо, идите к чистильщику обуви — вон на углу его будка, дядя Возген его зовут. Он поможет.

Ромашкин подошел к низенькому толстому старичку, щеки его были утыканы жесткими белыми волосками, как патефонными иглками.

— Говорят, у вас можно погоны достать?

— Смотря кто говорит,— уклончиво ответил чистильщик.

— Мне продавщица в магазине посоветовала.

— Правильно сделала,— он мельком взглянул на офицера,— вам нужен третий размер. А вообще-то в полевых лучше, в любой очереди без очереди пропустят. Зачем вам золотые?

— Пофорсить хочется.

— Ну пофорси. Плати двести пятьдесят рублей и форси.

— Сколько?

— Двести пятьдесят.

— Они же девятнадцать стоят.

— За такие деньги вон там,— старик показал на военторг.

— Но там их нет.

— Слушай, тебе погоны нужны или ты поговорить со мной пришел?

Дома Василий аккуратно разметил и прикрепил звездочки. Надев гимнастерку, долго смотрел на себя в зеркало. Загорелый бывалый вояка смотрел на него немного утомленными, усмехающимися глазами. Золотые погоны будто квадратики солнечного света переливались на плечах. «Куда же я в них пойду? К таким погонам повседневная фуражка с малиновым околышем полагается. Опять маху дал! Лучше бы матери буханку хлеба купил!»

И все же втайне ему было приятно видеть себя таким настоящим офицером. Вспомнились разговоры с Колокольцевым, достоинство, с которым он носит офицерское звание, какая-то его особенность в этом отношении. «Я бы ему понравился в таком виде. Надо будет поискать в комиссионном магазине хороший подстаканник. Самовар мне ни к чему и не по чину, а подстаканник занять приятно». Однако в комиссионном подстаканника не нашлось. А погоны золотые перед отъездом тоже снял, как-то неловко было ехать на фронт в золотых погонах.

* * *

Возвращаться из отпуска Василий решил самолетом. Увидел в городе объявление о том, что совершаются ежедневные рейсы Оренбург — Москва и подумал: «Надо полетать, убьют — и не испытаю, что это такое, а ведь когда-то летчиком хотел стать».

— Зачем тебе это? — испугалась мама. — На фронте рискуешь, в тылу хоть судьбу не испытывай.

— Все, мама, уже билет взял, полечу.

На прощанье Василий обошел центр города, все памятные места оглядел. «Что это я, будто навсегда расстанусь? Когда первый раз на фронт уезжал, такого не делал. Предчувствие? Уж лучше бы не ездить в этот отпуск, воевал бы и воевал, а теперь вот что-то засосало в груди — живут люди и останутся живыми, на танцы даже ходят. Да, легче было бы этого не видеть».

В аэропорту мать плакала тихими покорными слезами. Василий скорбно глядел на нее, сердце разрывалось от жалости. «Бедная мама, как ты измучена, даже плакать у тебя уже сил нет». Рядом с матерью стоял Шурик в довоенной рубашке и брюках Василия, которые были ему великоваты. Желая отвлечь маму от тяжелых переживаний, Василий предложил:

— Пойдемте ближе к летному полю, самолеты посмотрим.

Прохладный ветерок трепал невысокую травку. Самолеты были выкрашены в темно-зеленый цвет, в какой красят на фронте пушки и танки.

— Это что за марка? — спросил Шурик одного из пареньков в фуражке с крылышками, он стоял рядом.

— «Ли-три».

Василий знал, есть «Ли-2», парень или ошибся, или не знает, какой-нибудь работник из obsługi.

— Нет таких, — спокойно сказал Ромашкин.

— Есть, — уверенно парировал юнец в фуражке с крылышками. — Вот они стоят — все «Ли-три».

— Что-то ты путаешь.

— Ни грамма не путаю, просто ты не знаешь, какая это марка. «Ли-три» значит: взлетишь ли, долетишь ли, сядешь ли. Понял? Это все старье, списанное из военных частей.

Василий вспомнил опасения матери. «Ну, развлек, называется!» — с досадой подумал он.

— Идемте в буфет, может, вино есть. А тебе, Шурик, конфетку куплю.

— Не надо, не пей при мне, — попросила мама.

— Да я и без тебя не пью, просто так предложил, — и, чтобы сменить тему разговора, сказал: — Ты, Шурик, береги маму. Пиши. Если война до будущего года не кончится и тебя призовут, дуй прямо ко мне, в свой взвод возьму, на месте оформим. У нас был такой случай — мой друг Женька Початкин прямо на фронт приехал. Только напиши, я сообщу, куда тебе пробиваться.

— Неужели еще год война продлится? — вздохнула мать. — Уж больше сил нет.

— Раньше закончим. Это я для него. Он небось о подвигах мечтает. Как, Шурик, мечтаешь?

— Нет, я на войну нагляделся, лучше без подвигов и без войны.

Ромашкину стало грустно оттого, что паренек не мечтает о подвигах, это ему показалось таким же

бедствием, как полуголодная жизнь людей, карточки на хлеб, экономия электричества, топлива, воды. Когда мальчишки не стремятся к приключениям на войне, это уже предел, дальше некуда, войну надо кончать.

Самолет действительно, как говорил парень, оказался старым, неудобным, холодным. Вдоль стен, как в грузовике, тянулись неудобные откидные железные скамейки. В проходе были навалены какие-то ящики, накрытые брезентом. Ромашкин пожалел, что связался с авиацией, мать заставил волноваться и сам никакого удовольствия явно не получит.

Летели долго, качало, мутило. Пошли на снижение, думал — Москва, а оказались в Куйбышеве. Небо заволокло тяжеленными тучами. Как только приземлились и отдраили дверь, заглянул промерзший дядька в черном бушлате; синева от ветра и краснота от водки, которую он выпил, спасаясь от сырости, так перемешались на его лице, что стало оно фиолетовым.

— Выходите с вещами, — крикнул дядька, — ночевать будете!

Пассажиры выбрались под мокрое небо. Дул ветер, он раскачивал тонкую кисею дождя. Накинув шинель на плечи, Ромашкин побежал к дому, на котором темнела вывеска с мокрыми потеками. На стене зелеными буквами было написано: «Аэропорт Куйбышев».

Из двери дохнуло грязным теплом, старыми окурками, накатила приглушенный говор множества людей. Ромашкин остановился в дверях. Идти было некуда, все пространство между стенами заполнено человеческими телами. Кто лежал на полу, кто сидел на чемоданах, кто куда-то шагал через тех, кто лежал.

Василий стоял в нерешительности. Вдруг ему замали из дальнего угла, где была загородка с надписью «Касса». В уютном уголке около этого сооружения, покрашенного в темно-коричневый цвет, разместились трое офицеров. Они призывно махали Ромашкину, приглашая в их компанию. Он зашагал к ним, обнаружив, что пассажиры лежат не навалом, не в беспорядке, а между ними оставлено что-то вроде тропинок, куда можно ставить ноги.

— К нашему шалашу, товарищ старший лейтенант, — радушно сказал очень красивый майор с серыми ясными глазами и тонким интеллигентным лицом.

Другой офицер был капитан с крепкими скулами, строгими глазами, в которых так и не затеплилась

улыбка, хотя капитан и старался изобразить приветливость на своем лице.

Третьим оказался не офицер, а молоденький курсант из летного училища. Чистое румяное лицо его было свежим и жизнерадостным даже в тяжелой духотище. Голубые петлицы и голубые глаза курсанта сияли, как кусочки неба в солнечный день. Паренек просто обомлел от близости многих наград на груди Ромашкина; забыв обо всем, он глядел на них, не отводя восхищенных глаз.

Офицеры потеснились.

— Сюда шагайте,— сказал капитан глухим голосом.

— Можно вот здесь,— пролепетал курсант, вскочив со своего чемоданчика, готовый стоять хоть всю ночь, уступив место фронтовику.

Познакомились. Коротко сообщили, кто куда летит.

Майор Ланский — юрист, летел из Москвы в Ташкент, он служил в трибунале.

Ромашкин, глядя на этого красавца, подумал: «Наверное, даже подсудимые женщины вздыхают при виде такого красивого судьи».

Капитан Соломатин — сапер, после ранения был списан из строевых частей, получил новое назначение и летел в Псков за женой. Курсант Юра перешел на второй курс и спешил к родителям в Рязань на каникулы.

Офицеры положили чемодан в центре, сделали из него стол и начали выкладывать еду, у кого что было: сало, картошку, крутые яйца, лук, колбасу и хлеб. Это в тылу было такой роскошью, что Ромашкину стало неловко, когда он заметил, как некоторые штатские соседи отводили глаза от офицерского богатства. Капитан отстегнул с ремня немецкую флягу, обтянутую суконным чехлом. Свинтил крышку-стаканчик и, не торопясь, налил в нее водку. Василию подал первому.

— Прошу вас.

Ромашкин показал глазами на майора — он был старший по званию.

— Нет, прошу вас, вы наш гость,— настаивал капитан, а майор, поняв в чем дело, вытянул вперед белую холеную руку, будто хотел помочь Ромашкину поднести рюмку к губам:

— Пейте, я не службист, пусть вас мои два просвета не смущают, к тому же вы фронтовик, а я тыловая челядь.

Ромашкин смотрел на его красивую руку и думал: «Вот что значит не окопный офицер: рука будто у князя или графа, он, наверное, и на пианино играет. Не то что мы, фронтовые черти, в грязи, в дыму, по неделям не умытые». У Ромашкина не вызвала раздражения эта тыловая ухоженность майора, наоборот, позавидовал, хотелось и ему пожить, послужить в мирной жизни, стать таким же холеным.

Василий опрокинул стаканчик в рот, сопроводив его тайным пожеланием: «Дай бог, чтобы это сбылось!» Соседям же, коротко кивнув, сказал:

— Со знакомством...

За выпивкой, как водится, пошел разговор — кто где служил, какие с кем необыкновенные дела приключались. Сначала сапер повсдал о страшной атаке «тигров» под Прохоровкой на Курской дуге. Оказался он человеком разговорчивым, просто говорил медленно. Ну, а когда «поддал» из фляги, то жесты и слова стали еще проворнее.

— Ползут, понимаешь, как глыбы броневые. Напи снаряды от них рикошетят. Очень плохо действует на людей, когда снаряды рикошетят. Страх берет. А он сам, «тигр», как плюнет, так не только пушку, а еще и землю под ней на метр сметает! Сильна дура, ничего не скажешь! Это только в газетах да в кино с ними ловко расправляются. А я вот как встал лицом к кресту, так у меня в жилах вместо крови лед образовался. Оцепенел весь. Еле превозмог себя. Мы, саперы, мины до боя расставили. Некоторые танки подорвались, а многие на нас пошли. Во время атаки я со своими минами куда? Только под гусеницы, но до этого дело не дошло. Рядом со мной пушка оказалась, половину ее расчета выбило. Стал я помогать артиллеристам. Срочную службу в артиллерии отбыл, пригодилось. Встал я к прицелу, руки дрожат, все в глазах прыгает. Танк в меня хрясь! Перелет. Я в него — хрясь, только искры от брони да осколки взвыли. Он еще одним в меня — хрясь! Опять перелет. Ну тут уж я понял прицел, освоился. Подвел перекрестие под самую кромочку да как врезал ему под башню, так и отлетела она, будто шапку ветром сдуло. Но опустишь у него пушка на миллиметр ниже — привет, лежал бы я сейчас под Прохоровкой!

После сапера заговорил майор. Но курсанту было интереснее послушать Ромашкина, поэтому Юра несмело вставил:

— Может быть, вы, товарищ старший лейтенант, расскажете про фронтовые дела? — он показал глазами на награды.

— Потом. Давайте послушаем майора, — возразил Василий, втайне надеясь, что до него очередь не дойдет; он всегда терялся и не знал, что о себе рассказывать, его фронтовые дела казались ему будничными и неинтересными.

Майор Ланский, видно, собирался рассказать что-то очень интересное, после слов курсанта он с явным нетерпением смотрел на компанию ясными серыми глазами, которые стали еще ярче от выпитой водки, ждал — говорить ему или нет?

— Давай, майор, трави, — сказал капитан, угадывая по его возбужденному лицу, что майор хочет рассказать очень интересное.

Майор заговорил приглушенным голосом, чтобы не слышали соседи, офицеры склонились к нему. Ланский повел рассказ о женщинах. Тема обычная для мужчин, тем более когда выпьют. Говорят в этих случаях с юморком, все истории со смешными казусами. Ромашкину стало не по себе. Он вспомнил историю с Морейко. Майор-юрист говорил правду. Пропадала легкость полувранья, которая позволяет без стеснения рассказывать и слушать такие истории. То, что говорил майор, было очень грязно. Ушам стало жарко от подробностей, которые преподносил Ланский.

Капитан побагровел, опустил глаза, лицо его стало каменным. Василий взглянул на курсанта Юрочку. Тот ловил каждое слово рассказчика. Щеки Юры пылали, в глазах был восторг. Ромашкин понял состояние капитана Соломатина и сам чувствовал жгучее желание прервать майора.

У Василия не было своих «сердечных» походов, но он знал, как любили друзья-фронтовики. Были у них и мимолетные встречи, но все же не такие, как те, о которых говорил юрист. Ромашкин думал: «Да, они огрубели на войне. Они видели много крови, убивали, кормили вшей. Но фронтовики не были подлецами. Окопная любовь была порою скоротечной, потому что на жизнь было отпущено мало времени. Но даже короткая любовь была искренней, она вырывала из круга смерти, помогала почувствовать себя человеком. Ведь любовь — это одно из тех чувств, которое делает людей людьми. Пусть встречали фронтовики своих

подруг в землянках, в траншеях, пусть их близость была недолгой, все же я не могу назвать эти отношения иначе как любовь. Фронтовики, мужчины и женщины, были честны и верны в этом чувстве, и разлучали их ранения, долг службы или смерть. А то, о чем говорит майор,— скотство». Присутствие Юрика было невыносимым. Курсант может подумать, что это и есть одна из доблестей офицеров, которой, как и другим, он несомненно захочет подражать.

Ланский между тем не замечал отчужденности офицеров и с увлечением продолжал рассказ.

Ромашкин был поражен, как иногда повторяются в жизни очень похожие ситуации. «Вот сейчас я встану и дам ему по морде точно так же, как влил Морейко. И опять будет штрафная рота, даже трибунал, он же юрист. Нет, надо поступить как-то иначе». Слушать и видеть сладострастное лицо Юрика уже не было сил. Ромашкин встал и тихо молвил:

— Хватит. Неужели вы не понимаете, что это нехорошо?

Майор удивился, ему казалось, что все слушали с большим интересом.

— Правильно,— поддержал капитан Соломатин,— не надо больше об этом.

Майор обиженно хмыкнул, пожал плечами, встал и ушел покурить.

— Ты, Юра, забудь, что говорила эта шлюха,— посоветовал капитан, не глядя в глаза курсанту. Ему было стыдно смотреть на юношу.

Вдруг открылась часть стойки, которая огораживала кассу. Из кассы вышла молодая женщина. Она подошла к Василию и негромко, но в то же время не таясь от тех, кто находился поблизости, сказала:

— Пойдемте, товарищ старший лейтенант, я устрою вас на ночлег.

Это было очень кстати. После случившегося неприятно оставаться рядом с Ланским. Без долгих размышлений Василий взял свой чемодан и приготовился шагать через лежащих. Но вовремя спохватился: «Нехорошо так бросить друзей».

— А в комнате отдыха еще три места не найдется? — спросил он.

— Нет, могу устроить только одного.

Ромашкин смотрел на сапера и курсанта — как быть?

— Иди,— сказал капитан,— зачем здесь маяться, если есть возможность отдохнуть по-человечески.

Василий кивнул и зашагал к двери.

Вышли в мокрую тьму. Ветер словно влажной марлей зашлепал по лицу. Василий шел за женщиной и думал: «Как неосторожно мы болтали...» Поравнялся с ней, спросил:

— Вы все слышали?

— Спасибо вам, товарищ старший лейтенант.

— За что спасибо?

— Заступились за женщин.

Ромашкин предполагал, что кассирша ведет его в гостиницу или в комнату отдыха для летного состава, где хочет устроить в порядке исключения. Но они вошли в подъезд с запахами домашней кухни. Не похоже, чтобы здесь размещалась гостиница.

Вынув из сумочки ключ, женщина отперла дверь на втором этаже. В светлом коридоре было три двери. За двумя из них слышались голоса. Одна из дверей распахнулась. Выглянула полная молодая блондинка в байковом бордовом халатике.

— Верочка пришла,— приветливо не то спросила, не то сообщила она тем, кто был за дверью,— да еще с гостем! — Глаза соседки засветились любопытством.

Тут же отворилась другая дверь, из нее шагнула пожилая, с отеками ногами, по-домашнему не причесанная, женщина.

— Гость у Веры? — изумилась она и бесцеремонно стала рассматривать Василия.— Старший лейтенант. Красивый,— говорила она по мере осмотра. Глаза у нее были доброжелательные, тон шутливый, поэтому слова ее хоть и смущали, но не были неприятными.

— Раздевайтесь,— сказала Вера и сняла пальто у вешалки.

Ромашкин стянул шинель. Пожилая соседка воскликнула:

— Сколько наград! Однополчанин, Верочка?

— Да, вместе воевали.

— Вот как хорошо, очень рада за вас.— Блондинка, не стесняясь, спросила: — Есть чем угощать гостей? Если нет, возьмите у меня с белой головкой, не разливная. Петя вчера привез.

Вера посмотрела на Василия, глазами спросила: «Взять?» Он смущенно ответил:

— Не падо. Вы же знаете, я уже...

— Ну проходите, не стесняйтесь,— пригласила пожилая, будто звала в свою комнату.

Соседки явно уважали Верочку. И гости, видно, у нее бывали не часто. То, что кассирша привела его не в гостиницу, а к себе, очень смутило Ромашкина, он чувствовал себя стесненно и рад был поскорей войти в комнату с глаз долой от соседок, хотя они и были приветливы.

Комнатка Веры оказалась крошечной. Меньше чем прихожая. Здесь стояла одна солдатская железная кровать. В узком проходе между кроватью и стеной — тумбочка, на тумбочке зеркальце, пудра, флакончик духов. У самой двери стоял одинокий старинный стул. Его добротное, темное от времени дерево, желтая сеточка на спинке и тисненая ткань на сиденье очень не гармонировали с белеными известью стенами и больнично-казарменным убранством комнатки.

— Садитесь,— Вера указала на стул.

Ромашкин увидел по глазам: ей приятно, что у нее есть такой хороший стул и что гостю на нем будет удобно.

Василий поставил чемодан к спинке кровати, сел и с любопытством стал разглядывать Веру. Она стояла напротив, улыбалась и терпеливо ждала, когда он закончит осмотр.

Было ей лет двадцать, но выглядела она старше.

Карие глаза хоть и улыбались, но за улыбкой стояла грусть. И видно было, грусть в глазах Веры какая-то не временная, а отстоявшаяся. Что-то не ладно в жизни этой девушки.

— Зачем вы привели меня к себе, вам одной тесно.

— Устроимся, товарищ старший лейтенант.

Ромашкин взглянул на кровать. Спать больше негде. Значит, ляжем вместе? Ему очень не хотелось, чтобы у этой доброй и, видно, не очень-то счастливой женщины прибавились неприятности.

— А что скажут ваши соседки?

Вера не переставала улыбаться:

— Пусть говорят что хотят... Да вы не думайте об этом, они хорошие.

— Я, собственно, не о себе, а о вас...

— Ладно, товарищ старший лейтенант, не сомневайтесь. Умываться будете? — она открыла тумбочку, подала чистое полотенце.— Идите в кухню, правая полочка моя, там мыло.

Василий медлил, не хотелось встречаться с женщинами.

Вера подошла к нему, расстегнула пуговики на его гимнастерке.

— Поднимите руки.

Он поднял. Вера потянула гимнастерку вверх, сняла ее и велела:

— Идите.

Василий вышел в коридор, несмело шагнул в кухню. В ней никого не было. Зеленый рукомойник с висячим железным стерженьком — один на всех жильцов. Ромашкин взял мыло с правой полочки, осторожно поднимал и опускал стерженец, старался не греметь, чтобы не вышли из своих комнат любопытные соседки.

В комнатке Веры были готовы две постели. На кровати сияли ярко-белые простыни с крупными квадратами, как слежались они в сложенном виде. Другая постель на полу — между кроватью и стеной. Ромашкин решил, что нижняя для него, и стал стягивать сапоги.

— Теперь пойду умываться я,— сказала Вера.— Ваше место на кровати. Пока я вернусь, укладывайтесь.

«Только этого не хватало; хозяйка, женщина, будет спать на полу, а я, проезжий молодец, на ее кровати»,— подумал он, но возражать не стал, зная, что она будет настаивать и это затянется надолго. Как только хозяйка вышла, Василий тут же забрался под одеяло на полу. Приятная свежесть охватила его в чистой постели. Вспомнил душный, прокуренный зал аэропорта. «Вот предстояла ночка, не дай бог! Конечно, после фронтовых блиндажей, в тепле, в сухом помещении проспал бы безбедно со всеми, но все же в чистой постели куда приятней. Повезло. Только как быть с Верой? Пригласила она из уважения, как фронтовика, зная цену наградам, или же привела как мужчину? Может быть, скучно жить одной, видит, мужик не из болтливых, вот и привела. А соседки? Почему их не стесняется? Разговоры ведь пойдут. Пойдут ли? Еще неизвестно, каковы сами соседки. Кто у них за дверями, мужья или такие же, как я, страннички?»

— О! Я же велела вам, товарищ старший лейтенант, на кровать ложиться,— сказала Вера, глядя сверху вниз.

— Меня зовут Василий, фамилия Ромашкин, хватит по званию обращаться.— Ему снизу хорошо были видны ее стройные полные ноги, он отвел глаза, чтобы она не заметила. Но она поняла это и отошла к стулу.

— Я потушу свет, а вы перейдите на кровать.— Щелкнул выключатель, и на некоторое время сделалось очень темно. Потом стали вырисовываться слабые контуры окна.

— Что же вы не переходите?

Сердце Ромашкина застучало быстро-быстро. Он сел. Нашел в темноте руку девушки. Осторожно потянул к себе. Сопротивление было, но не такое, чтобы сразу пресечь его попытку. Он осмелел и более настойчиво влек ее к себе.

— Не надо, товарищ старший лейтенант.

— Я же вам сказал, меня зовут Вася.

Но она продолжала по-своему:

— Прошу вас, товарищ старший лейтенант.

Она не вырвала решительно руку и строгим голосом не пресекла его вольность. Села рядом с ним на постель и тихо прошептала:

— Не надо...

Василий обнял ее плечи и тут же почувствовал, как тело ее напряглось и руки, вдруг обретя силу, решительно уперлись в его грудь. Он понял, это пока все, что ему будет позволено. Во всяком случае сейчас... Он разомкнул руки. Но Вера не вскочила, не бросила ему зло: «За кого вы меня принимаете?» Нет, она опустила голову на подушку, вздохнула и, когда он лег рядом, погладила его теплой ладонью по щеке. Василий не понимал ее. Еще раз попытался обнять, но опять встретил ее решительные крепкие руки. Потом она тихо заговорила:

— Я служила в авиационном полку радисткой. Мне все фронтовики родня. Увидела вас сегодня днем и не могла выйти из кассы. Смотрела на вас в щелку. Вы очень похожи на наших ребят — летчиков.

— Я пехота-матушка, разведчик. Но перед войной пытался поступить в авиационное училище.

— Ну вот, значит, я не ошиблась, есть в вас что-то летное.— Она помолчала.— Хорошее время было у меня на фронте, хорошее и страшное. Хорошее потому, что жили мы дружно, одной семьей. Чудили. Любили друг друга. А страшное потому, что иногда кто-то не возвращался после боевого вылета. Погиб Игорь

Черета, красивый, ясноглазый старший лейтенант. Два дня печаль в полку стояла. И Клава, подруга моя, лежала как мертвая, глядела в потолок и не мигала. Она любила его. Потом сбили Ваню Глебова. Белокрысы, веснушчатый, его звали за это Подсолнухом.

Василий понял причину грусти в глазах Веры — сбили, значит, и ее любимого. Сделалось неловко за свою легкомысленность: у девушки горе, она увидела в нем близкого человека, ее душа потянулась к нему, искала утешения, понимания и помощи, а он полез к ней с дурацкими объятиями. Ромашкин повернулся лицом к Вере и тоже погладил ее по щеке. Она умолкла и в ответ погладила его руку, будто поблагодарила, что он наконец-то понял ее.

— Я тоже любила летчика. Он был отчаянный. Рыжий, здоровенный, даже немного страшный. Он был ас. Три ордена Красного Знамени носил на груди. Другие ордена и медали не надевал. А были и другие награды, и мы знали. Истребители любили его, он был хороший, бесхитростный товарищ! Егором звали. Девчонкам он очень нравился! Как взглянет своими зелеными глазищами, так душа делается маленькой, как у синички. Глаза у Егора были какие-то сумасшедшие, огонь в них горел, будто в голове зеленая лампа зажигалась... Млели девчонки. Я знала... А за мной он ухаживал. Проходил мимо — мне жарко делалось. А глаза его были в эти мгновения не грозные, а какие-то теплые, с поволокой. Все знали, Егор меня бережет на жизнь после войны, не хочет он со мной так вот по-походному отухаживаться. И я знала. И девчонки знали. Завидовали мне. Кое-кто пытался даже залучить его сердце. — Вера усмехнулась. — Но он на них ноль внимания. Я в душе смеялась над неудачливыми соперницами. Гордилась своим рыжим великаном. Было мне как-то страшно и сладко оттого, что он меня не трогал. Мне он ничего не обещал на будущее. Щадил, наверное. Вдруг собыют, стану всю жизнь мучиться. Лучше, если не обещать: ничего не имела, значит, ничего и не потеряла. — Вера помолчала, вздохнула и опять заговорила полупшепотом: — Однажды за мной хотел поухаживать новенький летчик. Молоденький, вроде того курсанта, что с вами сегодня сидел, румяный, чистенький. Подошел он ко мне вечером на танцах. Потанцевали. Пригласил погулять по улице. Я пошла. Что тут особенного? В дверях нас

остановил Дима Зорин, тоже летчик из нашего полка. Позвал моего ухажера на минуточку в сторону. Вернулся он с удивленными глазами. Тарашил их на меня, будто я знаменитость какая. Отвел назад к танцующим. Ушел курить и больше не подходил. Только издали смотрел всегда то на меня, то на Егора. Мы с Егором всегда были врозь. И на танцах, и в столовой, и на улице.— Вера замолчала. Ромашкин понимал, она подошла к самому трудному месту и в расказе и в жизни.

«Что же случилось с ее возлюбленным? Сбили его? Или завлекла в сети какая-нибудь красавица?»

Вера молчала. Василий хотел подбодрить ее, поддержать в трудный момент лаской, протянул руку к щеке и сразу почувствовал влагу. «Значит, сбили...» Он подтянул кончик простыни и вытер Вере глаза.

— Пойду, вы, наверное, спать хотите,— сказала Вера влажными губами.

— Лежи,— почему-то на «ты» остановил Ромашкин.

Она осталась. Он обнял ее осторожно, как ребенка. Привлек к себе и поцеловал в щеку. Вера не отстранялась. Лежала горячая и обмякшая. Она все еще плакала.

— Ну, не надо... перестань,— попросил Василий,— не вернешь ведь...

— Спасибо вам, товарищ старший лейтенант,— поблагодарила вдруг девушка.

— Опять ты с этим званием,— он попытался изобразить в голосе обиду.

— Привыкла, я же «рядовой и сержантский состав», с летчиками только по званиям.

— А за что же спасибо?

— Поняли меня. Вы будто из нашего полка. Ни один наш летчик меня не тронул бы, даже если б мы вот так в постели очутились. Очень любили и уважали все Егора. Ну, спите. Хватит. Завтра рано вставать. Колдуны хорошую погоду обещали,— она отодвинулась от него, но не ушла на кровать.

Ромашкин думал о ней. Вспоминал свою фронттовую жизнь, боевых друзей, девчат и женщин своего полка. Были и у них увлечения и серьезная любовь, все знали об этом. Но сам Василий романов не заводил, считал — какие к черту на войне свадьбы и мечты о будущем, тем более у него: каждую ночь на смерть

ходишь. Но вот теперь, лежа рядом с Верой, он вдруг почувствовал тоску и тягу к фронтовым девчатам, с которыми был просто знаком там, в полку. Как бы хорошо всегда быть с той, которая рядом была под бомбежкой, ждала тебя с задания, знала всех друзей, живых и мертвых. Однако не было у Васи такой женщины. Не состоялась на фронте большая, сильная любовь, как вот у Веры. «Может быть, я был слишком молодой и легкомысленный и внешность моя не привлекла внимания стоящей девушки?» У Василия даже мелькнула мысль: «А не жениться ли на Верочке? Вот она рядом, своя, фронтовая, все знает, понимает, чистая и скромная девушка.— Он улыбнулся.— Интересно, как мы будем вспоминать наше знакомство? Я бы шутил: «Пригласила хлопчика на ночку, а он обманул — на всю жизнь остался!» Смешно: час назад не были знакомы — и вот уже в постели и я даже жениться собираюсь!»

Василий не заметил, когда мысли перешли от яви в сон. Заснул тихо, даже не лег поудобнее, как лежал на спине, так и уснул. Снилось ему красивая девушка. Они гуляли по роще. Девушка, склоняясь к нему, что-то шептала, и он ощущал ее теплое дыхание на своей щеке.

Проснулся Василий так же тихо и мягко, как и уснул. Сначала ему показалось, что он вовсе и не проснулся, приятный сон продолжается, теплое дыхание действительно овеивало его лицо. Василий чуть приоткрыл веки. Все в комнате, как во сне, было подернуто бледно-синим маревом, только на стуле поблескивали лимонного цвета блики луны. Тучи, видно, рассеялись.

Над Васей склонилась Вера. Она опиралась на локоть, а другой рукой водила по его волосам, почти не касаясь их. Она гладила его голову. Это едва ощутимое прикосновение делало все происходящее совсем похожим на сон. Глаза Веры были затуманены. Она была сейчас очень далеко, наверное, в своем полку и ласкала, конечно, не Ромашкина, а своего зеленоглазого красавца.

Василий прикрыл веки и старался не выдать, что не спит. Вера несколько раз склонялась к нему, целовала его в щеки, почти не касаясь, одним горячим дыханием. Потом она опустилась на подушку и затихла. Вскоре Василий опять заснул. А когда пробудился, было уже бледно-голубое утро. Вера все еще лежала

рядом. Она глядела на него и улыбалась. Нежный румянец красил ее отдохнувшее свежее лицо. Ромашкин вспоминал ночные видения. «Может, все это был сон? И мне только показалось, что я просыпался?»

— Ну что же, пора, товарищ старший лейтенант, скоро объявят посадку.— Вера накинула халатик и пошла умываться.

Ромашкин поднялся и некоторое время стоял, глядя на нетронутую кровать, на ровные крупные квадраты на простыне. На душе у него было светло и радостно, как бывает летом рано утром в поле: шелестит в ушах от тишины и голубизна окружает со всех сторон.

На аэродроме пассажиры, бледные, с помятыми лицами, прогуливались около мокрого здания аэропорта. Только сапер Соломатин был краснощекий, он, видно, уже приложился к своей фляге. Издали капитан приветливо замахал рукой, улыбался, он был в отличном настроении, не здороваясь, сказал:

— А я всю ночь не спал. Зашел в их контору,— он только теперь кивком поздоровался с Верой,— там никого нет. Я и давай крутить телефон. Все же дозвонился до Пскова. Всю ночь крутил, но дозвонился! Поговорил с жинкой—во!—Он провел рукой выше бровей.—Наверное, час говорил! Сегодня увидимся.

Состояние капитана было понятно Василию, наскучался человек о семье за время войны, теперь эта тоска еще долго будет приносить ему ощущение счастья.

А вот курсант Юра поразил и огорчил. Он встретил Ромашкина и Веру совершенно не подходящим сго юношеской внешности взором бывалого пошляка. «Неужели я вчера не разглядел его? Он мне показался скромным мальчиком». Сегодня перед Ромашкиным стоял совсем другой человек.

Когда он поглядел на Василия и на Веру, нижняя губа его слегка, но весьма красноречиво, покривилась, глаза просто переполнились нехорошей для его лет осведомленностью. В его ироническом взгляде на Веру было не осуждение, а сочувствие, он вроде бы говорил: «Я вас понимаю, перед героическим фронтовиком устоять нельзя! Но не думайте, что это поднимает вас в наших глазах; не будь этого парня, вы переспали бы с кем-то из нас!»

Ромашкин чувствовал себя отвратительно. Было очень неприятно, что этот юноша плохо думает о Вере,

а он — Василий — никак не может изменить его мнение. «Я-то ладно, черт со мной! Но она, такая чистая и несчастная, выглядит в его глазах мелкой потаскушкой. Что сделать? Как ему объяснить? Поговорить бы надо».

Но дежурный по аэропорту уже звал пассажиров его рейса на посадку. Ромашкин успел сказать курсанту:

— Юра, пойми, пожалуйста, между мной и этой женщиной ничего не было. Верь мне, это важно не для меня, а для тебя.

Ромашкин видел, курсант не поверил, пытался на словах показать некоторое смущение, а сам был убежден, что помогает Василию, как мужчина мужчине, сгладить неловкость.

— Что вы, товарищ старший лейтенант, я ничего не подумал.

На Василия глядели наглые голубые глаза. Он даже немного обижался, что от него, как от маленького, пытаются что-то скрыть, а он и не такое знает! «Да, многое, видно, постиг этот молодой кобелишка в тылу, пока мы воевали». Ромашкин не выдержал его взгляда, опустил глаза. Подошел к Вере, взял за руку. Ее тепло сразу передалось ему. Опять подумал: «Может быть, не надо улетать? Остаться на несколько дней? Может быть, здесь судьба свела меня с той, которая всю жизнь будет рядом?»

Ромашкин смотрел Вере в глаза и ждал. Глаза ее были светлы и радостны, только где-то в глубине таилась грусть. Грусть не потому, что он улетает, а та прежняя грусть, которую Василий увидел при первой встрече. Если бы Вера хоть раз назвала его Васей, он бы, наверное, остался, не боясь этой грусти в ее глазах. Но Вера настойчиво повторяла свое отчуждающее «товарищ старший лейтенант».

— Что же, до свидания, товарищ старший лейтенант,— сказала она с тихим вздохом.— Будете пролетать, не забывайте.

— Не забуду,— ответил он ей тоже тихо.— Так ты и не назвала меня ни разу по имени.

— Не получилось, товарищ старший лейтенант,— она виновато опустила глаза.

В небе Ромашкин мысленно послал румяного оболтуса Юрика к черту и вспоминал минувшую ночь, теплое дыхание Веры, синий полумрак, золотистые

блики луны на стуле, петронутые простыни с крупными квадратами складок, чистые, не помятые, ярко-белые. Он хотел поправить настроение, убеждал себя: все хорошо, он в отпуске, надо радоваться тыловому покою. Но не смог. Набегала озабоченность, ощущение вины перед кем-то, а перед кем, он не мог понять...

В это утро Василий впервые обнаружил: не будет после войны безоблачного розового счастья, в котором фронтовики надеялись жить в мирные дни, уже сейчас жизнь катила навстречу какие-то новые непонятные и, видно, пелегкие загадки. В тылу стояли у станков изможденные женщины с серыми солдатскими лицами, бродили исхудавшие до скелета Шурики, залечивали раны Соломатины, Верочки, рожали Тани, но здесь же, оказывается, благоденствовали Матильды Николаевны, Леваны Георгиевичи, ловили женихов Зиночки, развлекались Ланские, подросли непонятные циничные Юрочки. Жить после войны придется всем вместе. «Как же мы будем жить — такие разные? А может быть, всегда так было — и до войны, и в более далекие времена? Просто я никогда не задумывался об этом».

* * *

В столице Ромашкин стал очевидцем исключительного за всю войну события. Случайно узнал о нем от носильщика, который подошел попросить у офицера папироску.

— Слыхали? Сегодня немцев поведут через Москву.

— Каких немцев?

— Живых, каких же! Пленных. По радио говорили, вот в газете почитайте,— носильщик показал на витрину с газетами.

Василий осмотрел все полосы и наконец увидел на последней странице в верхнем углу:

«Извещение от начальника милиции гор. Москвы.

Управление милиции г. Москвы доводит до сведения граждан, что 17 июля через Москву будет проконвоирована направляемая в лагеря для военнопленных часть немецких военнопленных рядового и офицерского состава в количестве 57 600 человек из числа захваченных за последнее время войсками Красной

Армии Первого, Второго и Третьего Белорусских фронтов.

В связи с этим 17 июля с 11 часов утра движение транспорта и пешеходов по маршрутам следования колонии военнопленных: Ленинградское шоссе, ул. Горького, площадь Маяковского, Садовое кольцо, по улицам: Первой Мещанской, Каланчевской, Б. Калужской, Смоленской, Каляевской, Новослободской и в районе площади Колхозной, Красных ворот, Курского вокзала, Крымской, Смоленской и Кудринской — будет ограничено.

Граждане обязаны соблюдать установленный милицией порядок и не допускать каких-либо выхонок по отношению к военнопленным».

«В одиннадцать часов. Сейчас девять. Успею!» — Ромашкин подошел к носильщику:

— Как быстрее добраться в город?

— Автобус ходит. А лучше всего бери левака. Вон там они крутятся. Втроем в складчину берите, дешевле будет. Как увидишь первое метро, так выходи и дуй на станцию «Маяковскую» или «Красные ворота» — в объявлении указано, как раз там поведут. На метро успеешь, не сомневайся.

Василий так и сделал. Когда эскалатор вынес его из-под земли на станции «Маяковской», площадь и улица Горького уже были окаймлены плотной толпой. Вдали по пустой широкой улице приближался серо-зеленоватый поток, заполняя все пространство между домами.

Ромашкин отыскал место, откуда будет видней. И вскоре мимо поплыл не строй, а какая-то зеленая, похожая на подвижную свалку, масса людей, оборванных, грязных, обдающих тошнотворным специфически фрицевским запахом.

Впереди спокойно, неторопливо, не в ногу шли генералы. Некоторые в очках, в пенсне. Горбоносые. Сухие. Поджарые. Оплывшие от жира. Золотые вензеля блестели на красных петлицах. Витые, крученые погоны, выпуклые, словно крем на пирожных. Ордена и разноцветные ленты сверкали на груди. Генералы не смотрели по сторонам, шли, тихо переговариваясь. Один коротышка отирал платком седой щетинистый бобр на продолговатой, как дыня, голове. Другой, здоровенный, плечистый, равнодушно смотрел на лица москвичей, будто это не люди, а кусты вдоль дороги.

За генералами шли более ровными, но все же гнушимися рядами офицеры. Эти явно старались показать, что плен не сломил их. Один, рослый, хорошо выбритый, с горящими злыми глазами, встретив взгляд Ромашкина, быстро окинул его награды, показал большой крепкий кулак. Ромашкин тут же ответил ему: покрутил пальцем вокруг шеи и ткнул им в небо. «А мы, мол, тебя повесим». Фашист несколько раз оглянулся и все показывал кулак, щерил желтые, прокуренные зубы, видно, ругался. «Какая гадина,— думал Ромашкин,— жаль, не прибили тебя на фронте».

За офицерами двигались унтеры и солдаты. Их было очень много, они шли сплошной лавиной по двадцать в ряд — во всю ширину улицы Горького.

Пленных сопровождал конвой — кавалеристы с обнаженными шапками и между ними пешие с винтовками наперевес.

Москвичи стояли на тротуарах. Люди молча, мрачно смотрели на врагов. Было непривычно тихо на заполненной от стены до стены улице. Слышалось только шарканье тысяч ног.

Шли убийцы. Шли тысячи убийц. Каждый из них кого-то убил — отца, сына, мать, сестру, ребенка, брата тех людей, которые стояли на тротуаре и молча глядели на этих пойманных убийц. Им сохранили погоны и награды. Кресты, медали на мундирах, квадратики, галуны на погонах теперь из знаков отличия превратились в обличительные знаки — они свидетельствовали, кто больше причинил зла, уничтожил людей, сжег деревень, разрушил городов, осквернил полей.

— Смотри, Олег, смотри, Надюша, это они повесили нашу бабушку,— тихо шептала женщина, обнимая прильнувших к ней ребят.

Услыхав этот шепот, Василий еще раз поразились тишине на улице, заполненной сотнями тысяч людей. Вспомнил слова из объявления в газете: «Граждане обязаны соблюдать порядок и не допускать каких-либо выходок по отношению к военнопленным». Ромашкин поглядел на мрачные лица москвичей: окаменевшие, скорбные, у многих слезы на глазах. Какую надо иметь выдержку, какой благородный разум, чтобы сдержаться, не кинуться и не растерзать этих бандитов. Любой из присутствующих имеет на это право. Каждый вспоминает о погибшем дорогом

и близком человеке — и убил его один из этих вот подлецов.

«И тебя, папа, убил один из них. Может, вон тот белобрысый в ботинках без шнурков или этот боров в расстегнутом кителе с ленточками за две зимы в России».

Василий думал и о том, что он мог встретиться, а может быть, и встречался с кем-то из этих пленных, когда шел в Витебск, все эти солдаты и офицеры находились около своих пулеметов, орудий, сидели в штабах. Никто из них тогда не догадывался, что он, Василий, крадется в их стане, несет снимки обороны. Да и сам Ромашкин разве мог подумать, что армада в десятки тысяч человек, которая тогда засела в темных лесах, бункерах, траншеях, будет окружена, выволочена из убежищ и пройдет перед ним строем, да не где-нибудь, а по Москве!

Пожилой, интеллигентный мужчина в светлой шляпе сказал:

— Гитлер обещал им отдать Москву на разграбление. Представьте, что бы творили здесь эти вандалы.

— Мою сестру в Орше изнасиловали, отрезали ей груди и выгнали голую на мороз, — не глядя на мужчину, сказала его соседка.

— Парад уже назначили на Красной площади в срок первом! — глубоко затягиваясь папироской, зло проговорил милиционер. — Вот и получили парад! Продемонстрировали свои мощи!

А женщина все шептала детям:

— И дядю Матвея они расстреляли. И дом наш спалили. И папку нашего... — голос ее пресекся, она приложила платок к губам.

Внимание Василия привлекла старушка с темным, морщинистым лицом. Она быстро семенила за усатым пожилым конвоиром, опасливо сторонясь от крупы впереди идущего коня. Бабка плакала и о чем-то горячо просила. Ромашкин хотел вмешаться, помочь старушке: «Что ей не позволяет усатый страж? Мог бы и уважить ее старость». Василий пошел за бабушкой, задевая стоящих на обочине людей, подошел поближе к солдату и услышал, о чем просит его старушка.

— Миленький, ты пожилой человек, понимать должен, потому и прошу тебя.

— Нельзя, мамаша, никак нельзя.

— Почему нельзя? Они моих сыновей — Ивана, Михаила — побили. Невестку и внучат сничтожили.

— Спросится за это где надо,— отвечал солдат, не глядя на старушку, а наблюдая за близкими пленными.

— Ничего с них не спросится. Дозволь, я одного своими руками задушу. Ну дозволь, Христом-богом тебя молю!

— Нет, мамаша, никак нельзя, пленные они теперь. Русские лежачего и в драке не бьют.

— Так они же внучат моих безвинных, детенышей безответных, казнили, это хуже, чем лежачего бить.

— Они фашисты, мамаша, нелюди, одним словом...

Ромашкин остановился, шагнул на тротуар. Старушка ушла за усатым солдатом.

Три часа шаркала ногами непрерывная, молчаливая колонна плешых. Странное двойственное чувство порождало это небывалое зрелище: вроде бы хорошо — идут поверженные враги, обезвреженные грабители, которые не смогут уж больше творить зло, но, с другой стороны, вид этих пойманных врагов напомнил столько бед и страданий, что в душе людей горький осадок не проходил.

Словно предвидя этот неприятный осадок, какой-то остроумный начальник приказал пустить вслед за пленными мочные машины — помыть улицы после фашистской нечисти! Автомобили с цистернами тоже шли строем, они стелили по асфальту упругие веера шипящей воды, смывали окурки, бумажки, следы только что позорно прошедшей армии пленников.

Москвичи смотрели на освежающие струи воды, на глянцевитый чистый асфальт и, повеселев, стали расхаживать по домам.

Побродив остаток дня по Москве, Василий в тот же вечер выехал на фронт.

Пассажирские поезда уже ходили до Витебска.

— Скоро в Минск возить будем,— гордо сказала пожилая проводница.— Это надо же такое придумать: фашисты огромный плуг за паровоз цепляют, режут шпалы пополам, а каждую рельсу толком перебивают на две половинки. Ни вам, ни нам! И что это за люди такие ехидные!

В стороне от насыпи лежали те самые искореженные рельсы и шпалы, о которых она говорила. Полотно приходилось делать заново. И все же дорожники почти не отставали от наступающих. Сколько ехал

потом Ромашкин на машинах, всюду видел вдоль железнодорожной насыпи копошащихся, как муравьи, строителей. На них налетали вражеские самолеты, били, корежили только что восстановленный путь, а дорожники опять стекались к полотну, засыпали, трамбовали воронки — некогда ждать, пока земля осядет, — и опять тянули, волокли тяжеленные рельсы, укладывали на разложенные шпалы.

Ромашкин не знал, где искать свою дивизию, за время отпуска произошли большие перемены, только во время Белорусской операции продвинулись на несколько сот километров. Решил заехать в штаб фронта к генералу Алехину: наверное, не забыл еще, как посылал в Витебск, поможет найти свой полк.

Но когда Василий стал выяснять, где штаб фронта, оказалось, что он уже проехал мимо него. Назад возвращаться не хотелось, стал искать штаб армии. Даже в своем тылу надо было это делать осторожно, здесь по номеру дивизию не спросишь и штабом армии не поинтересуешься — за такое любопытство быстро заметут в особый отдел и насидишься там до выяснения личности. «Если бы такое случилось, Караваяев обязательно за мной Початкина прислал бы. Ох, и куражился бы надо мной Женька!.. Жив ли? Может, уже сложил, непоседа, свою веселую голову? Как там Петрович, Куржаков, как мои хлопчики?»

Ромашкину хотелось лететь к друзьям, он теперь и тряских дорог не замечал, только бы побыстрее в полк.

Штаб армии стоял в небольшом городке. Отделы работали в домах, правда, дома словно люди после драки — стены побиты осколками, окна без стекол. Но все же это уже была не та война, что год назад. Можно было в землю не закапываться, наши летчики были хозяевами в воздухе. Гитлеровцы, конечно, прорывались, бомбили, но теперь пилоты у них были не те; прилетят, наспех побросают бомбы — и деру назад.

В разведотделе Ромашкина обступили офицеры, чертежники, машинистки.

— Вот ты какой, известный разведчик Ромашкин! — весело сказал седой, кудрявый начальник информационного отделения майор Кирко. Он поправил золоченые очки, разглядывая гостя. — Ну-ка, дай мы на тебя посмотрим! Ты у нас все по бумагам да по документам проходишь. Ромашкин там отличился...

Пленный, приведенный Ромашкиным... то-то показал. А живого, настоящего, мы тебя не видели. Вот, девочки, любуйтесь — тот самый Ромашкин!

Василий готов был сквозь землю провалиться, у него горели уши, он не знал, куда деть глаза, отовсюду на него смотрели улыбчивые разведотдельцы.

— Ну кто бы мог подумать, что этот стеснительный юноша заткнул глотку полсотне фрицев и приволок их к нам!

— Товарищ майор, — взмолился Ромашкин. — Да разве же я один их приволок, это все ребята мои.

— Скромность всегда украшала человека, но... — майор не успел договорить.

— Что за шум, а драки нет? — спросил громким сочным голосом вышедший из своей комнаты начальник разведки армии полковник Полосин — крепкий, черно-волосый, черноглазый, настоящий цыган, только в военной форме. У него и глаза горели горячим лихим цыганским блеском. — О, Ромашкин прибыл! Здравствуй, заходи, — полковник пригласил его в свой кабинет.

Майор Кирко шутливо бросил:

— Все лучшее всегда начальству.

— Садись. Ну, как отдыхал? Как мать? Все в порядке, ну и хорошо.

Полосин был полной противоположностью начальнику разведки фронта генералу Алехину. Тот — маленький, толстенький, говорил тихим голосом, неторопливо, старался казаться простачком, а сам был хитер, как бестия. Полосин не мог усидеть на месте, от избытка энергии ходил по комнате, жестикулировал, говорил громко, увлеченно, будто с трибуны.

— Мы тут без тебя таких дел наворочали, такую операцию провели, дух захватывает! Представляешь, на триста километров вперед продвинулись. Больше пятидесяти гитлеровских дивизий раздолбали! На Западе — во Франции, Бельгии и Голландии — столько же стоит. — Полосин поискал на столе бумагу, помахал ею перед лицом Ромашкина. — Вот последние сведения из Генштаба — восемнадцать дивизий и четыре бригады сняли гитлеровцы с Западной Европы и гонят к нам сюда, чтобы затыкать фронт. Это, милый мой, в те дни, когда союзники наконец отважились переплыть Ла-Манш. Это просто курам на смех!

— Я видел фашистов, которых вы под Минском окружили, их по Москве провели.

Полосин с досадой отмахнулся:

— Меня не интересуют гитлеровцы под конвоем! Наши с тобой враги, Ромашкин, там — живые, с оружием в руках! Надо, чтобы эти остервеневшие волки как можно меньше губили наших людей. Война ими проиграна, сейчас они хотят только подороже взять за свои подлые жизни. А мы им должны показать — вот это, — Полосин показал тугой узластый кукиш. — Будем добивать их грамотно, последовательно и методично. Слава богу, научились это делать. Как там Москва, сильно разрушена? — вдруг без всякого перехода спросил полковник.

— Я не видел никаких разрушений.

— Это хорошо. Между прочим, и немцам тоже показали столицу не случайно. Геббельс и Геринг кричали, что их авиация там камня на камне не оставила. Вот им и показали. Это лучше любой пропаганды и агитации действует!

— Один фриц мне кулак показал.

— Ну, таких много будет и после войны. Но их сами немцы выведут. И у них есть порядочные люди, к нам вот приехали из комитета «Свободная Германия» те самые немцы, которые против нас воевали. Хорошо помогают теперь, каждый день по радио выступают, листовки пишут, прочищают мозги своим соотечественникам.

Зазуммерил телефон.

— Слушаю... товарищ генерал, пока твердо сказать не могу, не нашел я эту танковую дивизию. Ищу. Понимаю, время не ждет. Я вызвал к себе летчиков и командира разведывательной эскадрильи. Сам поставлю задачу, проверю все еще раз.

Полосин положил трубку, минуту подумал и пояснил Ромашкину:

— Начальник штаба разработал очень хорошую частную операцию, командующий фронтом утвердил ее. А начать не можем. Потеряли целую танковую дивизию. Представляешь, мы пойдем вперед, а она нам где-то сбоку двинет!

За дверью послышался топот и говор.

— Заходите! — крикнул Полосин, не выглядывая в коридор.

Вошли летчики, молодые, гибкие, с крылышками на фуражках и на петлицах.

— Здравствуйте, орлы! Я пригласил вас вот зачем. Если найдете эту чертову танковую дивизию, то надо

будет делать перегруппировку, менять план операции, на это уйдет много времени. А если не найдете, но она окажется в нашей полосе, то таких дров нам наломает, что даже вам в небе жарко будет. Докладывайте только то, что вы видели.

— Вот Ирканов нашел танки,— подсказал командир эскадрильи.

Полковник подошел к карте:

— Показывайте где?

Летчик, старший лейтенант, показал пальцем:

— Вот здесь и здесь.

— Да это не дивизия, обычные тапки усиления пехоты,— возразил молоденький лейтенант.

— Ты, Левушкин, молчи, не нашел танки — и помалкивай,— придержал его комэск.

— Нет, братцы летчики, так не пойдет,— остановил их полковник,— вы мне натяжек не делайте: надо дивизию — пожалуйста, не надо — нет ее! Вы мне скажите правду и только правду. Что вы видели? А выводы я сам буду делать.

Летчики колебались.

— Танки мы видели, но кто их знает, те это, которые вам нужны, или другие?

— Вы же не новички, дивизию-то, наверное, разглядите?

— Может быть, она рассредоточена?

— Все может быть. Для того чтобы проверить, у кого из вас какой глаз, чьи данные более точны, поступим так. Задание вам теперь будет каждому свое, и приказываю, в интересах дела, до выполнения друг другу ничего не говорить. Вы двое, пожалуйста, выйдите.— Когда пилоты вышли, Полосин сказал оставшемуся: — Вы будете вести разведку вот в этой полосе, попутно, до подхода к линии фронта посчитайте наши танки вдоль дороги — докладывайте по радио прямо с борта, сколько увидите танков справа и слева от шоссе. Отправляйтесь немедленно.

Двух других летчиков Полосин послал на то же направление, но каждому сказал:

— А вы полетите вот сюда.— И тоже велел считать свои танки до пересечения переднего края.

Ромашкин не совсем понимал, зачем это нужно. Когда авиаторы ушли, спросил:

— А почему аэрофотоснимки не сделать — будет объективно и точно.

— Мы, конечно, их сделаем, но на это нужно время, а меня за горло берут сейчас — сведения выложи немедленно. Летчики быстрее посмотрят, а потом их данные со снимками сопоставим.

Полосин позвонил начальнику бронетанковых войск армии:

— Павел Иванович, сколько у тебя танков вдоль шоссеной дороги в полосе шириной в двадцать километров? Подсчитай и позвони, пожалуйста. — И тут же опять без перехода и паузы: — Послали мы, Ромашкин, группу в тыл в этот район, но она не выходит на связь. То ли провал, то ли рация отказала.

Ромашкин понял это по-своему:

— Может быть, я, — он встал.

— Нет, брат, не успеешь, мне эти сведения сегодня до конца дня нужны. Сейчас бои стали очень подвижные, скоротечные.

Полковник звонил в соседние армии, в штаб фронта, на передовую в дивизии, гонял радистов-перехватчиков, направленных из своего отдела, а когда ему звонил нетерпеливый начальник штаба, спокойно докладывал:

— Ищем, товарищ генерал. Нет, пока нет. — Вдруг, как и раньше, без перехода, позвал: — Идем обедать, я тебя поэтому и не отпускал, хотел накормить на дорогу.

Но Ромашкину показалось, что держал его около себя начальник разведки еще и для того, чтобы Василий не считал их штабную жизнь очень уж спокойной: вот посмотри — за «языками» мы не ходим, но тоже в постоянном нервном напряжении.

В небольшой комнатке, здесь же в отделе, на столе, накрытом клеенкой, стояли алюминиевые миски, лежал хлеб, головки лука, несколько огурцов. Когда подошел Полосин, офицеры встали. Он кивнул, сел на свое место во главе стола и тут же взялся за телефон, который, зная нрав и особенности работы начальника, подвели и в столовую.

— Если меня будут спрашивать, я здесь, — сказал Полосин телефонисту.

Пока обедали, ему несколько раз звонили.

Офицеры держали себя за столом свободно, о работе не говорили, много шутили, Полосин позволял подтрунивать над собой и не оставался в долгу. Кирко с серьезным видом сообщил:

— Слыхали новость? В Германии теперь по-другому будут приветствовать друг друга.

— Как же?

— Раньше поднимали одну руку вверх, теперь будут поднимать обе.

— Старо. Информаторы, как всегда, опаздывают со сведениями,— сказал Полосин.— Это приветствие они хорошо усвоили еще после Сталинграда. А вот слышали вы, какую телеграмму Гитлер богу послал?

Полосин не успел рассказать — запищал сигнал в аппарате, полковник долго слушал и задумчиво ответил:

— Да, это неприятно. Приходи, может, что-нибудь вместе придумаем...— Закончив разговор, сообщил своим работникам: — Начальник особого отдела Модестов фашистского лазутчика с радиостанцией в районе штаба поймал. У него задача — найти наш штаб и навести на него бомбардировщики. Ух, сейчас взвоется начальник штаба! Мы танковую дивизию выявить не можем, а тут еще место дислокации штаба придется срочно менять!

Позвонили из разведскадрильи, сообщили: пилоты насчитали в расположении своих войск количество танков с очень небольшим расхождением — сто пятьдесят, сто сорок и сто тридцать пять. Начальник бронетанковых войск подтвердил — цифры почти точные.

— Значит, и в полосе противника не ошибаются,— резюмировал Полосин,— видимо, нет здесь танковой дивизии! Однако проверим еще раз по другим каналам! — Он взглянул на майора, который сидел напротив, а тот молча кивнул и вышел.

Пришел начальник особого отдела — красивый, рослый полковник, в хорошо сшитой гимнастерке, сел к обеденному столу, устало пригладил волнистые волосы, попросил:

— Налейте чего-нибудь похлебать, с утра не ел.— Черпая суп ложкой, он стал рассказывать:— Поймать-то мы его поймали, но он успел уже координаты наши передать.

— Как он вел переговоры? Открытым текстом или кодом? — спросил Полосин.

— Кодом, по телеграфу.

— А что, если мы дадим еще одну шифровку от его имени, будто штаб снялся и уходит на новое место?

— Пройдет ли? Могут разгадать дезинформацию по почерку. Ты знаешь, у каждого телеграфиста свой почерк.

— А ты его заставь передать.

— Легко сказать... Телеграмму он отстучает, но поверят ли там?

В разведотдел пришел начальник штаба, пожилой, стройный генерал. Глаза его умные, немного припухшие от бессонницы, шутливо сверкнули:

— Вот они оба! Надавали мне ребусов и сидят пируют!

Присутствующие встали.

— Сидите ешьте. Приятного аппетита. Может, и мне стакан чаю нальете?

— Супу, товарищ генерал,— предложил Кирко.

— Благодарю вас. Аппетит ваш начальник испортил. Правда, дайте хорошего чаю.

— Скоро могут прилететь,— сказал Модестов, поглядев на часы.

— Вы мне дивизию танковую подайте, бомбежку мы как-нибудь перенесем.

Полосин тоже посмотрел на часы.

— С дивизией прояснится не раньше, чем через полчаса...

Ромашкин, видя, как офицеры отдела потихоньку выходят из комнаты, оставляя начальников одних, тоже шмыгнул в дверь. «Ну и жизнь, с ума сойдешь от такой заварухи, и так, наверно, каждый день. А если Полосин не найдет танковую дивизию к нужному сроку, ему ведь голову оторвут! Нет, не дай бог работать в большом штабе».

Ромашкин выяснил, где искать свой полк, попрощался с приветливыми разведотдельцами и пошел к дороге. В кустах за деревьями, недалеко от перекрестка, он увидел зенитчиков — они сидели в полной боевой готовности, поджидали гитлеровские самолеты. Высоко в небе прогудел одинокий самолет — может быть, это один из тех летчиков, которых послал на задание Полосин? Что он обнаружил? Дай-то бог, чтобы он привез нужные сведения. А может быть, это летят бомбить фашисты по радиограмме лазутчика... На войне все может быть.

* * *

...В полку, после возвращения из отпуска, Ромашкина ждала печальная весть: под Витебском погиб капитан Иван Петрович Казаков, первый учитель Василия. Трудно было представить Петровича мертвым. Золотые зубы под черными усиками так и блестели в задорной улыбке, всегда веселые глаза светились

лукавством. Ромашкин слышал голос Казакова: «Приезжаю я с войны домой. На груди ордена, в вещевом мешке подарки...» Для Ромашкина он навсегда остался таким — живым и веселым.

Во второй половине 1944 года советские войска изгоняли фашистов из Румынии, Польши, вступили на землю Югославии, Болгарии, Чехословакии, Венгрии.

Дивизия, в которой служил Ромашкин, вплотную приблизилась к границе Восточной Пруссии. Предстояли первые шаги по немецкой земле. Все с волнением ждали, когда это свершится.

— Мы уже по Германии бьем! — гордо и весело сказал артиллерист разведчикам.

— А мы там уже побывали, — солидно ответил Саша Пролеткин.

— Ну, как она?

— Работы артиллеристам много будет — вся замурована в бетон!

— Пробьем! Теперь не остановить!

К немецкой земле Ромашкин вышел со своими разведчиками одним из первых. Леса, луга, речки, деревья в Германии были такие же, как в Литве и в Белоруссии. Ранним золотом горели клены, и там и здесь одна и та же вода блестела в реке. Луг с ярко-зеленой сочной травой где-то разделялся невидимой линией. Пограничных столбов и знаков не было, их снесли немцы.

Установив по карте точные ориентиры, Ромашкин провел свою группу кустами к речушке, перешел ее вброд и, ощутив счастливое волнение, сказал:

— Ну вот, ребята, вы и в Германии!

Разведчики оглядывали кусты, деревья, траву — не верилось, что вот это простое, обыкновенное — уже немецкое. Шовкопляс взял горсть влажной земли, помял ее, потер, понюхал. Задумчиво молвил:

— Земля как земля.

— Да, земля везде одинаковая, — сказал Рогатин, — только растет на ней разное — пшеница и крапива, малина и волчья ягода, душистая роза и горькая полынь. — Для Ивана это была целая речь, он даже испуганно посмотрел на разведчиков, но никто не засмеялся, не пошутил, у всех было торжественно и радостно на душе.

В ту ночь притащили с немецкой земли первого «языка». Выволокли его из траншеи, которая окаймляла дот, замаскированный под сарай.

Гитлеровец долго отбивался, Пролеткину, совавшему кляп, покусал пальцы. Только Иван Рогатин его утихомирил, взял за загривок своей ручищей так, что шея хрустнула.

Пленный сфрейтор Вагнер и на допросе держался нагло:

— Дальше вы ни шагу не пройдете. Все ляжете здесь, на границе Великой Германии!

Ромашкин с любопытством разглядывал мордастого, с тупыми водянистыми глазами, немолодого уже немца. Давно не видел таких. Когда гнали их в хвост и в гриву по белорусской и литовской земле, попадались жалкие, испуганные, как пойманные воришки. А теперь вон как заговорили! Почувствовали новые силы на своей земле? Да, здесь они будут драться отчаянно. Их пугает расплата за совершенные преступления.

— Доннерветтер, проклятая каценгешихтен! — ругался Вагнер. — Мсня предупреждали об этом, а я думал — пугают!

— Что значит «каценгешихтен»? — не понял Ромашкин этого слова. — Кац — кошка, гешихтен — история, какое-то странное сочетание.

— Кошачья история, — пояснил пленный. — Это то, что произошло со мной. Вы схватили меня, как кошка мышку. Солдаты именно так и называют ваши ночные проделки.

Рассматривая документы и бумаги, отобранные у пленного, Ромашкин обратил внимание на фотографии, которые были сделаны во Франции: Вагнер с девицами, веселый и самодовольный, на фоне кафе с французской рекламой и надписями. «Когда это было? — подумал Ромашкин. — В дни завоевания Франции или недавно? Может, это свежая дивизия с запада? Похоже, ефрейтор потому такой нахальный, что не прочувствовал на себе силу наших наступательных ударов». Учитывая наглость Вагнера, Ромашкин не стал его спрашивать напрямую, а применил маленькую хитрость.

— Значит, вы всю войну просидели во Франции? Нехорошо, товарищи воевали, а вы с девицами легкого поведения развлекались.

— Я был на Востоке две зимы. — Вагнер показал ленточки на кителе: — Был ранен, только после госпиталя попал во Францию.

— Значит, Франция — санаторий, туда посылают подлечиться? Вы говорите неправду, Вагнер, там идет

война, в июне этого года в Нормандии высадились наши союзники.

Пленный криво усмехнулся:

— Ваши союзники! Если бы не вы, они бы не высадились...

Ромашкин полистал служебную книжку и письма, полученные Вагнером. Письма отправлены на полевую почту, которая могла быть во Франции, или здесь, или вообще где угодно. Когда же пришла сюда эта свежая дивизия?

— Последнее письмо во Францию вы получили из дома в конце июля,— сказал будничным голосом Ромашкин, усыпляя бдительность пленного,— а на новое место, сюда, разве письма не доставляют?

— Мы всего здесь...— начал было пленный и вдруг спохватился, настороженно поглядел на офицера, но Ромашкин делал вид, что ведет простой, ни к чему не обязывающий разговор, и Вагнер подумал: может, все так и пройдет и офицер не обратит внимания на то, что он сболтнул. Но офицер был хитрый — Вагнер это понял, услышав следующий вопрос:

— А по какому маршруту вас везли? — Ромашкин хотел этим окончательно установить срок прибытия дивизии.

Вагнер, краснея и бледнея, соображал, как быть дальше — говорить или не говорить? Пока все идет хорошо — его не бьют, не пытаются. То, о чем спрашивает офицер, разве тайна? Что, русские не знают такие города, как Франкфурт, Берлин, Кенигсберг? Вагнер со спокойной совестью назвал эти города.

— Значит, когда вы выехали и когда прибыли? — припер его окончательно Ромашкин.

Пленный закрутился, как жук, приколотый булавкой к картону, деваться было некуда, он с трудом выдал:

— Первого августа погрузились, неделю назад прибыли...

Советские войска, вышедшие на границу, с ходу ударили по ненавистной земле, откуда напали в июне сорок первого фашисты.

Началась артиллерийская подготовка, и на немецкой стороне ввысь полетели бревна, обломки бетона, деревья, вырванные с корнем, колеса от машин

и пушек. Солдаты с нетерпением высовывались из траншей и ждали сигнала «вперед».

— Ну, держись, фашистская Германия!

Огонь атакующих буквально смел с земли оборонительные сооружения. Однако гитлеровцы все же сдержали первый натиск Советской Армии, полки продвинулись всего километров на семь — десять. Были большие потери. Это заставило прекратить наступление и заняться серьезной подготовкой к штурму укрепленных полос. Было известно, что долговременные укрепрайоны Инстербургский, на реке Дейме и вокруг Кеннigsберга не уступают по своей мощности самым современным линиям — Мажино, Зигфрида и Маннергейма. Доты и форты многоэтажные, железобетонные стены толщиной в три метра, запас продуктов, боеприпасов, воды и прочего позволяют вести длительную оборону в полном окружении.

Советские дивизии, сменяя друг друга на передовой, в перерывах между боями занимались боевой подготовкой. Учились прорывать долговременные линии обороны, изучали форты и железобетонные доты, которые придется штурмовать. Командующий фронтом генерал армии Черняховский появлялся и на учебных полях.

— Сегодня здесь куется победа,— подбадривал он усталых, отвыкших от кропотливой учебы солдат и офицеров.— Больше пота — меньше крови, друзья.

Голощапов, как всегда, ворчал:

— Били, били фрицев — и, оказывается, не по науке!

— Заткнись, тебе же добра желают,— урезонивал Рогатин.— Живой останешься, если с умом на немецкой земле воевать будешь.

— А на своей земле я что же, дуром воевал?

— Во всем надо вперед смотреть, а на войне особенно, тут как недоглядел — так гляделки вместе с башкой оторвет.

* * *

Разведчики второй день сидели в полуоплывшей старой траншее и тайком наблюдали за немецким караулом, который охранял склад боеприпасов.

Траншея находилась в трехстах метрах от караула, на голой высотке, ее было хорошо видно отовсюду:

и от складов, и от дороги, которая к ним подходила, и от дома, где размещалась охрана, и от зенитной батареи, оберегавшей склады. Именно поэтому ее и выбрали разведчики: заброшенная траншея не вызывала у окружающих гитлеровцев никаких подозрений. Разведчики из нее хорошо просматривали и территорию склада, и даже двор караула, обнесенный стеной из красного кирпича.

Остались позади российские леса и деревни с доброжелательным населением. Здесь, в Восточной Пруссии, кто бы ни увидел разведчиков — каждый враг. Поэтому группа сидела в траншее безвылазно и только по ночам подбиралась к дому, где размещался караул, и к ограде из колючей проволоки, опоясывающей склады.

Задание, которое поручил группе разведотдел армии, было необычным, хотя и состояло всего из двух слов: уничтожить склады.

Раньше Ромашкин и его ребята занимались только разведкой — устраивали засады, проводили поиски, таскали «языков». В результате быстрого продвижения наших войск в непосредственной близости от линии фронта оказались склады противника с авиационными бомбами и артиллерийскими снарядами. Это не были хранилища государственного значения — обычные войсковые склады, но командование понимало: боеприпасы, которые в них находятся, надо уничтожить как можно скорее, пока их не развезли на огневые позиции. Бомбежки с самолетов результата не дали: бетонные хранилища находились под землей, да к тому же прикрывались огнем зениток. Партизан на немецкой земле, да еще в прифронтовой полосе, насыщенной войсками, конечно же, не было, поэтому пришлось поручить это дело войсковым разведчикам.

Поскольку задание было очень важное, подполковник Линтварев решил назначить в группе парторга. Выбор пал на Ивана Рогатина. Его хорошо знали в полку — смелый, не раз награжденный разведчик: два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды, две медали «За отвагу». Но была также известна молчаливость этого здоровяка.

Линтварев вызвал к себе Рогатина. И без того неречистый, здоровяк совсем онемел, когда слышал, кем его назначают.

Подполковник успел уже изложить задачи, которые надлежит выполнять парторгу, а Рогатин только

к этому времени собрался наконец с силами и вымолвил:

— Не сумею я...

— Я все вам рассказал. Вы старый, опытный разведчик — справитесь. Задание очень важное — партийное влияние обязательно нужно, — спокойно и убедительно наставлял Линтварев.

— Не смогу я... говорить не умею.

Замполит улыбнулся, он отлично понимал состояние простодушного сибиряка, но иного выхода не было.

— Ну, дорогой, вы неправильно понимаете политработу — разве она заключается только в том, чтобы говорить? Разве политработники не ходят в атаку? Не стреляют? Не бьют врагов в рукопашной? Они делают в бою то же, что и все, и плюс к этому поднимают, вдохновляют, зажигают других. Главное в нашем деле — добиться, чтобы приказ был выполнен. А как это сделать — подскажет обстановка: иногда пламенным словом, а чаще делом.

— Нет, не сумею, — твердил Иван, отводя глаза в сторону.

— В разведке и говорить-то нельзя, — продолжал убеждать подполковник. — Как там говорить? Кругом враги. Добейтесь, чтобы приказ был выполнен во что бы то ни стало, — вот и все.

— Ребята и без меня все сделают. Старший лейтенант Ромашкин разве допустит, чтобы приказ не выполнить?

— У командира других забот много, а вы людей поднимайте на выполнение его решений — это ваш участок работы.

Рогатин и до этого был в растерянности, а такие слова, как «решения», «поднимать людей», «участок работы», привели его в полное смятение.

— Нет, нет, не смогу я. — Он даже попытался встать и уйти.

Но Линтварев удержал его, положив руки на широкие круглые плечи.

— Вы коммунист?

— Коммунист.

— От выполнения этого задания зависит жизнь наших отцов, матерей, жен. У вас есть дети?

— Ну...

— Так вот, может быть, в том складе лежит бомба, которую сбросят на ваш или мой дом.

Разведчик задвигал плечищами, явно говоря этим: «Все, мол, я понимаю».

— А друг у вас есть?

— Есть.

— А может быть, жизнь его оборвет один из снарядов, который там, в хранилище.

— Да отпустите меня, товарищ замполит, я эти проклятые погреба сам взорву!

— Вот и отлично. Сам или кто другой, главное — уничтожить! В общем, я считаю, задачу вы поняли правильно.

Рогатин не успел придумать что-нибудь для вознаграждения, подполковник пожал ему руку и вышел вместе с ним из землянки.

Назначение состоялось.

И вот группа благополучно прошла в тыл, пронесла взрывчатку, отыскала объект, замаскировалась. И двое суток сидит в заброшенной траншее, на находя возможности подступиться к складам. Двое часовых ходят по ту сторону проволочного забора. Причем двигаются они по эллипсу — постоянно навстречу друг другу. Подкрасться сзади или сбоку ни к одному из них невозможно — увидит второй. Да и как подкрасться — проволока накручена шириной в метр.

Караульное помещение, в котором отдыхают свободные смены, находится в небольшом домике неподалеку от складов. Домик обнесен кирпичной стеной и оборудован по всем правилам караульной службы. Окна в нем с решетками, на ночь закрываются изнутри деревянными ставнями — не влезешь и даже гранату не забросишь. Около караульного помещения постоянно стоит часовой. Он же открывает ворота, если кто постучит снаружи. Ворота все время заперты на засов изнутри. Прежде чем открыть их, часовой смотрит в окошечко — кто пришел. В ограде, видимо, кладовочка для топлива. Двор гладкий, асфальтированный — нет ни куста, ни деревца, снег отброшен к ограде. Все постройки из жженого кирпича, чистенькие, с замысловатыми башенками на углах. В общем, сделано все с типичной немецкой аккуратностью и педантичностью.

Изучая жизнь караула в течение двух суток, разведчики установили его состав и порядок несения службы полностью. В восемнадцать часов приезжает на автомобиле новый караул. Он состоит из пачальника —

унтер-офицера, разводящего и шести караульных — всего восемь человек. Смену на пост, состоящую из двух солдат, водит разводящий через каждые два часа. Он подходит к проволочному ограждению складов, один из часовых, убедившись, что пришли свои, открывает ворота, сбитые из деревянных брусков и обтянутые проволокой. смена входит за ограду, где принимает пост.

Два дня Рогатин наблюдал и думал вместе с другими разведчиками, как подступиться к объекту, но в охране все было отлажено четко. За эти два дня он похудел, оброс жесткой черной щетиной, белки глаз от бессонницы подернулись тонкими кровяными жилками.

В траншее было холодно и сыро, ноги не просыхали, едкий туман обволакивал и днем и ночью, с неба часто лился то жидкий лед, то мокрый снег. Окоп заливало месивом — ни лечь, ни сесть.

Разведчиков знобило, зуб на зуб не попадал. «Ну если не побьют нас на этом задании, то от простуды околеем, — думал Василий. — Обидно: прошли всю войну, уже конец ее виден — и вдруг так бесславно, от какого-то воспаления легких подыхать».

Рогатин терзался больше всех. «Ну что я ему скажу? — думал тоскливо Иван. — Ваше поручение не выполнил! Так, что ли? А он ответит: «Клади на стол партбилет». Рогатин глядел на ведущих наблюдение товарищей и вспоминал инструктаж замполита Линтварева: «Ваше дело поднять людей...» А как их поднимать? Куда подымать? Я и сам вижу — тут не подступишься. «Огненным словом!» Что же, от моего слова порядок в карауле изменится? Вот свалилось на мою голову! «Делом добейтесь выполнения приказа...» Ну что я сделаю? Чего еще он говорил? Ах да: «Командир принимает решения, а вы обеспечивайте их выполнение». Чего же обеспечивать? Старший лейтенант, да и любой другой на его месте, ничего тут не придумает».

Рогатин пододвинулся к Ромашкину. Молча сел рядом с ним на ступенечки, уперся спиной в стенку окопа — сверху потекла мокрая земля. Иван подождал, пока струйки ее истощились, и зло плюнул себе в ноги.

Ромашкин посмотрел на Ивана, про себя отметил: «Нервничает». Простое скуластое лицо Рогатина было хмуро, от густой щетины оно выглядело еще мрачней. Рогатин избегал глядеть командиру в глаза. Недовольно сопел и тяжело думал.

Ромашкин приподнялся над краем траншеи и снова стал смотреть усталыми глазами на домик охраны. Несбыточные мысли сменяли одна другую. «Подойти к воротам строем под видом нового караула? Но караул приезжает на грузовике ровно в восемнадцать. Если прийти раньше на десять — пятнадцать минут, будет подозрительно. Не успеешь разделаться со старым караулом, подкатит новый. Да и одежды немецкой нет... Пойти ночью к часовым под видом смены? Они окликнут, находясь по ту сторону проволочной ограды. Снять их беспушно невозможно, выстрелишь — услышат в караульном помещении. Захватить зенитное орудие, раздолбать из него караул и в суматохе уничтожить склады? Это уже совсем из области майнридовских приключений — одну зенитку захватишь, а другие, что же, спать будут?»

Разведчики почти не разговаривали между собой, настроение у всех было мрачное. Они изредка разминались движением рук и покачиванием плеч из стороны в сторону. Сильные, занемевшие от холода и сырости тела хрустели. Ели, пили экономно, продуктов прихватили на двое суток, а теперь дело затягивалось на неопределенный срок. Каждый понимал: сидеть так бесполезно. Сиди хоть неделю — в охране ничего не изменится. Однако никто не осмеливался высказать это вслух, все ждали, чтобы первым сказал командир.

Трудно было Ромашкину решиться на возвращение, но и торчать здесь до бесконечности тоже нельзя. Предпринять какой-нибудь опрометчивый шаг, чтобы доказать командованию свое стремление выполнить приказ, Василий не хотел. Это было не в его характере. Храбрый и честный, он не был способен на авантюризм и показуху. Он готов нести ответственность за невыполнение задания, но не станет рисковать жизнью разведчиков без пользы, без уверенности, что задание будет выполнено.

На третий день к вечеру, когда кончились продукты, старший лейтенант спросил Рогатина:

— Ну что, парторг, будем двигать назад? Не подыхать же здесь с голоду.

Рогатин ждал этих слов, не раз уже видел этот вопрос в глазах командира, и все же от них будто слабый ток пробежал по телу. Разведчик очень уважал старшего лейтенанта, он был для него непререкаемым авторитетом, много раз они рисковали жизнью вместе, много раз оставались живыми благодаря находчивости и отваге Ромашкина. Иван любил этого человека

преданной любовью, готов был заслонить его от пули и снаряда, но ответить сразу же согласием на такое предложение командира он сейчас не мог. Он был парторг. Он понимал своим неторопливым, но ясным рассудком: вопрос стоит не о его жизни или смерти и не о том, отберут или оставят у него партийный билет. Все личное, свое уходило куда-то в сторону — он был представителем партии. Он не мог допустить, чтобы в его присутствии остался невыполненным приказ. Рогатин знал — Ромашкин комсомолец, он всей душой хочет выполнить задание, но видит — невозможно.

Иван и сам убежден, что это действительно так. Не будь он парторгом, согласился бы с ним и пошел бы назад. В том то и дело — он парторг. И послали его сюда парторгом, может быть, именно для такого случая, чтобы даже в невозможных условиях найти выход.

Рогатин ничего не ответил на вопрос командира, только посмотрел на него пристально и виновато. Ромашкин отвел глаза в сторону. Он понимал состояние сибиряка, сочувствовал ему.

— Понаблюдаем еще день,— коротко сказал командир и поставил свой автомат к стенке.

У Рогатина мысли в голове ворочались тяжело и беспокойно: «По-моему сделал. Уважил парторга. Ну, а что будем делать?..»

Разведчики, подготовившиеся было к отходу, клали на прежние места вещевые мешки с взрывчаткой и оружие, молча рассаживались в опротивевшей всем сырой траншее; было видно по их вялым движениям, что они недовольны. Иван, чтобы не видеть это и не встретиться с осуждающими взорами товарищей, усталился на караул ненавидящим взглядом. Он смотрел на темные фигурки немцев, прохаживающихся за провололочной оградой, и готов был разорвать их сейчас. «Все из-за вас, гады»,— думал он.

Рогатин украдкой оглянулся на товарищей: кто сидел, прислонясь спиной к стене, кто полулежал, опираясь на локоть. «Был бы на моем месте настоящий парторг, может, и зажег бы их огненной речью, а я разве наражаю столько слов, чтобы ребят распалить?»

Иван мучительно боролся со своей робостью, заставлял себя говорить и все никак не мог решиться на это. Наконец он вымолвил:

— Разве мы их к себе звали? Работали бы каждый на своем месте... Я бы сейчас технику ремонтировал,

к посевной готовился, другие там... где всегда работали... А в деревнях они что делали? Палили все, народ уничтожали...

Рогатин замолчал, подыскивая, о чем говорить дальше. А разведчики искоса поглядывали на него, и каждый понимал: говорит все это сибиряк потому, что его назначили парторгом. Жалко было смотреть на этого беспомощного здоровяка. Стыдно было сознавать, что это они виноваты в его терзаниях. Ивану произносить речь труднее, чем десять раз на задание сходить. Выполнили бы приказ, не было бы этой угнетающей тяжести. Но как, как его выполнить?

Рогатин так и не закончил свою агитацию, он неуклюже повернулся и, высунувшись из траншеи, стал наблюдать. Василий примостился рядом с Рогатиным и тоже стал смотреть в сторону караула. А там жизнь шла своим, строго установленным порядком: прохаживался у двери часовой, ворота были заперты, свободные смены находились в доме. Ромашкин хорошо представлял даже то, что происходило внутри помещения: начальник караула, наверное, сидит в своей комнате и читает или играет с разводящим в шахматы; двое караульных спят, как им положено перед заступлением на пост; один караульный стоит у входа в помещение, другой топит печь или письмо пишет в общей комнате; двое на посту у склада. Вот все восемь.

Размышляя, Ромашкин увидел, как из караульного помещения вышел солдат в наброшенной шинели и направился к домику в дальнем углу двора. Через некоторое время он прошел назад, поправляя на ходу ремень на брюках; часовой, который охранял караульное помещение, даже не взглянул в его сторону.

Василий и Рогатин посмотрели друг другу в глаза одновременно. Они подумали об одном и том же. Есть зацепка! Они поняли это сразу. Опустившись в траншею, старший лейтенант стал излагать разведчикам свой план — это была единственная возможность выполнить задание, которая выявилась только сейчас.

Вариант был очень рискованным, успех его зависел от одного человека, которому предстояло осуществить самую опасную часть замысла.

— Пойду я, — твердо сказал Рогатин в то мгновение, когда и сам Ромашкин и все разведчики с опаской соображали, кому же придется это выполнять.

С наступлением темноты группа выбралась из траншеи и подкралась к забору в том углу, где находилась уборная караульного помещения. Рогатин и Пролеткин с помощью товарищей бесшумно перелезли через ограду и затаились в туалете. Была сырая темная ночь, у немцев вблизи складов и в самом карауле отличная светомаскировка, ничего не видно, только резкий, как команда, говор, долетавший из темноты, постоянно напоминал, что здесь тыл врага.

Ждать пришлось долго. Но вот послышались шаги. Гитлеровец шел к туалету. Разведчики приготовили оружие и гранаты. Если немец закричит — придется вести бой со всем караулом. Темная фигура вошла в дверь, Ромашкин услышал короткую возню, тяжелое шарканье подошв по дощатому полу. И тут же все стихло. Через минуту показался темный силуэт человека. По широким плечам и раскачивающейся походке Ромашкин, смотревший через забор, понял — это идет Рогатин. Иван прошел мимо часового, который топтался, грея ноги, в стороне от двери. В свете, на миг упавшем из открывшейся двери, Ромашкин увидел на Иване немецкую шинель. Это была шинель того, кто остался лежать в туалете.

Василий смотрел на секундную стрелку часов и представлял, что сейчас происходит в караульном помещении. Рогатин должен быстро определить, где комната для отдыха, и пройти туда. А что, если он столкнется с разводящим или начальником караула и они, взглянув ему в лицо, обнаружат чужого? Он успеет выстрелить, в кармане у него пистолет, который отдал ему Ромашкин. Стрелочка на часах пробежала десять делений. Выстрела не было. Значит, Рогатин вошел в спальное помещение. Сейчас он ищет ошупью в темноте, где лежат отдыхающие гитлеровцы. Их должно быть не больше двух, снать полагается только одной трети караула — педантичные немцы, конечно, не нарушают это правило.

Стрелка отсчитала еще пятнадцать делений. Сколько нужно секунд для двух взмахов ножа? Все тихо. Значит, ни один из спящих не вскрикнул.

Сейчас Рогатин, наверное, смотрит через щель приоткрытой двери в общую комнату. Кто там может быть? Разводящий и караульный?.. Нет, только разводящий. Один караульный на посту у входа в помещение, второй лежит здесь, в туалете. А если в общую

комнату зашел начальник караула? Тогда двое против одного Рогатина. Нужно быть наготове. Ромашкин взмахнул рукой и первым спустился с ограды к стене уборной. Саша Пролеткин помог ему опуститься бесшумно. Через открытую дверь Василий увидел неподвижное темное тело гитлеровца. Разведчики как тени один за другим соскользнули с ограды вниз. Ромашкин окинул двор быстрым взглядом: «Хорошо, что караульное помещение обнесено кирпичным забором, если случится у нас заваруха, никто со стороны не заметит, и отбиваться в случае чего будет удобнее».

Василий ощущал, как дрожит стоящий рядом с ним Жук. Это у него не от страха — от волнения. Ромашкин чувствовал, что и сам дрожит. Он посмотрел на часы. Вдруг в караульном помещении сухо треснул выстрел. Часовой кинулся к двери. Василий тут же устремился к караульному помещению. Уже на бегу услышал еще один хлесткий выстрел. Когда вбежал в дверь, сразу же споткнулся о тело часового. Рогатин стоял посередине комнаты, а перед ним, высоко задрав прямые, как палки, руки, тянулся унтер. Через дверь в общую комнату был виден еще один распростертый на полу гитлеровец.

— Те двое тоже в порядке,— сдавленным голосом сказал Рогатин, кивнув на дверь спального помещения.

— Здорово сработал, молодец! — прошептал Ромашкин и, поняв, что теперь таиться, собственно, не от кого, караул уничтожен, внятно сказал: — Жук, проверь-ка — никто не бежит на выстрелы?

Жук поспешил к воротам.

— Не должно бы, в помещении стрелял,— сказал Пролеткин и, кивнув на унтер-офицера, спросил: — Куда этого, товарищ старший лейтенант? Может, и его кокну потихонечку?

— Прихватим с собой как вещественное доказательство,— сказал Ромашкин, подумав, что пока сделана лишь половина дела.— Ну-ка, хлопцы, Хамидуллин и ты, Вовка, переодевайтесь, я пойду за разводящего. Нужно посты снимать, время не ждет.

— Может, этого впереди пустим? Он пароль и отзыв знает,— предложил Пролеткин, показывая на гитлеровца, который все еще тянул руки к потолку. Немец был бледен, у него дрожали щеки и обалдело бегали глаза, из-под фуражки по щекам струился пот.

— А если вместо пропуска он крикнет предупреждение часовым? — возразил Ромашкин.

— А во! — сказал грозно Рогатин и ткнул пистолетом в живот начальника караула. Тот не понимал, о чем идет речь, и еще больше вытянулся.— Он, видать, не из храбрых. Я когда вон того трахнул, этот выбежал из своей комнаты и сразу руки в гору задрал.

— Опасно с ним связываться. В него стрельнешь, часовые или зенитчики могут услышать,— не соглашался Ромашкин.— Будем действовать, как раньше наметили.

Двое разведчиков и Ромашкин взяли немецкие автоматы, проверили их, зарядили и, построившись в затылок, зашагали к воротам.

Хотя опасность еще не миновала и было неизвестно, чем все это кончится, разведчики, глядя на марширующих товарищей, невольно заулыбались. У ворот Ромашкин остановил группу. Он выждал время, когда должна выходить смена, и вывел ребят точно по установленному в карауле режиму.

Смена зашагала к складу. Со стороны огневых позиций зенитчиков доносился громкий говор. Зенитчики даже не подозревали, что творится во мраке ночи рядом с ними.

Разведчики шли ровным шагом, не рубили строевым, но и не волочили ноги, шли спокойно, как это делали смены, которые они видели за эти дни.

«Трое на двоих, справимся ли без шума? — думал Василий.— Если бы не отделяло проволочное ограждение, Хамидуллин один переломал бы им хребты. Главное, чтоб пропустили за проволоку».

Ромашкину было видно, как темные фигуры часовых, увидев смену, не торопясь побрели к воротам. Уже звеня запором, один из солдат, как и полагалось в подобном случае, крикнул: «Кто идет? Пароль!» Василий, шедший первым, невнятно пробормотал в ответ и ускорил шаг. «Надо поскорее сблизиться». Часовые не поняли, что сказал Ромашкин, приняли его за разводящего, впустили смену и в следующий миг оба свалились, оглушенные ударами автоматов по голове.

Разведчики, те, кто наблюдал за сменой из-за ворот, побежали к складу с вещевыми мешками, в которых была взрывчатка и бикфордов шнур. Ромашкин подскочил к двери крайнего хранилища и остановился. Перед ним тускло мерцала не дверь, а целые металлические ворота. Они были заперты. Как же их от-

крыть? У разведчиков не было для этого никаких приспособлений. Замки оказались внутренними, в плотном теле двери чернели лишь замочные скважины. Разведчики, обескураженные, топтались на месте. Вот так штука! Караул снят, часовые сняты, а в хранилище не проникнешь. Пролеткин схватил лом со щита с противопожарным инструментом. Но Ромашкин остановил его после первого же удара. Двери страшно загудели, разведчикам показалось, что этот гул слышали не только зенитчики, но даже ближние гарнизоны.

Вдруг Ромашкин вспомнил: «У нас в училище после закрытия складов ключи сдаются опечатанными в караульное помещение. Может, и у немцев так же?»

Василий велел подождать его, а сам побежал в дом, где осталась перебитая охрана. Он торопливо перерыл все ящики в столе начальника караула, а потом увидел на стене в застекленной витрине одинаковые кожаные мешочки с печатями из мастики. Схватив их, Ромашкин поспешил назад. Он бежал, стараясь ступать как можно мягче, опасаясь, что зенитчики услышат его топот. Здесь никто раньше не бегал, жизнь на складе шла спокойно, бегущий человек мог сразу насторожить. Василий перешел на мягкий, торопливый шаг и, тяжело дыша от возбуждения, наконец подошел к ожидающим его разведчикам.

...Когда раздался первый взрыв, все вокруг озарилось ярко-красным огнем. Пламя первого взрыва еще не погасло в черном небе, а в него уже устремились снизу два новых огненных шара. У пленного начальника караула от ужаса глаза едва не выскочили из орбит — для него эти взрывы означали неминуемый расстрел, если попадет в руки своих начальников. Понимая это, унтер-офицер бежал вместе с разведчиками к линии фронта, даже не помышляя о том, чтобы удрать. Ромашкин спешил; пока позволяло время, нужно было уйти из этого района подальше, скоро начнется облава. У всех было тревожно и радостно на душе.

В эту же ночь группа благополучно перешла линию фронта. Утром разведчики были уже в штабе полка. Ромашкин искренне удивился, когда полковник Караваев спросил его:

— Ну, как дела? Что будем докладывать командованию?

Разведчикам казалось — склады рванули и брызнули огнем в небеса так, что было слышно и видно и в Москве и в Берлине, а оказывается, ничего еще неизвестно даже здесь, в полку.

Ромашкин доложил о выполнении задачи и, кивнув в сторону «языка», добавил:

— Он все видел и может подтвердить. Это начальник караула.

Командир поздравил разведчиков с успехом, каждому пожал руку и пообещал:

— Всех вас, товарищи, сегодня же представим к награде.

Ромашкин смущенно покашлял, а потом, решительно вскинув голову, сказал Караваеву:

— Уж если зашел разговор о наградах, прошу вас, товарищ полковник, представить к награде парторга группы — рядового Рогатина. Если бы не он, мы не справились бы с задачей.

Линтварев так и всплеснул руками от неожиданности и весело сказал, обращаясь к Рогатину:

— Ну вот, а ты отказывался: «Говорить не умею!»

— Все он умеет, товарищ подполковник, и говорит лучше нас всех — только на особом языке, на языке разведчиков,— в тон замполиту шутливо сказал Ромашкин и серьезно добавил: — А насчет награды еще раз прошу представить рядового Ивана Рогатина к ордену именно как парторга.

И Василий подробно рассказал обо всем командованию.

* * *

Почти три месяца войска готовились к штурму Восточной Пруссии. Разведчики искали удобные подступы к обороне врага, уточняли расположение дотов, засекали огневые точки, выясняли, кто здесь обороняется, что замышляет. Тысячи глаз, приникнув к биноклям и стереотрубам, вглядывались во вражеские укрепления, изучали, оценивали, прикидывали, как их брать. Немецкие позиции фотографировали с самолетов, и, сравнивая снимки, в штабах следили за изменениями на фронте и в глубине обороны противника. В нашем тылу росли штабеля боеприпасов — снарядов, мин, гранат, патронов,— укрытые брезентом, замаскированные ветками. Ромашкин видел, как артил-

леристы спорили из-за места — негде было ставить орудия. В расположении полка Василий насчитал почти пятьсот гаубиц, пушек и минометов — около двухсот пятидесяти стволов на один километр фронта!

Все эти три месяца Ромашкин чувствовал, что во всех звеньях их фронтовой жизни будто натягивалась какая-то внутренняя пружина, виток за витком, словно по резьбе. Эта пружина сжималась все туже, делалась такой упругой и сильной, что уже не хватало сил ее сдерживать. Нужна была разрядка. Нужен был штурм.

И штурм этот грянул в новом, 1945 году.

Накануне полковник Караваев строго поглядел на Ромашкина и сказал:

— Как собьём фашистов с этого рубежа, ты рванешь к реке Инстер. Даю тебе роту танков и взвод автоматчиков. Посадишь всех своих людей на танки — и что есть духу вперед! Пойми: все решает быстрого. Обходи фольварки, высоты, рубежи, где встретишь сопротивление. Уничтожение противника — не ваша забота. Оставляйте его нам. К исходу дня мы должны прийти к Инстеру. Сил в полку останется мало, и мне потребуются самые точные сведения о противнике. Если соберете их, мы переправимся через реку и захватим плацдарм. Вот полоса для действий твоего отряда. — Полковник показал на карте границы, отмеченные красным карандашом. — Понял?

— Так точно! — ответил Ромашкин и улыбнулся, чтобы командир полка видел: он идет на это задание уверенно, и нет оснований с ним так строго разговаривать.

Но у полковника перед наступлением было много забот, и на улыбку Василия он не обратил внимания. Его сейчас угнетала и злила мысль о недостатке автомашин. Караваев не сомневался, что собьет немцев с рубежа на участке, указанном полку. А как их преследовать? Машин хватит всего на один батальон, который можно пустить по следу отряда Ромашкина. Но этот батальон может увязнуть в бою, и развить успех будет нечем. Караваев стоял над картой у стола и, нервно постукивая по ней карандашом, говорил:

— Начнется старая история: мы выбьем их с одного рубежа, они откатятся на другой. И опять дуевойой с теми же гитлеровцами. Хватит так воевать! Все, кто противостоит нам, должны здесь и остаться! А уцелевших мы должны обогнать и выйти на

следующий рубеж раньше их. Понятно? Есть у вас, господа фашисты, новые силы — давайте биться. Нету? Мы наступаем дальше. Понял?

— Понял, товарищ полковник,— ответил Ромашкин.

— А где и какие у них силы, будешь сообщать ты. Усвоил?

Ответить Ромашкин не успел: в комнату вошел Линтварев, за ним щупленький незнакомый капитан, на его гимнастерке — ордена Отечественной войны и Красной Звезды. Умные глаза капитана смотрели приветливо, близоруким прищуром.

— Вот, товарищ полковник, гость к нам.

Ромашкин едва сдержал улыбку — только гостей не хватало сейчас полковнику!

— Это военный корреспондент, капитан Птицын.

— Алексей Кондратьевич, не до этого мне,— перебил Караваев.

— Я все понимаю, товарищ полковник,— сказал Линтварев настойчиво и твердо.— Капитану приказано написать статью о Ромашкине, поэтому я привел его к вам.

— Сейчас Ромашкину некогда беседовать с корреспондентом,— отрезал Караваев.— Он должен подготовить разведотряд и немедленно выступить.

— Я не буду мешать старшему лейтенанту,— примирительно сказал Птицын.— Расспрашивать ни о чем не стану. Я просто отправлюсь с ним, посмотрю все сам и напишу...

Голубые глаза Караваева стали совсем холодными, он прервал капитана:

— Ромашкин уходит в тыл врага. Корреспонденту делать там нечего. Напишите о ком-нибудь другом. Подполковник Линтварев подберет вам кандидатуру. Идите, товарищ Ромашкин, о готовности доложите начальнику штаба.

Выходя, Василий слышал, как Птицын все так же мягко и вежливо говорил командиру:

— Бывал я и в тылу, и у партизан, и в рейдах с танкистами, с кавалерией...

Василий велел старшине Жмаченко готовить разведчиков, а сам отправился искать танковую роту и взвод автоматчиков, приданных ему. Он довольно быстро решил все дела с их командирами и вернулся к себе. Изучая маршрут движения и прикидывая, что

может встретиться на пути, совсем забыл о корреспонденте. Но когда пришел к Колокольцеву, увидел там знакомого капитана.

— Ну, вот и ваш будущий герой,— сказал Колокольцев при появлении Ромашкина. Капитан оживился, протянул руку Ромашкину, как старому знакомому.

«Настырный,— подумал Василий,— все же добился своего! Но не дай бог случится с ним что-нибудь, я буду виноват». У Ромашкина испортилось настроение, он вяло пожал руку Птицыну и, не обращая на него внимания, сказал Колокольцеву:

— Куда я дену его, товарищ подполковник? В тыл же идем.

Птицын на этот раз обиделся. Из вежливости он терпел такое отношение со стороны старших, но от Ромашкина, видно, обиды сносить не собирался.

— Девать меня никуда не нужно. Решайте свои вопросы — и пойдемте. Я сам знаю, куда мне деться.

Ромашкин вопросительно глядел на Колокольцева. Но тот пожал плечами:

— Ничего не могу изменить. Капитан получил разрешение от вышестоящих начальников.

Разведотряд сосредоточился в ложине. Танки, их оказалось в роте всего четыре, уткнулись носами в занесенные снегом кусты, экипажи не стали закапывать машины — скоро вперед. Разведчики и автоматчики грелись у костров, готовые по первой команде вспрыгнуть на броню.

Командир танковой роты старший лейтенант Угольков, в черном комбинезоне и расстегнутом шлеме, сдернув замасленную рукавицу, отдал честь капитану, прибывшему с Ромашкиным.

— Посадите журналиста в один из танков,— сказал Ромашкин. Он обиделся на то, что Птицын его обрезал, и за всю дорогу не сказал ни слова.

Поняв, что капитан никакой не начальник, Угольков заговорил обиженно, обращаясь только к Ромашкину:

— Куда я его посажу? Ну куда? Лучше десяток выстрелов еще загрузить. Ты в бою скажешь — огня давай, а я журналистом, что ли, стрелять буду?

Птицын рассмеялся:

— Не вздорьте, ребята! Я на броне вместе с автоматчиками.— И ушел к бойцам, не желая больше обременять командиров.

— На кой черт он тебе сдался? — спросил Угольников.

— Да приказали! — с досадой отмахнулся Ромашкин.

Артиллерийская подготовка началась не утром, как это чаще всего бывало раньше, а в полдень, в обеденное время, когда немцы, съев свой овощной протертый суп и сосиски с капустой, дремали, разомлев от горячей еды.

Батальоны прорвали первую линию обороны врага. Обгоняя пехоту, на участке соседней дивизии вперед понеслась лавина танков — не меньше дивизии.

Ромашкин тут же получил сигнал «Вперед!». Он вывел свой отряд по мокрой вязкой лощине, внезапным рывком из-за фланга второго батальона смял, разогнал огнем уцелевших здесь фашистов и понесся вперед, стараясь не отстать от гудящей справа танковой армады.

Корреспондент сидел за башней тридцатьчетверки рядом с Ромашкиным, крепко держась за скобу, и зорко поглядывал по сторонам. Василий тоже вцепился в металлический поручень, специально приваренный для десантников, и мысленно подгонял Уголькова: «Давай, давай!» Нет ничего более неприятного в бою, как сидеть десанником на танке. Ты открыт всем пулям и осколкам, все они летят прямо в тебя. Танк мотается вправо, влево, подскакивает вверх, проваливается вниз, в воронки. Он, как необъезженная лошадь, делает все, чтобы сбросить автоматчиков и разведчиков. Свалишься — смерть: танк умчится, а ты останешься один среди врагов, останавливать из-за тебя машину и превращать ее в неподвижную мишень никто не будет...

Танки неслись вперед, рыча и отбрасывая гусеницами ошметья мокрой земли. Десантники видели немцев, стреляющих в них, но даже не могли ответить огнем: надо держаться, иначе свалишься. Саша Пролеткин как-то ухитрился одной рукой достать гранату, вырвал зубами чеку и бросил лимонку в окоп, из которого высовывался фриц с пулеметом. Вовремя отреагировал Саша, фашист мог срззть многих. Капитан Птицын улыбнулся посиневшими губами, крикнул, стараясь перекрыть шум мотора:

— Молодец!

Переваливая через траншеи, как по волнам, танки углублялись в расположение противника. Из боевой

практики Ромашкин знал — вторая позиция немцев состоит из трех траншей, потом разрыв километра полтора-два — третья позиция, такая же, как вторая. Но на своей земле немцы нарыли что-то непонятное — двадцать две траншеи насчитал Василий, прежде чем танки вырвались из этой перекопанной зоны. И каждую из них придется брать с боем, возле каждой останутся наши убитые! Траншеи сейчас пусты, лишь в дотах были постоянные гарнизоны. Главные силы полевых войск остались позади, на переднем крае. Правильно сказал Караваев — надо, чтобы все гитлеровцы там и остались, не успели отойти.

Создав мощные оборонительные полосы, немцы не думали, что наши войска так быстро их взломают. Когда отряд Ромашкина проносился через фольварки и небольшие поселки, пожилые немцы, в шляпах с перышками, в кожаных на меху жилетах, растерянно смотрели на советские танки и не могли понять, откуда они взялись. Лишь через некоторое время, когда копоть, выброшенная моторами, оседала, эти гражданские немцы кидались упаковывать и прятать свои вещи. Нет, не думали они видеть русских на своей земле!

В поселке Хенсгишкен на площади, обставленной аккуратными домиками, крытыми красной черепицей, на шум танков из бара вышли приветствовать своих танкистов офицеры и унтера. Они поднимали кружки с белой пеной и что-то орали. Когда один из танков стал медленно наводить на них орудие, они побросали кружки и кинулись назад в пивную. Грохнул выстрел, и в том месте, где была витрина бара, вскинулся и закрутился клуб черного дыма.

— Это вам на закуску к пиву! — крикнул Угольков, высовываясь по грудь из люка. — Тебе, Ромашкин, Колокольцев передал: у них все идет нормально, задача остается прежней. Командир требует как можно быстрее вперед, на реку Инстер!

— Вот и жми! — весело ответил Ромашкин. — Как повезешь, так и воевать будем!

И опять гудели танки. Они мчались по проселочной дороге, обсаженной липами. Мокрый снег слетал с ветвей, но не попадал на разведчиков, танки успевали пронестись дальше.

Ромашкин был уверен, что немцы по телефону сообщат своим тылам об отряде, прорвавшемся на танках. Резать телефонные провода у разведчиков не

было времени. Танкисты просто ломали танками столбы, как спички, и мчались дальше. Конечно, немцы могли предупредить своих по радио. И где-то в глубине наверняка выставят на дороге заслон. Но Ромашкин понимал: заслон этот сильным быть не может, сейчас гитлеровцам не до его отряда, главная их забота — танковое соединение, которое наступало рядом, на участке соседа.

В шесть часов разведотряд вышел в назначенный ему район, но путь танкам к реке преградил густой лес. Валить толстые деревья танки не могли. До реки осталось не более километра — она была за этим лесом, но как подойти к берегу? В обход долго. К тому же вдоль реки проходил немецкий оборонительный рубеж.

— Ты оставайся здесь, — сказал Ромашкин Уголькову, — а я с ребятами пойду через лес, посмотрю, что там.

Автоматчики со своим командиром лейтенантом Щеголевым и разведчики двумя колоннами двинулись в лес. Капитан Птицын шел рядом с Ромашкиным. Он держался спокойно, прислушивался и приглядывался к своим спутникам.

Ромашкин, чтобы загладить свою грубость, несколько раз заговаривал с капитаном. Тот оказался не злопамятным, и еще на танке Василий понял — они поладят. Вот и сейчас, осторожно пробираясь лесом, Ромашкин начал разговор:

— Все у немцев не по-нашему, даже в лесу.

— Да, лес ухоженный, — согласился капитан, подумав, что лес понравился разведчику. Но Ромашкин имел в виду совсем другое:

— Это не лес, а парк культуры. Кусты и подлесок вырублены, ни завалов, ни пней, вдаль все просматривается. Стерильный лес, наверное, ни ягоды, ни грибы не растут.

Опушка не доходила до воды метров на триста, за рекой виднелась обычная для здешних мест обсаженная деревьями, покрытая асфальтом дорога. Где-то там, за серыми деревьями и кустами, затаилась сильно укрепленная Инстербургская линия обороны. По асфальту то и дело проносились машины. Справа дорога поворачивала к реке, по мосту перебегала на этот берег и скрывалась за лесом. Мост охранял часовой, неподалеку стоял кирпичный домик, там, наверное, отдыхали караульные.

— Если бы мост захватить,— сказал Саша Пролеткин.

Ромашкин разглядывал в бинокль подходы и думал об этом же.

— Хорошо бы,— согласился он.

— А что? — оживился Щеголев.— Людей хватит.

— Захватить-то хватит, а удержать? — спросил Ромашкин.

— Удержим. Танки пойдут, помогут.

— Долго не продержимся. Фашисты все сделают, чтобы нас выбить. Мы тут будем как кость в горле. Надо выскочить на мост перед самым приходом полка, чтобы наши успели,— наблюдая, говорил Ромашкин.— Да, этот мост для Караваева просто подарочек: не придется форсировать реку под огнем, проскочат по мосту с комфортом! Жук, запроси, где сейчас передовой батальон?

Из полка ответили: «Первый брат идет вслед за вами, скоро наступит вам на пятки».

«Это Караваев велел передать,— подумал Ромашкин.— Торопит. Ну что же, сейчас мы обрадуем вас, товарищ полковник».

— Если батальон на подходе, брать мост будем немедленно! Ты, Щеголев, со своими хлопцами перейдешь реку здесь. Лед, наверное, выдержит. Выходи на шоссе, прикройешь слева, чтобы нам не помешали разделаться с охраной. Я с разведчиками подойду лесом вплотную к мосту. Наблюдай за нами. Как мы начнем, ты сразу же перерезай шоссе. Севостьянов и Кожухарь, вернетесь назад — ведите танки в обход леса к мосту. Все. Пошли. Только тихо.

— Я с вами,— сказал Птицын.

— Может быть, отсюда посмотрите? Все видно будет. Дождетесь здесь танковую роту.

— Нет, я с вами.

— Ну хорошо. Двинули!

Скрываясь за деревьями, Ромашкин подобрался к мосту метров на сто и отчетливо увидел часового — толстого, неопрятного, пожилого. «Наверное, из тотальных»,— подумал Ромашкин. У домика на другом берегу никого не было, но из трубы шел дымок. «Греются у печки. Сейчас мы поддадим вам жару!»

— Шовкопляс, ты можешь снять этого одиночным выстрелом? — спросил Ромашкин.

— Та я его щелчком сыму, не то щоб пулей.

— Не подпустит. Шум поднимет.

Шовкопляс снял автомат с груди, глянул на командира:

— Прямо сейчас сымать?

— Погоди. Рогатин и все остальные, держите на мушке двери. Если услышат выстрел и выбегут, бейте в дверях. Пролеткин, наблюдай за шоссе вправо. Голубой — влево. Начнем, когда на подходе никого не будет. Всем приготовиться.

Ромашкин видел, как и корреспондент достал из кобуры свой пистолет.

— Как дорога? — спросил Ромашкин.

— У меня чисто, — сказал Саша.

— У меня идут две машины, — быстро ответил Голубой.

— Подождем, пропустим машины, — скомандовал Ромашкин.

Два грузовика с длинными, низко посаженными кузовами, дымя, протащились через мост. Часовой что-то крикнул шоферу. «Ну, все, фриц, это твои последние слова», — подумал Василий и, когда грузовики ушли не так далеко и могли шумом моторов заглушить одиночный выстрел, приказал:

— Шовкопляс, стреляй!

Разведчик поднял автомат, прислонился к дереву для упора, выстрел треснул, как сломанная сухая ветка, и часовой мягко свалился на бок.

— За мной! — Ромашкин устремился к мосту, наблюдая за домиком. Там, видно, ничего не слышали.

— Пролеткин, Голубой, ну-ка подбросьте им пару гранат, чтобы теплее стало! Всем остальным спрягаться под мост, часового убрать.

Вовка и Саша пошли к домику. Про себя Василий отметил: «Молодцы, идут к слепой стене, там нет окон». Но когда, приблизившись, они затоптались на месте, Ромашкин встревожился: эти сорванцы опять что-то придумали — Пролеткин почему-то полез на плечи Голубому, который стоял, упираясь в стену.

Саша взобрался на крышу и опустил в трубу две гранаты. Грохнул глухой взрыв, стекла вылетели, дверь распахнулась, но никто не выбегал, видно, дверь выбило взрывной волной. Слабый дымок тянулся через раму. Голубой с автоматом наготове вошел в дом. Вскоре он выбежал и крикнул:

— Порядок!

А с шоссе уже махал Щеголев. Он тоже вышел на дорогу, как было приказано.

— Как по потам, специально для вас сделано! — весело сказал Жук Птицыну.

— Да, высокий класс! — восхищенно оценил корреспондент. — Не зря о вашем взводе слава ходит. Хороший будет материал!

— Не кажи гоп, — предостерег Шовкопляс.

— Это цветочки, — согласился Ромашкин. — Ягодки... — Он не успел договорить — показались три грузовика с брезентовыми тентами. — Ягодки вот они, на подходе, — озабоченно закончил Ромашкин. — Всем сидеть тихо, может быть, проскочат. — И замахал рукой Вовке и Пролеткину: — Уйдите в дом!

Автомашины приближались медленно. «Хорошо, если везут груз, а если пехота?» — думал Василий, глядя снизу на мост, затянутый грязной паутиной.

Рыча моторами и обдав разведчиков вонью сгоревшей солярки, грузовики медленно проходили по мосту. Разведчики держали гранаты наготове. Машины покатали дальше. Ромашкин с тревогой смотрел им вслед. «Как поступит Щеголев? Не надо бы сейчас ввязываться в бой». Автоматчики, увидев, что Ромашкин пропустил машины, тоже не стали их обстреливать. «Молодец Щеголев, догадался!»

— Товарищ старший лейтенант, — позвал Пролеткин, — тут телефон звонит.

Ромашкин взглянул на столбы с проводами, приказал:

— Рогатин, ну-ка займись, обруби связь! — А Пролеткину ответил: — Сейчас перестанет звонить. Ну, показывайте, что вы нашли? Документы, трофеи?

— Ничего особенного: служебные книжки, кофе в термосе, хлеб черствый.

— Вот война пошла, — сказал Василий Птицыну. — Раньше разведчики жизни отдавали, чтобы достать эту проклятую солдатскую книжку. А теперь и смотреть там нечего. У них в тылу уже не только дивизии и полки, а появились какие-то сводные отряды, команды, всякие группочки. «Языки» из этих команд ни черта не знают. Неделю был в одной команде, сейчас в другой, кто командир, какая задача, что собираются делать — толком никто не представляет. Да, поломали мы немецкий порядок! Теперь у них только в приказах все по пунктам, по рубежам, по

времени расписано. А в поле мы по-своему все поворачиваем. Отвоевались фрицы!

— Не могу с вами согласиться,— возразил Птицын.— Мы лишь первые шаги делаем по их земле. У нас впереди вся Германия. Сопротивляться они будут отчаянно, укрепления сами видели какие настрйоли, а дальше еще и долговременные оборонительные полосы с бетонными сооружениями. Они рассчитывают, что мы сами откажемся от продвижения в глубь страны.

— Ну, это шиш,— сказал Иван Рогатин.— Уж раз начали, добьем непременно. Я через любой железобетон пройду, а в Берлине свои сто грамм выпью!

— Ладно, братцы, мост — дело попутное, надо вести разведку берега. Скоро полк подоспеет,— сказал Ромашкин.— Ты, Рогатин, с Пролеткиным и Голубым посмотрите, что делается от моста вправо. Шовкопляс пойдет со мной. Остальным остаться здесь. Жук, положи в полк, что готовенький мост ждет их здесь!

Василий пошел к взводу Щеголева, разглядывая в бинокль окружающие поля и фольварки. Траншей было много, все старые, припорошенные снегом — давно подготовлены. Солдат в траншеях не оказалось. Только у сараев, у стогов сена, в отдельных домиках мелькали зеленые фигурки. «В замаскированных дотах гарнизоны в полной готовности, полевых войск пока нет,— делал выводы Ромашкин и наносил все на карту.— Они нас, конечно, заметили. Понимают — мы разведка — и не стреляют, чтобы скрыть свои огневые точки. Но какие-то меры для нашего истребления они предпримут».

Василий не дошел до взвода автоматчиков — там началась перестрелка. По кювету Ромашкин побежал вперед. Лег за дерево рядом со Щеголевым и стал стрелять короткими очередями по реденькой цепи, которая то ложилась, то опасливо шла вдоль дороги. Вдали стояли два грузовика.

— Этих-то мы положим,— спокойно сказал Щеголев, тщательно прицеливаясь и стреляя по гитлеровцам.— А потом?..

— Скоро батальон подойдет,— успокоил Ромашкин.

Автоматчики стреляли метко, и половина зеленых фигурок вскоре уже не поднималась. Оставшиеся в живых отступили назад к грузовикам.

— Беречь патроны! — крикнул Щеголев автоматчикам и, достав кисет и кресало, стал закуривать.

Вдруг сзади у моста бухнули взрывы гранат и загрешили автоматы. Ромашкин вскинул бинокль. На мосту дымилась разбитая машина, от нее убегали к лесу уцелевшие фашисты. Неподдалеку остановилась колонна грузовиков, из кузовов выпрыгивали немцы. Их было не очень много, видимо, они охраняли груз.

— Ну, вот и там началось,— сказал Ромашкин и, прежде чем уйти, велел Щеголеву: — Держись здесь сколько сможешь. А если попытаются тебя отрезать, отходи к нам. Будем держать мост.

Ромашкин позвал Шовкопляса и побежал назад.

— Мы решили на всякий случай на мосту завал сделать,— доложил Рогатин.— К вам в спину-то пропускать нельзя было.

— Правильно сделал,— одобрил Ромашкин и приказал: — Ну, а теперь всем в немецкие окопы — и готовьтесь к тяжелой драке.

Василий спустился в траншею, вырытую немцами для обороны моста. Мокрая, жидкая земля на стенах липла к одежде, но дно оказалось твердым, предусмотрительные немцы сделали отводы для воды.

— Пролеткин, тащи из домика гранаты, патроны — все, что там есть, пригодится. Жук, где батальон?

— Сейчас запрошу.— Поговорив со штабом, он доложил: — Застрял батальон, товарищ старший лейтенант, около Хенсгишкена, заstopорился там, где наши танкисты в пивнуху снаряд засадили.

— Да-а? — тревожно протянул Ромашкин.

Положение разведотряда осложнялось. Если раньше, в движении, он мог уклоняться от боя и ускользать от врагов, то теперь его наверняка попытаются окружить и уничтожить. А уходить нельзя: мост надо удерживать, он очень пригодится полку.

Справа слышались взрывы — по автоматчикам уже били из минометов. «Понятно, минометы поставили на запасные позиции и теперь дадут нам прикурить», — отметил Ромашкин.

Подошел Голубой. Несмотря на огонь из автоматов, он все же успел порываться в машине, подорванной на мосту.

— Что там? — спросил Василий.

— Железяки,— разочарованно ответил Голубой.— И эти, как их, ну блины такие железные, мины против танков.

— Пригодятся! — обрадовался Ромашкин. — Голощапов и Хамидуллин, набросайте мины на той стороне перед мостом, могут и танки появиться. Да осторожно, берегом прикрывайтесь!

Голощапов, как всегда, недовольно заворчал себе под нос:

— Легко сказать — набросайте. Машина еще дымит. Подойдешь, а она рванет. Набросайте!..

— Это резиновые баллоны дымят, — сказал Голубой. — Разрешите мне, товарищ старший лейтенант? Я там все знаю.

— Давай дуй, раз ты такой приткий, — усмехнулся Голощапов, поглядывая на командира, что он скажет?

Ромашкин хорошо знал старого ворчуна. Потакать ему нельзя, а в разговор втянешься — тоже ничего хорошего не жди. Поэтому Василий молчал, разглядывая в бинокль опустевшие грузовики. Голощапов, ворча, поплелся за Хамидуллиным.

Через полчаса фашисты пошли в атаку. Сзади, из Инстербургского укрепленного района, ударили минометы и пушки. Несколько снарядов угодило в реку, вскинув фонтаны воды и обломков льда.

Разведчики выпустили вражеских солдат из леса, позволили им выйти на чистое поле. Немцы, подозревая, что их специально подпускают, шли медленно, с опаской, готовые залечь. Команды офицеров подгоняли солдат. Едва атакующие вышли на асфальт, как затрещали наши автоматы. Гитлеровцы все, кто уцелел, свалились в кювет, убитые остались на дороге.

— От так, принимайте прохладительную ванну, — сказал Шовкопляс, вспомнив, как сам бежал по кювету, заполненному жидким снегом и водой. — Куды? Купайся, фриц! Купайся! — приговаривал Шовкопляс, стреляя в тех, кто высовывался из кювета.

Через два часа разведчикам было уже не до шуток, их окружало до батальона пехоты. Правда, это был не линейный батальон, а фольксштурмовцы, группами прибывающие по шоссе на машинах. Но зато артиллеристы и минометчики из укрепрайона били точно. Подошли три танка и с того берега начали обстреливать окопы разведотряда. Один танк попытался перейти мост, подмял под себя разбитую машину, но угодил на мину — грохнул взрыв, и гусеница, звеня, сползла с катков. Танкисты начали бить частым огнем по разведчикам, наверное, решили расстрелять весь бое-

комплект, прежде чем уйти из подбитой машины. Танк стоял близко, взрывы и выстрелы сливались в такую частую пальбу, словно стреляли не из пушки, а из какого-то пулемета, в котором лента начинена снарядами. Большие всех досталось от этого разъяренного танка автоматчикам. В это время они отходили к мосту, и огонь застал их на открытом месте. Погиб лейтенант Щеголев и с ним почти полвзвода.

Два других танка подошли вплотную к берегу. Гитлеровцы знали, что у русских нет артиллерии, а гранаты через реку не добросишь. Огнем в упор танки принялись уничтожать разведчиков. Отпускали по снаряду на человека. Вскрикнул перед смертью Кожухарь. Вздрыбились и задымила земля там, где стоял, припав к автомату, Севостьянов.

«Ну все,— подумал Ромашкин, — ускользнуть взводу некуда — впереди Инстербургская линия, за мостом вражеские танки. Остаться в траншее — гибель, танковые пушки пробивают косогор насквозь». Василий взглянул на корреспондента. Тот спокойно писал, положив на колени планшетку. «Не понимает обстановки.— Ромашкин даже позавидовал ему.— Так легче умирать. И зачем мы взяли его? Жил бы хороший человек, работал в газете, не надо было ему связываться с разведчиками».

И все же Ромашкин не чувствовал предсмертного холода в груди. Верил: и на этот раз останется жив.

Он не ошибся. Выручил его танкист Угольков.

Четыре пушечных выстрела почти залпом грохнули с опушки леса, и оба немецких танка окутались дымом. Один сразу же запылал ярким огнем, другой испускал ядовито-желтый дым.

— Вовремя, братцы! — вздохнул с облегчением Ромашкин.

Но вскоре и оттуда, где прежде сидели автоматчики Щеголева, полезли немецкие танки. Одновременно группа фашистов перешла реку по льду, неожиданно выскочила из-за кустов и кинулась на разведчиков. Началась рукопашная.

Стреляя в упор по фашистам, Ромашкин не забывал и о корреспонденте, старался прикрыть его огнем. Но тот и сам не растерялся, смешно вытягивая руку, стрелял из пистолета, будто в тире, как его учили где-то в тылу. И попадал! Гитлеровцы падали перед ним, Ромашкин это видел.

Нападение отбили, но Василий понимал, что долго не продержаться. Зло крикнул на Жука:

— Ну, где же батальон в конце концов?

Радист виновато опустил глаза, стал вызывать:

— «Сердолик», «Сердолик», я — «Репа»...

Патроны были на исходе. Ромашкин приказал собрать автоматы и магазины перебитых на этом берегу гитлеровцев.

— Здорово мы их! — радостно сказал Птицын.

По его счастливым глазам Ромашкин понял: Птицын никогда еще не видел врагов в бою так близко. Пленных, конечно, встречал, разговаривал с ними, а вот так, лицом к лицу, в рукопашной, не приходилось.

Вдруг Птицын ойкнул, выронил пистолет и, согнувшись, упал на дно окопа. Ромашкин и Пролеткин бросились к нему. Подняли, помогли сесть.

— Ну, все. В живот. Это смертельно, — сказал сдавленно Птицын.

— погоди, разберемся, — пытался успокоить Ромашкин, разрезая ножом гимнастерку. Он убедился — действительно пуля вошла чуть выше пупка. «Да, не жилец, — горестно подумал Ромашкин. — В расположении своих войск хирурги еще могли бы спасти...»

Ромашкину было жаль капитана, который и смерть встречал спокойно, с достоинством. Настоящим парнем оказался в бою! Даже в рукопашной, где теряются опытные вояки, вел себя прекрасно. Как же ему помочь?

Птицын печально смотрел на Ромашкина снизу вверх и напоминал святого, какими рисуют их на иконах. Он ждал, как приговора, что скажет Ромашкин. И Василий все же нашел возможность его выручить даже в таком безвыходном положении.

Перевязав рану, он достал плащ-палатку, расстелил на дне траншеи, велел:

— Ложись.

Птицын, закусив губы, повалился на бок. Он лежал, скорчась, и тихо стонал.

— Бери, Иван, и ты, Шовкопляс, понесем к танкам. Остальные прикройте нас огнем! — приказал Ромашкин.

Прячась за сгоревшей на мосту машиной, а потом за подбитым танком, разведчики с раненым прошмыгнули к лесу, туда, откуда стреляли танки Уголькова.

Он весело встретил их, но, увидав окровавленного капитана, воскликнул:

— Эх ты! Надо же...

— Давай машину с лучшим механиком-водителем, посади туда капитана — и на предельной скорости назад, к своим. Капитан ждать не может. Понял?

— Сделаем, раз надо, — угрюмо сказал танкист

— Ну, будь здоров, капитан, поправляйся. Изъе... что так получилось.

— Разве вы виноваты, — тихо произнес Птицын.

— Лучше бы не ходил с нами. Ну ладно, крепись. А ты, Угольков, правильно понял обстановку. Спасибо тебе, выручил нас. Смотри только, чтобы тебя не обошли.

— Я круговую оборону организовал, — весело сказал Угольков.

— Давай-ка поддержи нас на обратном пути, — попросил Ромашкин.

— Есть поддержать, — отозвался ротный. — А ну, хлопцы, взять на прицел фрицев, чтобы ни одна падла не посмела в старшего стрелять!

Разведчики вернулись к мосту. Танк с закрытыми люками осторожно уходил вдоль опушки.

Настал вечер, серый, сырой, знобкий. Едкий туман, как дым, пощипывал глаза, мешал дышать. Разведчики в траншеях продрогли, шинели отяжелели от влаги, сапоги раскисли в жидком месиве.

— Ну и зима у них, — скрипел Голощапов, — язви их в душу! Наши морозы не нравились, а сами чего организовали? Это же не зима, чистое издевательство над военными людьми.

Ромашкин ощущал и озноб и какой-то внутренний жар. «Не заболеть бы. В мирное время в такой слякоти давно бы уж все простудились. К тому же без горячей еды, без отдыха вторые сутки. Если к ночи батальон не подоспеет, фрицы нас дожмут...»

В полку тоже понимали положение разведчиков. То Колокольцев, то Линтварев, то сам Караваев по радио подбадривали:

— Скоро придем! Держитесь!..

Справа, а потом и слева от разведчиков разгорался большой настоящий бой. Должно быть, там соседние дивизии вышли к реке. «Что-то наши сегодня оплошали, — думал Ромашкин, — отстают от других. Григория Куржакова и то нет. Уж не ранен ли? Да, ночью нас могут смять...»

Гитлеровцы действительно хотели уничтожить разведотряд с наступлением темноты, когда русские не смогут вести прицельный огонь. Но и Ромашкин, поняв их намерения, подготовил сюрприз. Он перевел танки Уголькова к себе через мост, и, едва фашисты полезли, танкисты встретили их огнем из пушек и пулеметов.

Поздно ночью избитый, истерзанный батальон подошел наконец к разведчикам.

— Где Куржаков? — спросил Ромашкин незнакомого младшего лейтенанта.

— Комбат ранен. Там такое было! — вяло махнул рукой младший лейтенант и побрел за своими солдатами, которые, пригибаясь, шли к дотам Инстербургского укрепрайона.

Увидев этого незнакомого офицера из своего полка, Василий почувствовал, что у него подгибаются ноги. Тело сделалось мягким и непослушным, будто кости стали резиновыми. Неодолимая, вязкая усталость, как пуховое одеяло, накрыла Ромашкина с головой. Он положил горячий лоб на сжатые руки, привалился к липкой стене окопа и стал падать куда-то еще ниже этой траншеи, в какую-то теплую черную яму.

Проспал он недолго. Его растолкал Жмаченко.

— Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Примите вот для бодрости. — Он протягивал флягу.

Ромашкин, плохо соображая, откуда здесь Жмаченко, взял флягу и начал пить, не понимая, что это — вода или водка? Сделав несколько глотков, он почувствовал, что задыхается, и совсем проснулся.

— Ты откуда здесь? — спросил старшину.

— А где же мне быть? Я с первыми солдатами шел. Разве же я вас кину? — любяще, по-бабьи ворковал Жмаченко. — Я поперед с вами не раз порывался уйти — не пускали! Ну, слава богу, вроде все обошлось, только двух наших убило да поранены трое. Автоматчики вон, почитай, все полегли.

— Корреспондента доставили?

— Того капитана? А что с ним? Раненый? Я не видел его.

Жмаченко, разговаривая, подкладывал куски вареного мяса, хлеб, картошку. Василий ел, не ощущая вкуса и даже не думая о том, что ест. Рядом стояли разведчики, они тоже молча жевали, прихлебывая из фляг.

— А чего мы в этой могиле торчим? Идемте в дом, — вдруг сказал Саша Пролеткин.

Все полезли наверх из скользкой мокрой ямы, еще недавно казавшейся такой спасительной и удобной.

— Вас в штаб кличут, товарищ старший лейтенант, — сказал Жмаченко, когда подошли к сторожке.

— Что же ты молчал?

— Так покормить надо было.

— Где штаб?

— А они вон там в лесу, за мостом.

На всякий случай Ромашкин взял с собой Сашу Пролеткина. Шагая по мокрому хлюпающему снегу, Василий чувствовал — шатается. «Неужели заболел?» — вяло соображал он. За спиной разгорался ночной бой, роты вгрызались в укрепленную полосу. «Все же задачу мы выполнили, оборону разведали и мостик подарили». Ромашкин приятно было предвкушать похвалу, он понимал, что заслужил ее.

Несмотря на полное изнеможение, в нем трепетала какая-то радостная жилка. Она единственная не устала, была, как поворожденная, чиста и весела, билась где-то в голове, а где — и м Василий не понимал. Это называется обычно полусознанием. Так вот там, в этом самом подсознании, скакала и плясала та жилка. «Жив. Уцелел и на этот раз. Мама, я так рад! Тебе пока не придется меня оплакивать».

Штаб остановился в небольшой ложине. Караваев, увидев Ромашкина, сразу позвал его к карте, развернутой на капоте «виллиса». Здесь же были Колокольцев и Линтварев — они стали посвечивать на карту трофейными фонариками.

— Немедленно берите этот отряд, — сказал Караваев. — Задача: вырваться ночью. Пред и вести разведку новой укрепленной полосы. Здесь, в сорока километрах от Кенигсберга, находится она линией Дейме. Начальник штаба, обеспечит справкой об этой линии. Полоса разведки... смотри, на свою карту, отмечай...

Василий обводил полукруглыми названия населенных пунктов и слушал командира рассеянно, будто в полусне, — надо было слушать, когда приказывает старший, вот он и слушал. А на первом плане была горькая обида: «Даже спасибо не сказал. Не поздоровался. Не спросил, есть ли кто в моем отряде, не всех ли побил».

Ромашкин глядел на черное лицо полковника, видимо, он в эти дни ни минуты не отдыхал. Кожа обтянула кости лица; глаза так глубоко ввалились, что

сейчас не понять, какого они цвета. Движения полковника были резкими, сильными. «Он держится на той пружине, которая и во мне сдала. Для него бой еще не кончился». И внезапно Ромашкин почувствовал, как в нем самом стала натягиваться, крепчать, обретать силу эта пружина. Новая задача будто придавала ему новые силы. И то, что Караваев не поздоровался и не поблагодарил, приобретало совсем другой смысл. Ромашкин ощутил — командиру дорога каждая минута. Бой продолжался. Чтобы идти вперед, полку нужны новые сведения о противнике. И добыть их может только он, Ромашкин. Сознание своей незаменимости и того, что лучше его никто не выполнит задачу, вытеснило обиду и словно разбудило Ромашкина. Он стал слушать командира полка внимательно, стараясь точно понять, что должен сделать, и уже сейчас прикидывал, как все это лучше и быстрее осуществить.

Когда Караваев поставил задачу и коротко бросил: «Иди!» — Ромашкин был уже внутренне собран и обрел силы, необходимые для предстоящего дела — разведки укрепленной полосы Дейме, которая была посильнее Инстербургской.

Линтварев подошел к нему и, пожимая руку, сказал:

— Спасибо вам и вашим разведчикам, товарищ Ромашкин, передайте им благодарность командования.

Эта похвала, недавно такая желанная, показалась теперь совсем никчемной. Надо было спешить. Действовать. Не до этих разговоров. Ромашкин взял у начальника штаба бумаги, досадуя, что некогда их читать. Колокольцев понял его, замахал обеими руками:

— Забирай, там прочтешь. Мы размножили. Ну, желаю удачи!..

В это время в ложину, скользя и падая на мокром косогоре, скатился Куржаков. Одна рука у него была подвешена на бинте, другой он крепко держал пожилого немецкого полковника. Тот пытался вырвать рукав шинели, но Куржаков держал крепко, шел быстро и волочил за собой едва успевающего пленного. Увидев Ромашкина, Григорий приветливо крикнул:

— О! И ты живой? Явился не запылится! Вот каких щук надо ловить, товарищ разведчик! — И, обращаясь к Караваеву: — Принимайте, товарищ полковник. Это командир 913-го полка, который стоял против нас.

— Вы почему не в санбате? Я же приказал вам передать батальон, — строго произнес Караваев. Но за

этой напускной строгостью чувствовалось восхищение лихим офицером.

— Так я и не командую, товарищ полковник, — весело блестя шальными глазами, ответил Куржаков. — Перевязали меня в санчасти, ну чего, думаю, тут сидеть? Могу же ходить? Могу. Вот и пошел к своим. И вовремя. Вот этого гуся поймал. И весь его полк мы с комбатом защучили. Я с танками в тыл зашел, а Спиридонов — в лоб. Они и лапы кверху! Эти в траншеях сидели, в полевой обороне. А те, которые в дотах, там еще сидят, огрызаются.

— Кто вы? — спросил Караваев пленного.

Майор Люленков встал между командиром и пленным, начал переводить.

— Полковник Клаус Гансен, командир 913-го полка, — с достоинством ответил пленный, высоко держа седую голову.

Караваев улыбнулся.

— Действительно цифра «тринадцать» для вас несчастливая. Вашу оборону мы прорвали тринадцатого января. Номер вашего полка оканчивается цифрой «тринадцать». И вот вы в плену.

— Это случайность. Я попал в плен абсолютно случайно. Ваши танки обошли укрепления и захватили меня на командном пункте. Мой полк обороняет порученные ему позиции, и вам не удастся их прорвать! — заносчиво ответил полковник.

Караваев с сомнением поглядел на Куржакова.

— Не в курсе дела он, — сказал Григорий. — Всех, даже артиллерию и минометы, захватили. Вон там в лесу, на дороге они стоят.

Караваев усмехнулся, но его почерневшее, пересохшее на ветру и морозе лицо не оживилось.

— Ну вот что, господин полковник, у меня нет времени с вами препираться. Свой полк поведете в плен сами. Он построен в полном составе. Вы понимаете: построены те, кто остался жив.

— Этого не может быть! — воскликнул полковник. В его тоне было больше удивления, чем заносчивости.

— Идите, вам покажут ваш полк. Будете старшим колонны пленных.

Полковник отшатнулся. Он минуту молчал, потом спик, обмяк и тихо попросил Караваева:

— Вы можете дать мне один патрон? Вы тоже офицер, командир полка, должны понять...

— Об этом надо было думать раньше, — сурово сказал Караваев и приказал: — Уведите!

Спрятав полученные бумаги, Ромашкин торопливо побежал по жидкому снегу. На ходу он прикидывал, как быстрее получить боеприпасы, заправить танки и где лучше проскочить в глубину расположения врага. Пролеткин еле поспевал за ним, забегая то справа, то слева, спрашивал:

— Новая задача?

— Новая.

— Куда мы теперь?

— На линию Дейме.

Ромашкин подумал, что надо знать хотя бы в общих чертах, что представляет собой эта линия, и решил пожертвовать несколькими минутами. Он остановился, из полевой сумки достал бумаги, взятые у Колокольцева. Посвечивая фонариком, стал читать вслух, чтоб слышал и Саша:

— «Линия Дейме проходит по западному берегу реки Дейме. Строилась сорок лет. Долговременные железобетонные сооружения вписаны в обрывистый берег реки. Доты многоэтажные, с боекомплектom, запасом воды и продовольствия, толщина стен достигает метра. Приспособлены для боя в полном окружении. Могут вызывать огонь артиллерии на себя. Глубина линии 10—15 километров. Между долговременными сооружениями оборудована полевая оборона...» Вот здесь, Пролеткин, мы и пойдем! Пусть фрицы сидят в своих дотах. В поле они нас теперь не удержат!

...Через три дня, когда взвод Ромашкина отдыхал в одном из бюргерских домов уже на линии Дейме, прискакал на мохноногом немецком битюге старшина Жмаченко. С трофейным конягой он порядком намутился.

— Не понимает наших команд, сатана! А ну, хальт, тебе говорят!

Жмаченко привез, как обычно, горячую пищу в термосах, а кроме того — удивительную новость.

— Глядите, братцы, в газете про вас напечатано! Тот самый капитан, который на задание с вами ходил.

— Живой, значит?! — обрадовался Ромашкин.

Жмаченко привез газету каждому, чтоб осталась на память. Тут уж ни почтальон, ни начальник связи полка, ведавший доставкой газет, ничего не могли поделать. Узнав, что напечатана статья о его хлопцах,

старшина вцепился в пачку свежих, еще пахучих газет и решительно заявил:

— Каждому разведчику давайте по листу! Буду стоять насмерть!

Ромашкин читал статью, в ней все было правдиво, но в то же время очень возвеличено. Птицын с таким уважением писал о разведчиках, что Василию от волнения и гордости даже горло перехватывало, не верилось: «Неужели это мы?»

— И когда капитан успел все записать, запомнить? — удивился Саша Пролеткин. — Ведь он вместе с нами отбивался.

— И как быстро написал! — поразился Голубой.

— Боялся, что помрет, — сурово сказал Иван Рогатин.

Все притихли, понимая — Иван прав. Ранение у корреспондента было тяжелым, и он, наверное, спешил написать, чтобы не унести в могилу славу любившихся ему разведчиков.

— Вот ведь какая штукавина получается, — сказал Саша. — Я раньше думал, корреспондент — это тыловая крыса, чаек попивает, статейки пописывает. А у них, оказывается, работенка не дай бог. Со всеми вместе воюй, примечать все успевай. Даже умереть не имеет права — сначала о людях расскажи, а уж потом про свою смерть думай.

— Нелегко ему писалось, — согласился Ромашкин. — Не раз, наверное, смерть прогонял, просил: погоди, дай написать о хороших людях! Только о себе ни слова не сказал. А ведь ему труднее всех пришлось. Читают люди, и никто не знает, что с пульей в животе он пишет!

— А може, не помрет той капитан? — спросил Шовкопляс. — Колы написав, значит, вже и операция пройшла, и пулю эту дурну вынули.

— Конечно, выживет!

— И к нам еще приедет! — перебивая друг друга, желая добра капитану, зашумели разведчики.

* * *

С 13 по 28 января 1945 года войска 3-го Белорусского фронта, в составе которого был полк Караванова, пробившись в глубь Восточной Пруссии на 120 километров и вышли к городу-крепости Кенигсберг.

2-й Белорусский фронт в эти же дни ударом с юго-востока протаранил фашистские войска до Балтийского моря и перерезал все дороги, соединявшие Пруссию с Центральной Германией.

В Кенигсберге остались окруженными 130 тысяч немецких солдат и офицеров.

В ходе наступления Ромашкин, как и все его однополчане, получил четыре благодарности от Верховного Главнокомандующего. Благодарности публиковались в газетах, и, кроме того, каждому выдавался напечатанный на твердой бумаге приказ, похожий на грамоту. В Москве один за другим гремели салюты.

— Во как нас чествуют! — гордо говорил, сияя глазами, Саша Пролеткин.

Почти ежедневно в газетах писали о новых победах, и тот же Саша, читая эти сообщения, комментировал:

— Раньше мы про других читали. А теперь пусть все знают, что мы тоже не в бирюльки играем! Слушайте, братцы!

«ПРИКАЗ

Верховного Главнокомандующего
Командующему войсками
3-го Белорусского фронта
генералу армии Черняховскому
начальнику штаба фронта
генерал-полковнику Покровскому

Войска 3-го Белорусского фронта, перейдя в наступление, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали долговременную, глубоко эшелонированную оборону немцев в Восточной Пруссии и, преодолевая упорное сопротивление противника, за пять дней наступательных боев продвинулись вперед до 45 километров, расширив прорыв до 60 километров по фронту.

В ходе наступления войска фронта штурмом овладели укрепленными городами Пилькаллен, Рагнит и сильными опорными пунктами обороны немцев Шилленен, Лазденен, Куссен, Науйенингкен, Ленгветен, Краунишкен, Бракупенен, а также с боями заняли более 600 других населенных пунктов...»

Далее перечислялись фамилии командиров. Караваяева среди них не оказалось — в приказе Верховного названы были от командира бригады, дивизии и выше. Генерал Доброхотов упомянут, конечно, был.

Пролеткин продолжал читать:

— «...Сегодня, 19 января, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев в Восточной Пруссии, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!

Смерть немецким захватчикам!»

— Вот оно, братцы, как дело-то пошло! — торжественно подвел итог Пролеткин.

После боев за сильно укрепленную Инстербургскую полосу в газетах появился новый приказ:

«Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 22 января, штурмом овладели в Восточной Пруссии городом Инстербург — важным узлом коммуникаций и мощно укрепленным районом обороны немцев на путях к Кенигсбергу...»

Ромашкин никогда еще не видел, чтобы город горел таким огромным костром. Инстербург в алых волнах пламени стоял, как театральные декорации. Дыма почти не было, всюду бушевал огонь, и в этом море огня виднелись тут и там остовы многоэтажных зданий. Город жгли сами фашисты.

А через несколько дней разведчики опять читали приказ генералу армии Черняховскому:

«Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 26 января, с боем овладели городами Восточной Пруссии — Ташиау, Алленбург, Норденбург и Летцен — мощными опорными пунктами долговременной оборонительной полосы немцев, прикрывающей центральные районы Восточной Пруссии...»

Это был последний приказ, адресованный генералу Черняховскому. 18 февраля 1945 года командующий фронтом был убит под городом Мельзак осколком снаряда, попавшим в грудь. Когда Ромашкин услышал об этом от майора Люленкова, не поверил:

— Не может быть! Выдумал кто-то!..

— Из штадива сейчас сообщили по телефону, — подтвердил Люленков печальную весть.

Ромашкину все же не верилось. Когда погибали бойцы и офицеры в атаке, в рукопашной, при обстреле

или бомбежке — это воспринималось Ромашкиным как нечто неизбежное: война есть война. Но как мог погибнуть Черняховский?! Василий вспомнил красивое, мужественное лицо командующего фронтом, его доброжелательные глаза, волнистые волосы. На миг он даже почувствовал приятный запах одеколона, который уловил, когда командующий сидел рядом.

— Просто не могу представить его мертвым,— с отчаянием сказал Василий.— Он же историческая личность! Не может он погибнуть!

Люленков пожал плечами, произнес горестно, как давно обдуманное:

— Все люди умирают одинаково. Но смерть исторической личности всегда кажется нелепостью, будто такие люди не подвластны смерти. Они при жизни стали историей. Это и есть бессмертие, когда человек остается живым в памяти людей.

Они замолчали, затянулись махорочным дымом, и каждый в ту минуту мысленно видел живого генерала и горевал о нем.

После Черняховского 3-м Белорусским фронтом стал командовать маршал Василевский, он подготовил и повел войска на штурм Кенигсберга.

Ромашкин со своими разведчиками, как обычно, вышел к городу одним из первых. За годы войны он повидал множество сильных укреплений, а по справкам, которые присылали из штаба, представлял, что ожидает их под Кенигсбергом. И все же, разглядывая в бинокль город-крепость, Ромашкин был поражен.

Он понимал: все, что видит, это лишь малая часть укреплений, которая не поддается маскировке, а остальное спрятано глубоко в земле.

— Такое преодолеть, пожалуй, никому не под силу,— тихо сказал Василий. Он даже говорить громко не мог, глядя на встающие одна за другой линии дотов, дозотов, бетонных надолб, проволочных заграждений, перед которыми, он знал, располагались минные поля.

— Ничего, товарищ старший лейтенант,— сказал Саша Пролеткин,— поспим, поедим, поднатужимся — и накроется этот Кенигсберг!

Это «поспим, поедим, поднатужимся» продолжалось два месяца. Войска усиленно готовились к штурму, изучали схемы, макеты укреплений, тренировались на местности, отрабатывали взаимодействие между

пехотинцами, артиллеристами, огнеметчиками, танкистами.

В батальоны и роты приезжали операторы, инженеры, разведчики из вышестоящих штабов, рассказывали бойцам о кенигсбергских укреплениях и о том, как лучше их преодолеть. Политработники проводили беседы о славных победах, одержанных предками на этой земле, и о подвигах, которые совершались сейчас на других фронтах.

В полку Караваева офицер штаба армии подполковник Кирко, развесив в пустом цехе какого-то немецкого заводика огромные схемы и фотографии, читал лекции для офицеров, для солдат стрелковых батальонов и специальных подразделений. Часто эти лекции переходили в живую беседу.

— Линии Инстербургская и Дейме были очень прочными, но мы справились с ними,— говорил подполковник.— Есть все основания полагать, что и Кенигсберг не устоит.

— Причешем! — весело отозвался усатый сержант в первом ряду.

— Но нельзя, товарищи, недооценивать мощи крепости, — возразил Кирко.— Она строилась семьсот лет. Все эти годы укрепления наращивались, совершенствовались. Кенигсберг — самая мощная крепость фашистской Германии. Ни Берлин, ни любой другой город не может сравниться с ним. Посмотрите на эту схему...

Подполковник подошел к большому листу, на котором несколько кругов, заключенных один в другой, окаймляли черные квадраты городских кварталов.

— Первая оборонительная полоса — это так называемый внешний обвод: три позиции — четыре ряда окопов. Противотанковый ров, фугасы, мины, железобетонные надолбы, ежи из рельсов, провололочные заграждения да еще специальные малозаметные препятствия. Все это лишь подступы к крепости, они прикрыты многослойным артиллерийским и пулеметным огнем.

Подполковник подошел к другой схеме:

— Переднюю линию сооружений немцы называют «почной рубашкой Кенигсберга», имея в виду, что в ней можно спать спокойно, она, по их мнению, непреодолима.

— Снимем и рубашку и штаны и куда надо наподдадим,— весело сказал все тот же сержант.

— Итак, основу крепостных сооружений составляют пятнадцать фортов. Они окружают город сплошным кольцом, и у каждого форта есть свое название. Вот смотрите: «Король Фридрих», «Мариенбург», «Квендау», «Королева Луиза», «Кальген», «Канитц», «Лендорф», «Понарт»... Между собой все форты связаны окружной дорогой. Каждый форт — это многоэтажное железобетонное сооружение со своей электростанцией, складами продовольствия и боеприпасов, госпиталем. Толщина стен достигает трех метров. Вооружение — несколько десятков пулеметов, две-три артиллерийские батареи. Гарнизон до батальона. Перед фортами рвы шириной двадцать метров, глубиной семь метров. Водой рвы наполнены с таким расчетом, чтобы затруднить использование переправочных средств: всего-навсего до половины.

Сержант-весельчак больше не шутил, он молча глядел на схему, в конце доклада тихо выругался и сказал Кирко:

— И чего это вы взялись нас пугать, товарищ подполковник? Все равно мы раздолбаем ваши форты.

— Не мои они, — примирительно сказал офицер. — Я вместе с вами буду их брать. Товарищи, я не кончил. Теперь послушайте, в чем слабость этих сооружений.

— О, это нам пригодится!

— Как известно, любая техника и любые крепости без человека мертвы. Вы скажете: люди в этих сооружениях есть. Правильно. Но какие? Много раз битые нами фашисты! Это уже не те немцы, которые в сорок первом считали себя сверхчеловеками.

У Ромашкина зазвучал в ушах наглый смех, встали перед глазами бомбежка на шоссе под Москвой и здоровые, спортивного телосложения фашисты. Как они были самоуверенны, как непринужденно смеялись! А ведь они были в плену!

— Моральный дух гитлеровской армии надломлен, — продолжал Кирко. — Вот что говорят пленные, еще недавно сидевшие за этими бетонными стенами. — Подполковник полистал бумаги. — Ну, вот хотя бы этот, его привели разведчики старшего лейтенанта Ромашкина.

— Знаем такого!

— Пленный тотально мобилизованный Иоган Айкен. Он говорит: «Мы не хотим воевать, всем понятно — война проиграна. Но офицеры и эсэсовцы нас заставляют. Нам каждый день зачитывали списки рас-

стрелянных за трусость. В городе на площадях висят подвешенные за ноги дезертиры. Фюрер обещает новое секретное оружие. А мы, фольксштурмовцы, изменяя слова в песне, поем: «Вир альте Аффен — зинд ное Ваффен», это значит: «Мы, старые обезьяны, — и есть новое оружие». В городе мобилизовано в фольксштурм все мужское население от 16 до 60 лет. У нас брали письменное обязательство не отступать с позиций, мы предупреждены: за отход — расстрел!»

Изучая оборонительные сооружения противника, разведчики старались понять психологию человека, сидящего в этих укреплениях.

— Кто у нас был в Сталинграде? — спросил однажды Ромашкин.

— Я, — сказал Наиль Хамидуллин.

— Сколько дней вы держались?

— Полгода.

— Расскажи, как жили, что делали в дотах?

— У нас такой железобетонной махины не было. Сидели в траншеях, в землянках — одно-два бревнышка над головой; много развалин домов было. Там же не крепость — простой город.

— Ну, а режим какой был?

— Какой? Отбивали двадцать атак в сутки — вот такой режим. Сказали: назад ни шагу, не пускать немца за Волгу! Мы не пускали.

— Ты пойми, — настаивал Ромашкин, — нам детали жизни в долговременной обороне нужны.

Наиль обиделся:

— У нас такие же детали, как у фашистов, да?

— Вот чудак! Зачем обижаешься? Надо же нам приспособиться к новым условиям разведки.

— Не будет долгой оборона, товарищ старший лейтенант. Мы сейчас такими стали, что не удержит никакая крепость!

В ходе подготовки к штурму самыми популярными людьми в полку стали инженер Биркин и саперы. Женя Початкин был уже старшим лейтенантом, командовал саперной ротой полка. Он быстро освоил сложную науку «созидания и разрушения», как он называл саперное дело.

Однажды ночью Початкин прошел с Ромашкиным нейтральную зону и полевою оборону, подбирался к форту — он должен был изучить укрепления и придумать, как открыть дорогу полку. Ромашкин со своими разведчиками охранял его в вылазке.

— Опять меня конвоируешь,— шутил Початкин, намекая на их самую первую встречу.

— Твои мозги охраняю,— отвечал Василий.— Давай думай, думай, нечего филонить.

Они подкрались ко рву, на веревках спустились к неподвижной, пахнувшей гнилью воде. На надувных лодочках поплыли к выступающей из воды трехэтажной бетонной стене с черными амбразами. Достаточно было одной короткой очереди, чтобы разведчики и саперы пошли на дно рва, наполненного зеленой затхлой водой. Но форты не стреляли. В их бетонном чреве немцы спали спокойно, зная, что впереди, в полевых сооружениях, охраняли их целые дивизии и полки. У немцев и в мыслях не было, что кто-то из русских проберется сюда и отважится плавать под самыми дулами пулеметов.

Початкин ощупал, погладил холодное тело форта, осмотрел облицованные камнем и бетоном берега, отковырнул кусочки камня и цемента, положил в карман, потом измерил глубину воды и высоту рва над ней.

Когда вернулись к спущенным веревкам, сверху склонились головы Саши Пролеткина, Ивана Рогатина и Шовкопляса. С ними были саперы из роты Початкина. На этом берегу они тоже измерили ров, набрали образцы грунта и бетона.

— Может, «языка» прихватим? — спросил Ромашкин.

Прежде Початкин не отказался бы от такого предложения. А теперь, покачав головой, прошептал:

— Ни в коем случае. Наши сведения важнее десяти твоих вшивых фрицев.

Из расположения врага им удалось благополучно вернуться. В своей траншее Початкин продолжил разговор:

— Если бы ты и притащил пленного, что бы он мог сказать о конструкции и прочности сооружения? Откуда рядовой солдат и даже офицер это знает? А мы теперь вот узнаем!

Днем после отдыха Василий сидел в блиндаже майора Биркина и слушал, как Початкин вместе с полковым инженером делали расчеты. Они измеряли какие-то углы, искали сведения в справочниках, писали длинные столбцы цифр и формул.

Ромашкин с гордостью за своего друга подметил: майор хоть и старше по званию, хоть и военный инженер, а Початкин лучше разбирается в тех тонко-

стях, о которых они говорили. Биркин и сам сказал Василию, кивнув на своего помощника:

— Светлейшая голова. Молодой, дерзкий, находчивый ум. Ему бы заводы строить!..

— Никогда не думал, что мой первый серьезный проект будет посвящен разрушению кем-то добротню построенного сооружения,— сказал, не отрываясь от бумаг, Женька.

Когда пошли ужинать в штабную столовую, Василий спросил:

— За что Биркин тебя так хвалит? Что ты придумал?

Початкин усмехнулся, ответил неохотно:

— Я предложил не просто взорвать берега и форт, как намечалось, а сделать взрывы направленными. И направить их так, чтобы и берега, и стены обвалились в ров с водой и образовали дамбу. А по дамбе пробегут наступающие...

— Ты гений, Женька! — восторженно воскликнул Ромашкин.

Уж кто-кто, а он-то мгновенно понял, как прекрасна, как спасительна идея Початкина. Василий хорошо знал: стоит полку выйти ко рву, наполненному водой, по бойцам сразу же ударят пулеметы из амбразур всех трех этажей. Тут не только секунды, десятые доли будут драгоценны. Пока сбросят принесенные с собой переправочные средства — и донесут ли их? — пока спустятся на воду... Страшно было подумать о том, что наделают десятки крупнокалиберных пулеметов, скрытых за трехметровым бетоном.

— Ты представляешь, что получится? — продолжал Початкин. — Приближается штурмовая группа ко рву. А тут — взрыв! И пожалуйста, ров заполнен. Все без остановки и почти без потерь бегут на тот берег. Неплохо, как думаешь? — спрашивал Женька.

— Я же говорю, ты гений. Не напрасно тебя конвоировал.

— Тут еще не все додумано,— сказал Початкин. — Как заранее доставить и заложить взрывчатку? Когда подбегут наступающие, все должно быть на месте. Только в этом случае осуществится наш замысел.

Ромашкину захотелось предложить что-то полезное. И он во всех деталях попытался представить эту операцию, мысленно сравнивал ее с другими, в которых участвовал.

Между тем они подошли к столовой, расположенной в большой комнате помещицкой усадьбы. Лепные ангелочки удивленно глядели с потолка на советских офицеров, которые сидели за овальным с позолотой столом.

Початкин и Ромашкин ели молча, думая о том, как же организовать взрыв. На обратном пути Василий предложил:

— Послушай, а если как в дневном поиске? Помнишь, я однажды с ребятами остался на день в ямах, замаскированных сверху дерном? Вот и сейчас сделать так: выползти туда заранее, все подготовить — и ждать.

Женя сразу отверг это предложение:

— Ты сидел с разведчиками совсем в другой обстановке. А здесь будет мощнейшая авиационно-артиллерийская подготовка — свои побьют.

— Ты прав, — согласился Ромашкин.

— Выход один, — сказал Початкин. — Все подготовить заранее. На танках опередить атакующих, под прикрытием огня этих же танков заложить и взорвать заряды.

— А если танки подобьют?

— Все может быть. Поэтому подготовим разные варианты действий саперов и несколько комплектов взрывчатки. И еще несколько опытных подрывников и командиров.

* * *

И вот настала ночь на 6 апреля — ночь штурма. Передовые батальоны смяли фашистов и подошли вплотную к фортам.

В 10 часов утра более пяти тысяч орудий открыли огонь по запертой на все замки крепости. Огневой шквал длился два часа.

Взвод разведки был выделен для обеспечения действий саперов. Вместе с Початкиным Ромашкин сидел в укрытии. Саперная рота была распределена по штурмовым отрядам. Сам Початкин решил действовать с одним из своих взводов, который шел на главном направлении и должен был создать дамбу взрывом.

Через час непрерывного обстрела снаряды снесли всю маскировку с фортов и дотов — многометровый

земляной покров, кусты и деревья, кирпичные стены, надстройки, пристройки. Форты и доты оголились, стояли теперь закопченные, серые, неуязвимые, как горы.

Орудия большой мощности, оглушая всех грохотом своих выстрелов, открыли огонь на поражение. Трехметровые стены сначала гудели, отбрасывая снаряды, потом стали трескаться и оседать.

Тремя ярусами кружили над крепостью самолеты: выше всех — истребители, ниже — бомбардировщики, еще ниже — штурмовики. Над фортами, окутанными дымом, кувыркались обломки сооружений и деревья, вырванные с корнем.

В час дня начался общий штурм.

— Ну, братцы, пошли! — сказал Початкин, не отрывая взгляда от места, где предстояло сделать проходы.

Взревели танки и, задымив копотью, рванулись в атаку, артиллеристы покатали орудия стволами вперед, вскинулась волна пехоты. Все, не переставая, стреляли по амбразурам и бойницам. Под прикрытием этого огня ринулись вперед штурмовые группы.

Початкин вместе с саперами взорвал первые заряды, ближний берег рва сполз в воду. «Ну, молодец, как здорово все рассчитал!» — подумал Ромашкин, бсжавший за танком, то и дело вздрагивавшим от выстрелов своей пушки.

Накидав взрывчатку на плоты, подтянутые танками, саперы поплыли к форту, который изрыгал из амбразур огонь и дым.

— Бейте чаще, не давайте обстреливать! — кричал Василий пушкарям и танкистам, но его никто, конечно, не слышал в таком грохоте. Ромашкин сам стрелял в амбразуры из автомата, тщательно прицеливаясь. Прячась за танки, снайперы посылали одну за другой точные смертоносные пули, вражеские пулеметы, захлебываясь, умолкали, но тут же снова начинали строчить — убитых пулеметчиков гитлеровцы заменяли немедленно.

Саперы наконец достигли вертикально торчащей из воды бетонной стены. На плотях все меньше оставалось людей. Они падали то в воду, то на тюки взрывчатки. Те, кто уцелел, быстро заложили упаковки и стали грести назад, чтобы не погибнуть от своего же взрыва.

Когда плот ткнулся в этот берег, на нем остался один Початкин. Он юркнул за танк, где стоял Ромашкин. Евгения било как в лихорадке. Он был мокрый не то от всплесков воды, не то от собственного пота.

— Сейчас... сейчас,— повторял он, поглядывая на часы и невольно пригибаясь в ожидании взрыва. Даже в грохоте боя Ромашкину вдруг показалось, что наступила тишина. Взрыва не было.

Початкин растерянно взглянул на Василия, тихо сказал:

— Запальный шнур перебило.— И побежал ко рву, сбросив шинель. Он кинулся вниз головой в воду, вынырнул далеко от берега и поплыл по черной густой воде, кипящей белыми всплесками от пуль и осколков.

Все, кто видел его, старались ему помочь: глушили форт из пушек, ослепляли амбразуры автоматами.

Початкин все же доплыл до своих упаковок. Блестящий от воды, он вылез на кромку рва, и Ромашкину показалось, что он услышал слабый, как в телефонной трубке, голос:

— Прощай, Василий!

И тут же грянул взрыв. Упругая волна воздуха повалила Ромашкина на землю. Все окуталось черно-белым дымом, едкая желтая копоть от сгоревшей взрывчатки забила дыхание, заставила кашлять. Сверху посыпались осколки бетона, кирпичей, комья земли. Они громко стукались о танки, плюхались в воду, ударялись о землю. Ромашкин закрыл голову руками от этого камнепада.

Когда дым поредел, все увидели полосу из каменных обломков и земли, которая корявой дамбой пролегла от берега к берегу. Не горе, не жалость к Женьке охватили Василия в первые секунды, а радость оттого, что все расчеты Евгения оправдались, полк выполнит задачу, меньше будет потерь. И радость эта словно передалась всем. Громкое «ура» покатилося по волне пехотинцев, они кинулись по завалу через ров.

Вскоре серые шинели и круглые шапки уже мелькали в проломах стены, пробитых взрывами Початкина. Солдаты, забираясь друг другу на плечи, швыряли гранаты в амбразуры. Форт уже изрыгал не только огонь — дым валил из многих отверстий и проломов.

Не задерживаясь около издыхающего форта, бойцы устремились в городские улицы, перехваченные во многих местах баррикадами. Горели хрупкие трамваи,

в брызги разлетались от пушечных выстрелов стены, из-за которых стреляли фаустники. Город дымил, трещал, рушился, пожираемый пламенем, бомбами, снарядами.

Василий горестно ходил по дамбе, спотыкаясь об обломки камня и проваливаясь в раскисшую землю. Он надеялся найти Евгения. Потом стал искать хотя бы клочок его одежды. Но не нашел ничего. Початкина или разорвало на части, или погребло под этой дамбой.

Сначала Василий не хотел рассказывать Караваеву всех подробностей, жалея командира. Да и самому тяжело вспоминать все, что видел. Пусть останется так, как чаще всего бывает на войне: погиб и погиб. Но потом, вспоминая форт, ров с черной водой и Женьку, плывущего на верную смерть, Ромашкин словно прозрел. Разве можно молчать? Ведь Початкин совершил подвиг! Если бы не он, весь полк лег бы перед этим рвом. Ценой своей жизни он открыл всем путь: поджег перебитый бикфордов шнур, когда никаких надежд на взрыв уже не оставалось! А перед этим разведал форт и придумал, как сделать дамбу!

Часто мы недопонимаем и недооцениваем подвиг, мужество, благородство из-за того, что они вершатся на наших глазах. Нам кажется — героическое происходит где-то там, у других, о ком пишут газеты, а свое — буднично и обыденно. Ромашкин, к счастью, все это понял и пошел в штаб к полковнику Караваеву. Где угодно, хоть перед самым Верховным, Василий готов был доказывать, что видел подвиг своими глазами, что Евгений Початкин погиб не случайно, а сознательно пожертвовал собой — Ромашкин даже сейчас слышит его последние слова: «Прощай, Василий!»

Но ему не пришлось ничего доказывать. С наблюдательного пункта полка в стереотрубы и бинокли хорошо видели, как действовали штурмовые отряды, как произошла заминка, едва не ставшая роковой для полка, и как Евгений Початкин, командир саперной роты, спас положение и сотни жизней своих однополчан.

Ромашкин рассказал лишь о некоторых подробностях. И все время, когда рассказывал и когда молчал, когда ел, курил, носился среди горящих домов Кенигсберга, выполняя поручения командира полка, — везде и всюду в ушах его, как в телефонной трубке, звучал уменьшенный и удаленный голос:

«Прощай, Василий!..»

И опять вставал перед глазами Женя, всегда веселый, озорной, смелый. Какое красивое мускулистое было у него тело! И вот ничего не осталось даже для похорон... Как хотелось ему в разведку! И получился бы из него отличный разведчик. Ах, Женя, Женя, совсем немного до конца войны осталось...

На третий день полк, пробиваясь через завалы и пожары, вышел к маленькой тесной площади. За ней бойцы увидели высоченные круглые башни с зубчатым верхом — замок прусских королей. Вся площадь и прилегающие улицы были запружены надолбами — «зубами дракона».

Над массивными воротами блестел огромный круг — это были часы. Они еще шли. Саша Пролеткин прислонился к углу дома и дал очередь по часам, сказав: — Остановись, фашистское время!

Часы остановились, обе стрелки бессильно повисли.

На Пролеткина тут же напустился Рогатин:

— Ну, зачем ты это сделал? Говорят, четыреста лет часы шли! Привык безобразничать без понятия — то жирафа и бегемота стрелял, теперь вот часы исторические испортил! Дикарь необразованный.

Пролеткин растерялся, видя, что его поступок не одобряют и другие разведчики. В свое оправдание сказал:

— К вечеру от этого замка останется куча битого кирпича, даже не найдешь, где твои часы были.

— То в бою! Там неизбежно, — ворчал Иван. — А так нечего безобразничать.

На красной кирпичной стене замка ровными готическими буквами было написано: «Слабая русская крепость Севастополь держалась 250 дней против непобедимой германской армии. Кенигсберг — лучшая крепость Европы — не будет взят никогда!»

К разведчикам подошел неведомо откуда взявшийся старик, сухой и скрюченный, с грустными глазами, в густой сетке морщин. Кланяясь и приседая, он боязливо стал говорить:

— Господа руски золдатен, пожалуйста, нет гранаты, нет стреляйт уф это подвал. — Он показывал на низкие полуокна, выходившие на тротуар. — Там нихт немецки золдатен, там есть майне фрау, мой жина, мой бедни больной Гертруда.

— Не бойтесь! Мирных жителей мы не трогаем,— сказал Ромашкин.

— Я, я,— вздохнул старик и посмотрел на часы, которые остановил Пролеткин.

— На всякий случай повесьте над окном белый флаг, вон как те,— посоветовал Ромашкин, указывая на простыни, свисающие из окон в глубине дымной улицы.

— О, я! Я хотел такой флаг, но боялся офицерен унд золдатен эсэс. Он бросайт гранатен, где есть такой бели флаг.

— Откуда вы знаете русский язык?

— Я был руски плен, первый мировой война. Их бин золдатен оф кайзер.

— Во, братцы, исторический «язык»,— весело сказал Пролеткин.

Ромашкин подумал: «Может, его Колокольцев ловил? Он же был «охотником» в ту войну. Но мало ли тогда было «языков» и разведчиков! У старика падо бы узнать что-нибудь более полезное».

— Скажите, нет ли в замок подземных ходов? Каких-нибудь каналов, речек под стенами?

— О, найн! Найн! Дер Кенигсен-палас есть отшен крепкий, отшен крепкий оборона.— Немец помолчал. Потом, окинув солдат посветлевшим взглядом, сказал, тыча желтым скрюченным пальцем в сторону красных стен: — В это дверь...

— Ворота,— подсказал Саша.

— О, я! Данке шен. В это ворота ехал генералиссимо Суворов — он бил генерал-губернатор Остен Пруссия.

Увидев, какое впечатление произвели его слова, еще более радушно сообщил:

— Это ворота ходил Наполеон Бонапарт нах Москау!

— А назад пробежал мимо этих ворот,— вставил неугомонный Саша.

Разведчики засмеялись, а старик, не понимая причины смеха, настаивал:

— Нет мимо — прямо здесь марширен!

Поскольку старик больше не сообщал никаких исторических сведений, Ромашкин спросил:

— Кто выехал из этих ворот двадцать второго июня сорок первого года?

Старик обреченно покачал головой:

— О, майн гот! Это нельзя было делать. Правильно сказала мудри канцлер Бисмарк — нельзя делать война с Россия. Тот день отсюда ехал ин машинен фельдмаршал Риттер фон Лееб.

— Данке шен,— поблагодарил Ромашкин, давая понять, что у них больше нет времени для разговоров.

Старик ушел, качая головой и тихо бормоча: «Майн гот, майн гот».

Над разведчиками волна за волной прошли самолеты и сбросили бомбы на замок. Вздогнула и затряслась земля. Красная кирпичная пыль и черный дым поднялись выше зубчатых башен. Взвод самоходных пушек бил в одно и то же место, чтобы сделать проломы. Но стены были четырехметровой толщины, а попасть «снарядом в снаряд» было не так-то просто.

Через несколько часов весь замок, как больной оспой, был изрыт глубокими кавернами. Стены и несколько башен обвалились внутрь двора, над которым клубился дым и взметнулись языки огня. Кто мог уцелеть там после такого ужасного обстрела и непрерывной бомбежки? Был дан сигнал атаки, и полки пошли на последний штурм. Но замок прусских королей, оказывается, был еще жив. Яростный огонь, красные и белые вспышки пулеметов, орудий и фаустов брызгали из всех щелей, амбразур и трещин. Площадь покрылась телами бойцов в серых шинелях, в выгоревших ватниках, в полушубках, в плащ-палатках и грязных, когда-то белых маскировочных костюмах. Эти бойцы не дожили до конца войны всего несколько дней.

Первый штурм замка был отбит.

Бомбардировка и артиллерийский обстрел возобновились. А к вечеру Ромашкин уже ходил внутри замка. Солдаты, взявшие его, сидели здесь же во дворе, заваленном обломками стен, черпали ложками из котелков борщ и кашу, запивали еду винами, извлеченными из погребов, дымили трофейными сигаретами.

День девятого апреля уходил в историю. Последние выстрелы слышались со стороны кенигсбергского зоопарка. Оттуда шли колонны пленных в обвисшей грязной форме, с мрачными лицами, испачканными сажей.

Пленные боязливо уступали дорогу, когда им на встречу попадались измученные группы людей в полосатой одежде узников. Это были освобожденные из

лагерей, тюрем, подземных заводов — поляки, французы, голландцы, англичане, югославы, румыны, греки, итальянцы. Они шли весело, поднимали вверх сжатые кулаки, кричали нашим бойцам:

— Рот фронт!

— Спасибо!

Чернявый со впалыми щеками француз в полосатой робе, но уже в берете, вышел вперед и, блестя счастливыми глазами, обратился к Ромашкину, протягивая какую-то бумагу:

— Товарищ, передайте это для ваше командование, для ваше правительство!

И ушел, приветливо махая рукой.

Ромашкин прочитал:

«Господин премьер-министр, господа советские генералы, товарищи советские солдаты. Мы, французы, узники фашистов, выражаем вам в наш самый счастливый день очень большую благодарность за возвращенную нам свободу и жизнь. Мы никогда не забудем вас, дорогие друзья. Будь проклят фашизм!

Да здравствует Советская Армия!

Да здравствует СССР!

Да здравствует Франция!»

В конце множество подписей.

Ромашкин отдал эту бумагу подполковнику Линтвареву.

— Это очень ценный документ,— сказал замполит.— Его надо послать в газету.

Сверхмощная неприступная крепость Кенигсберг была взята Советской Армией в течение трех дней.

Впервые за всю войну не нужно было спешить, перегруппировываться и отправляться на какой-то другой участок. Бои в Восточной Пруссии почти всюду закончились. Только на Земландском полуострове, на берегах залива Фришес-Хафф, добивали сбившиеся туда остатки прусской группировки. Но там было достаточно наших войск, и части, взявшие Кенигсберг, остались вроде бы без дела.

Ромашкин всю войну мечтал отоспаться после окончания боев, думал: завалится на неделю и будет спать беспробудно. Но вот предоставилась такая возможность, а спать совсем не хотелось. Солдаты и офицеры ходили по огромному городу, на его улицах кое-где еще догорали головешки. Небезопасно было передвигаться между многоэтажными зданиями,

выгоревшими внутри. Иногда махина в пять — семь этажей вдруг плавно кренилась и с грохотом падала, подняв пыль выше соседних домов.

И все же Ромашкин со своими ребятами ходил, рассматривая чужой мир, глядел на вывески кафе, магазинов, кинотеатров, мастерских, заглядывал в брошенные квартиры, разговаривал с вылезшими из подвалов стариками и женщинами. У них был измученный, пришибленный вид — еще не опомнились после бомбежек и артиллерийского обстрела.

Во дворах, скверах, на площадях толпились красноармейцы, умывались, сушили портянки у костров, варили еду, смеялись, отдыхали.

Ромашкин вместе с ребятами вернулся к кострам своего полка. В это время подъехали на газике член Военного совета Бойков и командир дивизии генерал Доброхотов.

— Ну, как жизнь, товарищи? — весело спросил Бойков.

С тех пор как Ромашкин видел его последний раз, Бойков немного располнел, лицо округлилось, но глаза по-прежнему были улыбчивыми и добрыми. «Забота стало меньше, — подумал Василий, — вот и поправился». Генерал увидел Ромашкина, воскликнул:

— Жив наш курилка! — И шагнул навстречу, протягивая руку.

— Живой, товарищ генерал, — ответил Ромашкин.

Разведчики гордо поглядывали на бойцов, сразу их окруживших: вот, мол, как наш командир с таким большим начальством, запросто!

— Что-то ты за войну мало вырос! Сколько хороших дел совершил, а все в лейтенантах ходишь.

— В старших, — поправил Ромашкин.

— Товарищ Доброхотов, надо поправить это дело. Скоро перейдем на мирные сроки выслуги. Надо Ромашкину хотя бы капитаном войну закончить. Заслужил!

— Поправим, товарищ член Военного совета, — сказал комдив. — В бою ведь так: воюет и воюет человек, делает свое дело хорошо, а мы к этому привыкаем, будто так и надо. Сегодня же отправлю представление.

— Мне по должности не положено, — смущенно сказал Ромашкин.

— И должность найдется, — успокоил комдив.

Ромашкин посмотрел на своих разведчиков. «Значит, придется с ними расставаться? Куда и зачем ухо-

дить мне от своих людей? А может, даже из полка заберут?» Василий торопливо стал просить:

— Товарищ генерал, может быть, довоюю со своим полком до победы, а там видно будет?

— Все, уже довоевался. Нет у нас впереди боевых задач. Мы войну завершили.

Вдруг зароптали, заговорили солдаты, молча слушавшие весь этот разговор:

— Как же так, а Берлин?

— Мы на Берлин хотим!

— Восвали, воевали, а Берлин без нас брать будут?

— Ведите нас на Берлин!

Бойков улыбался, потом негромко, чтобы затихли, сказал:

— Вы свое дело сделали. Остались живы, разве этого мало?

— Мало! Мы Берлин хотим взять!..

— Вот развоевались! — засмеялся Доброхотов.

Генералы уехали по своим делам, а солдаты еще долго говорили о том, что в Берлине побывать надо бы.

Желание солдат из полка Караваева все же сбылось; конечно, не потому, что этого хотели солдаты, и не потому, что их просьбы учли генералы, а просто потребовалось усилить группировку, наступающую на Берлин. Пришел приказ — и некоторые части на машинах автомобильных батальонов стали совершать форсированный марш к центру Германии. Был среди этих частей и полк Караваева.

Замелькали готические надписи на белых указках — разные бургы, дорфы, ланды, фельды, хорсты, лебены: городки с красными черепичными крышами, домики с балкончиками, башенками, цветами на подоконниках, фольварки и господские дома, заводики, пивные, кафе, сосисочные, магазины, чистые леса, хорошо разлинованные поля, начинающие зеленеть свежей травой.

Автострада бежала в глубь Германии — великодушная, широкая, ухоженная, под нее ныряли или перелегали над ней по могучим мостам, нигде не пересекаясь, не мешая движению, рокадные дороги.

По обочинам автострады и по всем боковым дорогам струился поток людей. Они толкали перед собой тележки, несли на спинах мешки, вели нагруженные велосипеды, катили детские коляски. Шли на восток из

неволи русские, белорусы, украинцы, поляки. На запад — англичане, французы, болгары, чехи и другие жители Европы. Они приветливо махали солдатам, которые неслись на машинах к Берлину добивать там фашистов.

К Берлину было стянуто так много частей, что не хватало места, дивизии стояли в затылок, ожидая возможности ударить по «логову».

Полк Караваева сосредоточился в пригороде, ждал отставшие тылы. Все радовались приближению победы, и в то же время как-то не верилось: неужели и вправду конец войне?

* * *

Уже не весь Берлин, а только его центр оставался в руках фашистов. Ну какая могла быть в этот момент для разведчика работа? И наши и немцы не сомневались, что боям осталось греметь недолго.

Раньше Василий со своими разведчиками определял силы и группировку противника, искал его резервы, выявлял позиции артиллерии, расположение штабов, разгадывал замыслы фашистского командования. Теперь ничего этого не нужно. Все ясно. Вот дымятся развалины Берлина, фашистской армии больше не существует, резервов нет, замыслов нет.

Ромашкин лазил с разведчиками по развалинам, приводил пленных, в которых теперь недостатка не было. В любом подвале без хлопот можно было взять фашистского офицера, а то и двух-трех. Порой они сами шли навстречу, выставив перед собой на палке белую тряпку.

Однажды Василию в голову пришла простая и ошеломляющая мысль: «А где же Гитлер? Ведь где-то здесь он, совсем рядом, в этих горящих и затянутых дымом развалинах. Вот бы кого захватить! Ну ладно, пусть даже не самого Гитлера, а какую-то высокопоставленную шишку, допустим, Геринга или Геббельса. Сейчас они все сбились в кучу, их наверняка охватила паника, будут удирать поодиночке. Какой для нас удобный момент!..»

Ромашкин отыскал начальника разведки майора Люленкова — он в покинутой хозяевами квартире устроил стирку.

— Вот, коверкотовую гимнастерку всю войну в «сидоре» протаскал, а теперь понадобится. Я думаю,

большой праздник в честь победы будет. Наверное, столы вдоль улиц выставят, и будем пировать дня три, не меньше.

Когда Ромашкин рассказал о своих размышлениях, майор посмотрел на него с укором.

— Раньше я посылал тебя на задания, а теперь в первый раз хочу отговорить. Ну, зачем тебе эта затея? Героя получить хочешь? Ты и так герой, только без Золотой Звезды. Жив остался — вот тебе самая большая награда за все. Живи и радуйся. К тому же Гитлер не в наших с тобой масштабах. Им занимаются штабы покрупнее. Не уйдет!

— Я и не говорю, что мы одни ловить его будем, — настаивал Ромашкин. — Те, кому положено, пусть делают свое. А мы где-нибудь сбоку подстрахуем на всякий случай.

— Ты даже помешать можешь. Нам ведь неизвестно, где, что и когда предпринимается на этот счет.

— Можно согласовать. Спросить разрешение. Пойдемте к Колокольцеву. Интересно, что он посоветует.

Начальник штаба отводил душу за самоваром. Он пил крепко заваренный чай, держа в руке свой подстаканник, поглаживал его и, возможно, даже говорил, как старому другу: «Ну, вот мы и отвоевались...»

Ромашкина и Люленкова начальник штаба встретил радушно, усадил их за стол, стал угощать своим особым ароматным чаем.

Выслушав, с чем они пришли, Колокольцев долго и задумчиво смотрел на свой стакан. Ромашкин сейчас лишь заметил, что Виктор Ильич пожилой человек, кожа на его тщательно выбритом лице кое-где обвисает, под глазами припухшие мешочки. «Наверное, он очень устал, — подумал Ромашкин, — ему хочется покоя и тишины. Уж если молодой, здоровый Люленков меня отговаривал, то утомленный Колокольцев, конечно, не поддержит».

А Колокольцев, не торопясь, сказал:

— Есть в вашем намерении, голубчик, много «но». Даже если предположить, что штаб фронта или армии даст разрешение, где вы будете искать Гитлера? Сейчас там, — он махнул в сторону гремящего боя, — такое скопление, такая теснота, что вы не сможете даже пробиться к зданию ставки. К тому же у Гитлера, несомненно, очень сильная охрана.

— Я все это понимаю и не собираюсь лезть в его штаб. Мы притаимся где-нибудь неподалеку. Ведь должен он попытаться удрать? На самолете, в танке или в автомобиле. Вот мы и засядем где-то на пути к самолету или к машине. Гитлер наверняка не захочет, чтобы его бегство видели. Будет смываться тайно, с небольшой группой самых близких. Вот мы и зашучим их в этот момент.

Колокольцев поморщился:

— Какие слова — «смываться», «зашучим». Вы же будущий кадровый офицер!

— Извините, товарищ подполковник.

— Да, затея лихая! — внезапно оживился Колокольцев. — Правда, захват Гитлера не имеет сейчас стратегического или даже оперативного значения. Но смысл политический, логическая точка, так сказать, в этом есть. Эх, если бы не годы и не эти бумаги, тряхнул бы я стариной — пошел бы с вами!..

Ромашкин не ожидал такой удалости от старого офицера, но сразу понял, что это бурлят в нем воспоминания о молодости и говорит душа «охотника» первой мировой войны. «Видно, тот, кто стал разведчиком, в душе остается им навсегда. И я, если доживу до старости, такой же буду».

Колокольцев долго звонил по телефонам, говорил с начальниками и какими-то старыми друзьями, наконец вернулся к столу, сказал:

— Как я понял, вышестоящие инстанции тоже предпринимают необходимые меры. Не хотели разрешать, но потом согласились. Правда, вам запрещено проникать в подземные укрытия немецкой ставки. И вы обязаны постоянно информировать по радио, где находитесь и что вам станет известно о Гитлере. А на все решительные действия обязаны получить особое разрешение сверху. Связь будете поддерживать своей рацией через меня. Сведений о том, что Гитлер покинул Берлин, пока нет. Ставка его здесь, все распоряжения идут из Берлина. — Колокольцев выпрямился, помолчал торжественно и значительно. — Ну, Василий Петрович, благословляю тебя на дело сие. Не отговаривал потому, что ты настоящий русский офицер и достоин славы, которая тебя ждет в случае удачи! Ни пуха тебе, ни пера. — Колокольцев обнял Ромашкина, троекратно поцеловал крест-на-крест. — Иди! Когда все будет готово, вместе доложим командиру.

Прежде всего надо было подобрать хорошую группу. Ромашкин всегда был сторонником группы небольшой, состоящей из «зубров». И на этот раз решил идти с такой же. Первыми и неперменными участниками будут Иван Рогатин и Саша Пролеткин, с которыми прошел всю войну. «На все задания ходили вместе, и на последнее пусть идут оба. Возьму еще Шовкопляса, Хамидуллину, Голощапова, Вовку Голубого, ну и радиста Жука».

Ромашкин застал разведчиков в веселом настроении. Взвод располагался в галантерейном магазине. Огромная витрина его была выбита и служила входом, а тяжелые двери были заперты на замок. Над дверью висели покоробившаяся вывеска и трубки неоновой рекламы. По магазину ходил Вовка Голубой, напялив на себя бюстгальтер и дамский пояс с резинками, а разведчики хохотали над ним, сидя на прилавке.

— Обязательно подарю эти цацки своей бабусе, — сказал Вовка, когда Ромашкин, хрустя сапогами по битым стеклам, вошел в помещение.

Благодушное настроение разведчиков еще больше пасторожило и озадачило Василия. Они и прежде всегда были веселыми, но сейчас кончалась война. Может, реальная возможность остаться живыми уже подсекла тот задор и боевой азарт, с которыми ходили они на задания? Может, он переоценил их и желающих рисковать не окажется?

Ромашкин рассказал разведчикам о своем намерении. Старался говорить спокойно, скрывая волнение, которое бурлило в нем. Говорил, а сам пытливо и с опаской наблюдал за лицами ребят. Ему даже стало страшно — вдруг перед ним уже не те отчаянные парни, какими хотелось их сохранить навсегда в памяти.

— Я понимаю желание каждого из вас вернуться живым домой. Поэтому возьму только добровольцев, — закончил Ромашкин.

Пролеткин изумленно уставился на командира и воскликнул:

— Ну и голова у вас, товарищ старший лейтенант! Не голова, а бочка с мозгами. Это надо же! Такое придумали — самого Гитлера поймать! А мы тут сидим в этом магазине и ушами хлопаем.

Рогатин, по простоте своей, даже чуть приоткрыл рот и, не сказав ни слова, засопел, задвигал плечищами и стал собираться.

Опасения Василия оказались напрасными — разведчики остались разведчиками! Возникло совсем иное затруднение: он не знал, на ком остановить выбор, просились все, и никого не хотелось обижать. Обычно скромные, знающие себе цену ребята, не очень разговорчивые, когда речь шла об их заслугах и мастерстве, на этот раз не выдержали. Они обступили командира и, перебивая друг друга, просили взять на задание. Каждый приводил самые веские доказательства.

— Товарищ старший лейтенант, я с вами в дневной поиск ходил,— напомнил Пролеткин.

— Помните, еще в сорок третьем по льду в тыл ползали? — подсказывал Голощапов. — И флаг брал.

— Два ордена Красного Знамени,— произнес Шовкопляс, показывая на свою грудь.

— Не возьмете, один пойду,— пугал Вовка Голубой. — Я этого фюрера-мурера за усы из подвала вытяну!

Пришлось воспользоваться правом непререкаемости приказа. Оно обижало тех, кто не попал в группу, но Ромашкин ничего не мог поделать. Окончательный состав был такой: Рогатин, Пролеткин, Шовкопляс, радист Жук, Хамидуллин, Голубой, Голощапов.

Теперь нужно было установить, где находится Гитлер. Это могли сказать пленные. В них сейчас недостатка не было, их вели в тыл мимо магазина группами, а иногда и целыми колоннами. Ромашкин развернул на столе план Берлина, подумал: как умно и оперативно сработали в вышестоящих штабах — ко дню вступления в немецкую столицу план напечатали и раздали каждому офицеру. Прикинув, где находится магазин и какие улицы впереди, Ромашкин послал разведчиков подобрать из пленных кого-нибудь покрупнее чином. Вскоре Саша Пролеткин привел костлявого угрюмого офицера в очках, вытащив его из проходившей мимо группы пленных.

— Этот наверняка знает, где их фюрер. Уж больно рожа противная.

Ромашкин спросил:

— Известно ли вам, где находится Гитлер?

По усталому лицу офицера пробежал испуг, он торопливо ответил:

— Нет, нет. Я ничего не знаю.

Возможность стать причастным к делу, касающемуся фюрера, привела пленного в ужас. К офицеру

подступил Саша Пролеткин. Стараясь выглядеть добрым, он, улыбаясь, сказал:

— Гитлер капут, понимаешь?

На этом запас немецких слов у него кончился, и по-русски он добавил:

— Крышка вам, понимаешь? Труба! Чего боишься?

Офицер внимательно выслушал разведчика. Он немного понимал по-русски и, уловив отдельные слова, ответил Пролеткину:

— Да, да, Гитлер капут! — И в знак согласия вяло приподнял вверх обе руки: сдаюсь, мол. Затем, обращаясь к Ромашкину, добавил по-немецки: — Но я не знаю, где Гитлер находится — на крыше или в трубе.

Офицер был слишком испуган. От такого едва ли добьешься толку. Пришлось отправить его в очередную группу пленных, которая брела по улице.

Ромашкин учел оплошность и следующим пленным прямые вопросы о Гитлере не ставил.

— Где находится штаб верховного командования? — спросил он пожилого майора.

Майор помедлил с ответом, косо взглянул на качнувшийся автомат в руках Шовкопляса, нехотя ответил:

— В тридцати километрах от Берлина в направлении Цоссена. — Офицер шагнул к карте и показал пальцем: — Здесь. В лесу. Майбах-один, Майбах-два.

Ромашкина охватило разочарование. Это было далеко — там даже не полоса другой дивизии или корпуса, там соседний фронт наступает. И, стало быть, полковым разведчикам туда нечего соваться.

— А может, он брешет? — спросил Рогатин. — Или не знает вовсе. Давайте других спросим.

Разведчики допросили еще нескольких пленных. Некоторые не знали, где находится верховное командование, а те, кому это было известно, неизменно указывали в сторону Цоссена. Ромашкин уже готов был примириться с постигшей его неудачей, как вдруг в комнату вбежал запыхавшийся Пролеткин. Он тащил за рукав испуганного гестаповца в черном мундире, с одним погоном на плече.

— Товарищ старший лейтенант, послушайте вот этого. Он что-то другое бормочет.

Пролеткин тут же продемонстрировал свою беседу с гестаповцем, из которой он заключил, что этот немец говорит о другом. Разговор выглядел так.

— Гитлер капут? — спросил Саша.

— Найн. Хайль Гитлер! — рывкнул гестаповец, выпятив грудь и вскинув вперед руку. Правда, он тут же опасливо оглянулся — не выстрелят ли ему в спину?

— Молодец, — одобрил Пролеткин и даже похлопал офицера по плечу. — А вот Рогатин наш говорит, что он сам Гитлера бах-бах из автомата.

Саша поманил к себе Рогатина и показал, как тот стрелял в Гитлера.

При всей опасности и неопределенности своего положения гестаповец все же улыбнулся и, замотав головой, сказал:

— Найн! Фюрер находится в имперской канцелярии. — Офицер указал при этом в окно по направлению к центру города.

Ромашкин подвел гестаповца к выбитой раме. Перед ними дымилась и грохотала недалеким боем улица, заваленная обломками домов.

— В рейхстаге? — спросил Ромашкин.

— Нет, в имперской канцелярии.

— Где находится канцелярия?

— По ту сторону реки Шпрее, на Фоссштрассе.

— А есть ли там поблизости станция метро?

Гестаповец посмотрел на русского офицера с нескрываемым презрением — неужели, мол, ты считаешь нас такими дураками? Он ответил с гордостью:

— Поблизости станция «Фридрихштрассе», но она затоплена.

Василий подвел гестаповца к плану Берлина.

— Где?

Офицер лишь теперь догадался, что разговор идет не праздный и не о том, жив или мертв Гитлер. Поняв, что сболтнул лишнее, он побледнел и отдернул руку, занесенную над картой.

— Я ничего не знаю. Ничего вам не скажу. Можете меня расстреливать.

Убедившись, что он будет молчать, Ромашкин приказал отправить его на сборный пункт военнопленных.

Когда гестаповец был уже в дверях, у Василия мелькнула надежда вынудить его на разговор хитростью, и он спросил:

— Как ваше имя?

— Пауль Шредер, — ответил тот и тут же поправился: — Обер-лейтенант Пауль Шредер.

— Очень хорошо. Когда мы захватим Гитлера,

я сообщу ему, кто именно указал нам место, где он находился.

Гестаповец побелел и едва устоял на ногах.

— Умоляю вас!.. Прошу как офицер офицера: не делайте этого. Они истребят весь наш род!

— Кто «они»? — насмешливо спросил Ромашкин.

Офицер смутился окончательно. Он, конечно, имел в виду гестаповцев, совсем забыв в эту минуту, что сам из их стаи.

— Я обещаю забыть вашу фамилию навсегда, если вы подробно расскажете, как лучше добраться до имперской канцелярии.— «Хорошо было бы взять такого проводника с собой. Однако это опасно. Он может закричать и выдать нас, когда поблизости окажутся немцы», — подумал Ромашкин.

Поколебавшись минуту, обер-лейтенант сказал:

— Нет. Больше я ничего не скажу.

Его увели. Василий не очень огорчился отказом. Что он может сообщить: по каким улицам идти? Так мы определим без него, по плану города. И это едва ли нам пригодится. Улиц почти не существует, все завалено рухнувшими домами и баррикадами. Нет, по улицам идти не придется. Будем пробираться напрямую — по дворам, из дома в дом.

Ромашкин наметил на плане маршрут к Фосштрасе. Он был длиною всего в десяток кварталов. В мирное время потребовалось бы не больше получаса, чтобы его пройти. Но теперь в каждом доме, подвале и подворотне ожидает враг. И чем ближе к штабу Гитлера, тем плотнее будет оборона, тем упорнее и злее будут фашисты.

Чтобы действовать в расположении противника более свободно, решили переодеться в немецкую форму. Неподалеку, во дворе, похожем на букву «П», находился пункт сбора военнопленных. Туда и направились разведчики.

Пленные самых различных родов войск и званий сидели группами вдоль стен. Офицеры держались обособленно. У всех был неприглядный вид: грязные и закопченные, небритые и усталые. Большинство из них без страха смотрели советским воинам в глаза, а некоторые заискивающе улыбались и суетливо старались услужить.

В чемоданах и ранцах пленных нашлась необходимая одежда, разведчики выбрали каждый по своему росту. Затем в куче оружия взяли автоматы, пистолеты, гранаты. Закончив переодевание, осмотрели друг

друга, чтобы не выдала какая-нибудь мелочь. Как обычно, не обошлось без шуток.

— Ну и фрицуга из тебя породистый получился! Настоящий Геринг,— хихикал Пролеткин, разглядывая Рогатина.

— А ты чистый Геббельс,— огрызнулся Иван,— такой же плюгавый да болтливый.

Ромашкин переоделся в форму эсэсовского офицера, и все пошли в штаб получить от командира окончательное «благословение». Когда деловой разговор закончился, Караваев сказал Колокольцеву:

— Дайте им конвой, чтобы довели до переднего края. Уж очень похожи, как бы свои не побили.

Разведчиков действительно могли принять за настоящих немцев. Их немало скрывалось в развалинах, и не все спешили сдаваться в плен, кое-кто выжидал, не вернутся ли свои, а некоторые даже постреливали.

В сопровождении веселых конвоиров группа двинулась к фронту. Это было вечером 27 апреля. Наши войска к тому времени окружили Берлин со всех сторон и с тяжелыми боями сжимали кольцо. Город горел. Сквозь дым, клубившийся над домами, солнце казалось бледным желтым шариком. Улицы были завалены рухнувшими стенами домов, битым кирпичом, искореженными автомобилями, танками, пушками, трамваями, трупами, касками. Чем ближе к переднему краю, тем громче треск автоматной и пулеметной стрельбы. Чаще и чаще щелкают в стены пули. Оглушительно бьют зажатые меж домов танки. Звук каждого выстрела мечется среди многоэтажных зданий, залетает в узкие, будто колодцы, дворы, с грохотом дробится о высокие стены. Осколки кирпича, штукатурки, стекол, дымящиеся головешки летят на головы. Дым щиплет глаза. Пахнет гарью и известковой пылью.

Наконец разведчики добрались до передовой. Здесь не было привычных траншей, проволочного заграждения и нейтральной зоны. Линия фронта разделяла два ряда домов. Эта незримая линия иногда перескакивала через тротуары и проходила через одно здание: наверху — наши; внизу — немцы. Порой линия вставала вертикально и вилась по лестничной клетке: на одной стороне ее — фашисты, на другой — наши.

В одном из подвалов разведчики легли рядом с автоматчиками и стали наблюдать в низенькие окна за противоположной стороной улицы.

Многие автоматчики были ранены. Тут и там на солдатах белели бинты с пятнами запекшейся крови. Однако никто не уходил в медсанбат. Куда там! Впереди рейхстаг. Да что рейхстаг — впереди конец войны! В подвале особенно гулко отдавались звуки выстрелов. Стараясь перекрыть шум боя, командовавший здесь сержант спросил:

— К фрицам в гости?

— С Гитлером побалакать хотим,— ответил Шовкопляс.

— Высоко замахнулись!

— Мельче не осталось. Да и вы нонче крупное дело заварили — Берлин берете!

— Ну, давай, давай, пусть знают наших!

В подвал вошел пожилой лейтенант и, узнав, что это за люди в немецкой форме, посоветовал Ромашкину:

— Вы, товарищ, зря не рискуйте, в тыл сейчас пройти невозможно. Улицу простреливают в несколько слоев. А через полчаса начнется общая атака. Мы ворвемся в дома напротив, а вы отрывайтесь вперед или куда-нибудь в сторону. Пока немцы разберутся, что к чему, успеете прошмыгнуть.

Василий согласился с добрым советом, решил подождать. Автоматчики, то вставая, то приседая у подвальных окон, непрерывно стреляли. Иногда пули влетали в подвал и, как бичи, оглушительно шелкали по задней стене. Вдоль нее никто не ходил, все жались к передней стене. Разведчики тоже сидели на этой стороне, прислонясь спинами к холодным кирпичам, курили.

Наконец все стали готовиться к броску в атаку: подле окон и проломов автоматчики встают на ящики, бочки, груды кирпича, чтобы удобнее выскочить, дозаряжают оружие, ощупывают лимонки на поясе и в карманах. В уличном бою гранаты — незаменимое средство. Поэтому все запасаются ими, запихивают куда только можно. Лица солдат суровы, глаза устремлены на улицу. Каждому кажется: если успеешь перебежать дорогу, в домах будет не так страшно. Пусть там в квартирах и на лестничных клетках ждет рукопашная — это легче. Самое трудное — уцелеть, перебегая улицу. В домах напротив у всех окон, бойниц, чердачных отдушин притаились фашисты с пулеметами, автоматами, фаустпатронами и гранатами. Как только волна атакующих выкатится на тротуар, все

эти огневые средства ударят в наших людей, будут валить их на землю, не допуская к стенам домов.

Но атакующие тоже не лыком шиты. Едва прозвучала команда: «В атаку, вперед!» — шквал пуль хлестнул по окнам противоположной стороны. Не сжимая пальцев с курков, бойцы хлестали пулями по домам. Во что бы то ни стало не дать противнику высунуться! Короткий бросок — и наши ворвались во мрак развалин. Их встретили автоматные очереди, взрывы гранат, черные силуэты и гортанные крики фашистов.

Ромашкин стреляет по теням, которые мелькают в пыли и дыму в глубине комнаты. Слышит испуганные вопли раненых. Попал! Продолжая стрелять перед собой, он побежал к просветам окон. Оглянувшись, убедился — разведчики следуют за ним. Он перемахнул через подоконник, помчался к ограде — она кирпичная, высокая, с разбегу, пожалуй, не взять. Заметив в углу мусорный ящик, Ромашкин с ходу вскочил на крышку, заглянул через забор и, не обнаружив немцев, спрыгнул в узкий проулок. Рогатин, Пролеткин, Шовкопляс и остальные посыпались со стены за ним.

И тут Ромашкину показалось, что кого-то не хватает. Но сейчас не до этого. Разведчики вбежали в запахнутый подъезд, пересекли еще один двор. На очередной улице столкнулись с гитлеровцами. Они суетились возле окон. Кричали. Тащили к дверям мебель, устраивали завал. Ребята невольно шарахнулись к сводчатой арке, под которой никого не было видно. Но немцы не обратили на них внимания. Группа перебежала небольшой сквер. Здесь немцы рубили цветущие вишни и яблони. «Зачем их рубят? Неужели для того, чтобы нам не достались?» — подумал Ромашкин, глядя, как падают парядные деревца. Пройдя на другой конец сквера, он понял — немцы расчищают сектор обстрела. За сквером стояло большое здание, его подвальные окна были заложены кирпичом и превращены в амбразуры. Разведчики обошли здание стороной — там наверняка засел целый батальон. Форма — средство маскировки хорошее, но все же следует избегать прямых встреч с врагами.

Миновав несколько кварталов, они выбрали пустой дом и остановились передохнуть. Здесь выяснилось, что с ними нет Хамидуллина и Голощапова.

— Может быть, отстали или потерялись во время атаки? — спросил Ромашкин. — Кто видел?

— Хамидуллин не потерялся,— грустно произнес Пролеткин.— Он упал, когда мы выскочили из подвала. Не знаю, убит или ранен. Видел, что он упал.

— А Голощапов?..

Все скорбно молчали.

— Крепко ранен,— убежденно сказал Саша.— Если бы легко, не отстал бы. Ну, ничего, вылечат — мир уже скоро.

Это напоминание о конце войны вновь всколыхнуло всех. Разведчики заторопились, будто боялись, что война вот-вот кончится и не успеют они выполнить свое последнее задание.

Вот здесь, выходя из дома, убедились, что вражеская военная форма не так уж надежна. На перекрестке стояла грузовая машина, борта ее были опущены, в кузове возвышался стол, накрытый зеленой скатертью. Сначала Ромашкин подумал, что это огромный гроб, но потом понял — это действительно обыкновенный стол, и ничего больше.

За столом сидели три офицера. Один круглолицый, жирный, похожий на повара, в шутку нарядившегося в мундир, и двое худых, с темными, жесткими лицами. Автомобиль преграждал улицу, на которую хотели выйти разведчики. Василий прикрыл дверь, набросил цепочку и стал наблюдать в щель, что будет дальше.

К машине постепенно сходились солдаты, офицеры и унтеры. Эсэсовцы в касках, с автоматами на груди дальше машины никого не пропускали. Когда собралось человек пятьдесят, эсэсовцы окружили их и начали проверять документы. Они громко называли фамилии, а жирный офицер за столом записывал в книгу. Когда перепись закончилась, толстяк начал торопливо ругать задержанных. Он кричал, размахивал руками, гневно таращил глаза. Василий отчетливо слышал его голос, но не мог понять, что именно он кричит. Ясно было одно: ругается. Побушевав минут пять, он взял со стола чью-то солдатскую книжку, выкрикнул фамилию. От солдата, который отозвался, толпа отшатнулась и подалась в стороны. Жирный пошептался о чем-то с сидящими за столом. Те, как игрушечные, кивнули головой.

Эсэсовцы подошли к одинокой зеленой фигурке, оставшейся на середине улицы, и, подталкивая, повели солдата к тротуару. Его поставили к стене лицом и без команды выстрелили солдату в спину. Он, вздрогнув, сел на мостовую, эсэсовцы дали еще несколько

торопливых очередей. Солдат повалился на бок, неудобно лег, поджав под себя руку.

Толстяк за столом еще что-то кричал и, как полководец, выбросил руку с пальцем, указывающим в сторону передовой. Задержанные дружно повернулись и побежали, опасливо оглядываясь на эсэсовцев.

Ромашкин понял — перед ними работал передвижной трибунал.

Между тем офицеры и эсэсовцы закурили, поглядывая в сторону разрывов, стали ждать, когда накопится новая партия. Двое солдат оттащили расстрелянного в подворотню. Ничего не подозревающие дезертиры, солдаты, отбившиеся от своих частей, и раненые снова стали накапливаться на перекрестке.

Воспользовавшись этим, разведчики прокрались пустым домом во двор, потом на соседнюю улицу и вдоль нее пошли дальше.

На небольшой площади им встретился не шагающий, а бредущий строй. Гитлеровцы шли не в ногу, вид их был совсем не воинственный, головы у многих опущены, но кое-кто, выпятив грудь, шагал хлестким шагом. Разведчики, опасаясь, чтобы их не поставили в шеренгу, юркнули на лестницу, которая вела в подвал.

И тут Василий еще раз убедился, что немецкая форма — ненадежная маскировка. У входа в подвал их встретили бледные, исхудавшие женщины с детьми. Принимая за своих, женщины с ненавистью глядели на солдат и, преградив им дорогу, стали говорить что-то очень злое. Ромашкин понял только общий смысл. Они требовали, чтобы солдаты немедленно ушли. Опасались, что, затеяв перестрелку с русскими, они всех тут погубят.

Ромашкин попытался успокоить немок жестом: сейчас, мол, уйдем, не волнуйтесь. А сам слушал, как сверху по мостовой топают колонна. Он опасался только одного — лишь бы женщины не закричали и не позвали на помощь офицера. Немки поняли его почти правильно: приняв разведчиков за дезертиров, они понизили голоса и сердито шипели, как гусыни. Когда топот на улице смолк, разведчики поспешили удалиться.

По улицам, перегороженным баррикадами, изрытым воронками и заваленным рухнувшими домами, идти было тяжело. Местами пожарище так жгло, что

по дороге пройти было невозможно, приходилось обходить. И все же в этом хаосе Ромашкин без труда определял, где находится. На каждом доме под номером было написано название улицы. Найдя ее на плане города, Василий намечал дальнейший маршрут, и группа пробиралась дальше по направлению к Фосс-штрассе.

Сталкиваясь с немцами, военными и гражданскими, ребята быстро проходили мимо. В такое напряженное время всем было не до разговоров. Каждый куда-то спешил, стремясь как можно меньше находиться под обстрелом на улице.

При очередной передышке, когда группа укрылась в каком-то погребе от налетевшей авиации, Ромашкин подумал: «Едва ли кто, кроме разведчиков, попадает в такие отчаянные переделки. Летчики, танкисты, пехотинцы — все сходятся с врагом лицом к лицу, бьются в открытом бою. А мы окружены фашистами со всех сторон, да к тому же нас лупит своя артиллерия и долбит наша же авиация».

Переждав налет, двинулись дальше. От угла к углу, от стены к стене. Чем глубже проникали во вражеский тыл, тем больше встречалось военных и штатских немцев. Беженцы, резервы, тыловые учреждения, уходя из опасной зоны, в которую залетали пули, все плотнее сбивались к центру осажденного Берлина. Дома здесь были пустыми, многие из них разрушены, многие горели. Пожары никто не тушил, водопровод не действовал. Страшно, когда пожары не тушат. Дом горит, а люди бегут мимо, лишь бы подальше, чтобы не было жарко от пламени или не упал кусок обгоревшей стены на голову. В этом безразличии к пожарам особенно чувствовалась обреченность фашистов — зачем тушить, все равно конец.

На одном перекрестке солдаты приспособивали дом к обороне: закладывали окна кирпичом и мешками, набитыми землей. А в сторонке сидел старик в черном помятом костюме и остругивал палку — он явно мастерил белый флаг, готовился к капитуляции. Офицер, заметив старика, вырвал у него палку, затоптал белую тряпку, что-то крикнул и в заключение дал ему увесистый пинок.

Глядя на фашиста, Ромашкин думал: «Правильно говорили, что в Берлин стянуты отъявленные головорезы. Вместо того чтобы прекратить бессмысленное

кровапролитие, они продолжают уничтожать солдат, гражданских людей и свою столицу».

В одном из дворов занимала огневые позиции батарея, отошедшая с передовой. Многие артиллеристы были одеты в гражданские костюмы. Наверное, когда находились в непосредственной близости от наших войск, готовились к встрече с русскими. Хитро придумано: отбежал от пушки — и готово, уже мирный житель, можно кричать: «Гитлер капут, русс зольдат гут!»

Вечер перешел в ночь совсем незаметно. По сути дела, ничего не изменилось. Ромашкин посмотрел на часы — половина второго. Значит, уже 28 апреля. На улицах, как и вечером, было сумрачно, дымно. С наступлением ночи мрак не спустился на город, пожары тускло освещали улицы, в небе стояло зарево грязно-розового цвета.

В подвалах зажглись керосиновые лампы, свечи, коптилки. Теперь с тротуара хорошо было видно сквозь окна и проломы, что делается в подземельях. В одних — женщины, дети, старики лежали на матрацах, коврах, тряпье; каждая семья отгородилась от соседней чемоданами, узлами, занавесками. В других — вповалку рядами лежали солдаты, многие курили, красные огоньки вспыхивали при неярком освещении.

Все это время разведчики продвигались молча. Говорить нельзя: русская речь выдаст, за каждым углом может услышать немец — и тогда не уйти. Шли осторожно, часто сворачивали в дома и развалины, иногда подолгу сидели, пережидая, пока на улице или во дворе станет менеелюдно. Иногда Ромашкин вел разведчиков строем. Несколько раз поднимались на чердаки, пробовали связаться по радио со своими. Но как ни старался Жук, ничего не мог сделать: весь диапазон был забит голосами радистов, находящихся поблизости. В кольце окружения работали еще сотни немецких станций. В эфире был не меньший хаос, чем в самом городе.

Ромашкин надеялся, что ночью будет легче продвигаться вперед. Такой выработался рефлекс: ночь — союзница разведчика. Но в осажденном Берлине все было необычно. С наступлением ночи движение не уменьшилось, машины с боеприпасами продолжали снова к фронту и обратно. Усилился поток дезертиров. Днем они отсиживались в развалинах и подвалах, а сейчас ползли из всех щелей. Наверное, поэтому появилось больше патрулей, часовых и другой охраны,

все чаще стали слышаться окрики. Эсэсовские заградотряды останавливали солдат и прохожих, тщательно проверяли документы. Многих забирали. Заметив это, разведчики свернули в ближний дом и стали советовать — что делать дальше?

— А если по крышам попробовать? — спросил Саша Пролеткин.

— Не плохо бы, — одобрил Ромашкин. — Но сейчас сплошных кварталов нет, дома разъединяют пожары и развалины. К тому же дома разной высоты, десятиэтажный рядом с пятиэтажным. Как ты спустишься?

— По водосточным трубам. Веревки можно добыть.

— Все равно в пожар упруешься, — глухо возразил Рогатин.

— Спустимся, обойдем пожар — и опять на чердак, — защищал свое предложение Пролеткин.

— Хорошо бы забраться в метро, — сказал Ромашкин. — Остановка «Фридрихштрассе» как раз около рейхсканцелярии.

— Тот немец балакал, что метро затоплено, — напомнил Шовкопляс.

— А может, затоплено не до самого потолка? Сделаем плотики и поплывем, — продолжал Василий, сам еще не веря в возможность этого.

Саша Пролеткин, как обычно, готов был на все и горячо поддержал командира:

— Здорово придумано! Немцы уверены — метро залито, а мы хлюп-хлюп и подплывем к фюреру под нос.

— Да тихо ты! — одернул Сашу Рогатин.

Прислушались. Все спокойно.

— В метро пустили воду из Шпрее или из Ландверканала, — продолжал рассуждать Ромашкин. — Уровень воды в реках, конечно, выше туннелей; вода на полпути не остановится. Если не закрыли шлюзы, она наверняка все заполнила до выходов на улицу. Давайте поищем другой путь.

Разведчики вышли в темный асфальтированный двор и обнаружили там открытый люк канализации. Пролеткин первым подошел к отверстию и осветил его карманным фонариком. В глубь земли уходила выложенная кирпичом горловина, на ней чернели металлические скобы. Саша вопросительно посмотрел на

командира. Василий кивнул. Пролеткин стал спускаться по скобам. Все смотрели в черноту ямы и с волнением ждали, что будет дальше.

Рогатин, как наиболее благоразумный и рассудительный, наблюдал за дверью и воротами, чтобы вовремя предупредить, если появятся немцы. Но вот внизу несколько раз мигнул огонек. Саша звал к себе. Стали спускаться. Рогатин и здесь показал свою дальновидность. Он оставался последним, и Ромашкин слышал, как громыхнула над головой тяжелая крышка. Правильно сделал, что закрыл, люк не должен привлекать внимания. Опускаясь все ниже, Ромашкин нащупал ногой выступ и выпустил из рук холодную скобу. Кто-то из разведчиков потянул его за рукав. Вокруг было темно, пахло, как в грязной, запущенной бане.

Саша мигнул фонарем, и Василий успел разглядеть сводчатый туннель, бетонную канаву в полу, по ней текла густая черная жижа, и две ступеньки вдоль канавы. На одной из ступеней стояла вся группа. Разведчики прислушались и, не уловив никакихстораживающих звуков, еще раз посветили фонариками. Туннель был чистым, если не считать булькающей струи в канаве. После опасностей, пережитых на улицах, он показался даже более удобным, чем развалины, где на голову то и дело падали головешки и сыпались кирпичи. Здесь не было дыма.

Разведчики прошли до первого перекрестка и остановились: куда идти дальше? Ромашкин достал план города и компас. Сориентировался: нужно идти на запад. Но верен ли компас? Поблизости проложены металлические трубы, они могут влиять на стрелку. Нужно было взять направление на поверхности. Ромашкин сказал об этом разведчикам, все возвратились к люку, а Рогатин и командир выбрались на поверхность. Подсвечивая фонариком, Василий определил направление на Фосштрассе и подсчитал: пройти осталось не больше километра. Они снова спустились вниз и тронулись в путь, стараясь не шуметь и не зажигать фонари.

Первыми шли Голубой и Шовкопляс, они касались руками влажной стены и осторожно пробовали ногой бровку, прежде чем сделать шаг. Каждый понимал: поспешность опасна, если их обнаружат — в узком туннеле деться некуда, кругом бетон и кирпич, несколько пулеметных или автоматных очередей уложат

всех. Вскоре рука Шовкопляса ощутила конец стенки, дальше была черная пустота.

— Якась дыра, сколько ни мацав, упреди стенки не чувю.

Остановились, напрягли слух — ничего, кроме мягкого бульканья у ног. Подготовив оружие, Ромашкин на короткий миг включил фонарик. Оказалось, вышли к перекрестку. Темные своды туннелей отходили вправо и влево. Василий проверил направление по компасу. Стрелка не обманывала — Ромашкин и наверху определил, что идти надо прямо.

Вдруг всех остановил угрожающий рокот. Казалось, навстречу им неслась какая-то лавина. Разведчики включили фонарики. Ромашкин подумал, что фашисты открыли шлюзы и затопляют туннель. Вот-вот вода плотной стеной кинется на них из-за поворота, а люка, чтобы выскочить, поблизости нет. Гул продолжал нарастать. Вскоре он приобрел какой-то металлический звук и покатился над головами. Ромашкин все понял и облегченно вздохнул: это по улице шла колопна тапков.

Разведчики довольно быстро продвигались вперед. По расчетам Ромашкина, над головой уже была Фосштрассе. «Может, где-нибудь рядом с люком, из которого вылезем, окажутся удобные подходы к убежищу Гитлера? Если удастся его поймать, мы по этим же ходам утащим его к себе».

Нашли выложенный кирпичом колодец с железными скобами и благополучно выбрались из-под земли. Вошли в темный подъезд с массивной дверью с фигурной решеткой. Раньше решетка защищала стекла, сейчас от них остались лишь толстые, похожие на лед осколки. Над подъездом белела табличка с надписью крупными готическими буквами: «Фосштрассе».

Решили подняться на самый верхний этаж — там безопаснее — есть путь для отступления на чердак, на крышу. Двери на самой верхней площадке оказались заперты. Но разве замок преграда разведчику, особенно такому, как Вовка Голубой? Он склонился над замочной скважиной, что-то сделал пожом, и дверь послушно отворилась. Помещение оказалось жилой квартирой. Дорогая мебель, ковры, одежда — все на своих местах. Видно, здесь жильцы были богатые. В просторном зале лежал большой ковер, в центре полированный стол, стулья с высокими спинками.

Фонарики выхватывали из темноты резной буфет с посудой, картины в золоченых рамах, бронзовые статуэтки. В спальне широченная кровать, на которую немедленно бросился Саша. Качаясь на пружинах, сказал:

— На такой с отвычки не заснуть, уж больно мягкая, подлюка!

Кабинет, еще одна спальня, кухня, ванная — все обжитое, нетронутое. Ромашкину стало грустно от этого благоустроенного и покинутого хозяевами жилья. Где-то далеко, по ту сторону войны, и у него осталась своя мирная, благоустроенная жизнь.

Решили остаться в этой квартире до утра, отдохнуть, поесть, а с рассветом определить, где находится рейхсканцелярия, и потом уж искать к ней подходы.

Саша Пролеткин так и не лег на кровать, он приткнулся рядом на коврик и тут же торопливо засопел.

Вовка Голубой незаметно выскользнул из комнаты, где была вся группа, и принялся лазить по шкафам, вскрыл все ящики в письменных столах, перевернул чемоданы. Бывший вор был в полной растерянности: кругом такое богатство — дорогая одежда, деньги, часы, ковры, и вот, оказывается, все это никакой ценности не представляет. Он хотел прихватить что-нибудь самое дорогое, но не мог решить, что же взять? Да и куда потом это деть? «А если командир узнает? Воровство, скажет, и на войне воровство. А ну их к дьяволу, эти шмутки! На всю жизнь не запасешь, а пока всем обеспечивают. Концы! Нет больше вора Вовки-Штымпа. Зачем это барахло, когда рядом люди умирают? Завязано! — подумал Голубой, улыбнулся и весело закрутил мысль: — Ну, во всяком случае, до конца войны, а там, как говорится, будем поглядеть!»

Жук долго настраивал радиостанцию, но, так и не установив связь, тоже лег спать. Рогатин, прежде чем лечь, подпер дверь на всякий случай тяжелым диваном. Обследовал, куда выходят окна, есть ли балкон, близко ли водосточные трубы и пожарные лестницы, нет ли выхода на чердак. В общем, к тому моменту, когда Саша уже выспался, Рогатин только начинал основательно укладываться. На кровать тоже не лег — мягкость была непривычной и ему. Но угол, облюбованный для ночлега, Иван застелил одеялом, под голову положил подушку. Прежде чем заснуть, сказал:

— Ложитесь, товарищ старший лейтенант, утро вечера мудренее.

А Василий, всю войну привыкший действовать по ночам, думал — правильно ли он поступает? Может, надо, пользуясь темнотой, искать убежище Гитлера? Но люди и сам он едва держались на ногах.

Рогатин хотел помочь командиру, не унимался:

— Точно вам говорю, товарищ старший лейтенант, утром голова варит лучше.

Вдруг откликнулся и Пролеткин, весело сказал:

— Правильно. Я тоже замечал, люди с утра всегда умнее.

Иван насторожился: Саша обязательно подковырнет именно его. Пролеткин между тем продолжал:

— Вот Рогатин, к примеру, как утром проснется, так сразу самые умные слова говорит.

Все притихли, ждали. Дальше должен последовать вопрос Ивана, но тот, зная Сашины повадки, молчал. Не дождавшись вопроса, Пролеткин пошел шарить в темной кухне.

В комнате, где располагалась группа, был полумрак, ее освещал отблеск пожарища. Ромашкин назначил Шовкопляса дневальным, а сам лег на кровать. Двери нескольких комнат выходили в зал — их оставили открытыми. Рогатин кряхтел, видно, не мог заснуть, озадаченный словами Пролеткина. Наконец не выдержал:

— Саш!..

— Чего?

— Какие слова?

— Ты о чем?

— Ну, какие у меня слова утром самые умные?

— «Доброе утро, Сашенька, вставай завтракать!» Вот какие.

Рогатин минуту помолчал и сердито буркнул:

— Трепло.

А Пролеткин тут же отозвался:

— Сейчас не утро, ничего хорошего ты сказать не можешь.

Ночь прошла для группы спокойно, ее не обнаружили, никто не пытался войти в квартиру, ни снаряд, ни бомба не угодили в их дом. А в городе продолжал греметь бой. Ночью он стал только чуточку глуше. Где-то неподалеку часто и сипло кашляли зенитки.

Утро 28 апреля было дождливым. Дождь гасил пожарища, дым стал сырой и едкий. Ромашкин рассматривал в бинокль серые, угрюмые дома, которые находи-

лись поблизости. Напротив, за неширокой площадью, высилось огромное здание с колоннами, облицованными мрамором. Во дворе мелькали фигуры эсэсовцев. Наверное, там размещалась какая-нибудь воинская часть. Соседство не из приятных! У дома, стоявшего наискосок, не было одной стены, лестничные клетки и квартиры на всех этажах просматривались до внутренних перегородок. Ромашкин вглядывался в даль, стараясь определить, куда вышли наши войска. Если судить по хлестким выстрелам танков, линия фронта с востока подошла к Александерплац и полицейпрезидиуму, а с севера — вплотную к рейхстагу. Наших отделяла от него только река Шпрее да площадь. В парке Тиргартен немцы копали траншеи. Глядя на плац, Саша Пролеткин читал названия улиц:

— Герман Геринг штрассе. Шлиффен Уфер, Унтер ден Линден.

— А что означает «Тиргартен»? — спросил Голубой.— Тир там для стрельбы, что ли?

— Тиргартен в переводе «Зоологический сад».

— Стало быть, звери живут?

— Туточки кругом звери, куды ни повернись,— заключил Шовкопляс.

— Не зря название такое дали: логово,— вставил Рогатин.

— Вот бы антилопу какую-нибудь прикастриюлить! — мечтательно воскликнул Пролеткин.

— А еще краще — кабана,— поддержал Шовкопляс.

Рогатин неодобрительно покачал головой, с укором бросил Пролеткину:

— Жирафа забыть не можешь, опять из зоопарка хочешь кого-нибудь сожрать.

Ромашкин продолжал разглядывать улицу. «Где же находится Гитлер? Фосштрассе — вот она, а в каком доме эта чертова рейхсканцелярия? — Вдруг у него мелькнула мысль: — Нужно взять пленного, он расскажет! И как я раньше не додумался? Всю войну таскал «языков» для других, а когда понадобился себе, сразу и в голову не пришло! Ночью пленного захватить было легче. Ну, ничего, гитлеровцы и сейчас бродят, как мокрые курицы. И не с такими справлялись».

О своих намерениях он рассказал разведчикам. Саша схватил автомат и сразу направился к выходу.

— Да цыц ты! — прикрикнул на него Рогатин.— План нужно придумать.

— Какой тут план? Выйдем в подъезд, я пальцем поману фрица, который вам больше понравится. А вы ткнете его по балде и поволокете сюда. Вот и весь мой план.

Для разведчиков такая простота была непривычной: прежде ползли по нейтральной зоне, снимали мины, резали проволоку, бросались на часовых, отстреливались, а тут действительно: позови — любой подойдет. Но Ромашкин возразил:

— Во-первых, нам любой фриц не годится. Нужен здешний, который хорошо знает Фоссштрассе. Во-вторых, нас могут увидеть из дома напротив. А если пленный окажет сопротивление и станет орать? Что тогда?

— Ну, насчет сопротивления не сомневайтесь, — успокоил Рогатин, показывая свой тяжелый кулак.

— Ты смотри, не до смерти, — предупредил Жук.

— Опыт имеем — в четверть силы, — усмехнулся Рогатин.

— Хорошо бы взять эсэсовца из дома напротив, — сказал Ромашкин. — Они здесь должны все знать.

Разведчики стали наблюдать за немцами во дворе и в саду, который окружал дом с колоннами. Солдаты и офицеры под дождь без надобности не выходили. Через каждые два часа отсюда по разным направлениям отправлялись небольшие колонны, силой до взвода, вскоре к дому возвращались такие же маленькие отряды — эта часть определенно несла караульную службу. У ворот и в траншеях, вырытых на ближайших перекрестках, охрана менялась в это же время. Иногда подкатывала машина, и офицеры торопливо пробегали в здание. Или наоборот, пустая машина подъезжала по блестящему асфальту, и офицер выходил из подъезда ей навстречу. Окна верхних этажей были пусты, выбитые стекла усыпали подоконники.

Разведчики спустились вниз. В квартире остался только Жук, пытавшийся установить связь.

Убедившись, что никто не помешает, приоткрыли дверь, выходящую на улицу. Первое, что привлекло внимание Ромашкина и даже удивило, — это рост эсэсовцев. Они были как на подбор: высокие, плечистые, здоровенные, каждый не ниже Рогатина.

— Видно, отборная часть, — шепнул Василий разведчикам.

— Породистые, сволочи, — согласился Пролеткин.

Немцы появлялись во дворе, уезжали и приезжали на автомобилях и мотоциклах, а за ограду выходили редко. Вероятно, им не разрешалось отлучаться, а может, не хотели мокнуть под дождем.

Пришлось вернуться в свою квартиру ни с чем. Ромашкин стоял у окна, жевал безвкусную волокнистую тушенку и продолжал следить за домом. Сверху было виднее, внизу мешала ограда, отвлекали проезжающие машины, танки, шагающие колонны. А здесь двор и сад просматривались глубже. Правда, загораживали ветки деревьев. Из сада поднималась металлическая мачта, по-видимому, антенна мощной радиостанции или громоотвод, а может быть, и флагшток.

Когда стемнело, пошли вниз. Ромашкин повел группу строем. Правда, строй жидковат, всего три человека, но так они выглядели менее подозрительно — похожи на патруль или смену караула.

Пересекли улицу и зашли во двор, примыкающий к саду. Ромашкин знал — двор не охранялся. Помогая друг другу, перелезли через ограду. Если обнаружат, едва ли удастся уйти. И это в последние дни войны! Несколько минут все стояли не двигаясь, привыкали к месту. Такое с разведчиками случается, это состояние похоже на спортивный страх: гулко и часто колотится сердце, пробегает по телу нервная дрожь; пройдет минута, другая, самообладание восстановится, и в голове снова побегут четкие быстрые мысли.

Когда обрели такое состояние, Ромашкин показал Пролеткину жестом, чтобы тот заглянул за угол дома. Саша, ступая осторожно, ушел и вскоре возвратился более смелой поступью, — значит, никого нет.

— Наблюдайте! — приказал ему и Шовкоплясу Ромашкин.

Они ушли к повороту. Рогатин ощупал раму окна, всунул в щелочку топорик, прихваченный с кухни. Этим топориком хозяйка квартиры, наверное, отбивала котлеты. Слегка покачивая топориком, Иван расширял щель и пытался открыть одну створку. Дерево хрустнуло, но створка не двигалась. Рогатин налег на свой инструмент, гвозди взвизгнули и чуть-чуть подались. Раздавшийся скрежет был похож на царапание ножом по стеклу — у Ромашкина свело челюсти, колючие мурашки побежали по спине.

В это время из-за угла выскочили Пролеткин и Шовкопляс, предостерегающе замахали руками. Все зата-

ились и слышали тяжелые шаги. Шел один. Наверное, кто-то из здоровяков эсэсовцев. Саша глянул за угол, тут же отшатнулся и выдохнул:

— Офицер!..

Разведчики приготовились. В следующий миг эсэсовец, опрокинутый на спину, уже хрипел в цепких руках Рогатина. Саша быстро захлестнул фашисту ноги ремнем, а Голубой скрутил руки. Все это произошло так быстро, что эсэсовец не успел опомниться. Он начал извиваться и биться, когда связали. Рогатин и Шовкопляс подняли добычу и поспешили к ограде.

В квартире гитлеровец оглядел разведчиков, а они пленного. Обе стороны были одинаково удивлены. Немец недоумевал, почему его связали свои. А разведчики были огорошены тем, что перед ними стоял не офицер, а рядовой эсэсовец, даже не ефрейтор.

— Чего ж ты брехал? — надвигаясь на Пролеткина, спросил Рогатин.

— Я думал, он не меньше генерала, уж больно представительный.

Услыхав русскую речь, немец только теперь понял, что с ним произошло. Он замотал головой, замычал и стал биться в своих путах.

— Как будем допрашивать? — спросил Ромашкин. — Он может кричать.

— Унесем его в дальнюю комнату, там нет окон, и наготове подушку будем держать, — посоветовал Пролеткин. — Как пикнет, сразу заткну ему кричалку.

Пленного перенесли в ванную, прикрыли дверь и, посветивая фонариком, еще раз внимательно осмотрели. У «языка» оказалось необычное удостоверение. Не серенькое, как у рядовых солдат, а в обложке из тонкой кожи, на плотной дорогой бумаге. Да и сам пленник выглядел необычно. Мундир рядового эсэсовца был сшит почему-то из тонкого добротного габардина. Нет, этот фриц не простая птичка! Вид у него действительно был генеральский: тучный, животастый, щеки обвисшие. Может, какой-нибудь крупный чин сбросил все регалии и надел погоны рядового, чтобы удрать, когда наступит последний час рейха?

— Пусть немного освоится, — сказал Ромашкин, — сейчас он плохо соображает. Все пока отдыхайте, Шовкопляс, останься здесь. Будем приглядывать по очереди.

Посвечивая фонариком, Василий стал читать документы пленного. Это был Ганс Краузе, 1910 года рождения, член фашистской партии. В графе, где обычно ставится номер полка и дивизии, были какие-то загадочные цифры и две буквы: «А-Н».

Успокоившись после опасной вылазки, Ромашкин стал обдумывать, как вести допрос. Ему хорошо запомнился испуг офицера, которого он спросил напрямик о Гитлере. Нужно вопросы задавать так, чтобы пленный не испугался и рассказал о том, что интересует разведчиков.

Ромашкин позвал Рогатина и Пролеткина. Эта мера была не лишней. Эсэсовец здоров как бык, и кто знает, какие у него намерения. Втроем вошли в ванную. Здесь светила парафиновая плошка, которую зажег Шовкопляс. Немец лежал в прежнем положении.

— Как он? — спросил Ромашкин.

— Кряхтит, — ответил Шовкопляс.

Пленного посадили на край ванны. Он смотрел испуганно, руки и ноги его оставались связанными, во рту кляп.

Василий сказал по-немецки:

— Вам разрешат говорить. Но если закричите, будет смерть.

Пленный закивал головой. Когда вынули кляп, он облегченно вздохнул и сказал густым сиплым голосом:

— Развяжите.

— Не все сразу. Ваша фамилия? — спросил Ромашкин, умышленно раскрыв служебную книжку.

— Ганс Краузе.

— Год рождения?

— Десятый.

— В какой части служите?

— Эсортный батальон Адольфа Гитлера! — с гордостью произнес немец.

Вот что означают буквы «А-Н»! Теперь понятно, почему эсэсовцы здесь отборные и в таких костюмах.

Пока все шло хорошо, загадочные буквы расшифрованы. Но что значит «эсортный»? Стараясь не спугнуть Ганса Краузе, Василий безразлично спросил:

— Какую задачу выполняет ваш батальон?

— Мы охраняем фюрера, — гордо ответил немец.

Он, вероятно, считал, что это известно захватившим его русским и вообще все происходящее — лишь вступление к настоящему допросу. А у Ромашкина так и запрыгало в груди: из личной охраны Гитлера! Вот

она, ниточка, которая укажет дорогу в лабиринте рейхсканцелярии. Сделав усилие, чтоб скрыть охватившую радость, Василий иронически улыбнулся и, продолжая смотреть в удостоверение, пошутил:

— Вы охраняете пустой дом. Гитлер давно улетел в Испанию, к своему другу Франко.

Оскорбленный таким обвинением обожаемого фюрера, пленный твердо сказал:

— Неправда! Я его утром видел. Он здесь, в подземном бункере рейхсканцелярии.

— Уверен — это другой человек с наклеенными усами. Он оставил двойника, чтобы отвлечь от себя внимание, — настаивал Ромашкин.

— А Ева Браун? — спросил эсэсовец. — Уж ее никем не заменить. Ее фюрер никогда не бросит. И личные пилоты фюрера Битц и Бауэр тоже здесь.

— А где самолет Гитлера?

— Не знаю. Этого я не знаю, — Краузе явно насто-рожился.

— А что вы лично делаете в охране?

— Я дежурил у входа в убежище.

— Куда ходят караулы через каждые два часа?

— Это батальон СС. Ему поручена наружная охрана, их посты в домах вокруг рейхсканцелярии.

«Значит, здесь кроме эскортного батальона еще и батальон личной охраны, — отметил про себя Ромашкин. — Как же наконец выяснить, где рейхсканцелярия? Если немец поймет, что мы здесь как слепые котята, он перестанет давать показания или начнет врать. Это уведет нас по ложному следу». Продолжая вроде бы ни к чему не обязывающий разговор, Василий, усмехаясь, спросил:

— А Гитлер тоже выходит ночами погулять тайком?

Подобная вольность в обращении с именем фюрера показалась эсэсовцу кощунством. Он посмотрел на Ромашкина с ненавистью и зло ответил:

— Оставьте в покос фюрера, мы с вами очень маленькие люди, чтобы говорить о нем. Можете не сомневаться, мы сумеем постоять за нашего фюрера! — Немец кивнул в сторону дома, где его захватили.

«Уж не эта ли серая махина — рейхсканцелярия?» — подумал Ромашкин. И строго сказал:

— Ну, лично вам, Краузе, стоять за Гитлера уже не придется.

У фашиста сразу поубавилось спеси, он спросил с затаенным страхом:

— Расстреляете?

— Нет, здесь нельзя шуметь; мы вас повесим,— Василий показал пальцем на потолок.

Краузе совсем скис, жирные щеки его дрогнули и обвисли. Понимая, в каком состоянии он находится, Ромашкин, стараясь быть красноречивым, заговорил о послевоенной жизни:

— Война закончится через несколько дней. Все вернутся к своим фрау и детям. Люди будут работать, отдыхать.— Взглянув на большой живот собеседника, Ромашкин подумал: «Он определенно обжора» — и добавил: — Все будут есть вкусную пищу: курица, гусь, поросенок. Хорошо! Кофе, шнапс, сигары. А вы будете мертвый. Вас снимут с веревки и закопают. Товарищи будут считать вас трусом и самоубийцей. Никто не узнает, что мы вас повесили.

Немец смотрел исподлобья. Ох, если бы сейчас ему развязали руки, он разорвал бы Ромашкина!

Как заставить его говорить? Время шло, грохот боя в городе не умолкал. Скоро сюда придут наши войска, а Гитлер удерет из-под носа! И Ромашкин продолжал искушать пленного:

— Но вы можете остаться живым.

Эсэсовец с недоверием посмотрел ему в глаза.

— Что я должен для этого сделать?

Ромашкин схирился:

— Мы должны уйти к своим. Но здесь всюду сильная охрана. Если выведете нас из этого района, мы вас отпустим.

— Не обманете?

— Даю слово офицера.

— На вас форма немецкого офицера, а наши офицеры умеют держать слово.

— Русские тоже.

Немец с любопытством посмотрел на него и признался:

— Первый раз вижу живого русского офицера.

— Вы согласны?

— Да.

— Но если попытаетесь обмануть, первая пуля вам.

Ромашкин достал пистолет из кобуры. Сказал, чтобы развязали пленному только ноги. Затем вывел его в зал. Остановились у окна. Рядом наготове стояли все

разведчики. Василий стал быстро задавать вопрос за вопросом:

— Где несут охрану караулы?

— На всех улицах, которые сюда подходят. Крайние дома квартала превращены в крепости.

Ромашкин посмотрел на темные силуэты зданий. Оказывается, он с разведчиками по туннелю проник в центр квартала, оцепленного эсэсовцами.

Немец между тем продолжал:

— Второе кольцо охраняет рейхсканцелярию снаружи — ворота и входные двери. Оба кольца — это батальон СС. Наш эскортный батальон дежурит внутри здания.

— Где был ваш пост?

— В этом крыле канцелярии. — Эсэсовец кивнул на самый ближний край дома.

— Черт возьми! Мы, оказывается, вторые сутки находимся рядом с Гитлером! — сказал Ромашкин спокойно, чтобы немец по интонации не уловил его радости. — Значит, вы стояли у входа в бомбоубежище. А кто охраняет двери, выходящие в сад?

— За каждой из них стоят четыре парня из батальона СС.

— Где размещается свободная смена?

— Они спят на первом и втором этажах в бывших служебных помещениях. Сейчас дом пустой. Все генералы — в бетонных бункерах под землей.

— А где самолет Гитлера?

— Поверьте, я не знаю. До 24 апреля он был на аэродроме Гатов, но этот аэродром уже не действует. Я говорю правду. Двадцать пятого мы собирали население и подготовили уличную магистраль как взлетную площадку. Когда рассветет, увидите — вон там срубленные деревья и сваленные столбы. Мы убрали все, что может помешать взлету. На эту улицу уже садился один самолет. Прилетел генерал фон Грейм. Самолетом управляла его жена — Ханна Рейч. Она прекрасная летчица-спортсменка. Говорят, генерал Грейм будет назначен главнокомандующим воздушными силами вместо рейхсмаршала Геринга.

— Где самолет Ханны Рейч?

— Он где-то здесь замаскирован. Генерал фон Грейм не улетал, он у фюрера.

Эсэсовец стал пояснять, как пройти по дворам, чтобы выбраться из этого района. Однако Ромашкин

его не слушал. Он уже думал о последующих действиях. «Через охрану в подземелье не пробиться. Самый удобный момент для захвата Гитлера — во время посадки в самолет. А если мы не справимся с охраной? Их все равно будет больше, чем нас. Правда, на нашей стороне внезапность. Хорошо бы схватить его и улететь на этом самолете. Но никто из нас не имеет понятия об управлении самолетом. Значит, Гитлер улетит? Этого допустить нельзя! Следовательно, встанет такая ближайшая задача: разыскать самолет Ханны Рейч и вывести из строя мотор. Но сделать так, чтобы немцы об этом не знали. В решающий момент он не сможет улететь и попадет в руки наших. Они уже близко. Но как испортить мотор? Как пробраться к самолету и скрыться незамеченными?»

— Когда мы пойдем? — спросил Краузе.

— Обстоятельства изменились, придется задержаться.

— Обманули? — с укором сказал гитлеровец.

— Почему вы так думаете? Вас же не собираются вешать.

Василий пересказал разведчикам все, что узнал от пленного.

— Давайте думать, как быть дальше. Рогатин, отведи пленного в ванную и уложи, пусть лежит.

— Может быть, я его кокну? — спросил Вовка. — Что с ним возиться? Будет только мешать.

Это был самый верный и простой выход. Пленный действительно станет обузой, если водить его за собой, он может удрать, уловив удобный момент. Ромашкин ненавидел фашистов, убивал их беспощадно в открытом бою. Но убить пленного не позволяла совесть. «Наивные все же мы, русские, — думал он. — Нас тысячами истязали в лагерях, умерщвляли в душегубках, и может быть, этот самый фашист стрелял в наших женщин и детей, а я не разрешаю его уничтожить». Но как Василий ни старался себя разозлить, ничего не вышло. Вид беззащитного связанного человека его обезоруживал.

— Нет, — сказал он Голубому, — не нужно. Отведите его в ванную. Потом видно будет.

После обсуждения создавшейся обстановки решили искать самолет. Разделились на пары — Ромашкин с Шовкоплясом, Рогатин с Пролеткиным. Радисту и Голубому поручили охранять пленного.

Остаток ночи разведчики лазили по развалинам. Ромашкин и Шовкопляс добрались до поваленных деревьев и столбов. Улица действительно была расчищена, воронки от снарядов засыпаны. Краузе сказал правду: улицу подготовили как взлетную полосу. Однако самолет обнаружить не удалось. На рассвете Ромашкин решил вернуться на свою базу. Вскоре пришли Рогатин и Пролеткин. Они тоже не нашли самолета.

— Будем изучать развалины днем,— решил Василий.— Пойдем в другие квартиры. Осмотрим все направления, может, увидим самолет из других окон.

На рассвете 29 апреля разведчики определили по шуму боя, что наши войска совсем близко. Они уже заняли Ангальский вокзал, Потсдамскую площадь и приближались к рейхсканцелярии по Вильгельмштрассе. Рейхстаг дымился, но еще не был взят.

День, как и вчера, нарождался пасмурный и хмурый. Моросил дождь. Гремели артиллерийские выстрелы. Дым по-прежнему застилал улицы. Ромашкин рассматривал при дневном свете рейхсканцелярию. Когда-то это гигантское здание, наверное, выглядело очень внушительно. Прямоугольные колонны, облицованные серым мрамором, явно претендовали на римское величие. Однако все это можно было лишь предполагать: теперь перед ними стояла огромная, исклеванная снарядами развалина. Многие колонны упали, все окна выбиты, мраморная облицовка крошилась.

Днем так и не удалось обнаружить самолет. Ромашкин хотел взять еще одного пленного в районе взлетной площадки. Уж он-то должен знать, куда спрятали эту машину. Но все планы Василия нарушили события, развернувшиеся вскоре. В десять часов тридцать минут началась артиллерийская подготовка. Ромашкин понял: готовилось общее наступление советских войск. Дом, где сидели разведчики, задрожал и задребезжал остатками стекол, как мчащийся трамвай. Хорошо было видно сверху: снаряды рвались на крышах, как на поле боя, улицы и промежутки между домами затянула завеса дыма, во многих местах ее пробивали языки пламени.

В доме напротив началась паника. Фашисты бежали, как муравьи в горящем муравейнике. Но удирать было некуда. Наоборот, сюда с разных направлений стекались разбитые гитлеровские части.

Охрана канцелярии продолжала действовать —эсэ-

совцы не пускали отступающих за ограду. Но первое кольцо охраны — оно находилось на подступах, в укрепленных домах, — было прорвано. По Фосштрассе беспорядочным потоком двигались грязные, измученные солдаты, автомашины, танки. Ими никто не командовал, они просто брели в ту сторону, куда еще можно было идти.

В середине дня разведчики отчетливо услышали автоматные очереди у станции метро «Фридрихштрассе», это было совсем близко. Ромашкин продолжал следить за рейхсканцелярией, там явно что-то замышлялось. Эсэсовцы принесли из глубины сада девять канистр, составили их в ряд. Караулить остался один, остальные ушли.

— Приведите пленного, — сказал Ромашкин.

Краузе поставили у окна, прикрыли занавеской, спросили:

— Что они делают?

Он всмотрелся, ответил:

— Возле канистр находится Кемпке — личный шофер фюрера.

— Они собираются заправить автомобиль?

— Не знаю.

Шофер Гитлера стоял на своем посту около часа. Но вот в дверях показались офицеры-эсэсовцы. Они несли большой, скатанный в рулон ковер. За ними шагали еще двое, эти несли что-то полегче, тоже продолговатое, завернутое не то в портьеру, не то в чехол от дивана.

Разведчики с интересом наблюдали за странной процессией. В ковер было завернуто что-то тяжелое. Офицеры заметно устали, на помощь к ним поспешили эсэсовцы из охраны. Однако офицеры не подпустили солдат к своей ноше, сами донесли ее к воронке от снаряда и бережно положили на дно.

Сразу же солдаты и шофер Гитлера стали сливать туда из канистр бензин. Потом, чиркнув зажигалкой, один из офицеров бросил ее в воронку. Голубое пламя мгновенно рванулось вверх. Эсэсовцы, стоявшие вокруг, отпрянули, но не разошлись, пристально смотрели на поднимающийся из воронки огонь.

Позже из газет стало известно, что Гитлер отравился и его сожгли во дворе рейхсканцелярии вместе с Евой Браун, которая тоже покончила жизнь самоубийством. Возможно, свидетелями именно этой сце-

ны стали наши разведчики. Впрочем, настаивать на том, что они видели именно сожжение фюрера, Ромашкин не мог: в Берлине в те дни фашисты жгли многое: уничтожали и документы и трупы высокопоставленных деятелей рейха, пустивших себе пулю в лоб или убитых во время обстрелов и бомбежек.

Разведчики не придали особого значения увиденному: в это время произошло такое событие, что все забыли о костре, догоравшем в воронке.

Первыми загалдели и засуетились эсэсовцы. Они о чем-то кричали, что-то показывали друг другу, возбужденно размахивая руками.

Ромашкин взглянул в сторону, куда они показывали, но не увидел ничего особенного и не догадался, что же так обеспокоило фашистов. Вглядевшись внимательней, он все понял и на несколько мгновений онемел от радости. На дымящемся куполе рейхстага — он находился неподалеку, за колоннами Бранденбургских ворот, — билось родное красное знамя. Вокруг полыхали пожары, здание рейхстага тоже было в дыму, поэтому Василий не сразу заметил знамя.

Разведчики запрыгали от радости и негромко, чтобы не обнаружили, закричали «ура». Рогатин тряс немца за плечи и, сияя от счастья, почти кричал ему в лицо:

— Видишь, фашистское отродье, Гитлер капут! Войне капут!

Во дворе рейхсканцелярии еще чадили обуглившиеся свертки, но на них уже никто не обращал внимания.

* * *

Второго мая Берлин был взят.

Василий и его разведчики после задания выпалились и отдохнули в полку. Здесь их подждал Голощапов, один из двоих упавших на улице при прорыве группы в тыл гитлеровцев. Его ранило в плечо. В госпиталь он не пошел.

— Какой госпиталь, когда победа рядом? Да и вы на задании, я ж тут чуть с ума не тронулся, пока вы там лазили! — говорил старый солдат, пряча радость за напускной грубоватостью. Потом он рассказал печальные подробности гибели Хамидуллина.

— Его на той же улице срезало, наповал. Я подполз к нему, а он уже не дышит... Схоронил его сам, в последней братской могиле нашего полка.

Разведчики сходили к свежему холму земли, он оказался в том сквере, где фашисты, расчищая сектор обстрела, рубили цветущие яблони и вишни. Сняв шапки, ребята в скорбном молчании постояли у могилы.

После обеда почистились, приоделись и всем взводом пошли в центр Берлина, к рейхстагу. Было интересно поглядеть — какой он, Берлин, о котором так часто думали и говорили.

Город еще чадил, многие улицы были завалены рухнувшими стенами. Но уже всюду копошились люди: местные жители, вылезшие из подвалов и убежищ, пленные — вчерашние враги — и наши солдаты — те, кто брал с боем эти дома и улицы. Все вместе они растаскивали обгоревшие бревна, рельсы, мешки с песком, обломки стен, искореженные автомобили, танки, пушки. Надо было прежде всего расчистить проезжую часть, чтобы вывезти раненых и убитых, а живым доставить воду и пищу. На перекрестках уже стояли наши девушки-регулирующие, лихо махали флажками и козыряли генералам.

На здании рейхстага развевались красные флаги, на Бранденбургских воротах тоже трепетал на ветру алый кумач. Все шли к рейхстагу. Огромный дом выгорел изнутри, над окнами чернели дымные полосы, крыша кое-где обвалилась, от купола остался железный скелет. Стены были избиты снарядами и пулями, крошево кирпича и штукатурки завалило тротуары и прилегающие клумбы. Площадь была запружена танками, орудиями, машинами — это отдыхали те, кто брал рейхстаг.

Солдаты и офицеры писали на стенах и колоннах свои фамилии.

Саша Пролеткин достал нож и сказал:

— А мы Берлин не брали? Да мы этот рейхстаг на день раньше других видели!

Он полез на подоконник, нацарапал: «А. Пролеткин из Ростова».

За ним последовали другие ребята. Василий тоже нашел чистое место под окном, наверх не полез, стоя на тротуаре, вырезал своей финкой: «Ромашкины — отец и сын». Царапая стену, думал: «Ты не дошел, но пусть твое имя будет здесь, я и за тебя и за себя воевал».

Вспомнив об отце, Василий погрустнел. Радость победы была с горчинкой не только у него. Каждый вспоминал тех, кого сразили пули на долгом пути

к Берлину, кто шел рядом, но не мог сейчас так же, как они, написать свою фамилию на рейхстаге.

Читая имена победителей, Василий думал о погибших друзьях, они представлялись ему живыми. Вот отец в наглаженном синем костюме, при галстукe, всегда деловитый, озабоченный какими-то городскими делами. Василий так и не видел отца в военной форме, поэтому вспоминался он в своем гражданском костюме. Блестя золотыми зубами, встал в памяти улыбчивый, отчаянный Иван Петрович Казаков. В его доме теперь горе, родные даже не подозревают о той шутке, которую Петрович придумал для них. На все чудачества, наверное, были бы согласны его близкие — и траншеи отрыли бы, и по колена в воде ночь просидели бы, только бы возвратился их Иван. А Костя Королевич, голубоглазый, румяный, стоял, стеснительно потупясь, будто ни к боям, ни к подвигу никакого отношения не имел. И мудрый, добрый комиссар Гарбуз словно заглянул в душу Ромашкина и напомнил: «Повезу тебя на Алтай, подберем тебе самую красивую невесту в районе». А всегда остроумный, порывистый Женя Початкин шепнул: «Прощай, Вася, желаю тебе в мирной жизни всего самого хорошего». Был бы Женя прекрасным инженером... И скромный, всегда подтянутый, отменно дисциплинированный Коноплев. «Такой же, как я, школьник был перед войной».

Вспомнил Ромашкин и других отличных ребят — здоровяка Наиля Хамидуллина, не придется уж ему больше делать автомобили на Горьковском заводе; пекаря Захара Севостьянова, добрейшего русоволосого силача, который мечтал кормить свежим ароматным хлебом своих земляков. Тихо приблизился печальный, скромный и честный штрафник — профессор Нагорный, грустно улыбаясь, закрывал на груди рану, кивая головой, устало сказал: «Ничего, я дойду!» Целая вереница шумливых румяных младших лейтенантов — выпускников училища, легших в землю на подступах к Москве, — уходила в прошлое.

Как и на параде 7 ноября сорок первого года, Ромашкин ощущал сейчас — вот она, история, и чувствовал ее поступь. В эти дни он как бы видел ту самую грань, о которой в учебниках пишут: «до» и «после». Теперь в жизни Ромашкина, хоть и коротка она по годам, было этих рубежей не меньше, чем у многих людей, проживших долгую жизнь: до войны, после войны. Новый,

только начинающийся период представлялся радостным и солнечным. Он начинался великим счастьем Победы.

— Заровняют это все,— сказал Иван Рогатин, кивнув на фамилии на стенах и колоннах рейхстага.

— Время сотрет все: и надписи, и нас всех,— вздохнул Голощапов.

— Нас не сотрет. Мы теперь — история! — возразил Жук.

— Да, так прямо детишки в школах и будут изучать: жил-был такой геройский радист Жук,— съехидничал Голощапов.

— Каждого в отдельности не узнают,— спокойно ответил Жук,— но обо всех вместе станут говорить: — Здесь в одна тысяча девятьсот сорок пятом году бились советские войска и, прорвав мощнейшие укрепления, взяли Кенигсберг или вот этот Берлин.

— Дедушка Суворов, подвинься, дай место встать рядом,— хохотнул Пролеткин.

Вдруг Голощапов сказал совсем о другом, видно, давно его мучили эти мысли, и только сейчас старый солдат их выложил:

— А знаете, ребята, я никогда больше женку бить не буду!

Разведчики сначала засмеялись, потом притихли, поняли: эти слова важны для самого Голощапова. И вообще день такой торжественный, что каждый должен высказать или загадать самое заветное.

— А я завязываю навсегда,— сказал Вовка Голубой.

— А я учиться пойду на шофера,— воскликнул Пролеткин.

— Я буду Галю кохати усе життя! — истово молвил Шовкопляс.

— А ты чего молчишь? — спросил Саша Ивана.

— А я что? Я... — растерянно заморгал Иван. — Я буду работать так, чтоб хребтина трещала!

— А вы, товарищ старший лейтенант? — не унимался Саша.

Василий, как Рогатин, опешил. Что же будет он делать после войны? Конечно, мечтал в дни затишья о службе в армии или об учебе в институте, о том, что женится на Зине, не раз сердце щемило от простого желания работать, делать своими руками что-то полезное людям. Но все эти мечты были мимолетными, потому что суеверно опасался: когда основательно все

обмозгуешь, тут-то пуля тебя и подкараулит. Сейчас Ромашкин и сам не знал, какая у него была заветная мечта, но надо было что-то сказать, причем искренно, как все ребята, и Василий ответил:

— Поеду домой, помогу матери. Она много страдала во время войны. Ну, а потом, наверное, женюсь! Буду жить-поживать, детей наживать!

Девятого мая Ромашкин сидел за огромным дубовым столом в комнате подполковника Колокольцева. Вокруг стола — дюжина стульев с резными высокими спинками. В углу спокойно тикали высокие, как шкаф, часы. На стенах висели картины в золоченых рамах.

Виктор Ильич Колокольцев очень хорошо вписывался в эту богатую старинную комнату. Он чувствовал себя свободно, будто не жил несколько лет в сырых блиндажах, движения его были неторопливыми, изящными.

Ромашкин теперь был начальником разведки. После подсказки генерала Бойкова в дивизии быстро оформили документы — Ромашкин получил повышение и звание капитана. Люленкова тоже не обидели — он пошел начальником разведки соседней дивизии.

Став помощником начальника штаба по разведке, Ромашкин целыми днями работал рядом с Колокольцевым. Война кончилась, а бумаг в штабе не убавилось — отчеты о палиции людей, боеприпасов, ответы на бесчисленные запросы, заявки на продовольствие, организация караулов, внутреннего порядка, занятий, отдыха — все это, когда нет боев, оказалось, требует точного оформления приказами, инструкциями, графиками, расписаниями. Колокольцев учил Ромашкина сложной штабной премудрости, между ними сохранялась и крепла прежняя взаимная симпатия.

Сегодня Колокольцев пригласил Ромашкина в эту богатую комнату не случайно. Ему хотелось именно здесь осуществить то, что он задумал. Подтянутый и торжественный, он встал напротив Ромашкина и со значением произнес:

— Я намереваюсь, Василий Петрович, сделать вам небольшой презент. Я знал, вам нравилось мое пристрастие к русскому чаепитию. Так вот, примите, пожалуйста, и вспоминайте меня, старика, когда будете чаевничать...

Он раскрыл фугляр, обтянутый синей матовой тканью, и перед Ромашкиным тускло блеснул отделанный

бирюзовой эмалью подстаканник, рядом с ним в специальном углублении лежала чайная ложка с таким же узором на ручке, как и на подстаканнике.

Василий был растроган вниманием и подарком.

— Спасибо, Виктор Ильич, всю жизнь буду пить чай и вас помнить! — с чувством сказал он.

— Вот и славно. Сейчас мы его обновим. Серегин! — позвал начальник штаба и, когда ординарец вошел, спросил: — Как самовар?

— Готов, товарищ подполковник.

— Подавай.

Они сели на тяжелые резные стулья и стали пить чай, густой и прозрачный, ароматный и умиротворяющий.

— Я размышлял о вашем будущем, Василий Петрович, — задумчиво сказал Колокольцев. — Мне кажется, вам следует остаться в кадрах. Вы отличный боевой офицер. Я вспоминаю, каким вы пришли в полк — молоденьким, порывистым. Наверное, о подвигах мечтали?

— Еще как! — подтвердил Ромашкин.

— Теперь вы прошли великолепную боевую школу. Мне кажется, кроме личного опыта вы многому научились у Кирилла Алексеевича Каравасва. К примеру, командирской твердости, стойкости, вниманию к людям. А у Андрея Даниловича Гарбуза — партийной мудрости и принципиальности. У друга вашего Куржакова — злости и ненависти к врагу. У Казакова, Жени Початкина и многих других — бесстрашие.

Ромашкин ждал, что скажет Колокольцев о себе. Но подполковник замолк, и Василий подумал: «А у вас я учился не только штабной культуре, но и патриотизму, любви к Родине без громких слов».

— Вам обязательно следует подготовиться и сдать экзамены в академию, вы... — Колокольцев не успел договорить, за окном, а потом по всем прилегающим улицам и вдали началась беспорядочная, все нарастающая стрельба.

— Что такое? — удивился Колокольцев.

Ромашкин на всякий случай вынул пистолет. «Уж не придумали ли фашисты какую-нибудь вылазку?»

На крыльце офицеров встретил сияющий ординарец. Он кричал во все горло:

— Все! Мир! Конец войне! Сейчас по радио объявили — сегодня, девятого мая, день полной победы.

Ромашкину очень захотелось быть в эти минуты со своими разведчиками. Он попросил:

— Позвольте, Виктор Ильич, пойти к моим ребятам?

— Идите, голубчик, и оставайтесь, сколько посчитаете нужным.

Разведчики стреляли из автоматов в небо, пускали ракеты, кричали, потрясали над головой руками. Ромашкин тоже стал стрелять вверх из пистолета и самозабвенно что-то кричал вместе со всеми. Когда радость немного улеглась, предложил:

— Идемте, братцы, гулять по Берлину!

— Сводите нас в рейхсканцелярию, надо посмотреть, где Гитлер сидел и куда мы чуть-чуть не забрались! — весело сказал Саша.

— Ну, ты не привирай, нам в помещение запрещено было проникать, мы только сбоку припека могли фюрера прихватить,— поправил Ромашкин.— И вообще, ребята, мой совет — будете рассказывать о своих похождениях, говорите честно, как было, правда всегда лучше любого вранья. Вранье как немецкий эрзац-хлеб: с виду на хлеб похож, а по сути своей — опилки, отруби!

У всех дверей рейхсканцелярии уже была выставлена охрана.

— Не велено никого пускать,— сказал солдат, прохаживаясь перед дверью. Он отличался от разведчиков новенькой формой, был начищен, наглажен, сапоги блестяли.

— Ты откуда такой бравый будешь? — полюбопытствовал Саша, разглядывая солдата.

— Мы комендатура. Подчиняемся только коменданту Берлина генералу Берзарину,— гордо сказал он.

— О! Так генерал Берзарин одно время нашей армией командовал! — обрадовался Саша.

— Вот иди к нему, может, по знакомству разрешит тебя допустить,— весело посоветовал часовой.

Разведчики пошли вдоль здания. Просить разрешения они, конечно, не собирались, надеясь найти какой-нибудь пролом в стене или окно с высаженной решеткой. Под ногами хрустели битое стекло, штукатурка.

Прилегающий к зданию двор был завален ветвями деревьев, срезанными снарядами, изрыт воронками. Летали какие-то наполовину обгоревшие бумаги, у ограды торчали из земли короткие головешки.

Возле двери, которая была видна из дома, где недавно сидела группа Ромашкина, стоял другой солдат — такой же начищенный, в новом обмундировании. Завидев приближающихся бойцов, он взял метлу и стал подметать площадку у двери. Василий удивился: чего это он? Но, подойдя ближе, понял — ему приятно показать, какой мусор он выметает: под метлой позвякивали, переливаясь серебристым блеском и черным лаком, немецкие награды — Железные кресты. Видно, высыпались из ящиков, которые валялись недалеко от входа.

— Послушай, друг,— обратился Ромашкин к солдату, все еще разглядывая кресты на земле.— Мы — разведчики, были здесь, когда фашисты занимали эти бункера. Нам бы хотелось посмотреть, что там к чему; мы ничего брать не будем, только посмотрим.

— Ну, ежели в таких смыслах, то пожалуйста, товарищ капитан, позволяю! — ответил боец, а Ромашкин тут же узнал его.

— Бирюков?! Живой!..

— Как видите, целый!

— Ну, здравствуй!

— Здравия желаю, товарищ капитан!

— Ребята, это мой боец, мы с ним под Москвой стояли! — пояснил Василий своим разведчикам.

— Точно, стояли! — подтвердил Бирюков.— Я ведь все помню, товарищ капитан. Как вы меня попрекали. Как медведем называли. Вот глядите, стало быть, я стрелять лучше немца умею, ежели в Берлин его загнал! Теперь, стало быть, он не оправится, тут уж в тех самых полных смыслах, как водится!

— Дорогой ты мой, я так рад тебя видеть! Ты же мой первый солдат! Таковую войну прошел и выжил! А где другие братья славяне — Оплеткин, Кружилин?

— Не знаю, товарищ капитан. Меня ведь вслед за вами чесануло. Танки опять утром пошли, один я изжарил. А другой прямо по мне из пулемета саданул. Считаю, пополам перестрочил, как на швейной машинке. Пять пуль влепил, зараза! Но я живучий. Выдюжил. А в полк свой после госпиталя не попал. Хотел, конечно, да не пришлось. Далеко ушла война, покуда я лечился. Никто не знал, где наш полк. А насчет бункеров этих, товарищ капитан, вы сейчас идите и вертайтесь, пока моя смена придет. Только осторожно — там темно, побитые фрицы еще не все убраны, да по сторонам глядите, может, в какой комнатенке еще и живые хоронятся.

— А про Гитлера что слышал? — спросил Ромашкин.

— Да что слышал: сначала он травился, но яд его не берет — сам хуже яда, потом застрелился. А после вот в этой самой воронке вместе с его бабой и любимой собакой сожгли и землей притрусили.— Бирюков показал на одну из воронок недалеко от дверей.

— Так мы все это в окно видели! — воскликнул Вовка.— Неужели это был Гитлер?

— Тут многих жгли — и Геббельса, и его жену, и бумаги всякие,— солидно пояснил Бирюков.

— А ты откуда знаешь? — спросил Саша.

— Комиссии разные обследуют. Огарки от Гитлера, когда их вытянули из той ямы. Я даже в акте расписывался как свидетель: видел, значит, что и где найдено, и подтвердил.

— Точно определили, что сам Гитлер сгорел?

— Сперва сомневались. А потом дошли до точности. Девушка тут одна в той комиссии, младший лейтенант, хорошенькая такая, ладненькая, сказывала: теперь уж точно установлено — Гитлер сгорел и еще Ева Браун.

— А как установили-то? От них вроде бы жарковье для собак осталось,— допытывался Вовка.

Бирюков помедлил и, наслаждаясь своей осведомленностью, сказал:

— Нашли способ! По зубам! Тут его медицинская книжка была, а в ней записано, в каком зубе какая пломба вставлена. Все и совпало.

— Что же, зубы ему выдирали?

— Нет. Такое, как водится, при комиссии где-то там в госпитале сличали. А мы только разговор об этом слышали.

— Ну, ладно, пошли, братцы, а то сменят Бирюкова, нас пазад не выпустят. Ты сколько еще продежуришь?

— Час простою, не больше.

Разведчики открыли тяжелую дверь и вошли в мрачный серый вестибюль. На полу валялись обломки потолка и огромная разбитая люстра. По широкой лестнице пошли вниз. Чем ниже, тем гуще спертый сырой воздух с запахом гнили и разлагающихся трупов. Внизу было темно, пришлось подсвечивать фонариками. От лестницы уходил вдаль длинный коридор,

справа и слева двери — открытые, закрытые, полусорванные. Под ногами лужи, бумаги, битое стекло.

Ромашкин заглядывал в комнаты, светил фонарем: письменные столы, выдвинутые и вырванные ящики, пишущие машинки, распахнутые шкафы и всюду бумаги, бумаги с предупреждением в верхнем углу — «Geheim» — «Секретно». Да, когда-то они были совершенно секретными, а сейчас никому не нужны: нет больше фашистского государства, его тайны теперь будет знать весь мир.

Ромашкин поднял с полу большую книгу, прочитал на обложке: «Геббельс. Малая азбука национал-социализма».

Комнаты, комнатухи, узел связи. Поворот коридора, спуск еще ниже. Огромный зал, пол затянут серой ковровой тканью. Валяются мягкие кресла, столы опрокинуты, разбиты плафоны на стенах, видно, здесь был бой с охраной. И вот кабинет Гитлера. Портрет Фридриха Великого висел на стене, а на полу валялись бумаги и фотографии. Василий увидел на одной из них Гитлера, гуляющего с овчаркой. На спинке поваленного стула висел серый френч. Может быть, Гитлера? Над кармашком приколот значок с фашистской свастикой.

Ромашкин взглянул на часы. Надо было возвращаться, чтобы не подвести Бирюкова да и самим не попасть в комендатуру.

Шаги отдавались в закоулках коридоров, казалось, кто-то идет вслед за разведчиками, подкрадывается откуда-то сбоку, выглядывает из черных провалов дверей. Ребята певольно передвинули автоматы из-за спины на грудь. Споткнувшись об ящик с бутылками, Вовка взял одну из них, показал командиру:

— Вино! Возьмем?

— Ну его к черту, может быть, отравленное,— отмахнулся Ромашкин.

Наверху вдохнули свежий чистый воздух.

— Будто в преисподней побывал,— сказал Иван.

— Она и есть, самый настоящий тот свет,— подтвердил Голощапов.

— Спасибо тебе, Бирюков,— поблагодарил Ромашкин.— Приходи в гости — мы на окраине стоим. Вот по этой улице прямо на восток дойдешь до трамвайного парка, там мы и стоим.

Полковник Караваев решил собрать офицеров полка. Хозяйственники подготовили обед в небольшом

уцелевшем кафе. Столы сияли накрахмаленными скатертями и салфетками, вазами с цветами, фужерами, гарелками с золотыми ободками.

Большая желтая застекленная машина, заряженная патефонными пластинками, играла плавные вальсики. Немецкие повара и официанты улыбались, будто всю жизнь ждали встречи с советскими офицерами.

Караваев, помолодевший, хорошо выбритый, наглаженный, начищенный, улыбался, был весел, охотно шутил. Голубые глаза его струили теперь не леденящий холодок, а тепло летнего неба. Рядом с ним — Линтварев. Даже в самые трудные дни войны он бывал подтянут и аккуратен, а сегодня будто сошел с плаката, на котором изображалось правильное ношение военной формы.

— Товарищи, прошу внимания! — Полковник постукал ножом по бокалу. — Прежде чем начать наш обед, позвольте объявить только что поступивший приказ.

— Опять приказ! Не надо бы сегодня приказов, — сказал кто-то в зале.

— Надо! Это даже не приказ, а Указ! — Когда офицеры затихли, Караваев торжественно сказал: — Прошу встать! — И объявил Указ Президиума Верховного Совета о присвоении Початкину звания Героя Советского Союза посмертно.

Некоторое время царил тишина. Василий мысленно повторял дорогое имя: «Ах, Женя, Женя, как обидно, что не дожил ты до этого счастливого дня. Ведь ты вообще не должен был воевать. Мало кто в полку знал о твоей хромоте, думали, это от ранения. Тебе и в армии-то служить не полагалось».

— А теперь слушайте приказ, — продолжал Караваев. — Присвоены очередные звания: подполковника — командиру батальона Куржакову Григорию Акимовичу.

Офицеры дружно зааплодировали.

— Заслужил!

— Комбат — только вперед!

Командир читал фамилии других офицеров. Ромашкин искал глазами Куржакова и не находил. «Где же он? Не отмочил ли какую-нибудь штучку и сегодня? Он может!» Василий вспомнил, как дрался с ним в вагоне и как под Москвой Григорий сказал комбату: «Ты моим командирам эти карты не давай, они нам не понадобятся».

— А где Куржаков? — спросил Караваев. — Капи-

тан Ромашкин, подойдите ко мне! Разыщите, пожалуйста, Куржакова.

Василий отправился к жилью Куржакова, его батальон располагался в трехэтажном сером здании бывшей школы на берегу канала. Солдаты ходили по двору, занимались кто чем. Один, истосковавшись по работе, сняв гимнастерку, чинил парты. Вокруг него, как зрители, сидели человек десять бойцов и следили за работой. Солдат трудился артистически, инструмент просто летал в его умелых руках.

— Ребятишки, они — что немецкие, что наши — все одно ребятишки. Чему их научат, тем и станут. Теперь мы немцев проучили, они и детишек своих научат хорошему. Вот, товарищ капитан, помогаю немцам, — объяснил солдат подошедшему Ромашкину.

— Комбата не видели?

— Они туда, в лесочек пошли, — сказал солдат.

— Кто «они»? С кем он был?

— Они одни, — удивился солдат: как это, мол, не понимать уважительного отношения.

Обежав самые глухие аллеи парка, Ромашкин вышел к пруду и остолбенел: на берегу с удочкой в руках сидел Куржаков! Он был спокоен, задумчив, на зеленых погонах уже блестели подполковничьи звезды.

— О, явился не запылится! — сказал Григорий. — Ты чего здесь?

— Тебя ищу.

— Зачем?

— Поздравить с подполковником.

Ромашкин смотрел на Куржакова и не понимал, почему он не рад?

А Куржаков, глядя в воду, сказал:

— Вот кончилась война. Добыл я победу. Оправдался перед народом за свой драп в сорок первом. — Григорий прищурил глаз, кольнул Ромашкина хищным взглядом: — Помнишь, как ты называл меня в вагоне?

Василий смутился, он давно осудил себя за глупое поведение.

— Желторотый был, не понимал ничего.

— Ляпнул бы я тебе тогда пулю в лоб — не пировал бы ты сейчас в Берлине. Ну ладно. Так вот — конец войне, ты к маме поедешь, другие к женам, к старикам. А я куда? Один как перст. Не хотел я дожить до конца войны, искал смерти — ты знаешь. Но костлявая подшу-

тила надо мной. Смерть — лакомка, счастливых выбирает. Таких, как я, обходит, горькие мы. И люди тоже не любят несчастных, держатся подальше от них. Вот я и ушел. Не хотел вам настроение портить на празднике.

— Вон что, а мы-то думали...

— Что думали?

— Да как в песне про Стеньку Разина поется: «Нас на бабу променял», — попытался Ромашкин сгладить шуткой неприятный разговор.

— Ну, это ты врешь. Не могли обо мне так подумать. Баб за мной никогда не водилось.

— Была война, теперь никто не осудит. Чем не жених? Молодой, красивый, весь в орденах.

У Куржакова задрожали ноздри.

— Я тебе при первой встрече морду набил. Давай не будем этим же кончать наше знакомство.

— Не хотел тебя обижать.

— В сорок первом фашистский танк раздавил мою жену и сынишку Леньку. Дивизия недалеко от границы стояла.

Взгляд Куржакова при этих словах остановился, Григорий глядел, ничего не видя.

— Прости, Гриша, я же не знал. Ты никогда об этом не рассказывал.

— Да, были у меня с фашистами свои счеты. Думал, доберусь до Германии, за Нюру — сотню фрау, за Леньку — сотню киндеров пристрелю. А вот пришел — рука не поднялась. Из батальонной кухни солдатскими харчами их подкармливаю. Как ты думаешь — увидели бы это Нюра и Леня, что бы они сказали?

— Они бы тебя поняли.

— А почему этого не понимали те гады, которые давили танками?

— Вот кончилась война, теперь мы их об этом спросим.

— Спросить-то спросим. Только мертвые из земли не встанут. А у меня все с ними, там, по ту сторону войны.

Ромашкин попытался отвлечь Куржакова от тяжелых мыслей.

— Нельзя так, Гриша, живой должен думать и о живых.

Куржаков вздохнул:

— Все ты правильно говоришь, тебе надо бы

политработником быть. Что-то от Гарбуза к тебе перешло. Помнишь Андрея Даниловича? Любил он тебя!

-- Он всех любил.

— Ох, мне чертей давал! Умел стружку снимать! Культурно, вежливо, но так полирует, аж до костей продирает! Меня тоже любил. Справедливый мужик был. Настоящий большевик. Вот я сидел тут, рыбу ловил, размышлял, что бы мне сейчас сказал Андрей Данилович?.. «Многое тебе прощали, комбат, на войну списывали. Теперь не простят. В мирной жизни все по-другому будет, по правилам, по законам. Если пить не бросишь, поснимают с тебя ордена и звания». — Куржаков посмотрел на Ромашкина, глаза его были полны своих дум. Очнувшись от этих дум, Григорий объяснил: — Нельзя мне пить. Все, завязываю! Вот поэтому и ушел с праздника. Ты же знаешь, какой я, когда поддаю.

Куржаков стремился переменить разговор, прищурив глаз, спросил Василия с иронией:

-- Ну, а ты навоевался? Помнишь, каким петушком на фронт ехал?

— Помню. Ты уж за все, ради победы, прости.

— Ладно, свои люди, сочтемся. Да и воевал ты хорошо, не за что на тебя обижаться. Откровенно говоря, не думал, что живой останешься. В общем, все нормально, все на своих местах. Ты капитан, я подполковник, так и должно быть. — Куржаков засмеялся. — Скажи командиру — все, мол, в порядке.

— Нет, Гриша, пойдем вместе, там нас ждут.

— Так не пью же я!..

— Вот и хорошо, другим пример покажешь.

-- Ну и дошлый ты, Ромашкин! Идем.

Василий шел, едва успевая за Григорием. Это был прежний стремительный Куржаков — комбат-вперед, который в наступлении всегда находился на острие клина, вбитого в оборону врага.

* * *

Из Москвы поступил приказ: каждый фронт должен сформировать сводный полк для участия в Параде Победы. В этот полк надлежало включить наиболее отличившихся в боях офицеров, сержантов и солдат.

Когда в штабе 3-го Белорусского фронта распределили, из какого расчета должны выделять войска пред-

ставителей, получилось всего по два-три человека от полка. Трудная задача встала перед командирами и политработниками — кого выбрать, у каждого второго целая шеренга наград на груди.

В полку Караваева это затруднение тоже преодолели не сразу. Хотелось дать представителя хотя бы от каждого батальона, но их три, а выделять приказано всего двоих. Полковник предложил послать Героя Советского Союза младшего лейтенанта Пряхина и прославленного командира батальона подполковника Куржакова. Но замполит Линтварев сказал:

— Пряхин достоин. А вот Куржаков может подвести и полк и фронт...

— Бросил он пить,— напомнил Караваев.

— Послезавтра три дня будет,— пошутил Линтварев. У него наладились служебные отношения с Караваевым, доводили они без стычек между собой, но душевного контакта, дружбы все же не получилось.

— Кого же тогда? — припоминал командир полка, согласившись с Линтваревым.

У Колокольцева, который присутствовал при этом разговоре, было свое мнение, но он не спешил его высказывать, дал возможность поспорить командиру и замполиту, а когда они умолкли, спокойно предложил:

— Давайте пошлем Пряхина и Ромашкина. Наш разведчик — храбрый, хорошо воспитанный офицер. В полку его уважают.

— Тоже не безупречен, разговорчики может завести,— размышляя, сказал Линтварев.— Все это, конечно, в прошлом. Я с ним еще побеседую. Мне кажется, он подходящий кандидат.

Так Василий в начале июня очутился в Москве. Сводный полк 1-го Белорусского фронта разместили в старых казармах. Крепкие трех-четырёхэтажные здания старинной кирпичной кладки с множеством приземистых служебных домов, пристроенных в разное время: склады, столовые, мастерские — все это было отдано участникам парада.

Даже на отдыхе, после большой войны, когда, казалось, можно было расслабиться, позволить себе некоторую вольность, сводный полк с первых минут зажил четкой, размеренной жизнью. Все были распределены по взводам, ротам, батальонам. Командиры в любую минуту могли поднять подразделение, знали,

где находится каждый из подчиненных. Уходить из расположения разрешалось лишь с ведома старших. Очень своеобразные были эти подразделения — майоры, капитаны, рядовые стояли в общем строю — все были равные победители.

В общежитии круглосуточно дежурил наряд из самих же участников парада. Дежурили только рядовые, сержанты и младшие офицеры. От этих обязанностей был освобожден старший командный состав. У ворот, в проходной несли службу солдаты, они были связаны телефонами со всеми помещениями.

К фронтовикам приходили друзья, знакомые, родственники, по цепочке внутренней службы от проходной летел вызов и быстро находил того, к кому пришли гости. К Ромашкину никто не приходил. В первый же день написал матери в письме: «Приезжай, где-нибудь устрою тебя на жилье, посмотришь Москву, целый месяц побудем вместе».

Ежедневно сводный полк занимался тренировками, подготовкой к параду.

А вечерами, после строевых занятий, участников парада приглашали на встречи с рабочими, студентами, школьниками.

Однажды Ромашкина и Пряхина попросили выступить в школе. Ученики, одетые в белые рубашки с красными галстуками, встретили гостей во дворе. Преподнесли букеты, окружили шумной гурьбой и повели в зал.

Первым выступал капитан Ромашкин. Ребята притихли. Сотни глаз пытливо и восторженно глядели на Василия. А он смотрел на старшеклассников и думал: «Совсем недавно я был таким, как они. О чем же рассказать? О том, как рухнули мои представления о войне? О том, что всегда было страшно на заданиях?.. Но разве можно такое рассказывать с трибуны? У ребят вон как глаза горят! Они жаждут услышать о героизме и мужестве. Так что жс, приукрасить? Соврать? Это совсем нехорошо. Но что же делать, я ведь не совершал никаких подвигов». Все же Ромашкин нашел выход — не обязательно говорить о себе! Разве мало во взводе было храбрых ребят? И он рассказал о Косте Королевиче, Коноплеве, Жене Початкине. Когда закончил, ребята долго били в ладоши. Потом подняла руку девочка с косичками, в белом фартучке, заливаясь румянцем, она попросила:

— Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о себе.

Ромашкин опять растерялся, стал смущенно мямлить:

— Я, собственно, ничего особенного не совершил. Воевал, как все...

Василия выручил директор школы:

— Товарищ капитан, конечно, скромничает. Столько наград — и ничего не сделал! Вы, наверное, экономите время для вашего соратника. Спасибо вам, товарищ капитан, за интересный рассказ. Послушаем теперь Героя Советского Союза товарища Пряхина!

Василий понимал состояние Кузьмы, сочувствовал однопольчанину.

Пряхин пылал так, что с лица исчезли веснушки. Он откашлялся и, стараясь выглядеть спокойным, сбивчиво заговорил:

— Воевать, товарищи, оказывается, легче, чем про это рассказывать...

Зал отозвался доброжелательным смешком.

— Я ведь тоже, как сказал товарищ капитан, особых подвигов не совершал. На Днепре мне Золотую Звезду дали. Одним из первых переплыл, вот и дали.

Ромашкин вспоминал, какой ад был на плацдарме, как они, по несколько раз раненные, отбивали нападающих фашистов, обеспечивая переправу полка. Вот бы показать ребятам Кузьму Пряхина в том бою! У Василия зазвучал в ушах срывающийся на фальцет, мальчишеский голос Кузьмы — так он тогда командовал, стараясь перекричать грохот боя.

И вот стоит Кузьма, ярко освещенный электрическим светом, Золотая Звезда и ордена сверкают на его груди, а рассказывает он так скупое и неинтересное, просто невозможно слушать. Василию хотелось вскочить и поведать ребятам, какой отчаянный и бесстрашный парень Кузьма Пряхин. Удерживала лишь напряженная тишина в зале. «Слушают,— значит, нравится».

— После Днепра война пошла веселее,— рассказывал Пряхин.— Верите ли, до самого Кенигсберга лопату из чехла не вынимал, ни одного окопа в полный профиль не отрыл. Все в отбитых у фашистов сидел. Раньше, бывало, пока оборону прорвем, карта у командира роты капитана Куржакова на всех сгибах протрется. А тут пошло — не успевают новые листы раздать, а мы уже прошли эту местность.

«Не то говоришь, Кузьма,— думал Ромашкин.— Покажется ребятам война веселым, легким делом. И я не о том говорил, надо бы сказать, как гитлеровцы госпиталь разгромили, как тетю Маню, врачей убили, как могилу отца тяжело увидеть. О том, что от Москвы до самого Берлина — сплошное пожарище, трубы от печей да головешки, наши братские могилы и рвы с расстрелянными мирными жителями». Василий смотрел на празднично украшенный зал, на легкие белые рубашечки, алые галстуки, счастливые лица ребят. «А нужно ли им об этом рассказывать? Зачем омрачать их веселые, чистые души? Им хочется услышать о подвигах. А на войне ведь не думают о них, даже свершая их, не думают. Что же получится, мы прошли через одну войну, а им будем рассказывать про другую? Не дело это. Эх, жаль, нет Андрея Даниловича Гарбуза, он бы во всем разобрался, разъяснил, что к чему».

Рассказ Пряхина ребятам понравился, они долго аплодировали. Потом та же девочка с косичками спросила:

— Скажите, правда ли, что умирающие на поле боя перед смертью шепчут имена любимых?

Ребята и даже педагоги неодобрительно зашикали на девочку.

— Нашла о чем спросить!

— А я хочу знать. Я об этом в книге читала,— смущенно защищалась девочка.

Кузьма ответил не сразу, подумал, потом сказал:

— Как тебе объяснить, милая,— не знаю. Умирают люди на войне просто: ударила пуля или осколок — и упал человек. А мы дальше идем вперед. Нам останавливаться нельзя. Что говорят люди перед смертью, мы не слышим... Одно знаю точно — лозунги и всякие речи, как это в кино показывают, они не производят. Вот у меня на руках друг умирал, пожилой человек, бороду носил, а пришел конец — маму позвал. «Больно,— говорит,— мне, маманя». На том и погас.

Школьники проводили фронтовиков до ворот, целые охапки цветов надарили. Всю дорогу Василий и Кузьма раздавали эти букетики — кондукторам в троллейбусе, девушкам в метро, милиционерам.

Однажды позвонил дежурный с проходной — вызывают капитана Ромашкина.

«Кто пришел? — думал Василий, быстро шагая че-

рез двор к воротам.— Знакомых у меня в Москве нет. Может, кто-нибудь из выпускников училища услышал мою фамилию и решил навестить? А может быть, мама приехала?»

На улице Ромашкину приветливо замахала женщина, она стояла у детской коляски. Только подойдя ближе, Василий узнал ее:

— Таня?

— Я очень изменилась?

Таня теперь не была той девушкой, которую видел Ромашкин в сорок первом после парада, не было в ней ничего и от пожелтевшей, болезненной, какую встретил на фронтовой дороге под Смоленском. Перед ним стояла красивая, молодая женщина: полная, лицо белое, напудренное, карие глаза приветливо улыбались. От нее шло тепло и запах детского тельца, какие обычно излучает кормящая мать. В коляске сидел карапуз, он таращил круглые глазенки. «Где же я его видел? Откуда я знаю этого малыша?» — удивленно думал Василий. Он был уверен, что видит ребенка впервые, но в то же время личико это несомненно встречал много раз и прежде.

— Черт возьми, так это же Линтварев! — воскликнул Ромашкин, узнав наконец в коляске крошечного замполита.— Надо же быть таким похожим! Как с одного негатива отпечатаны!

— Точно, вылитый папа,— сказала Таня.

Ромашкин уловил в ее словах гордость и в то же время оттенок печали.

— Узнала, где стоит полк нашего фронта, думаю, схожу — кого-нибудь своих обязательно встречу. Спросила, кто из штаба армии? Никого. А из 926-го полка Линтварева? Сказали — капитан Ромашкин и Пряхин. Ну, Пряхина я не знаю, а тебя попросила вызвать.

Василий глядел на Таню и никак не мог смириться, что эта бойкая молодая женщина — та самая девушка, которую он одно время даже принимал за героиню. В Тане не было ничего общего не только с мужественной фронтовичкой, но и даже с самой Таней сорок первого года — строгой, немногословной, собранной. Теперь Таня не переставая говорила, она словно боялась: если остановится, то заговорит Ромашкин — и тогда придется слушать ей. И разговор у нее был какой-то «бабий» — про керосин, продукты, какую-то

соседку, которая не была на фронте, но много болтает вздора про фронтовых жен.

— Ну, а с Линтваревым у тебя как? — спросил Ромашкин.

— Письма пишет, посылки шлет. Чуть не каждый день просит фотографии сына присылать. Любит Витьку. Мы его Виктором в честь победы назвали, — Таня кивнула на сынишку.

— Ну, а дальше как будет?

— Не знаю, Вася. Вот хочу с тобой посоветоваться. Я ведь одна с Витькой осталась. Отец погиб, мама умерла. Друзей на фронте побилло. Огляделась вокруг — одни бабы. Ты да девчонки из штаба армии — вот самые близкие теперь.

— Что я могу тебе посоветовать? — сказал Ромашкин, подумав: «Совсем недавно был школьником, и вот уже за житейскими «взрослыми» советами ко мне обращаются!» — Наверное, надо прежде всего думать о нем, — Василий погладил мальчика по теплой головке. — А почему ты не хочешь сойтись с Линтваревым? Он тебя не просто обидел, а полюбил ведь. И в сынишке души не чает, сама говоришь.

— Все это так, — задумчиво молвила Таня. — Но как вспомню его первую жену, так сердце переворачивается. Он ей тоже в любви клялся. А меня увидел — забыл. Значит, и со мной будет жить до первой встречной?

— Ну, это ты напрасно! — остановил ее Василий. — Есть недостатки у Линтварева, но чтобы за бабами волочился, такого я никогда не замечал. В этом отношении он строгий.

— А я?

— Что ты?

— За мной увивался.

— Полюбил, значит, всерьез, по-настоящему. Ты этого не допускаешь?

— Вроде любит. Жить вместе упрасивает. Но мне ту, другую, женщину жалко. И значит, соседка моя, склочница, права — мы у них на фронте мужей поотбивали? А я разве отбивала? Сам он навязался на мою голову.

— Ты мне рассказывала раньше — тоже его полюбила, он раненый был, культурный, обходительный, помнишь?

— Сперва любила. А потом возненавидела, когда

узнала, что обманул. Ну, сказал бы он, что женат, ничего с собой поделывать не может, ведь все по-другому сложилось бы. А он скрыл.

— У первой жены дети есть?

— Нет.

— Вот видишь, и это надо учитывать. Вообще многое переменялось. Теперь ты все знаешь, у вас пацан, Линтварев любит тебя и ребенка. Старая семья не склеится. Как видишь, все к тебе сошлось. От тебя зависит — быть вам счастливыми или нет.

— Почему ты его сторону держишь? — вдруг раздраженно спросила Таня. — Он тебя в штрафную роту упек, а ты его защищаешь!

— Совет просила, вот я и советую. Объективно, без своих обид. Да и Линтварев теперь не тот, он во многом изменился. Жизнь его пошкрябала, канцелярскую спесь в окопах пообдуло. Это тоже учти.

— Учту, — вздохнув, сказала Таня.

Они еще поговорили. Василий все смотрел на мальчика и поражался его сходству с отцом. Таня пригласила в гости к себе. Обещала еще прийти к Ромашкину, она жила недалеко. Он проводил ее до трамвайной остановки, поднял коляску на площадку вагона и, прыгнув на ходу, помахал вслед дребезжащему трамваю. Вокруг сновали веселые, говорливые люди, девушки в цветистых платьях, смеялись школьники, перебегая улицу. Как это бывало уже не раз, Василий очень остро ощутил сладость простой мирной жизни: улица, ходят люди, мчатся автомобили и трамваи, казалось бы, ничего особенного, обычная будничная суета, но как она прекрасна! Как приятно видеть все это, ходить в полный рост среди людей, не опасаясь ни нуль, ни снарядов. Какое, оказывается, простое и непритязательное человеческое счастье.

Ночью полк разбудили дневальные. Именно разбудили, а не подняли по тревоге. Спокойно, негромко скомандовали:

— Подъем! Вставайте, товарищи. Будет генеральная репетиция.

Ночные подъемы прежде всегда происходили по взвинчивающему, будоражающему призыву: «В ружье!» Сегодня не надо было спешить, но срабатывала годами выработанная привычка: одевались быстро, бежали к умывальникам. Через несколько минут все были готовы. Собрались во дворе, а времени до построения

осталось еще много. Закурили. Посмеиваясь, Кузьма сказал:

— Так вот и дома ночью толкнет жинка в бок, а ты первым делом в сапоги вскочишь!

Москва спала. Тихая, умиротворенная. Лампочки светились, убегая вдаль, вдоль тротуаров. «Как трасирующие пулеметные очереди,— подумал, глядя на них, Василий.— А круглые пятна света на дороге похожи на воронки, только белые... Так и буду, наверное, всю жизнь войну вспоминать».

Хотел Василий прогнать навязчивые фронтовые сравнения, но куда от них денешься, уж так устроен человек — все видит через свое прошлое, пережитое. Глядел Ромашкин на красивые высокие дома, широкие подметенные улицы, а вспоминались те, по которым шел на парад в сорок первом: скорбные улочки, холод, мрак, окна, заклеенные белыми бумажными крестами, дробный стук промерзших подметок по мостовой.

Вдали над входом в метро засияла большая красная буква «М». И тут же встала перед глазами Василия другая «М» — синяя, и вспомнились слова Карапетяна: «Это для маскировки, чтобы немецкие летчики не видели. До войны эти буквы были красные». И вот она, эта алая, сияющая буква «М».

Генеральная репетиция парада проводилась на Центральном аэродроме, что на Ленинградском шоссе. Асфальтированное поле размечено белыми линиями с точным соблюдением размеров Красной площади. Красными флажками на деревянных стойках были обозначены Мавзолей, ГУМ, Исторический музей, собор Василия Блаженного.

Войска, генералы перед строем, командующий и принимающий парад освещены ярким белым светом прожекторов. Под прямым ударом их лучей вспыхивали белым огнем ордена, медали, никелированные ножи генеральских пашек.

Когда рассвело, принялись за дело фотографы и кинооператоры, они сновали между рядами, выбирали особенно колоритных фронтовиков, благо было из кого выбирать, каждый сиял целым «иконостасом» наград.

Вдруг Ромашкину показалось знакомым лицо одного невысокого журналиста. Он был в очках с толстой роговой оправой. «Где я его видел? — припомнил Василий.— На кого-то похож? Такого очкарика вроде бы не встречал. Да и всего-то в жизни знал

одного журналиста — Птицына. Того, что с нами ходил на задание и был ранен. Но тот был без очков и, наверное, умер... И все же...»

— Товарищ, вы не Птицын?

— Ромашкин! — воскликнул очкарик и тут же обнял Василия. — Живой?

— Я-то жив, а вы как выцарапались?

— Обошлось. Читали заметку?

— Спасибо. Каждый разведчик на память сохранил.

— Боюсь спрашивать — не все, наверное, дожили до победы?

— Не все. — Василий рассказал о тех, кто погиб.

— Я ведь тогда случайно остался жив, — пояснил Птицын, — и не только потому, что был ранен в живот. По дороге в ваш полк разбились очки, запасных не было. Возвращаться время не позволяло. Я с вами почти слепой мотался. Ни черта не видел!

— Когда отбивали фашистов, тех, что сбоку к нам в траншею влетели, — помните? — я заметил, уж очень вы по-учебному стреляли, одну руку назад, другую с пистолетом далеко вперед, прямо как в тире!

Птицын смеялся:

— Вот-вот. Гитлеровцы у меня в глазах словно тени мелькали, почти наугад стрелял.

— Как же вы отважились идти без очков с нами?

— Материал нужен был срочно. На войне каждый по-своему рискует. Запишите мой телефон, адрес. Встретимся, поговорим. Я ведь москвич.

Василий записал, а Птицын все не уходил, рассказывал:

— Я часто вспоминал о вас. Хотел разыскать, но не знал полевой почты. После ранения здесь, в Москве, лечился. Знаете, что я сейчас вспоминаю?

— Конечно, нет. Столько было за эти годы!

— Видится мне парад сорок первого. Снег падает. Суровые лица, настроение тяжелое. Хочу написать статью — сравнить тот и этот парад.

— Я тоже тогда был на площади.

— Это же здорово! Может, я и возьму за основу ваши переживания — тогда и теперь?

— Только не это! — воскликнул Ромашкин, вспомнив, как стесненно чувствовал себя при каждой просьбе рассказать о фронтовых делах. Желая уйти от этой затеи, Василий перевел разговор на другое. — Вы знаете, у меня тогда даже неприятность произошла.

— Какая?

— Собственно, не на параде, а позже, в госпитале. Смотрел я кинохронику и заметил, что снежинки перед Сталиным не летят и пар у него изо рта не идет, а ведь в тот день мороз был. Вот я возьми и скажи об этом. Чуть политическое дело не пришили. Даже потом не раз припоминали.

— А что же тут политического?

— Не знаю.

— Тем более что вы правы. Я эту историю хорошо помню. Мы, журналисты, всегда знаем больше других. Тогда ведь что было. Парад готовили втайне. Чтобы немцы авиацией не смогли помешать, Сталин разрешил включить радиостанции только тогда, когда начал речь. И кинооператоры приехали с опозданием, их поздно оповестили. Сталин почти половину речи произнес, когда они прибыли. Доложили после парада об этом Сталину. Боялись, конечно, но все же доложили. Согласился Сталин повторить речь перед киноаппаратом. Снимали его в Кремле, в помещении. Так что вы абсолютно правы и еще раз проявили наблюдательность разведчика.

Птицын и о предстоящем параде знал то, что не многим было известно. Ромашкин спросил его:

— Почему Парад Победы назначили на двадцать четвертое июня? Мне кажется, более логично было бы проводить сегодня, двадцать второго июня, в день начала войны.

— Идет Сессия Верховного Совета, решили не прерывать ее работу, сейчас, сами понимаете, народнохозяйственные заботы на первом плане. Война, победа — уже история.

Ромашкин не раз думал: в каком порядке пойдут фронты, кому будет предоставлена честь открыть Парад Победы?

— Наверное, первыми пойдут те, кто брал Берлин, — 1-й и 2-й Белорусские, 1-й Украинский фронты? А вот из них кому отдадут предпочтение?

Птицын знал и это:

— Разные варианты предлагались. Но трудно сказать, какое сражение было решающим: битва под Москвой, за Сталинград, под Курском или взятие Берлина? Да и другие баталии не менее значительны. Ну хотя бы освобождение Кавказа, оборона Ленинграда. Да мало ли! Генеральный штаб решил мудро. Пойдут, как и пола-

гается в военном строю, с правого фланга. Каким было построение действующей армии? Правый фланг у Северного моря, левый — у Черного; так и пойдут: Карельский фронт, Ленинградский, Прибалтийский и так далее.

— Хорошо придумали, никому не обидно.— Ромашкин показал на строй рослых солдат, которые на тренировки ходили после всех фронтов.— А что это за ребята? Какие-то палки у них в руках. Несут, несут, потом швыряют эти палки на землю и дальше шагают.

Птицын улыбнулся, за толстыми стеклами очков глаза весело сверкнули:

— Этого я вам не скажу! Знаю, но не скажу. Пусть будет сюрпризом. Ну, мне надо работать. Надеюсь скоро увидеть вас. Звоните и приходите ко мне домой в любое время без всяких церемоний.— Птицын задержал руку Василия, склонил голову немного набок, тепло сказал: — Ведь мы фронтовые друзья, это очень многое значит!

В тот же день у Василия произошла еще одна неожиданная встреча. Только отоспались после ночной тренировки, пообедали, Ромашкин собирался побыстрее уйти в город, чтобы не угодить в какую-нибудь группу «встречающихся». Он хотел просто походить по улицам, посмотреть Москву, людей, метро — так и не побывал еще на всех станциях. У проходной Ромашкина радостно окликнул дежурный:

— Вот он! Сам идет.

«Ну, влип! Выступить пригласят»,— с тоской подумал Ромашкин.

— К вам барышня,— с игривой значительностью сказал дежурный.

«Может быть, Верочка из Куйбышевского аэропорта? Но она не знает, что я в Москве. Или опять Таня?»

Под деревом стояла молоденькая девушка, на ней было красное с крупными белыми горошинами платье, на стройных ножках сандалетки из тонких ремешков. Волосы у девушки светлые, крупными волнами они опускались на плечи. Загорелое лицо освещено приветливой улыбкой.

Василий удивился, он никогда прежде не встречал эту девушку. Только показались знакомыми большие распахнутые глаза. Вот их где-то видел.

— Вы ко мне?

— Да,— девушка заулыбалась еще приветливее.

«Где же я ее видел? Глаза... глаза». И вдруг вспомнил: мешочник тянет с буферов вагона мальчишку и у мальчишки были такие глаза.

— Вы, наверное, сестра Шурика? — спросил Ромашкин.

— Нет, — сказала незнакомка, качнув головой, красивые мягкие волосы прошлись по спине.

— Тогда не знаю...

— Я — Шурик, — весело сказала девушка.

— Как Шурик?

— Тот самый Шурик, которого вы подобрали в дороге, — девушка с удовольствием наблюдала за растерянностью капитана. — Мальчишке проще добираться до Ташкента, вот я и стала Шуриком. В больнице меня остригли под машинку, так что не трудно было преобразиться. В общем, это я. Вот вам доказательство. — Она подала письмо. — От вашей мамы.

Василий быстро пробежал глазами строки, уловил главное:

«...Приехать не могу — работа. Шурочка очень слабая девушка, привязалась я к ней. Но у нее свои заботы. Обстоятельства требуют возвращения в Ленинград... А я бы рада была видеть ее рядом всю жизнь...»

«На что ты, мама, намекаешь? — подумал Василий, украдкой мимо листа еще раз оглядывая Шурика. — «На всю жизнь», — прозрачно и понятно. Но разве это так делается, мама? Шурочка хорошенькая, даже красивая. Но мы, наверное, очень разные люди. Она девчонка. Мне ближе Вера, Таня или кто-то похожая на них. С биографией. С этой птичкой мне и поговорить не о чем будет...» Думая об этом, Василий приветливо улыбался, он вправду был рад и удивлен такой неожиданной переменой Шурика. Вспомнились некоторые детали из первой встречи: как безмолвно, с мольбой глядела на Василия с буферов вагона — мальчишка кричал бы, отбивался, а она молчала, лишь просила взглядом, а дома она заперлась в ванной и только худенькую руку высунула за одеждой, вспомнился и злой огонек в ее глазах, когда Василий вернулся от Зины.

— Мама пишет о каких-то обстоятельствах. Может, я могу помочь?

— Спасибо. Вы и так для меня многое сделали. В Ленинграде осталась бабушка. После блокады она, бедная, никак не придет в себя. Вот послушайте, что

пишет.— Шура достала из сумочки письмо, стала читать с середины: «Дорогая внученька, терзает меня совесть, все молодые померли, а я живу. Ну, если богу так угодно, должна я заботы о вас принять на себя. Пока всех не определю, в землю спокойно не лягу». — Голос Шуры задрожал, она опустила письмо, стала рассказывать: — После блокадного голода у бабушки мания — хочет всех внуков поближе к хлебу пристроить. Двоюродных сестер моих — Катю и Любу — уже определила продавцами в хлебный магазин. Вот и меня зовет и ни о какой иной работе, кроме хлебопека, для меня слышать не хочет. Помру, пишет, тогда как знаете, а при мне чтобы рядом с хлебом были. Надо ехать, помочь бабушке преодолеть этот страх.

«А может, мы будем помогать бабушке вместе? Может, мамино пожелание сбудется? — вдруг подумал Василий, глядя на Шуру. — Совсем она не птичка, жизнь позади трудная, не легче моей фронтовой. И вообще, наверное, неспроста мы встретились, такая великая война шла, народ в движении, все перепуталось, сменилось, а мы вот встретились. Может быть, это судьба?»

Шуре будто передались мысли Василия, она поглядела ему в глаза, потом опустила веки, потупилась, видно, нелегко ей было говорить об этом:

— Мама ваша очень добрая и отзывчивая. — Шура помедлила, грустно улыбнулась. — И наивная. Да, именно наивная. От большой любви к вам. Она желает вам счастья и хочет сотворить его сама, своими руками. Считает вас еще мальчиком. Мы с ней о многом говорили, мечтали. Я соглашалась с ней, поддакивала, не хотела огорчать. Но вам скажу...

— Вы меня тоже считаете маленьким? — улыбаясь преребил Василий.

— Почему?

— Пытаетесь разъяснить. Может быть, я сам разберусь во всем?

Шура смутилась:

— Я хотела. Я думала. В общем, вы должны знать — я гордая! После того, какой вы меня видели, кормили, как нищую... Между нами никогда и ничего быть не может. Поймите меня правильно, я благодарна вам за помощь, даже за большее — за спасение. Как Шурик, я люблю вас и преклоняюсь перед вами. Но поймите меня и как женщину. Униженная женщина никогда не может быть

счастливой. Я что-то не то говорю, да? Простите меня. Все как-то спуталось, неожиданно усложнилось.

— А не начать ли нам с той минуты, когда все было ясно? — предложил Василий.

— Как это? — светлея и по веселому тону Василия предчувствуя облегчение, спросила девушка.

— Вернемся к тому, что ты приехала! Здравствуй, Шурик!

— Здравствуйте, Вася!

— Ну, как там мама?

Они были вместе весь день. Обедали в ресторане. Сходили в кино. Потом Василий достал Шуру билет на Ленинградском вокзале в воинской кассе. А вечером проводил Шуру. Когда поезд тронулся, Василий пошел за окном, из которого она махала рукой... Шура удалялась. Но у него не было ощущения расставания, он был уверен: скоро они опять встретятся с Шуриком, встретятся уже как-то по-иному, они хоть и давно встретились, знакомство только состоялось, а узнать друг друга им еще предстоит.

* * *

И вот настал день Парада Победы. До этого стояла теплая солнечная погода, а 24 июня небо затянули хмурые тучи, моросил мелкий дождь. Но это не испортило праздника.

Василий стоял в строю, слушал мелодичный перезвон курантов, и опять его охватило ощущение поступи истории. Казалось, совсем недавно стоял он здесь, на белой, будто седой от горя и потрясения, площади, припорошенной снегом. Где-то рядом, обложив Москву с трех сторон, рвались к ней фашисты. Неистовствовал в Берлине Гитлер, узнав о параде. И вот нет ни Гитлера, ни его армии. Прохладный дождичек освежает лицо. Спокойно и радостно на душе. Легко дышится свежим воздухом, очищенным летней влагой. И все же немного грустно: суровое небо, отдаленное ворчание грома напоминают о войне, о тех, кто никогда уже не встанет рядом.

На трибунах, усеянных блестящими, мокрыми зонтиками, плотно стояли москвичи и гости.

В 9 часов 55 минут на Мавзолее поднялись члены правительства, трибуны встретили их аплодисментами.

Переливисто прозвенели куранты. Командующий

парадом — ордена закрывали грудь, как золотой кольчугой, — маршал Рокоссовский подал команду: «Парад, смирно!» — и, пустив коня красивой рысью, поскакал навстречу принимающему парад маршалу Жукову, который выезжал на белом коне из-под арки Спасской башни. Оба маршала сидели на конях как истинные кавалеристы — развернута грудь, прямая спина, гордо вскинута голова.

Маршалы объехали сначала полки действующей армии, потом академии и училища. Красивые лошади нетерпеливо перебирали ногами, когда их останавливали перед строем. Жуков здоровался и поздравлял с победой соратников по оружию. Он знал в лицо многих генералов, а его уж, конечно, знали все.

Жуков подъехал к полку 1-го Белорусского фронта, и Ромашкин увидел, что маршал сдержанно улыбается, как строгий, но добрый наставник, знающий и слабости, и достоинства своих питомцев. Белый конь, видно горячий и возбужденный, покорялся твердой руке маршала, стоял на месте, но мышцы играли от нетерпения под его шелковистой шкурой, ноздри раздувались, в агатовых глазах блескел не то огонь, не то отражение сияющего орденами строя.

Когда Жуков объехал войска и поднялся к микрофонам, чтобы произнести речь, оркестр — в нем было почти полторы тысячи музыкантов — исполнил гимн Глинки «Славься, русский народ!».

Фанфары оповестили: «Слушайте все!» — и маршал начал речь. Он говорил не торопясь, веско, твердым командирским голосом, каким, наверное, отдавал приказы в годы минувших сражений. Он говорил о суровых днях войны, о доблести советских воинов, о стойкости тружеников тыла.

Но в словах маршала Ромашкин почему-то не чувствовал торжественности, он воспринимал их как нечто будничное, происходившее совсем недавно. Все это хорошо известно, все сам видел, во всем участвовал. В такой патетический момент хотелось услышать что-то необыкновенное, сердце, взволнованное музыкой Глинки, рвалось к возвышенному. Ромашкину казалось, что здесь были бы более уместны другие слова, которые Василий слышал недавно. Их сказал Сталин на приеме в Кремле. Вот эти слова были необыкновенные! Они произвели на Василия такое сильное впечатление, что он запомнил их навсегда. Они и сейчас

звучали в его ушах, и уже казалось Василию, что маршал Жуков произносит не свою речь, а те, запавшие в душу, слова:

«Я хотел бы произнести тост за здоровье нашего советского народа, и, прежде всего, русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я провозглашаю этот тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я провозглашаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала потому, что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила победу над врагом человечества — над фашизмом.

Спасибо ему — русскому народу, за это доверие!»

После речи Жукова площадь многократно оглашалась мощным «ура». Сколько раз с этим возгласом поднимались в атаки люди, стоявшие на площади. Сколько таких же вот голосов оборвались от пуля там, на полях сражений!

Все ждали, что в такой значительный день с речью выступит и Сталин. Но он ничего не сказал.

Начался торжественный марш.

Первым двинулся мимо Мавзолея Карельский фронт, его вел маршал Мерецков. Затем Ленинградский, потом 1-й Прибалтийский во главе с Баграмяном. После них маршал Василевский повел полк 3-го

Белорусского, в котором шел Ромашкин. Подравнивая свою грудь в блестящей орденами шеренге, Василий вспомнил, как в сорок первом заблямкала у кого-то в котелке железная ложка, как он тогда с перепугу забыл разглядеть Сталина. На этот раз, хоть и волновался, был в напряжении, все же посмотрел на Верховного короткие секунды, за несколько шагов, проходя мимо Мавзолея. Ромашкина поразило в лице Сталина совсем не то, что он ожидал увидеть. За мраморным барьером возвышался не тот неsgiбаемый вождь, каким привык его видеть Василий на портретах, а другой Сталин: пожилой, сутулый, с седеющими усами. «Да, и ему война далась не легко», — сочувственно подумал Ромашкин. Как и в сорок первом, Василий прошагал дальше и не видел, что происходило на площади. Только потом из рассказов и кинохроники узнал — солдаты, ходившие на тренировках с палками, те, кто, по словам Птицына, должны были преподнести сюрприз, на параде несли опущенные к земле знамена немецких дивизий. Их было много — все, с которыми хлынули фашисты на нашу землю 22 июня!

Вдруг смолк оркестр, в наступившей тишине только барабаны били частую тревожную дробь, будто перед смертельно опасным номером. Солдаты повернули к Мавзолею, бросили вражеские знамена на землю и зашагали дальше. А флаги с черными и белыми крестами, свастиками, орлами, лентами, золотыми кистями и бахромой остались лежать, как куча мусора, — и это было все, что осталось от «непобедимой» гитлеровской армии, захватившей Европу и замахнувшейся на весь мир!

* * *

После торжеств участники парада разъезжались — кто в отпуск, кто в часть. Ромашкина вызвали в управление кадров. Пропуск был заказан. Пройдя по коридору, отделанному высокими деревянными панелями, Ромашкин остановился у двери с номером, написанным в пропуске. Дверь была массивная, с начищенной медной ручкой. Ромашкин приоткрыл ее, спросил:

— Разрешите? Капитан Ромашкин.

— Жду вас, — приветливо отозвался полковник и, встав из-за стола, пошел навстречу.

— Я вроде бывовремя, — сказал Ромашкин, взглянув на часы.

— Все в порядке,— подтвердил полковник. Он откровенно разглядывал Василия и улыбался одними глазами, будто иронически спрашивал: «Ну, что ты обо всем этом думаешь?» Потом сказал: — Я пригласил вас, чтобы узнать, что вы намерены делать после войны?

Василию вопрос показался очень наивным и ненужным. Пожав плечами, он ответил:

— Служить.

— А где именно?

— В своем полку.

— Война кончилась, армию надо сокращать, многие полки будут расформированы. Ваш тоже.

— Пойду работать, учиться, найду дело,— ответил Василий, уверенный, что в любом случае все будет хорошо.

— Как здоровье вашей мамы?

Ромашкин еще более насторожился: «Здесь обо мне знают такие подробности! Значит, разговор предстоит очень серьезный!..»

— Мама здорова. Приглашал ее в Москву, но она не может присхать — возвращается работать в школу. Готовится к новому учебному году.

— Скажите, Василий Петрович, почему вы не вступили в партию?

— Я комсомолец.

— Вы боевой офицер, прошли всю войну, столько заслуг. Вас приняли бы.

— Видите ли, товарищ полковник,— начал Ромашкин, размышляя, как бы лучше объяснить,— сначала я считал себя недостойным. Был у нас замечательный комиссар — Андрей Данилович Гарбуз. Настоящий большевик, бывший секретарь райкома, государственных масштабов человек. Мне даже думать было неловко о том, что я встану рядом с ним равноправным коммунистом. Гарбуз и я — представляете?

— Ну, а потом?

Ромашкин посмотрел в глаза полковнику, они были серьезны, игривая ирония исчезла. «Знает ли он о моих отношениях с Линтваревым? В бумагах это нигде, конечно, не отражено. И все же скажу правду!»

— После гибели Андрея Даниловича прибыл к нам такой несправедливый и неприятный замполит, что я сам не хотел быть с ним рядом. Коммунистов называют единомышленниками. А я не мог быть с ним единомышленником.— Сказав это, Василий подумал:

«Ну все, если были у полковника на мой счет какие-то добрые намерения — они рухнули».

— Разве можно по одному человеку судить о всей партии? Если он не прав, вел себя недостойно, тем более надо было стать коммунистом и бороться с ним открыто, вас поддержала бы целая партийная организация. В общем, по молодости вы приняли неправильное решение,— примирительно сказал Лавров и опять улыбнулся.— Я знаю всю историю ваших отношений с Линтваревым, и про штрафную роту, и о разговоре в госпитале насчет кинохроники.

Ромашкин был поражен такой осведомленностью человека, которого видел впервые, да еще в Москве!

— Ваша откровенность и честность,— продолжал Лавров,— мне нравится. Разведчик всегда должен быть правдивым. Это одно из главных его качеств. Ну, а теперь поговорим о главном. Вы разведчик. А знаете ли о том, что в разведке мирного времени не бывает? В разведке всегда война. Страна займется восстановлением хозяйства, будет строить новые заводы, растить новое поколение. И надо кому-то все это охранять. Надо постоянно знать, откуда может прийти опасность. У нашей страны много друзей. Но, к сожалению, немало и врагов.— Полковник помолчал, лицо его стало печальным, он будто вспомнил что-то свое, далекое и не очень радостное.— Вы, конечно, помните, как началась война. Не раз слышали слова о вероломном нападении фашистской Германии. А не задумывались вы о том, почему немцы достигли внезапности? Где была наша разведка? Что она делала? Куда смотрела! — Лавров поднялся и заходил по комнате.— Когда вы будете работать у нас, я покажу вам карты сорок первого года, на них выявленная нашей разведкой группировка немецкой армии с точностью до батальона! Советские разведчики сделали свое дело. Придет время, историки разберутся во всех сложностях нашей эпохи — и, я уверен, о разведчиках у потомков останется самая добрая память.— Лавров поглядел на Ромашкина тепло и ласково.— Завидую вам, Василий Петрович, у вас все только начинается. Я, к сожалению, свое отработал, теперь я просто кадровик. Я пригласил вас, чтобы сделать официальное предложение служить в советской военной разведке.

Ромашкин ожидал все что угодно, только не это! Мысли его растерянно заметались, ему хотелось сразу

же воскликнуть — да, согласен! Но сомнения тут же охватили его. «Справлюсь ли? Разведка в мирные дни совсем другое!» Ему вспомнилось, как перед форсированием Днепра он и Люленков отбирали из пополнения разведчиков. Не примет ли Лавров его молчание за трусость?

— Я бы с радостью! Но есть ли во мне необходимые для такой работы качества? Я ведь языков не знаю.

Лавров успокоил:

— Все необходимое у вас есть, вы показали это на фронте. Пойдете учиться. Через несколько лет сами себя не узнаете! В общем, взвесьте все. Мы понимаем, такие решения в жизни не принимаются мгновенно. Вот бронь: в гостинице заказан для вас номер. — Полковник подал белый квадратик плотной бумаги. — Погуляйте по Москве еще три дня. Подумайте. Запишите мой телефон. Через три дня жду вашего звонка.

— Я могу и раньше, — Василий с радостью готов был сегодня же начать, как ему казалось, новую увлекательную жизнь разведчика мирного времени.

— Не спешите, — советовал Лавров. — Я уверен, вы рвались на фронт, мечтая совершать подвиги. Теперь вы poznали, что такое война. Сейчас с вами происходит нечто похожее на те далекие дни — открывается новая жизнь, романтика. Очень приятно, что у вас сохранился юношеский задор и оптимизм. В сочетании с большим опытом они помогут вам совершить много полезного для Родины. Еще раз откровенно признаюсь: завидую — вас ждут сложные, трудные, опасные, но в то же время очень интересные дела...

Василий вышел на площадь. Яркое солнце освещало людей. Все куда-то спешили, озабоченные неотложными делами. А Ромашкин уже чувствовал себя над этим жизненным круговоротом, где-то в стороне от него. Такое ощущение бывало в нейтральной зоне или в тылу фашистов: где-то полк, друзья, мама, а он вдали от них вершит очень важное и нужное для всех дело. Вот и теперь было такое же состояние: каждый дом, автомобиль, прохожий — были дороги и близки его сердцу, не хотелось с ними расставаться, с радостью жил бы в этом милой суете. Но уже свершилось: скоро он получит новое задание, которое придется выполнять, может быть, всю жизнь.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ

ПОВЕСТЬ

Что ожидает наших разведчиков за пределами родной страны? Непривычный образ жизни, чужие порядки, чужой язык. И вот в таких условиях предстоит вступать в контакты с людьми, искать среди них помощников; одними глазами, даже в бинокль, сам разведчик многого не увидит.

Все это понимали и заместитель начальника штаба фронта генерал Илья Васильевич Виноградов, и офицер, которому была поручена заброска разведчиков. Понимали, конечно же, и те, кому предстояло выполнять задание.

Каждое задание имеет свои особенности, двух похожих, наверное, за всю Отечественную войну не было. То, о котором пойдет рассказ, имело несколько таких особенностей.

Своими действиями разведчики выявляют силы и намерения противника и тем самым обеспечивают успех своих войск. Чтобы были понятны цели группы капитана Льговского, о которой пойдет разговор, необходимо представить хотя бы в общих чертах обстановку на фронте в начале 1945 года.

Война приближалась к концу.

После успешных операций 1944 года Ставка предполагала разгромить гитлеровскую Германию в два этапа. Первый — операции в Восточной Пруссии, Польше, Чехословакии, Венгрии. Второй — полностью завершить разгром врага и овладеть Берлином. Три фронта и Краснознаменный Балтийский флот выполняли главную задачу на завершающем этапе. 1-й Белорусский (командующий Г. К. Жуков) наступал на Берлин в центре; 2-й Белорусский (командующий К. К. Рокоссовский) наступал севернее; 1-й Украинский (командующий И. С. Конев) наступал южнее Берлина.

Каждый фронт вел разведку в своей полосе. Группа Льговского должна была действовать от 2-го Белорусского фронта.

Вот что писал о разведке в эти дни маршал Рокоссовский: «Мы знали, что перед нами сильный противник, упорство которого будет возрастать по мере продвижения по его территории. Важно было сделать так, чтобы наше наступление не вылилось в затяжные бои, а было стремительным, неудержимым, чтобы враг не мог планомерно отходить, цепляясь за выгодные рубежи. Вот почему было уделено большое внимание тщательной разведке как переднего края вражеской обороны, так и всех рубежей в ее глубине, которыми гитлеровцы могли воспользоваться при отходе».

Конечно же, говоря об этих рубежах, маршал Рокоссовский имел в виду не только их инженерное оборудование, но и войска, занимающие эти рубежи, их силы, вооружение и т. д. Наступление в завершающей кампании намечалось начать не ранее 20 января. Но для принятия обоснованного решения полную ясность о группировке противника следовало иметь намного раньше. В эти дни сложились два важных обстоятельства, создавшие огромное напряжение в боевых действиях советских войск и повлиявшие на сроки выполнения задач. Первое обстоятельство заключалось в том, что англо-американские войска попали в трудное положение: гитлеровцы нанесли по ним удар в Арденнах. Союзники несли тяжелые потери и просили выручить их наступлением наших войск. Верховный Главнокомандующий, выполняя союзнический долг, приказал фронтам перейти в наступление на несколько дней раньше намеченного срока.

Начав наступление утром 14 января, войска 2-го Белорусского фронта успешно продвигались вперед. Они уже подходили к Висле и готовились форсировать ее с ходу, но 20 января неожиданно поступил приказ Ставки — повернуть четыре армии фронта на север, выйти к Балтийскому морю и изолировать тем самым Восточно-Прусскую группировку врага от Центральной Германии. Этому повороту и в направлении, и в действиях войск в немалой степени способствовали данные разведки. Вот что пишет К. К. Рокоссовский о добытых разведчиками сведениях:

«...Действовавшие на территории Восточной Померании немецкие войска объединялись в группу армий «Висла», которой командовал Гиммлер. Она насчитывала в общей сложности свыше тридцати дивизий, в том числе восемь танковых».

Наступать на Берлин, имея на фланге такую сильную угрозу, как группа армий Гиммлера, было опасно и нецелесообразно. Поэтому Жуков и Рокоссовский решили совместными усилиями фронтов выйти к морю и, как пишет Рокоссовский, «рассечь вражескую группировку на две части. После этого наш фронт уничтожает ее восточную часть, а сосед — западную».

Появилась новая мощная группировка врага — нужны были и новые шупальца разведки, чтобы выявить силы, направление движения частей этой группировки. Для выполнения такой большой задачи были задействованы и авиация, и многие другие средства. Ну и как своеобразный рентген для «просвечивания» группировки изнутри потребовалось забросить и разведгруппу в тыл.

И вот тут возникла некоторая особенность и необычность предстоящего задания. Раньше наши разведчики, выполнявшие подобные задачи, действовали в тылу фашистов на своей земле, в своих лесах, в окружении соотечественников, большинство из которых готовы были помочь и помогали в трудную минуту.

Была еще одна особенность, не менее важная и сложная. Но если о трудностях, вытекающих из необходимости действовать в логове врага, все говорили открыто, то о второй особенности никто не говорил ни слова, но каждый думал о ней неотступно: и начальники, и те, кто готовился прыгать с парашютом. Как отразится и к чему приведет эта невиданная раньше в практике работы особенность? Была она, так сказать, психологической загадкой. Начальники, готовившие разведчиков, не спрашивая прямо, пытались разгадать ее в их глазах во время бесед.

Суть психологической загадки заключалась в том, что это было одно из последних заданий; заря Победы уже занималась над землей, приближалась мирная жизнь, появилась реальная возможность остаться живыми!

Вот и задумывались офицеры штаба над тем, как поведет себя тот или иной человек в этих условиях.

Вот такие неожиданные повороты обретала психологическая особенность предстоящего задания. Самый правильный и надежный выход из создавшегося положения увидел раньше других генерал Илья Васильевич Виноградов. Он много думал о подборе опытных людей. На задание должны быть посланы проверенные

разведчики. Это на первый взгляд простое решение отнюдь не было простым. Не так-то просто было генералу Виноградову одобрить предложение работников штаба послать на одно из последних заданий лучших разведчиков накануне радостного дня, когда невероятно трудные и опасные дела, свершенные ими во имя Победы за долгие годы войны, остаются позади.

Кому, как не славным воинам-ветеранам дожить до праздничного Дня Победы! Но верно и то, что только наиболее опытные разведчики могли выполнить задание.

Переживания генерала будут более понятны, если учесть, что он был не только заместителем начальника штаба фронта, но и человеком со свойственным ему чувством огромного уважения к разведчикам. Он не только знал все тонкости их труднейшей профессии. Соблюдая необходимую в такой работе строгость и деловитость, генерал искренне любил их.

Итак, подготовка группы была поручена майору Захарову. Майор отобрал наиболее подходящих для задания людей. Вполне естественно, многое зависело от командира: на задании он всему голова. Захаров остановил свой выбор на капитане Александре Льговском. По боевым делам, которые совершал Льговский, он вполне подходил для руководства группой. Помнил Захаров и о психологическом факторе, на который генерал велел обратить особое внимание. Может быть, поможет личный разговор, в котором и происходит то самое проникновение в сокровенные уголки души человеческой?

Захаров пригласил Льговского на беседу. Он пришел точно в назначенное время. Спокойно, деловито поздоровался с Захаровым, сел напротив него к столу и прямо посмотрел в глаза. Взгляд его и без слов понятен: «Я вас слушаю, готов к выполнению приказа».

Льговский был среднего роста, коренастый, одет в летнюю форму. Форма сидела на нем ладно, выглядел он настоящим асом. Захаров подумал, что Льговский и есть ас, только в своем деле. Когда Льговский снял фуражку, обнажилась сго побелевшая от седины шевелюра. Да, если в тридцать четыре года у человека седые волосы, это говорит о многом!

Захаров попросил капитана рассказать о себе. Льговский стал говорить коротко, словно отвечал на анкету:

— Я вологодский, русский, родился в селе Никольском. В партию вступил в 1931 году. В Красной Армии служу с 1932 года. Окончил школу техников авиационного вооружения, а потом работать пришлось вот по нашей линии. Ну, какие задания выполнял, вам известно.

Захаров действительно знал об этом; в августе 1943 года Льговский был заброшен в тыл врага с группой офицерского состава, находился в тылу до середины 1944 года в должности комиссара партизанского отряда, командира отряда, командира партизанского полка.

Сколько за всем этим стояло опасностей, критических, казалось бы безвыходных, ситуаций, уничтоженной техники и живой силы врага, больших и малых побед над фашистами!

Льговский не только понравился майору Захарову, а как-то сразу укрепил своим спокойствием и твердостью веру: да, капитан несомненно сделает все, чтобы выполнить предстоящее задание.

После утверждения Александра Льговского командиром других членов группы майор Захаров подбирал вместе с ним. Тут уж решающее слово за капитаном, ему идти с этими людьми в тыл врага, и поэтому он сам должен подбирать тех, кому доверяет во всех отношениях.

Заместителем себе Льговский взял старшего лейтенанта Григория Оношко. Он тоже не особенно молодой — ему тридцать один год. Родился в Черниговской области, украинец. Закончил семь классов, потом сельскохозяйственный техникум. А в 1935 году поступил в военное училище. Окончил его и до начала войны был пограничником. На фронте с первых дней войны.

Очень важным как при выполнении задания, так и в деле использования данных, которые будут добыты группой, является связь. Поэтому Льговский обратил особое внимание на подбор радистов. Он попросил себе не одного, а двух радистов. Одним из них стала Надежда Четверухина. Родилась в Пензенской области в 1917 году. До войны жила и работала в Москве. Член партии. Когда начались боевые действия, ей, конечно же, хотелось быть в Красной Армии. Надя окончила курсы медсестер и пошла на фронт, вытаскивала с поля боя раненых. Но все-таки хотелось не только пере-

вязывать раненых, а как-то более активно участвовать в борьбе с врагом. Поэтому она поступила на курсы радистов, окончила их с отличием, а по окончании попросилась не просто в дежурные при штабе радистки, а на какие-нибудь более опасные дела. Ее желание учли, и вот она стала радисткой группы Льговского. Надя была небольшого роста и выглядела моложе своих лет. Она была очень спокойная и добрая в обращении с людьми девушка.

Другим радистом стал Аркадий Брускин. Он помоложе Нади — ему всего двадцать лет. До войны учился в Полтаве. Веселый, общительный, бывший комсомольский работник. Брускин уже имел опыт работы в тылу врага. По заданию Центрального штаба партизанского движения его забрасывали в составе группы в Белоруссию. Вышел из тыла только в июле 1944 года.

Бойцами в группу были зачислены: Николай Шевченко, украинец, в Красной Армии с 1940 года. В первые же дни войны, в июне сорок первого года, раненый, попал в плен, но в марте сорок третьего бежал к партизанам. Партизанил в Минской области в отряде «За Родину».

Виталий Василевич, двадцать два года, белорус, из Гродненской области, беспартийный. В Красной Армии не служил, некоторое время находился в партизанском отряде. Хорошо знал польский язык.

Зигмунду Кравецкому шел двадцать шестой год, он поляк, из рабочих, беспартийный. В июне 1943 года был мобилизован в вермахт. В 1944 году часть, в которой служил Кравецкий, была направлена на Восточный фронт. И Зигмунд при первой же возможности перешел на сторону Красной Армии. Знает немецкий и польский языки, что очень ценно для группы.

Все разведчики должны действовать в тылу под видом беженцев из восточных районов, которые оказались здесь в результате отступления германской армии. Каждый из них, конечно, имел свою легенду — биографию, специально разработанную на тот случай, если придется давать какие-то объяснения о себе. Например, легенда Льговского была такой: он, Павлов Александр Павлович, родился в Псковской губернии. Отец его имел свое хозяйство, крестьянствовал, погиб под Псковом в 1918 году. Мать, Пелагея Афанасьевна, тоже умерла в голодный 1921 год. До 1929 года сам

Александр Павлов работал в своем хозяйстве. Имел две лошади, четыре коровы, но все потерял во время коллективизации и уехал в город Никольск Вологодской области. Жена и сын тоже уехали из деревни в том же году, судьбы их сейчас Павлов не знает. И вот, когда началась война, он находился в Минске. Ну а когда приблизилась линия фронта к Минску, когда уже отступали немецкие части, подался сюда, в тыл.

Нечто похожее было вложено и в биографии всех членов группы. Каждый из них мог объяснить гитлеровцам, почему отходил с отступающими немцами.

Группа была вооружена: у каждого автомат, пистолет, по две гранаты...

Чтобы не вступать в контакты с жителями в первые же дни, группу обеспечили продовольствием на несколько суток.

Командир группы изучил сам и ознакомил своих разведчиков с приказом на задание, которое им предстояло выполнить. В общих чертах он заключался в следующем: группа должна приземлиться на границе Польши и Германии в районе города Бютов (ныне Бытув) и контролировать переброски войск, вооружения и боевой техники противника по железной и шоссейным дорогам. Кроме того, следовало вскрыть вражеские гарнизоны в ряде городов.

Когда подготовка была завершена, майор Захаров прибыл с группой на аэродром. В ночь с 17 на 18 февраля 1945 года разведчики погрузились на самолет ЛИ-2 и, попрощавшись с Захаровым, улетели в тыл врага.

Майор не уходил с аэродрома до возвращения самолета. Летчики рассказывали: группа приземлилась в указанном районе, перед прыжком все вели себя хорошо, были собранными и бодрыми. Выпрыгивали без задержек. Все парашюты раскрылись.

Это должно было бы успокоить майора Захарова. И в какой-то степени он действительно порадовался тому, что все обошлось благополучно. Но благополучно было только на взгляд летчиков, которые смотрели сверху. А что ждало разведчиков на земле? Как они приземлились? Об этом пока никто ничего не знал.

А там под покровом ночи происходило следующее. Разведчики по одному опускались на землю и, вполне

естественно, не видели друг друга во мраке. Как это случается во время десантирования, они оказались в разных местах. В районе высадки, на их счастье, противника не оказалось. Они приземлились на поляну неподалеку от леса. Через сорок минут вся группа была в сборе. Тут же обнаружилась первая неудача. Почему-то грузовой мешок оторвался от парашюта в воздухе, и все содержимое мешка разбилось. Хорошо, что не было в этом мешке радиостанции и питания к ней! Надя не выпускала рацию из рук ни на минуту и прыгала с ней. К тому же парашют унесло ветром куда-то, группа не смогла его найти.

Это сразу же озадачило всех членов группы, потому что они понимали: парашют с рассветом будет противником обнаружен и сразу же начнутся поиски десантников в этом районе. Льговский немедленно повел группу подальше от места приземления. Разведчики шли очень осторожно, часто останавливаясь, прислушиваясь и вглядываясь во мрак.

Но вскоре, когда улеглось первое волнение, когда группа убедилась, что пока реальной опасности нет, они пошли вперед смелее.

Шли лесом. Разведчики хорошо знали, что на всех дорогах патрулируют посты жандармерии и не только проверяют документы, но и задерживают подозрительных. В населенных пунктах, где не стоят воинские части, находятся полицейские, которым поручено следить за всеми посторонними, кто может появиться в ближних деревнях и фольварках. Местные жители запуганы провокациями гестапо, которое подсылало специально провокаторов под видом дезертиров и всяких скрывающихся от властей элементов. И когда некоторые жители оказывали таким людям помощь, то провокаторы их выдавали и эти жители жестоко наказывались, что отучало других оказывать содействие посторонним.

Сделав короткую остановку в лесу, Льговский приказал развернуть радиостанцию и дал первую радиogramму в штаб. Вот ее содержание: «18.2.45. Приземлились благополучно. Собрались все. У грузового мешка оторвался парашют, груз использовать нельзя».

Тут же была получена ответная радиogramма: «Горячо поздравляю с приземлением и началом работы.

Желаю успехов и здоровья. Будьте осторожны. Жму всем руки».

Когда рассвело, разведчики сориентировались. Они вышли к опушке леса и, читая в бинокль указатели с надписями на дорогах, точно определили, где находится группа. Углубившись назад в лес, решили здесь и создать первую базу. У них не было ни конспиративных квартир, ни явок, ни связей с местными жителями — все это предстояло организовывать. Поэтому Льговский сказал:

— Надо обследовать прилегающий район и попытаться наладить контакты с местными жителями. Кравецкий пойдет со мной в восточном направлении. Брускин и Николай Шевченко отправятся на запад. Григорий Оношко, Виталий Василевич, Надя Чтвсрухина остаются здесь, на месте, с имуществом группы и ждут возвращения людей на базу. Срок возвращения всем через два дня.

Взяв запас продуктов, боеприпасов, разведчики попрощались и разошлись в своих направлениях.

Шевченко и Брускин весь день ходили по лесу — должны же быть здесь люди, скрывающиеся от гитлеровцев. Так никого и не встретили, решили поискать таких на одиноких фольварках. Вышли на опушку и стали наблюдать за небольшим хутором. Наблюдали за ним часа два, но ничего интересного не обнаружили. И вот около 11 часов ночи вдруг услышали стук деревянных подошв по земле. Земля за ночь промерзла. Стук был слышен далеко, кто-то шел в их сторону по полевой дороге. Ну, раз стучали деревянные подошвы, то, очевидно, это был местный житель.

Вскоре разведчики увидели: по дороге шел молодой мужчина. Был он явно навеселе, в хорошем настроении, что-то даже напевал вполголоса. Наверное, возвращался от какой-нибудь зазнобы на соседнем хуторе. В общем, он не подозревал, что с ним вот-вот произойдет. Разведчики вышли ему навстречу, остановили, и Шевченко спросил по-польски:

— Почему нарушаешь комендантский час? Почему болтаешься по дорогам?

Разведчики с немецкими автоматами на груди выдавали себя за патруль и умышленно говорили властно. Парень растерялся, стал объяснять, что он живет на хуторе, вот здесь, около леса, что он, собственно, находится дома и не шляется, а ходил по делу.

Когда же разведчики, опасаясь долго маячить на дороге, увели его в лес, чтобы поговорить, тут парень смекнул, что это вовсе не патруль, а люди, которые сами опасаются чужих глаз. Он стал с любопытством разглядывать новых знакомых. Но у разведчиков не было времени вести сложную игру, и, учитывая, что этот парень полностью в их власти, они ему прямо сказали, что пришли от Рокоссовского. Принадлежность к войску Рокоссовского у поляков была очень популярна. Об этом разведчики знали и бросили таким сообщением, как говорится, пробный камень.

Парень оживился. Было видно, что он доброжелательно относится к советским людям. Он стал приглашать новых знакомых к себе в дом. Разведчики, выяснив, что нет поблизости ни гитлеровцев, ни их патрулей, пошли с этим парнем.

Парень привел их в свой дом и познакомил с отцом. Старик, оказывается, служил в армии в первую мировую войну, был в плену у русских и сносно говорил по-русски. Он явно симпатизировал им и готов был насолить «швабам».

Старик сказал, что неподалеку отсюда, километрах в семи, живет лесничий Ромуальд Пиановский, его хороший знакомый и друг, он знает обстановку лучше его и знает многих хлопцев, которые скрываются от фашистов в лесу. В общем, этот человек будет очень полезен, надо идти к нему.

Посоветовавшись, Брускин и Шевченко решили не рисковать. Все их передвижения в этом районе, конечно, были опасны. Поэтому они попросили старика, чтобы он пригласил сюда, в свой дом, Пиановского для разговора. И объяснили, что идти к нему для них опасно. Старик согласился с их доводами и отправился за лесничим.

Разведчики не стали угрожать или предупреждать насчет того, что будет, если он вместо Пиановского приведет сюда гестаповцев или полицию. Брускин только сказал старику, когда тот уходил: «Мы вам верим». И он действительно верил этому человеку. Прежняя партизанская работа научила его разбираться в людях.

Конечно же, из предосторожности они все же действовали по-своему: Шевченко остался в доме, а Брускин вышел к дороге и вел наблюдение, кто будет

приближаться к хутору. И вот через некоторое время Брускин увидел человека в военной форме. Он ехал к хутору на велосипеде. Зима в этих краях не суровая, и поэтому даже в феврале люди здесь ездят на велосипедах.

Если это жандарм, то почему один? Обычно они меньше двух не ходят. Когда человек подъехал ближе, Брускин понял, что это не военный, а лесничий — на нем была фуражка с дубовым листом, френч и сапоги с жесткими голенищами. Наверное, это и был Пиановский, опередивший на велосипеде посланного за ним старика.

Пропустив лесничего, Брускин некоторое время наблюдал за дорогой — не покажется ли вдали еще кто-нибудь? Но, никого не обнаружив, пошел в дом.

И вот состоялось знакомство. Пиановский — это был он — очень радушно и доброжелательно отнесся к разведчикам, выказал полную готовность им помочь. Он рассказал о себе следующее:

— В 1939 году, когда фашисты напали на Польшу, я служил в армии и попал в плен. Мой отец был лесничим в этом же лесничестве. Ему удалось дать немцам взятку и выкупить меня из плена. В то время, да и не только в то время, это было распространено, немцы брали взятки и зарабатывали таким образом. Я вернулся в родной дом, где жили моя жена и два сына. Отец в сорок третьем году умер, и с тех пор я занял его место и по настоящее время работаю лесничим.

Подумав некоторое время, Пиановский тоже решил довериться разведчикам и сказал, что в его доме сейчас скрывается его школьный товарищ. Он не так давно бежал из концлагеря и вот пробрался сюда, к нему в дом.

— Я бы пригласил вас в свой дом сейчас же, но у меня есть работница. Она из соседней деревни, очень религиозная и может довериться ксендзу, поэтому мне бы не хотелось, чтобы она вас у меня видела. Вечером, закончив работу, она уходит к себе домой. Вот вечером и удобно прийти ко мне.

Можно было заподозрить Пиановского: к вечеру в его доме разведчиков будет ждать засада. Но выбора не было, и к тому же разведчики надеялись, что им представится возможность проверить слова и честность лесничего. Они согласились. Договорились об условном сигнале: если в доме все благополучно и

можно заходить, на окне будет стоять зажженная керосиновая лампа.

Еще больше насторожились разведчики, когда Пиановский рассказал им, как легче найти лесничество. Он показал в окно на дорогу и потом немного правее, в лес:

— Там есть просека, надо идти по этой просеке. И, чтобы не заблудиться, лучше всего идти по телефонному проводу. Он вас и приведет к моему дому. У меня прямой провод с фельджандармерией. Немцы, для того чтобы вести наблюдение за лесом и за всеми появляющимися в лесах дезертирами и посторонними, специально установили телефонные аппараты всем лесничим. И, пользуясь этими телефонами, мы обязаны постоянно сообщать в жандармерию о тех, кто появляется в нашем районе.

Эти слова, конечно же, очень озадачили разведчиков. Но, не выдавая своего беспокойства, они стали расспрашивать лесничего о некоторых деталях:

— А сколько от вашего дома до жандармерии?

— Она находится в Суленчино. Это десять — двенадцать километров.

— А сколько от вас до ближайшей деревни?

— Три километра.

По тому, как лесничий свободно, не таясь, говорил о своей связи с жандармерией, было видно, что он искренен с разведчиками. Если бы он замышлял их выдать, то, уж конечно же, не стал бы так подробно рассказывать и о связи, и о месте расположения жандармов. В общем, разведчики решили поверить новому знакомому, но, конечно, и проверить его честность.

Сразу же после того, как Пиановский уехал в свое лесничество, не дожидаясь вечера, разведчики тут же пошли за ним следом и, укрывшись в лесу, установили наблюдение за домом. В течение дня ничего подозрительного замечено не было. Но разведчики поглядывали и на провода, которые уходили вдаль, в саму жандармерию. Мало ли что мог сообщить по этим проводам лесничий!

Вечером, как только ушла работница от Пиановских, на окне появилась зажженная керосиновая лампа. Разведчики двинулись в дом.

Пиановский принял их, одетый по-домашнему. Он сразу же пригласил гостей в свой кабинет. Это был

уютный кабинет лесничего: на стенах висели ружья, рога, чучела птиц, портрет хозяина в форме польского офицера. И тут же, на столе, стоял телефон, вызвавший у разведчиков так много тревог.

Брускин и Шевченко сели к столу, развернули карту и попросили Пиановского ознакомить их с обстановкой в этом районе.

Пиановский, как и полагалось бывшему офицеру, очень толково и сжато изложил, в каких пунктах расположены воинские части, где какие административные учреждения, где полицейские подразделения гитлеровцев. Он также охарактеризовал мосты, дороги, контрольно-пропускные пункты, промышленные предприятия. Посоветовал, в каких местах лучше вести наблюдения за движением по дорогам.

Понимая, что разведчикам нужно расширить связи для сбора данных, он сообщил, кто может оказаться полезным. Назвал формирования из поляков, которые созданы немцами для несения охранной службы. Пиановский сказал, что в этих подразделениях есть люди, настроенные патриотически по отношению к Польше и готовые сражаться против гитлеровцев.

Главным условием своей личной работы Пиановский поставил полное ему доверие. Он сказал:

— Мне ничего не нужно за то, что буду вам помогать. Я горжусь тем, что ко мне пришли от Рокоссовского! Это для меня уже большое и ценное вознаграждение. Свое полное доверие к вам я доказываю тем, что рискую своей жизнью, семьей, домом, всем, что у меня есть. Если гитлеровцы узнают, что я вас просто приютил, этого уже будет достаточно для расстрела. Я готов помогать, но, чтобы окончательно убедить вас в моей полной благонадежности, сейчас скажу еще и такое, что никто даже в моем доме не знает. В глубине леса, в надежном месте, я построил блиндаж, в котором находятся продукты, оружие, все ценное, что у меня есть. Я соорудил его, чтобы в случае необходимости укрыть свою семью. Кроме того, уже сделал немало, за что могут взять гестаповцы. Хотя бы за то, что бежавшего из лагеря товарища скрываю. Только один человек знает о блиндаже, он помогал мне оборудовать это место, надежный человек, я вас с ним познакомлю. И он будет тоже помогать вам. Местонахождение этого блиндажа знаем только он и я.

Шевченко спросил:

— А где находится тот ваш человек, который бежал из концентрационного лагеря?

— Он больной и слабый. Находится здесь, в доме. Я вас с ним потом познакомлю. Пока он в таком состоянии, что работать не сможет.

Раздался стук в ставню окна, и Пиановский отозвался по-немецки. Разведчики опять насторожились, даже готовы были схватиться за оружие. Но Пиановский сделал успокаивающий жест и направился к двери. Вскоре там показался высокий, худощавый парень. У него на плече висела винтовка, по-охотничьи опущенная вниз стволом. Сразу видно, что парень свой в этом доме. Он разделся, повесил пальто на вешалку, разулся и в вязаных белых шерстяных носках вошел в кабинет вслед за Пиановским.

— Знакомьтесь: Юзеф. Тот самый мой помощник, о котором я вам говорил.

Парень молча пожал разведчикам руки и, ничего не говоря, внимательно на них глядел, как бы ожидая распоряжений от них или Пиановского.

Лесничий пояснил:

— У Юзефа с немцами свои счеты.

Парень смущенно улыбнулся и отвел глаза в сторону. Лесничий веско ему сказал:

— Вот эти люди пришли от самого маршала Рокоссовского. Ты будешь им помогать. Выполнять все, что они тебе скажут. Отведешь их в наш бункер.

Парень при явной своей флегматичности быстро вскинул глаза на лесничего, видно, бункер действительно был их большой тайной. Пиановский подтвердил:

— Да, да, покажешь им бункер, они там будут жить и отдыхать. А ты будешь их охранять и выполнять все поручения, которые они тебе дадут. Понятно?

Парень кивнул. Он так и не сказал ни одного слова. Это понравилось разведчикам — не болтливый. Все время на протяжении разговора Брускин и Шевченко слышали тихие шаги в соседней комнате. Кто-то там ходил, явно стараясь шагать осторожно. Разведчики уже беспокойно переглядывались. Но вошла жена Пиановского, оказывается, она там накрывала на стол и теперь приглашала всех ужинать. Пиановский отправил Юзефа на кухню. Он считал, что парню необязательно все знать.

За столом уже сидел мужчина высокого, наверное не менее двухметрового, роста, очень худой, изможденный и измученный.

— Это мой друг Юрек, о котором я вам говорил,— представил Пиановский.

Новый знакомый встал, молча поклонился. На протяжении всей беседы он мало говорил тихим, болезненным голосом. И конечно же, как правильно сказал Пиановский, пока не мог быть ничем полезен: даже говорить-то было трудно, сказав несколько фраз, он явно уставал.

Пожинав и потолковав о делах менее значительных, уже не относящихся к заданию разведчиков, они расстались. Было условлено, что завтра вечером Пиановский придет в тот самый бункер, о котором он говорил. А Юзеф сейчас пойдет с разведчиками на их базу. И после того как они сделают дела, которые им предстоит сделать, он приведет их в бункер, показав дорогу, то есть будет проводником.

С того момента, как разведчики разошлись по разным направлениям, прошло двое суток. Настало время возвращаться на базу, куда должен прийти и Льговский со своим спутником.

Дошли до базы благополучно. Здесь их встретили Оношко и Василевич; как и полагается мужчинам, они сдерживали радость по поводу возвращения товарищей, а Надя не скрывала этой радости, она засуетилась, как гостеприимная хозяйка, предлагала друзьям поесть, готова была вывернуть весь мешок с продуктами.

— Сыты мы,— сказал Брускин.— За таким столом сидели, даже на Большой земле сейчас таких не накрывают! — Аркадий коротко рассказал обо всем, что им удалось проделать, представил Юзефа, объяснил, кто он.

Группа Льговского на базу к условленному времени не вернулась. Что с ними? Ждать их или использовать так удачно подвернувшиеся возможности? Как и прежде, для соблюдения безопасности надо было прибыть в бункер намного раньше условленного времени, чтобы выяснить, не готовится ли там какая-то неприятность? Хоть и доверяли они Пиановскому, но помнили об одной из заповедей разведки: доверяй, но проверяй! К тому же Пиановский и сам мог не знать, что на его бункер случайно наткнулись

гитлеровцы и ждут теперь в засаде хозяина этого тайного прибежища.

Однако сменить базу группы без разрешения командира разведчики не имели права. Кто знает, может, Льговский найдет еще более удобные условия для выполнения задания. Надо ждать. Но и упускать возможность использования бункера не хотелось. Поэтому решили забрать с собой Оношко и в сопровождении Юзефа отправиться к блиндажу. Оношко, узнав дорогу, должен вернуться затем на базу группы, встретиться с Льговским, все ему доложить и, если тот решит воспользоваться бункером, привести группу со всем имуществом туда.

Как всегда, разведчики шли к бункеру с большой осторожностью, постоянно прислушиваясь и ведя наблюдение,— впереди Юзеф и Брускин, за ними остальные. Встреча с Пиановским в бункере была назначена на поздний вечер, а они пришли туда рано утром. И каково же было их удивление, когда они, предварительно осматривая издали район блиндажа, вдруг слышали, что там кто-то ходит! Затаившись за деревьями, разведчики узнали в этом человеке самого Пиановского. Он прогуливался туда и обратно около бункера и постукивал гибким прутиком по голенищу сапог. Кого же он ждет задолго до условленного с разведчиками времени встречи? Наблюдали долго, но, никого не обнаружив, вышли из своего укрытия, подошли к Пиановскому. Он встретил их сердитым взглядом. Не говоря ни слова, протянул клочок бумажки Аркадию. Это была записка. В ней было написано по-польски: «Группа ждет вас».

— Что это значит? — спросил Брускин.

— Это я хочу вас спросить: что это значит? — зло сказал Пиановский.— Мы же с вами договорились: будем работать на полном доверии!

— Мы от вас действительно ничего не скрываем. И я не могу понять, что вы имеете в виду.

Пиановский задумался, опять нервно постукал прутиком по сапогу и сказал:

— Тогда это дело совсем серьезное! Вот что произошло. После вашего ухода через некоторое время ко мне в дверь постучали. Я открыл и увидел двух немцев в военной форме. Один — унтер-офицер с Железным крестом, другой — солдат. Они мне сказали, что

сопровождали немецких беженцев в этот район, здесь их сдали, а теперь возвращаются в свою часть. И им хотелось бы отдохнуть. Я ответил: «Приму вас с удовольствием, но по инструкции фельджандармерии запрещено принимать солдат или кого-либо из посторонних и давать им приют без ее разрешения. Поэтому я сейчас позвоню в жандармерию, и мы вместе получим разрешение». Я заметил, что мои слова их смутили. Им явно не хотелось, чтобы я звонил в жандармерию. Я тоже подумал, что это какие-то необычные немцы. Во-первых, такой ранний час — пять утра. И потом «швабы» в одиночку или по двое в лес не ходят. Меньше чем взводом они в лес заходить боятся. Форма на этих немцах мятая, неглаженная, оба небритые. И вообще какие-то они не нахальные немцы. Гитлеровцы всегда ведут себя вызывающе, грубо, а эти просили. Они поняли, что я о чем-то догадываюсь, и стали мне объяснять: если я позвоню в жандармерию, то там могут не разрешить остаться на отдых и скажут, чтобы они поскорее возвращались в свою часть. Вы же знаете, какая строгая жандармерия. В общем, мне эти немцы показались подозрительными, я их пустил в дом, и в жандармерию не позвонил.

— Ну и кто же они? — нетерпеливо спросил Шевченко.

— Сейчас все узнаете. Вот что я обнаружил дальше. Попросил я жену приготовить им покушать, и она принялась накрывать на стол, а немцы стали умываться, приводить себя в порядок. И вот, когда один из них разулся, я увидел, что на ногах у него портянки из вафельного полотенца. «Откуда могут быть такие портянки у немца? — подумал я. — Гитлеровцы портянки не носят, у них носки». А потом, когда мы сели к столу, покушали и после этого захотелось покурить, один из «швабов» достал табак и стал делать самокрутки... из газеты! Но у немцев всегда есть папиросная бумага. Ну, это меня совсем насторожило. Потом они легли спать. Я дождался, когда они заснут, и посмотрел их вещички. И вы знаете, что я там обнаружил?

Разведчики с любопытством и недоумением ждали, что же скажет Пиановский. Он сделал паузу, еще раз внимательно и как-то с укором посмотрел на разведчиков и, покачав головой, высказал:

— Я обнаружил у них в сумке точно такие же карты, на каких я вам показывал, где находятся гар-

низоны и части воинские в нашем районе! Точно такие же листы, какие вы имеете! Значит, это ваши люди. Значит, вы мне не все сказали и в чем-то не доверяете?

Пиановский помолчал, потом, опять строго посмотрев на разведчиков, продолжал:

— Вот, поняв, что вы мне не доверяете, я решил, что имею право кое-что выяснить сам. Взял осторожно их оружие и унес в другую комнату, спрятал его там. А потом подошел и разбудил этих немцев. И сказал им, показывая их же карты: если вы ищете своих коллег, тех парней, которые пришли от Рокоссовского, то они у меня были и ушли. А куда ушли, я не знаю. Были они у меня недавно. И вы мне тоже не морочьте голову, а выкладывайте, что вам нужно, если хотите, чтобы я вам помог. И признавайтесь, кто вы такие. Эти «швабы» или сделали вид, что не догадываются, о чем я говорю, или не хотели сказать, что они ваши товарищи, но, в общем, они стали меня про вас расспрашивать. Я им сказал то, что считал возможным, но на всякий случай не сказал, что мне известно ваше местонахождение. Немцы наконец ответили: он сам понимает — они не могут сказать всего, но очень просят связать их с этими самыми парнями от Рокоссовского.

Я не хотел их выводить на вас, а посоветовал написать записку и сказал: может быть, они еще придут или я их встречу где-нибудь в лесу, тогда уж эту записку и передам. И вот сейчас я здесь так рано потому, что они спят.

Все было очень неожиданно и довольно подозрительно. То, что появились уже немцы в форме, каким бы предлогом их появление ни объяснил Пиановский, разведчикам не нравилось. Они посоветовались, что делать, как поступить, но без Львовского принимать какие-то решительные меры не могли.

Отпускать Пиановского домой разведчикам тоже не хотелось. Вся эта история очень усложнила отношения разведчиков с Пиановским. Появилось некоторое недоверие. Он это чувствовал, и разведчики понимали, что он это чувствует. И не хотелось им обижать его, если он действительно окажется честным патриотом. Осторожность требовала не проявлять торопливость, но и медлить нельзя; в общем, действовал еще один закон разведки: не спеши, но поторапливайся.

Решили послать Оношко на базу и, если вернулся Льговский, срочно вести его сюда. Когда прибыл Льговский с группой, ему доложили обо всем сделанном и добытом и о том, что происходит. Он тоже ничего не знал о появившейся группе. Решил все-таки послать двух человек на связь к этим странным немцам.

В дом лесничего пошли Аркадий Брускин и Николай Шевченко, за ними поодаль следовала другая группа разведчиков, которая должна была вести наблюдение за тем, что произойдет в доме лесничего, и помочь товарищам, если возникнет такая необходимость.

Осмотрев предварительно прилегающие к лесничеству местность и дороги, разведчики вошли в дом. Они застали немцев еще спящими. Эта их беззаботность, а может быть, и предельная усталость, говорили о том, что все-таки это не настоящие гитлеровцы. Что-то с ними произошло: или они дезертиры, или действительно наши разведчики, заброшенные в тыл, и что-то у них не ладится. В общем, первое впечатление у разведчиков сложилось благоприятное. Они ушли в кабинет Пиановского, а Пиановский разбудил немцев. Те оделись, умылись и вошли в кабинет. Присутствие незнакомых людей их не удивило и не насторожило, они понимали, что это не представители власти, а люди, приглашенные Пиановским по их же просьбе.

Для того чтобы установить какой-то контакт и хотя бы минимальное доверие, разведчики положили на стол свои карты, рядом с точно такими же картами советского издания, которые были обнаружены в вещах этих немцев. Увидев карты, немцы поняли, с кем имеют дело.

Один из них представился: Фриц Келлер, а второй назвался Августом Мейслером. Унтер-офицер Келлер — высокий, худой, немого сутулый, с довольно симпатичным лицом и веселыми приветливыми глазами. Мейслер был прямой противоположностью унтер-офицеру: толстый увалень, медлительный в движениях, с такими же медлительными глазами. Он стоял сзади унтер-офицера, видимо полностью признавая его старшинство.

Все сели к столу, и унтер-офицер Келлер доверительно сказал по-немецки:

— Мы видим, что полностью в ваших руках. У нас сейчас нет даже оружия. Если судить по этим картам, то мы с вами коллеги. И это действительно так. Если вы парни от Рокоссовского, то запросите «хозяина» по рации, которая у вас должна быть, и они вам скажут, кто мы такие. Но мы действительно ваши коллеги, вы нас не опасайтесь. С нами случилась беда. После того как появились в этом районе, мы стали искать себе жилье. И обратились к одному бауэру, а он, подлец, нас выдал! Хорошо, что мы обнаружили гестаповцев, когда они только приближались к нашему дому. Мы отстреливались, бежали от них. В схватке с гитлеровцами потеряли радиостанцию. И вот теперь мы без радиостанции и нет от нас никакой пользы тем, кто нас сюда прислал...

Всматриваясь в полное лицо Августа Мейслера, Брускин старался припомнить, где же он мог видеть этого немца? И Аркадий вдруг вспомнил: в Гродно, в кинотеатре. У того произошел какой-то казус с билетом, но тогда этот немец был одет в красноармейскую форму.

Брускин спросил Августа:

— Вы бывали в Гродно?

— Да, конечно, бывал. Там мы жили.

— А какой фильм шел в тот день, когда у вас что-то было не в порядке с билетом?

Август Мейслер вскинул брови и удивленно смотрел на неожиданного знакомого, поражаясь, видимо, такой осведомленности русской разведывательной службы. Он ответил:

— Если я правильно произношу, то фильм б «Секретарь райкома».

Брускин тоже вспомнил, что в тот вечер шла картина «Секретарь райкома». Август тем временем продолжал:

— Меня тогда что-то спрашивал про билет, а я не мог толком понять, что они хотят,— я плохо понимаю по-русски, я был в красноармейская форма, о, немец — в советская форма! Меня хотели арестовать. Но хорошо, там рядом был офицер, который меня знал, он объяснил, что я свой человек.

Кажется, можно было доверять этой группе. Но все же, продолжая разговор с новыми знакомыми, Брускин искал еще какие-то детали для того, чтобы убедиться полностью, что это свои люди. Унтер-офицер

Келлер называл фамилию одного майора. Брускин знал, что это работник штаба, и задал вопрос с подтекстом:

— А кто был другом майора?

Унтер-офицер улыбнулся и, понимая, что ему еще не полностью доверяют, весело ответил:

— О, я знаю, о ком вы говорите,— это его собака, его любимый пес, который всегда ходил с ним рядом!

Это действительно было так. Брускин знал это, и унтер-офицер, следовательно, тоже знал, что майор всегда ходил с собакой.

Шевченко остался в доме, а Брускин подошел к командиру группы и все ему рассказал. Надя Четверухина тут же связалась по радио с Центром и сообщила о встрече с новой группой.

На запрос Льговского пришел ответ, подтверждающий, что эта группа действительно заброшена в тыл. Было приказано присоединить группу к себе. И ей также выполнять задание, поставленное группе Льговского.

В этот день в Центр были переданы сведения, добытые за первые дни разведки в тылу противника. Это были достаточно ценные и немалые сведения. Льговский обобщил свои наблюдения, сопоставил их с тем, что увидела группа Шевченко, Брускина в тех районах, куда они выходили, и что сообщил Пиановский. Льговский очень умело ориентировался в отдельных отрывочных данных, составляя из них довольно полную обстановку в заданном районе.

У разведчиков стало легче на душе после того, как подтвердилось, что все они могут друг другу доверять. Теперь уже за столом, за чашкой чая они разговорились по-свойски, и веселый по нраву Фриц Келлер рассказал о себе. Поскольку не все хорошо понимали немецкий, он, как мог, говорил по-русски:

— Я уже три раза меняю форму. В 1939 году носил польская форма, потому что жил в Польше и служил в польская армия. В сентябре тридцать девятого года, когда пришли немцы, я попал к ним в плен. Смешно, да, немец к своим в плен? Ну, потом меня из плен освобождают и как немца призываит служба уже в немецкой армии. Я служил во Франции, парижский гарнизон. Хорош, красивый, веселый город! Я был взвод связи, был командиром отделения. Потом наши

дела на Востоке шли все плохо и плохо. Был я Прибалтика. Я понимаю: Гитлер делает грязное дело и умирайт мне за это грязное дело совсем не надо! Поэтому я перешел на ваша сторона. Ну а потом не хотел сидеть и ждать, хотел помогайт свой народ прогоняйт фашизмус. И я стал работать с вами.

История Августа Мейслера была менее интересной. Он, улыбаясь своим добрым, полным лицом, сказал:

— Я всегда был толстый, как говорят русские — нестройной. Меня послали в рабочий батальон. И я попал в Белоруссия. Мы там не только сами строили, а были больше охрана на мобилизованный рабочий. Население строил дорога. Однажды мы пошли в белорусскую деревню меняйт барахло на сало, яйца. И там вдруг на нас наскочили партизаны. Мои товарищи убежали, ну а я всегда был толстый, не мог быстро бегать. Попался! Меня партизаны поймали. Я им рассказал все, что я знал, сказал, что я ничего плохого русским не сделал. Они меня оставили живым. И я помогал им, ухаживал за лошадьми, ну, занимался всякой такой хозяйственной работа в партизанский отряд. Когда наш отряд соединился с советский армия, партизаны сказали, что я никогда ничего плохого русским не сделал. Стал антифашистом.

Разведчики слушали рассказ своих новых знакомых, что тут была правда, что выдуманно — установить трудно, да и сейчас это делать незачем, главное — надо выполнять задание. Хорошо, что это оказались люди, которые помогут и облегчат выполнение поставленных задач.

Льговский во время своего двухдневного «вояжа» тоже, как он сказал, «зацепил» очень ценный источник сведений.

Он дал ему кличку Кельнер. Кельнер оказался человеком лояльно настроенным по отношению к русским и обещал помогать. И он действительно давал очень хорошие сведения о дислокации частей в районе Данцига (Гданьска) и Гдыни и, что особенно ценно, — о военных кораблях и подводных лодках, стоявших в этих портах.

Для проверки личности Кельнера Льговский как-то завел разговор с Пиановским, и оказалось, что

Пиановский знает этого человека и сам неоднократно пользовался его услугами как торговца.

В общем, группа закрепились в заданном ей для разведки районе. За короткое время она установила хорошие связи, постоянно высылала своих наблюдателей в разных направлениях и держала под наблюдением огромный район, сообщая о всех передвижениях, размещении и численности воинских частей в этом районе, успешно выполняя тем самым все задачи, которые были ей поставлены.

За первую же неделю было передано в Центр немало радиogramм. Перечитывая эти радиogramмы сегодня, можно сделать следующее обобщение: группа Льговского выявила в районе Бютов — Данциг и южнее до восьми дивизий противника, точно указала местонахождение четырех штабов этих соединений и штаба корпуса, обнаружила объекты в районах Реда, западнее Гдыни. По наводке группы Льговского эти объекты бомбила наша авиация. Были выявлены укрепления на нескольких рубежах, которые предстояло штурмовать частям Советской Армии. Установлены инженерные работы по укреплению городов, особенно Данцига и Гдыни, по подготовке береговой артиллерии для обстрела наземных целей при обороне этих городов.

О том, какое значение имели эти сведения для наших войск, можно понять по словам генерала армии П. И. Батова в его воспоминаниях: «Если читатель посмотрит на карту, то увидит на берегу Данцигской бухты три расположенных рядом города — Гдыню, Цопот... и Данциг. Фактически они слились в один большой город... Во время войны эти укрепленные города-порты с их верфями и поддержкой со стороны военно-морского флота представляли собой орешек крепче, чем Кенигсберг. Немецкое командование рассчитывало, что, организовав оборону этого района трех городов, даже при условии окружения оно сумеет сковать здесь значительные силы наступающих войск. Задача состояла в том, чтобы сорвать этот замысел. Все замыслы были в то время сосредоточены на одном: взять Данциг быстро и освободить войска для участия в последнем, решающем сражении за Берлин».

Как известно, это намерение советского командования было осуществлено, гитлеровцам не удалось втя-

нуть наши войска на этих рубежах в затяжные бои, и большую роль в этом сыграла, конечно же, разведка, хорошо изучившая и группировку, и все, что готовил противник для задержания наступления наших войск.

Вот одна очень любопытная радиограмма Льговского: «5.3. Западнее Данциг, южнее шоссе Данциг — Картузы, в кирпичном заводе большой склад боеприпасов. Боеприпасы в бункерах под печами. Склад усиленно охраняется».

Конечно же, и усиленная охрана, и такое необычно бережное сохранение боеприпасов — под печами кирпичного завода — наводили на мысль о том, что это не совсем обычные боеприпасы. Командование наших войск отреагировало на эту радиограмму, и склад с боеприпасами был уничтожен при налете нашей авиации. Позже выяснилась любопытная подробность. Как известно, большие неприятности Англии приносили самолеты-снаряды Фау-1, которые с 13 июня 1944 года запускали гитлеровцы уже и по Лондону. Всего было запущено десять с половиной тысяч самолетов-снарядов. Около двух с половиной тысяч взорвалось в Лондоне. Каждый из них имел тонны взрывчатки и причинял серьезные разрушения. Позднее фашисты использовали ракеты Фау-2, разработанные в ракетном центре Пенемюнде. Самолет-снаряд и ракета производили большое моральное угнетающее воздействие: с ревом, напоминающим звук современного реактивного истребителя, они приближались и сильно действовали на нервы англичан, которым даже не успевали подать сигнал воздушной тревоги. Англичанам очень долго не удавалось выявить стартовые позиции Фау-1 и Фау-2. Гитлеровцы бомбили безнаказанно. Но самое удивительное заключается в том, что однажды, еще до того, как начали запускаться Фау-1, воздушная разведка англичан произвела съемки района стартовых позиций ракет, которые были не похожи на огневые позиции артиллерии. Круглые площадки, не занятые никакими пусковыми установками, не насторожили тех, кто дешифровал эти снимки.

Недавно, в июле 1979 года, в журнале «Новый мир» были опубликованы, правда, совсем по другому поводу, такие вот подробности, касающиеся темы нашего рассказа:

«15 мая 1942 года... истребитель английских королевских военно-воздушных сил «Спитфайер», оснащенный фотоаппаратурой, вылетел в сторону Балтийского моря, чтобы разведать положение дел на гитлеровской военно-морской базе Свинемюнде, расположенной на острове Узедом. В северной части этого большого острова... фотоаппараты воздушного разведчика зафиксировали какую-то странную площадку. На фотоснимке были отчетливо видны недостроенные здания и непонятные кольцеобразные воронки. Не найдя изображению доступных им объяснений, дешифровальщики охарактеризовали загадочные объекты как «большие строительные работы» и сдали снимок в архив. Если бы они знали, сколько жизней соотечественников станут расплатой за их непростительное легкомыслие!»

И вот, когда было выпущено уже несколько тысяч Фау-1, когда от бед, которые они причиняли, у англичан шла голова кругом, вдруг кто-то вспомнил, что были какие-то необычайные огневые позиции на аэрофотоснимках. Подняли бумаги и убедились, что это как раз и есть те самые позиции, которые так долго не могут найти английские разведчики! Естественно, англичане послали туда большое количество бомбардировщиков, и все в этом районе было авиацией уничтожено. То, что уцелело от этих бомбежек, и то, что было в других районах, не подвергавшихся бомбардировке, гитлеровцы перевезли на Восточный фронт, чтобы использовать самолеты-снаряды против приближающейся Советской Армии. По этому поводу в уже цитированной работе сказано:

«Тщательно спланированный удар, закодированный названием «Гидра», должен был уничтожить инкубатор змеиных яиц, воздвигнутый на острове Узедом. Ловко обманув командование гитлеровских ВВС, англичане в ночь на 18 августа 1943 года отвлекли к Берлину основные силы фашистской истребительной авиации и направили к северной части острова Узедом несколько сот тяжелых бомбардировщиков, сбросивших свой груз на секретный ракетный центр в Пенемюнде.

Разгром был велик, но немцы оправились, и работа над ракетным оружием продолжалась. Место для его испытаний было выбрано Гиммлером на юге Польши, в Краковском воеводстве. Польский артиллерийский

полигон неподалеку от неприметного местечка Близна гитлеровцы превратили в полигон ракетный... В августе 1944 года загадка Фау-2 перестала быть загадкой. Полигон в Близне захватили советские войска, и знаменитая ракета стала одним из наших трофеев».

...Работа радиостанции группы Льговского не осталась не замеченной гитлеровцами. Однажды, когда Льговский возвратился после очередного наблюдения и встреч с антифашистами, Надя сообщила ему о том, что она видела немецкую машину с радиопеленгатором, которая проходила по шоссе, идущему мимо леса, где находится блиндаж группы. Было ясно: ищут радиостанцию, возможно, уже не раз ее запеленговали, и теперь этот район поисков сужается и скоро могут нагрянуть сюда гестаповцы. Для того чтобы сохранить очень ценные источники сведений и продолжать удачно начатую работу и в то же время ввести в заблуждение пеленгаторскую службу гестаповцев, Льговский принял решение выходить с радиостанцией на удаление 15—20 километров в сторону от базы группы и передавать очередные радиোগраммы в Центр оттуда: разведчики вводили пеленгаторную поисковую службу противника в заблуждение в отношении и местонахождения рации, и количества действующих здесь раций.

Конечно же, эта игра требовала больших сил и не могла продолжаться до бесконечности, группе надо было перебазироваться. К счастью, к этому времени наши войска, продолжавшие продвижение вперед, приблизились к району, где находилась группа Льговского, и он получил такую радиограмму: «Ввиду успешного продвижения Красной Армии вам необходимо отходить в район Данциг — Гдыня, и далее на север до Пуцк...»

Получив этот приказ, Льговский решил посоветоваться с Пиановским и попросить его помощи как в выборе нового места для базы группы, так и в поиске людей на новом месте, которым можно было бы довериться. Пиановский подумал и сказал:

— Есть один человек в этих краях. Зовут его Леон Байер. Он был простым крестьянином, жил на своем хуторе, но потом у него жизнь сложилась так, что пришлось скрываться от немцев. И я знаю, что он уже около пяти лет скрывается в том районе, который вас интересует.

— А можно ли доверять этому человеку? — спросил Льговский.

— Я думаю, можно. У него свои счета со «швабами». Его однажды взяли в гестапо, и он там стал притворяться ненормальным. И вот, когда повели к психиатру для обследования, Леон, выбрав удобный момент, одним сильным ударом свалил сопровождавшего полицейского. И бежал. Немцы объявили розыск, были даны приметы Леона Байера, но поймать его не удалось. Сейчас он живет в небольшой дерсушке у своих дальних родственников. Так что, я думаю, помогать он будет и доверять ему можно.

Как только стемнело, Льговский повел группу к новому месту. Проводником был Юзеф. Он в течение ночи вывел разведчиков к дереушке, в которой жил Леон Байер. Остановились на опушке леса, стали наблюдать за этими домами, нет ли там гитлеровцев? Пока шли, было тепло, а без движения все промерзли от какого-то особенного местного сырого воздуха.

С рассветом стало окончательно ясно, что гитлеровцев здесь нет. Тогда Юзеф пошел в дом Байера, а группа затаилась в кустарнике. Через некоторое время Юзеф в сопровождении, видимо, Байера вышел из дома и направился к лесу. Они подошли к разведчикам, и Байер с большим любопытством стал их разглядывать. Он поздоровался с каждым за руку и представлялся каждому, называя свое имя: Леон Байер. При этом он улыбался доброжелательно белозубой улыбкой и смотрел на тех, с кем здоровался, веселыми, лукавыми глазами.

Он был широк в кости, с длинными, почти до колен, сильными руками. Здороваясь с ним, Льговский подумал: «Да, такой ручищей действительно можно свалить полицейского одним ударом!»

Когда знакомство состоялось, Юзеф сказал Леону:

— Ты должен заботиться вот об этой пани,— он показал на Надю.— Она здесь одна женщина и такая молоденькая и хрупкая, как ты видишь. Вот за нее ты должен отвечать головой.

Леон Байер понял эту полушутку всерьез и тут же подошел и встал рядом с Надей, тем самым выражая свою полную готовность делать все, что нужно для охраны радистки.

Жить в деревушке нельзя было — много чужих глаз, да и, разыскивая самого Леона Байера, гитлеровцы иногда наведывались к его родственникам, возможно, тайно кто-то из односельчан и наблюдал за ним. Поэтому Леон предложил разведчикам разместиться на хуторе у своего знакомого.

Группу Льговского отвел к новому месту Леон Байер и передал тоже Леону по фамилии Краска. Леон Краска жил на своем хуторе очень замкнутой жизнью. Дело в том, что он был по национальности поляк. А все соседи вокруг него были немцы, подданные Гитлера.

Леон Краска был вдовец. С ним жила дочь лет двадцати пяти. И еще племянница, которая приехала к нему, спасаясь от бомбежек большого города. Поговорив с Майером и дав согласие приютить парней от Рокоссовского, Леон действительно принял и разместил группу на своем хуторе. А Леон Байер вернулся к себе домой, тоже твердо обещая доставлять данные, которые соберет сам, и те, которые пришлет Пиановский.

Добывать сведения о вражеских частях, находящихся поблизости и передвигающихся по дорогам, отправлялись все, в том числе и хозяин дома Леон Краска. Когда возвратились к назначенному времени и суммировали сведения, Надя стала передавать радиogramму в Центр. В это время Леон Краска, человек очень, видно, религиозный, смущенно попросил Льговского:

— Только вы уж, пожалуйста, панове, попросите, чтобы ваши летчики, когда будут бомбить тех «швабов», не попадали бомбами в костел, пожалуйста.

Наступление советских войск все больше теснило войска фашистов, припертые к морю. Дальше отходить и группе Льговского стало уже невозможно. Начинались бои за сильно укрепленный район Данцига и Гдыни. Он был очень насыщен войсками, и действовать в этих условиях группе не представлялось возможным. Группа оставалась по приказу Центра на хуторе Леона Краски до той поры, пока атакующие танки не пронеслись по этому району, удаляясь дальше на север, к морю.

И вот настали радостные минуты, когда разведчики встречаются с советскими солдатами.

Очень трогательны и своеобразны эти минуты. Разведчики, сияющие от счастья, готовы обнимать

солдат, идущих навстречу... Вскоре они уже в штабе фронта, и генерал Виноградов радостно пожимает им руки. Благодарит за проделанную огромную работу. В тот же день член Военного совета и генерал Виноградов вручили разведчикам правительственные награды: Льговский был удостоен ордена Красного Знамени, радистка Надя — ордена Отечественной войны II степени, высокими правительственными наградами отмечены и другие члены группы, отличившиеся при выполнении задания.

Когда разведчики были в тылу, где нервы напряжены до предела, казалось, что после возвращения будут спать и отдыхать ну самое меньшее — неделю. И вот они дома, в расположении своих войск. Но радость настолько велика, так будоражила, что никому, конечно, спать не хотелось. Через несколько дней Льговский попросил разрешения и выехал в район, где недавно действовала группа. Он поблагодарил за помощь Пиановского, Байера, Краску...

Встречи с патриотами-интернационалистами были очень радостные. Пиановский, вообще человек внешне спокойный, внутренне всегда кипел и жаждал действия. И вот теперь, сам увидев результаты работы группы и своего участия в этой опасной, но оказавшейся такой полезной работе, он торжествовал и гордился сделанным вместе с разведчиками, присланными самим Рокоссовским!

Казалось, на этом боевые действия разведчиков завершены. Предстояла последняя наступательная операция, в исходе которой уже ни у кого не было сомнения. И обстановка вроде ясна. И разведывать особенно уже нечего. Но жизнь на войне, и тем более в разведке, всегда преподносит неожиданности. Так же случилось и тогда.

После того как была ликвидирована опасная вражеская группировка, нависшая с севера над фронтами, которым предстояло брать Берлин, Ставка уточнила задачи фронтам.

Не говоря уже о трудностях перегруппировки, которая должна быть проведена в очень сжатые сроки — огромное количество войск, создались еще новые трудности и со сведениями о противнике. Вот что пишет об этих днях и трудностях именно по линии разведки маршал Рокоссовский: «К сожалению, части 1-го Белорусского фронта, которые мы должны были сменить,

не смогли нам дать необходимых сведений о противнике. Они просто не имели времени собрать эти данные. Командующий 61-й армией генерал П. А. Белов, который передавал свой участок войскам трех наших армий, в беседе со мной не смог сказать о противнике ничего нового по сравнению с тем, что мы уже знали. Пришлось отойти от заведенного нами порядка и ставить задачи командирам еще до выяснения более или менее полных данных о противнике. Делали мы это, конечно, не от хорошей жизни. Сроки поджимали. Ведь надо было еще дать время командирам для отработки задач с командирами соединений».

Вот в таких условиях капитана Льговского вновь попросил зайти генерал Илья Васильевич Виноградов. Льговский даже не подозревал, какой разговор произойдет у него через несколько минут... Он вошел к Виноградову веселый, окрыленный, рассказал генералу о своих встречах с мужественными людьми, которые помогали недавно в тылу. Но тут чутье опытного разведчика подсказало Александру Льговскому, что разговор предстоит совсем не праздничный и совсем о другом.

Генерал Виноградов был серьезен. Он посмотрел в глаза капитана с какой-то просительной мягкостью, не было в них обычной генеральской твердости, он даже отвел глаза, казалось, был чем-то смущен. Очень нелегко ему завести необходимый разговор. Шел апрель 1945 года: уже, несомненно, последние дни войны! Но не было необходимых данных у войск для того, чтобы завершить и эти бои с наименьшими потерями. Достать их следовало во что бы то ни стало.

— Я надеюсь, вы меня поймете, товарищ Льговский. Обстановка складывается так, что нужно, и, я надеюсь, это уже действительно будет последнее задание, отправиться в тыл врага, на этот раз совсем близко к Берлину, и вскрыть группировку врага на новом, последнем направлении наступления фронта.

Далее Виноградов более подробно поставил задачу, определил районы, где предстояло действовать разведчикам, что нужно выяснить. Льговский слушал вроде бы внимательно. Но ему казалось, что это все происходит во сне. Уж очень был резок переход от радости, от убеждения, что все ужасы войны остались для него позади. И вот снова нужно оку-

путься в этот ад, в это пекло, опять идти к дьяволу в зубы.

Александр Льговский, конечно же, был очень волевой человек, мог перенести любые, самые критические ситуации, но в эти минуты все же испытал некоторую растерянность. Задание было труднейшим: прыгать предстояло чуть ли не на головы озверевшим от приближавшегося краха гитлеровцев! Это, конечно, могло смутить любого, самого волевого разведчика. Но это не мешало ему уяснить все, что говорил безгранично уважаемый Илья Васильевич Виноградов, не мешало и уловить в тоне генерала не приказные нотки, а какую-то товарищескую просьбу. Генерал тоже понимал и настроение Льговского, и сложность предстоящей задачи. И желание Льговского — жить... И необходимость еще раз рисковать ради спасения многих из тех, кому предстоит участвовать в последней битве Великой Отечественной войны...

— Подберите из своей группы всех, кого вы считаете нужным, — сказал Виноградов. — Должны идти только добровольцы. Подчеркиваю, только те, кто сам захочет идти на выполнение этого крайне опасного задания.

Льговский встал.

Илья Васильевич не просто пожал ему руку, а задержал ее в своей и молча смотрел ему в глаза. Льговский все понимал: и состояние генерала, и то, что у него была вера в опыт разведчиков.

— Разрешите идти?

Генерал молча кивнул.

Льговский вернулся на квартиру, где жила его группа. Это был небольшой особняк. Никто, кроме разведчиков Льговского, в нем не жил. Льговский думал о том, как же ему повести разговор с разведчиками. Помня свое недавнее состояние, он знал, нечто похожее произойдет и с его людьми, когда скажет им о задании, и Льговский прикидывал, как и с кого начать разговор? Он решил, что на этот раз его заместителем будет Аркадий Брускин, который очень хорошо действовал на прошлом задании, показал себя находчивым, инициативным и смелым бойцом. С него и начал.

Ничего не подозревавший Аркадий весело пошел навстречу Льговскому и стал говорить:

— Вы знаете, дорогой капитан, победа портит

людей. Я уже чувствую, что начал зазнаваться. Знаете, о чем я сейчас думаю? Нет, вы даже не догадываетесь! Мне представилось, как я приезжаю в свою родную Полтаву и меня там встречают, как когда-то встречали папанинцев. Они приезжали к нам незадолго до войны. Им устроили замечательную встречу. Вот мне кажется, фронтовиков, наших земляков, тоже будут так встречать.

Заметив в глазах Льговского какую-то холодную искорку, Брускин насторожился. А капитан сказал:

— Ну вот, для того чтобы ты не зазнавался и не портился, я могу представить тебе возможность немного остыть.

Льговский напрямую рассказал Брускину о поставленной задаче. Брускин знал, что Льговского ждут жена, двое детей — сын Александр и дочь Маргарита. Ждут всю войну. И если он уходит на задание без колебаний, то что же остается делать ему, неженатому, которого никто не ждет? Да к тому же пойти с Льговским — это же не с кем-то, а с человеком, который хотя бы вот на прошлом задании показал, на что он способен! С таким не пропадешь! Аркадий сказал коротко:

— Я с вами.

Они сели к столу и стали обсуждать состав группы. Самый важный член группы — это, конечно же, радист. И вот тут на первой же кандидатуре разведчики переглянулись и поняли, что думают они об одном и том же. Льговский ответил на не заданный Брускиным вопрос:

— Да, я тоже думаю, что Надю не нужно брать на это задание. Пусть она живет...

Он тут же посмотрел в глаза Аркадию: не понял ли тот, что он считает их обреченными? Но Брускин так его не понял. Он тоже хотел, чтобы девушка, которую они все очень по-своему, по-братски, любили, не рисковала еще и в эти последние дни. Они — мужчины. Им уж, как говорится, самой судьбой положен этот риск. А ее брать не следует. Больше они об этом не говорили.

— За радиста я сработаю, — сказал Брускин. — Я думаю, что на этот раз нам не придется долго находиться в тылу. Кстати, меня может дублировать и Август Мейслер, если можно его включить в новую группу.

— Да, генерал разрешил выбрать тех, кого мы посчитаем нужными, из состава нашей прежней группы. Я думаю, что Мейслера и Келлера нужно брать обязательно. Они и язык знают, и будут ориентироваться на немецкой территории лучше нас,— сказал Льговский.

Кроме Фрица Келлера и Августа Мейслера было решено включить в группу Зигмунда Кравецкого и Николая Шевченко.

Поскольку никакой особой подготовки, разве только материального обеспечения, для группы не требовалось, все разведчики были, как говорится, в полной боевой готовности, да и обстановка требовала как можно быстрее начинать действовать. В одну из ближайших ночей, упаковав имущество и переодевшись в соответствии с легендой, группа отправилась на аэродром.

Они вылетели в 23.00 на самолете ЛИ-2. И через час пятнадцать минут, то есть в начале новых суток 20 апреля, были над районом выброски недалеко от Берлина, над лесом севернее Курцхагена.

20 апреля — оставалось всего десять дней до взятия рейхстага. В эти часы в подземном бункере рейхсканцелярии, в компании самых близких приверженцев и Евы Браун, Гитлер отмечал в последний раз свой день рождения.

Всего один час отделял разведчиков от начала их очередного задания. Ни в какой другой профессии нет таких резких переходов и перепадов, таких стрессовых перегрузок, которые надо уметь не только вынести, но и отодвинуть силою своей воли, чтобы не мешали спокойно и вдумчиво действовать.

На этот раз разведчики приземлились в Центральной Германии — самом «логове» фашистов.

Приземление в лесу произошло удачно, если не считать царапин и ушибов, которые получили разведчики, падая на ветки деревьев. Только Август Мейслер повредил ногу и мог передвигаться с трудом. Центр леса был выбран как место более безопасное, чем какая-нибудь поляна или дорога, на которую они могли бы приземлиться.

По сигналу Льговского — негромкое постукивание о приклад автомата металлическим предметом — группа собралась к своему командиру. Огляделись и, собрав и спрятав парашюты, двинулись в заданный

район. На этот раз впереди шли Фриц Келлер и Аркадий Брускин, одетые в немецкую форму. При неожиданных встречах, которые могли произойти в любую минуту, конечно, Фриц лучше других членов группыотреагирует на обстановку.

Кстати, эти неожиданности возникли в первые же часы. Группа вошла в одинокий, заброшенный фольварк, который издали казался пустым. Разведчики разошлись по комнатам и пристройкам фольварка, чтобы убедиться, что в ней действительно никого нет. И в это время появился патруль местной полиции. Они зашли в дом, и Фриц, быстро сориентировавшись в обстановке, начал кричать на Аркадия Брускина якобы за то, что он в чем-то провинился. Он орал на него, как и полагается гитлеровскому унтер-офицеру:

— Ленивая свинья, я помог тебе спасти шкуру, иначе бы тебя красные вздернули!..

В общем, он его отчитывал со злостью. И, закончив «распекать» подчиненного, стал запросто говорить с патрулем, объяснив, что они возвращаются после сопровождения и охраны имущества, которое везли на машине. Машина сломалась, и теперь вот они вынуждены добираться в свою часть пешком. А сюда зашли переночевать. Келлер предъявил документы. Он вел себя очень уверенно, патрульные были притом младше его по званию. Посмотрев документы под ругань унтера, солдаты ушли. Конечно же, оставаться в фольварке после такой встречи было нельзя. Но уже хорошо, что при первом столкновении гитлеровцы поверили и дали возможность группе скрыться беспрепятственно.

Льговский тут же быстро повел группу в другое место, подальше от фольварка. Учитывая напряженность обстановки и трудности с разведывательными данными у наших войск, разведчики приступили к работе немедленно. Все, кроме Августа Мейслера, у которого болела нога, разбившись на пары, двинулись к перекресткам дорог, к мостам, к железнодорожным станциям; эти места не минуют войска при любых передвижениях. Фриц Келлер ходил на дороги, читал указатели, читал местные объявления. Когда знаешь язык указателей, они о многом могут рассказать. Фриц заговаривал на дороге с военнослужащими и местными жителями. Ну и, естественно, когда идешь в штаб танковой дивизии, то собеседники тебе скажут,

что они видели штабы там-то и там-то, но вроде бы те дивизии были не танковые. Ну а если подскажут, где, по их мнению, танковая,— тем лучше. Перепроверяя эти сообщения через других, можно в конце концов докопаться до истины. За короткий срок группа собрала много сведений. Александр Львовский быстро анализировал, обобщал. Его умение понять, сложить разрозненные данные, объединить их в одну общую картину было просто феноменально. То, что он не мог сам понять, в чем сомневался, он сообщал в штаб, зная, что там есть возможности для проверки и прояснения.

Позже маршал Рокоссовский напишет в своих воспоминаниях: «...Против наших войск стояли крупные вражеские силы. Перешеек от побережья моря у Вальд-Дивенова до Загера (30 км по фронту) обороняла корпусная группа «Свинемюнде» под командованием генерала Фрейлиха. В первом эшелоне здесь были два морских пехотных батальона, школа военно-воздушных сил, морской пехотный и пять крепостных полков, а в резерве части учебной пехотной дивизии.

Южнее на 90-километровом участке фронта по западному берегу Вест-Одера оборонялась третья немецкая танковая армия под командованием генерал-полковника Мантейфеля. Здесь стояли: 32-й армейский корпус и армейский корпус «Одер». В первом эшелоне они держали три пехотные дивизии, два крепостных и два отдельных пехотных полка, батальон и боевую группу. Во втором эшелоне — три пехотные и две моторизованные дивизии, две пехотные, две артиллерийские бригады, три отдельных полка, четыре батальона, две боевые группы и офицерскую школу. Кроме того, 3-я танковая армия была усилена ранее действовавшими против 1-го Белорусского фронта тремя артиллерийскими полками, 406-м фольксартиллерийским корпусом и 15-й зенитной дивизией».

Если напомнить слова маршала, приведенные ранее, о том, что еще недавно не было почти никаких сведений о противнике, то нетрудно будет представить, как напряженно и плодотворно поработали разведчики. Через несколько дней Рокоссовский уже располагал такой детально освещенной картиной группировки врага.

Разумеется, не одна группа Льговского все это выявила, работала вся система разведки 2-го Белорусского фронта, но нет сомнения, что и труд группы Льговского тоже вложен в освещение расположения сил противника.

Группа Льговского работала с предельным напряжением сил. Мысли о том, что работа эта опасна, что идет последнее сражение войны, улетели где-то в воздухе, когда с легким хлопком раскрылись над головой парашюты. Теперь все было нацелено на то, чтобы побольше узнать, выявить, понять и сообщить своим. Очень затрудняло работу группы то, что нога Августа Мейслера болела все сильнее. И вот настал день, когда неотложно потребовалась медицинская помощь.

Медика в группе не было, надо было искать его в каком-то населенном пункте. В одном из поселков Фриц обнаружил аптеку и решил спросить разрешения у командира зайти туда с Августом, надеясь, что аптекарь окажет ему помощь.

Осторожный Льговский разрешил идти под вечер, чтобы можно было наблюдать за ними, а в случае необходимости уходить от патруля; оставалось совсем немного времени до наступления темноты, да глубоко в лес патруль и не ползет. Группа обеспечения затаилась на окраине поселка, а Август с помощью Фрица пошел к аптекарю. Аптекарь принял их настороженно. Оказал помощь Августу, сделал ему примочку, перевязал, дал лекарства на дорогу. Но конечно же, солдат, который не пошел в медицинское учреждение или куда-то в госпиталь, а пришел к аптекарю, был очень подозрителен. Хотя прищельцы и объяснили, что они, конечно же, найдут медицинское учреждение, но все-таки подозрение зародилось. Фриц это почувствовал и, уходя, открыто сказал аптекарю, чтобы он помалкивал и никому ничего не рассказывал, а иначе будет ему плохо. Келлер намекнул, что они просто дезертиры, надеясь, что из-за дезертиров аптекарь не станет поднимать тревогу.

Август и Фриц по улице направились в противоположную сторону от того места, где находилась замаскированная группа, вышли из поселка и углубились в лес. В лесу же сделали небольшой круг и вернулись к своим. Льговский, наблюдавший в бинокль за аптекой, видел, что аптекарь тут же после ухода

«пациентов» куда-то побежал. В поселке сразу началась тревога, собралось человек пятьдесят стариков и несколько мужчин в военной форме, видно, раненые, которые здесь у родственников находились на излечении. Они с ружьями и винтовками — кто на лошади, кто пешком — устремились по дороге к лесу, куда — аптекарь видел — ушли подозрительные. В общем, это была явная погоня.

Уходя от погони, группа в лесу наткнулась на дорогу, которая явно пахла горючим. Видно, здесь много и часто возили бензин. Льговский высказал предположение, что где-то недалеко должен быть большой склад горючего.

Двигаясь вдоль дороги лесом, группа действительно обнаружила хорошо замаскированный склад с горючим. Наблюдая за ним, не могли сразу заметить охрану.

— Давайте фейерверк устроим! Грандиозное будет зрелище,— предложил Келлер.

Льговский остановил его:

— Не затем сюда пришли. Нас уже и так ищут, правда, трухлявые старики. Если подорвать этот склад, капитальную облаву учинят уже эсэсовцы. Фейерверк устроит наша авиация.

И в тот момент, когда Келлер и Аркадий Брускин обходили склад, чтобы приблизительно на глаз определить, какое количество горючего здесь находится, вдруг им навстречу вышел часовой. Он, видно, был из тотально мобилизованных стариков, форма на нем сидела неказисто. Фриц сразу, как и во многих других случаях, нашелся и здесь. Не ожидая никаких вопросов часового, он закричал ему:

— Эй ты! Старая развалина, где ты ходишь! Разве так охраняют склад? Сколько мы тебя ищем, по найти не можем! Ко мне!

Пожилой солдат подошел, вытянулся перед унтер-офицером и виновато моргал глазами.

— Разве так охраняют горючее? — продолжал кричать Келлер. — Где другие часовые? Тоже, наверное, как и ты, дрыхнут в кустах?

— Другие там, у въезда,— виновато ответил часовой. — Все сейчас там, они помогают вывезти горючее. Это я один здесь, с тыльной стороны, склад охраняю.

— Ну, смотри лучше. Нельзя же так, а то и выво-

зить нечего будет! — пригрозил Келлер и приказал стоящему в стороне Аркадию: — За мной, марш!

И они благополучно удалились. А радиограмма о крупном складе горючего полетела в Центр, и вскоре хорошо здесь поработала наша авиация, так что немало фашистских танков, самолетов и автомобилей осталось без заправки в напряженные дни последних боев.

...Фронт гремел где-то уже недалеко. Фашистские части буквально метались по дорогам, видимо, их бросали на те направления, где наши прорывали фронт. И немедленно же обо всех этих передвижениях поступали радиограммы от разведчиков. Так, выявляя места расположения штабов, складов с горючим и с боеприпасами, направление передвижения резервов, группа находилась в постоянном движении и перемещалась, уходя от фронта. Но через десять дней после того, как была заброшена, фронт все же догнал ее, и группа снова вышла к своим.

Ну вот все опасности позади. Группа благополучно вернулась в свое расположение. Наверное, с наибольшим трепетом ждала своих боевых друзей Надя. Она всех обняла и всех расцеловала, она плакала от счастья, что видит их живыми.

Гремели последние бои в Берлине. Группа капитана Александра Льговского вышла из тыла 29 апреля, а 30 апреля над рейхстагом в Берлине взвилось красное Знамя Победы.

Вот так, до последних дней, до последних залпов, действовали разведчики. Они шли на риск даже в самые последние часы войны. Они были мужественные и честные воины, до конца выполнившие свой и служебный, и патриотический, и интернациональный долг.

* * *

Александр Льговский после окончания войны демобилизовался из армии и работал инженером на одном из заводов в Москве. В 1967 году он умер. В Москве живут его взрослые дети: сын Александр и дочь Маргарита. Они рассказали автору этих строк, что их отец, к сожалению, не писал воспоминаний.

Живет в Москве бывшая радистка Надя Четверухина. Она вышла замуж и стала Надеждой Ивановной

Крайновой. Тсперь она уже седая женщина. И было от чего поседеть! Только глаза у нее остались прежние: живые и веселые, встречающие человека всегда радушно и приветливо.

Аркадий Брускин стал журналистом. Он жил в Гродно, недавно умер.

Виталий Василевич работает на целине в мастерских одного из североказахстанских совхозов. Не так давно умер в Польше Пиановский. Он до последних дней работал лесничим. Умер и Леон Краска. После войны все они жили хорошо. Ведь сами приложили немало сил к тому, чтобы наладить мирную, счастливую жизнь у себя на Родине.

РАССКАЗЫ

УТРО ПОБЕДЫ

«Ну, на этот раз, кажется, отвоевался», — подумал Иван Тимофеевич, нежась в тепле госпитальной постели. Четыре раза его сваливали пули и осколки, и вот зацепило в пятый, не сильно — в руку, чуть ниже плеча. Вроде бы и ранение несерьезное, даже хотел остаться в своем взводе, но уж очень кровь пошла, видно, перебило вену. Солдаты из взвода перетянули жгутом, забинтовали, шутили: «Ну, это ранение как награда — теперь жив остался».

Думая с удовольствием о конце войны и о том, как согнали сюда немцев со всей Европы, Иван Тимофеевич сразу же с больших таких масштабов переключался на свою роту. Вспоминались боевые друзья, их лица, слышались их голоса. Где-то они сейчас? Может быть, все в том же доме, где ранило его вчера, а может быть, уже и очистили тот дом и перебрались в соседний? За ночь, наверно, все же продвинулись. Иван Тимофеевич вспомнил своего друга, Николая Прохорова, такой же пожилой, такой же неторопливый, как и он сам, может быть, этим и приятен Ивану Тимофеевичу. Николай до войны был колхозником, а Иван — кадровым рабочим-токарем. Когда Николай допускал промашки, Иван беззлобно над ним подшучивал: «Эх ты, деревня». Но это случалось, когда приятель действительно был в чем-то по-настоящему виноват. Где же он сейчас, жив ли? Был бы ранен, так сюда угодил, в этот же самый близкий полевой госпиталь. А может быть, и совсем? Может быть. Там все может быть. Ну, а взводный, лейтенант Лобода, наверно, шумит, командует, любит он покомандовать.

Иван Тимофеевич осмотрелся, только теперь, с рассветом, когда белый, молочного цвета свет проник в окна, стало видно помещение, в которое принесли его, и даже не принесли, а привели под руку прошлым вечером. Дом двухэтажный, может, бывший жилой особняк. Комната, в которой лежал Иван Тимофеевич, — небольшая обычная комната, видно, вынесли из нее старую мебель, поставили солдатские наши госпитальные кровати, и превратилась она в палату. Было этих коек всего три. Соседняя, аккуратно засте-

ленная,— пустая, а на дальней кто-то лежал тихо, не шевелясь, может, спал. «А может, уже и кончился?» — подумал Иван Тимофеевич, глядя на небольшого ростом соседа, одеяло едва взбугрилось над ним.

Подумав, что сосед, может, умер, Иван Тимофеевич стал прислушиваться, дышит ли. И обнаружил — сосед не только дышит, а даже как-то хлюпает. Иван Тимофеевич обеспокоился еще больше: может быть, у него кровь идет через нос или через горло, чего он там хлюпает? Приподнявшись на локте, Иван Тимофеевич стал с беспокойством, тщательно вслушиваться в эти звуки. И вдруг с удивлением понял — сосед плачет. Чего же он плачет? Неужто его так скрутило, что даже держаться не может, слезу пустил? Надо человеку помочь. Иван Тимофеевич поднялся с кровати, вставил босые ноги в холодные сапоги и, придерживая болью напомнившую о себе раненую руку, пошел к кровати соседа. Еще не видя лицо, укрытое одеялом, тихо спросил:

— Слышь-ка, ты чего?

Одеяло над головой шевельнулось, опустилось, видно, рукой его потихоньку стягивал тот, кто лежал под ним, показались глаза, мокрые, полные слез, с удивлением смотревшие на Ивана Тимофеевича. По глазам и по темным молодым волосам Иван Тимофеевич понял, что лежит перед ним человек молодой. Присев к нему на край койки, Иван Тимофеевич спросил:

— Чего молчишь-то, аль говорить не можешь? Как зовут тебя?

Парень отодвинул одеяло от лица, и Иван Тимофеевич убедился, что перед ним действительно совсем молодой парнишка.

— Куда тебя зацепило?

— В плечо,— коротко буркнул парень.

— Ну и чего ж ты плачешь? Гложет тебе кость или рана горит?

— Душа у меня горит, а не рана,— сердито сказал парень.

— Ах так! Что ж тебе, в душу, что ли, попало? — усмехнулся Иван Тимофеевич.

— Вот и попало...

— Ну ладно, не ерепенься. Кто тебя обидел, чем? Растволкуй, может, вместе разберемся.

Парень помолчал, протер глаза, лег поудобнее на кровати, выпрямился, положил руки под голову и все тем же обиженным тоном сказал:

— Надо же, ведь всего несколько сот метров до передовой не дошел. Столько я об этом фронте мечтал, так уж мне хотелось дорасти до призывного возраста хотя бы к концу войны, и вот на тебе — и дорос, и призвали, и форму надел, и на фронт приехал, а до переднего края несколько сот метров не дошел, снаряд какой-то дурной, случайный совсем бухнулся неподалеку и осколком зацепило плечо.

— И все дела? — Иван Тимофеевич улыбнулся.

— Вот и все дела.

— Ты откуда родом?

— Челябинский.

— А чем занимался? Кто ты есть по делам твоим?

— Рабочий, кто же еще.

— Рабочий? Какой же ты рабочий, ты еще ученик, наверное.

— Был и ученик, а теперь токарь четвертого разряда.

— А звать-то тебя как?

— Миша Люленков.

— Ну вот что, Миша, ты не огорчайся, что до передовой не дошел, война — дело временное, а труд наш с тобой — это дело вечное, всегдашнее. Вот и радуйся, вернемся мы скоро к этому нужному для всех делу. Веселись, а не плачь, могло тем же осколком тебе не по плечу, а по головке твоей умной шибануть — и все, нет токаря. Ну, а теперь поднимайся, где твоя одежда? Надевай ее, пойдем искать, где тут помыться, да и харч нам с тобой положен.

После завтрака Миша куда-то юркнул, а Иван Тимофеевич вышел на крыльцо покурить. Он свернул толстую — теперь табачку было вдоволь — самокрутку и с удовольствием задымил, присев на ступеньку. А Люленков тем временем вернулся в палату, отыскал свой вещевой мешок и, спрятав его под шинель, направился к выходу. Обнаружив сидящего под навесом крыльца Ивана Тимофеевича, Миша остановился и, вроде бы отдыхая, стал безразлично поглядывать на сад. А Иван Тимофеевич, заметив вещевой мешок под шинелью Люленкова, вроде бы не глядя на него, а так, обдувая пепел с сигарки, спросил:

— На войну, стало быть, собрался?

Миша с вызовом:

— Ну и собрался, а тебе-то что? Ты что — мой командир?

— Я, конечно, не твой командир, но мой тебе совет — не подставляй ты свою глупую башку в последние дни войны, пропадешь ты как пить дать. Ты в нашем боевом деле ничегошеньки не понимаешь.

— Ну, это моя забота. А ты скажи тут, чтоб меня за беглеца не считали, я ведь не в тыл ушел, а на передовую. Того, кто ушел вперед, дезертиром считать нельзя. Понял, дядя? Ну, бывай.

И Миша решительно пошел через двор к воротам.

Иван Тимофеевич неожиданно для себя поднялся и пошел за ним. Они вышли за ограду на мокрую каменную брусчатку улицы и некоторое время шли рядом молча. Иван Тимофеевич застегнул шинель и подпоясался ремнем поверх шинели.

— Ты-то куда идешь? — спросил Миша. — Чего ты ко мне привязался?

— Не привязался я к тебе, а жалко мне тебя, дурака. Отведу я тебя в свою роту и сдам на руки своим босвым друзьям. К примеру, Николаю Прохорову, скажу, чтобы приглядел за тобой, а то ведь ты, как мотылек, в этом огне сгоришь.

— Вот за это тебе, дядя, спасибо. Это ты мне удружил. Доведи меня, а сам тут же назад и расскажешь, что не убежали мы с тобой, вернее, я не убежал, а ты определил меня в подразделение.

— Да ладно уж, расскажу, что там толковать, да и сам товарищей посмотрю, как они, думаешь, мне не интересно знать, кто там живой, кто чего поделывает.

Дома, мимо которых они шли, не то чтобы горели, а дымили и чадили. Ближе к передовой пожары были уже настоящие, кое-где пламя пришлось обходить, оно вырывалось из оконных проемов наружу. Сверху сыпались пепел, мелкие головешки. Под ногами хрустели песок, битый кирпич, штукатурка.

— Ну, теперь совсем близко, — сказал Иван Тимофеевич. — Вот здесь меня зацепило.

У одного из проходивших солдат он спросил:

— Слышь-ка, дружок, а где взвод лейтенанта Лободы?

— Шуруйте туда, во-он в том конце пролом есть, перейдете в соседний дом.

Иван Тимофеевич, а за ним и Миша направились в указанном направлении. Они отыскиали небольшой лаз в стене, по которому надо было ползти, и перебрались в подвал соседнего дома. Здесь Иван Тимофеевич вздохнул свободней и, узнав уже некоторых из бойцов, сказал спокойно Мише:

— Ну вот мы и дома, прибыли, сейчас Лободе доложимся.

Он отыскал знакомую и со спины фигуру взводного и, подойдя к нему, думая, что он это делает очень четко, а на самом деле не так-то уж и форсисто, приложил руку к шапке и доложил:

— Товарищ лейтенант, рядовой Крахмалев с пополнением прибыл.

Лейтенант оглянулся и весело спросил:

— О, ты откуда? Быстро тебя вылечили! А может, ты убег из госпиталя?

— Ну, а если и убег, то вот Миша Люленков говорит, что дезертиры только в тыл убегают, а на передовую можно.

Лобода засмеялся и ответил:

— Соображает! Нам пополнение очень нужно, взвод шибко поредел. Веди пополнение, да и сам с ним в свое отделение, там теперь твой друг Прохоров командует.

— А где ж Филимонов? Или в генералы выдвинули? — пошутил Иван Тимофеевич, соображая, может, напрасно это делает и с Филимоновым случилось недоброе.

Лобода ответил не сразу:

— Нет Филимонова, фаустник его накрыл, теперь Прохоров там за командира, двигай к нему. А мы вас зачислим на все виды довольствия. Как фамилия, новенький?

— Рядовой Люленков, товарищ лейтенант.

— Молодец, обученный, — с удовлетворением сказал Лобода, — ну давай, воюй.

Когда они двинулись дальше, Миша спросил:

— Ты ж хотел меня доставить, а сам вернуться.

— Побуду маленько, на ребят посмотрю, — ответил Иван Тимофеевич.

Прохорова они нашли около узкой амбразуры, выходящей на улицу. Он сидел в сторонке от белого света, который ровным брусом опускался в подвал через амбразуру. Иван Тимофеевич подошел к нему

и сказал так буднично, словно расстались они несколько минут назад:

— Здорово, Коля. Обошел ты меня, говорят. Стоило мне ненадолго отлучиться, а ты уже в командиры выбился. Ишь как! А все деревней прикидывался.

— О, ты откуда взялся, тебя же вроде в госпиталь отправили? — воскликнул Прохоров, явно с удовольствием разглядывая друга.

— Уже готов, отремонтировали, там ведь знаешь как, заплатку положили, нитками пришили — и дуй вой, — отвечал Крахмалев. — Вот сам пришел и подмогу тебе привел, парень хороший, из нас, из рабочих.

— Значит, еще один гегемон во взводе прибавится? Иди сюда, парень, будем знакомиться, Расскажи о себе.

Миша коротко рассказал. Прохоров, как и полагается командиру, все это выслушал, хлопнул его по плечу (хорошо еще не по тому, которое ранено!), но все же Михаил и от этого шлепка слегка присел. Прохоров сказал ему:

— Ну, поначалу ты очень вперед не лезь, приглядишься к нам, а там поймешь, что к чему, и вместе воевать будем. А ты, Тимофеич, поучи парнишку, побереги его.

— Ладно, затем и пришел. А какая задача отделению нашему?

— Вот сейчас подготовит начальство нам огоньку, и дом брать будем, что напротив.

— А над нами, там, на этажах, есть кто?

— Там уже всех расчистили. На очереди тот вон большой серый, видишь? По сигналу пойдем, как огонь дадут артиллеристы да танки прямой наводкой поддержат, они здесь, за нашим домом, стоят, так и двинем, понял?

— Ясно. Сделаем.

Примерно через час, за который Миша пообвык здесь, послышался топот сапог сзади, где-то по подвалу, крики полетели в разные стороны:

— А ну подъем, подъем, славяне! Приготовиться к атаке, приготовить гранаты, зарядить оружие.

Загомонили, зашумели солдаты в подвале, сразу стало видно, что здесь немало бойцов, они подходили к проломам в стенах, к окнам, через которые можно было выскочить, к лестницам, которые выводили наружу. Бойцы готовили оружие, гранаты, поправляли шапки, что-то негромко говорили друг другу, без

суеты, спокойно готовились к очередному бою. Бросок предстоял недлинный, всего через дорогу, и Михаилу казалось, что это не так уж трудно, всего несколько прыжков — и вот соседний дом. Иван Тимофеевич, подержав его за рукав, предупреждал:

— Ты не очень-то, не очень лезь вперед, держись за стариками.

И вот как-то сразу, по какому-то невидимому и непонятному для Михаила сигналу ударили пушки, которые находились поблизости за стенами дома, ударили так громко, что дом задрожал и, казалось, вот-вот рухнет на людей, находящихся в подвале. Пушки били непрерывно, и взрывы были так близко, что от них летели и осколки снарядов, и осколки кирпича и штукатурки, и вот надо было броситься в это клубящееся пылью и дымом месиво. Сначала не было слышно выстрелов из дома напротив, из этого адского смятения взрывов, огня и дыма, но потом Михаил разобрал четкие стрекочущие звуки пулеметов и услышал бьющиеся в стены пули, их было так много, что казалось, стоит только выскочить из подвала — и они вмиг разорвут тебя на части. И все же, уловив какой-то момент, какую-то секунду, когда казалось, что этих пуль стало чуточку меньше, солдаты стали бросать гранаты в окна дома напротив и в подвальные амбразуры, и как только эти гранаты захлопали частыми взрывами, все ринулись через дорогу в соседний дом. Михаил побежал вместе со всеми, постоянно ощущая, что рядом с ним Крахмалев. Он вбежал в дом через дверь: дым, пыль, грохот гранат. Стреляли всюду, пули шелкали над головой и в стены. Он тоже стрелял вверх, боясь попасть в кого-нибудь из своих в этой кутерьме. Потом Иван Тимофеевич потащил его за рукав куда-то в сторону. Миша стал вырываться, думая, что Иван Тимофеевич опять, оберегая его, хочет увести в дальний угол, но оказалось, что Иван Тимофеевич тащил его к лестнице.

— Туда! Туда! — кричал он. — Давай туда, — а сам стрелял вверх по лестнице, где мелькали над головой чужие фигуры в зеленом. И Михаил, поняв, что это враги, стал направлять свой автомат туда же. Немного придя в себя, он кинулся по этой лестнице вверх, непрерывно стреляя перед собой, за ним побежали Иван Тимофеевич и еще несколько солдат. На втором этаже Иван Тимофеевич схватил его за полу шинели и потянул за угол. Запаленно дыша после короткого,

но стремительного бега, Иван Тимофеевич кричал ему в ухо, перекрывая треск боя:

— Ты не очень-то, не очень! Погоди, они сейчас затаились на третьем, надо их оттуда выкуривать гранатами.

С другого конца коридора кто-то крикнул:

— Давай сюда, ребята, здесь еще одна лестница.

Михаил с Тимофеевичем кинулись туда, быстро вбежали по этой лестнице на третий этаж и осторожно пошли по коридору к тем гитлеровцам, которые ждали их около центральной лестницы. И тут Миша увидел их, этих затаившихся за углами гитлеровцев, они сидели, глядя на ту лестницу, по которой пытались подняться вверх русские солдаты. В шуме боя они не заметили приближающихся к ним сзади. Затрещали очереди, один за другим падали сраженные немцы. Миша был охвачен своеобразным восторгом победного боя, он был счастлив в этом дыму и грохоте.

В середине дня, когда взвод и вся рота освободили еще один дом и Миша побывал еще в нескольких коротких, но очень опасных схватках, он уже чувствовал себя вполне освоившимся и понимающим всю сложность боевого дела, происходящего вокруг. Когда Иван Тимофеевич, желая что-то ему посоветовать, одернул его за шинель в очередной раз, Миша без злобы, но все же довольно решительно сказал ему:

— Определил ты меня, Иван Тимофеевич, во взвод, спасибо, и шел бы ты в госпиталь долечиваться, я уж дальше как-нибудь сам.

— Значит, все уже ты превзошел? Я четыре года эту мудрость усваивал, а ты в один день изучил?

— Да не обижайся ты, дядя, не обижайся, я и говорю тебе, спасибо, ну, а дальше я сам.

Иван Тимофеевич отошел от него, но остался здесь, со стороны наблюдая за Михаилом. А Люленков, охваченный так долго в прошлые годы ожидаемой им этой романтикой боя, как нарочно лез вперед и старался везде быть первым, за что был отмечен командиром взвода. Лейтенант сказал ему:

— К медали тебя представляю. Как наступит большая передышка, доложу наверх о твоей храбрости.

К ночи взвод лейтенанта Лободы, очистив очередной дом до верхнего его восьмого этажа, проломил стену и перебрался в соседний дом и на этот раз оказался

наверху, а гитлеровцы под ними. Теперь, очищая этаж за этажом, взвод продвигался сверху вниз. Дом был большой, в несколько лестничных клеток. Проломив стены смежных квартир, вся рота растеклась по этому дому. И когда осталось очистить всего два последних нижних этажа, вдруг кто-то прибежал сверху и не то чтобы доложил, а закричал лейтенанту, еще не добегая:

— Немцы наверху, над нами! Полный чердак! Мы вниз пошли, а они там затаились...

Капитан Стукачев, оказавшийся здесь недалеко, крикнул лейтенанту:

— Лобода, забирай свой взвод и наверх, очистить чердак от фрицев, а мы здесь будем этих добивать.

Лейтенант коротко крикнул:

— Есть!

И тут же, уверенный, что все узнают его по голосу, подал команду:

— Взвод, за мной! Ребята, не отставать! — Он тут же зашагал по лестнице за тем, кто пришел с этим неожиданным сообщением.

Михаил и Крахмалев побежали со всеми наверх. Добрались до верхнего этажа.

— Там они,— показал проводник на люк, выводящий на чердак.

Прислушиваясь и приглядываясь, солдаты думали, как добраться туда, на этот чердак, где засели фашисты. Дали несколько очередей по чердаку, но оттуда ответного огня не последовало. Тогда один из солдат бросил туда гранату. Граната громко рванула и осветила короткой вспышкой лестничный проем. Но с чердака опять никто не ответил ни огнем, ни гранатами. Подождав некоторое время, солдат, ловко бросивший первую гранату, еще раз вышагнул на несколько ступенек вперед и запустил гранату в дверной проем, на этот раз в глубь чердака. Взрыв получился глухой и вспышка не такая яркая. Но после взрыва не было слышно крика раненых.

Лобода скомандовал:

— Крахмалев и Прохоров, после взрыва за мной.

Крахмалев и Прохоров, поняв, что хочет от них командир, метнув гранаты на чердак, сразу после взрывов кинулись вверх по лестнице, и за ними весь взвод, с ними и Лобода — он кричал:

— Вперед, ребята, вперед!

Они ворвались на чердак и, еще не видя никого, в сплошном мраке быстро стали стрелять вправо и влево, голубоватые огоньки пламени вылетали из автоматов. Затем наступила тишина, на огонь взвода никто из гитлеровцев не отвечал. Миша даже через дым от выстрелов и взрывов гранат ощутил запах застарелой пыли, которую подняли на чердаке забежавшие солдаты. Вслушиваясь в темноту и мрак, солдаты осторожно стали продвигаться по чердаку вправо и влево. Обойдя весь чердак и осмотрев самые дальние углы, они возвращались к командиру взвода и докладывали, что гитлеровцев нигде нет.

— Куда же они подевались? Не могли же вниз проскользнуть, мы-то на лестнице были.

— А может, они по крыше ушли на соседний дом? — спросил кто-то.

— А ну, осмотреть крышу! Проверить, нет ли их на соседнем доме.

Солдаты побежали в конец чердака к люку, выводящему на крышу. И первого, кто откинул люк, встретила неожиданная в этой тишине громкая очередь автомата. Солдат упал, а люк, выводящий на крышу, тут же захлопнулся.

— Вот они где, гады!

Солдаты начали стрелять вверх, по люку, в настил крыши, оттуда тут же донеслись ответные очереди. Постепенно стрельба прекратилась. Затаились и те, кто был вверху, и те, кто остался жив на чердаке. В тишине было слышно только тяжелое дыхание да стон раненого.

— Кого зацепило? — негромко спросил лейтенант Лобода.

— Меня, Прохорова, — так же негромко ответил из мрака командир отделения.

— Куда тебя?

— Да не пойму, то ли в живот, то ли в грудь. Вроде хана мне, братцы.

— Да ты погоди паниковать, есть кто около тебя, есть кому перевязать?

— Да есть, уже перевязывают. Слышь, кто ты?

— Не узнал? Я, Иван, Иван Тимофеич.

— А-а, ты, Ваня? Ну, спасибо, друг, и тут ты оказался рядом, спасибо. Куда ж мне засадило?

— Правильно говорит лейтенант, не паникуй, так, немножко зацепило тут сбоку, повыше живота, пониже груди, в общем, все у тебя в порядке.

На голос из мрака, также невидимый, отозвался Лобода:

— Иван Тимофеич, вот ты и принимай командование отделением. А где твой молоденький-то?

— Где-то тут. Миша, где ты?

— Я здесь, я здоров,— громче других откликнулся Люленков, и тут же в направлении его голоса ударила очередь сверху из-под черепицы.

— Тихо, тихо,— зашептал лейтенант.— Ты обнаружил себя,— а сам ответил очередью туда, откуда только что строчил немецкий автомат.

— Не задело тебя, Люленков? — негромко спросил лейтенант.

— Нет, пронесло.

Миша подполз к Ивану Тимофеевичу и тихо спросил:

— А тебя как, не зацепило, дядь Вань?

— Нет, порядок.

Прохорова лейтенант хотел отправить с сопровождающим вниз, но он отказался:

— Сам добреду как-нибудь до нашей Ниночки, а она уж там определит. Ну, ни пуха вам, братцы, держитесь,— и он сам дополз до спуска с чердака и стал уходить, опираясь о перила лестницы.

Страшная смертельная охота по голосу, по шуму на крыше или на чердаке продолжалась всю ночь. Стоило кому-нибудь кашлянуть внизу или неосторожно ступить по черепице наверху, тут же летела одна или несколько автоматных очередей по этому звуку. Пули немецких шмайссеров, видно, не пробивали черепицу — рикошетили, поэтому гитлеровцы не могли стрелять напрямую вниз по чердаку, иначе всех бы давно прошли своими очередями. Приходилось им сначала осторожно вынимать черепицу, а потом уже в образовавшуюся дыру просовывать ствол автомата и, водя им вправо и влево, поливать чердак пулями. Но солдаты на чердаке, поняв это, бдительно следили за каждым шорохом, и как только где-то начинала поскрипывать черепица, которую гитлеровцы пытались вынуть, туда сразу же летели пули наших автоматов.

Михаилу Люленкову впервые за этот день на войне стало страшно. Он был смелым в открытом бою, когда точно знал, где находятся враги, он не боялся их

и готов был с ними биться хоть под огнем, хоть врукопашную. А здесь, в этом черном мраке, пахнувшем старой пылью, в этой неопределенности, подкарауливает смерть от одного неосторожного движения, от одного неловко оброненного звука, немцы над головой, в метре, а то и меньше, и каждый из них невидимый, но нависший над тобой, может прошить очередью.

Время шло тягуче и долго. Не видя друг друга во мраке, солдаты и лейтенант Лобода лежали где-то здесь, недалеко друг от друга, стараясь не проронить ни звука. На чердак только в одном месте проникала очень слабая не то чтобы струйка света, а какое-то пятнышко, словно размытый жир на темной бумаге. К этому пятнышку тихо стал подкрадываться вновь назначенный командир отделения Крахмалев. Он ступал по мягкой пыльной поверхности чердака и неслышно приближался к этому пятну. Пятно оказалось небольшим окном. Выглянув в окно, Иван Тимофеевич на некоторое время затаил дыхание от того, что он там увидел. А увидел он картину поистине невероятную: по прикрепленной к стене пожарной лестнице из металлических прутьев, хорошо ему видимой из этого отверстия, сплошной вереницей, словно муравьи, спускались с крыши на землю гитлеровцы. Их было так много, что они облепили всю пожарную лестницу и, казалось, наступали друг другу на головы и руки, торопясь скорее уйти с этой проклятой смертоносной крыши. Обнаружив противника, Иван Тимофеевич вскинул автомат и хотел срезать так хорошо видимых ему фашистов и одним махом расчистить всю лестницу. Но вспомнив своего подопечного Михаила и его желание повоевать и отличиться, он опустил автомат и замахал рукой на фоне блеклого света, надеясь, что увидят его этот взмах, позвал тихим шепотом:

— Люленков, ко мне скорее...

Миша вскинул автомат, оперся о край стены поудобнее и, вдруг рассмотрев этих опускающихся очень осторожно, старающихся не произвести ни единого звука гитлеровцев и видя их полную беспомощность в том положении, в котором они находились,— ответного огня не могли открыть, поскольку держались руками за лестницу, вдруг опустил автомат и, еще не поняв толком, что с ним происходит, снял руку со спускового крючка.

— Чего ты? — тихо выдохнул ему в ухо Иван Тимофеевич.

— Не могу,— коротко ответил Миша.

— Чего не можешь? Бей их, гадов!

— Не могу,— повторил Миша и добавил: — Они безответные, беззащитные.

Иван Тимофеевич грубо оттолкнул его локтем от проема и с ненавистью выдохнул:

— Ах ты, сопляк! Ты, видать, не видал в своем Челябинске, что творили эти сволочи на нашей земле.

И без долгих размышлений выставил автомат в отверстие и застрочил по фашистам, спускающимся по лестнице. Раздался истошный крик. Кричали те, в кого попали пули, кричали от ужаса те, кого они еще не зацепили, вся лестница визжала и вопила от своей беспомощности, от неминуемой смерти, которая через несколько секунд сшибет каждого из висевших на этой железке. А Иван Тимофеевич со злостью ругал Михаила и все строчил и строчил по фашистам до тех пор, пока лестница не осталась тонкая и голая вдоль стены, без единого фашиста.

— Ну вот и все,— спокойно и деловито сказал Крахмалев и доложил официально: — Лейтенант Лобода, задача выполнена, дом очищен, наверху ни одного гада не осталось, всех я их посбивал с лестницы, они тут вот спускаться решили.

Солдаты сразу поднялись, поспешили к окошечку и, не видя никого, кроме голых металлических прутьев на фоне стены да какой-то груды там, внизу, у основания лестницы, однако понимая все, что произошло, хвалили Крахмалева. А Лобода сказал:

— Ну вот, старина, теперь и ты награды достоин. Будешь представлен. И взвод спас, и задачу выполнили, и дом очистили, спасибо тебе за службу.

— Служу Советскому Союзу,— как и полагается, ответил Крахмалев, ему казалось, что он это делает лихо, по-солдатски, а на самом деле он сказал все это только громко, но обычным и не очень бравым голосом пожилого человека.

В наступившей тишине послышался топот одиноко бегущего вверх по лестнице человека. А потом, где-то совсем недалеко, видать, у последнего поворота к чердаку, тот человек закричал:

— Эй, братцы, эй, славяне, где вы тут? Лобода, лейтенант Лобода, наши флаг над рейхстагом водрузили! Слышите меня, ребята, флаг, говорю, над рейхстагом!

Бойцы пошли навстречу принесшему эту радостную вест, а Лобода, опередив всех, спрашивал, еще не узнавая того, кто бежал к ним на чердак:

— Точно? Кто сказал?

И тот ответил:

— Да по радио, по радио сообщили. Победа, братцы, скоро победа, остались совсем уже немногие недобитые немцы.

Иван Тимофеевич, посмотрев на осунувшееся закопченное лицо Михаила и, видно, понимая его состояние, хотя и сам Михаил толком не знал, что же, собственно, с ним произошло, коротко и иронично спросил:

— Ну что, токарь, навоевался?

Иван Тимофеевич и Миша шли не торопясь посередине улицы, рядом со стенами идти было опасно: то головешка, то кирпич могли упасть на голову. Шагали не торопясь, обходя завалы, перешагивая через небранных убитых.

— Придем в госпиталь, влетит нам,— весело сказал Иван Тимофеевич,— обыскались, наверное.

— Расскажем, где были, простят.

— А поверят?

— Почему же нет? Мы правду скажем, проверить можно.

— И ты всю правду скажешь? — прищуря глаз, спросил Крахмалев.

Миша отвел глаза, помолчал и ответил:

— Скажу. Ничего я плохого не сделал.

— А чего думал хорошее и плохое, тоже скажешь?

Миша не успел ответить, ему показалось, где-то над головой, треснув, переломилась какая-то недогоревшая деревяшка. Он быстро взглянул туда — как бы па голову не рухнула. И тут почувствовал, а потом и увидел, как Иван Тимофеевич, беспомощно пытаясь ухватиться за него, за шинель, оседает на землю. Не понимая, что происходит, но чуя недоброе, Миша подхватил Крахмалева и, не в силах удержать, положил на каменную брусчатку.

— Ты чего, дядь Вань?

— Все, Миша, конец мне...

Люленков почувствовал на руке теплое и, посмотрев на нее, увидел густую липкую кровь, а потом такую же кровь и на затылке Ивана Тимофеевича. А тот уже глаза закатывал, с бульканьем в горле давил из себя:

— Это один из тех... из тех... кого ты пожалел... кто с лестницы успел спрыгнуть. По доброте твоей уцелел... Не терзайся, не виню. Ведь и я тебя мог погубить по доброте-то. На передовую, на смерть водил. Эх, доброта наша, сколько ты бед приносишь...

— Я сам ушел, ты ко мне только пристал.

Иван Тимофеевич его уже не слышал. Он полулежал, опираясь спиной на подставленное колено Михаила. Небритый, запачканный гарью да известью, совсем не похожий на убитого — каким был при жизни, таким и остался.

Михаил глядел по сторонам. Пробивался серый свет пасмурного и дымного утра. Старый немец с опаской выбрался из подвала, озирался.

А Михаил знал: здесь же, в одном из разбитых выгоревших и разрушенных домов, сидел, затаившись, и тот, кто стрелял. Хотелось вскочить и закричать так, чтобы услышал весь разрушенный огромный город:

— Мир наступил, бросьте вы наконец оружие!

Утренний свет становился все белее, Михаил увидел цветущие вишни, срубленные совсем недавно и брошенные в баррикаду.

— Вот и цветы тебе, дядя Ваня, приготовлены.

Он поднял Крахмалева и, тяжело ступая, понес его к госпиталю.

Он шел медленно и трудно, часто отдыхал, мягко опуская свою скорбную ношу на брусчатку дороги. Вокруг все больше было работающих — наших солдат и гражданских немцев. А Михаилу все казалось, что в развалинах, внутри домов, похожих на черепа с пустыми глазницами, все еще сидят враги, не бросившие оружия.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ

Никто не знает его имени. О нем известно только одно — он был танкист. И еще — он совершил подвиг.

Я побывал в Германии, долго искал, кто бы мог рассказать о нашем соотечественнике, и все же нашел.

Полигон Ордруф находился на юге Германии. Обычная сельская местность: ярко-зеленые поля, темные рощи и перелески, желтые проселочные дороги.

все это постепенно поднимается и переходит в горы Тюрингенвальд, поросшие лесом.

Мы стоим на шоссе около автомобиля, на котором приехали. Свежий ветерок холодит нам лицо. Мы — это я и старый немец Шульц Шлемпфер. Он так стар, что дряблые сморщенные щеки его вибрируют, как мембраны, даже когда он молчит. Я разыскал его и попросил приехать сюда, чтобы услышать на месте, как это происходило.

В 1943 году все здесь выглядело иначе, деревенская эта местность представляла собой таинственный полигон, на котором опробовались новые виды вооружения для гитлеровской армии.

Тридцать лет назад и Шульц Шлемпфер был не таким сморщенным и бессильным. Он служил в полигонной команде, был, наверное, исполнительным и бравым, носил военный зеленый мундир с когтистым орлом на груди и с бляхой из белого металла на ремне — на бляхе было написано «Гот мит унс!» — «С нами бог!». Шлемпфер был очевидцем того необыкновенного дела, ради которого мы сюда приехали. Старик плохо говорил по-русски, да к тому же еще шепелявил, мокро плюхал дряблыми губами:

— Мы имели тот ден испытаний новый кароший пушка для борьба против танк,— начал Шлемпфер.

...В те дни фашисты задумали взять реванш после потрясающей Сталинградской катастрофы. Они готовили сюрприз для нашей армии — «тигров», «пантер», «фердинандов». Но фашисты хорошо помнили и о великолепном советском танке «Т-34». Наша стремительная тридцатьчетверка так много причиняла им неприятностей, что гитлеровское командование решило создать для борьбы с ней скорострельную противотанковую пушку. Всеми работами по созданию такой пушки по личному приказу Гитлера руководил генерал-инспектор бронетанковых войск Гудериан. Именно у него родилась идея — проверить опытные образцы пушки на реальном советском танке. Гудериан позвонил в концентрационный лагерь и приказал подобрать русского танкиста, умеющего водить тридцатьчетверку.

— Генераль Гудериан стояль здэс,— Шлемпфер показал на лужайку недалеко от нас.— Русский танкист стояль ему напротиф.— При этих словах старик Шлемпфер попытался изобразить величественного

генерала, он спесиво вскинул голову и посмотрел сверху вниз.

Я слушал Шлемпфера и представлял себе события тех далеких дней. Русский пленный — худой, изможденный, в полосатой лагерной робе, стоял на ветру. У танкиста усталое лицо: бескровная, сухая от недоения кожа обтянула кости. Жесткая щетина топорщилась на скулах. Взор угрюмый, в глубине настороженный.

Эсэсовцы и члены испытательной комиссии стояли неподалеку и надменно поглядывали в сторону пленника. На их лицах не было даже тени любопытства. Разве можно показать этому русскому, что он им интересен! Нст, любопытство спрятано под личину превосходства и презрения. Они стояли рослые, упитанные, в отутюженных мундирах, с орденами и ленточками на груди. Одиноким русский против них был жалок, у него был вид голодающего бродяги.

Танкист еще не знал, зачем его сюда привезли. Он думал об этом и потихоньку осматривался, прикидывал: что все это значит? Когда он увидел в стороне тридцатьчетверку, лицо его прояснилось, в глазах заблестела радость. Знакомый темно-зеленый танк с белыми номерами на башне выглядел здесь, в центре Германии, как старый близкий друг, как кусочек Родины. Танкист любовно обвел машину взглядом. Смутные предположения и надежды мелькнули в его голове.

Подкатил сверкающий на солнце «опель-адмирал», эсэсовцы вытянулись перед начальством. Из автомобиля вышел Гудериан. На нем была военная форма из какой-то особенно дорогой ткани кофейного цвета, сапоги сияли, как лакированные.

Гудериан не торопясь приблизился к пленнику. Голова его надменно приподнята. Суровое лицо непроницаемо холодно. Власть, данная этому человеку, огромна. Русский пленный для него даже не пылинка. Но тщеславие, как известно, ненасытно. Ни один властитель его еще не утолил, упиваясь преклонением тысяч, власть имущие не упускают случая усладить себя и трепетом одиночки.

Величественный и элегантный, пахнувший хорошим одеколоном, отменно начищенный генерал-инспектор был немногословен — он сказал, что должен сделать танкист, и пообещал... Шлемпфер так воспроизвел его обещание:

— Если ты остался после испытаний шиф, я буду приказать — отправить тебя на фронт — нах Остен и отпускай к русским!

Генерал говорил куда и как будет ездить русский танкист.

За шамканьем Шлемпфера мне слышатся резкие, короткие, как команды, слова Гудериана. Я вижу лицо пленника; услышав обещание генерала, он, наверное, на секунду представил себе эту несбыточную сказку: поезд летит на восток, линия фронта, родные лица товарищей, а потом полные счастливых слез глаза матери, жены, детишек.

— Русски танкист пошел к танк. Танк стояль там.— Шлемпфер направляется в поле, в сторону от дороги. Я пошел за ним. Пройдя с километр, старик останавливается, осматривается и наконец пристукивает подошвой по траве: — Здес.

Я гляжу на землю, надеясь увидеть следы гусениц, но всюду только сочная зеленая трава. Трава стоит прямая, земля под ней нетронутая — ровная. Неужели не осталось ни одной полоски от зубов траков? Вполне возможно — ведь прошло много лет! Старый Шлемпфер едва ли точно помнит место, танк мог стоять правее или левее. Я долго хожу по лугу, вглядываюсь под ноги. Но тщетно, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего след гусениц, я не нашел. И вот, когда я уже отказался от надежды что-нибудь найти и поднимал утомленные глаза от земли, перед моим взором промелькнули две параллельные ленты на поверхности луга. Я тут же их потерял, но затем снова уловил, едва различимые, будто легкие тени на траве. Я отходил, приближался, приседал и поднимался на носки. Тщательно рассматривал, щупал землю. Однако пальцы мои не чувствовали никаких неровностей. И все же некоторые травинки несомненно росли с иным наклоном по отношению ко всей траве на лугу и поэтому отличались не цветом, а разницей в освещении. Как я был благодарен этим тоненьким зеленым стебелькам, которые показывали последний путь нашего замечательного земляка. Это несомненно был его след.

Уверенность, что я действительно нашел остатки следа, подкреплялась тем, что Шлемпфер, продолжая рассказ, все время указывал в этом направлении.

— Генераль Гудериан показайт русский танкист маршрут,— Шлемпфер махнул рукой вдоль следа

и ткнул согнутым пальцем в рошу, которая находилась от нас километрах в пяти.

— Туда и цурюк — назад. Потом нох айн маль — туда унд цурюк — назад. Пушка — айн, цвай, драй, — три пушка стояль там. Один должен стреляйт прямо — ин фронт: испытаний лобовой брон. Один имеет стрельба в бок: испытаний бортовой брон. Один стреляйт в сшина: испытаний задний брон. Русски танкист все понимайт. Он пошель к танк и карашо имел его посмотреть.

При этих словах Шлемпфер погладил ладонью рукав пиджака на правой руке. Он, видимо, непроизвольно повторил жест пленника, с которым тот подошел к танку.

С этого жеста в моем воображении зародилась целая картина. Танкист подошел к машине и ласково погладил ее. Бронь, нагретая солнцем, была теплой. Потом он обошел танк со всех сторон, проверяя его состояние. При каждом прикосновении он поглаживал его, как живого, испытывая при этом величайшее наслаждение. Потом он поднялся на борт и вошел в башню. Каждая рукоятка, каждый болтик были для него здесь понятны и близки. За любой деталью вставала прошлая жизнь. Посмотрел на рычаги управления, вспомнились солнечные дни учебы на танкодроме, когда этими рычагами направлял тяжелую машину на эскарп, заставлял вертеться в ограниченном проходе, приказывал прыгать через противотанковый ров. Он вдыхал знакомый запах солярки, и она казалась ему ароматнее любых духов. Солярка напоминала часы обслуживания техники, веселые испачканные лица товарищей. Задраивая над головой люк, он обязательно вспомнил бой, когда в ревущем полумраке машины были видны только белые полосы света на глазах друзей, приникших к приборам наблюдения. Нет, пленник не чувствовал себя одиноким в те минуты, хотя и находился в глубине Германии, окруженный врагами. У него был здесь верный друг — боевой танк, отлитый из добротной стали где-нибудь на Урале. Оказавшись в машине, танкист снова почувствовал себя в общем строю. Он знал, что живым ему отсюда не уйти, и решил показать фашистам высокий класс советской танковой школы. Руки его уверенно легли на рычаги. Жаль только, сил маловато — ослаб в концлагере, ну да ничего, родная тридцатьчетверка не под-

ведет, она поймет хозяина, она умная, она будет слушаться, как положено!

— Генераль уехал в бункер, в наблюдательный пункт. Это есть там.— Шлемпфер показал в ту сторону, где из земли выглядывал серый лоб бетонного сооружения.— Сольдатен унд офицерен пошоль на огневой позиций. Это есть здес, здес и здес.— Старик махал в сторону кустов и рощиц, которые тянулись вдоль границы полигона. За этими зарослями проходило шоссе, а за шоссе начинались поля, сады, стояли домики ближних фольварков.

— Русски танкист заводил машину, а мы были готоф стреляйт.

Представляю, какие напряженные и в то же время радостные были эти секунды для того мужественного человека.

Он сидел на месте механика-водителя, припав к смотровой щели, и старался угадать, где пушки. Когда взревел мотор, сердце танкиста тоже гулко забилося. Как ему приятно было слушать этот мощный знакомый рокот, чувствовать, как ожила и затрепетала родная тридцатьчетверка. У него не было времени на приятные переживания. Пушки могли открыть огонь в любую минуту. Где они? Сколько их? Это мне сейчас Шлемпфер показал, где были замаскированы огневые позиции. А пленный танкист этого не знал. Он впервые был на полигоне. Ему только указали, в какую сторону нужно двигаться. К этому времени он, наверное, все обдумал и решил, как действовать. Он, конечно, не поверил обещаниям гитлеровского генерала, знал цену их словам!

— Русски танкист не выполняйт приказ генераль Гудериан. Он быстро бросал свой танк уф этот лес. Все пушка стреляйт уф русски танк, но танк прятался уф лес! — взволнованно сказал Шлемпфер.

Не зная, где огневые позиции, пленник решил укрыться в ближайшей роще. Он помчался к деревьям на высокой скорости и кратчайшим путем. Пушки хлестали с трех сторон. Зсмя вскидывалась черными сыпучими веерами у самой машины. Заскочив в лес, пленник воспользовался замешательством врагов и, маскируя танк зарослями и пылью, поднятой взрывами, повел его к границе полигона. Теперь он знал, где находятся пушки! Танк вздрагивал, сталкиваясь с деревьями, валил их, с хрустом подминая под себя,

продирался дальше. Артиллеристы потеряли его из вида. Они стреляли наугад, по треску сломанных деревьев.

Ох, нелегко было истощенному на лагерной баланде пленнику управлять тяжелой машиной! Он весь дрожал от перенапряжения, пот заливал глаза. Тугие рычаги и педали требовали силы, а ее не было. Но он был мастер своего дела, знал все тонкости громоздкой машины. И к тому же это был последний бой в его жизни! Он решил его непременно выиграть. Танкист понимал — его ждет смерть, но умереть еще не значит быть побежденным!

Он продирался по зарослям, подбираясь поближе к врагам. Жарко и гулко колотилось его сердце. Тяжелый танк тоже рокотал и наполнился жаром. Танкисту минутами казалось, что жар этот и рокот перешел в него от машины, но когда танк послушно выполнял малейшее движение его рук и будто понимал мысли своего хозяина, танкисту чудилось, что он сам превратился в сердце стальной машины и дрожь ее, и рокот ее, и стремительный бег — все это передается танку от него, от его сердца.

— О! Русски танкист былъ отшень умный человек! А мы былъ глупи. Мы стреляйт уф то место, где прятался танк. Мы стреляйт прямо. Но, мой бог! Вдруг танк пришел к наша пушка совсем с другой стороны!

Маскируясь лесом, узник подвел машину к огненным позициям с фланга почти вплотную. Занятые частой стрельбой, взволнованные происходящим, оглушенные грохотом поднятой канонады, артиллеристы не слышали приближения танка по зарослям. А он выскочил из ближайшей опушки и стремительно понесся на них. Онемевшая прислуга не успела даже повернуть орудие в его сторону. Танк с лету ударил в пушку. Развернулся на месте. Подмял под гусеницы металл и фашистов. И через мгновение снова умчался в лес. Все это было сделано молниеносно.

Обслуга других орудий не стреляла по танку во время его вылазки. Им не было видно это место.

Пленник, вернувшись к зарослям, повел машину, маскируясь кустарником, который тянулся вдоль границы полигона. Он правильно рассчитал: двигаясь вдоль самой границы полигона, его танк будет находиться между пушками и домами, которые стояли по ту сторону шоссе. Артиллеристы развернули орудия, но стрелять не решались: танка в кустах не видно и каждый

не попавший в него снаряд может угодить в дом с местными жителями. Весь персонал Ордруфа и те, кто прибыл на испытания, в полной растерянности ждали, что будет дальше. А русский танк между тем, продолжая сердито урчать, продвигался вдоль ограды. Было похоже на то, что он намеревается совершить побег. Это тоже грозило громким скандалом и неприятностями, но все же присутствующие на полигоне вздохнули свободнее, для них такой исход был более безопасным.

Но у русского танкиста был совсем другой план. Как только, по его расчетам, танк вышел на уровень второго орудия и между ним и пушкой оставалось минимальное расстояние, тридцатьчетверка вдруг резко повернула вправо, пересекла тонкую цепочку кустов и деревьев и на полном ходу понеслась на пушку. Пушка успела выстрелить дважды. Оба снаряда вспороли землю, не долетев до танка. В следующий миг лязг металла и вопли задавленных донеслись с того места, откуда стреляла пушка. Танк снова умчался к деревьям. Расчет третьей пушки на этот раз видел, что произошло с их соседями. Третья пушка начала остервенело бить по кустам, прикрываясь которыми подбирался к ней танк. Артиллеристы теперь не заботились о безопасности местных жителей, они думали о собственной шкуре и садили снаряд за снарядом по кустарнику, надеясь угодить в танк.

Танк подбирался к орудию осторожно, он менял скорость, приостанавливался, то делал рывки, то шел вперед на малом газу, чтобы меньше шумел двигатель.

И вот настал момент, когда гул мотора совсем прекратился. Перестало стрелять орудие. Наступила полная тишина. Танк и пушка готовились к последней схватке. С третьей огневой позиции предусмотрительно удирали слабонервные штабники и инженеры. У орудия остался только расчет.

Весь полигон, вся его многочисленная охрана и обслуживающие подразделения выглядывали из бункеров и щелей. Всем было ясно — настали последние минуты жизни мятежного танкиста, у него нет снарядов, нет свободы маневра, противотанковая пушка изготовилась к стрельбе, она хорошо прицелилась, расчет ее пришел в себя, паника улеглась. Русский танкист не мог долго выжидать, время было не за него. Что он думал в эти минуты? Вспомнил отца и мать? Мысленно обнял любимую? Попрощался

с товарищами? Может быть, запел: «Это есть наш последний...»

Все может быть. Несомненно одно: когда человек идет на подвиг, все, о чем он думает, все, что он делает,— это он вершит ради своей Родины. Ибо Родина для каждого из нас — это отец, мать, любимая, дети и то, о чем поется в Интернационале.

Эти мысли, эта любовь придают человеку в решающую минуту силы, мудрость, отвагу, делают его непобедимым. Так было и с нашим танкистом. Мотор взревел. Опушку леса затянуло густым черным дымом. Танк, скрытый кустами, стоял на месте, а двигатель гудел, готовый разорваться от перегрузки. Черное облако все разрасталось и разрасталось, его начинало растягивать ветром в сторону открытого поля, которое отделяло танк от огневых позиций. Артиллеристы поняли замысел танкиста — он создавал дымовую завесу, их нервы не выдержали, пушка выплюнула огненный трассер в центр дымовой завесы. Этого и ждал отчаянный танкист. Танк вынесся из дыма, словно его выбросил оттуда разорвавшийся снаряд. Пока артиллеристы дрожащими руками заряжали орудие и меняли установку прицела, танк летел по прямой. Но в тот момент, когда наводчик нажал спуск, танк вдруг на полном ходу уперся гусеницами в землю, взрыл ее на полметра и вильнул в сторону. Снаряд впился огненным жалом туда, где должен был оказаться танк, не сделай он этот внезапный вираж. И снова мчалась гудящая машина вперед. И тыкал заряжающий у орудия очередной снаряд, не попадая им от волнения в канал ствола. И снова выстрел, и снова увертка.

Все это длилось несколько секунд. Поединок кончился как и два предыдущих — танк налетел на пушку и расплющил ее вместе с расчетом. Испытание новых противотанковых систем по реальной советской тридцатчетверке закончилось!

Конец этой истории таков. Русский танк, победно урча, будто хохотал над врагами, направился к шоссе. Он выбрался на дорогу. Клацая и скрежеща траками по асфальту, устремился на восток. Гудериан вышел из бетонного наблюдательного пункта, он был еще холоднее и непроницаемее, чем прежде, коротко бросил:

— Горючее скоро кончится. Взять живым.

В одном из фольварков из-за угла под танк подбро-

сили мину. Машина вздрогнула от взрыва, как умирающий солдат, настигнутый пулей, и остановилась. Контуженного пленника выволокли из танка, привели в чувство и доставили на полигон.

Гудериан подошел к русскому узнику. Он был все в том же мундире кофейного цвета, сшитом из особо дорогой ткани, сапоги блестели, как лакированные, многочисленные орденские ленты пестрели на его груди, но его теперь не рапирало сознание превосходства и величия. Он смотрел на небритого истощенного пленника, как смотрят на какое-то удивительное открытие. И может быть, именно в тот день гитлеровский броневой бог особенно отчетливо понял, что фашисты проиграли войну.

Пленный стоял свободно. Без страха смотрел на врагов. В глазах его была усмешка.

Стараясь быть объективным и как-то поддержать свой престиж перед окружающими, Гудериан сказал:

— Ты лучший из всех русских танкистов, которых мне приходилось видеть!

Узник ему ответил:

— Лучший в плен не угодил бы. Я обыкновенный. Лучшие остались там. Но вы скоро их увидите — они сюда придут!

Генерал понял: этот разговор ни к чему хорошему не приведет; покатав желваки на впалых бесцветных щеках, он коротко бросил:

— Расстрелять.

И ушел.

Танкиста расстреляли в тот же день, там же — на полигоне Ордруф...

И вот мы ходим по полигону со старым Шульцем Шлемпфером. Я останавливаюсь около осыпавшихся траншей и спрашиваю:

— Может быть, здесь?

— Не знаю. Этого я не видел, — виновато отвечает старик.

Я смотрю на рытвины и холмики, обросшие травой. Где-то здесь лежит наш удивительный герой, простой советский парень. Никто не знает его фамилии, имени, возраста, о нем известно только одно: он был русский танкист. Впрочем, и это неточно. Он мог быть украинцем, белорусом, грузином, узбеком, враги всех нас называли одним именем — русский. И еще о нем известно то, что он — пропал без вести.

Тысячи отцов, матерей, жен, юношей и девушек хранят пожелтевшие от времени извещения, на которых написаны три коротких слова: «Пропал без вести».

Может быть, человек, о котором я рассказал, ваш близкий, может быть, этот рассказ — первая весть о нем? Будем верить — герои без вести не пропадают. Вести о них лишь задерживаются. Рано или поздно Родина все равно узнает о подвигах своих верных сыновей.

...Полигон Ордруф, обычная сельская местность: ярко-зеленые поля, темные рощи и перелески, желтые проселочные дороги, вдали горы Тюрингенвальд, поросшие лесом. Все это сотни лет выглядело обычным. Но пришел сюда русский воин, совершил подвиг, и Ордруф стал легендарным. Все, кто услышит название — Ордруф, вспомнят не надменных, увешанных крестами гитлеровцев, не новейшие их пушки и танки, а бесстрашного русского человека, хотя и был он в тот день худ, тощ, не брит и одет в полосатую лагерную робу.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

В художественных произведениях разведчики совершают головокружительные похождения в отчаянных ситуациях, наверное, поэтому настоящим — живым, а не литературным — разведчикам свои дела кажутся обыденными и неинтересными.

Я подумал об этом, беседуя недавно с генерал-лейтенантом Трусовым Николаем Михайловичем. В годы войны он руководил разведкой нескольких фронтов, обеспечивал проведение ряда крупнейших операций Советской Армии. После войны нам довелось служить вместе, я был его подчиненным. С тех пор прошло больше тридцати лет, оба мы если не состарились, то, уж конечно же, постарели и теперь встречаемся как сослуживцы, которым есть что вспомнить.

И вот мы сидим в квартире Трусова, его жена, Анна Дмитриевна, поит нас чаем, и разговор подходит к той самой фразе, с которой и начинается описание сложной операции, по сути дела, первого задания после окончания войны.

— Каждому событию предшествует или подготовка, или стечение обстоятельств, порождающих это со-

бытие,— сказал Николай Михайлович.— Были такие предваряющие дела и перед той операцией. Они произошли примерно за месяц до того, как назрела необходимость выполнения задания, которое было поручено мне лично Верховным Главнокомандующим.

Накануне самоубийства — 29 апреля — Гитлер подписал документ под названием «политическое завещание». В нем назначается новое правительство и верховное командование вооруженных сил Германии. Согласно завещанию посты распределялись так: Дениц — президент, Геббельс — имперский канцлер, Борман — министр по делам нацистской партии, Зейсс-Инкварт — министр иностранных дел, Гислер — министр внутренних дел, Ханке — министр по делам полиции, фельдмаршал Шарнер — главнокомандующий сухопутными войсками.

Я спросил:

— По каким соображениям Гитлер своим преемником назначил gross-адмирала Деница? Почему на нем остановился выбор? Ведь раньше официально был назначен Геринг, и несколько лет он числился преемником в случае кончины Гитлера.

Николай Михайлович улыбнулся:

— Геринг, как говорится, не оправдал доверия фюрера: за его спиной, не согласовав с ним свои действия, а точнее — спасая свою шкуру и богатство, он стал вести переговоры с американцами, еще когда германская армия сражалась или делала вид, что сражается с нашими союзниками, наступающими с запада. Разгневанный фюрер расценил это как предательство. Вот тогда встал вопрос о новом преемнике. Выбор на gross-адмирала пал не случайно. Он был не только верным сторонником нацизма, но еще имел связи с финансовыми магнатами, он был родственником миллионера и крупнейшего промышленника Эдмунда Сименса. Пушки умолкали, наступала тихая пора действий капиталистов. Gross-адмирал Дениц был очень подходящим человеком для представителей финансовой олигархии, для промышленных кругов Германии и западных стран и оставшихся в живых главарей фашизма. Он был тем, на кого делалась ставка сохранить влияние милитаризма и нацизма в будущей Германии и сохранить их влияние в Европе. 30 апреля 1945 года в 18 часов 35 минут Дениц получил в городе Плен телеграмму, отправленную из Берлина за подписью Бормана.— Николай

Михайлович весело глянул на меня: — Я сам читал телеграмму, поэтому так точно называю дату и время. В ней говорилось: «Вместо прежнего рейхсмаршала Геринга фюрер назначил вас, гросс-адмирал, своим преемником. Письменные полномочия в пути. С этого момента вам надлежит предпринимать необходимые меры, вытекающие из современной обстановки».

Дениц на эту телеграмму ответил: «Мой фюрер, моя верность Вам остается непоколебимой. Я приму все необходимые меры, чтобы облегчить Ваше положение в Берлине. Но если судьба принудит меня как Вашего преемника быть первым человеком немецкого рейха, то я закончу войну так, как того требует непотворимая героическая борьба германского народа».

Дениц перебрался в город Фленсбург и приступил к активным действиям, он сформировал правительство и претендовал на то, что представляет всю Германию и начинает вести ее новую послевоенную политику. Одним из самых заветных, но, разумеется, тайных желаний этого правительства было желание поссорить союзников, победителей, и особенно западных, с советской стороной.

— Непонятно, Николай Михайлович, как же получается: гитлеровская Германия разгромлена, фашистское руководство подписало акт о капитуляции, в котором такое правительство не предусмотрено, а оно функционирует.

— В том-то и дело! Дениц и его окружение оказались в английской зоне оккупации, да еще за Кильским каналом: Фленсбург находится недалеко от границы с Данией. За канал английские войска вообще не переправлялись, они спешили на восток, навстречу Советской Армии, но не для того, чтобы побыстрее пожать руку союзникам, а с целью побольше захватить немецкой территории. Вот и получилось так — Дениц обосновался за Кильским каналом, в порту, где стояло множество немецких военных кораблей с неразоруженными экипажами, и вообще, здесь, как говорится, не ступала еще нога победителей.

Николай Михайлович помолчал, видимо, вспоминая те дни, и продолжал:

— Нам было известно и то, что существует правительство Деница, и чем оно занимается, и какие интересы с ним связывает английская сторона. Черчилль возлагал на это правительство большие надежды, что

подтверждает сам факт его существования в английской зоне. Покровительство англичан Деницу, я думаю, было не случайно и объясняется не только заботами тех дней.— Посмотрев на меня с доброй хитринкой, генерал спросил: — Как вы думаете, не имеет ли это связи с тем, что Дениц во второй половине 1918 года был взят англичанами в плен вместе с частью экипажа с тонущей подводной лодки? На поверхности их подобрал английский эсминец. Только через год, во второй половине 1919 года, Дениц возвратился в Германию. Кроме того, общеизвестно, что бывший гросс-адмирал Дениц на Нюрнбергском процессе, пожалуй, не обвинялся, а опекался со стороны английского обвинения. Заместитель английского главного обвинителя не требовал смертной казни Деницу, а вел такую линию, что Дениц получил минимальный срок наказания. Дениц был единственным обвиняемым на Нюрнбергском процессе, который получил только 10 лет тюремного заключения, хотя гросс-адмирал не меньше других совершил военных преступлений против человечества, был одним из видных лиц нацизма и полностью ответствен за чудовищные преступления фашизма. Ну, еще напомним, что после смерти Деница, бывшего гросс-адмирала гитлеровского флота, лондонская газета «Таймс» в 1981 году опубликовала некролог в половину газетной полосы. В некрологе самым почтительным образом воздается дань его заслугам, таланту, знанию военного дела и ничего не говорится о его преступлениях против человечества во второй мировой войне. Газета «Таймс» цитирует дружеские письма, которые отправляли в тюрьму Шпандау Деницу его коллеги — видные адмиралы и генералы НАТО. Среди корреспондентов Деница, как утверждает «Таймс», был Уинстон Черчилль. Вот так! Мне же еще в 1945 году было ясно, что английская сторона благосклонно относится к правительству Деница и имеет определенные виды на его использование в своих интересах.

И вот 15 мая 1945 года маршал Жуков вызвал меня к себе. Он сказал, что мне срочно надо выехать во Фленсбург: Верховный Главнокомандующий утвердил меня представителем от советской стороны для ареста правительства Деница. Завтра из Москвы прилетят несколько офицеров, которые вольются в мою группу. Затем маршал Жуков добавил, что мне поручается на период проведения операции держать связь

непосредственно с Москвой, для чего следует взять с собой радиостанцию и необходимые документы для связи с Центром. Далее Жуков приказал подобрать группу в 20—25 офицеров по своему усмотрению, 17 мая быть во Фленсбурге и в возможно короткий срок выполнить это задание.

Нелегко было за сутки с небольшим создать и подготовить необходимую группу офицеров. Смелых, надежных людей было много, но в предстоящем деле нужны были качества не только те, которые человек показал в боях, но и большая гибкость, несколько иная находчивость, не говоря уже о смелости в самом прямом смысле: мы ехали в расположение фашистов, да и на союзников в деле, которое они очень заинтересованы решить по-своему, тоже полагаться не следовало. Заехать-то в их зону мы заедем, но вернемся ли оттуда в случае своей большой настойчивости, да и вообще, если узнаем кое-что такое, что не захотят предавать гласности англичане? Уж кто-кто, а они умели заставить замолчать неугодных им людей, этому можно найти подтверждающие факты на любой странице их истории.

Николай Михайлович не подмигнул, а как-то лукаво и даже хитро прищурил оба глаза, уж очень хорошо и просто у него это получалось — ну такой сидит «мужичок-простачок». Как говорят в народе, мухи не обидит, но я-то знал настоящую, большую, государственную цену этому человеку. И было мне очень приятно и тепло оттого, что генерал, пройдя огромную и трудную жизнь, полную опасностей, а порой и жестокостью по необходимости работы, сохранил для своих друзей, для соотечественников вот эту теплоту, непосредственность и обаяние.

Он, улыбнувшись, сказал:

— Я уважаю твою трудную фронтовую профессию, Владимир Васильевич, брать «языка» — дело очень рискованное. Но там, при всей опасности, ты в какой-то степени все же хозяин положения. От тебя зависит, сумеешь ли ты хорошо подкрасться, решительно ли бросишься на врага, одолеешь его в короткой схватке, скрутишь и уволочишь. В крайнем случае, если все это не состоится, ты можешь тихо уползти. Ну, пожурят, поругают, завтра, глядишь, дело поправится — притащил «языка». В этом задании, которое предстояло нам выполнить, не было путей для отступ-

ления, был только один — арестовать правительство Деница. Не было возможности подкрасться к врагам — мы шли в открытую, как в дневной поиск, у всех на виду. И ликвидировать нас могли и враги, и союзники, а своих поблизости ни души. Тебе отход могла артиллерия прикрыть, а нам кто поможет? И учти еще одно — война кончилась, все вокруг ходили со счастливыми, сияющими глазами — от победы, от радости, что остались живы... А мы тоже хотели жить. Вот такие, брат, дополнительные трудности нас обременяли.

В общем, я все подготовил, товарищи чекисты, включенные в мою группу, из Москвы прилетели вовремя, старшим среди них был спокойный, понравившийся мне с первого взгляда Горбушин Василий Иванович. Он ленинградец, как и я, начинал свою жизнь рабочим Кировского завода. Перед войной был уже мастером механического цеха, и горком направил его на работу в органы государственной безопасности. Горбушин пережил ленинградскую блокаду и затем прошел боевой путь до Берлина.

— Как вы добирались до Фленсбурга, это же было неблизко и непросто? — поинтересовался я.

— В то время вопрос с транспортом не представлял трудностей, было много и служебных машин — наши надежные фронтовые газики, «виллисы» и трофейные легковые автомобили самых различных марок. Вот такая сборная колонна из двадцати автомобилей утром 17 мая тронулась на запад.

— А во что вы были одеты?

— Мы все были в своей армейской форме, и многие даже при орденах. Тогда, как известно, фронтовики носили чаще ордена, чем заменяющие их планки. Я был в генеральской форме. Отношения с солдатами и офицерами союзников, которые служили в строевых частях, у нас были самые добрые. Когда мы прибыли на контрольно-пропускной пункт и сказали, куда едем, правда, не вдаваясь в подробности нашего задания, нас беспрепятственно пропустили как добрых боевых друзей. И вот мы помчались во Фленсбург.

Оказавшись за Кильским каналом, мы как бы попали в довоенную фашистскую Германию: всюду видны старые названия улиц, фашистские указатели, кругом свастика, фашистское приветствие поднятием руки и масса немецких военных в сухопутной, эсэсовской

и морской форме, все при орденах, со знаками различия.

Было очевидно: здесь в полной мере продолжал существовать гитлеровский порядок, действовали фашистские законы.

В городе Фленсбурге функционировал городской транспорт, работали магазины, оживленное уличное движение регулировали пожилые полицейские в форме, которую они носили при Гитлере. Здесь находилось много немецких военных кораблей. Экипажи этих кораблей жили обычной жизнью, сходили на берег, возвращались из городского отпуска. На кораблях отбивались склянки и развевались немецкие флаги со свастикой.

Во Фленсбурге находилось и продолжало функционировать верховное главнокомандование фашистской Германии (ОКВ) во главе с генерал-полковником Йодлем — начальником штаба оперативного руководства.

Как будто не было ни поражения, ни подписания 8 мая акта о безоговорочной капитуляции. Нам тогда показалось, что нацистам оставлена эта территория преднамеренно, что им дается возможность сохранить кадры, переждать «нечаястье». Это был какой-то музей не восковых, а живых фигур, и не только фигур, но и фашистских порядков, образа жизни.

Во Фленсбург раньше нас прибыли американская делегация — ее возглавлял генерал-майор Рукс — и английская делегация во главе с бригадным генералом Фордом.

Мы встретились с ними в день приезда — 17 мая и провели совещание по предстоящей работе...

К этой беседе с генералом Трусковым мне кажется полезным и интересным добавить то, что мне удалось разыскать чекиста, включенного в группу Трусова, Василия Ивановича Горбушина. Он живет в Ленинграде, генерал-майор в отставке. Василий Иванович разрешил мне использовать в этом рассказе и его воспоминания. Привожу его слова, касающиеся начала работы во Фленсбурге.

Генерал Трусов на первой же встрече с руководством комиссий союзников потребовал в соответствии с актом о безоговорочной капитуляции немедленно ликвидировать фашистский государственный аппарат и генеральный штаб ОКВ, арестовать его руководителей как военных преступников, разоружить и ин-

тернировать в лагеря весь личный состав армии и военно-морского флота. Генералы Рукс и Форд ответили, что сделать этого не могут, так как в районе Фленсбурга нет сил, которые могли бы осуществить такую большую операцию. Они заверяли, что проведут ее, как только подтянутся к Фленсбургу английские войска. Мы продолжали настаивать на своих требованиях. Ясно, что союзники ведут закулисную игру, представляя возможность фашистскому правительству и штабу организованно перебрасывать на Запад ценное имущество, вооружение и личный состав армии.

Дальше я привожу продолжение рассказа генерала Трусова:

— Бригадный генерал Форд пытался навязать нам такие мероприятия, которые отодвигали бы сроки ликвидации правительства Деница. Мне было известно, что Черчилль писал еще в конце апреля 1945 года Рузвельту: «Германские военные руководители, спасаясь от русских, охотно становятся друзьями англичан и делают все то, что мы от них требуем». Затем Черчилль 14 мая 1945 года послал записку в МИД Англии, в которой он поставил вопрос о возможности использования правительства Деница как полезного для западных держав инструмента.

Очевидно, поэтому бригадный генерал Форд пугал советскую и американскую делегации, что если мы немедленно приступим к ликвидации правительства Деница, то он не исключает возможности вооруженного выступления во Фленсбурге немецких морских школ, мятежных действий эсэсовских подразделений.

Бригадный генерал Форд на правах хорошо осведомленного хозяина в этой английской зоне оккупации пытался представить дело так, что итогом нашей работы во Фленсбурге должно быть «разъяснение» своим правительствам того положения, что группа Деница полезна на данной стадии управления Германией и ее пока не надо ликвидировать.

Положение во Фленсбурге действительно было сложным. Здесь полностью хозяйничали фашисты, у них были реальные боевые силы, а английских войск в этом городе пока не было: дивизии первого эшелона войск Монтгомери получили указание продвигаться на восток как можно быстрее и дальше, не обращать внимания на достигнутое соглашение о демаркационной линии, упредить русских в занятии территории

Северной Германии. И больше того, как свидетельствует сам фельдмаршал Монтгомери, Черчилль в мае 1945 года дал указание собирать германское оружие и боевую технику, сохранять ее так, чтобы можно было раздать вооружение германским частям, с которыми пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось...

Такая линия поведения английского руководства объясняет, почему командование Монтгомери не выделило нужные силы для форсирования Кильского канала и выхода к датской границе.

Нам приступить к выполнению задания немедленно действительно было невозможно, надо было осмотреться, сориентироваться, найти выход. Англичане, как хозяева, предложили нашей делегации несколько вариантов для размещения: в гостинице, в отдельном доме в городе или за городом. Учитывая обстановку и то, что местные газеты уже сообщили о нашем прибытии, причем явно недружелюбно, надо было располагать группу с учетом безопасности и даже возможности защитить себя в случае нападения. Поэтому я решил поселить нашу группу на пассажирском корабле «Патрия». Он стоит у пирса, связан с землей только трапом, и в случае опасности мы сможем или отплыть в море, или своими силами отстреливаться, не пуская на трап нападающих. Несколько неожиданно для нас было решение английской и американской делегаций тоже поселиться на этом же корабле. Внешне они так поступали из чувства союзнической солидарности, удобства совместной работы, но я понимал: было здесь и намерение постоянно держать нас в поле зрения, знать о передвижениях всех офицеров нашей группы.

Для того чтобы как-то парализовать деятельность правительства Деница — хотя бы нашим присутствием — и выяснить некоторые необходимые мне вопросы, я попросил генерала Форда дать мне возможность поговорить с адмиралом Деницем, хотя Форд накануне говорил, что не следует допрашивать Деница до его ареста. Дениц якобы все изложит по просьбе трех представителей на бумаге, и копию этой бумаги англичане передадут представителю каждой стороны. Я настаивал на том, чтобы встреча с Деницем состоялась. После долгих проволочек и многих попыток отговорить меня от встречи генерал Форд все же свел меня с Деницем при условии, что я не буду вести протокол

допроса, а выясню у него только некоторые вопросы, касающиеся деятельности его как главы правительства, составленного по завещанию Гитлера от 29 апреля 1945 года.

В сопровождении нашего полковника В. И. Смирнова и бригадного генерала Форда я вошел в кабинет Деница. Кабинет был большой, старинная строгая деревянная мебель, на стене портрет Гитлера. При нашем появлении Дениц встал из-за стола и пытался приветствовать нас традиционным жестом гитлеровцев. Но, увидев наши недовольные лица, как-то неловко опустил руку и показал ею на стоящие вокруг стола стулья.

— Николай Михайлович, опишите, пожалуйста, внешность Деница,— попросил я, движимый своим писательским любопытством.

— Дениц был в форме адмирала. Ему исполнилось 53 года, выглядел свежим, подтянутым военным человеком, среднего роста, приглаженные волосы, с сединой на висках. Взгляд Деница не был сосредоточенным, глаза его бегали, и была заметна какая-то неуверенность в его жестах, хотя внешне он держался спокойно.

Я спросил Деница о составе его правительства. И, как вы понимаете, Владимир Васильевич, меня интересовал не столько его сегодняшний состав, а вопрос—куда делись те, кого Гитлер намечал включить в правительство в своем завещании? Мне уже было известно, что тех главарей в правительстве нет. Где же они?

О деятельности своего правительства Дениц отвечал неохотно, правда, назвал полный его состав и много говорил о трудности при его формировании, потому что лиц, которые были указаны в завещании Гитлера от 29 апреля 1945 года, не оказалось на месте. Почему не включены в состав правительства Борман и другие руководители рейха? Дениц заявил, что он неоднократно пытался установить местонахождение этих лиц, в том числе и Бормана, пытался наладить с ними связь, но успеха не имел. Далее Дениц сказал, что к нему приходил Гиммлер и предлагал свое сотрудничество, просил быть вторым лицом. Гиммлеру он отказал, и тот ушел, не сказав, куда направляется. В течение всей нашей «аудиенции» Дениц не спускал глаз с британского бригадного генерала Форда, как бы

дожидаясь одобрения своих ответов на мои вопросы. Я ушел от Деница с полным подтверждением ранее сложившегося мнения о том, что адмирал Дениц находился на службе у англичан, он знал о предстоящем роспуске его правительства и о том, что его лично ожидает: видимо, англичане информировали Деница и его окружение о предстоящих мероприятиях союзников.

Я понимал: пока у Деница и Йодля существует опора на реальную вооруженную силу, проведение нашей операции может не состояться. Поэтому я стал постоянно требовать выполнения союзниками положений, зафиксированных в акте о безоговорочной капитуляции гитлеровцев, то есть разоружить их воинские части и корабли здесь, во Фленсбурге. После настойчивых и неотступных наших требований английская сторона все же приступила к разоружению фашистов.

Это уже создавало более благоприятные условия для осуществления нашей задачи. Стали вырабатывать план действий по выполнению операции, возложенной на все три группы союзников. И тут опять генерал Форд начал процессуальные выкрутасы. Он заявил свое несогласие проводить арест и вообще упоминать этот термин, предлагал не считать пленными Деница и его приближенных, а назвать их интернированными. Но я настаивал на аресте и по форме, и по существу, так как мы осуществляем арест членов правительства за незаконные их действия, за нарушения достигнутой союзниками договоренности в отношении Германии.

Кроме того, наша делегация настояла на том, чтобы арест провести одновременно, по утвержденному нами списку. А надо сказать, список был немалый — в него мы на совместном заседании включили более двухсот крупных нацистов. Наконец мы обо всем договорились. Арест был намечен на 23 мая 1945 года, операция будет проводиться одновременно по всем известным нам адресам. Тут у меня опять возникли большие затруднения. В моей группе двадцать пять человек, арест будут проводить английские солдаты и офицеры. Для того чтобы осуществить контроль и проявить настойчивость, если таковая потребуется, я распределил своих офицеров в английские группы и соответственно их проинструктировал.

Накануне проведения операции мы получили сведения, которые потребовали от нас срочных активных действий не только во Фленсбурге.

Тут я передаю слово Василию Ивановичу Горбушину.

— Мне и подполковнику Ивлеву удалось установить, что все немецкие документы разведывательного характера о Советской Армии англичане успели вывезти из Фленсбурга в бельгийский город Динств. Я доложил об этом генералу Трусову и просил вступить в переговоры о передаче этих документов нам. Англичане согласились с нашими доводами и поручили одному из своих офицеров сопровождать меня и подполковника Ивлева в Динств.

Было решено, что Горбушин и Ивлев уедут после проведения главной операции во Фленсбурге.

Николай Михайлович внешне оставался спокойным, но я чувствовал: продолжая рассказ о последовавших далее событиях, он немного заволновался.

— На рассвете 23 мая операция началась. Группы разъехались по намеченным адресам, а мы, руководители союзных делегаций, вызвали президента и военного министра незаконного правительства Германии — гросс-адмирала Деница, начальника штаба оперативного руководства генерал-полковника Йодля и главнокомандующего военно-морскими силами адмирала Фридебурга. Представителями трех сторон — советской, американской и английской — было объявлено, что с этого момента так называемое правительство Деница распускается, они трое берутся под стражу, все правительственные институты прекращают свое существование, а весь личный состав правительства и чиновники правительственных учреждений берутся под стражу.

Наше объявление о роспуске правительства ни у Деница, ни у Фридебурга, ни у Йодля не вызвало удивления. Видно было, что англичане проинформировали их о решении, принятом советской, американской и английской делегациями в соответствии с соглашением, достигнутым на уровне верховных руководителей союзных стран.

После выполнения этой миссии я стал собирать информацию от офицеров советской делегации, они докладывали, что члены правительства и лица, включенные в списки, действительно задержаны, доставлены в установленные пункты и взяты под охрану.

В целом операция была проведена по намеченному плану и успешно. Правда, из-за невнимательности английской охраны адмирал Фридебург уже после ареста, попросившись в туалет, отравился бывшей при нем ампулой с цианистым калием.

Тут вновь, как лично присутствовавший при следующем важном событии, пусть продолжит рассказ Горбушин:

— Вскоре после этого англичане информировали генерала Трусова, что в городе Люнебург примерно при таких же обстоятельствах покончил жизнь самоубийством рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. В связи с этим было решено совместить мою поездку в Динств с заездом в Люнебург.

Рано утром 24 мая я и подполковник Ивлев в сопровождении майора английской армии выехали из Фленсбурга. У шлагбаума на окраине Люнебурга нас ожидал офицер английской армии, указавший дорогу к зданию, где находился труп Гиммлера. Войдя в это здание, мы увидели лежащего на полу Гиммлера — самую кровавую, зловещую личность рейха, рейхсфюрера СС, начальника политической полиции, министра внутренних дел.

Из бесед с английскими офицерами выяснилась следующая картина самоубийства Гиммлера.

В один из майских дней английский патруль задержал на улице в Люнебурге троих неизвестных нарушителей комендантского часа и направил их в лагерь для гражданских лиц, размещенный на окраине города. Как позже стало известно, эти нарушители наткнулись не на англичан, а на двух наших солдат — Ивана Сидорова, уроженца Саратовской области, и Василия Губарева из Рязани. Их, плененных немцами, освободили из лагеря англичане и предложили нести патрульную службу при английской военной комендатуре.

Никто не считал необходимым допросить задержанных. Вскоре один из них сам явился к начальнику лагеря и доверительно заявил, что он Генрих Гиммлер и желал бы встретиться с высокими чинами английской администрации. Начальник лагеря не поверил ему, назвал сумасшедшим. Однако об этом узнал майор английской службы безопасности, который и пригласил Гиммлера на допрос. Допросив Гиммлера, он установил его биографические данные — они совпадали с данными розыскной карточки. Номера партийно-

го и эсэсовского билетов также совпадали. Затем офицер сличил приметы — они соответствовали данным розыска. Офицер больше не сомневался, что перед ним Генрих Гиммлер. Об этом он немедленно доложил своему начальнику, полковнику английской армии.

Доставив Гиммлера в штаб английских войск в Люнебурге, полковник распорядился его обыскать. Гиммлера раздели, предложили ему открыть рот. Увидев во рту стеклянную ампулу, врач, производивший обыск, попытался ее выхватить, но Гиммлер раздавил ампулу.

Таков был рассказ английских офицеров.

Я попросил полковника сделать снимки трупа Гиммлера и письменно изложить обстоятельства его смерти. Полковник просьбу мою выполнил и вечером через офицера связи передал две фотопленки, а также письменное объяснение своих сотрудников и одну из трех ампул цианистого калия, обнаруженных в кармане Гиммлера.

В беседе с полковником я пытался выяснить, кем были двое других задержанных. «Сами не знаем», — ответил полковник.

26 мая мы поехали дальше. В районе Рура переночевали и спустя день прибыли в Динств — в лагерь военных преступников. Коменданта лагеря заранее предупредили о цели нашего приезда, и он сразу же велел принести немецкие, как он выразился, «документы о русских». Нам доставили три больших ящика с бумагами. Документы, составленные на русском и немецком языках, содержали материалы разведывательной деятельности различных ведомств и служб гитлеровского рейха.

Не задерживаясь в этом лагере, мы с Ивлевым выехали в Брюссель, где остановились в отеле «Палас». Там же размещалось и советское посольство. Я сразу пошел к нашему послу и доложил ему о нашей миссии. Через сутки мы ехали обратно во Фленсбург, где и сдали все изъятые документы генералу Трусову.

Николай Михайлович пригубил остывший чай, попросил Анну Дмитриевну заварить нам свежего, а мне, как бы подводя итог, сказал:

— Из Фленсбурга мы выехали с чувством выполненной миссии, возложенной на нас. Правительство Деница перестало существовать, арест высокопоставленных нацистов способствовал организации Нюрнбергского судебного процесса. Во Фленсбурге нам

удалось добыть важные немецкие документы, мы привезли с собой оттуда значительную часть архива германского генерального штаба, материалы которого были использованы на Нюрнбергском процессе и которые раскрывали подготовку и развязывание агрессивных войн в Европе и против СССР.

Во Фленсбурге нам удалось добыть также немецкие карты морского штаба с минной обстановкой во всей акватории Балтийского моря, то есть спасти от гибели многих людей и суда некоторых государств.

Вот такое, Владимир Васильевич, довелось мне выполнять первое задание после войны, и, как видишь, это самое первое задание уже было направлено на сохранение мира. В те годы многое делалось для того, чтобы надолго, а может быть, навсегда сохранить мир в Европе и вообще на земле.

Соглашения в Тегеране и Ялте, к которым пришли союзники, подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии, союзнические соглашения о зонах оккупации, о контрольном механизме создавали здоровую основу для решения проблем демилитаризации, денацификации и создания государства Германии на демократических началах.

Но, как известно, западные державы не выполнили подписанные ими соглашения. Они взяли курс на возрождение германского милитаризма. Представитель вновь восстановленного германского генерального штаба генерал Шпейдель уже в 1960 году заявил: «Мы, немцы, заняли свое место в Европейском сообществе и взяли на себя обязательства в деле защиты этого сообщества вместе с нашими союзниками, объясняется это в значительной степени моральной и материальной поддержкой, которую мы получили от Соединенных Штатов Америки. Без этой помощи мы никогда не смогли бы создать, организовать и обучить вооруженные силы федеральной республики».

Я уходил от Николая Михайловича, размышляя о недобросовестности наших союзников в выполнении принятых на себя обязательств, о поразительной их беспринципности. В дороге я вспоминал очень яркий и убедительный поступок союзников, подтверждающий это. Где же я читал о нем? Придя домой, стал ходить вдоль книжных полок: может быть, по корешку книги найду? И вдруг вспомнил. Несколько лет назад я был в США. Именно в книге, изданной в Нью-Йорке, об этом написано. Я быстро нашел книгу. Ее автор,

Чарльз Р. Аллен,— американский публицист. Без всяких комментариев привожу цитату из этой книги.

«Длинный, низко посаженный лимузин засверкал в лучах апрельского солнца, как драгоценный черный камень, неторопливо двигаясь между длинными шеренгами солдат в касках, застывших по стойке «смирно». Машина величаво и плавно остановилась у входа в новое здание государственного департамента в Вашингтоне.

Молодой президент США Джон Фицджеральд Кеннеди, вышедший из роскошного «кадиллака», улыбнулся в ответ на воинские приветствия. Пока оркестр морской пехоты играл президентский марш, он быстрой и уверенной походкой поднялся по ступеням.

Президента встретили председатель Объединенной группы начальников штабов вооруженных сил США генерал Лемнитцер и очень привлекательный в своей темно-синей форме адмирал британского флота граф Маунтбеттен. Все трое прошли в здание и в сопровождении свиты из генералов, адмиралов и маршалов авиации направились по длинному, сверкающему чистотой коридору, мимо почетного караула морской пехоты в огромную, футуристически оформленную аудиторию.

Зал был уже заполнен высокопоставленными представителями вооруженных сил из пятнадцати стран, входящих в Организацию Североатлантического договора. В президиуме находились руководящие деятели этого военного союза, за их спинами — величественная стена национальных флагов и форм почетного караула всех стран НАТО.

При входе Кеннеди зал загредел аплодисментами в честь главы самого мощного государства Североатлантического союза.

Президент официально открыл первое в 1961 году заседание Постоянного военного комитета НАТО, на котором предстояло ввести в должность его нового председателя. Находившийся там корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс» справедливо охарактеризовал этот комитет как «высший военный орган НАТО». Следовательно, его новый председатель должен был обладать наиболее сильным влиянием в этой организации, поскольку, как указывала газета, на него «возлагалась ответственность за предложения по военным мероприятиям, связанным с осуществлением политики НАТО».

Кеннеди открыл заседание словами: «Я польщен возможностью передать вам самое теплое приветствие от правительства Соединенных Штатов». Затем он сообщил о решении американского правительства расширить в дальнейшем американский ядерный вклад в НАТО. Но, добавил он, для определения «конкретных форм ядерных сдерживающих средств НАТО» потребуются главным образом рекомендации Постоянного военного комитета и его нового председателя. А этот председатель уже ясно дал понять, что он стоит за ядерное вооружение НАТО без американского контроля в вопросе применения ядерного оружия.

Заявление президента Кеннеди об этом коренном изменении американской позиции (с 1949 года американская политика заключалась в том, чтобы не превращать НАТО в четвертую ядерную державу) вызвало продолжительные аплодисменты натовских военачальников. «Пойдемте же вместе вперед, охраняя мир свободного общества!» — сказал в заключение президент, поблагодарив присутствующих за вклад в оборону «свободного мира».

Затем Кеннеди обратился с приветствием к только что назначенному председателю Постоянного военного комитета, который после официального вступления на свой пост должен был председательствовать на этом двухнедельном совещании. «Теперь я хочу передать руководство совещанием вашему новому председателю, — сказал президент, — и я особенно рад приветствовать его здесь, в Соединенных Штатах. Генерал...» — приглашающе кивнул Кеннеди.

Собрание высших военачальников «свободного мира» поднялось и усердно зааплодировало, когда худощавый, небольшого роста, но с хорошей выправкой человек в голубоватой форме, которую носят высшие военные руководители Западной Германии, подошел к президенту Кеннеди, чтобы обменяться рукопожатием. Его худое лицо покрылось сеткой морщин от улыбки признательности. Он коротко наклонил голову в знак благодарности за свое высокое назначение.

Это был генерал Адольф Хойзингер.

Да, да, уважаемые читатели, это тот самый Хойзингер, которому Гитлер поручал разработку «Барбаросса» — плана нападения, молниеносного сокрушения и оккупации Советской страны!

Резиденция генерала Хойзингера у новых амери-

канских хозяев была в двух местах — в Париже и в Пентагоне. Причем в Пентагоне его кабинет 3-Е 180 находился на том же этаже, что и кабинеты самых высоких американских военачальников. Не знаю, какие новые планы разработал для американских хозяев битый и перебитый не раз генерал Хойзингер, уверен только в одном — они агрессивные, злобные, патологически бесчеловечные. Совсем не трудно представить, какие ужасы ждут человечество при осуществлении этих планов, разумеется, модернизированных американскими стратегами после ухода Хойзингера на «заслуженный» отдых. Для того чтобы читатели представили, что стоит за планами Хойзингера и многих других гитлеровцев, привлеченных американцами на службу, и какими делами они «заслуживали» преклонение американских агрессоров, позволю себе привести еще одну цитату, на сей раз это слова сподвижника генерала Хойзингера, которого никак не заподозрить в необъективности по отношению к своему шефу, к тому же Герман Грабе это рассказывает, положив руку на Библию и дав клятву судьям в Нюрнберге «говорить правду и только правду». То, о чем он говорит, произошло 5 октября 1942 года в России близ украинского города Дубно. Это лишь несколько часов из деятельности фашистов по приказам и планам Хойзингера, Геринга, Гиммлера, Гитлера и других главарей нацизма.

«Я направился прямо к карьерам. Из-за земляной насыпи слышались автоматные очереди. Люди, привезенные на грузовиках — мужчины, женщины и дети всех возрастов, — по приказу эсэсовца с хлыстом должны были раздеваться. Их заставляли складывать одежду в строго определенных местах — отдельно для обуви, верхней одежды, белья. Я увидел кучу обуви, в которой было от 800 до 1000 пар, огромные груды белья и верхней одежды.

Эти люди раздевались без плача и слез, собирались в группы по семьям, целовали друг друга, прощались и дожидались команды другого эсэсовца, стоявшего у карьеров с хлыстом в руке. За те пятнадцать минут, что я стоял у карьеров, я не услышал ни жалоб, ни просьб о пощаде... Седая старуха держала на руках годовалого ребенка, лаская его и напевая ему песенку. Он лопотал от удовольствия. Родители смотрели на дитя со слезами на глазах. Отец держал за руку

десятилетнего сына и что-то тихо говорил ему, а мальчик с трудом сдерживал слезы. Отец указал ему на небо, погладил по голове и стал что-то объяснять.

В этот момент эсэсовец у карьеров что-то прокричал... Другой эсэсовец отсчитал двадцать человек и приказал им идти на насыпь... Мне хорошо запомнилась девушка, черноволосая и стройная. Проходя мимо меня, она ткнула в себя пальцем и сказала: «Двадцать три года».

Зайдя на насыпь, я оказался у огромной могилы. Она была так тесно забита телами расстрелянных людей, что виднелись одни лишь головы. Почти у всех по плечам струилась кровь. Некоторые еще шевелились, приподнимали руки и ворочали головой... Могила была заполнена на две трети. Я прикинул, что в ней находилось до тысячи человек. Затем глазами разыскал того, кто расстреливал. Это был эсэсовец, сидевший на узком краю рва так, что его ноги болтались в яме. Он покуривал сигарету, держа на коленях автомат.

Люди, раздетые донага, спускались в ров и карабкались по головам расстрелянных на место, указанное им эсэсовцем. Очередные жертвы ложились поверх убитых и раненых; некоторые успокаивали еще живых и что-то тихо им говорили... Раздались выстрелы. Заглянув в ров, я увидел корчащиеся тела, хлещущую кровь и уже неподвижные трупы.

Тем временем подошла следующая партия. Она тоже сошла в ров и была расстреляна... Клянусь богом, что говорю чистую правду!»

Уже слышу крик недоброжелателей на Западе: «Опять красная пропаганда!» Отвечу: это цитата из книги того же Чарльза Р. Алена, изданной в Нью-Йорке в 1963 году.

Ну и еще два слова о разведчиках, о которых я начал рассказ. Принято считать, что люди этой профессии занимаются сведениями, касающимися сегодняшних и будущих событий. Это верно. А жизнь подсказывает — полезно разведчикам заглядывать и в прошлое, много там поучительного, а кос в чем встретится и доброе напутствие на будущее.

О ВОЙНЕ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

* * *

Много подвигов было совершено в годы Великой Отечественной войны. Конечно, обо всех рассказать невозможно. Однако были и в годы войны герои, которые среди воинов своей специальности считались передовиками, или, говоря языком трудовых побед, ударниками своего дела. Лучшие среди летчиков, снайперов, связистов и так далее. Причем это не придумка автора. На завершающем этапе войны своеобразный итог достижений фронтовиков по профессиям был подведен официально.

Итак, октябрь 1944 года. Война еще, как говорится, в самом разгаре: завершено изгнание фашистов с советской земли, наша славная армия начала свой великий поход за освобождение народов Европы. Мы гнали гитлеровскую нечисть из Румынии, Польши, Чехословакии, Болгарии. Недавно освобождены София, Белград. Советские части вступили на землю Восточной Пруссии. Об этих событиях, о героях боев рассказывал октябрьский номер журнала «Фронт — иллюстрация» за 1944 год. Как обычно, много было фотографий с мест событий, а последняя страница этого журнала выглядела вроде плаката, на котором были изображены знатные фронтовики всех родов войск — своеобразные чемпионы или рекордсмены в своей военной профессии. Летчиков представлял трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, сбивший 59 вражеских самолетов. Снайперов — Илья Григорьев, истребивший 328 гитлеровцев. Артиллеристов — наводчик Вениамин Пермяков, подбивший из своего орудия 16 танков, из них 12 «тигров». Танкистов представлял гвардии старший сержант Иван Калинин, который вместе со своим экипажем уничтожил в боях 11 вражеских танков, 15 пушек и более 280 фашистов. Связист Ярославцев одним из первых переправился через Днепр и обеспечил бесперебойную связь. Матушку пехоту олицетворял Роман Смищук — он в первом

же своим бою гранатами и бутылками с зажигательной смесью подбил 6 вражеских танков. Ну а от войсковых разведчиков был представлен я — как участник захвата 79 «языков».

Все мы были Героями Советского Союза, а Покрышкин, как я уже сказал, — трижды Герой. На каждого из нас художник И. Семенов нарисовал дружеский шарж, а поэт В. Гранов под каждым рисунком написал шуточные стихи. Эта полоса журнала получилась веселая, броская, она многим запомнилась. Ну и, конечно же, оччень понравилась нам — тем, кто на ней изображен, и нашим друзьям и близким. Я до сих пор храню этот номер журнала. Не раз у меня мелькала мысль — хорошо бы разыскать людей, изображенных на этой странице, и рассказать о них подробнее — ведь люди-то замечательные, не просто герои, а рекордсмены войны!

И вот я разыскал всех изображенных на последней полосе № 22(94) за октябрь 1944 года, и сейчас расскажу о том, как сложилась их судьба до и после того, как были опубликованы о них материалы в журнале.

Ну, судьба трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина всем хорошо известна. Его не надо было искать. Прославленный ас, депутат Верховного Совета СССР, у всех на виду — не только вся страна, весь мир его знает. А в годы войны, когда он поднимался в небо, сами фашисты оповещали всех и вся: «Ахтунг, ахтунг — Покрышкин в воздухе!» Сейчас он руководит ДОСААФ СССР, передает боевые традиции новому поколению молодежи. Лучшего наставника будущим воинам трудно отыскать: Александр Покрышкин в боях за Родину проявил все самые прекрасные качества советского воина-патриота, беспредельно любящего свое Отечество. Ну а мне лично искать его тоже не надо было. Мы сразу после войны вместе учились в академии имени М. В. Фрунзе и в течение нескольких лет встречались почти ежедневно. Нет, я не причисляю себя к близким друзьям Покрышкина, я был только его однокашником по академии, но и тогда и сейчас преклоняюсь перед ним — замечательным, легендарным нашим Героем, которому не было равных в небе. Разве только трижды Герой Советского Союза И. Кожедуб. Я с ним тоже знаком,

мы не раз выступали на различных встречах с москвичами. Но на плакате, о котором идет речь, нет изображения И. Кожедуба, потому что в 1944 году он еще набирал свой боевой счет и, как говорится, в рекордсмены еще не вышел.

Работая над этим очерком, я навестил Александра Ивановича, прочитал стихи под нарисованным на него шаржем:

Растет его трофеев счет,
Герой и днем и ночью косит:
На землю «юнкеры» кладет,
А фрицев на небо «возносит»!

Маршал улыбнулся и сказал:

— Трудное было время, но все же это наша молодость. А в молодости всегда и ощущение радости.

— Может быть, это ощущение шло от радости побед? Кроме большой общей победы, вы одержали еще около шестидесяти своих личных побед в воздухе.

— Возможно.

— Александр Иванович, вам, наверное, уже надоел традиционный вопрос всех журналистов о самом трудном им эпизоде показать и трудность, и ответственность, и высокое мастерство летчика-истребителя, и тем более такого, как вы, которому не было равных.

— Поскольку ваша книга и мой рассказ адресованы главным образом молодежи, мне кажется, нужно учесть один важный психологический момент. Если рассказать о самом сложном бое, то будет мало поучительно, молодой читатель посчитает для себя недостижимым то, что доступно асу. Поэтому я расскажу о самом первом моем воздушном бое. Это будет понятней. В таком же положении оказался бы каждый из читающих, не имеющий опыта, если он летчик, конечно. Ну а состояние человека, впервые ведущего бой, будет поучительно не только для летчиков.

В первые дни войны я получил задачу в паре с младшим лейтенантом Семеновым разведать: построены ли переправы противника через реку Прут. Подлетели к реке, и я обнаружил пять «мессершмитов». Три на одной высоте с нами и два — в стороне и выше. Что делать? Их пять! Я ведущий, мне принимать решение. А три «мессера» уже нас догоняют! Я разворачиваюсь. Семенов за мной. Иду в лобовую атаку. Что-то лютное пробуждается во мне при виде

вражеских самолетов. Даю полный газ. Резко нарастает скорость. Открываем огонь почти одновременно — они и мы. Огненные трассы перекрестнулись и пронеслись выше машин. Круто, почти вертикально, бросаю свой «миг» вверх. Надо сохранить высоту — это преимущество для следующей атаки. Горка вверх оказалась настолько крутой, что потемнело в глазах от перегрузки. Своего достиг. Враги ниже. Но где Семенов? И вдруг вижу: его машина летит вверх животом и дымит, а за ней «мессер». Все ясно: его подбили и сейчас добьют! Не теряя ни секунды, бросаюсь в пике на преследующего «мессера», чтобы выручить Семенова. Даю одну очередь, вторую и вижу, как «мессер» вспыхивает и валится под меня. Не могу оторвать от него взгляд. Это же первый сбитый враг! Чтобы лучше увидеть, где упадет и взорвется гитлеровский самолет, немного опускаю нос своей машины, совершенно забыв об опасности. И тут мне врезали! Треск, грохот. Моя машина переворачивается вокруг оси. Это мне влепил один «мессер», а второй заходит для атаки. Моя машина повреждена: в правом крыле дыра, плохо слушается, норовит перевернуться, нет подъемной силы. Но у меня есть еще горючее, боеприпасы. И главное — где Семенов? Неужели упал? Пробую вести бой. Но машина не слушается. Да и Семенова нигде нет. Придется уходить. Снижаюсь до бреющего полета. Дотянул до аэродрома. Вот говорят, хорошее чувство — радость победы. Хорошее. Но я его не сразу ощутил. После приземления охватила такая усталость — не было сил выбраться из кабины. И потом — потерял товарища, самолет поврежден, задачу на разведку не выполнил! Какие уж тут радости! И вдруг вижу: бежит ко мне Семенов! Он, оказывается, дотянул! И сразу все переменялось: товарищ жив, самолет врага сбит! Ну а переправы я разведаль, тут же пересев на исправный самолет! Ну вот, а выводы делайте сами. Подскажу только один — надо быть готовым к тому, чтобы даже самый первый бой вести по-настоящему. Опыт, конечно, приобретается, но необходимо умение для того, чтобы его накапливать, нужен фундамент, на котором он выстроится. А фундамент этот закладывается в мирные дни, в напряженной учебе, тренировках, в укреплении моральной стойкости и готовности к трудным испытаниям.

Бывшего прославленного снайпера Илью Леоновича Григорьева я разыскал в Министерстве транспортного строительства. С первой встречи мы подружились и потом встречались много раз. С Ильей Леоновичем легко дружить — он простой, открытый, как говорят, душа нараспашку, идет на сближение с человеком без всякой дипломатии.

В отделе материально-технического обеспечения, где трудится Илья Леонович, напротив его стола всю стену занимает карта СССР с шоссейными и железными дорогами. Красными флажками на ней отмечены участки трассы БАМа, от Усть-Кута в Забайкалье до Комсомольска-на-Амуре.

Постоянно раздаются телефонные звонки: чаще междугородные. Звонят представители Главснаба СССР, заводов, предприятий и научно-исследовательских институтов, поставщики инженерного оборудования для пусковых объектов. Илья Леонович обстоятельно перечисляет виды промышленного оборудования, помнит все сроки и очередность поставок заказчикам. И почти всегда лаконичным бывает разговор с представителями стройки: «Вас понял. Обеспечим выполнение вашего заказа. Желаю успехов. Нет, нет, не беспокойтесь, не подведем!» И после такого разговора строители могут не беспокоиться: все необходимые стройматериалы будут доставлены своевременно. Наряд-заказ принял Григорьев, он не подведет. Его слова не расходятся в деле.

Конечно же, я с ним беседовал не о стройматериалах, а о наших фронтовых делах. Меня интересовало, в чем особенность героизма снайпера, где и как проявляется особое мужество этих «охотников» на ушку.

О фронтовых делах Илья Леонович всегда рассказывает с азартом, о друзьях — с теплой улыбкой, о врагах — с хитрым прищуром, будто и сейчас смотрит на них через оптический прицел. Для начала я попросил:

— Расскажи, Илья Леонович, о простом, будничном дне снайпера.

— Самом обыкновенном? Пожалуйста. Наблюдением я установил: в 16.00 у одного блиндажа появляется офицер. Это я видел издали. Надо подобраться туда поближе. Вот я ночью и занял удобную позицию. За день мне в прицел попадались многие гитлеровцы, но я не стрелял, ждал офицера. И вот настало 16 часов,

а офицера нет. Или опоздал, или вовсе не придет? Я лежал в снегу, промерз за день... Темнеть начало. Хотел уж ползти к своим. Вдруг вижу — пришел мной избранный офицер. Взял я его в прицел. Выстрелил. Офицер упал. Я жду — сейчас к нему кинутся. Все же офицер упал! И правда — подбегают солдаты — их трое. Я им дал возможность поднять убитого, чтоб они заняты были ношей и потом делаю еще три выстрела, и еще трое лежат. У меня на каждого фашиста один патрон. Вот вам простой, будничный день снайпера.

— Ну, а теперь какой-нибудь особенный случай,— попросил я.

— Бывают у снайпера и не будничные дела, а особенные. Вот однажды против нас стояла гитлеровская дивизия СС «Мертвая голова». Мы, снайперы, делали все, чтобы она соответствовала своему названию — чтоб было в ней больше «мертвых голов». И добились больших успехов. Для борьбы с нами фашисты привезли на этот участок своих лучших снайперов. Надо сказать честно — нешлюхие у них были мастера. В общем, и они и мы довели жизнь на этом участке до того, что никто не смел поса высунуть ни на их, ни на нашей стороне. Как высунулся — так покойник! Однажды по радиоусилителю фашисты сказали, и я слышал: «Рус! Вы уберите Илью, тогда мы уберем наш суперснайпер Ганс».

Мое имя гитлеровцам, наверное, стало известно вот по этим самым фронтовым иллюстрациям, где мы нарисованы и где написаны стихи. Газеты и листовки сбрасывали в тыл врага наши самолеты. Конечно, меня не убрали. Так начался мой поединок с немецким «сверхснайпером» Гансом. Мы постоянно подкарауливали друг друга. Каждому достаточно было хотя бы на секунду увидеть соперника. Однажды я выстрелил по фашисту, не по Гансу, по другому, и тут же в край моей каски щелкнула пуля. Это ударил Ганс. Но, к счастью, неточно. Чтоб выявить его позицию, я пошел на хитрость. Повесил карманное зеркальце на колышек, воткнул колышек в землю, привязал шпагат к колышку. Сам отполз в сторону и стал подергивать за шпагат. Зеркальце поблескивает, дает «зайчик». Ганс принял его за мой оптический прицел и выстрелил. Я не обнаружил его при этом выстреле. Переполз в другое место, опять приладил колышек. Опять Ганс принял зеркальце за оптику и выстрелил. Ну, тут я его засек... В общем, не

пришлось фашистам отзывать Ганса с нашего участка, он остался лежать там навсегда.

— Илья Леонович, в чем секрет твоего большого мастерства?

— Родился я в семье лесника под Смоленском. Когда подрос, мечтал стать хорошим охотником, стрелком, но у меня не было ружья. Иногда отец мне доверял свое ружье, и я научился стрелять. Скоро в Осоавиахиме меня уже считали хорошим стрелком. Когда началась Отечественная война, мы, пять братьев, ушли в первый же день на фронт. Никита был у нас артиллерист, Иван — связист, Роман — разведчик, Петр — танкист, а мне повезло, я стал снайпером. И вот я со своим 3-м Белорусским фронтом дошел до Кенигсберга, где был второй раз тяжело ранен.

Я уничтожил 328 фашистов, из них 67 офицеров и 18 снайперов. И еще я считаю: зоркость моего глаза — от большой любви к лесам и полям, к родной земле. Не хотел, чтобы враги топтали эту нашу красу.

В журнале под шаржем на Григорьева такие стихи:

Твердят о снайпере бывалом:
На мушку взял — и фрика ест!
Ловец на мушку, основал он
«Стрелковый университет».

Не ошибся поэт. Илья Григорьев действительно создал своеобразный «снайперский университет»: в годы войны он, не уходя с передовой, «без отрыва от производства», подготовил 180 отличных стрелков-снайперов. Причем учил их больше на практике стрельбой не по мишеням, а по гитлеровцам. А в наши дни знатный снайпер передает свой опыт членам ДОСААФ, где проводятся стрелковые соревнования на «кубок Григорьева». Часто этот почетный приз вручает победителям сам Григорьев. Так что «стрелковый университет» состоялся!

Про артиллериста Вениамина Пермякова в журнале сказано, что он подбил 16 танков, из них 12 «тигров». Это не совсем точно. Вернее, было точно на октябрь 1944 года, когда вышел этот номер журнала. Но война продолжалась, и увеличивал свой боевой счет герой-наводчик. Он дошел до Берлина, участвовал в боях за Прагу. Окончательный итог его схваток с врагом таков: 24 подбитых танка, из них 18 «тигров».

На фронте сержанта Пермякова звали «витязь в тигровой шкуре», и поэт в журнале отмечает его «тигровую» специализацию:

Артиллерист неутомим,
В прямой наводке подвизаясь:
И «тигр» фашистский перед ним
Уже не тигр, а робкий заяц!

Пермяков — участник Парада Победы, он нес Знамя своей артбригады. После войны он живет в Москве. Кроме танков ему, как артиллеристу, приходилось на войне много разрушать укреплений и сооружений. Может быть, поэтому захотелось после боев строить, создавать новое. Он стал строителем и вот уже тридцать лет строит новую Москву. Многие москвичи, пользуясь всеми удобствами в своей квартире и многими благоустройствами нашей столицы, даже не подозревают, что в это вложен труд и прославленного героя-артиллериста, «мастера по тигровой охоте» Вениамина Михайловича Пермякова.

Плечистый и прочный, лобастый и неторопливый, с громким, «артиллерийским», голосом — таким мне представлялся настоящий наводчик, именно таким и оказался Пермяков.

Как это обычно бывает у фронтовиков, разговор пошел у нас непринужденный и доверительный. Вот что я запомнил из его рассказов о поединках с вражескими танками.

— На Курскую дугу мы пришли из-под Сталинграда. Во время подготовки к боям нам сообщили, что здесь будут самые сильные фашистские танки типа «тигр». Когда пошли в атаку фашистские танки после артподготовки и бомбежки, то каждый из нас переживал — сумеем ли мы что-то сделать против них? Подпустив танки на четыреста метров, я с большим волнением наводил орудие и думал: «Подобью ли его? Пробьет ли подкалиберный снаряд броню, которую так восхваляли фашисты?» Раздался выстрел. Снаряд попал под башню, и внутри «тигра» все загорелось. Танк остановился и взорвался. Меня обуряла такая радость, что чувство опасности, невольное охватывающее в бою, отступило. Забыл про него!

Фашисты в течение дня предпринимали шесть яростных атак. Перед каждой атакой они бомбили, обстреливали из орудий, но ничего у них не получилось. Наши войска отстаивали свои позиции, не дали

продвинуться противнику в течение дня. На поле боя осталось много фашистских «тигров», на которые враги очень рассчитывали! Не прошли! Не удалось им смять нас! В этот день наш оружейный расчет подбил 8 фашистских «тигров». Многие товарищи были награждены орденами, а я, как наводчик, был представлен к ордену Ленина.

После форсирования Днепра я участвовал в боях по уничтожению фашистской группировки под Корсунь-Шевченковским. Когда группировка была окружена, фашисты решили бросить ей на выручку около ста танков. 15 января мне исполнилось двадцать лет. 24 января я был принят в Коммунистическую партию.

Утром был сильный туман. Танки подошли к нашим огневым позициям примерно на 400 метров. Как только рассеялся туман, появились «юнкерсы», которые начали обрабатывать наши огневые позиции. Вслед за ними «мессершмитты» обстреляли нас из пушек и пулеметов, и только после этого пошли танки. Но мы уже знали, что это за хваленые «тигры»! И в первой же атаке на нашем участке было уничтожено их более тридцати. Атака захлебнулась. Наше орудие подбило десять танков. Фашисты пошли еще в одну атаку. Опять бомбили нас самолеты. Одна бомба разорвалась примерно в десяти метрах от нашей огневой позиции. Меня засыпало землей. Заряжающий Асмадяров остался невредим. Выскочив из своего окопа после бомбежки, он взглянул, где же я? И увидел кусок моей шинели, торчащий из засыпанного окопа. Окопчики были мелкие. Он сразу же отрыл меня и вытащил. Если бы не он, я бы остался лежать в этом окопе. А жители села Рахняны, где это произошло и у которых я бываю в гостях, считают меня с той поры своим земляком в полном смысле этого слова — с их землей я породнился.

О танкисте старшем сержанте Иване Калипине в журнале были опубликованы такие стихи:

Из вражьих танков — винегрет.
При этом разговор не длинен:
— Товарищи, раскрыт секрет.
Все ясно: здесь прошел Калинин.

После этой публикации жизнь героя сложилась так. Его направили учиться в Ташкентское танковое

училище на курсы младших лейтенантов. Окончив эти курсы, Калинин попадает на Дальний Восток, где участвует в боях с японскими войсками. 14 августа 1945 года погиб под Муданьцзяном. Такие краткие данные остались в официальных бумагах. Но мне хотелось найти о Калинине более подробные сведения. И я нашел их! Мне очень повезло. Дело в том, что до войны я учился в Ташкенте, в школе. И узнал, что одна из моих соучениц — Рая Сафиулина в годы войны работала в госпитале, который находился рядом с танковым училищем. Оказывается, она не только знала Ивана Калинина, а дружила с ним. Я попросил Раю рассказать о тех днях и приведу здесь, за неимением возможности пересказать все подробно, лишь несколько строк из ее писем. Она познакомилась с Иваном Калининым, возвращаясь из увольнения. Он был дежурным по КПП. Вышел старший сержант — высокий, со светло-русыми волосами, карими глазами, здоровый, плечистый, настоящий русский богатырь.

Время было позднее, темно. Иван дал девушке свой карманный фонарик, сказал: «Утром вернешь». — «А кого спросить?» — «Ивана Калинина». Так они познакомились. Иван приглашал Раю несколько раз в кино, в клуб части. Он всегда был в шинели, и она не знала, что он Герой Советского Союза. А однажды замполит госпиталя сказал: «Пригласил к нам Героев, они выступят, расскажут о боях». Одним из Героев оказался Иван Калинин. Он рассказал, что удостоен этой награды за бои при форсировании Днепра, где он на плацдарме отбил вместе с товарищами много контратак фашистов, подбил гитлеровский танк и уничтожил несколько пушек. До армии он работал в колхозе. А отец его тоже воевал и погиб на Курской дуге.

1 января 1945 года курсанты пригласили девушек отметить Новый год. Один из преподавателей дежурил и разрешил им побыть на своей квартире, которая находилась на территории училища. Рая так пишет об этом праздновании: «Ваня, Николай и Кузьма пришли к замполиту госпиталя и просили отпустить нас, их знакомых, пятерых девушек. Нам разрешили уйти после ужина и вернуться к отбою. Пошли Шура, Рахилия, Маруся — наш комсорг, Тося и я. На кухне нам дали борща, капусты, буханку хлеба. Мы взяли с собой каждая по табуретке. И вот собрались ребята, от

мороза румяные, два Героя — Иван Калинин и Николай Козлов, у остальных тоже грудь в орденах, все ведь фронтовики. Пуговицы надраенные, подворотнички белые, гимнастерки от солнца полинявшие, но чисто стиранные, наглаженные... Ребята принесли конфеты, орехи, урюк сушеный. Был баян и аккордеон. Танцевали, плясали. А потом много пели, ребята и девушки наши голосистые, хорошо получалось. А потом смотрим, в дверях стоит и давно, видно, слушает хозяин квартиры, дежурный по училищу, говорит: «Ох, мои дети, как же хорошо вы поете!» Мы спели ему еще. А потом прибрали квартиру, помыли полы, и ребята проводили нас домой.

Это были чистые, честные парни, они много раз смотрели смерти в лицо. Но с нами они обращались бережно, без пошлости. Они были сами стеснительные, как барышни, особенно Ванечка Калинин. Сейчас этому кто-то не поверит, но я пишу правду».

После сдачи экзаменов Иван пришел к Рае. Она рада была каждой встрече и на этот раз видела только его. А он сказал: «Ну, посмотри на меня внимательно». И тут обнаружилось, что на плечах его погоны младшего лейтенанта! Через несколько дней Рая с подругой Рахилей проводила Ивана Калинина и других ребят на фронт. Часть из них уехала на Запад, часть — на Дальний Восток. «Единственный и последний раз поцеловал меня Ваня, когда стояли уже у поезда. И сейчас он перед глазами — высокий, здоровый, двадцать два года ему было... Жалко не сфотографировались вместе, времени не было, он ведь на фронт спешил... С дороги прислал два письма...» Рая разыскала мать и сестер Ивана Калинина, они переписываются. «Ванечка погиб. А я всю жизнь прожила одна... И всю жизнь я тех ребят вспоминаю и все думаю, не ошибка ли, может, живы они, не умерли? Во всяком случае, я их всегда только живыми представляю...»

Чтобы коротко рассказать о подвиге Калинина, я приведу один документ. Короче слов военного приказа, наверное, сказать невозможно.

«Приказ Министра Обороны СССР 3 декабря 1971 г., г. Москва.

О зачислении Героя Советского Союза младшего лейтенанта Калинина Ивана Андреевича навечно в списки N-ской части.

Механик-водитель младший лейтенант Калинин в боях с немецко-фашистскими захватчиками проявил образец мужества, героизма и отваги. 2 октября 1943 г., действуя в составе танкового батальона, экипаж младшего сержанта Калинина ночью форсировал Днепр в районе Машурин Рог на участке, где противник пытался уничтожить наши пехотные части, находившиеся на плацдарме.

Удерживая этот плацдарм, батальон танков за три дня боев отбил 19 яростных контратак противника, нанося ему большие потери. Младший сержант Калинин И. А. тринадцать раз водил в атаку свой танк, беспощадно громя врагов. В этих боях огнем его танка был подбит один немецкий танк и уничтожено два орудия, минометная батарея и 70 гитлеровцев.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года младшему сержанту Калинину Ивану Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза.

В последующем младший сержант Калинин успешно окончил военное училище, получил звание младшего лейтенанта и был направлен для прохождения дальнейшей службы на Дальневосточный фронт, где участвовал в разгроме японских захватчиков.

14 августа 1945 года в боях за город Муданьцзян Герой Советского Союза младший лейтенант Калинин пал смертью героя за нашу Советскую Отчизну.

Его беззаветная преданность социалистической Родине и верность военной присяге должны служить примером для всех военнослужащих Вооруженных Сил СССР.

Приказываю: Героя Советского Союза Калинина Ивана Андреевича зачислить навечно в список 1-й танковой роты Н-ской части.

Приказ объявить всему личному составу.

Заместитель Министра Обороны
генерал армии Куликов В.».

Изображенного в журнале связиста Героя Советского Союза А. Ярославцева мне разыскать не удалось.

Роман Смищук, как сообщили мне из его родных мест, несколько лет назад умер.

В том журнале на меня тоже был нарисован шарж и сделана подпись в стихах:

Он как спортсмен
известен нам,
К спортивным он привык
победам.
А нынче — спец по «языкам».
Слывет у нас «языковедом»!

И еще там было написано: «79 «языков» привел отважный разведчик — Герой Советского Союза капитан В. Карпов. До войны он был спортсменом-боксером».

Мне хочется сразу внести поправку в эту подпись под моим изображением. Не я один привел этих «языков», в разведку я ходил со своими замечательными друзьями-разведчиками, правильнее было бы написать, что я участвовал в захвате 79 «языков».

Я всегда испытываю затруднение, когда меня просят рассказать какой-нибудь случай или задание из работы в разведке. Как-то неудобно о себе говорить. Вот я и придумал литературную форму изложения своего фронтового опыта. Придумал разведчика Василия Ромашкина, писал о нем рассказы, а потом и роман «Взять живым!», в котором, конечно же, отражена и моя биография, из него читатели узнают, чем я занимался в годы войны.

Жизнь нашей армии в годы войны и в мирное время является главной темой моего творчества. Хочется показать соотечественников в серьезных делах. Очень метко об этом сказал писатель Леонид Леонов:

«...Хорошо, если Родина обопрется о твое плечо, и оно не сломится от исполинской тяжести доверия.

...Народы надо изучать не на фестивалях пляски, а в часы военных испытаний, когда история вглядывается в лицо нации, вымеряя ее пригодность для своих высоких целей».

Наше поколение эти испытания выдержало.

* * *

Во время войны во многих полках и батальонах были воспитанники. Это дети, потерявшие родителей, прибившиеся к частям. Иногда солдаты находили их

в деревнях, в разрушенных городах, одичавших, голодных, испуганных. И по доброте сердца брали с собой этих сирот, подкармливали их, одевали. Дети приживались в воинских частях. Их называли «сыны полков».

Обычно дети выполняли роль связных, посыльных или находились при кухне, при штабе работали. Но случалось, ребятам приходилось участвовать в боях. И очень часто дети вели себя мужественно. Вот и подумалось мне, что эти мальчишки, ближе всех находившиеся к непосредственным участникам боев, они-то и стали, наверное, самыми первыми наследниками, кто принял боевую эстафету из рук самих фронтовиков.

Однажды мне на глаза попала фотография, на которой были сняты мальчишки лет двенадцати — четырнадцати в морской форме, с боевыми орденами и медалями на груди. Фотография старая, военных лет, а мальчики эти были нахимовцы первого набора Ленинградского нахимовского училища.

Поехал я в Ленинград разыскивать юных фронтовиков. Ну, конечно, лучше всего было искать их через родное училище. Туда я и направился. Нахимовское училище стоит на берегу Невы, рядом с ним легендарный крейсер «Аврора». Очень символично это соседство — «Аврора» и будущие морские офицеры.

В старинном здании со сверкающими паркетными полами, лепными карнизами, широкими светлыми коридорами было тихо — шли занятия. Командование училища помогло мне разыскать своих бывших питомцев. И вот в один из дней они пришли. Мы разместились в небольшом уютном зале, куда были приглашены и нынешние нахимовцы. Здесь у нас произошел очень интересный разговор. Я смотрел на сегодняшних юных нахимовцев и на тех, которые на фотографии. Они очень похожи. Такие же веселые, улыбчивые мальчишеские лица. Однако я понимал — сходство лишь внешнее, это люди очень разные. Фотографии тридцать пять лет. И вот мне захотелось узнать не только их боевые дела, но и мечты. О чем думали тогда те мальчишки, которые запечатлены на фотографии, и о чем мечтают сегодняшние нахимовцы?

Первым я попросил рассказать о себе капитана 1 ранга Николая Семеновича Сеичугова. Кстати, его фамилия занесена на мраморную доску, которая висит в вестибюле: он окончил нахимовское училище с отличием.

Сенчугов служит на флоте и сегодня. Он выглядит бравым моряком. Морская форма сидит на нем очень ладно, Сенчугов хорошо сложен, у него приятное, открытое лицо. Вот его рассказ.

— Я — ленинградец. Жил здесь еще до войны с родителями, на Восьмой Красноармейской улице. Учился в школе. Когда началась война, мне было всего десять лет. Отец сразу же ушел на фронт, а мать осталась в городе и работала. Я провел в Ленинграде всю суровую зиму. Летом 1942 года во время артиллерийского обстрела погибла моя мать. Отец находился на Ленинградском фронте, неподалеку от города. Узнав о гибели мамы, он приехал и забрал меня к себе. Был он старшиной в отдельном минометном дивизионе, который стоял на Пулковских высотах. Меня зачислили воспитанником. Так я начал свою службу в армии. Поручения мне давали несложные, но ответственные: я ходил с донесениями в штабы полков, в штаб дивизии. Передавал распоряжения на батареи. Это была моя повседневная работа. Участвовал в боях по прорыву блокады. Наш батальон наступал с Пулковских высот. Дошел я до Нарвы. 5 марта 1944 года под Нарвой был ранен в бедро. Попал в госпиталь. Как только стал поправляться, тут же сбежал из госпиталя в свой родной минометный батальон.

В июне 1944 года проводился первый набор в нахимовское училище, и меня направили туда. Здесь я проучился до 1952 года.

— Скажите, пожалуйста, а как дальше сложилась ваша служба?

— После окончания нахимовского училища я поступил в Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. Проучился там четыре года, до 1956 года. А по окончании училища получил назначение на подводную лодку. На ней прослужил несколько лет. Я и сейчас еще служу в кадрах.

Как и во многих других встречах, я не упускал из вида свою главную тему — о наследниках боевых традиций, об эстафете подвига. Слушая Николая Семеновича, я подумал: а кем может стать сын капитана 1 ранга, пойдет ли он по стопам отца, будет ли его наследником? И, конечно, спросил Сенчугова об этом.

— К сожалению, сына у меня нет. Две дочери — Ольга и Наталья. Обе пошли по моим стопам. Оля

окончила факультет электронной радиотехники и автоматики. Младшая дочь, Наташа, сейчас кончает институт по этой же специальности.

Капитан 2 ранга Константин Дмитриевич Гавришин — плотный, немного располневший, с очками в позолоченной оправе. Внешне он больше похож на врача. У него добрые глаза, очень располагающая широкая улыбка. Он тоже из первого набора и первого выпуска. Я спросил его:

— Какис жизненные и фронтовые дороги привели вас в училище?

— В 1943 году погиб мой отец. Погиб здесь, под Ленинградом. Мать работала в больнице. Я уже перенес две блокадные зимы, был истощен, и меня приютили моряки. Они меня подкормили, обогрели и отправили на учебный корабль «Комсомолец», в школу боцманов. Я эту школу окончил и был направлен в первую бригаду траления в Кронштадт. Там я служил сигнальщиком на тральщике. Работа на тральщике, конечно, опасная. Мы расчищали залив и фарватер от мин, которые бросали с самолетов фашисты. Такую мину можно было встретить в любом месте. Она способна потопить корабль. И вот мы постоянно искали мины и обезвреживали. Однажды в Нарвском заливе при тралении налетело на нас больше двух десятков самолетов. Наш тральщик стал отбиваться от этих самолетов зенитным огнем. Два самолета врага были сбиты. Но самолетов было очень много, и несколько бомб попали в наш корабль. Он стал тонуть. Спаслось всего пять человек, я в том числе. Правда, я был ранен в голову, в руку и в ногу осколками бомбы. Когда корабль медленно погружался в воду, я вдруг увидел флаг нашего корабля на корме. Несмотря на то что очень плохо себя чувствовал, ранения были тяжелые, я пополз к этому флагу. Срезал веревку, снял флаг и сунул его под тельняшку. Это видел наш боцман, он был тоже тяжело ранен. Он похвалил меня, помог мне надеть спасательный пояс и перевалиться за борт. Так я оказался в воде.

Всем известен обычай моряков, по которому капитан оставляет корабль последним. Поэтому я спросил Гавришина:

— А какова судьба вашего капитана?

— У нас называют не капитан, а командир. Так вот, командира нашего тральщика старшего лейтенанта

Качалова буквально изорвало осколками бомбы, но он до последней минуты командовал боем и отдавал распоряжения. Старший лейтенант Качалов не сошел со своего корабля. Он погрузился в море вместе с тральщиком. Из экипажа, как я уже сказал, нас спаслось всего пять человек.

— Вы совершили мужественный поступок — спасли знамя корабля. Вас наградили за это?

— В воде я несколько раз терял сознание. И вот в таком состоянии меня подобрала и привезли в госпиталь. Я даже и сам забыл, что у меня на груди под тельняшкой знамя. Когда стали меня готовить к операции и раздели, то обнаружили знамя. Ну, доложили, конечно, командованию. Меня наградили медалью Ушакова. В госпитале я пролежал два с половиной месяца, а затем вернулся в свою родную бригаду. Но служить пришлось недолго. В это время как раз начался набор в нахимовское училище. В нашу бригаду приезжал адмирал флота Кузнецов, и ему, видно, рассказали о том, что я спас во время морского боя знамя нашего корабля. Адмирал приказал направить меня в училище. Но проучился я недолго. Раны были у меня тяжелые, болели нога и рука. Мне пришлось вернуться в госпиталь, где я пролежал еще одиннадцать месяцев. Никогда я не забуду замечательного хирурга, директора травматологического института Варвару Семеновну Балкину. Она меня оперировала несколько раз и сделала все для того, чтобы мне не ампутировали ногу. Вернулся в училище я в 1947 году. На следующий год меня по путевке ЦК ВЛКСМ направили в училище государственной безопасности, которое я окончил в 1952 году. И вот с того времени служу на флоте в органах государственной безопасности.

— Скажите, а у вас есть наследники?

— У меня растет сын Владимир. Но он, к сожалению, не пошел по моим стопам. Окончил Ленинградский государственный университет, философский факультет. Там же окончил аспирантуру и сейчас преподаёт философию в Политехническом институте.

Смотрел я на Гавришина и думал, какую сложную жизнь пришлось пройти человеку еще до своего совершеннолетия! И какой точный и емкий смысл у этого слова. Оно предполагает, что человек уже прошел определенные испытания, он совершенно взрослый и совершенно готов к самостоятельной жизни. К сожа-

лению, не о всех наших сегодняшних совершеннолетних мы можем сказать такое.

Капитан 1 ранга Владимир Федорович Федоров рассказал о себе следующее:

— Я родился в Ленинграде в 1931 году. Отец мой работал на заводе мастером цеха, мать тоже работала на заводе. Когда началась война, многие ленинградцы, предвидя, что возможны бомбежки города, отправляли своих детей к родным в деревни или в маленькие провинциальные города. Меня отправили к бабушке и дедушке в Порховский район, в деревню Козоногово. Это недалеко от Пскова. Никто не ожидал, что фашисты будут так быстро продвигаться. Вскоре Псков и прилегающие к нему районы оккупировали гитлеровцы. Мы с дедом и бабушкой отсиживались в лесу. В 1942 году стали в нашем районе действовать партизаны. Я, конечно же, хотел чем-то помочь Родине, стал искать возможности попасть к партизанам. Это было не так-то просто. Но в конце концов я все-таки их разыскал и попал в первую ленинградскую партизанскую бригаду. Попал я в четвертый отряд, которым командовал моряк главстаршина Панасенко. Он — бывший подводник. Мне пришлось участвовать во многих операциях по уничтожению небольших гарнизонов фашистов и полицаев, по минированию дорог и мостов.

— Расскажите, пожалуйста, о какой-нибудь особенно запомнившейся вам операции...

— Мне запомнился случай, когда мы уничтожили важный мост. Тем самым прекратили подвоз противником боеприпасов, да и подход резервов на некоторое время на этом направлении. Для выполнения задания было назначено десять человек, в том числе и я. Приблизившись к железнодорожному мосту, мы пошли каждый на свое заранее определенное место. Я и еще один товарищ, не помню сейчас его фамилии, были в группе обеспечения. Она должна была расположиться прямо напротив блиндажа, в котором размещалась свободная от несения службы охрана. Если поднимется тревога и гитлеровцы станут выбегать, мы должны были отвлечь на себя внимание врага и дать возможность действовать группе минирования. Группа минирования со взрывчаткой поплыла к мосту. Наши люди удачно добрались к фермам и заложили взрывчатку. Подожгли бикфордов шнур и стали уходить. Фашисты

не обнаружили ни группу, которая закладывала взрывчатку, ни нас. А когда догорел бикфордов шнур, произошел сильный взрыв. Мост рухнул. Вот таким образом, хоть и не пришлось нам вести огонь и вступать в бой с фашистами непосредственно, я считаю, что это все же одно из самых удачных заданий, потому что мы причинили большой вред врагам.

Когда готовился прорыв блокады, партизанам была поставлена задача максимально активизировать свои действия. Мы вредили врагу как только могли. После прорыва блокады нашу бригаду направили в Лугу, где она была расформирована. Те, кто был призывного возраста, пошли служить в Советскую Армию. А я был малолетний — меня в армию не брали. И вот я узнал, что производится набор в нахимовское училище. Я пришел, подал заявление, и меня как партизана, уже побывавшего в боях, приняли. После окончания нахимовского училища я поступил в Военно-морское училище подводного плавания, которое окончил в 1955 году, и получил назначение служить на Тихоокеанский флот. После службы на Тихом океане вернулся в родной Ленинград. В 1960 году я окончил командирские классы и был назначен на Север. Сначала был старшим помощником командира подводной лодки, а с 1961 года в течение десяти лет командовал подводной лодкой. Ну а с 1972 года я стал заместителем командира отряда подводного плавания.

— А моя судьба сложилась несколько иначе, — сказал Николай Николаевич Чистяков, капитан 1 ранга, когда пришла его очередь рассказывать. — Родился я в Ленинграде, в 1929 году. Мать умерла в блокадную зиму 1942 года. Отец погиб под Кенгисепном в августе сорок первого. Меня отправили в детский дом. Как вы знаете, Ленинграду помогала вся страна. Особенно большое внимание уделяли детям. В апреле сорок второго года меня с другими ребятами вывезли по Дороге жизни и отправили на Кубань. Но вскоре и туда пришли фашисты. Со своими друзьями я подался на Черное море. Приехали мы в августе в Сочи. Здесь было тепло. С дороги мы, усталые, голодные, пошли к морю, стали купаться. Добыли где-то полбуханки хлеба, разделили между собой. Недалеко от берега стоял катер военный. И мы с ребятами поспорили, кто донырнет под водой до этого катера. Все стали пробовать, пробовал и я. У меня получилось. Ну, не совсем

я к самому катеру донырнул, но все-таки был недалеко от него. И вдруг в этот момент загудели сирены на берегу и во всем городе: была объявлена воздушная тревога. В тот же миг объявили тревогу и на катере. И поскольку я находился близко, меня подхватили матросы и затащили к себе на катер. Пробыл я с ними не только все время, пока была тревога, но и потом остался. Они приютили меня. Так я стал юнгой. Прослужил на катере до декабря 1943 года. А потом всех юнг Черноморского флота собрали в Кабулетти и послали в Тбилисское нахимовское училище, а летом перевели нас в Ленинградское нахимовское училище. После училища я окончил Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Служил на Северном флоте на эсминце, затем на крейсере «Киров». Потом окончил военно-морскую академию. Сейчас я работаю старшим преподавателем Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола. Теперь уже сам готовлю смену из наших последников.

Вместе с ветеранами и нахимовцами мы обошли училище — прекрасно оборудованное здание, в котором есть все необходимое для плодотворной учебы и всестороннего воспитания и развития будущих моряков. Отличные классы со множеством современных моделей кораблей. Есть, кроме того, прекрасно оборудованные общеобразовательные классы по литературе, математике и другим предметам. Ведь нахимовцы кроме специальной подготовки проходят полную программу за десятилетку.

Большая, чистая, светлая, уютная столовая. Жилой корпус — новый, недавно построен. Здесь у ребят комнаты отдыха, холлы и здесь же спортивный зал и бассейн. Глядя на бывших нахимовцев, я подумал о том, что они в те далекие голодные блокадные дни даже и не мечтали, наверное, о такой благоустроенной жизни. И тут же мне подумалось: «А о чем же они тогда мечтали?» Я спросил об этом Сенчугова.

— Я в те годы мечтал, чтобы скорее кончилась война, чтобы завершить учебу и стать морским офицером.

Когда мы шли по коридору рядом с Гавришиным, я спросил его:

— Константин Дмитриевич, а о чем вы мечтали, когда были нахимовцем?

— Как это ни странно, я мечтал быть не моряком, а врачом. Может быть, на меня повлиял прекрасный образ хирурга Варвары Семеновны, которая так много для меня сделала. Но получилось иначе — я стал чекистом. И считаю, что моя специальность тоже в нашей сложной жизни очень нужная, благородная и помогает советским людям жить счастливо.

— А вы, Владимир Федорович, о чем мечтали? — спросил я Федорова.

— Во время войны была у меня мечта: увидеть отца и мать. Это первая. И мечта эта сбылась. Если у моих однокашников, как они рассказывали, у многих погибли родители, то у меня отец и мать остались живы. Они живы и сегодня. Я единственный сын, поэтому и я, и они считаем за большое счастье, что мы встретились и живем сейчас вместе. А вторая мечта была, конечно же, стать моряком-подводником. Мой командир партизанского отряда, бывший подводник главстаршина Панасенко сделал свое доброе дело. В своих рассказах он с такой любовью вспоминал о море, о боевых друзьях, о подводных плаваниях, что это осталось в моей душе, и я заочно полюбил профессию подводника. Словом, и эта вторая мечта моя тоже сбылась. Как я вам уже говорил, я стал командиром подводной лодки.

Как естественное продолжение моих размышлений возникло желание узнать: а о чем же мечтают сегодняшние нахимовцы, те, у кого есть все необходимое для хорошей жизни. Ведь мечтают же они о чем-то! И я стал спрашивать ребят об этом.

Шустрый, веселый нахимовец с сияющими глазами стоял около меня. Я спросил:

— Как тебя зовут?

— Костя Новиков.

— Скажи мне, Костя, о чем ты мечтаешь?

— Еще в школе я много читал о недавно появившемся ракетном оружии, ходил в ракетный кружок. Ну, как известно, ракеты являются сейчас наиболее новым, современным видом оружия, у которого большое будущее. Поэтому я и решил выбрать себе специальность баллистика. После окончания нахимовского училища я решил пойти в Высшее военное училище.

— А ты о чем мечтаешь? — спросил я другого нахимовца, который слушал наш разговор. Он представился:

— Нахимовец Егоров. Я решил стать штурманом, потому что с детства люблю математику. Куда бы ни шел корабль или подводная лодка, всегда все расчеты по прокладыванию курса делает штурман. Он ведет и направляет корабль, он, как говорят,— мозг корабля. Это, конечно, очень ответственно, но и интересно.

Рядом стоявший нахимовец включился в наш разговор и заявил:

— А мне хочется стать подводником. Все-таки я считаю, что самая интересная из морских профессий — это плавать на подводной лодке. Я хочу плавать на атомной подводной лодке, которая не ограничена в своем плавании. Она может совершать кругосветные путешествия.

— А как твоя фамилия? — спросил я будущего атомщика.

— Моя фамилия Косать.

Я сказал ребятам:

— Хорошие у вас мечты, красивые. Я вам желаю от души, чтобы они сбылись так же, как у представителей первого поколения нахимовцев. Пусть все у вас осуществится. Но запомните, ребята, мечты не сами собой сбываются. Для того чтобы они сбылись, надо очень много и добросовестно трудиться.

Даже из этих коротких бесед, из этих мимолетных встреч видно, что на юного человека, на выбор им не только профессии, но и жизненного пути влияет интересная, сильная личность. У старшего поколения нахимовцев это были — у одного командир отряда; у другого — отец; у третьего — врач, который спас ему жизнь. А у молодых, нынешних нахимовцев — их отцы. И вот ветераны являются примером для подражания или, как сейчас говорят,— образцом — «делать жизнь с кого». В общем, влияние этой символической эстафеты патриотического подвига на воспитание нового поколения сказывается очень благотворно. Есть еще одна форма передачи по наследству хороших традиций. Мы нередко встречаем целые династии, в которых поколения продолжают избранный еще предками путь служения Родине. Встретил я представителей такой династии и в нахимовском училище. Я умышленно оставил рассказ о ней под конец.

На последнем выпускном курсе учится нахимовец Геннадий Андрусенко. Мы с ним беседовали отдельно. Ладный, стройный паренек, чернобровый, с чистыми, карими глазами. Очень симпатичный. Рослый,

морская форма делает его еще более взрослым. Его отец, бывший моряк Балтийского флота, Валентин Кузьмич Андрусенко, живет сейчас в городе Алма-Ате. Я созвонился с ним по телефону и спросил: не сможет ли он прилететь на несколько дней в Ленинград? Мне очень хотелось с ним поговорить, познакомиться, расспросить о других представителях династии Андрусенко. Дело в том, что отец Валентина Кузьмича, дед Геннадия, тоже был моряком Балтийского флота, участвовал в Октябрьской революции.

Валентин Кузьмич согласился прилететь в Ленинград. Ему, конечно же, приятно было увидеть Гену, своего сына. А кроме того, в Ленинграде живет его дочь Диана. Так что ему предстояло много приятных семейных встреч.

Словом, на другой день Валентин Кузьмич позвонил мне по телефону и сказал, что он в Ленинграде. Мы встретились около нахимовского училища: я, отец и сын Андрусенко. Отдавая дань уважения первому поколению советских моряков, участникам Октябрьской революции, мы посетили крейсер «Аврора», ходили по его палубам, стояли у пушки, которая произвела выстрел по Зимнему. Этот выстрел был сигналом начала штурма Зимнего. И вот здесь, где, казалось, витал дух тех легендарных матросов Балтики, которые совершили революцию и брали Зимний, я и попросил Валентина Кузьмича, чтобы он рассказал о своем отце.

— Отец мой, Кузьма Захарович, служил на Балтике, на крейсере «Рюрик». Он был большевиком.

Поднял со своими друзьями восстание на крейсере. Но восстание было подавлено. Тех, кто руководил восстанием, с крейсера списали, в том числе и моего отца. Вскоре отец попал на фронт. Я захватил сохранившийся блокнот отца. Мне казалось, что это вам будет интересно,— с этими словами Андрусенко достал небольшой старый, с потертыми краями блокнот и открыл его. В блокноте была пожелтевшая бумага и записи простым карандашом. Андрусенко продолжал рассказ:

— Я не знаю, по какому поводу, для чего отец сделал эту запись. Но вот здесь его рукой написано как раз о том периоде жизни.

Мы стали читать страницы блокнота:

«В 1916 году на фронте был ранен. После лечения 20 мая 1917 года Черноморским военным госпиталем

уволен с военной службы. Пришел домой, в Самарскую губернию, 26 мая 1917 года. А 10 июня 1917 года был избран председателем волостной земельной управы, где отбирал землю у 16 помещиков и отдавал крестьянам, за что был гоним Дутовым, но спасся. И с тех пор, с 10 июня 1917 года по 20 октября 1928 года, без перебоя работал в пользу Советской власти. Не был ни растратчиком, ни безобразником над людьми. За что пользовался авторитетом везде». Вот так коротко, на одной блокнотной страничке рассказал свою биографию бывший революционный матрос Кузьма Захарович Андрусенко. Он умер в 1929 году. Валентин Кузьмич показал мне его фотографию. На ней в полный рост стоял в морской форме, в немножко сдвинутой набок бескозырке крупный, сильный матрос с боцманской дудкой на груди. У него были лихо закрученные густые усы, твердый взгляд. И такие же черные густые брови, как у внука Гены.

Беседуя с Валентином Кузьмичом, я думал о том, как хорошо, когда сын так подробно знает жизнь и дела своего отца. А ведь бывает и так, что в некоторых семьях не то чтобы не интересуются, а как-то прохладно относятся к прошлому своих родных и близких. Встречал я и таких, которые даже не знали места, где погиб отец, и не искали это место. Получили похоронку: погиб при освобождении Белоруссии, или в Молдавии, или под городом таким-то и на этом все сведения обрывались. Мне кажутся непростительными такая халатность и безразличие. Уж коль скоро сейчас и пионерские организации, и всевозможные группы «Поиск», и общественные организации, и советы ветеранов частей ищут павших воинов, то родственники-то, мне кажется, в этом тем более должны быть заинтересованы.

И вот, может быть, это и помогло мне услышать о жизни самого Валентина Кузьмича из уст его сына Гены. Поэтому я и спросил:

— Гена, а что ты знаешь о своем отце? Расскажи, пожалуйста...

Гена не смутился. Он посмотрел на своего отца любящими глазами, улыбнулся. Улыбнулся хорошо, по-сыновьи трогательно. Отец с нескрываемым любопытством смотрел на Гену. Видно, он никогда прежде не думал о том, что знает и как может рассказать о нем сын.

Геннадью, конечно, было неловко при отце рассказывать о нем же, и он стеснялся, боясь, что это получится очень высокопарно. Но в то же время чувствовалось, что большая любовь к отцу так и подмывала его говорить о нем возвышенно:

— Смолоду мой отец решил стать моряком. Поехал он поступать в училище военно-морской авиации. Но немного опоздал, прием там уже закончился. Направился оттуда в Севастополь поступать в военно-морское училище. Но и там уже прием был закончен. Оттуда поехал в Одессу, в морской техникум. Но и там у него ничего не получилось. Тогда он в Ростове поступил матросом сначала на речное, а потом в Азовское пароходство. И служил там до призыва в армию. В 1939 году его призвали на срочную службу. Ну и, конечно, батя сделал все, чтобы стать матросом. Он стал краснофлотцем, и послали его учиться в Петергофскую школу младших авиаспециалистов, которую он окончил и стал мастером по авиационному вооружению. Довелось ему участвовать в боях с белофиннами. Он обслуживал самолеты, готовил их оружие к бою. По этой же специальности он работал, когда на нашу страну напали фашисты. Отец обслуживал самолеты, не раз приходилось ему вылетать за стрелков, которых так не хватало. Стрелки часто гибли в воздушных боях. Во время такого вылета был ранен и мой отец. После лечения в госпитале он попал на Балтийский флот на торпедные катера. В октябре 1944 года в бою по окончательному освобождению Ленинграда от гитлеровских войск высаживался десант на остров Саарема. Отец мой в этом десанте командовал шхуной, на которой было 200 десантников. Кроме людей здесь было много боеприпасов. При преодолении зоны заградительного огня произошло прямое попадание нескольких вражеских снарядов в шхуну. Загорелись ящики с боеприпасами. И отец сбрасывал эти горящие боеприпасы в воду. Они могли каждую минуту взорваться. Но он для спасения людей, рискуя своей жизнью, спас шхуну и высадил десант в назначенном месте. За этот подвиг моему отцу было присвоено звание Героя Советского Союза.

Я смотрел на лицо Валентина Кузьмича, в его глаза и видел, что ему очень приятно и он даже несколько удивлен и растроган, что сын его так горячо о нем рассказывает. Но мне захотелось узнать о его подвиге

более детально. Конечно же, Гена не мог знать все подробности, и поэтому я спросил:

— Валентин Кузьмич, расскажите, пожалуйста, об этом трудном и памятном бое сами...

Валентин Кузьмич на некоторое время задумался, как бы еще и еще раз мысленно окидывая взглядом тот далекий памятный и трудный для него фронтовой день.

— Для высадки десанта было отправлено много военных кораблей. И были использованы простые шхуны, на которые посадили десантников. На военных кораблях места всем не хватило. И меня назначили командиром такой вот шхуны. На ней, как сказал правильно Гена, было 200 бойцов. В общем, почти батальон. Мы шли сначала осторожно, стараясь как можно ближе под прикрытием ночи подойти к берегу, занятому врагом. И это нам почти удалось. Но неподалеку от берега нас обнаружили, и фашисты открыли заградительный огонь. Впереди сплошной стеной поднималась вода от взрывов снарядов, и войти в эту стену всплесков и взрывов было, конечно, не так-то просто. И преодолеть ее тоже было нелегко, но необходимо. Я повел свою шхуну через этот заградительный огонь. Несколько снарядов угодило в судно. Загорелись ящики. Ну, что такое горящие боеприпасы, вы хорошо представляете! Каждую секунду может произойти взрыв. Я это знал и поэтому кинулся сбрасывать ящики. Тут некогда говорить людям и объяснять — тут надо действовать! Под продолжающимся обстрелом я сбросил эти ящики в воду, и наша шхуна и еще несколько прорвавшихся через заградительный огонь двинулись к берегу, занятому врагом. Наши боевые корабли и авиация открыли огонь по гитлеровцам и всячески помогали нам подойти поближе, чтобы высадить десант. Когда подошли к берегу, надо было прыгнуть в воду — ведь это только говорится: к берегу, а до берега-то было еще порядочно. Вода в октябре на Балтике холодная. Не так-то сразу и решишься прыгнуть в нее, окунуться с головой. Ведь все солдаты — с оружием и боеприпасами. Все тяжелые. Некоторые командиры погибли от прямого попадания в шхуну. Вот и получилась некоторая заминка, поэтому я прыгнул в воду, позвал солдат за собой и повел их к берегу. Ну а на берегу уже и в атаку повел на фашистов. Мы укрепились на плацдарме, и только

после этого я вернулся на свою шхуну. Вот, собственно, и весь подвиг, за который мне было присвоено звание Героя Советского Союза.

— А как после войны сложилась ваша жизнь?

— После войны меня взяли на работу в Главное политическое управление Военно-Морского Флота в комсомольский отдел. Я был на Параде Победы в Москве, правда, не участником, а зрителем на трибуне. Служба у меня должна была бы пойти очень хорошо, и моя мечта — стать морским офицером — была близка к осуществлению. Но сказались пять ранений и две контузии. И я, как когда-то мой отец, не смог продолжать службу, был уволен в запас в 1946 году. Вернулся домой. Отец, как я уже сказал, умер в 1929 году, а мать жила в Алма-Ате. Вот к ней я и приехал. Поступил учиться в университет, проучился до 1949 года, но университет не окончил. Сказались ранения, да к тому же я еще всю ленинградскую блокаду пережил, в общем, здоровье подвело. Но зато ребята мои будут с хорошим образованием. Дочка Диана окончила в прошлом году Ленинградский университет, исторический факультет. Сейчас работает научным сотрудником в Петропавловской крепости. Она готовится защитить диссертацию. Двадцать три года ей сейчас. Я поторапливаю, говорю — замуж пора. А она отвечает: «Вот сначала защищу диссертацию, а там уж посмотрим». У Гены дорога прямая — в этом году окончил пахимовское училище, пойдет в Высшее офицерское морское, и будет он у нас славным морским офицером.

Памятуя о роли матери в воспитании детей и желая об этом напомнить своим собеседникам, я попросил Гену:

— Расскажи о своей маме, пожалуйста!

— Маму мою зовут Екатерина Ивановна. Она у нас замечательная! Она тоже фронтовик, служила медиком. Звание у нее военфельдшер, лейтенант медицинской службы. Вынесла с поля боя много раненых. За эту службу на поле боя она награждена орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Так что мама у нас боевая, хоть и не морячка, но настоящий фронтовик!

— Валентин Кузьмич, вы со своей женой познакомились на фронте, во время войны?

— Нет, познакомились мы позже, в 1951 году. Мы работали с ней в одной системе. И как-то получилось,

что не только чисто человеческие отношения, а еще сыграло свою роль и наше фронтовое прошлое. Мы почувствовали взаимную близость, тягу, желание быть вместе, потому что у нас было много общего. Вот так мы стали мужем и женой.

— Гена, а тебе приходилось бывать в плавании, почувствовать вкус моря?

— Да, я бывал в учебных плаваниях. Вот хотя бы минувшим летом мы ходили на учебном корабле «Перекоп» в Балтийское море. Однажды были неподалеку от острова, на который папа высаживал десант. Я там прокладывал курс, снимал пеленги. И все время, работая по прокладке курса, думал о том, что вот здесь папа воевал и произошло то, о чем я сегодня вам рассказал. В общем, вкус моря я уже почувствовал!

Валентин Кузьмич задумчиво сказал:

— Вкус моря... Он не всегда праздничный и радостный. Стоишь на палубе торпедного катера зимой, и тебя с ног до головы обдаст холодными брызгами. Вот тут особенно чувствуется вкус моря. Одежда покрывается хрустящей коркой льда, руки коченеют, дубеет лицо. Ветер и качка валят тебя из стороны в сторону. Это тоже вкус моря. И об этом не следует забывать...

Я смотрел на крупное волевое лицо Валентина Кузьмича, чуть поджатые упрямые губы. Да, видно, не занимать воли этому человеку! Он ведь и на бомбардировщиках в небо летал не раз в качестве стрелка-радиста. Однажды во время такого вылета он подбил немецкий «мессершмитт». В другой раз сам был тяжело ранен и контужен. А всего пять тяжелых ранений и четыре серьезные операции, и каждый раз возвращался в строй, брал в руки оружие и снова — в бой. Несмотря на все эти лишения и беды, он был жизнерадостным, веселым в общении с людьми. Тем и нравился всем старшина 1-й статьи Андрусенко, скромный и немногословный о своих боевых делах. В тот день, когда он совершил подвиг, высадив десант со шхуны, спас этот десант и сам водил десантников в атаку с возгласом: «Кто хочет жить и победить — за мной!» Ведь, по его рассказу, высадил он этот десант и на этом вроде бы и дело кончилось. А на самом деле он вернулся на своей шхуне и еще раз повторил то же самое: привез еще 200 десантников. И опять все повторилось, как и прежде. И все это для блага своей Родины, для блага советских людей. Вот такое наслед-

ство, вот такую боевую эстафету передал он своему сыну Геннадию. И этот молодой еще, не совсем окрепший морячок, оказывается, владеет огромным богатством. И это богатство, это наследство, этот бесценный клад завоевали и создали для него прежде всего дед — революционный балтийский матрос Кузьма Захарович; его отец — прославленный герой Балтики, Герой Советского Союза Валентин Кузьмич. И его мать — Екатерина Ивановна, фронтовичка, человек широкой души, не раз жертвовавшая своей жизнью ради того, чтобы спасти бойцов. Я так и сказал Геннадию на прощание:

— Богатый ты, Гена. Не у многих такое великолепное наследство. Ты — представитель замечательной морской династии.

* * *

Обычно детям дарят игрушечные самолеты, танки, пушки и корабли. А я расскажу вам о единственном, наверное, в истории случае, когда дети дарили взрослым не игрушечные, а настоящие боевые самолеты, танки, морские торпедные катера. Это произошло в годы Великой Отечественной войны. Многие рабочие ушли с заводов и фабрик на фронт, надо было заменить их у станков. И заменили их женщины, старики, дети. Они выполняли нормы, производили все необходимое для фронта и для жизни в тылу и тем самым помогали бить гитлеровских захватчиков. Самые энергичные, самые непоседливые и самые нетерпеливые были дети. Они искали возможность как-то помочь фронтовикам более действенно. Ну, самое действенное — это было бы, конечно, пойти на фронт. Детям очень хотелось туда попасть, но их на фронт, как известно, не пускали и тех, кто пытался туда удрать, возвращали домой. Может быть, в результате этой нетерпеливости, этого большого желания помочь своим отцам, старшим братьям и возникло своеобразное движение среди школьников. Они стали собирать деньги для того, чтобы построить на эти средства и подарить советским воинам самолеты, танки, торпедные катера.

В августе 1941 года на страницах «Комсомольской правды» было опубликовано письмо учащихся ремесленного училища № 14, ныне ПТУ-2 на базе завода

«Калибр». В этом письме были и такие слова: «Мы мечтаем построить эскадрилью боевых самолетов на средства учащихся. Коллектив нашего училища вносит в фонд обороны 10 тысяч рублей, заработанных нами во внеурочное время. Пусть в ясном советском небе парят красnozвездные птицы, построенные на наши средства. Пусть они бьют беспощадно немецких захватчиков».

Я хочу подчеркнуть два обстоятельства. Первое — то, что деньги эти были не просто заработаны, а, как говорилось в письме, заработаны во внеурочное время. Это значит, что мальчишки и девчонки, выполнив норму, положенную им за рабочий день, только после этого уже приступали к сверхурочной работе.

И второе обстоятельство: стоял август 1941 года, труднейшие дни, когда Советская Армия с тяжелыми боями отходила от западной границы. И вот такой патриотический подъем у детей особенно ярко показывает их настроение, их любовь к Родине, к Советской Армии.

Этот патриотический почин в те дни поддерживали многие ремесленные училища. Так, например, ремесленное училище № 75 внесло в фонд обороны 54 тысячи рублей. Училище № 39 — 38 тысяч рублей. Училище № 12 — 43 тысячи рублей. В общем, собралось довольно много денег. А в целом по стране ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО собрали 16,5 миллиона рублей и построили на эти деньги колонну танков, эскадрилью самолетов, три торпедных катера.

Мне посчастливилось узнать подробности, встретиться с людьми, которые присутствовали при передаче эскадрильи истребителей. Поиск свой я начал с фотографии. Этой фотографии уже больше тридцати лет. Она сделана на фронте. На ней изображены ребята и летчики, они стоят тесной, улыбающейся группой и весело смотрят в объектив. В центре этой группы среди военных летчиков один взрослый человек в гражданской одежде, как мне удалось выяснить, — Голованов Виктор Сергеевич. В те годы он работал заместителем начальника Московского городского управления трудовых резервов и возглавлял делегацию ремесленников, которая полетела на фронт.

Я разыскал Голованова, и вот что он мне рассказал о тех днях:

— В нашей делегации было двадцать девочек и мальчиков, отличников учебы. Они еще в процессе сбора денежных средств соревновались за право попасть в делегацию, которая поедет на фронт к летчикам. И вот, когда все средства уже были собраны и когда на эти деньги была куплена эскадрилья, мы прибыли в Смоленскую область, где базировалась авиационная дивизия, которой командовал полковник Зимин Георгий Васильевич. Нас привезли в полк. Его командир, полковник Чистяков Владимир Алексеевич, и летчики встретили нас очень радушно. Мы пробыли у них несколько дней. В эти дни ребята развлекали летчиков самодеятельностью: пели, плясали, декламировали. Во время этих концертов не раз объявлялась боевая тревога, и летчики улетали в бой. Вот так началась наша дружба с летчиками дивизии полковника Зимина.

На фронтовом аэродроме мы познакомились и с командиром лучшей эскадрильи капитаном Дергачом Алексеем Ивановичем, той самой эскадрильи, которой предстояло летать на дареных самолетах. Запомнились и понравились нам тогда летчики Лобас Петр Калинникович, Бойко Виктор Петрович, инженер эскадрильи Богданов Александр Иванович. Некоторые летчики погибли потом в воздушных боях, но многие остались живы. И дружба эта, начавшаяся в далеком теперь сорок третьем году, продолжается по сей день. Вот так первое поколение наших ремесленников стало родоначальниками замечательной, своеобразной эстафеты. И особенно крепка дружба с фронтовиками у ребят тридцатого училища, где сейчас встречаются ветераны авиационной дивизии Зимина и где происходят очень трогательные и теплые встречи.

— А кто вам особенно запомнился в те дни там, на фронтовом аэродроме? — спросил я Голованова.

— Особенно всем нам запомнился полковник Зимин. Он был в ту пору уже опытным летчиком. Нам рассказали, что в первых боях, в первые часы войны, когда фашисты налетели на Севастополь, Зимин был уже капитаном. Он сбил один из первых гитлеровских самолетов. Тогда три «хейнкеля» было сбито. Некоторым фашистским летчикам удалось спуститься на парашютах. Их поймали. И капитан Зимин присутство-

вал при допросе этих первых сбитых летчиков. Один из них очень спесиво сказал: «Через две недели наши люфтваффе превратят в развалины ваш Кремль!» Горячий и темпераментный капитан Зимин не выдержал и тут же воскликнул: «А мы будем бить люфтваффе, пока не загоним в землю последнего вашего аса!»

Голованов улыбнулся и, весело глядя на меня, сказал:

— Вы знаете, эти слова Зимина стали пророческими! В 1945 году он над стадионом «Олимпия» в Берлине сбил последний на своем боевом счету фашистский самолет. Вогнал его в землю именно в логове зверя, как обещал в 1941 году. Очень смелый и умелый ас был Зимин. 249 раз он вылетал со своими летчиками, провел 69 воздушных боев, сбил лично 19 фашистских самолетов.

Нашим ребятам особенно импонировало то, что Георгий Васильевич сам когда-то был учащимся ФЗУ. Он в 1927 году окончил семь классов в Калуге и поступил в ФЗУ. Там же он вступил в комсомол, стал слесарем-электриком в мастерских, учился на вечернем рабфаке. В тридцать первом году он по путевке комсомола пошел в Ленинградскую военную школу летчиков. В 1933 году Зимин окончил военно-авиационную школу в городе Энгельсе. Боевое крещение получил в боях на озере Хасан, где командовал эскадрильей, и там же он заслужил первую свою награду — орден Ленина. В 1940 году пошел учиться в Военную академию имени Жуковского. Но началась война, и с первого курса он ушел на фронт. В общем, много достоинств у этого человека, а нашим ребятам особенно, конечно, было приятно, что он, как говорили они, из наших — из ремесленников.

Так начиналась дружба, таковы истоки тех событий, которые можно считать символической эстафетной палочкой, передаваемой от поколения к поколению воспитанниками сначала ремесленного, а потом профессионально-технического училища.

Узнав все это, я, конечно, не упускал из виду жизнь училища. И когда настал день очередной встречи летчиков и учащихся, конечно же, поспешил на этот вечер. Здесь я видел много удивительных и трогательных событий, встретил прекрасных людей.

После окончания войны судьба у летчиков сложилась по-разному. Теперь они живут в разных городах,

но вот здесь, в стенах училища, встречаясь вместе, опять становятся прежней дружной боевой семьей, вспоминают минувшие дни и своих боевых товарищей. Они не хотят останавливаться в гостиницах, а в отведенных для них классах ставят ровными рядами раскладушки. И это им напоминает далекие фронтовые дни. Так же они спали, в таких же больших комнатах между боевыми полетами, рядом друг с другом.

Официальная часть этой встречи проходила в Центральном доме культуры учащихся профессионально-технических учебных заведений. Над сценой плакат: «Привет командирам и летчикам 240-й гвардейской Невельской авиационной дивизии, воевавшим на самолетах «Трудовые резервы — фронту». В зале возбужденные глазастые ребята. Они с большим любопытством смотрят на прославленных асов, которые разместились на сцене. Ну и особенно они смотрят, конечно, на многочисленные награды, которые блестят на груди ветеранов.

Много горячих слов было сказано на этой встрече. Особенно трогательными мне показались и запомнились такие минуты. Перед гостями и учащимися на сцену вышла красивая женщина — Маргарита Лифанова. Теперь она заслуженная артистка РСФСР. Но Маргарита Лифанова — именно та девочка, которая была в составе бригады, выезжавшей на фронт для того, чтобы подарить летчикам самолеты. И вот Маргарита Лифанова, как в те дни там, на фронте, так и сегодня прочитала такие стихи:

Родина вручает новый самолет.
Вылетай им, сокол, в боевой полет!
Из свинцовой тучи сокрушай врага,
Родины могучей честь нам дорога.
Любим мы Отчизну, как родную мать.
За нее готовы жизнь свою отдать.
В тьму и непогоду ты найди пути
Своему народу рапорт донести:
Как ты выполняешь Родины приказ?
Как врагов сбиваешь, помня наш наказ?
Твоего полета мы с победой ждем,
Для тебя оружие грозное куем.
Выполнишь задание, возвращайся в срок!
Маленький, но быстрый, грозный «ястребок»!

Не будем придиричивы к стихам, они написаны не профессиональным поэтом. Но в них выражены ребята чувства тех, далеких теперь дней. Особенно приятно было слышать эти стихи летчикам, которые тогда,

на фронте, их слышали, и читать Маргарите Лифановой тоже было приятно и радостно. Ну и, конечно же, особенно волновался, слушая их, автор. А автором был не кто-нибудь, а уже знакомый нам бывший тогда заместителем начальника Московского городского управления трудовых резервов Виктор Сергеевич Голованов. Растроганный Голованов сидел здесь же, в зале, и смущенно смотрел на аплодировавших ему ребят и летчиков.

После торжественной части у старых друзей и у меня состоялось много интересных бесед.

Бывший командир Невельской дивизии полковник Зимин теперь уже стал маршалом авиации, доктор военных наук, автор 18 научных работ. Теперь он передает и свое мастерство, и свои знания, и боевую эстафету своих друзей, фронтовых летчиков, новому поколению советских авиаторов. Он выступал перед ребятами и с гордостью говорил о том, что он тоже из «фезеушников». Маршал — человек занятый, долго не мог находиться на вечере, и после того, как закончилась официальная часть, поговорил еще с некоторыми из своих боевых друзей и уехал.

Мне хотелось прежде всего узнать, почему эскадрилью истребителей подарили именно 86-му авиационному истребительному полку дивизии, которой командовал Зимин. Спросил об этом бывшего командира этого полка полковника Владимира Алексеевича Чистякова, который тоже приехал на встречу. Мы отошли с ним в сторону, он рассказал о себе:

— Родился я в Ростовской области, в селе Белая Глина. Оттуда поехал учиться в Кисловодск, где окончил семь классов. А затем в Донецке с тридцать первого по тридцать третий год учился в ФЗУ, так что я тоже «фезеушник». Затем работал вальцовщиком на металлургическом заводе в Донецке. Одновременно с работой учился и окончил аэроклуб в 1933 году, а затем уже поступил в военное училище летчиков в Оренбурге. Война застала меня под Ленинградом. Командовал я тогда истребительной эскадрилей. 26 июня под городом Гдовом вступил в первый свой воздушный бой. А нашему полку подарили эскадрилью, наверное, потому, что был он на хорошем счету. В рядах нашего полка выросло много прославленных летчиков. Это было первое поколение, которое к 1943 году накопило уже и большой опыт, и большие заслуги.

Я вам советую поговорить с представителем этого поколения, который здесь находится, с полковником Мотузом. Он хорошо знает именно это поколение нашего полка, сам вырос вместе с ним, и он, пожалуй, лучше меня вам расскажет и о тех, кто сейчас жив, и о тех, кто сложил головы в бою, добывая нашу славу.

— Ну, прежде чем поговорить с Мотузом, мне бы хотелось, чтобы вы сказали несколько слов о нем. Ему же неловко будет рассказывать о себе,— попросил я.

— К тому времени, когда ремесленники приехали к нам дарить самолеты, Иван Фомич Мотуз был уже прославленным летчиком. На фронте о нем ходила шутливая поговорка: «Кругом 25». Смысл этих слов в том, что к 25-летию Красной Армии и к своему 25-летнему дню рождения Иван Фомич сбил 25-й самолет врага. Вот так символично, по-боевому, он отметил сразу три юбилея. О том, как бил фашистов Иван Фомич, можно судить по такому вот случаю. Однажды завязался тяжелый воздушный бой, в котором участвовало много наших и фашистских истребителей. Постепенно в воздухе оставалось все меньше самолетов: кого сбили, у кого боеприпасы или горючее кончилось. И вот настал момент, когда в небе кружили четыре «мессера» и всего один наш самолет. «Кто вы?» — спросил генерал Зимин, наблюдавший за боем с земли. В то время Зимину уже присвоили звание генерала. «Я — Фомич», — ответил летчик. И генерал вспомнил — это тот самый, который стоял последним в строю при вручении наград. Тогда еще генерал пошутил: «Мал золотник, да дорог». Мотуз, как вы видите, небольшого роста, всего 160 сантиметров. Вот тогда в небе пророкотала еще одна очередь, и еще один из фашистских самолетов стал падать. «Браво, Фомич! — похвалил генерал по радио. — Держитесь, скоро подойдут к вам на помощь наши». В это время один из «мессеров» послал прицельную очередь и попал в кабину самолета Мотуза. Летчик потом нам рассказывал: осколки впились в него, загорелась обшивка на сиденье, загорелось на нем кожаное пальто. Один осколок повредил ногу, другой пробил правую руку. Однако Иван Фомич не из слабохарактерных, он догнал «мессер» и всадил в него несколько снарядов. «Держись, Фомич, их теперь только двое», — прозвучал по радио подбадривающий голос генерала. И вот

он, раненный, продолжал бой против двух фашистских самолетов. Порой мутилось сознание. Тела на нем одежда, и плохо слушалась пробитая рука. Но Фомич настиг еще одного фашиста и подбил его. Четвертый фашист трусливо сбежал. В чистом небе остался один наш истребитель! Иван Фомич посадил свой самолет в поле, последним усилием вывалился из кабины и стал сбрасывать с себя тлеющую одежду. Подоспели к нему на помощь колхозники. Они помогли летчику, погасили огонь и в самолете. Один старик, видя кровь на теле героя, подбадривал его: «Солдат крови не боится, лишь бы верх наш был!» Вот вам только один эпизод из боевой биографии Мотуза, а общий итог этого Героя Советского Союза — более 300 боевых вылетов, 87 воздушных боев и 26 сбитых самолетов врага. А между прочим, Мотуз тоже провел юность, как и эти ребята, в школе ФЗУ.

Иван Фомич Мотуз небольшого роста, очень пропорционально и крепко сложенный человек. Глаза у него веселые, он сразу располагает к простому, доверительному разговору. Вот что он рассказал мне о своих боевых товарищах — летчиках первого поколения этого полка:

— У нас много было великолепных мастеров воздушного боя. Батальонный комиссар Маркин Федор Федорович, заместитель командира полка по политической части. Он прекрасно летал и участвовал в воздушных боях. Заместитель командира по летной части майор Конев Георгий Николаевич — настоящий ас и всеобщий любимец в полку. Петр Дохов — ветеран полка, он участвовал во многих боях, но потом был подбит и по состоянию здоровья летать не мог, но остался на штабной работе в полку, весельчак и балагур. Все очень его любили. Я совершил много боевых вылетов в качестве ведомого нашего прославленного аса Конева. Даже когда я уже был командиром звена, он, вылетая на свободную охоту, всегда брал меня ведомым. У нас и самолеты были: у него хвостовой номер 33, а у меня — 34. Кстати, история с хвостовым номером самолета Георгия Конева была начата еще в Китае, еще там он сражался с японскими захватчиками под этим номером и был удостоен ордена Красного Знамени. А в годы Отечественной войны этот 33-й уже знал весь фронт. Фашистские летчики боялись Конева, уклонялись от боя, как только видели

этот номер. Кстати, цифра 33 хорошо видна в воздухе, ее было легче различить среди других цифр в круговороте воздушного боя. Я в этом постоянно убеждался как его ведомый. Были случаи, когда в жарком бою, где все смешалось и мелькают в глазах разные номера, звезды и кресты на самолетах наших и фашистских, а мне, как ведомому, нужно прочно держаться и прикрывать своего ведущего. И вот я привык к нему, и хорошо видел свой тридцать третий в круговороте схватки. Были, конечно, случаи, когда я его на какой-то миг терял, но тут же быстро находил среди десятков других. С Коневым мне пришлось сделать больше ста пятидесяти боевых вылетов. И не было ни одного случая, чтобы мы в воздухе потеряли друг друга и возвратились на аэродром в одиночку. Если бы весь наш полк построили по ранжиру, то на правом фланге был бы здоровый и рослый Георгий Конев, а я, его напарник, был бы на левом фланге. Высокий, стройный, с русовато-рыжеватым чубом, выбивавшимся из-под шлема, с большими светлыми глазами. Глаза у него были умные, веселые, всегда с доброжелательной и сердечной теплотой.

В нашем полку в первый год войны еще не было ни одного Героя Советского Союза. Георгий Конев уже был награжден тремя орденами Красного Знамени. Его уважали свои летчики и боялись фашисты. Однажды стало известно, что на нашем участке гитлеровцы введут в бой новые модели истребителя «мессершмитт». Нужно сказать прямо, машина «мессершмитт» у гитлеровцев была по своим техническим качествам хорошая, ну, а эта новинка, конечно же, должна быть еще лучше. И вот мы думали, предполагали, что же это за машина? Конев, понимая наше состояние, шутливо сказал: «Ну что же, и этому «мессеру» зубы обломаем». Через несколько дней Конев первым встретился в воздухе с усовершенствованным «мессером». Фашист неожиданно выскочил из облаков и атаковал Конева. Конев умело увернулся из-под удара, сманеврировал и пошел в лобовую атаку на гитлеровца. Враг этого не ожидал, опешил и трусливо отвернул, а Конев этим воспользовался и кинулся в преследование, расстреляв вражеский самолет.

— Эта победа замечательна и сама по себе, как прекрасное мастерство воздушного бойца, которое показал Конев. Она сразу же вселила уверенность во всех

нас. И мы воочию убедились, что новый «мессершмитт» не так уж грозен, как слухи, которые о нем ходят. Врага можно и нужно бить. Конев сказал: «Гитлеровские асы, чтобы нагнать страху, выкрасили носы своих самолетов в красный цвет — символ крови, а мы носы своих «яков» сделаем голубыми. Пусть это будет символом чистого неба».

Так мы и сделали. Носы наших «яков» были покрашены в голубой цвет. И это стало традицией.

Конечно же, новый фашистский истребитель был сильнее прежнего Ме-109 и по вооружению, и по маневренности, и это надо было учитывать. Но все же личный убедительный пример Конева вселил уверенность, подбодрил других летчиков, вскоре и Берко сбил одного, Ватутин и Шавров — тоже. Ну и дело пошло. В германской воздушной эскадре был специальный отряд с громким названием «Молния». Когда он прилетел на Северо-Западный фронт, в нем было 12 «юнкерсов». Вскоре остался только один, самый счастливый «юнкерс». И мы знали, что этим счастливчиком является известный немецкий летчик. Где только не бывал этот ас: бомбил города Франции, Греции, летал над Балтикой, бомбил Ленинград. И вот под Ловатью наконец-то мы его встретили и сбили. Он выбросился на парашюте. А через некоторое время стоял он на допросе, пыжился, тужился, хвастался своей арийской чистокровностью: «Согласно учету и документам, ведущимся в партии, мои предки — чистокровные арийцы». Но это было только начало разговора. Потом, когда стали ему говорить, что он бомбил и обстреливал в Ленинграде беззащитных детей и женщин, что он разрушал жилые кварталы, что дан ему Железный крест именно за такие вот «подвиги», Фриц заюлил, понял, что он не у своих, а на нашей русской земле и придется отвечать за злодеяния. Тон его стал подобострастным. Заюлил он и все спрашивал переводчика: «А что мне сказать и как сказать, чтобы меня не расстреляли?» Мы его не расстреляли, отправили в лагерь военнопленных. Вот так шла боевая жизнь нашего полка.

Позднее Консва забрали от нас в воздушную армию, и стал он старшим инспектором. Но он не мог жить без нас, без боевых товарищей, и часто прилетал на наш полевой аэродром. А однажды был такой случай. Вдруг появляется над нашим аэродромом «мессершмитт» и заходит на посадку. Ну, мы, конечно,

кинулись к самолету с пистолетами, думали брать гитлеровца в плен. А он, как у себя дома, зарулил на стоянку, выключил мотор, и вдруг открывается кабина и высовывается оттуда наш дорогой Конев. Кто-то из летчиков крикнул: «Так это же наш майор Конев!» А он отвечает: «Был майор, а теперь поднимай выше — подполковник!» Мы поздравили его. А он говорит: «Ну вот вам и «мессер». Раскопчивайте его, братва, изучайте, поглядите, что у него там внутри». Изучив все внутренности новой модели «мессершмитта», мы провели с ним и сравнительные бои. На «мессершмитте» летал Конев, а наши летчики на своих «яках», и мы на практике убедились, как лучше, как удобнее, как выгоднее вести бой с этими новыми «мессерами». Позднее Конев погиб в неравном бою с превосходящими по количеству силами фашистских истребителей. Но мы, его боевые друзья и ученики, с гордостью продолжали его боевую эстафету. Любой летчик, который служил при нем в полку, считает его своим учителем.

Слушая Ивана Фомича Мотуза, я понял, почему наш прославленный ас трижды Герой Советского Союза Иван Никитович Кожедуб летал на истребителе, на борту которого было написано «Конев». А дело вот в чем. Когда летом 1943 года погиб Герой Советского Союза летчик-истребитель подполковник Георгий Конев, его дядя Василий Викторович Конев, пославший на фронт четырех своих сыновей и потерявший к тому времени старшего из них — Сергея, приобрел на свои личные средства самолет «Лавочкин» и попросил передать его лучшему летчику-истребителю. На левой стороне фюзеляжа этого самолета была сделана надпись: «Имени Героя Советского Союза подполковника Конева», а на правой стороне фюзеляжа: «От колхозника Конева В. В.».

2 мая 1944 года эта машина была вручена лучшему летчику-истребителю 2-го Украинского фронта Ивану Никитовичу Кожедубу, который к этому времени уже имел на своем счету 37 сбитых самолетов врага. В формуляре самолета Кожедуб нашел письмо: «Кем бы ты ни был, храбрый воин, я отныне буду считать тебя своим сыном. Даю тебе отцовский наказ: сражайся с проклятыми гитлеровцами храбро, отомсти им за все их злодеяния, за сына моего Сергея и племянника Георгия».

Кожедуб выполнил этот наказ. В первых же боях, как только сел на этот истребитель, севернее города Яссы за восемь дней он сбил восемь вражеских самолетов. А всего за годы войны в воздушных боях, как известно, Кожедуб сбил 62 гитлеровских самолета! Вот такую знатную, прославленную эстафету боевых подвигов подхватил Кожедуб и так прекрасно и умело ее пронес в боях и продолжил.

— А как летчики вашего полка выполняли в боях заветы своего учителя Конева? И как они несли эту боевую эстафету на вашем участке фронта? — спросил я Мотуза.

— Можно привести много примеров героизма. Вон сидят и разговаривают два Героя Советского Союза. Один из них Дергач Алексей Николаевич. Вот он как раз и стал потом командовать эскадрильей, которая летала на подаренных ремесленниками самолетах. А другой, рядом с ним, тоже Герой Советского Союза, как вы видите, Петр Калининлович Лобас. Я расскажу вам всего только об одном их бое...

Однажды ночью шестерка истребителей была в готовности номер один. Командовал этой шестеркой Дергач. В этой шестерке — и Лобас и я. Ну, готовность номер один — это мы сидим в самолетах. И телефон стоит на крыле самолета Дергача. Раздался звонок. Дергач поднял трубку, слушает, что ему говорят, и, еще не закончив разговор, командует нам: «Заводи моторы!» И сам, значит, быстро опускается на свое место. Еще на взлете мы слышим с земли команду: «В районе Ладога высота 5 тысяч метров курсом на Волхов идет сто «Хейнкелей-111». Мы уже встречались с такими массами бомбардировщиков и знали, что их, конечно, сопровождают не меньше 20 истребителей. Такое количество, конечно, дело нешуточное, и, естественно, вызывает тревогу: нас же всего пока только шесть. И вот мы летим вперед и стараемся побыстрее увидеть идущую навстречу армаду и бомбардировщиков. Они сначала показались как точки, по девять в каждой группе. Идут в кильватерной колонне — одна группа за другой. Я считаю: раз, два, три. Всего четырнадцать. Прикидываю в уме — это значит 120 бомбардировщиков. Тут же я подумал, почему же Дергач не набирает высоту, а идет ниже противника? Ведь с высоты всегда атаковать удобнее: в этом случае скорость легче набрать на прямое пикирование. Но

команды от Дергача никакой нет, а мы продолжаем лететь за ним.

Истребителей противника мы пока не видим: они где-то, наверное, там, наверху, выше бомбардировщиков, ждут нашего нападения оттуда, сверху. И вдруг слышу в шлемофоне знакомую скороговорку Дергача: «Атакуем снизу. Все за мной!» И мы пошли на первую девятку прямо под их животы. Я наметил машину, которая попадала ко мне в прицел: огромная, четырехмоторная махина черным брюхом просто навалилась на меня. Оставалось не больше 120 метров, и я дал длинную очередь, а вторую не успел: «як» мой потерял скорость, я завис и скользнул на хвост. Слышу команду нашего Дергача: «Не отрываться, за мной». Мы быстро все пристроились к ведущему. И опять атака на вторую девятку. Мы выходим им под животы, и опять бьем снизу. Вновь команда Дергача — не отрываться! И так мы совершили четырнадцать атак, все похожие друг на друга, и были они настолько стремительны, что истребители не успели нас перехватить. Сверху по нас ударить им мешали свои же бомбардировщики. «Мессершмитты» навалились на нас уже после четырнадцатой атаки. Мы сбили одного «мессера», а сами, разогнав вражеские бомбовозы, все вернулись благополучно на аэродром. Ну, благополучие относительное: машины наши были побиты пулями, пушечными снарядами. В моей машине изрешетило все хвостовое оперение, у Лобаса — в дырах крыло. У Дергача бронеснаряд прошел вдоль фюзеляжа через кабину, разворотил ему край винта. И у других тоже были повреждения. Вышли мы из машин, идем к себе, значит... Все очень огорчены: провели столько атак, а сбили всего один «мессершмитт».

Так Дергач и доложил командиру нашей дивизии полковнику Зимину. Полковник был тоже огорчен, вроде бы атаковали удачно и бой провели хороший, а итог невелик. Но вдруг приезжает на наш аэродром сам командующий армией. Он очень куда-то спешил. Встретил его полковник Зимин, а командующий, не вылезая из машины, спрашивает: «Чья группа атаковала «хейнкелей»? Ну, полковник докладывает: «Шестерка старшего лейтенанта Дергача». — «Какой результат боя?» — спрашивает командующий. — «Сбили один их истребитель. Наших потерь нет», — отвечает Зимин. Командующий улыбнулся и, захлопывая дверь,

сказал: «Хорошо поработали. Есть подтверждение: на земле лежат 11 сбитых бомбардировщиков! Молодцы!» Он захлопнул дверцу и уехал. Вот так нам в горячке боя некогда было даже смотреть на падающие бомбардировщики. Мы все время шли в новую и в новую атаку, одну за другой. Вот так умело руководил боем Дергач.

Он сидел здесь же, в этой комнате. И я с восхищением смотрел на замечательного летчика: среднего роста, худощавый, спортивного телосложения. Уйдя в запас, отрастил небольшую бородку. Особенно запомнились мне его темные, сверкающие задорные глаза.

С Героем Советского Союза Алексеем Николаевичем Дергачом я говорил, конечно же, не только о воздушных боях, мне особенно интересно было узнать, как дарили самолеты. Вот что он мне рассказал:

— После того как ребята побывали у нас на полевом аэродроме и сообщили о том, что они нам дарят самолеты, я и еще девять летчиков моей эскадрильи полетели в Москву. В Москве на Центральном аэродроме стояли выстроенные в ряд десять «яков».

Они сияли свежей краской, были новенькие и, может быть, потому, что это были дареные самолеты, они мне казались и более аккуратно покрашенными, и более любовно сделанными. Но, наверное, все-таки мне так казалось, потому что это были обыкновенные серийные самолеты. Здесь же, на аэродроме, произошла торжественная процедура вручения нам самолетов, на которых мы и улетели в распоряжение своего полка. Скажу только одно: воевали мы на этих самолетах добросовестно. Многие наши летчики, такие как Лобас, да и я, именно на этих самолетах заслужили высокое звание Героя Советского Союза. Мы сбили много вражеских самолетов. И я с гордостью могу сказать, что не только бережностью, но и искусством воинским мы сохранили все эти десять самолетов. Мы летали и участвовали на них и в Белорусской операции, и в Восточно-Прусской операции, и в Берлинской. В общем, до самых последних боев из этих десяти подаренных нам ремесленниками самолетов не потеряли в боях ни одного! Уже позже, отлетав положенное им количество часов и износившись, эти самолеты были списаны. А в боях мы ни одного не потеряли.

У окна сидели двое: Герой Советского Союза Лобас Петр Калинникович, подполковник Богданов

Александр Иванович. Они оживленно разговаривали, были возбуждены, веселы. Я подошел к ним и попросил Лобаса:

— Петр Калининнович, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь эпизод из воздушных боев, в котором вы участвовали на дареном ребятами самолете.

— Был такой случай во время боев. Шел август 1944 года. На одном из направлений прорвались более сотни танков фашистов. А туда была брошена штурмовая авиация для отражения этих танков. А мы, истребители, прикрывали работу штурмовиков. И Бойко участвовал в этом бою. И он, пожалуй, лучше меня расскажет об этом случае, потому что ему известно больше деталей. Расскажи, пожалуйста, Виктор Петрович...

Я понял маневр Петра Калининновича, у героев так часто бывает: они умеют хорошо воевать, ведут себя храбро и мужественно в бою, а когда дело касается рассказов об этом, тут у них не хватает слов и красноречия. Вот и сейчас Лобас явно хотел уклониться от рассказа. Виктор Петрович Бойко более разговорчивый и словоохотливый, более общительный летчик, усмехнулся, поняв хитрость Лобаса, и начал рассказ:

— В августе наш полк наградили орденом Красного Знамени, и командование дало нам два дня отдыха. И вот именно в это время, когда мы собрались отдыхать, прорвалось больше сотни танков фашистов. В тот день нам пришлось делать по семь-восемь боевых вылетов. Схватки были очень тяжелые, потому что танки имели сильное прикрытие немецких истребителей. Чтобы добраться нашим штурмовикам до этих контратакующих танков, нам надо было расчистить небо от истребительной авиации гитлеровцев. В одном из боев летали в парах — Лобас и Кличевский, а я — с командиром эскадрильи Дергачем. И вот мы увидели, как в их сторону, в сторону Лобаса и Кличевского, кинулись четыре «фокке-вульфы» и намереваются их атаковать. А с другой стороны заходят еще два «фоккера». И вот мы ринулись наперерез этой четверке. И отбили ее, не дали возможности атаковать Лобаса и Кличевского, ну а тех двух они сами отшили. Потом мы развернулись и на встречных курсах опять пошли вместе, а четверка еще раз зашла. Ну, мы в этой четверке одного сбили, а в той паре Лобас с Кличевским тоже одного сбили. Вот так мы их и пощипали,

а сами мы не потеряли ни одной машины. А внизу все это время шла работа: там штурмовики давали жизни контратакующим танкам. Приведу только один пример о штурмовике Костенко. Он за один вылет тогда бомбами и эрэсами уничтожил шесть танков. Это было зафиксировано на земле. Записали номер его самолета, передали командующему. И когда Костенко вернулся из очередной штурмовки, его уже там ждали. Командующий прямо тут же, на аэродроме, наградил его орденом.

Виктор Петрович Бойко тоже, как я понял, уходил от рассказов о своих боевых делах, поэтому не случайно стал рассказывать о штурмовике. Я спросил инженера Богданова, надеясь, что хоть он, как человек, который не участвовал в воздушных боях, не будет стеснен личной щепетильностью и расскажет о летчиках поподробнее.

— Александр Иванович, летчики улетели, ведут бой в воздухе, а вы — инженер, остались на земле. У вас тоже ведь свои переживания. Расскажите о них, пожалуйста.

— У каждого летчика был свой техник, прикрепленный к машине. И когда летчик улетаёт на боевое задание, техник ждет своего командира, как брата: они же составляют нераздельный экипаж. Но летчик выполняет самую трудную и опасную работу. Поэтому инженеры и техники, оставаясь на земле, их ждали и переживали, они не покидали аэродрома и стояли у взлетной полосы и ждали. И когда появлялся над аэродромом самолет, то каждый техник узнавал своего летчика по почерку, каждый из них ведь по-своему летал и на посадку заходил. И они с гордостью говорили: «Вот мой пришел! Вот мой заходит!» И радовались, что он вернулся. А когда летчик отдыхал между боями, то уж техник вкладывал всю душу и готовил самолет к бою внимательнейшим образом. Так что техники и инженеры своим трудолюбием, своей добросовестностью помогали летчикам одерживать победы в воздухе.

— В общем, правильно будет сказать, что вы им помогали и выжить и победить в бою.

В разговор вмешался Лобас. Он обратился к Богданову:

— А ты лучше Расскажи, как вы друг другу жизнь спасали: ты — Бойко, а он — тебе.

— А что это за случай? — заинтересовался я.

— В 1943 году мы летели в Подмоскowie с фронта, получали новые самолеты. Был там Бойко, был и Лобас, ну и я, как инженер. Когда получили самолеты, надо было возвращаться, перегонять их на фронтовой аэродром. Как известно, в истребителе всего одно место для летчика. Ну а мне, инженеру полка, куда деваться? Мне тоже надо вернуться с ними вместе. Есть в самолете небольшое пространство, вроде багажника, что ли. Вот Бойко меня туда и пристроил в своем самолете. Полетели. И надо же такому случиться — самолет в воздухе загорелся! Виктор, конечно, мог бы выпрыгнуть с парашютом, оставить машину. Но я-то в багажнике без парашюта. И он это знал. А самолет горел сильно. И Бойко уже сам горел. На нем горела одежда и сапоги меховые. И все-таки он не бросил меня, пошел на вынужденную посадку. Посадил самолет в поле, а сам потерял сознание. Вот тут уже пришла моя очередь его спасать: самолет-то горел, и вот-вот могли взорваться бензобаки. Я вытащил Виктора, отнес его в сторону, а сам кинулся тушить огонь.

А Бойко лежит, встать сам не может, одежда на нем еще дымится — хоть я и потушил ее, но она еще тлеет. Он кричит мне: «Уйди, уйди в сторону, сейчас взорвутся баки!» Но все-таки я огонь затушил, и самолет мы спасли. Вот так мы побратались однажды в воздухе с Виктором. Нелегко ему досталось мое спасение — в госпитале с него перчатки и сапоги сняли вместе с кожей.

Вместе с некоторыми летчиками приехали на встречу в Москву и жены. Кстати, они не просто жены, а настоящие боевые подруги. Вот жена Бойко — Зоя Николаевна. Она была укладчицей парашютов в полку, имела звание старшины. Сейчас они живут в Днепропетровске, у них две дочери. Лида уже инженер-механик, а Женя — аппаратчица на заводе. Зоя Николаевна — веселая, очень общительная, совсем не похожа на бабушку, но у нее есть уже два внука.

В профессионально-техническом училище летчики встречаются не только с теми, кто сейчас учится здесь. Приходят сюда и выпускники прежних лет. Разговорился я с Валерием Белозеровым, попросил его рассказать о себе. Он заулыбался, застенялся и сказал:

— Ну, у нас не такие шикарные биографии, как у наших шэфов-летчиков! Я поступил в училище в 1968

году, в 1970 его окончил. Направили меня на завод, где я недолго проработал и был призван в ряды Советской Армии. Отслужил как положено. И вернулся опять на свой родной завод. В 1975 году перед самым XXV съездом КПСС меня приняли в партию. Вот и все главные события моей жизни.

Другой паренек, фамилии его не помню, сказал:

— Я тоже окончил в 1970 году училище и попал на завод точных приборов. Работа мне очень нравится. Я часто прихожу в училище. Тут у меня много близких людей. Прежде всего наш мастер, воспитатель наш, Терехин Павел Петрович. Он очень хороший мастер, мы у него многому научились. Он и сейчас здесь работает. Так что училище для нас, как и для летчиков, тоже родной дом.

Вот так, с военных лет началась добрая дружба ребят с летчиками, и вот что получилось из того необыкновенного случая, когда дети подарили взрослым настоящие самолеты. Много выпусков сделало училище за эти годы, и каждый из выпускников уносит в своем сердце тепло этой дружбы. Эстафета этой дружбы, передача боевых традиций от поколения к поколению будет продолжаться еще долго. Ее подхватывают все новые и новые поколения, и не только из профессионально-технического училища. На эти традиционные встречи приезжают офицеры, летчики, которые служат сегодня. Они рассказывали о своих друзьях-летчиках, которые летают на сверхзвуковых самолетах. Они взяли на вооружение боевые традиции летчиков военного времени и несут эту боевую эстафету в мирное время.

* * *

Когда начинается воспитание гражданина, патриота, воина-защитника Родины и вершителя благородных героических дел в мирные дни? Здесь мне хочется напомнить, пусть широко известную, но очень подходящую к нашей теме притчу о том, как молодая мать пришла к врачу и спросила: «А когда мне нужно начинать воспитывать ребенка?» Врач спросил: «Сколько вашему малышу?» — «Шесть месяцев», — ответила мать. «Вы опоздали ровно на шесть месяцев», — ответил доктор.

Воспитание патриота и настоящего гражданина тоже начинается с первых часов жизни. Могут возразить — ребенок же ничего не понимает! Это верно, он не понимает, а мы-то знаем очень многое, ну хотя бы такую истину — в здоровом теле здоровый дух. И тут имеется в виду не просто физическое здоровье, а еще и правильное формирование психических основ будущей личности. Ну а когда ребенок начал ходить, заговорил, стал открывать мир, превратился в «почемучку», надоедая бесконечными вопросами, тут закладывается фундамент его будущих взглядов, отношения к жизни и, конечно же, первые, начальные понятия о Родине и любовь к ней.

Наверное, лучше всего подтвердить это примером. Однажды получил я письмо из журнала «Семья и школа», где меня просили разобраться в проблеме воспитания, связанной с выработкой у ребенка воли, словом, качеств настоящего мужчины. Мне думается, что это вопрос не только данной семьи, а значительно шире — это дело наше общее и очень важное.

Итак, вот содержание письма, которое мне было переслано из журнала:

«Уважаемая редакция!

Очень трудно вам писать, трудно рассказывать людям о своих несчастьях и бедах. Ведь говорят в народе: «Нехорошо сор из избы выносить». И все же я решила написать. У нас двое детей: сыну Косте четыре года, дочке Кате скоро год. Я по профессии врач. Мой муж работает очень много, частые дежурства, бывает занят и по выходным. Когда он дома, казалось бы, вся семья должна радоваться, но в эти часы у нас редко когда тихо, спокойно, счастливо. Мне тяжело бывает одной, жду, чтобы муж скорей пришел с работы, но когда придет, — я не рада. Дело в том, что у нас постоянные ссоры из-за воспитания сына. Сейчас у сына тяжелый период — он привыкает к тому, что не один ребенок в семье, что у меня мало времени для занятий с ним, я очень устаю, нервничаю. Первое время сын ревновал меня к дочке, конечно, это у него выражалось по-своему: то одень его, то понеси на ручках, то начнет капризничать из-за того, что не ту ложку дала. Трудный период. Порой нет сил бороться с его капризами, стараюсь быть мягкой, ласковой, но, бывает, срываюсь. И все же этот период потихоньку у нас проходит, и Костя стал лучше, меньше капризов, больше стал поддаваться на уговоры.

Но муж мой совершенно не хочет ни с чем считаться. Он говорит, что я сына балую, слишком много с ним «рассусоливаю», поощряю его капризы, все ему позволяю. Позволяю ему из нас «веревки вить». Он считает, что ребенок должен родителей слушаться с полуслова. Должен бояться отца, тогда и будет толк. Я пытаюсь с ним спорить, доказывать, что только любовь, ласка рождает хорошее. Зло никогда не воспитало хорошего человека. Возможно, иногда прости-те-лен шлепок, если ребенок никак не понимает слов, но шлепок. Муж же мой, чуть что, бьет сына без жалости, кричит, как зверь, на него. Или схватит за ухо и тащит в угол. Я пробую возражать, он в ответ: «Ты еще будешь меня поучать!»

Вот сегодня утром Костя замешкался, собирался в садик, отец уже был готов, а Косте оставалось надеть пальто и ботинки. Отец пошел к зеркалу, а я сыну говорю: «Одевайся быстрее, пока отец не видит; ты быстро оденешься и выскочишь первым на улицу, скажешь, что ты первый. Вот какой молодец-удалец». Пальто уже надето, остались ботинки, но тут вышел отец. Сын в слезы: «Я хотел вперед, чтобы ты не видел, иди обратно». Я мужу тихо говорю: «Иди еще посмотришь в зеркало, а он тем временем оденется». Муж в ответ: «Ничего, и так обойдется!» Я ему: «Ну почему ты-то вредничаешь? Ведь ребенок бы сам быстро сейчас собрался и был бы готов». Муж к сыну: «А ну, одевайся быстро, кому говорят». Сын ревет. Отец: «Я пошел» — хлоп дверью — и вышел на улицу. Я Косте: «Быстрее, а то он уйдет». Костя стал брать носочки и свертывать, вернулся отец: «Что ты возишься?» Ударил его, хлопнул дверью и пошел. Я Костю вывела, отец уже далеко ушел. Говорю: «Догоняй отца». Муж кричит: «А ну быстрее! Бегом!» Костя идет медленно и оглядывается на меня. Отец с перекошенным от злобы лицом возвращается и кричит: «Я сейчас из тебя всю дурь вышибу!» Сын бежит, конечно, обратно ко мне.

Я сказала мужу, чтобы он шел на работу, Костю привела домой, а потом отправила с людьми, которые вели своих детей в этот же садик. Остались все с утра в плохом настроении. Подобных ситуаций у нас много.

Когда муж что-либо делает по дому — столярничает, слесарничает, Косте, конечно, хочется помогать,

смотреть, а муж его гонит прочь: «Не мешай!» Редко, когда между сыном и отцом мирно, без ссор. А уж о том, чтоб отец с ним занимался, о чем-то рассказывал — и речи не может быть. Костя все больше со мной, предпочитает мое женское общество.

Тем не менее муж любит детей, но любовь у него какая-то странная. В дочери души не чает. Я его спрашиваю: «Почему ты так груб, строг с сыном и так нежен с дочерью?» Отвечает: «Она — девочка, а он — парень. Я не хочу, чтобы из него вырос слюнтяй».

Я боюсь за судьбу сына. Как только отец его накажет — он начинает царапать лицо, говорит, что чешется. Если все спокойно — у него это проходит. Невроз уже начался. Говорю об этом мужу, он отмахивается: «Ты все выдумываешь!» Как быть?

Лидия Кондратьевна Ш.
г. Томск».

Уважаемая Лидия Кондратьевна, хоть и пишу я ответ Вам — женщине-матери, а разговор поведу, касающийся отцов. Потому что тяжелая обстановка в Вашей семье, как видно из письма, сложилась главным образом из-за отношения отца к сыну, из-за того, что муж Ваш считает свои воспитательные взгляды и методы бесспорно правильными.

К сожалению, такие заблуждения имеются не только у Вашего мужа. У женщин бывает слабость — от большой любви они порой так холят и лелеют свое чадо, что превращают его в безвольное, капризное существо. Может быть, опасаясь этого или просто желая вырастить «настоящего мужчину», некоторые отцы впадают в другую крайность, возлагая все надежды в воспитании только на строгость и требовательность. И в том и в другом случае мы имеем дело с ошибочным подходом к детям, а ошибка в воспитании человека — это, к сожалению, всегда боль души ребенка (и родителей — позже, когда поймут), это травма психологическая, которую излечить очень трудно, а порой и невозможно.

Вот исходя из серьезности проблемы и еще из уверенности, что лучше таких ошибок не допускать, чем позднее мучиться, исправляя их, я и отваживаюсь высказать некоторые свои суждения. Если это можно будет назвать советами, то прошу иметь в виду, они не

совсем мои личные. Кроме того, я отец троих теперь уже взрослых детей, воспитание которых, несомненно, обогатило меня опытом.

Муж Ваш (к сожалению, Вы не сообщили его имени-отчества) в воспитании Кости исходит из самых добрых побуждений: он хочет вырастить сына волевым, собранным, дисциплинированным, в общем, настоящим мужчиной. Или, как он говорит, «чтобы слюнтяем не вырос». Разве это плохо? Конечно же, хорошо! Плохо то, что, поставив такую цель, отец идет к ее осуществлению путем, который ему кажется правильным, а в действительности — неверным. Педагогическая наука и родительская практика советуют нам воспитывать мальчика, чтобы у него укрепились качества, желанные вашему мужу. Главная беда в том, что отец Кости не знает или, в силу своего «норова», не хочет считаться с общеизвестными положениями в воспитании детей, которые вы правильно подсказываете ему.

Примеры воспитательных воздействий Вашего мужа, приведенные в письме, дают право делать столь нелестные выводы.

Поскольку Ваш супруг, конечно же, прочтет эти строки, мне хочется предложить ему представить следующую ситуацию. Допустим, захотелось Вам, Костин папа, стать парашютистом. И вот наставник Ваш или тренер бросает кучу одежды, парашют и все необходимое и, желая вселить в Вас твердость и уверенность, коротко по-мужски говорит: «Одевайся!» Вы начали натягивать комбинезон, приспособливать крепление парашюта, запутались в этом неизвестном Вам снаряжении, а тренер кричит: «Растяпа! Куда тебе прыгать с парашютом. Ты и на земле задушишься этими лямками!»

Вы нервничаете, торопитесь и еще больше путаетесь в креплении. А тренер уже негодует. Он дает Вам подзатыльник... Впрочем, тут я, видимо, допускаю перебор, ни один тренер рукоприкладства не позволит. Ведь подобное считают допустимым только некоторые папаши в отношении своих сыновей.

Ну ладно, остановимся на словесной грубости. Как Вы будете себя чувствовать, услышав незаслуженные оскорбления? Можно предположить два варианта Вашего поведения. Первый — Вы сбросите с себя снаряжение и заявите, что не желаете заниматься с таким

грубияном. Второе предположение — Вы крикнете с возмущением: «Сначала научите, как и что я должен надеть, закрепить, а потом уж требуйте!»

Примерно так же имеет право поступить и Ваш сын Костя. Но отец не тренер, его сменить нельзя. А сказать «Сначала научи, а потом уж требуй» сын не может, потому что нет у него жизненного опыта, не знает он этой элементарной истины. И Вы, стало быть, пользуетесь своим превосходством, своей силой, привилегией возраста.

Лидия Кондратьевна рассказывает случай, когда она хотела, чтобы сын оделся быстрее Вас, а Вы бы сказали ему: «Какой молодец-удалец!» Но Вы оделись быстрее, стали кричать на сына, а потом ударили его и на улице еще негодовали: «Я сейчас из тебя всю дурь вышибу!» Испуганный Костя убежал домой к матери, и позднее чужие люди отвели Вашего сына в детский сад.

Трудно поверить, что взрослый здравомыслящий человек, отец, так обращается с сыном, который еще так невелик! Сын льнет к Вам, хочет, чтобы Вы его похвалили, хочет поучиться у Вас, а как поступаете Вы? Обращаюсь опять к письму: «Когда муж что-либо делает по дому — столярничает, слесарничает, Косте, конечно, хочется помогать, смотреть, а муж гонит прочь: «Не мешай!..» А уж о том, чтобы отец с ним занимался, о чем-то рассказывал — и речи быть не может. Костя все больше со мной, предпочитает мое женское общество». Если такие порядки в семье, то с чьей же помощью и как будет вырабатывать Костя необходимые каждому мужчине черты характера?

Есть в нашей стране большая и мощная организация, одна из задач которой — воспитывать человека мужественным, не говоря уж о многих других прекрасных качествах. Это всеми уважаемая организация называется Советские Вооруженные Силы. Я прослужил в них двадцать пять, как говорится, календарных лет. Да и Костин отец тоже, наверное, прошел эту замечательную школу жизни. Давайте вспомним некоторые армейские принципы обучения и воспитания, потому что, как мне кажется, Вы склонны ошибочно считать, что применяете именно военную методику к своему сыну. Так вот в армии принят принцип: показать, научить, потренировать. Главный же способ обучения: «Делай, как я!» Причем этот показ должен быть образ-

цовым, а хороший командир еще и добавляет: «Лучше можно, хуже нельзя!»

Так поступают со взрослыми, здоровыми парнями, которые имеют образование и некоторый жизненный опыт. Как же можно все это забыть, отбросить при воспитании человечка, который делает в жизни первые шаги и ничего еще не умеет!

В таком возрасте нужна особая осторожность, рассудительность, терпеливость, а порой, как правильно говорите Вы, Лидия Кондратьевна, некоторая артистичность, умение подыграть ребенку, сделать вид, что не замечаешь его неловкости,— это поможет ему обрести уверенность в своих силах.

Это очень важно — быть уверенным в своих силах! Давно известно, что вера в себя прибавляет человеку ловкости и отваги, делает его выносливее и мужественнее. И наоборот, сомнение, колебание, неуверенность в своих силах снижают даже те возможности, которые объективно заложены в человеке.

Я много думал об этом, решение этой проблемы составляет одну из центральных сюжетных линий в моем романе «Взять живым!». В книге герои взрослые, но я думаю, в принципе, при воспитании уверенности мои суждения применимы и к детям, а может быть, к детям даже в большей степени, чем к взрослым.

Одной из побудительных причин написания этого романа для меня явились следующие обстоятельства. В нашей литературе много детективных, так называемых «шпионских», приключенческих книг. Их охотно читают люди всех возрастов, и особенно дети, подростки. Одна из особенностей этих книг в том, что авторы, стремясь сделать свое творение более интересным, стараются выдумывать все более острые ситуации и головокружительные приключения. В конце концов дело дошло до того, что все совершаемое в подобных книгах доведено до таких преувеличений, что стало под силу только сверхчеловеку, супермену. Хорошо это или плохо? Ну, для нас, взрослых, это — развлекательное чтиво, которое мы забываем на следующий же день, а в момент чтения сопровождаем легкой улыбкой и иронической ухмылкой: «Ну и загнул!» А дети читают это с искренним увлечением и, в силу своей жизненной неопытности, верят прочитанному, удивляются, восторгаются похождениями сверхчеловеков. И хотя они этого или нет, подсознательно закрадывается

в их души сомнение: «А я так не смогу!» И правильно, так не только они, а вообще никто не сможет, потому что нет в природе сверхчеловеков! От книжки к книжке сомнения укрепляются и складываются в стойкое ощущение своей неполноценности. А в действительности ее нет — этой неполноценности! Но коль скоро такое ощущение в ребенке зародилось, то есть основание предположить, что в каких-то сложных, критических ситуациях эта неуверенность реально проявится робостью и даже трусостью. Пусть всегда будет мир, мы не стремимся к военизированному воспитанию наших детей, но нам совсем не хочется, чтобы наши сыновья, если и на их долю выпадет военное лихолетье, спасовали перед трудностями.

Вот я и написал книгу о войсковых разведчиках, о храбрых советских парнях, которые сломали хребет такой огромной вражеской машине, как германский фашизм. Это были люди простые, получившие воспитание в семье, в школе, пионерской и комсомольской организациях, студенческих и трудовых коллективах. И для героической защиты Родины у них были все необходимые качества, выработанные нашей советской системой воспитания и нашим образом жизни.

Если эти суждения приложить к тому, что происходит в Вашей семье, Лидия Кондратьевна, то придется признать, что, к великому сожалению, муж Ваш достигнет обратного тому, к чему стремится. Не твердость характера, а неуверенность, боязнь и нерешительность сформируют в Косте окрики отца и подзатыльники. Отец своими упреками, руганью то и дело уверяет, убеждает Костю, что тот плохой, неловкий, «неполноценный». И это говорит не кто-нибудь, а отец, чей авторитет для сына, конечно же, очень высок! Можно сказать, этот мужской авторитет для мальчика пока единственный, так как Костя с другими мужчинами, в силу своего малолетства, еще не общается.

Хочется сказать несколько слов об этих других мужчинах в судьбе ребенка. Я не хочу этим обижать отца Кости, как бы отодвигая его на второй план и возлагая надежду на «довоспитание» сына другими. Нет и нет! Отец остается для сына непоколебимым авторитетом, даже если у родителя есть недостатки. Ребенок ведь не понимает, не может до какой-то поры разобраться, что хорошо и правильно, а что — нет. До

определенного возраста (Костя пока еще в таком) мнение родителей для сына не вызывает сомнений и желания возражать. Но когда это время придет, вот тут-то очень большую роль играют другие мужчины. Для Кости они сейчас появляются в телепередачах, сказках, картинках. А вскоре он будет встречать их на страницах книг, которые научится читать. И возможно, для него станет авторитетом кто-то из этих героев.

Вспоминаю себя. Кто был для меня образцом для подражания? Как это ни странно — не отец, хотя отец у меня был справедливый, строгий, но и добрый человек. Он был служащий, экономист, а мое ребячье воображение искало героического, романтического образца. И я нашел его. Рядом со школой, в которой я учился, находилось военное училище. Вполне естественно, в нашей школе училось много детей командиров — так до Отечественной войны называли офицеров.

Я часто бывал со своими друзьями в училище, в семьях командиров, и вот тут-то я и нашел для себя, как теперь говорят, «делать жизнь с кого». Курсанты — сильные, ловкие, загорелые, вселые, с нами, мальчишками, добродушно-шутливые, — ну разве можно было их не полюбить! И я полюбил их всей душой, хотел быть на них похожим, считал дни и месяцы, когда закончу школу, чтобы поступить в училище.

Отцы моих товарищей — капитаны, майоры — казались мне воплощенной мечтой, идеалом далекого будущего. И я действительно поступил в училище и испытал огромное счастье от общения и совместной службы со многими великолепными офицерами, а впоследствии сам стал полковником. И всегда, на всех этапах жизни, кто-то выделялся из общей среды — я любил этого человека, хотел быть на него похожим, учился у него. Сначала это был командир взвода лейтенант Сиваков — отличный мастер штыкового боя, великолепный гимнаст, военная форма на нем сидела необыкновенно красиво. Потом душа моя потянулась к ротному командиру, старшему лейтенанту Кобцу. На первом курсе он мне казался строгим и даже крутым. Но позднее, когда я разглядел, какая большая любовь к нам, курсантам, кроется за его требовательностью, как он отдает все силы для того, чтобы сделать из нас настоящих знатоков военного дела, как он, не считаясь со временем, дено и ночью возится с нами, я решил для себя — буду таким же, когда стану командиром.

Ну а начальник нашего училища комдив Иван Ефимович Петров был и для меня, и для всех моих однокашников высшим идеалом. Без преувеличения, чисто-сердечно признаюсь — и по сей день я ношу в сердце образ этого замечательного человека и считаю его для себя образцом. Причем так любопытно получилось: рос я, расширялись мои взгляды, развивались вкусы, и постоянно рос и приобретал все больше замечательных качеств и мой идеал — генерал Петров. Он руководил в 1941 году героической обороной Одессы и Севастополя. Он вырос в одного из крупных советских полководцев, стал Героем Советского Союза, генералом армии, командовал фронтами, после войны занимал ответственные посты. Он был человек широко образованный, понимал цену произведений искусства. Именно поэтому Петров принял самые срочные меры для спасения шедевров Дрезденской картинной галереи, ведь Иван Ефимович на том участке был начальником штаба фронта. Я встречался с этим замечательным человеком не часто, но всегда помнил, как в далекой юности приходил в дом Петрова с его сыном Юрой, учеником нашей школы, и как однажды Иван Ефимович сказал мне:

— Тебе, Володя, надо идти в училище, ты спортсмен, из тебя хороший командир получится.

Не знаю, помнил ли эти слова Иван Ефимович, когда я встречался с ним уже будучи командиром полка, но я-то его напутствия всегда помнил, а образ его на всю жизнь для меня останется примером для подражания.

И при всем этом мой отец — Василий Михайлович, которому не суждено было стать даже младшим лейтенантом, он был сугубо гражданским человеком, всегда стоял в моем сознании не ниже всех моих военных учителей. Он был отец — и этим сказано все. Его желание было для меня нерушимо, его совет — всегда ценным. За отца я готов был, как говорится, кинуться в огонь и в воду. Я знал, что и он по отношению ко мне испытывает то же.

Мы с ним никогда об этом не говорили, не было у нас за всю жизнь ни разу «объяснения в любви», отношения у нас всегда были ровные, даже немного сдержанные, но мы всегда знали — и он, и я — нет у нас человека более близкого друг для друга, разве только мама. Так мы прожили всю жизнь, чаще

в разлуке, — военная служба бросала меня по разным краям, но эти отношения между нами сохранялись всю жизнь. Вот ведь как получилось: отца я для себя в смысле профессии в образец не взял, но как человек, как личность он всегда был для меня высшей инстанцией!

Рассказав о своем отце, я вдруг подумал, а что дал своим детям, когда они были такие маленькие, как Ваш Костя? Дети росли, учились. Были иногда и затруднения, и разногласия между мной и женой, случались и ошибки, в общем, было все, как и в каждой семье. Я тоже относился к сыну строже, чем к дочерям, считая, что дочки требуют несколько иного отношения. А теперь думаю: может быть, эта строгость, хотя и не была она чрезмерной и никогда не перерастала в грубость, все же как-то охладила отношение сына ко мне? По всем показателям он, казалось бы, должен был хотеть стать на меня похожим. Я в свое время чужих военных отцов взял себе в образец. А у него свой! И вот, надо же, не получился из моего сына военный. Рано еще говорить, кем он будет — формирование его как личности еще не завершено, образование не получено. Ясно только одно — военным ему не быть.

Может быть, доля воспитания, вложенная женой, взяла верх? Вполне возможно, она по образованию педагог. Я не в обиде. И чтобы не впасть в односторонность, скажу и о своей матери Лидии Логиновне. Она не имела педагогического образования, была домохозяйкой, но дала мне очень многое, что помогло в жизни и на войне, и в мирное время, и в работе, и в общении с людьми, и в понимании смысла бытия, и в стремлении стать порядочным человеком.

Так что отец и мать — это два равноправных, равнозначных и равносильных источника, из которых черпает свои будущие качества ребенок. Это не ново, всем известно, и я говорю Вам об этом, Лидия Кондратьевна, лишь для того, чтобы напомнить: все, что Вы вкладываете в Костю, не пройдет бесследно, а прорастет в нем и проявится в будущем. Приведу лишь один пример: двух Героев Советского Союза Зою и Александра Космодемьянских воспитала мать. Они рано лишились отца.

А вот для дочки своей Оли я, видно, стал желанным образцом. Она, девочка, невзирая на связанные с этим трудности, добилась и пробила в военное учебное

заведение и на всю жизнь определилась как военная. Вот ведь какие воспитательные парадоксы случаются в одной семье!

Этим я хочу лишь подчеркнуть — нет и никогда не будет каких-то определенных, постоянных рецептов воспитания детей. Каждый раз подход к ребенку и воспитательные приемы необходимо индивидуализировать. Но это совсем не значит, что каждый родитель открывает Америку заново. Просто из огромного богатства, имя которому — наука о воспитании, родители выбирают наиболее подходящие средства и методы, исходя из индивидуальных особенностей не только ребенка, но и своих личных. А поскольку в начале разговора я откровенно намекал, Лидия Кондратьевна, на то, что в воспитании нуждается не только Костя, но и Ваш супруг, тут, мне кажется, самое время подчеркнуть мысль: Вашему супругу без лишних обид следует хорошенько подумать, взглянуть на себя, как говорится, со стороны, не веря слепо в свой опыт, почитать кое-что из педагогической литературы, ну и, самое главное, — найти в себе силы и побороть несколько обостренную самоуверенность в своей непогрешимости. Разговор-то идет о родном сыне! Будущее сына, Ваше и Вашего мужа благополучие во многом зависят от счастья Кости, и это счастье, конечно же, стоит того, чтобы поступиться и своим самолюбием, и еще кое-чем, что создает в Вашей семье такую напряженную, тяжелую психологическую атмосферу.

В конце письма, уважаемая Лидия Кондратьевна, Вы спрашиваете: «Как быть?» Очень трудно ответить на этот короткий вопрос, потому что за ним стоит очень многое. Не помню, кто сказал: «Легче всего давать советы и труднее всего выполнять их». Это верно, потому что совет — это всего лишь слова, а выполнение их — это уже деяние. А действовать всегда труднее, чем говорить или писать.

Мне кажется, ответ на этот короткий, прямой и очень трудный вопрос Вы должны найти вместе с мужем. Сядьте вечером, когда уложите детей спать, и поговорите спокойно, не напоминая друг другу обид и промахов. И начнете жить и воспитывать сына по-новому. Только вместе, согласно, учитывая сегодняшние нужды Кости и собственные возможности сделать для сына все необходимое. Это, на мой взгляд, обязательное условие.

У нас много героев, имена которых общеизвестны: Гастелло, Матросов, Космодемьянская и другие. Их будут помнить поколения. Но как обстоит дело с памятью не только о таких широко известных героях? В связи с этим я выбрал простого рязанского паренька — Алексея Каширина. Он на фронте был всего один год: в ноябре 1943 года призван, а в январе 1945 погиб.

Вот что рассказал о нем рядовой Даренко, который был с Кашириным в том последнем памятном бою...

— Январский морозный день был сумеречным. Поступил приказ — овладеть укреплениями за широкой нейтральной полосой. Рота пошла в атаку. Сначала все было хорошо. Мы достигли середины нейтральной зоны, но фашисты, видимо, допустили нас на эту открытую полосу умышленно. И когда мы оказались на поляне, гитлеровцы открыли пулеметный огонь. Огонь был настолько силен, что нас просто прижало в снег, и мы лежали, не в состоянии поднять головы. Так, конечно, не могло продолжаться долго — вся рота погибла бы. Это понял и Каширин. Он пополз к пулемету, который находился перед нашей ротой в дзоте. Мы увидели ползущего бойца и еще не знали, что это был Алексей Каширин, но все следили за тем, как он приближался к проволочному заграждению. Он не полз, конечно, прямо на пулемет. Каширин был опытный воин, его до этого наградили медалью «За отвагу». Он полз несколько левее дзота, а когда достиг проволочного заграждения, то стал приближаться к дзоту сбоку. Он подполз на бросок, метнул подряд две гранаты. Но взрывы не причинили вреда фашистам, которые находились в укрытии. Пулемет забил еще более ожесточенно, так что рота подняться не могла. И вот тогда Каширин стал приближаться к амбразуре. Мы старались помочь ему, если огонь по амбразуре. Это было опасно — он же был близко от этой амбразуры, мы боялись попасть в него, стреляли только снайперы. Каширин приблизился к амбразуре, несколько раз выстрелил в нее. И тут мы вскочили. Его храбрость, самопожертвование, на которое шел Каширин, вдохновило нас. Мы вскочили и кинулись вперед. И в это время пулемет забил с такой ожесточенностью, непрерывной очередью, что мне показалось, очередь эта срежет всех

наступающих. Именно в этот миг Каширин и кинулся на глазах у всей роты на пулемет и закрыл собой амбразуру...

Рота выполнила задачу, но ради этого наш друг Алексей Каширин отдал жизнь. Он совершил подвиг.

Вот тогда, прощаясь с героем, его боевые друзья сказали о том, что они будут помнить его вечно.

В феврале 1978 года я приехал в деревню Проскурово, где жил до войны Каширин. Все вокруг было занесено снегом. Я с большим трудом пробрался к домам. Поговорив с председателем сельсовета о жизни, о делах, я спросил: помнят ли в родном селении об Алексее Каширине? Председатель очень оживился, ответил:

— Конечно же! — и пригласил: — Пойдемте, посмотрите сами. Кстати, приехала к нам мать Каширина. Зайдем за ней.

Мы вышли на улицу, и председатель повел меня вдоль села. В центре, на небольшой площади, окаймленной деревьями, стоял памятник. Каширин изваян не в полный рост — бюст, в военной форме. Суровый, заснеженный. Я вспомнил — Алексей погиб в январе. Может быть, и тогда, в свой звездный день свершения подвига он был весь в снегу, когда полз к пулемету и когда лежал на амбразуре...

Мать Алексея — Анна Дмитриевна Каширина уже несколько лет живет в Рязани у младшего сына Анатолия. А всю жизнь она прожила в этой деревне. Старенькая, с добрым круглым лицом, чистыми карими глазами.

Матери не забывают своих детей. До последней минуты своей жизни хранят они в своем сердце эту скорбную память и все не верят, что нет в живых любимого дитя. Мы ходили с Анной Дмитриевной по деревне, я расспрашивал ее об Алеше. Остановившись у небольшого старого дома, Анна Дмитриевна рассказала, что этот дом они строили всей семьей, своими руками.

— После того как я вышла замуж, на третий год, накопив немного денег, мы стали строить этот дом. Сами кирпича наделали, потом сами и строили.

— А сколько у вас было детей?

— Шестеро.

— И все в этом доме родились?

— Все родились в этом доме. Хороший, счастливый дом. Много радостей было в этом доме. С мужем я прожила сорок лет. Жили мы дружно. Детей у меня было одиннадцать человек, а выжили всего шесть.

— А на фронт сколько сыновей вы проводили?

— На фронте были Костя, Валентин. Последним ушел младший — Алешенька. Первым погиб Валя. Он пошел служить еще до войны на срочную службу. До призыва работал учителем. В 1940 году был призван. Перед войной прислал письмо: «Вот, папанька, я уже командир танка!»

— А в каком году он погиб?

— Да я точно не знаю. Сначала он был ранен, лежал в Новосибирске, в госпитале. А потом написал письмо, что опять едет на фронт. Как только прибывает на новое место, сообщит нам адрес. И вот этого нового адреса я так и не получила. Сообщили нам уже после войны, когда мы наводили справки, что он пропал без вести. Костя тоже был ранен, лечился, лежал в госпитале. А к 43-му подрост и Алексей. Он и по рождению был у меня третий, и на фронт ушел третьим. Было ему всего семнадцать лет. Со мной остался младшенький — Толя да дочки.

Потом уже, когда мы сидели в доме ее сына Константина Ивановича и пришел Толя, я спросил Анну Дмитриевну:

— А на кого был больше похож Алексей: на Костю или на Толю?

Мать внимательно посмотрела на сыновей и сказала:

— Не похож ни на того, ни на другого. Он был белокурый, невысокого роста, крепкий. Очень хороший, работающий был, трудолюбивый парень. Никогда ни в чем мне не отказывал, что просишь — все сделает быстро и с душой. А глаза у него были карие.

Я посмотрел в глаза матери — они тоже были карие, наверное, такие же и у Алексея.

— Он на фронт очень спешил. Говорил мне: «Вот видишь, мама, Валя наш погиб, и Костя где-то затерялся». А нам пришло такое письмо, что Костю семнадцать суток не могли найти. «Настало время и мне, стало быть, идти». Ну, а потом получили письмо, что Костя нашелся. Он был тяжело ранен.

— Константин Иванович, а что произошло? Почему вы затерялись? — поинтересовался я.

— Случилось это в разведке. Я тогда был лейтенантом, командовал взводом. И вот однажды в рукопашной схватке в меня выстрелил фашистский офицер, тяжело ранил. Ну, обстоятельства сложились так, что не сразу узнали, где я нахожусь. Я попал в госпиталь. Друзья меня не забывали. И на память об этой вылазке подарили мне кортик того фашистского офицера.

Константин Иванович снял висевший на стене офицерский кортик со свастики на рукоятке и показал его мне:

— Вот он.

— Так вы, значит, в разведке служили?

— Начинал я службу моряком. Когда меня призвали, я попал на флот, в Кронштадт. И некоторое время служил во флоте.

Я подробно расспросил Константина Ивановича о его боевых делах. А затем, продолжая беседу, спросил Анну Дмитриевну:

— Кто помнит об Алеше, кроме вашей семьи?

— Ну, как же, многие помнят. Все односельчане помнят. И в Рязани его чтут — есть улица имени Алексея Каширина. И в Чебаркуле в школе есть пионерская дружина имени Алеши Каширина. Ребята мне часто письма пишут.

— Наверное, спрашивают подробности, фотографии просят прислать?

— Нет, теперь уж они ни о чем не спрашивают. У них все есть, то, что и у нас в семье. Я им все отправила: и фотографии, и письма. Теперь они об Алеше знают столько же, сколько и мы — его родные. Ребята теперь мне просто поздравления шлют к праздникам. Письма добрые пишут. А вот к 8 Марта подарок прислали. И раньше подарки присылали, а вот к этому празднику прислали термос большой. А вокруг этого термоса полный ящичек конфет насыпали. И пишут они мне письмо: «Поздравляем вас с праздником 8 Марта, дорогая мамочка! Пейте чай с конфетами».

Я спросил младшего брата Толю, помнит ли он брата? Толя ответил не сразу, думал, вспоминал.

— Я ведь маленький был. Всего пять лет исполнилось, когда ушел Алексей на фронт. Я его плохо помню. Так что рассказывать мне особенно нечего. Но меня часто спрашивали о брате. Я учился в той же

школе, где учился и Алеша. И ребята меня спрашивали, как брата героя, каким он был? Да и мне самому, конечно, очень хотелось узнать об этом. Я расспрашивал подробно маму. Она мне многое рассказала о нем. Спрашивал я и односельчан, с кем Алеша встречался. Брат очень уважительно относился к старикам. Вечерами читал им газеты, особенно сводки с фронта. Его любили за это деды. Соберет их в кружок, сидит, читает, обсуждает с ними события на фронте. Его за это ребята самого дедом прозвали. Но это, конечно, шутка. Он был веселый, играл с ребятами. Ну, и в семье он в то время был уже старшим, помогал маме, работал в кузнице. Знал я, что любимой песней Алешки была песня о комсомольцах «Там вдали за рекой». И мы тоже ее пели. С особенной грустью выводили такие слова: «Ты, конек вороной, передай дорогой, что я честно погиб за рабочих». Рассказали мне и о том, что Леша участвовал в самодеятельности. В школе ставили инсценировку рассказа Пантелеева «Пакет». И Алеша так истово играл, что когда его захватили белые и надо было уничтожить этот пакет с донесением, то он на сцене прямо этот пакет съел по-настоящему.

Анатолий разыскал многое о своем брате. Он нашел и однополчан Алексея, ведет с ними переписку. До сих пор обменивается письмами с Николаем Михайловичем Прыгуновым. Старшина запаса Прыгунов бывал не раз вместе с Алексеем в бою и рассказал Толе о его героическом подвиге.

— А где вы сейчас работаете, Толя?

— Сейчас я работаю токарем в Рязани, на заводе тяжелого кузнечно-прессового оборудования.

О многом мы говорили в тот день в семье Кашириных. Пересмотрели и перечитали вырезки из газет, письма, которые они получали. Словом, вспомнили Алексея хорошими, добрыми словами. И, как бы подводя итог нашему разговору, Анна Дмитриевна, вытирая невольные выступившие слезы и глядя на меня добрыми материнскими глазами, сказала:

— Вот Костя вернулся с фронта. Вы вернулись с фронта. Я счастлива, и ваша мать тоже, конечно, счастлива, что вы вернулись живым и здоровым. Но я, конечно, всегда, сколько буду жить, каждый день

вспоминаю и Валентина, и Алексея. И буду помнить их всегда. Только матери знают, какое это непоправимое горе — терять сыновей. Я не видела его мертвым, я не видела, как его опустили в могилу. Он в моей памяти всегда живой. И вот, казалось бы, уже нет никаких надежд, а я все-таки его жду.

В школе, где учился Алексей Каширин, его чтут героем. Здесь, в уголке боевой славы, о нем собрано все по крупицам. А кроме этой памяти, запечатленной на стендах, проводятся уроки мужества. И один из них, по традиции, ведет брат героя, педагог этой школы Константин Иванович Каширин.

Это необычный урок. В нашей стране проводится много хороших, нужных и полезных уроков мужества. Но, конечно же, особенно большое воспитательное значение, мне кажется, имеет именно вот такой урок, когда его ведет брат героя. Ведь сам брат бывалый фронтовик, награжденный орденом Славы, медалью «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». Это человек, который прошел войну по трудным фронтовым дорогам. Первое крещение он получил в боях на Балтийском флоте, служил в Кронштадте пулеметчиком на катеро-охотнике. Потом был зенитчиком на берегу, прикрывал Кронштадт от воздушных налетов. А как бомбили Кронштадт, как стремились фашисты разрушить эту неприступную крепость, форпост Ленинграда, — всем хорошо известно. В 1943 году Константина Ивановича направили в артиллерийское училище, по окончании которого он стал лейтенантом-артиллеристом, служил в артиллерийском полку резерва Главного командования. Три раза был ранен. Вернувшись в родное село в 1945 году, он окончил десять классов, поступил в педагогическое училище и стал педагогом. И мне кажется, что специальность учителя выбрана им не случайно. Сейчас Константин Иванович учит ребят в своей родной школе, той самой, где учился сам, где учились его братья. В этом заложен большой смысл, именно эти мотивы подсказали ему необходимость стать педагогом. Поэтому я и повторяю: когда урок мужества ведет такой человек, как Константин Иванович, урок обретает особенно большой воспитательный смысл.

Я беседовал с ребятами в школе и убедился, что они на всю жизнь сохранят память об Алексее Каширине. Мне не хотелось задавать им традиционный вопрос: кем собирается стать каждый из этих веселых,

смышленных и шаловливых ребят. Я спросил их о другом:

— Как вы думаете, кем бы стал Алексей Каширин, если бы он не погиб на фронте?

Этот вопрос для ребят был несколько неожиданным. Но я верил, что каждый из них, отвечая на мой вопрос, вложит в ответ и свою мечту.

Крепкий, спортивного сложения Павел сказал:

— Мне кажется, Каширин стал бы офицером. Потому что в годы войны он убедился, как важно, как необходимо защищать Родину от врагов. Став героем, получив большой опыт, он, конечно, решил бы передать этот опыт тем, кто должен беречь Родину.

С ним не согласился другой парень, одноклассник, с золотистыми кудрями:

— Нет, он для того и воевал, чтобы прогнать врагов с родной земли. Он любил свою Рязанщину и обязательно вернулся бы в родное село Проскурово.

А третий, задумчивый, рассудительный, предположил:

— Мне думается, что он стал бы учителем, как Константин Иванович. И учил бы нас сейчас мужеству в этой школе.

А девочка Надя, смущенно улыбаясь, сказала:

— Может, он стал бы сейчас моим дедом. Я бы его очень любила. Ведь ему сейчас бы перевалило за пятьдесят лет.

Высказывалось много и других предположений. Одни говорили, что, наверное, он стал бы кузнецом, потому что очень любил эту работу. А может быть, работал бы вместе с братом Толей на заводе в Рязани. Может быть, уехал бы куда-то на стройку.

Я смотрел на ребят, заглядывал в их живые, радостные глаза и думал: действительно, Алексей Каширин мог стать любым из тех, о ком сейчас говорилось. Но он отдал жизнь для того, чтобы сбылись мечты этих ребят. Он погиб, отстаивая их счастье.

Прочитал я письма, присланные матери из Литвы, из города Скупадас, недалеко от которого находится могила Алексея Каширина. Письма прислал Анне Дмитриевне секретарь райкома партии. Прочитал я очерк о подвиге Алексея Каширина в книге о Героях Советского Союза земли рязанской. Книга называется

«Солдаты славы не искали». Прочитал заметку в солдатской газете «В атаку». Заметка эта написана была 1 февраля 1945 года, вскоре после гибели Каширина. Вот что в ней написано: «Пройдут многие годы, но в памяти советских людей сохранится имя юноши, комсомольца Алексея Каширина, отдавшего жизнь свою ради жизней товарищей, ради победы над врагом».

Особенно веско звучит оценка командующего фронтом, знающего цену военному подвигу. Командующий, представляя к награде Каширина, сказал в заключение: «Алексей Каширин — отважный воин, пожертвовал своей жизнью во имя победы нашей Родины над немецкими захватчиками. Младший сержант Каширин достоин высшей награды нашей Родины — присвоения ему звания Героя Советского Союза».

И песню о Каширине сложили его боевые товарищи. В ней есть такие слова: «Никто не давал приказаний собою закрыть пулемет. Но слышал боец из Рязани, как сердце на подвиг зовет. Пусть скроет кровавые пятна пороша на смятом снегу, но память о подвиге ратном солдаты в сердцах сберегут». И всюду, где бы я ни притрагивался к памяти Каширина, оказывается, всюду ее хранили бережно.

В Рязани прошел я по улице имени Каширина, читая таблички на домах с его именем. Остановил всего двоих: одного — пожилого и одного молодого человека. Спросил: что они знают о Каширине. Пожилой, узнав во мне приезжего, очень подробно и взволнованно рассказывал многое из того, что нам теперь уже известно. Он говорил о Каширине так горячо, будто он не только его земляк, но и близкий родственник. Молодой паренек, которого я остановил, сначала с недоумением посмотрел на меня. Взгляд его прямо говорил: «Как можно не знать о Каширине!» Потом коротко ответил:

— Каширин — наш, рязанский, Герой Советского Союза. Он повторил подвиг Александра Матросова!

— Но почему же — «повторил» подвиг? У Алексея Каширина была своя жизнь, — возразил я. — И когда он шел на подвиг, наверное, не думал о том, что он повторяет уже кем-то совершенное. Он совершил свой солдатский, ратный подвиг, выручая товарищей в бою.

Юноша посмотрел на меня с еще большим удивлением и стал почему-то извиняться, говоря о том, что это не он так говорит, а так пишут.

— Ну, пусть так пишут. А вы что об этом думаете?

— А я с вами полностью согласен, я тоже считаю, что Каширин совершил свой подвиг, настоящий, собственный, не думая ни о каком повторении...

В общем, я убедился: память о простом рязанском пареньке Алексее Каширине, как и обещали его фронтовые друзья, хранится бережно. Я не был в части, где он служил, но абсолютно уверен, что там строго-настрого выполняется приказ министра обороны. Ежедневно на вечерней поверке, когда перед строем роты звучит имя сержанта, Героя Советского Союза Алексея Каширина, правофланговый отвечает: «Погиб смелостью храбрых, защищая Родину». И так будет вечно.

Конечно же, вечность — понятие безграничное. Будут в этой вечности свои переломы, свои падения и взлеты, но все же наше поколение не только совершило массовый героический подвиг, но и посылает в эту вечность импульсы вечной памяти о наших славных делах, о наших славных героях. И от того, какими будут наши наследники, и от того, насколько горячи и проникновенны эти наши импульсы, будет зависеть, как далеко в вечность они проникнут и как они будут там восприниматься. Одно несомненно: наше поколение свое слово держит, оно делает все для того, чтобы память о павших действительно была вечной.

О первом ближайшем к нам поколении, о том, как оно принимает эстафету памяти и героических дел наших, можно ли уже сегодня сказать вполне определенно?

* * *

Разгромив германский фашизм, причинивший нам колоссальные беды, мы заявили, что не испытываем вражды к немецкому народу, отнеслись с большим пониманием к трагедии самого немецкого народа. Это высокое и благородное качество победителя, не унижающего и не уничтожающего побежденного, тоже необходимо разъяснять и передавать молодому поколению. Мне довелось встречаться с немцами лицом к лицу и в бою и в мирное время. Я испытывал очень противоречивые чувства при этих встречах. И поскольку случилось так, что я повстречался не так давно с одним из тех, с кем мы могли бы сцепиться в траншее или в блиндаже и расцепились бы только тогда, когда один из нас стал мертвецом или пленным, считаю

нужным рассказать об этой встрече и поразмышлять об удивительном качестве советского воина, воспитанного Коммунистической партией.

В 1964 году я впервые прилетел в Берлин. В годы войны не дошел до него: последний — третий раз был рапен на пути к Кенигсбергу.

С первых минут пребывания в Берлинском аэропорту меня охватило чувство настороженности, любопытства и смутной подозрительности. Это чувство появилось, как только я увидел немецких офицеров. Офицеры ходили по глянцевым залам аэропорта, разговаривали со штатскими пассажирами, проходили мимо меня, останавливались рядом. При их приближении что-то натягивалось у меня в груди, как боевая пружина. Вскоре я понял, почему такое со мной происходит. Форма! Офицеры одеты в знакомую по войне бледно-зеленую форму! Правда, нет на груди орла со свастикой в когтях, но покрой френча, фружаки с белыми кокардами сразу настораживают фронтовика.

Меня особенно волновала близость человека в такой форме, я служил в войсковой разведке, моей обязанностью было проникать ночью в расположение противника и захватывать, как у нас говорят, «языков». Обычный воин или офицер, который ходил в атаки в общей цепи, видел противника издали, в рукопашную сходились не так часто, да и длилась такая схватка несколько минут. А я, если можно так выразиться, общался с солдатами и офицерами противника в непосредственной близости, сходил с ними с глазу на глаз, и главной заботой моей было сохранить их живыми. Я видел врагов всегда близко, одетых по форме при исполнении своих будничных, повседневных дел, и прежде чем кинуться на часового или пулеметчика, мы часами, а иногда сутками наблюдали за ним, изучали окружающую обстановку. В общем, старая немецкая форма была всю войну у меня на глазах, «знакомство» у меня с солдатами и офицерами противника было весьма обширное! Поэтому и возникло такое волнение при первом близком общении с внешне похожими на «старых знакомых» военными.

Война оставила в жизни каждого из нас глубокий неизгладимый шрам. Мы привыкли видеть людей в такой форме жестокими. И вдруг новые знакомые улыбаются, шутят, относятся к окружающим доброжелательно. Очень это было непривычно.

Я смотрел на кители с накладными карманами, на витые погоны, белые «катушки», пришитые к рукавам, и, немного успокоившись, думал: «В нашей стране да и в других государствах социалистического лагеря произошло нечто сходное. Когда свершилась Октябрьская революция, Красная Армия тоже была в одежде старой царской армии, только без погон. Сейчас мы носим и погоны такие же, какими они были прежде. Это, наверное, закономерность».

Но форма формой. Все мы с пионерского возраста знаем: дело в содержании! У себя дома это понятно и выглядит вполне естественно, а здесь, в Германии, как-то не сразу укладывается, что в бледно-зеленых мундирах с белой окантовкой, в фуражках с кручеными шнурами ходят друзья. Причем многие из них коммунисты.

Очень хотелось познакомиться поближе с военными товарищами, удовлетворить свое любопытство, рассеять настороженность. За месяц, который я пробыл в ГДР, я познакомился со многими немецкими офицерами — хорошие, деловитые люди. В эти же дни произошла встреча с Клаусом, которая для нас, как мы выяснили, была уже не первой. Если бы это случилось не со мной, я бы сказал: «Такое бывает только в рассказах или романах писателей. Встретить человека, с которым стоял лицом к лицу в 1943 году на фронте,— фантастика!»

Клаус Лабушин, высокий, худощавый, сероглазый, седой. Именно с этой седины и начался разговор.

22 июня, в двадцать третью годовщину войны, мы сидели с Клаусом в одной из аллей санатория Бад-Брамбах и, как вполне естественно для этой даты, вспоминали минувшие дни.

Посмотрев на его седые волосы, я подумал: «Он мой ровесник и должен был служить в гитлеровской армии». Я спросил:

— А где вы были в те годы?

Он, немного подумав, ответил:

— Где? Конечно же, служил. Попал в армию по призыву.

Перечисляя места, куда его забрасывала служба, он назвал Великие Луки и Смоленск. Я прервал его и уточнил:

— Когда это было?

— В конце сорок второго — начале сорок третьего года.

— Я в это время тоже был на том участке фронта. Мы взяли палочки и принялись чертить на песке схему. Дороги. Линию фронта. Мы писали одни и те же названия деревень и городов.

Клаус отчеркнул кусочек линии фронта и сказал:

— Здесь удерживали позиции 101-я и 102-я пехотные дивизии. Я находился здесь.

— А я здесь, в 134-й стрелковой дивизии, 629-й полк,— показал я участок напротив.

Уточняем названия населенных пунктов, номера высот. Окончательно устанавливаем: мы находились в те дни точно друг против друга.

— Нас разделяла лишь нейтральная зона,— сказал я.

— Нет, я в первой траншее не был. Я занимался финансовым обеспечением — был унтер-офицером. Должность моя называлась «рехнунгсфирер», что соответствует «казначею» или «счетоводу».

— Зато я был не казначеем, а полковым разведчиком и охотился за «языками» именно в вашем расположении, в том числе и в расположении вашего штаба. Так что мы находились иногда почти рядом!

Мы засмеялись.

— Хорошо, что мы теперь друзья. Так встречаться гораздо приятнее и полезнее,— сказал Клаус.

Я попросил Клауса рассказать о себе более подробно.

— Я жил до прихода гитлеровцев к власти в Восточной Пруссии, в деревне Экерсдорф. Отец мой погиб в первой мировой войне. Я остался с матерью. Жили трудно. Я часто оставался безработным. В 1934 году безработица вынудила меня пойти служить в армию. В 1935 году уволился и вновь был безработным почти два года. В тридцать девятом меня снова призывали в армию, говорили, для проведения каких-то больших маневров. Но когда выдали босвые патроны и заставили набивать пулеметные ленты, мы поняли: что-то не то — зачем боевые патроны на учениях? Наши предположения оказались верными. Осенью поступил приказ, и мы вторглись в Польшу. Для того чтобы подавить волю к сопротивлению и создать впечатление о массовости нашей армии, гитлеровское командование, кроме боевых действий, применяло такой прием. Наш полк, как и некоторые другие, получил кольцевой маршрут, и мы несколько суток подряд ездили по городам и селам, нагоняя на людей страх —

будто войск очень много и они идут непрерывным потоком. В ноябре тридцать девятого года меня уволили, а в апреле сорок первого — призвали. Я сразу почувствовал: замышляется что-то недоброе. 22 июня 1941 года я был в Праге, нес гарнизонную службу. Вдруг радио принесло ошеломляющую весть: началась война с Советским Союзом! Каждый час передавались сообщения об успешном продвижении наших войск. Но многих из нас эти успехи не радовали. Мы понимали: авантюра против СССР добром не кончится, всех нас ждут большие беды и неприятности. Мой друг Альберт прямо сказал:

— Это наш конец. Раз полезли на Россию — дело кончится крахом.

— Зимой, в конце сорок третьего года, я был в команде, которая везла пополнение из числа выздоровевших раненых. Солдаты были обстрелянные. Ехали на фронт неохотно. Угар от фашистской пропаганды уже рассеялся. После битвы на Волге почти никто не сомневался, что война проиграна.

В Риге мы пересели с корабля на поезд. Солдаты, бывшие до этого на восточном фронте, говорили:

— Скоро начнется.

— Почему скоро, до передовой далеко,— удивился я.

— Здесь всюду фронт,— угрюмо говорили ветераны.

— И действительно, как только въехали на территорию Белоруссии, под нашим паровозом рванула мина. Мы полетели в вагонах кувырком. А из леса нас поливали автоматными очередями. Мы выскочили из вагонов. Офицеры организовали прочесывание леса. Но было поздно. Партизаны исчезли. Мы потеряли больше тридцати человек и на сутки задержались в пути.

По состоянию здоровья меня направили в подразделение, которое формировало маршевые батальоны. Солдаты во время формирования прибегали ко всевозможным ухищрениям, лишь бы не попасть на фронт. Пропаганда трубила о предстоящих победах, Гебельс кричал, что советская промышленность дезорганизована, Геринг уверял: в Москве не осталось камня на камне от наших бомбардировок.

Я спросил Клауса:

— Это когда было?

— В начале 1944 года.

— Между прочим,— сказал я,— в это время я был в Москве. Только вышел из госпиталя после очередного ранения. Нашему командованию была известна эта ложь гитлеровской пропаганды о том, что Москва разрушена. Видимо, поэтому было принято решение уличить фашистов в обмане. В боях под Витебском и Минском, где довелось участвовать и мне, наши войска взяли много пленных, привезли в Москву, построили в колонны и провели по улицам столицы. Солдаты сами наглядно убедились, как их обманывает гитлеровская верхушка. Я видел это шествие во всех деталях. Впереди шла колонна пленных генералов, их взяли в той операции около двух десятков. Затем шли офицерские батальоны. Потом унтер-офицеры и солдаты. Колонны были шириной во всю улицу Горького, от тротуара до тротуара. Они шли по Москве сплошным потоком более четырех часов. Смотрели на Красавицу Москву удивленными глазами и только головами качали, будто хотели сказать: «Как нас облапошили: здесь все дома целые!»

— Мы знали цену геббельсовской пропаганды, особенно в последние годы,— кивнул Клаус.

— Как сложилась дальнейшая судьба?

— Финал, как мы все и ожидали, оказался трагическим и развивался стремительно. Приведу лишь один эпизод. Однажды мой начальник дал мне крупную сумму и приказал составить побыстрее ведомость на выдачу денег офицерам. Я всю ночь составлял ведомость, а когда утром приготовился к выдаче, оказалось, что все уже удрали. В другой раз на новом месте я тоже не успел выдать деньги — отступили! А в третий раз пришел в кабинет начальника, а там на стене висит его военная форма, а в углу стоит открытый пустой сейф. Мой начальник переоделся в штатскую одежду, похитил деньги и сбежал!

Война для меня лично имела очень тяжелые последствия. Погибли мать и жена. Германия из-за сумасбродных авантюр Гитлера была опозорена и лежала в развалинах. Все это привело меня к мысли: нужно бороться, чтобы фашистский режим не повторился. Сразу после окончания войны я вступил в Социалистическую Единую партию Германии. Я понимал: в развитии моей Родины большое значение будет иметь дружба с Советским Союзом. Мы будем учиться у не-

го строить социализм. Я хотел помочь быстрому осуществлению этой цели. Поэтому начал изучать русский язык. Окончил педагогический институт и стал учить русскому языку своих соотечественников. Сейчас я служу в нашей армии и преподаю русский язык немецким офицерам. Я очень рад, что мы с вами познакомились. И хотел бы всегда встречаться так же, как сейчас,— друзьями.

Закончив рассказ, Клаус попросил:

— Мне тоже любопытно узнать, как сложилась ваша судьба.

Я рассказал Клаусу о своей жизни и службе.

Клаус слушал меня очень внимательно. Я глядел на него и все старался припомнить, может быть, мелькнуло где-то его лицо в моем бинокле, когда мы наблюдали за штабом, где, возможно, он служил.

— А теперь я расскажу вам, Клаус, об одном задании, во время выполнения которого мы могли встретиться. Это было именно здесь,— я показал палочкой расположение штаба на схеме, которую мы вместе с Клаусом начертили на дорожке перед нашей скамьей.— Готовилось наступление наших войск, и, как обычно, нужны были новые сведения о расположении, силах и намерениях ваших частей на нашем участке фронта. Меня вызвал начальник штаба и, показав, так же как я вам сейчас, только место на карте, где находится этот штаб, сказал:

— «Язык» нужен отсюда, пограмотнее, лучше, если это будет офицер, в крайнем случае какой-нибудь писарь или связист, тыловики всегда знают больше и дают хорошие сведения.

— Мы пошли на выполнение этого задания пятеро. Пошли, вернее, поползли. В разведке больше приходилось ползать, чем ходить.

— Да, я знаю,— поддакнул Клаус.— Но, если можно, рассказывайте подробнее, у нас ходило много слухов и всяких легенд о ваших разведчиках. Мне будет интересно узнать особенности и подробности вашей работы. Тем более от человека, который сам все это делал!

— Я слышал от пленных, что они называли наши похищения «языков» «катценгешихте» — кошачья история, имея в виду бесшумность, с какой мы все это осуществляли.

Клаус засмеялся и, хлопнув себя ладонью по колену, подтвердил:

— Точно, «катценгешихте», у вас прекрасная память. Я забыл, а вы наше словечко запомнили! Еще раз прошу, подробнее рассказывайте...

— Ну что же, постараюсь вспомнить все детально. Итак, мы поползли через нейтральную зону к вашим позициям пятеро. В группе были мои старые боевые друзья, с которыми я уже не раз выполнял подобные задания: юркий, веселый и хитрый паренек Сапа Пролеткин, до войны он учился в школе; здоровый, похожий на штапгиста, сибиряк Иван Рогатин; бывший комбайнер, уже немолодой рабочий с Урала, ворчливый, всегда чем-то недовольный Голощапов; совсем молодой, призванный уже в годы войны Вовка Голубой. Я взял его потому, что и новичков надо когда-то учить. Ну и я, лейтенант, командир взвода.

До первой вашей траншеи доползли благополучно, останавливались лишь при вспышках ракет. Мы были одеты в пестрые маскировочные костюмы, которые хорошо скрывали нас на фоне травы и кустов. Чем ближе к траншее, тем осторожнее были наши движения. Мы умели ползать почти бесшумно.

— Да, наши солдаты об этом знали! — подтвердил Клаус.

— За проволочным ограждением обнаружили ракетчика или дежурного, не знаю, как тогда он у вас назывался. Этот солдат ходил по траншее и наблюдал.

— Наблюдатели выставлялись от взвода или отделения. Все отдыхают во время затишья в блиндаже, а он дежурит и в случае опасности поднимает тревогу, — пояснил Клаус.

— Такой наблюдатель для нас не был новостью, мы всегда в траншее кого-нибудь обнаруживали. Стали думать, как нам поступить. Этот солдат прохаживался туда и обратно. Когда он отходил подальше от нас, мы перерезали несколько проволок в ограждении специальными ножницами. Проход делали небольшой, резали только нижние проволочки, да и то не все, а только те, которые нельзя подпереть заготовленными еще в нашем тылу палками-рогатками. Дело в том, что нам нужна небольшая дыра, чтобы прошмыгнуть под проволокой, снять подпорки, чтобы не было видно этого прохода. Иначе с рассветом его обнаружат, поймут, что здесь проползли в тыл разведчики, найдут наши следы и всех нас переловят!

Переход через передний край самый опасный и ответственный момент в ходе всего задания.

— В таком деле все опасно! — взволнованно сказал Клаус. — Что вы чувствовали в те минуты? Было ли вам страшно? Ведь малейшая неосторожность — смерть!

— Страшно было, — признался я, — только и к страху человек, видно, привыкает, появляется опыт, который вселяет уверенность, надежду в благополучный исход. Со временем я уже настолько владел собой, что страх отодвигался куда-то очень глубоко и не мешал работать. Вот в ту ночь мы проделали проход, а проскочить в тыл не могли — мешал этот дежурный, он ходил против нас метров по двадцать вправо и влево. Этого, конечно, недостаточно, чтобы по одному перескочить через траншею и укрыться в кустах за ней. Как быть?

— Можно убить часового! — подсказал Клаус.

— Нельзя. Нам в тыл надо идти, а обнаружив убитого или пропавшего солдата, если мы его где-то спрячем, начнут искать и могут обнаружить и наш след, и нашу группу. Обычно в таких случаях мы набирались терпения и ждали. Произойдет смена, и новый дежурный, возможно, будет прогуливаться как-то по-другому или окажется болтливым и отойдет к соседу побеседовать. Так тоже бывало!

Вот вы спрашиваете, что я тогда чувствовал? Я опустил лицо на руку, закрыл глаза и стал отдыхать. Я даже мог бы заснуть. Так тоже бывало, когда долгие часы приходилось лежать без движения. Теперь я был уже опытный разведчик. Это на первых заданиях мне за каждым кустом мерещились фашисты. Теперь я знал, что большой опасности нет.

— А если бы дежурный вас обнаружил? Вы от него очень близко, он огнем из пулемета или автомата мог бы всех вас уничтожить на таком расстоянии, — возразил Клаус.

— А мы тоже не безоружные, у нас еще и гранаты. Нет, Клаус, уничтожить нас было непросто. Дежурного разведчика, не делающего проход, держат все время на прицеле. И если он нас обнаружит, в него полетят гранаты и чесанут автоматы так, что он из окна не высунется! Пока прибегут к нему на помощь, мы будем уже далеко... В общем, мы дождались смены. Она произошла примерно через час. Солдаты недолго поговорили, покурили. Один из них засмеялся,

и они разошлись. Новый наблюдатель долго стоял на месте. Я уже мысленно его подталкивал: «Ну давай, ходи, ходи!» Нам не терпелось узнать, как этот будет прогуливаться. А он, как назло, тоже стал ходить, как его предшественник! Я уже подумывал: «Не переползти ли нам на другое место и там сделать новый проход?» Но третий наблюдатель, который заступил еще через час, стал уходить далеко вправо. Это было то, что нам нужно! Я сразу почувствовал облегчение, все оживились. Как только наблюдатель ушел на самое дальнее от группы расстояние, я махнул рукой Пролеткину, тот мигом юркнул под проволоку, пролетел над траншеей и скрылся в кустах. Так по одному прошмыгнули все. Я преодолел траншею последним. Когда еще была видна спина удаляющегося наблюдателя, пролез под проволоку, снял подпорки, убедился, что проволока опустилась на прежнее место, быстро перемахнул через темную пасть траншеи, которая дохнула на меня специфическим жилым запахом.

Шли мы долго. От куста к кусту, от канавы к ямке, от дерева к дереву. К рассвету все же успели добраться до намеченного штаба. Замаскировались в небольшой рощице. Перекусили, напились воды и залегли спать. Только я остался наблюдать первым. В течение дня все по очереди должны были наблюдать и изучать объект.

Штаб располагался в огромном овраге, блиндажи были врыты в скаты оврага, натоптанные на траве тропинки сбегали со скатов на центральную дорожку на дне. Обитатели штаба с утра умывались, некоторые офицеры, оголяясь до пояса, делали зарядку. Промелькнуло в бинокле несколько женщин в восной форме, в пилотках, в сапожках.

Когда стало вечереть и приблизилось время для действий, я забеспокоился — не выявлена очень важная деталь. Определили, куда идти, знаем, что в намеченном блиндаже не больше трех человек, двое из них офицеры. Но где охрана? Это пока выяснить не удалось. Двое часовых, которые топтались у блиндажа, в центре оврага, наверное, охраняют командира полка или начальника штаба, они не могут быть всей охраной такого важного объекта, как штаб.

Караул, несомненно, есть, только мы его не обнаружили. И это очень опасно в нашем положении: хорошо скрытая охрана для того и существует, чтобы обезопасить штаб от таких групп, как наша.

Я уже подумывал о том, что придется остаться еще на день, хоть это очень опасно в тылу, но иного выхода не было, вслепую действовать я не решался.

Вдруг Иван Рогатин, дежуривший с биноклем, замахал рукой, подзывая меня: «Есть охрана, товарищ лейтенант. Вон, глядите — парный патруль. По верху пошел».

Я вскинул бинокль. Значит, на ночь выставляют патрулей. Один из них ходит по верху. Хороший маршрут выбран. Фашистам видны и подходы, и что внизу, в овраге, делается.

Я засек по часам, сделал необходимый расчет и объяснил ребятам:

— Патрульные обходят расстояние вокруг расположения штаба за десять — двенадцать минут. Пройдут мимо нашей рощи — мы в овраг. Ты, Саша, не спускай с них глаз, каждую минуту должен знать, где будет патруль. В блиндаж пойду я и Рогатин.

Дождались глухой ночи. Патруль сменился несколько раз. Луна еще не взошла. В черном овраге не было видно ни одного освещенного окошечка. Штаб спал.

Мы подползли к тропке, где ходил патруль. Напряженные, собранные, будто сжатые пружины, ребята следили за патрулем и ждали моего сигнала. Патрульные прошли мимо нас. Отпустив их на достаточное расстояние, я поднялся и, ступая бесшумно, пригибаясь, пошел вниз. Я не оглядывался, знал — все разведчики идут за мной. У намеченного блиндажа я лег. Заметив тоненькие полоски света в маленьком окошечке, пополз к окну. Стекло было запавешено черной бумагой изнутри. Через узкие щели я разглядел на столе, застеленном газетой, термос, бутылку вина, вскрытую банку консервов, печенье, сигареты. У стола сидели двое. Один в полной форме — гауптман-капитан. Другой — без кителя в зеленой форменной рубашке. Китель и ремень с парабеллумом висели на гвозде, вбитом в стенку. «Почему они так поздно не спят? Может быть, дежурные? Какая нам разница — хорошо, что офицеры!»

Я взглянул на Пролеткина, который должен следить за патрулем. Тот глянул на свои часы и, вскинув руку, показал, где сейчас может находиться патруль. Подождав, пока солдаты протопали поблизости, я быстро вошел в траншею, спустился по лестнице, ведущей к двери. Иван последовал за мной.

У двери я остановился. Сердце стучало так громко, что казалось, его биение услышат офицеры там, в блиндаже. Испугавшись, что это действительно может произойти, я рванул дверь и, вскинув пистолет, быстро шагнул через порог. Вплотную за мной с автоматом наготове вошел Иван. Он тут же захлопнул дверь, чтобы свет и возможную борьбу не увидел снаружи патруль. Я приглушенно, но властно скомандовал: «Хенде хох!»

Тот, который был в полной форме и стоял ближе ко мне, поднял руки вверх и тарачил от испуга глаза. Другой офицер стоял по ту сторону стола, руки поднимал медленно, одну выше другой, а глазами косил вбок. Я сразу уловил это движение, хотел еще раз скомандовать: «Руки вверх», но не успел. Офицер кинулся к висевшему на гвозде ремню и пытался выхватить парабеллум из кобуры. Все произошло в считанные секунды, но я, как бывший боксер, все же успел оценить и правильно среагировать на происходящее: «Свалить боксерским ударом офицера не удастся. Мешает стол. Надо стрелять». Я надавил на спуск. Выстрел оказался громче орудийного! Офицер по ту сторону стола свалился, а у того, что стоял рядом, вдруг ожили глаза, лицо стало осмысленным. Он напряженно вслушивался: не бегут ли на помощь, услышав звук выстрела? Я и Иван тоже напряженно ждали: вот-вот послышится топот, стрельба прикрывающих разведчиков и начнется...

Так мы стояли несколько мгновений. Неизвестно, кто был пленный — офицер или мы, два разведчика. Каждый думал о прозвучавшем выстреле: что он — спасение или гибель?

Все кончилось благополучно для нас. Выстрел, глухо прозвучавший в закрытом блиндаже, никто не услышал. Рогатин быстро «обработал» пленного — всунул ему в рот кляп, надел на него маскхалат. Мы и для пленных приносили с собой маскировочную одежду. Связал за спиной руки. Опытный Иван знал: все это надо делать быстро, пока пленный в шоке, скоро он опомнится и тогда будет сопротивляться и выделывать всякие нежелательные для разведчиков попытки освободиться.

Я тем временем собрал все бумаги в блиндаже, документы и оружие убитого офицера. Еще раз оглядел землянку и, погасив парафиновый светильник, от-

крыл дверь. Сначала я никого не увидел во мраке. Потом различил Сашу Пролеткина и его руку, направленную туда, где шагает патруль. Он шел по прежней своей тропе в сторону нашей группы. Затаившись у двери, я ждал, когда патруль пройдет. Темные фигурки солдат были видны неподалеку. И вдруг, когда патруль находился на самом близком расстоянии, пленный офицер ударил Голощапова ногой, сбил его и попытался выбежать из траншейки, чтобы привлечь внимание патруля. Офицер мычал и, мотая головой, пытался выплюнуть кляп. Я ударил его коротким аперкотом в подбородок. Офицер, икнув, вытаращил глаза и сразу понял, что с этими зелеными призраками шутки плохи. Затих. Я махнул разведчикам, побежал вверх по косогору к роще, в которой мы провели день и оставили свои вещевые мешки с продуктами, бинокли и все лишнее, что мешало бы захвату пленного.

Потом мы быстро, то бегом, то шагом, спешили к переднему краю, надо было уходить как можно скорее, пока в штабе не обнаружили пропажу.

Когда мы были неподалеку от первой траншеи, вышла из-за туч луна и осветила группу. Все окружающее подернулось желтоватым отсветом.

Я увидел на щеках гаунтмана освещенные луной две мокрые полосы — офицер плакал. Это очень удивило меня. Я привык видеть на допросах вызывающе наглых гитлеровских офицеров. «Этого еще ни о чем не спросили, а он уже нюни распустил! Странный офицер! Неужели обиделся, что я ему по морде дал? Сам же виноват, зачем отбивался? Какой чувствительный!»

По взлетающим вверх ракетам мы нашли в первой траншее пошире промежуток между ракетчиками. Осторожно выползли к траншее. Она была в этом месте пуста. Проверили: нет ли кого за ближайшими поворотами траншеи. Затем Саша достал из вещевого мешка ножницы, перемахнул через траншею и стал резать проволоку. Теперь проход скрывать незачем, да и пошире он нужен, пленный ведь не умеет проползать в небольшую щель, к тому же руки у него связаны. Когда все было готово, Саша, махнув рукой, юркнул в нейтральную зону и по ту сторону проволоки, на всякий случай, приготовился прикрывать группу из своего автомата. Я взял пленного за ремень и, кивнув в сторону заграждения, перешагнул вместе с ним траншею.

Потом мы оба легли, и я, бесцеремонно взяв гауптмана за шиворот, проволока его под проволокой.

В штабе нашего полка не спали только начальник разведки да дежурные связисты. Когда вынули кляп из рта офицера и тот отдышался, я полюбопытствовал:

— Почему вы плакали? Потому что я ударил?

Офицер с нескрываемой ненавистью искоса посмотрел на меня, он теперь видел, что имеет дело с лейтенантом, младше чем он по званию, поэтому демонстративно стоял ко мне боком, а лицом к капитану, начальнику разведки.

— Если бы я имел возможность,— с клопочущей в глотке злобой сказал гауптман,— если бы я мог получить такую возможность, я бы не только разорвал вас на куски, но еще топтал бы каждый кусок, пока он не стал мокрым местом!

— Неужели так обиделись за то, что ударил?

— Я имею обиду не только за удар. Вы мне всю жизнь испортили! Я сдал должность тому гауптману, которого вы убили. Я имею новое назначение в резервный полк. Должен был утром уехать. Для меня война практически кончилась! Через несколько дней я бы увидел мою дорогую фрау Гильду, моих милых детей — Кетхен и Адольфа. И вдруг все так неожиданно перевернулось!

Я усмехнулся и сказал: — Никаких особых бед я не принес, там для вас война кончилась, и здесь она кончилась. Там вы остались бы живы и здесь будете жить...— Я встретил злобный взгляд врага, и волна гнева охватила меня.

С неприязнью бросил ему прямо в лицо: — Если ты любишь свою фрау и своих киндеров, зачем ты здесь у нас в России? У меня тоже есть мать и невеста. Зачем ты здесь? Что тебе нужно на нашей земле?

Гауптман побледнел. Он не ожидал, что разговор примет такой оборот, и, наверное, подумал: «Сейчас этот лейтенант меня пристрелит».

— Вы знаете, Клаус, что с пленными у нас обращались гуманно — не били и не расстреливали. Это теперь могут подтвердить многие из возвратившихся из плена после войны ваших солдат, офицеров и генералов.— Вот так проходило задание в районе вашего штаба,— я улыбнулся своим мыслям и добавил: — И уж, пожалуйста, извините за откровенность, Клаус,

если бы я зашел в блиндаж, где находились вы, произошло бы нечто подобное.

Кlaus тоже заулыбался.

— Нет, уж лучше встречаться так, как мы встретились сейчас! Я рад, что наше знакомство началось сразу со второй встречи.

Мы еще несколько раз беседовали с Клаусом за чашечкой кофе и за стопкой русской водки, вспоминая тяжелые годы войны. За месяц мы подружились, вместе побывали во многих городах, посещали музеи и исторические места.

И часто в машине или в поезде, когда мы молчали, я смотрел на Клауса, и мне все не верилось, что именно этот отзывчивый, образованный человек был когда-то моим врагом.

Всюду, где мы были на экскурсиях, повседневно подтверждалась общность наших интересов. В Лейпциге мы посетили типографию, где печаталась первая русская революционная газета «Искра». Нам было приятно сознавать, что в те далекие годы немцы и русские вместе печатали «Искру», из которой возгорелось пламя Великой Октябрьской революции.

В Дрезденской картинной галерее Клаус с благодарностью говорил о Советской Армии, которая спасла шедевры мирового искусства. Советские люди не только вывезли из сырых подземелий и реставрировали бесценные картины, они спасли и само здание галереи от подрыва фашистскими минами. Клаус подвел меня к колонне у входа в галерею, и мы вместе прочитали надпись: «Музей проверен. Мин нет. Проверял Хантутин».

В Веймаре, в доме Гёте, мы оба восхищались энциклопедическими знаниями великого немецкого мыслителя. Клаус был горд тем, что является его соотечественником. А в Бухенвальдском лагере смерти я видел, что Клаусу очень тяжело. Он не имел отношения к зверству фашистов, но все же ощущал тяжелое бремя позора, которое положили на плечи всех немцев своими черными делами нацисты.

В замке Цецилиенхоф, под Потсдамом, где в 1945 году подписано Потсдамское соглашение, мы думали о том, как было бы хорошо, если бы все страны, поставившие подписи под этим соглашением, сдержали бы данное слово. Еще в те дни Советский Союз выступал за единую демилитаризованную Германию.

В Берлинской опере мы вместе наслаждались оперой Бизе «Кармен».

В день, когда я покидал ГДР, Клаус провожал меня в аэропорту. Он был одет в военную форму. Были здесь и другие офицеры. Я вспомнил первые часы пребывания на немецкой земле и чувство настороженности, которое вызвала у меня тогда немецкая форма. Сейчас этого ощущения не было. Я был спокоен и весел. Передо мной стоял новый друг — Клаус. Я теперь твердо знал, что бы ни случилось, нас никогда не будет разделять нейтральная зона, мы всегда будем на одной стороне — на той, которая защищает мир, демократию.

* * *

«Олимпиада-80» на нашей советской земле породила у меня много воспоминаний и размышлений, связанных со спортом. Я хочу сказать о таком, может быть, не совсем благозвучном сочетании, как спорт и война!

Несомненно, спорт — это здоровье, высокая работоспособность, хорошее настроение, красивое, сильное тело. Но это не все. У меня жизнь сложилась так, что я на себе испытал еще одно очень важное значение спорта. Могу сказать даже так — я остался жив потому, что был спортсменом. И поясню это...

...До начала Великой Отечественной войны я жил в Ташкенте — городе солнечном, зеленом. Народ там, как и везде на юге, веселый, энергичный, доброжелательный. Учился я в школе, как и полагается мальчишке, шалил, лазил по чужим садам за персиками, урюком, виноградом. Этих фруктов было достаточно и дома, мать регулярно покупала на базаре, да и в своем дворе росли фруктовые деревья, но это все не то. Из чужого сада плоды гораздо вкуснее! И сладость их заключается еще и в том, что надо подкрасться, обхитрить хозяина сада, проявить ловкость и сметку. И всем этим показать друзьям-мальчишкам, какой ты смельчак!

Взрослые думали о том, как воспитать новое поколение хорошо образованным, физически развитым, культурным, политически грамотным, думали, видно, и о том, как бы увлечь чем-то полезным шатающихся после уроков без дела мальчишек. И вот в 1936 году

в Ташкенте был открыт первый Дворец пионеров. Отвели для него прекрасный, настоящий дворец бывшего царского наместника в центре города с отличным парком. У входа вывесили длинный перечень кружков, в которые можно было записаться. Каких только увлекательных дел тут не предлагалось! Авиамодельный, скульптурный, драматический кружки... И вдруг я прочитал короткое броское слово — бокс.

Не знаю почему, но бокс у меня всегда вызывал сладостное замирание сердца. Я вырезал из газет и журналов снимки боксеров. Увидев афишу о соревновании по боксу, спешил туда. И, забыв все, с трепетом наблюдал за боями. Боксеры были для меня людьми необыкновенными. Постоять рядом с боксером где-то около раздевалки, рассмотреть его вблизи, послушать, о чем он говорит,— было наслаждением. Потом я, конечно же, врал ребятам, что боксер именно около меня остановился и со мной разговаривал. Я прочитал все, какие находил, книги о боксерах. «Мексиканец» Джека Лондона была для меня своеобразной «библией».

Неподалеку от моего дома в техникуме, в спортивном зале, иногда занималась секция бокса. Я приходил к раскрытым окнам (в здание меня не пускали) и часами с завистью смотрел на тренировки боксеров.

И вот мне предлагают, нет, не предлагают, а меня приглашают заниматься боксом! Для этого нужно всего-навсего, как написано в объявлении, подойти к товарищу С. Джаксону и записаться! И фамилия какая-то интригующая, настоящая боксерская — Джексон! Конечно же, я немедленно отправился искать этого товарища С. Джаксона. Я представлял себе этого человека здоровяком, с красивыми мышцами и свирепым взглядом. Но когда я увидел его, мое пылкое воображение сразу погасло. Джексон оказался седым старичком маленького роста, с крючковатым перебитым носом и добрыми глазами. Трудно найти другого человека, так не похожего на боксера. И как же я ошибался! Оказалось, что он не просто боксер, а мастер высочайшего международного класса — чемпион Соединенных Штатов Америки Сидней Луи Джексон!

Биография этого человека настолько необычайна и удивительна, что я должен хотя бы коротко рассказать о нем. Сидней родился и жил в Нью-Йорке. Рос он в семье рабочего химического завода. Отец его

погиб во время аварии на заводе. С малых лет стал работать и Сид. А для души занялся боксом. У Сиднея оказались прекрасные физические данные и крепкая воля бойца. Он был небольшого роста и выступал в наилегчайшем весе. Успехи его были быстрые и большие. Он стал чемпионом Соединенных Штатов Америки в своем весе. Антрепренер уже поговаривал о том, что надо ему готовиться к боям за звание чемпиона мира. Но для этого надо было показать себя не только в Америке, но и в «старом свете».

И вот в 1914 году в группе американских боксеров Джексон отправляется за океан, в Англию. Он показал свое мастерство в Лондоне, Манчестере, Глазго, всюду одерживая победы над английскими боксерами. И вдруг в одном из боев Сидней сильно повредил палец.

Когда антрепренер узнал от хирурга, что лечение предстоит очень длительное, не меньше года, он сразу понял — невыгодно так долго содержать боксера, не получая от него никаких доходов. И он оставил Джексона в Англии. Просто бросил его там. И вот молодой человек без денег на билет, без денег на существование стал искать возможность вернуться на родину. Один из его знакомых, тоже боксер, но и предприниматель, сын крупного торговца, предложил Сиднею поступить на работу, но ему не сразу предстояло вернуться на родину, а надо было сплавать сначала в Архангельск, в Россию, где корабль должен был загрузиться лесом, а потом уж оттуда вернуться в Америку. Выбора у Сиднея не было, и он согласился.

Так в 1914 году Сидней оказался в Архангельске, а потом в Петербурге. Здесь его ожидала новая неприятность. Началась война. Иностранцам было запрещено выезжать на запад. Путь на родину возможен был только через Азию, через Китай. Однажды Сидней нашел на столе в номере гостиницы записку, в которой говорилось: «Денег на двоих все равно не хватит». Товарищ бросил его и один уехал на родину через Азию. В американском посольстве Сиднею помочь ничем не могли. Он написал письмо во Всемирную ассоциацию профессионального бокса с просьбой помочь ему вернуться на родину и передал это письмо работникам посольства. Через некоторое время пришел ответ, в котором говорилось, что ассоциация профессионального бокса не может взять на себя расходы

для оплаты возвращения Сиднея на родину. Что же делать? В посольстве ему посоветовали:

— Поезжайте на юг, в Ташкент, подальше от войны. Работайте там, попробуйте преподавать английский язык. Кончится война — вернетесь на родину.

И поехал Сидней Джаксон в далекий Ташкент.

С преподаванием английского языка дело не пошло. Стал работать в портняжной мастерской. Здесь он познакомился с рабочими, многое понял, пережил и поэтому, когда в 1917 году грянула революция, он вступил в первую интернациональную роту рабочего полка. Участвовал в боях с белогвардейцами, с басмачами в Ферганской долине. Четыре года не выпускал винтовку из рук, отстаивал Советскую власть в республиках Средней Азии. После окончания боев он стал тренером.

И вот в 1936 году, когда открылся Дворец пионеров, его пригласили вести секцию бокса. И мне посчастливилось быть в первом наборе. И после этого с Сиднеем Львовичем Джаксоном мы, я смею так сказать, дружили всю жизнь.

Вот какую надпись он сделал на написанной о нем книге Г. Свиридова «Джаксон остается в России»: «На память своему воспитаннику Карпову Владимиру Васильевичу. Годы, проведенные на боксерских тренировках, участие в соревнованиях по боксу различных масштабов и в различных городах Советского Союза, нельзя забыть, пока мы живем.

С. Л. Джаксон
Ташкент 30/IV-1965 г.»

И по-английски еще приписал: «Пусть счастье сопутствует тебе всегда и везде. Не забывай меня! Твой Сидней Джаксон».

В конце своей замечательной, интересной и плодотворной жизни Сидней Львович был уже заслуженным тренером СССР, был награжден орденом Трудового Красного Знамени, вырастил целую плеяду замечательных боксеров, которые показали высокое мастерство не только на ринге, но и проявили себя с самой лучшей стороны как защитники Родины в годы Великой Отечественной войны.

Назову лишь некоторых питомцев секции бокса Дворца пионеров: Сергей Борзенко, наш тяжеловес. Сергей попал раненым в плен к фашистам. И когда

они узнали, что он чемпион, а он был до войны чемпионом Узбекистана, они хотели организовать матч, в котором бы Борзенко встретился с их немецким чемпионом, по-моему, его фамилия была Мюллер, и показать тем самым превосходство арийца над славянином. Изнуренный голодом, ранением, Борзенко не мог рассчитывать на свои силы. Это был бы, конечно, неравный бой. Но товарищи по лагерю, услышав, что готовится такой матч, отрывали частицы от своего пайка, очень скудного пайка, и подкармливали Борзенко. И матч все же состоялся. Мюллер был хорошо тренированный, здоровый. Но тут, мне кажется, ситуация была очень похожей на ту, о которой рассказал Джек Лондон в рассказе «Мексиканец». Именно ситуация, большая любовь к родине, необходимость показать свою стойкость в таких исключительных обстоятельствах придали Борзенко силы, и он выиграл бой у Мюллера, нокаутировав его в том бою.

Другой парень из нашей команды — боксер наилегчайшего веса, или, как у нас зовут — мухач,— всеобщий любимец нашей секции Мика Меш, небольшого роста, мускулистый, крепкий паренек, в обыденной жизни всегда веселый, а на ринге отчаянный, самозабвенный! Я не помню ни одного боя, который бы проиграл Мика Меш. На моей памяти нет таких боев. И еще мне всегда казалось, что Мика очень похож на молодого Сиднея Львовича — нашего тренера. Именно таким он был в молодости. Сидней Львович, как и все мы, очень любил Мику. В боях за Родину Меш показал себя очень смелым и отважным бойцом, он был удостоен многих правительственных наград, но, к сожалению, не дожил до победы, погиб.

Я бы мог рассказать еще о многих боевых делах членов нашей боксерской секции, но это заняло бы много страниц, поэтому закончу рассказ о Сиднее Львовиче. Он не просто занимался с нами в секции бокса, он не просто ходил на работу и зарабатывал деньги на жизнь. Нет, эта работа и была его жизнью. Он был не только великолепный боксер, он был замечательный педагог и тренер, возился с нами целыми днями. У него не было рабочего дня, который бы ограничивался какими-то часами. Он в секции бокса пропадал и днем, и вечером. Мне кажется, он уходил оттуда только спать. Джексон любил нас, любил, как своих детей.

Джаксон не только учил нас технике и мастерству боя, он рассказывал нам много и о своей жизни, и о боях, которые провел сам и видел на рингах Америки, Англии. Он рассказывал и рекомендовал нам почитать книги о боксерах, он растил из нас хороших, честных людей.

Для меня занятия под умным и добрым оком Джаксона вылились в то, что я имел немалые успехи на ринге. А началось все с того, что однажды Сидней Львович заметил, что у меня обе руки одинаковые по силе — и левая, и правая. Как известно, человек бывает правша или левша. И если боксер правша, то к нему противник подстраивается соответственно, а если левша, то строит бой иначе. А у меня оказались обе руки одинаковые. Заметив это, Сидней Львович стал развивать мне левую руку, потому что руки были равны только по силе, а жил я до этого на белом свете как правша, и правая у меня, естественно, была более развитая. И вот на тренировках слышались бесконечные требования Джаксона: работай левой, левой, левой! Иногда он даже привязывал мне бинтом правую руку и в спаррингах заставлял работать одной левой. И тренер добился своего — я получил очень большое преимущество над противниками, с которыми довелось встречаться на ринге. Я работал как правша, а в нужный, удобный момент, наносил очень сильные удары левой. Потом пошла обо мне молва, что я скрытый левша, и бояться стали моей левой руки, а я наносил решающие удары правой.

Тренер «Спартака», куда я перешел, выйдя из пионерского возраста, Аракелян — тоже очень мудрый, очень знающий тренер и прекрасный боксер — помог мне отшлифовать все, что заложил в меня Сидней Джаксон. Вот благодаря таким наставникам я стал чемпионом Средней Азии в среднем весе, а потом, когда учился в военном училище, и чемпионом Среднеазиатского военного округа. Это было перед самой войной. С этими спортивными титулами и хорошей физической подготовкой я и попал на фронт.

В первых же боях на Калининском фронте у меня, как у спортсмена, обнаружились качества, которые заметило командование. Видимо, я был энергичный, не терялся в бою, проявлял находчивость, инициативу. Поэтому меня назначили командиром взвода пехоты разведки полка. Я был маленьким разведчиком, вовсе

не таким, каких мы видим в кинофильмах, совершавших большие подвиги, выполнявших головокружительно трудные задания. В общем не «Штирлиц». Моей обязанностью было с бойцами взвода разведки узнавать: кто находится перед нами, какими силами этот противник обладает, что намеревается делать — наступать или обороняться. Выполнялись такие задачи обычно ночью. Мы выдвигались за свой передний край, подползали к расположению противника и, уловив удобный момент, захватывали «языка», которого тащили в свое расположение. От этого «языка» уже штабные офицеры получали данные о намерениях и состоянии сил противника.

Работа была, конечно, опасной и требовала соответствующей подготовки. Кстати, назначению на эту должность я обязан своим боксерским данным. Произошло это так. В одну из ночей 1942 года наш взвод находился в боевом охранении. Он был выдвинут на небольшую высотку впереди боевого порядка полка и должен был в случае внезапного наступления фашистов встретить их огнем и дать возможность полку изготовиться к отражению этого наступления. Была холодная ночь. Мела поземка, струи снега пролетали над нашим окопом. Чтоб не замело окоп, мы расчищали его, выбрасывая лопатами снег наверх. Защищая глаза рукой от колючей поземки, я иногда посматривал на нейтральную полосу — такая погода удобна для внезапного нападения. И действительно, вдруг обнаружил, что к нашему окопу двигаются какие-то белые бугорки. Приглядевшись, я узнал в этих бугорках фашистов, одетых в белые маскировочные костюмы. Сначала я хотел немедленно открыть огонь из станкового пулемета, который стоял здесь же, на площадке, накрытый плащ-палаткой, чтобы его не заносило снегом. Но, приглядевшись, я обнаружил, что не так уж много этих белых бугорков, что это не общее наступление, а к нам подкрадывается группа, очевидно, гитлеровских разведчиков. Вот здесь и произошло в моем сознании то, что бывает в бою на ринге. Я определил слабость противника в создавшейся ситуации — он сейчас не подозревает, что мы его обнаружили. Ну и как на ринге, установив какую-то слабость в тактике или в технике своего противника, немедленно начинаешь использовать эту слабость для того, чтобы добиться своего перевеса. Вот и я решил

использовать свое преимущество. Быстро разбудил солдат, которые отдыхали в блиндаже, и сказал тихо: «Выходите, пригнувшись. Не обнаруживайте себя, к нам приближается группа фашистских разведчиков. Сейчас мы ее как следует встретим». Бойцы выскользнули в траншею, подготовили оружие, подготовили гранаты и сидели в окопе, ожидая фашистов. Я зарядил пулемет полной лентой и, не отходя от него, ждал.

Вижу, фашисты накапливаются на последнем рубеже, у них кое-кто отстал и, видимо, их старший задержал остальных. Вот они сползлись. Уже готовы к броску. В решающий миг, как только они поднялись, я подал команду: «Огонь!» И сам застрочил из станкового пулемета. Ребята начали бить врагов из винтовок и автоматов, забрасывать гранатами. Послышались крики, стоны, гитлеровцы падали, метались. Некоторые повернули назад, стали убегать. Меня охватил азарт боя, такое бывало и на ринге, когда противник загнан в угол и когда выкладываешь все силы для того, чтобы доконать его! Вот и у меня похожее было ощущение в том коротком бою. В порыве увлечения я выскочил на бруствер, крикнул: «За мной, ребята! Лови их!» Мне почему-то захотелось взять кого-нибудь из гитлеровцев живым. Я догнал последнего из убегавших, он, проваливаясь в снег, падал, убегал прыжками. То ли от страха, то ли от перегрузки, он не дышал, а стонал, дыхание тоже было рывками, запаленное. Ну, я догнал его и хорошим хуком в челюсть свалил на снег. Догнал еще одного и ударом с левой нокаутировал. Тут ребята подбежали, стреляя в убегающих. Они поймали еще одного фашиста. В эту ночь мы захватили трех пленных и налет врага на наше боевое охранение не состоялся.

Когда командованию стало известно о случившемся, меня вызвали в штаб полка. Наш командир майор Картунов, глядя на меня веселыми глазами, сказал: «А у тебя нюх на живого фашиста! Тебе нужно стать разведчиком».

Вот так и решилась судьба моей военной профессии. Я был назначен командиром взвода пешей разведки полка и все время на фронте прослужил в войсковой разведке.

Много мне приходилось выполнять различных опасных заданий вместе со своими боевыми друзьями-

разведчиками. Не всегда, не все эти задания выполнялись удачно, но даже и тогда, когда обстоятельства складывались для нас неблагоприятно, спортивная подготовка помогала мне, как командиру, быстро найти наилучший выход из создавшегося затруднительного положения.

Помню, однажды в 1943 году группа разведчиков, в которой было восемь человек, — я был старшим — ворвалась ночью в траншею врага, завязалась короткая схватка с двумя часовыми. Взять живого «языка» нам не удалось: оба гитлеровца были убиты. Нашу возню слышали фашисты, находившиеся в блиндаже, они начали стрелять в траншею прямо через доски двери, для того чтобы расчистить себе проход. Я бросил под дверь гранату. Граната взорвалась, сорвала дверь, и я увидел, как в блиндаже мелькнули силуэты. Бросил туда еще одну гранату. После взрыва в блиндаже свет погас. Крики затихли, но, конечно же, там затаились оставшиеся в живых враги. И вот надо было забраться туда, в этот блиндаж, и захватить «языка». Все это происходило очень быстро, в считанные секунды. Но как же кинуться в блиндаж, если только покажешься в проеме двери, сразу же тебя срежут очередь! И вот в эти считанные секунды, как и в бою на ринге, особенно в ближнем бою, когда в десятые доли секунды надо сообразить, как защититься от удара, как самому нанести удар, как выйти из боя или как прижать противника к канатам, вот и в окопе в такой острой ситуации мне пришла быстрая мысль: бросить еще одну гранату в блиндаж, но не вырывать из нее кольцо-чеку. Если это кольцо не вырвано, то граната не взорвется, но об этом знаю только я! А те, кто там еще уцелел после первого взрыва, услышав падение гранаты, конечно же, будут ждать взрыва и инстинктивно кинутся по углам, лягут, будут закрывать голову, ожидая взрыва. А в этот момент я и забегу в блиндаж! Все произошло так, как я рассчитывал. Метнув гранату с чекой, вбежал вслед за ней и во мраке нашупал живого, нужного нам «языка». А затем, с помощью друзей, подоспевших на помощь, утащил пленного в расположение своих войск.

В другой раз произошла очень неожиданная встреча в траншее врага. Разведчики набросились на гитлеровца, который дежурил у пулемета. У нас всегда задача — взять живым. И в этот раз мои ребята тоже

пытались скрутить фашисту руки, заткнуть кляп в рот. Да не тут-то было! Видно, этот фашист был до войны боксером. Он умело вывернулся из рук нападавших на него разведчиков, отбросил одного в сторону, а другого свалил сильным ударом кулака. Дальше, третьим, в траншее стоял я, и здоровяк фашист кинулся на меня. Ну, это я сейчас уже, после войны, предполагаю, что он был боксером, и так детально все описываю, а тогда было не до размышлений. Видимо, во мне сработала реакция, которая присуща боксерам. Я молниеносно встретил нападающего хорошим встречным ударом. И тут же добавил увесистый хук справа. Строптивый гитлеровец упал и стал нашим «языком».

Не будь я боксером, нам бы в ту ночь несдобровать!

Хочется обратить внимание на то, что на войне кулаками даже боксеру приходилось действовать очень редко, это были единичные случаи. Война есть война, там против врага действуют оружием. Но все же способность боксера мгновенно принимать решения, несомненно, помогала мне на какой-то миг действовать раньше, чем опомнится враг, с которым я сталкивался в критических обстоятельствах. Вот поэтому я и говорю: бокс, занятия спортом помогли мне остаться живым в годы войны.

Эти качества помогли не только мне. Благодаря им я со своими разведчиками выполнял очень много ответственных заданий и доставал ценные сведения о противнике, которые помогали нашим однополчанам бить врага умело, со знанием слабых и сильных его сторон и достигать победы на нашем участке фронта.

Конечно же, такими качествами, о которых я сказал, владеет не только боксер. Человек, занимавшийся спортом, будь то футболист, пловец, бегун, хоккеист, представитель любого вида спорта, несомненно, обладает многими полезными для воина качествами. Воля к победе, настойчивость, решительность, самообладание — все это укрепляется у спортсмена в спортивной борьбе. Эти же качества, необходимые воину в бою, делают спортсмена, надевшего военную форму, на голову выше тех, с кем ему приходится встречаться на поле боя. Но я, как боксер, беззаветно любивший этот вид спорта, конечно же, считаю, что больше качеств, необходимых воину, дает бокс! Он как-то более похож на то, что происходит на войне. Бокс —

это бой, бой на ринге. Боксера даже называют тем же словом, что и фронтовика, — боец! Разумеется, мне бы хотелось, чтобы как можно больше мужчин занималось этим мужественным видом спорта не только для того, чтобы одерживать победы на ринге, не только для того, чтобы стать именитым чемпионом, но и для того, чтобы уметь постоять за себя, за своих друзей, за свою девушку, за свою жену. Бывает так, что встречаются на вечерних улицах и распоясавшиеся хулиганы, так что не только в дни войны боксер может сделать доброе дело своим близким и незнакомым людям. Бокс — это, правильно говорят, спорт мужественных! И я бы еще сказал — благородных!

Кстати, опять-таки вспоминая своих тренеров, я видел, как нас учили благородству Аракелян и Сидней Джаксон. Они всегда внушали нам, что боксер не может участвовать в какой-то уличной драке или как-то показывать свою силу, хвастаться этим, применять кулаки для того, чтобы блеснуть перед девушкой, за которой ухаживает, или перед какими-то другими людьми. Нет, говорили они нам, боксер может применить свои кулаки только защищаясь или защищая кого-то. И ни в коем случае сам не может быть инициатором драки. Это даже неблагородно с его стороны — завязать рукопашную с человеком неподготовленным, заведомо зная, что ты сильнее его, что ты можешь его избить. Наши тренеры внушали нам рыцарское применение своего искусства — только ради блага ближних, на достижение благородных целей!

Я с гордостью вспоминаю и всегда с большим удовольствием рассказываю, выступая перед молодежью, о том, как защищали Родину в годы войны спортсмены: абсолютный чемпион СССР, чемпион Европы по французской борьбе Иоганес Коткас, один из сильнейших штангистов мира Н. Шатов, борцы, чемпионы СССР Г. Пыльнов и Л. Егоров, чемпионы страны конькобежцы К. Кудрявцев, А. Капчинский, чемпион СССР по классической борьбе Ш. Чихладзе, рекордсменка мира по парашютному спорту А. Шишмарева, многократный чемпион СССР по академической гребле И. Рогачев, чемпионка СССР по лыжным гонкам Л. Кулакова и сотни других прославленных спортсменов.

И конечно же, я с большим уважением говорю о боксерах: Николае Королеве, Сергее Щербакове,

Степанове и многих великолепных мастерах кожаной перчатки, которые в годы войны проявили себя отважными защитниками Родины на тех участках фронта, где им довелось воевать.

Вот всего несколько примеров из особенно близкой мне разведывательной практики наших славных боксеров. Я всегда любовался замечательными боями и блестящими победами на ринге Сергея Щербакова. Однажды в 1944 году, я только что выписался из госпиталя после очередного — третьего — ранения, шел по Москве и вдруг увидел афишу. В ней сообщалось о соревнованиях по боксу на первенство СССР. Конечно же, я помчался на Цветной бульвар, в цирк, где проходили соревнования. В тот вечер я увидел еще один прекрасный победный бой Сергея Щербакова. Тогда я вскользь обратил внимание на повязку на его ноге. Думал, незначительная травма, полученная на тренировке. Но, как выяснилось позднее, за этой повязкой стояли большие фронтовые дела и, я бы сказал, величайшая воля спортсмена. Узнал я подробности совсем недавно.

Вот что он мне рассказал:

— Понимаешь, целая история с этой повязкой. После боев под Москвой, когда фашистов отогнали, нашу бригаду перебросили на Кавказ. Однажды разведгруппе, которой я командовал, поставили задачу проникнуть в тыл врага и подорвать на горном перевале мост. Это был важный объект, по той дороге фашисты снабжали горючим свое танковое соединение. Ну, естественно, и фашисты понимали важность объекта, его прикрывали несколько дотов. Надо было сначала нейтрализовать одну из этих огневых точек. Поползли я и Григорий Греков. Обложили дот взрывчаткой. Укрылись в ближайшей воронке. И рванули! Каюк доту! Только обломки на нас посыпались. Ну, мы двинулись дальше. Но нас прижал к земле сильный пулеметный огонь из другого дота. Решили шарахнуть его, как и первый. Поползли. Метров двадцать осталось, когда пуля ударила мне в ногу. Обидно — не дополз! Когда товарищи вытаскивали меня, еще одна пуля — и опять в ту же ногу угодила! И, знаешь, о чем я тогда подумал? Не о доте, не о смерти, а о том, что не выйду больше на ринг! Ранение действительно оказалось серьезным. Хирурги даже со скальпелями подступили! Но я не дал отрезать ногу. Это ведь значило

всякую надежду потерять. А я надеялся. На что? Не знаю. Может быть, на себя, на свое железное здоровье. И вот, понимаешь, выкарабкался. Год лечили и выходили! Тогда, в 1944 году, для меня было очень важно выйти на ринг, проверить себя. Нога еще побаливала, но я уже чувствовал себя счастливым оттого, что могу вести бой! Ну а когда первенство страны выиграл, совсем успокоился — теперь полный порядок, стою на ринге твердо!

Рассказывал мне это Сережа, а я думал: ведь это рядом с подвигом Маресьева. Для боксера после таких испытаний вернуться на ринг — это то же, что для летчика сесть за штурвал.

Наш прославленный тяжеловес, девятикратный чемпион СССР по боксу Николай Королев тоже в годы войны был разведчиком. Его жизнь складывалась, как и у многих из нас: ученик слесаря, затем токарь, студент техникума, строитель московского метро, встреча с замечательным русским «первопроходцем» в боксе Харлампиевым, упорные тренировки, много труда и боев и, наконец, победа над самим Виктором Михайловым и титул первой перчатки страны!

В годы войны Королев действовал в тылу врага, в отряде легендарного разведчика Героя Советского Союза Медведева, который не только совершил много славных дел со своими боевыми товарищами, но и описал их в книгах: «Это было под Ровно», «Сильные духом», «На берегах Южного Буга». Королев дважды спасал Медведеву жизнь, вынося его раненого из-под самого носа фашистов. Однажды отряд окружили каратели, положение казалось безвыходным. Медведев, раненый, это понимал и приказал Королеву: «Уходи в лес!» Но для боксера нет безвыходных положений! Я думаю, тогда Николаю Королеву помогала именно боксерская способность мыслить хладнокровно в любой круговерти. Он понял: уйти из-под огня не удастся ни ему, ни командиру — пули догонят! Пулемет врага был неподалеку. И Королев не подался в лес и не взвалил на себя командира, чтоб вытащить его, нет, Николай пополз вперед, к пулемету. Гранатой уничтожил его, а потом уже взял на руки командира и побежал к лесу!

Вот как высока цена хладнокровию и умению не теряться — цена этому жизнь, и не только своя!

Сам Королев рассказывал о тех боях:

— Сто двадцать дней длился наш поход по тылам врага. Главной целью нашей была разведка. Поэтому, стараясь как можно больше увидеть и узнать, мы долго не засиживались на одном месте. Тем более что каратели все время шли за нами. Мы принимали бой и исчезали, снова появлялись внезапно и так же внезапно уходили. Центр получал ценную информацию о передвижении войск и обстановке в тылу противника...

Он полистал свою старую записную книжку и сказал:

— В ней итог нашей работы. Проведено 50 боевых операций. Взорвано эшелонов с техникой и живой силой — 3. Уничтожено 7 больших деревянных и 3 железнодорожных моста. Уничтожено 9 самолетов, 17 машин, 2 генерала, 17 офицеров, 45 предателей...

Не буду приводить весь перечень, но хочу остановиться на словах Королева о боксерских качествах:

— Почему бокс называют школой смелости? Тот, кто хоть раз побывает на боксерских состязаниях, непременно убедится, что этот вид спорта помогает человеку развивать такие качества, как смелость и мужество... Боксер умеет побороть чувство робости, смело вступает в бой и прилагает все силы к тому, чтобы добиться победы.

Лучшее доказательство этим словам — действия самого Королева в тылу врага.

Учитывая, что на Олимпийские игры собираются спортсмены разных государств, а фашизм опять поднимает голову во многих странах, мне хочется привести слова Николая Королева, сказанные им на антифашистском митинге в дни войны:

— Мы обращаем сегодня свое слово к нашим друзьям-спортсменам Англии, Америки и всех свободолюбивых стран. Братья по оружию! У нас одна цель, одно желание — уничтожить гитлеризм! Будем вместе громить коричневую чуму!.. Мы горячо приветствуем спортсменов-патриотов Югославии и Норвегии, Франции и Чехословакии, Польши и Бельгии, Голландии и Греции, отдающих свои силы нашему общему делу — уничтожению гитлеризма...

Многие советские спортсмены погибли в боях за Родину. Они лежат в братских могилах с другими солдатами и офицерами. Как и все советские воины, они отстаивали мир, независимость нашей Родины, освободили Европу от фашизма, дали возможность людям заниматься своими любимыми делами.

Сегодняшнее поколение счастливой молодежи должно низко поклониться фронтовикам, участвовавшим в разгроме фашизма, сказать им спасибо за их подвиг ради жизни на земле! И мне хочется напомнить тем, кто молод сегодня, кто полон сил, кто живет счастливо и радостно,— берегите мир! Этим вы поможете всем живущим сегодня избавиться от многих бед и страданий.

Радуюсь, наблюдая за спортивной борьбой, болея, как и все болельщики, я думаю, спорт и война — понятия несовместимые. Когда начались бои, сразу же были прерваны и соревнования, и тренировки. Война сокращает спорт так же, как она безжалостно сокращает человеческие жизни и многое другое. Спорт и мир, спорт и радость бытия, спорт и счастье, спорт и дружба — эти сочетания лучше всего подтверждаются на Олимпиаде.

* * *

Молодежь нетерпелива, ей всегда хочется побыстрее показать себя, чтобы все видели, все знали — вот мы какие! И это прекрасно. Это лежит в основе многих патриотических дел нашей молодежи.

Но кое-кому из юношей кажется иногда, что все самые значительные, интересные дела совершены и нет уже простора для применения своих сил в больших благородных делах.

Что греха таить, думал и я так в дни своей, теперь уже далекой молодости. Мне и некоторым моим сверстникам казалось, что в революции, на полях гражданской войны остались возможности для совершения подвигов. И это в годы, когда каждый день был насыщен героическими делами ударников первых пятилеток, в те годы, когда осваивалась Арктика, весь мир следил за многомесячной героической челюскинской эпопеей, когда появились первые Герои Советского Союза, когда гремели бои в Испании, на озере Хасан и когда фашизм, набирая силы, подступал к границам нашей Родины. Конечно же, мы по молодости многое недопонимали, недооценивали. Нам хотелось самим что-то делать: лететь на полюс, сражаться в интернациональных бригадах под Мадридом или ходить в наряд с отважными пограничниками.

Но наш час в те дни еще не пробил! Грозные испытания, которые история готовила для нашего поколения, были впереди.

Кто знает, что преподнесет история вам — сегодняшним молодым?! Пусть будет над вами всегда мирное небо, чтобы вы спокойно учились, а потом, став постарше, занимались любимым делом, наслаждались дарами природы и искусства. Но нельзя забывать и о возможных крутых поворотах и испытаниях. Надо быть к ним готовыми.

И вот тут мне хочется сказать слова горячей благодарности тем, кто подготовил нас к этим испытаниям, благодаря чьим заботам мы выстояли и победили. Прежде всего это Коммунистическая партия, которая продуманной, научной системой воспитания и образования дала нам все необходимые знания и качества для умелой защиты Родины. В семье, в школе, в пионерских отрядах, комсомольских организациях, в трудовых коллективах, в техникумах и институтах, в подразделениях Красной Армии наше поколение проходило не только школу жизни и познания учебных предметов, мы проходили еще и великую школу коммунистического воспитания! Она дает главную прочность советскому человеку в годы военных испытаний и в период мирного строительства. И когда грянули годы военного лихолетья, мы не оплошали — выстояли. Хочется привести доказательства тому, что молодость дана человеку не только для подготовки к большим делам, но и для их свершения. Молодость не только пора ожидания, молодость — время великих деяний и побед!

Задумывались вы когда-нибудь над тем, сколько было лет многим из тех, кто прославил себя и свою Родину большими делами? Давайте вспомним хотя бы некоторых из этих достойных людей, причем возьмем героев разных периодов истории нашей страны.

Щорс, когда ему было 23 года, командовал полком, в 24 — дивизией. Николай Островский, автор бессмертной книги «Как закалялась сталь» — 16-ти лет ушел добровольно на фронт, служил в бригаде Котовского и в Первой Конной армии Буденного. Будущие маршалы — Г. К. Жуков в 23 года командовал эскадроном; И. В. Конев — в 21 год уездный военный комиссар; Н. Ф. Ватутин в 19 лет участвовал в разгроме Махно. Один из будущих основателей космонавтики С. П. Королев в студенческие годы не только окончил Московское высшее техническое училище, но одновременно и школу летчиков. Зоя Космодемьянская

совершила свой подвиг в 18 лет. Иван Кожедуб в 24 года был уже трижды Героем Советского Союза! А около 12 тысяч удостоенных Золотой Звезды в годы Великой Отечественной войны — большинство были люди молодые. Сегодня они ветераны, теперь о них говорят с большим уважением. А когда были совершены эти большие дела? В ту пору, когда фронтовики были еще молодыми, когда они, полные сил, ходили в рукопашные схватки, летали на самолетах, водили в бой танки, били врага из пушек. А вот что сказал С. М. Киров о первом поколении советской молодежи, принимавшей участие в революции и в боях гражданской войны: «...Те из нас, которые тогда были на фронте, те помнят, какую громадную, я бы сказал, исключительную роль сыграл комсомол. Надо, товарищи, прямо сказать, что мы, большевики, вообще говоря, народ, который умеет бороться, не щадя своей жизни, и то иной раз с «завистью» смотрели на героев, которых давал тогда комсомол». Вот и выходит, что ветеран обретает почет и уважение за дела, совершенные еще в молодости. Так что спешите, юноши, показать себя в практических делах! Сегодня вы уже закладываете основы уважения к вам в будущем со стороны ваших детей, друзей и всех соотечественников!

Сегодня простор для свершения благородных дел так же широк, как в любые другие годы нашей эпохи. Причем дел масштабных, величественных, исторических! Примеров подвигов и благородных дел на этом попреще тысячи. Любой советский воин, солдат, сержант, офицер, добросовестно, с душой выполняя свой священный долг перед Родиной, совершает тем самым и большой патриотический поступок. Служба воинская нелегка, это не секрет, и вот советский юноша, надев военную форму, честно и добросовестно изучает военное дело, служит порой в труднейших климатических условиях, в отдаленных гарнизонах, вдали от родных и близких. Все это и многое другое, конечно же, нелегко и требует сознательности, определенной моральной прочности. И наши молодые люди достигают ее на каждом шагу в высоких показателях боевой и политической подготовки. Ну а тем, у кого по каким-то причинам моральной, идейной прочности не хватает, Советские Вооруженные Силы помогают приобрести их, причем не только на время срочной службы — этот прочный социальный стержень человек уносит с собой

на всю жизнь как драгоценную память о службе в армии. Вот какое большое дело совершается сегодня, из года в год и изо дня в день даже теми, кто по молодости не видит в мирные дни, куда приложить свои силы.

Мы часто говорим: и в мирные дни есть место подвигу. При этом имеем в виду самоотверженные, смелые поступки, похожие на подвиги героев войны. Но такие подвиги в будни совершаются не так уж часто. Солдат вынес ребенка из горящего дома, защитил девушку от хулиганов, обезвредил старую мину, задержал опасного преступника... Поступки эти благородны, они украшают сегодняшнего солдата. Но на войне каждый день, каждый час создается обстановка, требующая мужества, отваги, а нередко и подвига, связанного со смертельным риском. В мирные дни такие обстоятельства встречаются редко. И хорошо! Пусть реже будут всякие ЧП и из ряда вон выходящие случаи, связанные со смертельной опасностью. Но это совсем не значит, что без них не будет ситуаций для подвига. В мирные дни героические дела тоже совершаются массово и ежедневно, только чаще проявляются они в настойчивом самоотверженном труде. Гагарин и все космонавты к подвигам готовились упорно и долго. Подвиг в мирное время по сравнению с боевым часто как бы более растянут по времени. На войне он тоже был разной продолжительности, например, у Карбышева несколько лет, у Зои Космодемьянской — сутки, у Матросова — секунды. В мирное время для подвига характерны прежде всего упорный труд и мастерство в своем деле.

Один и тот же человек может, рискуя жизнью, броситься в горящий дом, но окажется неспособным изо дня в день выполнять какую-то монотонную работу. Есть героизм момента. И есть героизм будней, когда сознательно и добровольно люди обрекают себя на тяготы, зная, что в другом месте их могло и не быть.

Где же и в чем истоки высоких моральных сил, помогающих нашим солдатам и офицерам сегодня, на равных с другими поколениями смело идти на дела героические?

В борьбе за мир на земле, за спокойный труд людей много испытанных средств: дипломатия, расширение связей и дружба народов, международная солидарность трудящихся, но для агрессоров всегда самым

убедительным аргументом была мощь Советских Вооруженных Сил.

Военно-техническая революция повлекла за собой большие изменения не только в методах войны, но и в отношениях людей, в их подготовке, предъявила много новых требований к нашему современнику в военной шинели.

Современное оружие при огромной поражающей силе требует в обращении очень тонких нюансов не только в техническом мастерстве, но и в настроении, в чувствах людей, управляющих им. Сегодняшнее оружие прежде всего коллективное, его приводят в действие расчеты, экипажи, целые подразделения. Несмотря на высокую автоматизацию, машины и приборы не заменяют умственную, творческую деятельность солдат и командиров. В любой самой сложной «думающей», «вычисляющей» машине первоначальная настройка, обеспечение автоматической работы системы, пуск, выбор вариантов действий — все это решают, задают программу люди. Их высокая сознательность определяет успешность решения боевых задач в кратчайшие сроки, в любых условиях.

Но люди у электронно-вычислительных машин и автоматов сами не превратились в придатки машин — они обыкновенные советские парни, веселые и жизнерадостные, совесть их чиста, они знают, что, находясь в Вооруженных Силах, выполняют не только долг перед своим Отечеством, но и охраняют мир и прогресс на Земле.

И вот при выполнении этого долга советскому воину и офицеру необходимо одно очень важное моральное качество — это активная нравственная жизненная позиция.

А что же это такое? На первый взгляд, это всем хорошо известно и не требует никаких объяснений: активность — это энергичная деятельность. Однако это еще не все. Можно энергично, активно действовать, но... не в ту сторону, не в том направлении! Следовательно, активность настоящая — это энергичная деятельность, удовлетворяющая насущным требованиям в решении конкретных сегодняшних задач боевой готовности.

А чтобы она была соответствующей требованиям современности, тут в активности должен быть прочный стержень сознательности! Только сознательные,

убежденные действия порождают активность. Можно даже сказать: сознательность, убежденность — душа, движущая сила активности.

Враг был под Москвой, на Волге, в предгорьях Кавказа. Не хватало танков, самолетов, артиллерии. Промышленность западных областей была или на колесах эвакуации, или осталась на оккупированной врагом земле. Катастрофа казалась неотвратимой. Но мы выстояли! До сих пор буржуазные историки и философы не могут найти объяснение этой загадке — стойкости советских людей. Сила оружия фашистской армии для них очевидна! А вот что-то такое, что оказалось мощнее вооруженной до зубов фашистской армии, это они не могут или не хотят разглядеть. Для нас абсолютно ясно — мы выстояли благодаря моральной прочности, стойкости, убежденности, неколебимой вере в справедливость и правильность наших идеалов, горячей любви к нашей Родине.

А откуда взялись эти стойкость и вера? Они появились не сами собой. Их выпестовала наша партия. Я, как писатель, считаю своим долгом напомнить об одном из сильных воспитательных средств, верном помощнике партии в этой работе, о нашей советской литературе. Те, кто выстоял в годы Великой Отечественной войны, и те, кто служит в Вооруженных Силах сегодня, вобрали в себя героический дух, великую силу стойкости и преданности Родине из многих произведений о большевиках, участниках Октябрьской революции и гражданской войны. И в тех пластах жизни, которые писатели профессионально называют «рабочей» или «колхозной» темой, также закладывались ценные черты характера советского человека, которые помогли ему совершить подвиг на войне.

Мне кажется, пройдет лет пятьдесят, и буржуазные историки опять будут гадать, что же помогло нам выстоять и победить в перестройке. И тут уж никуда не денешься — наши новые идеалы должны быть признаны более прогрессивными, более близкими и желанными, чем прежние, ошибочные и застойные.

Недавно я побывал в гостях у стратегических ракетчиков. На одной из «точек» спустились мы под землю. Здесь был мир автоматики и электроники и управляли им совсем молодые люди: рядовые, сержанты, несколько офицеров. Внешне они были похожи на тех военнослужащих, с которыми мне довелось служить совсем

недавно. Однако я понимал, за этим внешним сходством скрывалась целая революция в военном деле, совершенно новая, еще мало изученная психология воина нового типа. И вот сидят у пультов рязанские, киевские, хабаровские, ташкентские пареньки и держат свои крепкие руки на пультах и кнопках. Лица их сосредоточены. Взгляд спокоен.

— Вы из каких мест?

— Рядовой Смирнов. Я с целины. Хлебороб. Окончил десять классов, потом здесь получил подготовку по специальности.

— А вы? — обратился к чернявому пареньку, глаза которого сверкали задорным блеском.

— Сержант Малыгин. Я москвич, окончил техникум связи. И здесь в связисты попал.

Смотрю я на ракетчиков и думаю. Сейчас они выполняют боевую задачу, значит, должны переживать что-то вроде нас, сидевших в годы войны в окопах. Но обстановка совсем не та: тепло, светло, уютно. Чувствуют ли они себя воинами? Мы готовы были каждую минуту встретиться с врагом лицом к лицу в рукопашной. Мы знали своего врага, коварного, злого, кровожадного и подлого. Мы видели следы его варварских, бездушных дел в каждой освобожденной нами деревне. Мы ненавидели своих врагов и были полны решимости уничтожить их и изгнать с родной земли.

— А каким представляется вам враг, товарищ Малыгин? — спросил я солдата.

Его веселые глаза стали строгими, сосредоточенными.

— Я не ощущаю врага в парне, который сейчас сидит у пульта ракеты где-нибудь за океаном. Но я ненавижу того, кто обманывает его «красной угрозой» и может заставить нажать кнопки. Мысленно я всегда держу на прицеле вот того, второго, которому до «лампочки» человеческие страдания и благополучие земли. И если надо будет его образумить и защитить нашу Родину — мы выполним свой долг!

Мне думается, в труде и службе не только стратегических ракетчиков, но и воинов всех видов и родов войск объединены обе формы проявления героизма и готовность к мгновенным действиям. Тут и монотонность круглосуточного, бдительного дежурства, и скрупулезное содержание в исправности сложнейшей

техники, и все это изо дня в день, из года в год! Это сближает труд советских воинов с трудовым подвигом рабочих, строителей, колхозников, ученых. А ежеминутная готовность вступить в бой, отразить удар врага — это состояние можно сравнить только с тем, что испытывали воины в первой траншее перед атакой, когда вот-вот прозвучит сигнал — и все ринутся вперед. Ну а в целом весь общий труд наших Вооруженных Сил выливается в тот самый подвиг, величие которого мы еще, может быть, и не оценили в полном объеме. Для того чтобы увидеть что-то великое, нужна дистанция времени. Или еще, говорят, истина познается в сравнении. Воспользуемся мудрым советом. Победить врага в четырехлетней кровопролитной схватке с фашизмом, отстоять независимость, потерять около двадцати миллионов человек ради восстановления мира — это был великий подвиг наших Вооруженных Сил, всего народа и страны в целом. Сохранить мир на протяжении многих лет — это тоже, конечно же, новый массовый героический подвиг нашего советского народа. И молодежь, составляющая большинство в Советской Армии, тоже внесла в это дело свою весомую лепту.

Большие дела требуют благородных поступков, а это значит — каждый день, каждый час открывают широкий простор для дел героических. И для молодежи, полной задора и желания проявить свою готовность к подвигу, этот простор распахнут в первую очередь: учитесь, трудитесь, творите, дерзайте — на то вам молодость дана! И помните всегда: вы добьетесь больших высот в учебе, в труде, в службе военной, если сердце ваше будет согрето светлой любовью к Родине. Эта любовь и преданность есть постоянная готовность, первый шаг к подвигу.

* * *

Июнь 1945 года. Участники Парада Победы — один сводный полк от каждого фронта — прибыли и разместились в Москве.

После четырехлетней траншейной жизни, сырых, прокуренных землянок, атак и контратак, постоянно витающей рядом смерти, похорон друзей вдруг сразу столица! Такое испытание радостью тоже надо было уметь перенести.

Фронтовики нарасхват приглашали в институты, школы, на заводы, в учреждения. Всюду нас встречали цветами, аплодисментами, радостными улыбками. Каждый вечер посещение театра, концерта, Дворца культуры. Работники театральных касс раскладывали на столах целые россыпи билетов прямо в наших спальнях.

Однажды пригласили в школу меня и Героя Советского Союза Николая Прудкина. В школьном зале рукоплескали ребята в белых рубашках и красных галстуках. При виде радостных детей у меня почему-то перехватило горло, и я со страхом подумал: не смогу говорить, если мне первому дадут слово.

Так и случилось. Я вышел к фанерной трибуне и не мог ничего сказать. В зале стояла тишина. Смотрели сотни блестящих, ожидающих глаз. А я молчал. Я не знал, о чем говорить. Не ощущал за собой никаких подвигов. А ребята хотели услышать именно это.

Я глядел на старшеклассников и думал: «Совсем недавно был таким, как они. Вон тот длинный паренек похож на Шурика Нестеренко из нашего класса, а этот быстроглазый — на Витю Враженова, а белобрысый, худощавый — на Леню Смирнова... Похожи. А тех ребят, на кого они так похожи, нет. Они погибли...» Я мучительно думал, о чем же рассказать? И не находил ничего подходящего, все казалось будничным, тяжелым, неинтересным. Рассказать, что было страшно на заданиях? Но разве можно такое рассказывать с трибуны... У ребят вон как глаза сверкают. Они жаждут дел героических! Так что же, приукрасить? Соврать? Я действительно не видел в своей прежней работе ничего подходящего для иллюстрации мужества, хотя и был разведчиком, ходил много раз на задания. Первое, что я решил тогда на трибуне — больше не соглашаться на подобные встречи, дабы не попасть в такое мучительное положение.

Конечно, я нашелся. Вдруг осенила мысль: «Разве обязательно рассказывать о себе?» И я поведал о боевых делах друзей-разведчиков.

После меня выступал Коля Прудкин. Он тоже на некоторое время онемел, выйдя на трибуну. Я понимал его состояние, сочувствовал ему и с волнением думал: видели бы эти ребята Колю в бою. Он был сержантом, когда заменил раненого командира роты. Маленький, рыженький, с редкими порченными зубами

(«Наверное, много сладостей ел в детстве», — подумал я, увидев его впервые), Коля метался на крошечном плацдарме и визгливым фальцетом руководил боем. Там Коля был самым храбрым и отчаянным. В роте уцелело чуть больше десяти человек, но Прудкин, раненный не раз, плацдарм удержал!

Коля преодолел наконец немоту и, крутнув стриженной под бокс головой, смущенно сказал:

— Воевать, товарищи, оказывается, проще, чем про это рассказывать...

Ребята поддержали его доброжелательным смешком. Коля заговорил более складно.

— После Днепра война пошла веселее. Верите ли, до самого Кенигсберга лопату не вынимал, ни одного окопа в полный профиль не отрыл. Все в отбитых у немцев сидел. Раньше, бывало, пока оборону прорвем, карта у командира на всех сгибах протрется. А тут пошло — не успеют новые листы раздать, а мы уже прошли эту местность...

Я нервничал: «Не то говоришь, Коля, покажется ребятам война веселым, легким делом... А может, не надо омрачать их радостные чистые души?»

Рассказ Прудкина ребятам понравился, они долго били в ладоши. Потом девочка с косичками, заливаясь алым румянцем, спросила:

— Скажите, правда, что умирающие на поле боя перед смертью шепчут имена любимых?

Школьники и педагоги неодобрительно зашикали на девочку, а она смущенно защищалась:

— А я хочу знать. Я об этом в книге читала.

Коля ответил не сразу. Я тоже прикидывал, что бы сказал, если меня спросили об этом, и опять терялся, не зная, как отвечать. Если по правде, то я не слышал, чтобы шептали имена любимых, но ведь девочке явно хочется романтики, в ее вопросе и ответ сквозит. Как же быть? Ведь если сказать девочке грубую правду, она может обжечь ее нежную душу.

Коля ответил так:

— Как тебе объяснить, милая, не знаю. Умирают люди на войне просто — ударила пуля или осколок, и упал человек. А мы дальше идем. Нам останавливаться нельзя. Что говорят люди перед смертью, мы не слышим... Кого не сразу убило, те на руках санитаров или товарищей после боя помирают. Ну, о чем они говорят? Одно знаю, речи, как это иной раз в кино

показывают, они не произносят. Вот у меня на руках друг умирал. Пожилой человек, бороду носил, а пришел конец — маму позвал. «Больно, говорит, мне, маманя». На том и погас.

После этой встречи со школьниками я еще раз поклялся никогда больше не ходить на такие выступления, удирал пораньше из полка, чтобы не угодить в какую-нибудь группу «встречающихся».

Но судьба решила иначе. Пришлось мне всю жизнь, по долгу писателя, только тем и заниматься, что рассказывать людям о войне, о подвигах, о солдатской доблести и крепком воинском товариществе на фронте и в мирные дни службы.

В тот далекий день победного сорок пятого года я впервые задумался над тем, как же писать о войне, и, признаюсь честно, не на все вопросы нашел ответы еще и сегодня. Каждый раз, склоняясь над чистым листом бумаги, я вспоминаю своих первых слушателей и затруднения, которые я испытывал, встав перед необходимостью рассказывать людям о пережитом. Писать правду? Да, надо писать правду. Но как быть с романтикой, к которой тянулось сердце девочки, как удовлетворить горячую жажду подвига нового поколения?

И, оказывается, все это есть: правда, романтика, подвиг, реальность — все это сплетено в единое целое, имя которому сама жизнь. Надо только рассмотреть, где, что и как в ней это представлено. Жизнь — самый лучший источник правды. Вот хотя бы случай с тем же Колей Прудкиным. Когда он прибыл с пополнением в наш полк, я не взял его в разведвзвод. «Забраковал» с первого взгляда. А он оказался отчаянным смельчаком и стал Героем Советского Союза. Наверное, кто-нибудь из журналистов или писателей, описывая подвиг Прудкина, обойдет этот момент в его биографии. Героев принято во всем показывать в превосходной степени. А правильно ли это? Давайте разберем хотя бы один этот случай. В жизни было так. Прибыло в полк пополнение. Бойцы, молодые, только призванные, и старые, уже из госпиталей, «с ремонта», стояли в лошине кривыми рядами и ждали распределения по ротам. Люди были усталые, неразговорчивые, небритые.

Можно ли так писать о пополнении — это же свежие силы! Обычно о резерве говорят, что люди, его составляющие, бодрые, рвутся в бой, грудь колесом.

Не упрекнул ли автора в незнании фронтовой жизни, если он опишет, как сказано выше. Нет, не упрекнул, если объяснить, что кривые ряды были оттого, что шеренги повторяли все неровности дна оврага, в котором были построены вновь прибывшие, что с целью маскировки от авиации шли они всю ночь пешком (поезда, как известно, прямо на передовую не подходят) — вот и устали, и обросли бородой люди — это естественно.

Первым по установленной традиции разрешалось подбирать бойцов разведчику. Я вышел перед строем и спросил:

— Кто хочет служить в разведке?

Многим теперь кажется, что весь строй сделал шаг вперед. Так нередко показывают в кинофильмах. А на передовой этого не было. Прибывшие опустили глаза в землю. Что же, так и писать? Или врать — строй в едином порыве шагнул мне навстречу!.. Нет, врать не надо, следует объяснить, что к чему — и все станет на свои места. Я тогда в овраге растерялся и зло спросил:

— Неужели все прибывшие — трусы?

Мне ответил спокойный, русоволосый, немного сутулый парень:

— Зачем всех обижаете? Мы знаем — разведка дело особое. Вот и сомневаемся, есть ли у нас необходимые для нее качества.

Когда я объяснил, каким должен быть войсковой разведчик, четверо вышли из строя.

— И со мной поговорите, — попросил рыженький, с порченными зубами солдатик. Шинель на нем была на двоих таких, как он, ноги в обмотках торчали из-под нее. Это и был Коля Прудкин.

Забраковал я его тогда, а потом все время жалел об этом. Коля был очень смелым, смекалистым и веселым парнем — природным разведчиком. Такой нигде не растеряется. Не случайно он и в пехоте, будучи рядовым, стал Героем Советского Союза.

Мне кажется, и в романе и в повести, исходя из жизни, так вот и надо писать о героях. Всякие сверх-человеки, люди, наделенные сверхъестественными качествами, способны зародить у читателей сомнение насчет своей способности совершить подвиг. А зачем это? Подвиги вершили самые обыкновенные Иваны, Ибрагимы, Арсены, Зои, Лизы. И, мне кажется, не нужно делать героическое уделом лиц исключительных, жизнь этого не подтверждает. Каждый советский

человек, если в его сердце горит любовь к Родине, если он понимает, в чем его долг перед Отечеством, если он имеет необходимые физические данные и выучку, способен совершить подвиг, когда того требуют обстоятельства. Другое дело, что эти «если» не всегда нажиты человеком. Но у большинства наших людей все эти качества есть. Поэтому и героизм у нас массовый.

На фронте, идя в бой, мы не думали о подвигах и даже порой не подозревали, что их совершаем. Наши дела называли героическими другие — те, кто видел нас со стороны. Не случайно народная мудрость гласит: «Со стороны виднее». Наверное, надо глядеть на проблемы, явления, отношения людей не только сиюминутным взглядом, но еще учитывать, как выглядит то, о чем пишешь, в общем ряду событий дня, кампании, войны или даже эпохи. Это умение приходит не сразу. Не могу сказать, что я уже умею это делать, но стремлюсь к этому.

Я убежден, надо писать правдиво, раскрывая простой и обаятельный образ советского воина, который, не думая о героизме, вершил его повседневно, шел на смерть, защищая свой народ, а если настигала пуля, умирал, как и жил, простым человеком, тихо прошептал: «Мне больно, маманя».

Мы все еще в долгу перед таким героем. И пока живы писатели, которые сами ходили в атаки, дрались в рукопашной, били врага на земле, на воде и в воздухе, — им надо поспешать с рассказами о том, что ведомо. Те, кто будут писать после нас (а писать о Великой Отечественной войне будут еще не один век), писать будут с каждым годом более масштабно, открывая и раскрывая новые и новые исторические подробности, подходя к нашим деяниям с новых точек зрения, с иных высот.

Но детали окопной жизни: ощущение солдата, поднимающегося из окопа под стригущие траву пулеметные очереди, сон на ходу, на морозе, во время ночного марша; почему израненный человек не желал покидать поле боя и тысячи других подробностей лучше знает тот, кто сам побывал в боях, видел все своими глазами.

В этой книге пойдет разговор об истоках мужества, о славе, порожденной мужеством, отвагой, героизмом советских воинов в боях за Родину. В каждом поступке есть свои побудительные силы, стремления, личная и общественная польза — может быть, это и есть на-

чало цепочки — исток, поступок, слава? Может быть. Надо разобраться. И возможность такая есть.

Я много видел героических дел на войне и в мирные дни за двадцать пять лет службы в армии. Со многими героями был в бою, встречался, беседовал в послевоенные годы. Сам пережил то, что испытали они. Книга эта — не только описание славных дел, но и мои размышления о них. Конечно же, суждения мои не рецепт мужества, не бесспорные истины, здесь скорее приглашение читателям поразмышлять вместе с автором, согласиться там, где мои доводы убедительны, возразить тому, что покажется недостаточно обоснованным. В общем, книга — это лишь начало разговора, который мне хочется продолжить вместе с читателями, узнав их мнение не только о том, что здесь написано, но и о делах героических, с которыми довелось встретиться в жизни.

И помните, друзья-фронтовики: надо поторапливаться. Кому в день Победы было двадцать пять, сегодня уже под шестьдесят. Дело ведь не только в том, что надо рассказать о нашествии фашизма на землю и как Советская Армия избавила человечество от этой чумы. Рассказы и суждения ваши должны стать не просто интересным развлекательным чтением, мы должны их сделать наукой мужества и победы, стойкости и героизма — эту науку зачинали наши предки, продолжали мы, понесут в будущее наши дети и внуки. Она им еще не раз пригодится.

Наша молодежь показала себя и в боях в послевоенные годы, и на мирных стройках достойной наследницей славы отцов и дедов. Приглашаю и вас, наши дорогие наследники, принять участие в разговоре, вы многое видите по-своему, у вас зоркий глаз, пытливый ум. Не забывайте, что многие из героев совершали подвиги, будучи в вашем возрасте. Так что вы можете не только вести разговор, но и вершить дела с ними, как говорится, на равных.

Итак, начнем — в час добрый!

* * *

Мне кажется, будет правильно и справедливо, если мы начнем наш разговор об истоках мужества с первого дня войны. С того дня, который никогда не забудет

наше поколение. Кажется, до сих пор слышу я гул и тревожное злое эхо большой беды, которая обрушилась тогда на нашу землю. Я говорю о 22 июне 1941 года.

Мало кто уцелел из пограничников, из воинов, которые находились в тот день на границе. Огромные силы врага неожиданно обрушились на них в тот день. Но пограничники не дрогнули, стояли насмерть, бились до последнего. А потом была большая война, в которой пограничники тоже участвовали. Они служили в воинских частях, отходили вместе с этими частями и, освобождая советскую землю, с победой шли на запад, изгоняя врагов не только с родной земли, но и из многих стран Европы. Несмотря на огромные трудности, на множество опасностей, все же остались живы и по сей день участники тех далеких теперь боев 22 июня. Мне давно хотелось поговорить с одним из них, узнать, как тогда, в тот день, находили они в себе силы противостоять такой огромной фашистской армии, ринувшейся на территорию нашей страны. И вообще, в чем источник мужества, проявленного ими в самые трудные дни военного лихолетья. И вот я нашел одного из тех, кто был 22 июня 1941 года в траншее, на границе, и первым встречал фашистов. Фамилия его Гоманков, зовут Иван Прокофьевич. Мне казалось, что будет интереснее и для меня, и для него поехать туда, на границу, на место боев, и там послушать рассказ Ивана Прокофьевича. Гоманков прихватил с собой планшетку, обещал показать интересные бумаги по ходу рассказа.

Мы сели в поезд и поехали в город Гродно.

Смотрим мы с Гоманковым на проплывающие за окном вагона поля и вспоминаем войну: именно здесь нам обоим довелось участвовать в боях. Но особенно ярко мне запомнились дни, когда мы возвращались с Победой.

Кончилась война, эшелоны мчали нас домой, на Родину! Мне казалось тогда — время остановилось, солнце не заходило, не было ночей — только яркий солнечный день. Наверное, так было от улыбок и приветного сияния глаз, которыми всюду встречали нас, фронтовиков, соотечественники. Женщины, старики, дети были худые, в недоношенной нами военной одежде, пострадали люди, но глаза их сияли настоящим счастьем.

Было в те дни и такое: когда поезд несся по открытому, искореженному войной полю, вдруг обдавал лицо полынно-горьковатый ветер. Я выглядывал из вагона с недоумением: откуда весной полынь? Оказывается, горький запах этот шел от черных пепелищ деревень и городов. Скорбно тянулись к небу печные трубы, похожие на могильные кресты над бывшими здесь когда-то домашними очагами, над жившими когда-то здесь людьми.

Горький запах сжимал сердце, омрачал душу. Победу мы одержали, но сколько надо сил, чтобы возродить эти села и города, оживить истерзанную землю! Когда мы все заново отстроим и наладим нормальную жизнь? Казалось, все отдано войне, нет уж ни средств, ни возможности для такой титанической работы.

Ломать, разрушать легче и быстрее, чем строить — это давно известно. Война четыре года крушила и жгла нашу прерванную стройку, била ее снарядами, бомбами, палила огнем. А полем боя была земля от западной границы до Волги...

Недруги наши радовались: на сто лет минимум остановлено, отброшено назад строительство социализма. А партия сказала: нет, при нашем трудолюбии, при возможностях, которые открывает социалистический строй, мы все восстановим за пять — десять лет и двинемся дальше. Партия нашла силы, объединила, вдохновила и повела народ за собой на великое восстановление. Да, это было великое восстановление после великой войны. Это был еще один новый, теперь уже трудовой подвиг советского народа.

В дни перестройки как-то все пишущие, оглядываясь назад, видят только ошибки, беды, преступления. Никто не вспомнил эти вот тяжкие, полуголодные дни восстановления жизни из разрухи, причиненной войной. Да, было очень нелегко, всего не хватало, но народ все перенес, преодолел! Как же можно об этом сегодня забывать? Встали рядом фронтовики и труженики тыла. Разве может быть что-либо не по плечу этой великой силе? Нет таких трудностей и преград! И воскресла, задышала ровным могучим дыханием земля, поднялись, восстали из пепла новые, более прекрасные, чем прежде, города и поселки, осветили Отчизну ярким светом новые мощные электростанции. Как салюты трудовым и научным победам, взлетали

в небо космические ракеты и корабли. Мы сами, участники и очевидцы всего содеянного в эти послевоенные годы, видели это чудо возрождения. Живы — катят в «Жигулях» и «Москвичах», смотрят цветные телевизоры те, кто встречал нас когда-то в поношенных ватниках и стоптанных кирзачах.

В общем, есть нам о чем вспомнить, глядя на эти земли. Но я не желал, чтобы Гоманков начал делиться воспоминаниями в поезде. Мне хотелось послушать его именно на границе, там, где он вел первый бой. Я схитрил и предложил Гоманкову:

— Хотите, Иван Прокофьевич, расскажу, как я встречал Новый год где-то здесь, на белорусском поле?

— Расскажите. Новогодние рассказы всегда интересны,— согласился Гоманков.

Мы сели в своем купе к маленькому столику, накрытому белой салфеткой, соседей у нас не оказалось, ехали вдвоем, и я начал рассказ:

— Наверное, в штабе при разработке плана этого боя была продумана сотня вариантов, но, как часто бывает на войне, обстановка сложилась по сто первому, который никем не предусматривался.

Я, командир взвода, лейтенант, при выработке решения, конечно, в штабе не присутствовал, однако, когда ротный командир отдал нам вечером приказ об атаке «под покровом темноты», я сразу понял: это повогодний сюрприз для фашистов. У нас нет сил для большого наступления; вчера я водил свой взвод мыться в бане-землянке и не видел в тылах ни свежих частей, ни артиллерии, которые обычно накапливаются перед большим «сабантуем». Значит, решили своими силами неожиданной атакой выбить гитлеровцев из обжитых окопов и блиндажей, пусть Новый год встречают в открытом поле, пусть их русский морозец просолит инеем до костей, а поземка укроет белым саваном.

Так, наверное, предполагали. А получилось иначе... Из первой траншеи мы гитлеровцев выбили, а вот перед второй они нас положили сильнейшим огнем пулеметов и артиллерией.

Теперь надо подождать, пока наши «боги войны» хорошо пристреляются по новым огневым точкам, и после артналета, в зависимости от того, какой будет приказ, мы или рванем вперед, или уползем назад

в недавно отбитую у немцев траншею. В общем, надо ждать, командир роты так и передал по цепи: «Не рыпаться до артналета!»

А что будет раньше — Новый год или артналет? Я гляжу на часы — без сорока минут двенадцать. Мины и снаряды вскидываются то с боков, то позади. Пулеметы чешут над головой. «Доживу ли я до сорок третьего года?»

Лежу я в свежей воронке на ее крутом скате, поджимаю ноги, потому что на дне воронки накапливается вода, место здесь болотистое. Когда этой воды наберется больше половины воронки, меня выжмет под пули, не стану же я лежать в ледяной воде. Вода набирается медленно, до артналета она, пожалуй, меня не вытеснит.

Земля подо мной мягкая, скаты воронки не успели промерзнуть. Еще не выветрилось, пахнет гарью после взрыва. Через этот запах гари пробивается и теплый натуральный дух земли. Какому-нибудь сельскому жителю такая свежая земля напомнит весеннюю пахоту, а я городской, не приходилось мне бывать на пашне. Только на фронте узнал я запах земли. Этот запах напоминает мне одиночные и братские могилы. Я знаю, земля — наша кормилица и поилица, и я люблю ее такой, но вот запах ее, свежевырытой, напоминает мне только могилы. Не обижайтесь на меня, люди, возделывающие землю, не обижайтесь те, кто поднимал целый материк целины, для вас этот запах самый желанный. Не обижайтесь на мою откровенность — моя молодость прошла в боях, в окопах, в блиндажах. Я клал в могилы своих боевых друзей — Костю Камилевича под Москвой, Ваню Казакова в землю белорусскую, Женю Почандо в немецкую, я бросал в их могилы прощальную горсть, надеясь за все отомстить врагу...

Но есть у меня и незабвенное, и не только у меня, а у всего моего поколения — запах свежевырытой земли неотделим для нас от запаха войны.

...Лежу я в воронке, черный конус ее окаймлен серым снегом, он неглубокий, смерзшийся в твердую корку. Надо мной черное небо. На черном небе тоже одна воронка, как от снаряда, — это луна, окаймленная широким морозным кругом. Облака на небе похожи на снежные сугробы, а звезды — на колючки заиндевелого проволочного ограждения.

Сейчас самое трудное позади. Я почти спокоен. Огляделся, окликнул своих бойцов, они по воронкам засели. Ждут. Отдыхают. Для них тоже самое трудное позади. Самое трудное — это вылезти из траншеи и бежать на автоматы и пулеметы немцев, падать от близких разрывов мин и снарядов, вскакивать и опять нестись среди чудом не попавших в тебя жужжащих и щелкающих пуль. Бежать скорее вперед, будто там спасение, а там ведь рукопашная. Почему люди так спешат туда, вперед, навстречу возможной смерти? Я не раз думал об этом. Проще всего это объясняют в кино — жажда подвига! Она сильнее смерти. Но это только в кино. Мне всегда как-то пеловко видеть на экране красивые жесты, позы, слышать возвышенные слова во время атаки. стыдно за тех, кто все это так показывает. стыдно перед фронтовиками, которые погибли: они не были позерами, в их делах не было фальши, они умирали без рисовки, умирали просто и горько. Им хотелось жить. Затухающим сознанием они еще надеялись, наверное, что это лишь ранение.

Они не говорили громких слов, они делали большие дела. Каждый шел в атаку, надеясь остаться живым. Каждый видел, за что умирали его товарищи, — они падали в бою, словно прикрывали собой освобожденную землю. Это и есть героизм — отдать жизнь за Родину. Отдать самое дорогое, отпущенное только тебе, на одного, только раз, необратимое. Как это величественно: человек отдает самое дорогое ради счастья других и как это жестоко, что люди пока не могут избавиться от необходимости такой жертвы!

Люди бегут в атаке не для того, чтобы побыстрее свершить подвиг, а чтобы побыстрее преодолеть зону губительного металла. Сразить человека — достаточно одной пули, одной железной капли. Тяжело выскакивать из траншеи под такой «дождь». Теперь это позади... до следующей атаки. Можно передохнуть в воронке.

Говорят, снаряды не попадают в старые воронки. Мне тоже хочется в это верить. Но это придумали люди штатские. Я-то, военный, знаю: если бы одно орудие стреляло, тогда вторичное попадание мало вероятно. А здесь лупят сотни стволов, какая тут, к черту, теория вероятностей, тут царство теории невероятностей! И все же мы лезем в воронку. Может, и правда, не угодит снаряд, и к тому же готовое углубление скрывает от пуль и осколков.

Полчаса до Нового года. Где-то далеко в тылу люди поздравляют сейчас друг друга, хоть и не богаты у них столы: капуста, картошка да хлеб, но по-прежнему они высказывают друг другу хорошие пожелания. В воронке я один. Мне и пожелать что-нибудь некому. Говорят, загаданное под Новый год сбывается. Что же мне загадать? «Остаться живым!» Ишь чего захотел! Сегодня и наши, и немцы, наверное, такое загадывают. Что же, все останутся живы? Ерунда. Надо загадать что-то более реальное. Что же? Взять вторую траншею? Да возьмем мы ее не сегодня, так завтра. Пожелать — учиться в институте? Дожить до свадьбы?.. Все, о чем бы я ни думал, сводилось к тому, что надо прежде победить фашистов, сделать наше большое общее дело, тогда и мое счастье станет реальным.

...Ну а когда сбудется это и мы победим, с чего бы мне хотелось начать ту послевоенную жизнь? Может, покажется нелепым и наивным, но тогда, в воронке, мечта была у меня такая, не утаю. Хотелось мне вернуться в родной Ташкент, где ждали меня мать, отец, ну и, конечно, «она» — единственная и лучшая на свете. Но после первого свидания, торопливых, суматошных поцелуев и объятий, желал я остаться один, хотел пройти в вечерней тишине по самой середине улицы Пушкина, один под электрическими лампочками. А справа и слева по тротуарам чтоб гуляли девушки в легких летних платьях и парни в наглаженных чесучовых брюках. До войны автомобилей мало было: вечером вполне можно ходить по середине дороги. Шуршали бы листья под ногами, смеялись бы девушки на скамейках, а я шел бы и вдыхал теплый воздух, в котором улавливал пряный аромат шашлыка, прилетающий от жаровен из парка Горького. Как же хорошо мы жили до войны и как мы не умели ценить свое простое счастье!

Ударила близко мина, осколки и земля брызнули надо мной. Я невольно втянул голову в воротник шинели и в это мгновенье, взглянув вниз, на дно воронки, обнаружил еще один мир. Кроме того, что меня окружало на земле и что я видел в небе, у ног моих, в гладком кругляшке воды, был виден еще какой-то третий мир. Я лежал как в окуляре: черная воронка, будто резиновый круг, окаймляла большую прозрачную линзу. Опустился ниже, к этой линзе, и заглянул в нее. Будто в сказке я увидел то, о чем мечтал: высокое вечернее небо, луну, яркие звезды и легкие

облака. Там, в этом мире, была тишина: ни взрывов, ни трассирующих пуль. Мне показалось, где-то рядом, загляни я чуть вбок — появится улица Пушкина и вечерняя публика. Я склонился над водой, пытаюсь взглянуть за кромку, и вдруг оттуда, из-под земли, мне навстречу высунулся черноликий призрак. Сердце у меня забилося испуганно и гулко. Конечно, я понял, что увидел свое отражение, и все же было жутковато и как-то не хотелось видеть себя в том прекрасном «до» или «послевоенном» мире таким черным, похожим на труп. Может быть, это для меня новогоднее предсказание — быть мне убитым?

Захотелось побыстрее рассмотреть, какой я там в отражении: живой или мертвый? Суеверный страх охватил меня, я даже не подумал о том, что увижу себя в воде таким, какой есть. Осторожно и опасливо заглянул в зеркало воды... И тут же ощутил, как волосы зашевелились у меня под шапкой-ушанкой, показалось даже, что волосы приподняли шапку. То, что я увидел в воде, оледснило кровь в моих жилах. Все миры: в небе, под землей и тот, что за воронкой, на поверхности,— все эти миры мгновенно вылетели из моего сознания — в воде я увидел каску немца, который заглядывал в воронку. Он принимал меня за убитого. Лежал я в неудобном положении — вниз головой, поэтому казался мертвым. Я выстрелил первым... и не промахнулся. Я метнулся вверх. Нет ли там других фашистов? В стороне отстреливались от нескольких ползающих во мраке фигур солдаты моего взвода. Я помог им огнем из автомата. Но вскоре пулеметные очереди и близкие взрывы мин опять загнали меня в глубь воронки. Я посмотрел на часы, было пять минут сорок третьего года. Чуть-чуть мое новогоднее гаданье не сбылось! Еще бы миг, и сделал бы фашист меня трупом, таким, каким «выглядывал» я из-под земли, там, в воде. Ах, гад, как же ты осторожно подобрался! Наверное, за трофеями, за часами, сапогами полез, или жрать нечего, на наши продукты польстился, думал, перебили нас всех во время атаки.

Внутренняя дрожь еще не улеглась во мне, на нее набегала другая волна — волна радостной взволнованности. Если такое пронесло,— значит, жив буду! Не стану далеко загадывать, а уж в этом бою уцелею. Да, неплохой я сделал себе новогодний подарок — всего-навсего жизнь!

Мне опять захотелось заглянуть через линзу на дне воронки в летний мир моей мечты, в сказочное и желанное «после войны».

Я склонился над водой, но увидел там какие-то движущиеся длинные полосы, похожие на водоросли. Они замутили воду. Не было не потустороннего мира, ни луны, ни звезд, ни неба. Что это? Откуда это? Ах, фашист проклятый, даже мечту испачкал своей кровью. Ну кто ты? Ведь был же ты кем-то до того, как я тебя убил. Что ты загадывал несколько минут назад? Остаться живым? Вернуться к своей Гретхен? Уж, конечно, о смерти ты не думал, и напрасно: тот, кто ступил врагом на землю нашу, прежде всего должен подумать о смерти!

Вторую траншею мы взяли в двенадцать часов семнадцать минут. Хотя и сложился бой по сто первому варианту, который никто не предусматривал,— все равно мы победили... На этом я закончил рассказ.

...На следующий день, утром, мы с Гоманковым приехали в Гродно. Обратились в пограничный отряд. Я рассказал пограничникам о нашем намерении. Нам разрешили выехать на границу и даже любезно отвезли на машине до заставы.

И вот мы на границе. Мы шли вдоль пограничной реки Неман и искали окоп, в котором находился Иван Прокофьевич 22 июня. Была ранняя весна. Снег сошел, обнажив прошлогоднюю бурую траву, ночные заморозки подбеливали ее седым инеем. Прошло много лет, местность изменилась. Состарились, отжили свой век одни деревья, выросли другие. Окопы осыпались, некоторые почти совсем затянуло землей. Иван Прокофьевич внимательно вглядывался в берег Немана и наконец остановился. Окоп был старый, уже потерявший форму, с осыпавшимися краями, заросшими травой. Иван Прокофьевич спустился в него и безмолвно смотрел на пограничную реку, на противоположный берег. Я стоял рядом и наблюдал за его лицом. Оно было не просто серьезное, а какое-то отрешенное. Он не видел сейчас ни меня, ни тех, кто был с нами рядом. Он мысленно ушел туда — далеко, в 41-й,— и слышал, наверное, выстрелы, крики, гром боя, бомбежку, видел лица своих боевых друзей. Не сразу он стал рассказывать о том дне, и я не торопил его, понимал, что с ним сейчас происходит.

Но вот он негромко заговорил:

— Гитлеровцы плыли на лодках с того берега. Их было много. Они были возбужденные. Крикливые. И даже веселые. Мы, как и полагается, допустили их на середину реки. Когда они пересекли середину реки и стали приближаться к нашей земле, открыли огонь. У меня вот здесь, с левой стороны, были два ручных пулемета, с правой стороны тоже стоял ручной пулемет. Я никого из бойцов не знал раньше, потому что прибыл на этот участок границы 19 июня. Только успел получить ордер на квартиру. Отнес туда чемодан, оставил его в пустой комнате, и в первую ночь уже была тревога. Тогда на границе было беспокойно, все ожидали, вот-вот что-то произойдет. И я как ушел на границу, так и не вернулся. Мне было поручено командовать взводом пограничников, которых прислали из погранотряда. Я, по сути дела, их узнавал и знакомился с ними уже в бою. Мы отбили первую попытку фашистов переправиться через реку.

— Иван Прокофьевич,— спросил я,— а большие силы вас тут атаковали?

— Примерно около батальона. Спустили на воду Немана надувные лодки и после сильного артиллерийского обстрела и обработки самолетами пытались высадиться на наш берег.

Отбили мы еще несколько попыток. Опять началась обработка и с воздуха и артиллерией. Все было перемешано взрывами. Около четырех часов мы вели ожесточенный бой, не позволяя гитлеровцам высадиться на наш берег. Но силы, конечно, были неравные. Враги обошли нас с левой и с правой стороны. Высадились все-таки и стали окружать. В эти первые часы боя я был ранен в ногу. Но, пока были силы, пока я не потерял еще много крови, оставался в строю и продолжал командовать своим взводом. Ну, потом я стал терять сознание, и меня вместе с другими ранеными погрузили в машину, и машина эта была отправлена в тыл. Когда мы ехали через Гродно, город горел, его бомбили самолеты, повсюду пылали пожары, черный дым застилал улицы. Выехали мы из города, отъехали несколько километров, как вдруг на нашу машину стал пикировать фашистский самолет. Летчик видел, что это санитарная машина. Был на ней красный крест нарисован, и все-таки он пикировал и обстреливал эту машину. Машина остановилась. Раненые, кто ползком, кто как мог, стали

прятаться в кювет, а самолет сделал еще заход и все-таки поджег машину.

Видел я, как самолет снижался до бреющего полета и летчик расстреливал идущих и бегущих по дороге женщин и детей.

Я лежал в кустах, видел все это и не мог поверить, хоть и происходило все на моих глазах. И вот именно в эти минуты мне стало страшно. Мне не было страшно, когда много врагов переправлялось через пограничную реку и лезло на нашу землю. У нас в руках было оружие, мы верили в себя и били их. Я знал, что война — дело жестокое. Но когда я увидел, как фашист расстреливает женщин и детей, вот в эту минуту я понял, что эта война будет необыкновенной и фашисты не просто враги, а изуверы.

— Иван Прокофьевич, а что дальше?

— Потом мы, раненые, старались выйти к своим. Шли лесами, болотами. Питались, ну, что можно найти в лесу: ягодами, грибами. Я сделал самодельный костыль, пользуясь которым шкандыбал, стараясь не отстать от товарищей. Они мне тоже помогали. И вот, помню, попалась нам на пути речушка — приток Немана, она извивалась по лесу. Моросил небольшой дождь, и вдруг мы почувствовали запах дыма. А потом увидели огонь костров. Я послал двоих товарищей в разведку: посмотреть, кто там находится у этих костров. И вот они вернулись с радостными лицами и сообщили, что у костров составлены винтовки в козлы и там в зеленых фуражках наши пограничники. Все мы очень обрадовались и поспешили туда, к своим. Но когда подошли поближе, уже вплотную к ним, я вдруг слышал немецкую речь. И понял, что это немцы. Понял еще и потому, что форма на них была новенькая, как говорят, с иголочки, явно было — эта форма недавно взята со склада.

Я только успел крикнуть: «Диверсанты!» — и начал стрелять в фашистов. Завязалась короткая, почти рукопашная схватка. Я выстрелил в гитлеровского офицера, убил его, и в этот момент меня что-то ударило по голове, и я потерял сознание. Не помню и не знаю, сколько пролежал без сознания. Очнулся уже у ямы: такая продолговатая длинная яма, старая. Стояли мои друзья-пограничники и меня поддерживали. Смотрю, на нас уже наведены винтовки и пулеметы. Нас расстреливали. Перед самым залпом пограничник,

стоящий рядом со мной, толкнул меня, и я уже вместе со всеми в грохоте выстрелов упал в ров. Пули не угодили в меня. До сих пор не знаю имени своего спасителя, того, кто толкнул меня на секунду раньше залпа. Кто-то из пограничников, из той машины, что везла раненых, а кто — не знаю, мы были из разных подразделений. Сколько я там лежал, тоже не помню, потому что я периодически терял сознание. Когда пришел в себя — была уже ночь. На мне окровавленная гимнастерка и сверху лежит убитый товарищ. Стал я выбираться. И когда выбирался, слышал стон. Подполз к стонавшему. Шепнул ему на ухо: «Типе, немцы близко». Потом перевязал его. Осмотрел других, лежавших рядом пограничников. Но они были мертвы. Я взвалил себе на спину раненого. Это был Федя Вавилов. И стал ползти по дну рва, в сторону, подальше от этого места. Когда отполз подальше, остановился передохнуть. Кружилась голова, не было сил. Но к утру отдышался, пришел в себя.

И вот потянулись долгие мучительные дни, когда два раненых пограничника, помогая друг другу, пробирались к своим. Наши войска медленно отходили под напором превосходящих сил гитлеровцев. Войска отходили, но битва продолжалась и на территории, захваченной фашистами. Гитлеровцы надеялись захватить, поработить нашу землю, однако эта земля повсюду запылала народным гневом и ненавистью к оккупантам, всюду создавались партизанские отряды.

...Гоманков со своим товарищем Федей Вавиловым все же выбрался к своим. Он лечился в госпитале, а затем ему, как пограничнику и человеку, уже побывавшему в тылу врага, предложили направиться в партизанский отряд. Предупредили: дело абсолютно добровольное. Иван Гоманков дал согласие и был направлен в Деделовский лес, к командиру отряда Леониду. Его направили туда потому, что это были родные места Гоманкова, он знал там каждый овраг, каждую тропу, каждого жителя.

О своей жизни в партизанском отряде Гоманков рассказывал мне в лесу. Мы развели костер, сидели у этого костра, подбрасывая ветки в огонь и, не торопясь, беседовали. Он вспоминал свою боевую жизнь в партизанах. Именно здесь, у костра, я очень хорошо представлял себе, как выглядел в те дни Гоманков. Небольшого роста, в драной телогрейке, так — мужи-

чок и мужичок. Раненый, бывший в окружении, ни у кого и в мыслях, наверное, не было, что это один из наших разведчиков...

В своем селе Гоманков должен был связаться с Григорием Павловичем Куриленко. Знал его еще с довоенных лет. Куриленко часто бывал в доме Гоманковых. Он дружил с отцом Ивана Прокофьевича. Они обсуждали сельские дела, говорили о том, как лютуют кулаки, о том, как укреплять колхоз, как бороться с этими кулаками. Не думал тогда мальчишка Иван, что когда-то ему придется с этим Куриленко, солидным человеком, вместе работать и выполнять задания.

И вот, прибыв в условленное место, Гоманков встретился с Григорием Павловичем. Куриленко повел Гоманкова в партизанский отряд. Шли долго. Куриленко, поглядывая на хромавшего Ивана, спрашивал — не устал ли? Делали привал. В середине дня пришли в лагерь. Здесь Иван Прокофьевич познакомился с командиром отряда — Леонидом. Это была его кличка.

После знакомства и разговора о том, что нужно отряду, Леонид предложил:

— Вот мы хотим, чтобы вы вернулись в свое село Явкино, легализовались там и создали хорошую группу.

Такое предложение несколько обескуражило Ивана Гоманкова, потому что он собирался в тылу бить немцев, эшелоны пускать под откос. Он так представлял себе действия партизан. Однако Леонид ему разъяснил, что работа, которая предлагается ему, тоже очень необходима. Надо вести разведку, наблюдение за врагом, доставать продовольствие, одежду для партизан. В общем, надо обеспечивать их боевую жизнь, и это тоже опасная боевая работа. Гоманков боялся не близости немцев в такой работе, а презрительных взглядов своих одиосельчан. Они же не будут знать, что он работает по поручению, и вынести это презрение будет, конечно, нелегко.

Больно было смотреть на опустевшее родное село. Все сидят в хатах, лишний раз боятся выходить на улицу, потому что возможна встреча не только с немцами, а и с полицией и с их прихвостнями. Только вошел Гоманков в родной двор, навстречу выбежала мать и с криками: «Жив, жив!» — кинулась его обнимать. Не знал Гоманков, что мать уже получила похоронку с сообщением о том, что он погиб в боях на границе. Обняла его и сестренка Вера, с радостью смотрела на него, блестя задорными глазами.

Она радовалась не только его приходу, она понимала, что не мог он, пограничник, просто так вот, как окруженец, прийти домой. Она была уверена, что его прислали. И потом, когда улеглась первая радость, когда уже на него нагляделись и поняли, убедились окончательно, что жив их Иван, она его спросила: «Ну, скажи, скажи мне, я никому ни слова. Тебя прислали? Ты со специальным заданием?»

Но он не мог признаться даже сестре. Так и остался просто раненым окруженцем. Отца дома не было. Он, оказывается, ушел добровольно в армию, пошел бить врагов и мстить за сына.

Отдохнул немного с дороги, осмотрелся Гоманков и стал подбирать себе помощников. Одного из них, как советовал командир отряда Леонид, надо было послать работать полицаем, чтобы свой глаз был там, в стае предателей.

Как говорить с людьми? Все настороженно относились друг к другу. Риск очень большой! Одно слово доноса, и не только тюрьма или лагерь, а расстрел грозил человеку.

Первым решил поговорить с Володей Шашенко, ведь учился с ним в одном классе, были друзьями. Доверяли друг другу еще тогда, до войны. Володя сильно болел, когда началась война, и поэтому его не призвали в армию и он не мог эвакуироваться. Не сразу подошел даже к такому другу Гоманков. Он последил за его домом, посмотрел, как живет Володя, и только потом назначил ему встречу. И при встрече этой тоже заговорил не прямо, а так, что можно было его понять по-разному. И о главном спросил с двусмысленной ухмылочкой:

— Не пойдешь ли ты служить в полицию?

Шашенко презрительно посмотрел на Ивана и ответил:

— Эх ты, а еще другом считался. Правду о тебе говорят в селе, что ты дезертир.

— Вот и о тебе то же самое будут говорить, когда пойдешь работать в полицай.

— Что же ты хочешь, чтобы не тебе одному было тяжело в таком положении, чтобы и обо мне так говорили?

Настало время говорить прямее. И Гоманков сказал:

— Для пользы дела тебе предлагаю идти в полицай, для того, чтобы ты помогал партизанам.

Володя удивленно вскинул глаза, недоверчиво смотрел на Ивана. «Правда ли?» Боязно поверить тому, что слышал. Но, видно, парень истомился от безделья и хотелось ему бороться с врагами, поэтому после некоторого раздумья он сказал:

— Ладно, поверю я тебе, ты вроде никогда не был подлецом. Мы тут тоже хотели сами кое-что сделать. Собирались с ребятами,— хотел, видно, назвать с кем, но решил подождать.— В общем, собирались, так что есть люди и есть уже на кого опереться.

Очень приятно было услышать это Гоманкову не только потому, что теперь у него появятся помощники, но еще и потому, что его школьные друзья не сидели сложа руки и что они тоже думали, искали возможности бороться с фашистами.

Вот так постепенно начиналась работа в тылу врага. Потом Гоманков создал хорошую подпольную группу, выполнял все задания командира партизанского отряда. Но и фашисты не дремали. Видно, выследили они кого-то из них, и вот однажды, когда Гоманков пришел домой, мать бросилась к нему и плача сообщила:

— Григория Куриленко взяли, я видела, как вели его, связанного, вели по улице и били. Полицай кричал, что скоро всех партизанских пособников переловят. Григорий всех выдаст. И били и вели его дальше.

Этот провал, конечно, очень обеспокоил Гоманкова. Все настороженно ждали. Но крепко держался на допросе Григорий Куриленко. Никого больше не арестовали, и группа продолжала действовать. В сентябре 1943 года пришло от партизан радостное известие: «Наши войска взяли Смоленск». А через несколько дней бои уже продвигались с востока к селению, в котором жил Гоманков. Вскоре поступил приказ командира партизанского отряда перекрыть дороги и ударить по последним подразделениям отходящих немцев.

И вот тут их били вместе партизаны и те, кто до поры скрывался,— подпольщики во главе с Гоманковым.

— В общем, дали мы им жару напоследок как следует! — сияя радостно глазами, подвел Гоманков итог своей партизанской жизни.

С приходом Красной Армии Ивана Прокофьевича охватила не только радость победы, не только

радость, что фашистов изгнали, а еще и то, что он мог теперь пройти по селу открыто, глядя людям в глаза, весело смеяться. Он ходил с партизанами по селу, и люди удивлялись его выдержке, тому, как он вел себя раньше. Гоманков видел, что им тоже радостно и приятно, что их односельчанин Гоманков, семью которого они знали только с хорошей стороны до войны, оказался и на войне достойным, преданным Родине. Вскоре после освобождения села Гоманков был включен в состав действующей Красной Армии и стал командовать ротой в одном из полков 1-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию. На реке Проне был ранен, попал в госпиталь. После излечения сражался на 3-м Украинском фронте, командовал стрелковой ротой. Участвовал в форсировании Днестра. За это форсирование получил орден Красной Звезды. Участвовал в Яско-Кишиневской операции, где была окружена большая группировка фашистов. Потом форсировал Вислу и дошел до Германии.

— Хочется мне сказать о том, что в 1941 году, удаляясь от своей родной границы и когда находился в тылу фашистов, я постоянно помнил своих погибших друзей-пограничников и вот тех людей, женщин и детей, которых расстреливал на моих глазах фашистский летчик. Я всегда думал о том дне, когда за все эти злодеяния придется фашистам ответить. Я твердо верил в то, что им придется-таки за это отвечать.

...Слушая Гоманкова, я вспоминал свои фронтовые дороги и сказал Ивану Прокофьевичу, что тоже прошел эту тяжелую школу. И у меня тоже постоянно сохранялась вера, что мы вернемся сюда, в края, которые оставляли. Мы обязательно вернемся, и победа будет на нашей стороне. А когда начались наступательные бои и мы стали освобождать свою землю, как радостно стало на душе, что наши надежды сбылись.

— Ну а что вы чувствовали, когда вышли на границу, на ту линию, где застала вас война?

— Когда вернулись и увидели, вот он, заветный рубеж, от которого мы отходили и к которому потом так стремились, на душе было настоящее праздничное настроение, очень большое внутреннее волнение. Но, к сожалению, в то время не до праздников было. Бои продолжались, все произошло просто, по-фронтовому. Вышел я, конечно, со своей ротой не на том участке, где вел бой 22 июня 1941 года. Вышел в совсем другом

месте, но тут тоже когда-то стояла застава. И, видно, бой здесь был такой же тяжелый, как и у нас. Все вокруг изрыто воронками, застава разрушена, живого места не осталось. Все искорежено. Я думал о тех, кто защищал эту землю в июне сорок первого. Вспоминал, как сам с друзьями своими отбивал фашистов, переправлявшихся через Неман. И вот я задумался и не сразу заметил, что рядом со мной стоит местный житель. Он тоже был без головного убора, и лицо его было печальным. Не здороваясь и не говоря, кто он, сказал: «Вон на том холме мы их схоронили. Ни один в живых не остался. Все бились до последнего патрона. — А потом подал мне сверток и добавил: — Вот, сберег».

Я развернул сверток и увидел гербы, металлические гербы, которые были на пограничных столбах. Несколько этих гербов Советского Союза были в свертке. Многим, да что там многим, жизнью рисковал этот человек, когда свинчивал эти гербы со столбов! Если бы кто-то из фашистов увидел его за таким делом, расстреляли бы на месте. А он верил, что мы придем, что мы вернемся, и сохранил эти гербы.

Мы долго не задержались на границе, пошли вперед. Но я видел, как некоторые солдаты брали в руки землю, с волнением растирали ее, глядели радостно друг на друга. Они как бы говорили этой земле: вот, родная, мы пришли, мы тебя освободили! Этот рубеж дал нам прилив новых сил, как будто вдохнул в нас новую энергию, и пошли мы дальше, освобождать Польшу и Германию.

Запомнилось мне форсирование Одера. Ночь. Широкая река здесь, на чужбине, казалась особенно мрачной. Приказ был почти такой же, как приказ о форсировании других рек: «Любой ценой захватить плацдарм и удержать его до переправы главных сил батальона». Тихо спустили мы лодки и поплыли по черной воде. Я знал: достаточно малейшего шума, чтобы эта черная ровная поверхность реки превратилась в кипящий страшный котел. Но нам повезло. Мы достигли берега противника бесшумно. И сразу разорвали ночную тишину взрывами, а ночной мрак красным огнем наших гранат. Мы действовали удачно и захватили первую траншею сравнительно легко. Но я знал — это только начало! Даже захват траншеи — это еще только начало боя. И не ошибся. Фашисты понимали, что

такое захват даже небольшого плацдарма. У них тоже был опыт! Они знали, что если уж русские вцепились в берег, то их трудно будет выбить. Ну и мы готовились к встрече. Не успели оглядеться, тут же во мраке ночи последовала сильнейшая артиллерийская обработка, и цепи гитлеровцев пошли в атаку. Мы отбили несколько атак. Поле боя освещали немецкими ракетами, которые захватили в траншее. На некоторое время наступила тишина. А потом вдруг опять сильнейший артиллерийский обстрел. Но когда мы осветили впереди лежащую местность ракетами, я не увидел атакующих цепей. Я понимал: фашисты зря тратят снаряды не будут и, когда взмыли вверх новые осветительные ракеты, увидел --- ползут!

Мы подпустили фашистов поближе и огнем почти в упор отбили и эту атаку. На рассвете на нас пошли уже танки. Это дело серьезное! С танками бороться всегда тяжело. У нас было несколько противотанковых ружей. Особенно отличился бронебойщик Опарин. Он стрелял метко, попадал в танки, но пули не пробивали броню. И все же он изловчился. Когда танк вылез на бугор, Опарин ударил в днище, где броня потоньше, и пробил это днище. Танк остановился.

По этому танку начали бить и другие бронебойщики, и общими силами они его доконали. Выскочил из танка экипаж, но мы не дали врагам уйти — побили. Танк остался на месте. Подбили и второй танк и его экипаж тоже уничтожили. Я подумал, что надо бы взять патроны и оружие из этого танка, и сказал командиру взвода лейтенанту Жданову, чтобы он послал туда людей. Он послал командира отделения Туртаева. Опытный был этот командир отделения. Через некоторое время Туртаев взял из этого танка три автомата и патроны. Он сказал своим бойцам: «Передайте это все командиру, а я останусь здесь, в танке». Я послал к нему на помощь Царева, знал, что он умеет обращаться с орудием. И вот при очередной контратаке фашистов мы все ждали, что Царев и Туртаев ударят из пушки по наступающим немцам. Цель была уже рядом — атакующие танки фашистов подошли совсем близко, а орудие огонь что-то не открывало. Я уже подумал: не случилось ли чего-нибудь? Может быть, пушка оказалась неисправной? И вдруг, когда поравнялись танки с этим подбитым немецким танком, башня развернулась, и орудие начало бить

в упор по фашистам. А пулемет немецкого танка стал бить по атакующей пехоте. Наши солдаты «ура!» закричали от радости, когда увидели эту сцену! Обнаружив, что в танке засели наши, фашисты двинули три самоходных орудия, и наши ребята затеяли с ними дуэль. Дав несколько выстрелов из пушки, ребята выскочили из танка и по воронкам и лощинам прибежали к нашей траншее.

«Ну и молодцы! — похвалил я их. — А теперь вставайте по местам. Контратака эта не последняя, сейчас еще полезут».

Во время очередной атаки фашистов меня ранило в ногу. Долго не могли остановить кровь. Тут жгут надо бы, а его под рукой не оказалось. Я говорю: «Перевязывайте бинтом, давайте, перетягивайте потуже».

Перевязали, и я продолжал руководить боем. За левый фланг уже не беспокоился. Там, смотрю, рота соседнего батальона переправилась. А вот на правом фланге наш сосед все никак не мог зацепиться за берег. Здесь, как говорится, у фашистов руки были развязаны. И они бросили с этой стороны восемь танков. Я уже видел их на опушке и попросил по радиации, чтобы артиллеристы дали огоньку. А огня все не давали, артиллерия что-то молчала. Вдруг слышу гул самолетов. Оказывается, нам на помощь прислали штурмовики. Здорово они раздолбали эти танки.

Но танки не все сгорели, некоторые из них успели укрыться в лесу. Как только ушли самолеты, гитлеровцы все-таки двинулись в контратаку. Они знали, что надо сбивать нас, пока мы как следует не закрепились на берегу, пока сюда еще не переправились главные силы.

Слышу я, не совсем благополучно у меня на правом фланге: замолчал один, потом второй пулемет. Ну, я хоть и раненый, а побежал туда. Вижу еще на бегу: немцы уже близко к правому флангу подошли. Бежал я изо всех сил, чтобы успеть. И успел все-таки. Успел сюда и командир взвода Жданов. Мы сами легли за пулеметы вместо погибших пулеметчиков. И Царев тут со своим взводом подошел на выручку. Атака была отбита. Мы даже трофеи собрали — оружие тех немцев, которые упали неподалеку от наших окопов, их патроны и гранаты. И снова начался артобстрел. Сил в роте совсем уже осталось мало, когда комбат

попросил по рации продержаться еще немного. Он сказал, что через пятнадцать минут батальон начнет переправу. И даже со дна окопов поднялись все раненые, в бинтах, в крови. Шестнадцать атак мы отбили за время пребывания на плацдарме, а вот эта, последняя, была, пожалуй, самой трудной. Немцы поняли, что это наши тоже последние силы, делали все, чтобы сблизиться и уничтожить нас в рукопашной.

Я видел: вот уже близко подплывают лодки с главными силами батальона, но если фашистам удастся нас смять и захватить эти траншеи, они отсюда, с хорошо подготовленных огневых позиций, конечно же, не дадут главным силам батальона высадиться. Надо было как-то сдержать натиск врага, надо было во что бы то ни стало помочь высадке батальона. Огнем мы уже сдержать, чувствую, не сможем. И вот ради этих нескольких минут, я понял, нужно атаковать. Не допустить немцев в траншею, остановить их, задержать рукопашным боем на подходе к окопам. И я крикнул: «Вперед, орлы-гвардейцы! За мной!» Сам выскочил из окопа и, стреляя из автомата, побежал навстречу фашистам. Солдаты кинулись за мной, и мы сшиблись в рукопашной схватке. Наши друзья из батальона видели это и, выпрыгивая из лодок, еще бредя по воде и карабкаясь на берег, кричали «ура!», чтобы хоть этим криком придать нам силы и запугать гитлеровцев. И этот крик нам помог! Немцы дрогнули и повернули назад! Побежали! И здесь я упал. Получил еще одно ранение. Роту повел вперед лейтенант Царев.

Как мне потом рассказывали, около меня остался один только Куприн, ординарец мой. Он смотрел на меня, окровавленного, и думал, что я убит. Около гвардейского значка на груди, у клапана кармана, гимнастерка вся была мокрая от крови. Куприн никак не решался расстегнуть этот карман и вынуть документы. Вынуть документы — это значит все. Это значит — человек погиб. Он приник к моей груди и стал слушать. И показалось ему, вернее, даже сквозь грохот боя он все же расслышал, что сердце мое бьется. Оказалось, пуля ударила в гвардейский значок, и это меня спасло. Она пробила комсомольский билет и неглубоко вошла в мое тело. Но все же я был дважды ранен, много потерял крови и лежал без сознания. Обнаружив признаки жизни, ординарец Куприн положил меня в лодку, переправил на другой берег и до-

ставил в медсанбат. И только убедившись, что я выжи-
ву, он с этой радостной вестью вернулся в роту.

В медсанбате я все время думал о том, как там мои ребята, удержатся ли они на плацдарме? Ну, мне ска-
зали, что главные силы переправились, и теперь я был
уверен, что если уж мы, несколько человек, удержали
плацдарм, то, конечно же, главные силы батальона, да
уж, наверное, и полка теперь переправились и плац-
дарм удержат! И я не ошибся — плацдарм удержали.
Через несколько дней в дивизионной газете «За побе-
ду» была напечатана короткая заметка. Она у меня со-
хранилась. Вот почитайте, что в ней написано... — Го-
манков достал из планшетки пожелтевший квадратик
газеты, и я прочитал:

«Офицер Гоманков с приходом в роту отдавал все
свои силы сколачиванию боевого подразделения. Иван
Прокофьевич стремился превратить свою роту в несо-
крушимый бронированный кулак, о который разби-
лись все контратаки врага. Он сделал ее острым кин-
жалом, способным пронзить любой оборонительный
рубеж противника. Офицер Гоманков превратил свое
подразделение в роту бесстрашных. И самым бес-
страшным является он сам — командир роты».

Гоманков, следя за тем, как я читаю, смущенно
сказал:

— Ну, вы понимаете, стиль, конечно, очень воз-
вышенный, перестарался корреспондент. Наверное, то-
же очень торопился.

А я читал дальше:

«На Одере немцы предпринимали атаки одну за
другой, но все они разбивались о стойкость наших
воинов. Сам Гоманков, дважды раненный, лег за пуле-
мет и поливал свинцом обратившихся в бегство гит-
леровцев».

Очень торопился вылечиться Гоманков в госпита-
ле. Просил врача, чтобы выписал поскорее. А врач
сердился: «Как с ума, говорит, все посходили. Выписы-
вай и выписывай! Вам еще на костылях надо будет
ходить. Не имею права я вас выписать!» И все же
Гоманков добился. Пораньше его отпустили, и он
догнал свою дивизию. Там ждали его добрые вести.
Командир дивизии полковник Даниил Кузьмич Шиш-
ков вручил ему орден Отечественной войны I степени
за форсирование Одера, поздравил его с присвоением
звания капитана и сказал:

— Давай принимай батальон!

— Я отказался, потому что, говорю, не могу я командовать батальоном.

— Да ты боевой командир, пойдет у тебя дело!

— Нет, говорю, образование у меня недостаточное.

Он это понял по-своему и сказал:

— Ну, тогда в академию поедешь учиться!

Тут я уж совсем замахал руками и говорю:

— Ни в какую академию я не поеду, что вы! Я с ротой такой боевой путь прошел. Я Берлин брать хочу!

Командир дивизии засмеялся и оставил меня в покое. Назначили меня в мою прежнюю дорогую мне роту. Мне показали лес, в котором находилась моя рота, и стал я пробираться к ней. Рвались снаряды, этот участок фашисты сильно обстреливали. Я шел по лесу и как-то не чувствовал себя защищенным, как раньше, в нашем русском лесу. Лес тут был весь расчищенный, словно прозрачный. Не лес, а парк какой-то. Уже начало темнеть, когда я добрался до траншеи своей роты. Солдаты узнали меня и очень обрадовались. А кто-то сказал:

— Мы же говорили, капитан обязательно придет и будет брать Берлин с нами вместе!

Прошел я в блиндаж к Цареву. Он уже был старшим лейтенантом:

— Здравствуй, Саша, здравствуй, дружище!

Мы обнялись, расцеловались трижды по-русски. Прибежали в блиндаж другие командиры взводов. Ну, конечно, как и полагается при встрече друзей, посидели мы, поужинали. Все говорили о том, что скоро Берлин брать будем. И вдруг Царев мне говорит, что он как парторг роты думает, что пора мне, командиру роты, вступать в партию. А я ответил, что давно собираюсь подать заявление. Еще когда Одер форсировали, думал: выполним задачу — и напишу. А вышло вот так — ранило меня. Ладно, уж буду брать Берлин комсомольцем. А возьмем Берлин — тогда и в партию буду вступать.

Новая задача, которую получила рота Гоманкова, была похожа на ту, которую недавно выполняли. Надо было форсировать Шпрее. Каждая река, каждая переправа имеет свои особенности. Здесь на берегах реки стояли дома, — это те же доты, из которых каждую секунду мог брызнуть губительный огонь. Надо было что-то придумать.

Я посоветовался с командирами взводов. Они сходились на том, что всей роте сразу переправляться, конечно, не следует. Можем не доплыть мы до того берега все, потому что срежут огнем из этих вот домов. Выход предложили такой: переправляться небольшими группами, пользуясь покровом ночи и дымом, который стлался по реке от горящих домов. Вот этим воспользоваться и мелкими группами туда переправиться. Накопить силы. А там уже ударить всей ротой. Так и было решено. Надо было кому-то переправиться первым. И я подумал, что хорошо бы, если бы первым пошел с группой Царев. Саша словно понял мои мысли, посмотрел на меня и сказал:

— Ну, что ж, бои завершающие особенно важные. Первую группу должен вести парторг, поведу я.

Он переправился с первой группой. А я-то знал, как важно скорей поддержать тех первых, которые на том берегу. Потому побыстрее с остатками роты переплыл Шпрее и присоединился к Цареву.

О том, как развивались дальше события, рассказала старая газетная вырезка, которую сохранил и достал из планшетки Гоманков. Это была заметка из той же дивизионной газеты «За победу»:

«Немеркнувшей славой покрыла себя рота в недавних боях за Берлин. Гоманков со своими бойцами первыми переправились на западный берег Шпрее. Неподалеку находилось большое каменное здание. Немцы превратили его в сильный опорный пункт. Из него простреливалась вся река. Переправляться через Шпрее нашим подразделениям оказалось очень трудно. Иван Прокофьевич применил маневр. Рота обошла дом слева и с тыла. Устремилась на опорный пункт гитлеровцев. Вражеский гарнизон пал, рота капитана Гоманкова уничтожила двенадцать пушек, шесть станковых пулеметов и три миномета. Сто двадцать трупов — все, что осталось от вражеского гарнизона. Плацдарм был завоеван, наши подразделения переправились через водный рубеж и устремились к центру Берлина».

Слушая рассказ Гоманкова, я радовался не только боевым успехам роты, не только тому, что они так умело били врага, мне было приятно, что вот этот человек, тот самый, который первым 22 июня 1941 года встретил фашистов на пограничной реке, именно этот человек одним из первых вступал в Берлин! Это было очень символично!

Гоманков тоже волновался, припоминая эти последние часы войны:

— Впереди уже был виден рейхстаг. Очень радостно стучало у меня сердце. Я кинулся к рейхстагу и позвал за собой своих бойцов, крича: «Вперед, гвардейцы, за мной!» И они дружно встали и побежали со мной через площадь, к рейхстагу. Но судьба была жестока. Не раз я был ранен в годы войны. Но здесь на последних шагах к рейхстагу, после того как я прошел такие трудные фронтовые дороги, быть раненым на последних метрах — было, конечно, очень обидно! Пулеметная очередь по ногам свалила меня на землю. Подбежал мой друг Царев, подбежал ординарец Куприн. Если бы я куда-то в другое место был ранен, может быть, я нашел бы в себе силы подняться, но обе ноги были перебиты пулями. Я попросил Царева: «Саша, принимай роту, штурмуй рейхстаг, обязательно возьми этот рейхстаг! Ну, давай поцелуемся. А Колю ординарца оставь со мной».

И вот Коля донес меня до берега реки, переправил через реку и потом доставил в медсанбат. Ранение было тяжелое. Я то и дело терял сознание. Все время мне слышались шум боя, крики, и я сам выкрикивал какие-то команды. Однажды я услышал рядом знакомый голос Саши Царева. Он кричал: «Вперед, вперед на рейхстаг!» Я думал, что это я в бреду слышу. И вдруг увидел, что рядом лежит Царев. Он, оказывается, тоже был ранен. Случайно его положили рядом со мной. Саша то стонал, то выкрикивал команды. Он был без сознания. Ему становилось все хуже и хуже. Сколько дорог прошли мы вместе с ним! Сколько раз он выполнял самые трудные задания! Да хотя бы вот в этом самом последнем бою он как парторг повел первую группу переправляться через Шпрее. И когда я упал на площади, перед рейхстагом, именно он принял командование ротой и повел ее дальше, на рейхстаг. Очень трудно было видеть его мучения. Я забыл даже о своих ранах и о боли. Я понимал — Саша Царев, раненный в живот, может не вынести этого ранения. И было очень тяжело так вот рядом, близко, видеть и терять друга и не быть в состоянии чем-то ему помочь.

Гоманков замолчал и как-то буднично, уже не так возбужденно, как говорил о бое и о своем друге, сказал:

— В Познани, в госпитале, куда меня привезли, я прочитал в газете «Правда», что за мужество и отвагу, проявленные в битве за Берлин, Указом Президиума Верховного Совета мне присвоено звание Героя Советского Союза. Сначала я даже не понял: — «За что?» Ничего вроде я особенно героического не совершил. Было много боев, много раз мне приходилось водить в атаку роту и первым переправляться через реки. Ну, потом я, конечно, понял, что идти первым на рейхстаг, вести бойцов в этот последний бой — дело не обычное. Через Шпрее удалось переправиться немногим, и за последние метры приходилось платить своей кровью не одному командиру роты. Я продвинулся по этой площади под сильнейшим огнем всего несколько сот метров. Потом эту эстафету подхватил Саша Царев и тоже провел роту несколько десятков метров. Конечно же, это были труднейшие из трудных минуты боя. И чтоб решиться на это в конце войны, когда оставалось до победы несколько часов, нужны были большие душевные силы.

Гремели победные залпы. Берлин был взят. Война кончилась. Кончилась для всех. А для Гоманкова она продолжалась еще год, потому что он год лежал в госпитале, и война была в его теле. Она все еще пыталась убить его. Целый год боролся за свою жизнь и наконец победил в этом бою капитан Гоманков. Только в апреле 1946 года выписался он из госпиталя. Правда, одна нога не гнулась, и ходил теперь Гоманков с палочкой. С радостью излечения в госпитале пришла и еще одна большая радость. Имя ее было Марийка. Она была медсестрой, которая с первого и до последнего дня не отходила от его койки. Она провожала его и в Кремль за получением Золотой Звезды и первой встретила после возвращения из Кремля и поздравила. С тех пор и по сей день, всю жизнь Мария Яковлевна рядом с Иваном Прокофьевичем.

Костер, у которого мы сидели, догорал, дыма от него теперь не было, только теплый воздух дрожал, струясь над бледно-розовыми углями. Мы помолчали, подбросили веток, дым опять за клубился и потянулся голубоватой струей к небу. И я в нашей беседе, словно «веточек» подбросил, спросил:

— А как дальше жизнь сложилась?

Иван Прокофьевич продолжил рассказ не сразу. Помолчал. Видно, не все было легко и просто в послевоенной жизни.

— Выписался я из госпиталя инвалидом второй группы. Отдыхал недолго. Надо как-то в жизни устроиться. До войны я выбрал профессию пограничника, окончил училище. Теперь инвалид, образование мое военное применить не могу. Надо приобретать новую специальность. Пошел учиться в Высшую школу профдвижения ВЦСПС. Поселился в Москве. Однажды пошли с Марией в Парк культуры имени Горького. Там была выставка, посвященная победе, и выставка трофейного оружия. Ну, ходим, смотрим, и вдруг вижу вроде бы знакомый мундир гитлеровского генерала.

— Вам приходилось с гитлеровским генералом встречаться?! Но мундиры генералов, как любая военная форма вообще, похожи друг на друга. Одинаковы. Гоманков усмехнулся:

— Мундир, о котором я говорю, был особенный, с ним связана целая история. Но не будучи еще уверенным, что это был именно тот мундир, я подошел поближе и, к своему удивлению, прочитал внизу надпись: «Взят ротой Гоманкова». Марийка стала просить, чтобы я рассказал, как это случилось. И я рассказал ей и вам сейчас расскажу любопытный случай.

Только перешли мы старую границу, как в одном селе за небольшой речушкой нас встретила умело организованная оборона противника. Раз попытались, другой раз попытались, не могли взять это село. Ну, потом разобрались в обстановке, в местности, и решили: сковать противника одним взводом с фронта, а взвод лейтенанта Царева пустить в обход. Так и сделали. Первым ворвался в село сержант Туртаев. За ним потянулись и остальные. В одном доме особенно отчаянно отбивались гитлеровцы. И когда мы туда ворвались, то увидели убитого фашистского генерала. Он был вот в этом мундире. Видно, хотел показать свое рыцарство, надел все свои регалии в последний бой. Солдаты окружили убитого фашистского генерала, рассматривали его и его награды. Кто-то сказал: «Знатный гусь!» А я, тоже понимая, что он какой-то большой начальник, отправил этот мундир и документы генерала в штаб полка. И вот здесь, на выставке в Парке имени Горького вдруг такая встреча! Оказалось, что этот мундир принадлежал генералу пограничных войск фашистской Германии.

А я опять вспомнил 22 июня 1941 года, когда этот гитлеровский генерал отправлял через границу войска

и радовался, наверное, глядя, как малочисленных советских пограничников окружали и расстреливали его соотечественники. Ан вот как обернулось: пограничник Гоманков, защищавший 22 июня границу, победил гитлеровскую армию и генерала-пограничника фашистского. Пришел в Берлин и покарал врага за бандитское вторжение!

У Ивана Прокофьевича сохранился ордер на квартиру, который он получил тогда, в 1941 году, прибыв в город Гродно. Мы решили разыскать этот дом и посмотреть: кто сегодня живет в квартире? Искали мы не долго. Сели в такси, попросили шофера отвезти нас на улицу Первого Мая. Эта улица и сейчас так называется. Когда мы вышли из машины около нужного нам дома, Гоманков с волнением смотрел на него, на соседние дома, на улицу.

— Очень все изменилось? — спросил я.

— Нет, дом не изменился. Только постарел так же, как я, вот видите, на нем есть следы от пуль и осколков снарядов. А вот по соседству новые дома, современные, тогда их не было.

Мы вошли в подъезд и нажали кнопку звонка квартиры № 1. Открыла дверь женщина средних лет. Мы попросили разрешения войти, и она нас пригласила в комнаты. Звали ее Янина Иосифовна Макарчик. Я коротко объяснил ей, зачем мы сюда пришли, и спросил: кто она, где работает, кто ее муж? Она рассказала:

— Мужа моего зовут Иван Иванович. Он маляр. А я работаю в детском саду рядом с нашим домом. У нас трое детей.

Пока Янина Иосифовна рассказывала, Иван Прокофьевич, не торопясь, заглянул в соседнюю комнату. Я спросил его:

— Ну как, та самая?

— Все так же. Только обои другие. Вот этих цветочков на стенах не было. Я поставил чемодан вот сюда в угол, переночевал одну ночь, а на следующий день меня по тревоге вызвали на границу.

— Вот видите, Янина Иосифовна, после стольких трудных дорог, после такой долгой войны, Иван Прокофьевич остался жив, и, конечно же, ему было интересно посмотреть на свою квартиру, поэтому мы вас и побеспокоили.

— Ну, какое же тут беспокойство. Я вас понимаю, такой человек, такую трудную жизнь прошел!

Янине Иосифовне надо было идти на работу. Мы пошли вместе с ней. Дойдя до детского садика, она сказала:

— Может быть, зайдете посмотреть наших детишек?

Мы зашли. Веселые шумливые карапузы играли в песочницах, качались на качелях, бегали по дорожкам. Гоманков смотрел на них и думал о чем-то своем. Я спросил:

— О чем вы сейчас думаете, Иван Прокофьевич?

— Глядя на детей, я подумал, что они прекрасны и чем-то похожи друг на друга. Вы знаете, вот в том, далеко теперь сорок первом году, было такое же голубое чистое небо над городом. И вот так же играли дети: смеялись и бегали. Где они сейчас? Многие ли из них остались живы? Ведь я же видел, как тот фашистский летчик расстреливал на дороге вот таких маленьких детей и вот таких женщин-матерей, как Янина Иосифовна. На всю жизнь останется в моей памяти эта страшная, ужасная картина! Вот вы спрашивали меня: в чем источники мужества, где брали силы для подвигов воины на фронте? Конечно, для подвига необходимо много хороших качеств. Но, знаете, для меня лично та страшная сцена расстрела мирных жителей с фашистского самолета стала толчком к действию, я считал нужным вырвать оружие у этих зверей-фашистов, любое оружие — какое бы там ни было: автоматы, орудие, самолет у этого варвар-летчика! То есть я стремился к тому, чтобы обезоружить фашистов, лишить их возможности убивать людей.

...Вот как полезно посещать места боев и вспоминать дела минувших дней вместе с участниками этих дел.

* * *

В 1975 году в честь победной даты в Центральном выставочном зале была устроена Всесоюзная выставка «XXX лет Великой Победы». Много на ней было замечательных картин, скульптур, фотографий. Возле одной из них произошел у меня такой разговор. На полотне изображен напряженный момент боя при форсировании Дуная. Стояли перед полотном двое: у одного на груди Звезда Героя Советского Союза, у дру-

гого, как говорится, «полный бант» — три ордена Славы. Ветераны оживленно говорили, вглядываясь в лица бойцов на полотне:

— Пулеметчик вроде бы на Николая Григорьевского похож...

— Есть и от него в этом человеке.

— А бронебойщики точно наши усачи. Помнишь, пожилые дядьки были.

Сначала мне показалась наивной такая прямая аналогия людей, изображенных на картине, с реальными людьми. Нечто похожее бывает и у нас, писателей, когда добиваются, чтоб мы назвали, кто был прообразом того или иного героя. Но на этот раз мне судьба подарила удивительное знакомство. Герой Советского Союза Георгий Москалев оказался автором этой картины, он заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, окончил после войны Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, а собеседник его — полный кавалер ордена Славы Антон Роменский. Они однополчане, участники форсирования Дуная.

Вот что рассказал мне Антон Роменский:

— С Георгием Москалевым я впервые встретился на молдавской земле более тридцати лет назад, в августе 1944 года. Я был комсоргом второго батальона, а он только окончил курсы младших лейтенантов. Командир батальона капитан Корнеев дал девятнадцатилетнему Георгию пистолет погибшего лейтенанта Макеева и сказал: «Возьми его, твой предшественник из этого пистолета бил фашистов без промаха».

Когда парторг вел с Москалевым первый разговор, я тоже был при этом. Георгий тогда рассказал о себе: «Русский я, коренной забайкалец. Предки мои пришли в Сибирь еще с Ермаком. Отец в гражданскую был партизаном, устанавливал Советскую власть в Забайкалье. Сам я хотел стать художником, да вот война помешала».

Обратясь к картине, бывший комсорг сказал:

— На этой картине изображен момент из темной дождливой ночи с 4 на 5 декабря 1944 года. Противник обнаружил нас на середине Дуная, открыл сильный огонь. Но мы гребли только вперед. Недалеко уже было до берега, когда снаряд разорвался рядом с лодкой Георгия Москалева. Несколько бойцов были ранены, упал в воду и пошел ко дну станковый пулемет.

Пока выбирались на берег, ранило еще пятерых. Нет главной огневой мощи взвода — станкового пулемета. Не раз нырял Москалев в холодную воду и все же достал пулемет. И все это под огнем врага. Затем они атаковали дзот, ворвались в траншею врага и захватили плацдарм. Много раз фашисты пытались нас сбросить в воду, но мы выстояли. И Георгий и я были ранены в том бою.

Георгий Москалев больше говорил о картине:

— Я ее вынашивал четверть века, писал много подготовительных этюдов и эскизов. Мне хотелось изобразить наших боевых друзей такими, какими они были. Их не нужно приукрашивать. Они величественны своими героическими делами во имя Родины, во имя освобождения многих народов Европы от фашизма. С этими простыми, скромными бойцами мы шли вместе, освобождая Румынию, Болгарию, Югославию. Я вижу их живые глаза, слышу горячее дыхание в бою. Вот посмотрите на этот фрагмент картины — девушка-санструктор поддерживает бойца. Он ранен, силы покидают его, но обратите внимание, как он крепко держит оружие, какой решимостью полон его взор. Такие люди, даже будучи ранеными, не покидали поле боя, стояли до конца. И еще вы, наверное, обратили внимание: Дунай у меня не как в песне, не голубой, он багровый, черно-красный. Таким я его видел в ту ночь форсирования южнее Будапешта.

Я попросил Антона Роменского рассказать какой-нибудь особенно запомнившийся эпизод, но он занялся:

— Да я что, я как все...

— Скромничает, — улыбнулся Москалев. — Лихо воевал Антон. Помню, однажды его послал комбат с тремя бойцами в разведку. И обнаружили они десять фашистских танков. Напомню вам, что на заключительном этапе войны мы здорово давали жару фашистам. Гнали их, как говорится, в хвост и в гриву. Вот и обнаружил Антон десять танков, экипажи которых, измотанные усталостью, спали под машинами и в соседних кустах. Десять танков — дело не шуточное. Другой подумал бы, как ноги унести, но сержант Роменский был опытный фронтовик. Он послал в батальон за помощью и внезапным нападением захватил исправными десять вражеских танков да еще экипажи уничтожил. Победа для сержанта, прямо

скажу, маршальская! Вот один из орденов Славы за нее и получил.

Так я познакомился и подружился с этими замечательными фронтовиками, бывал не раз в гостях у Роменского. Пригласил меня в родную Бурятию и Георгий Москалев. Сколько удивительного услышал я в рассказах боевых друзей! Это я называю их дела удивительными, а они говорили о них просто и скромно, как обычно говорят фронтовики. Лишь иногда восклицали, вспоминая дорогие имена:

— А помнишь Владимира Фазанова?!

Поскольку они всегда говорили охотнее о других, я все еще не знал: за какой подвиг Москалев получил звание Героя. Однажды я спросил об этом прямо. Георгий Николаевич ответил очень коротко:

— А за тот бой, который вы видели на моей картине. Он запомнился мне не только своей исключительной жестокостью. Я думаю, подвиг мне помог совершить новый прилив сил, который я ощущал в те дни. Это был мой первый бой, в который я пошел коммунистом. Перед самым началом форсирования Дуная меня приняли кандидатом в члены партии.

Вот таких людей встретил я у одной из картин в Центральном выставочном зале, и подумалось мне тогда, как бы ни были прекрасны произведения искусства, они все же бледнеют перед замечательными нашими реальными современниками. Я смотрел на окружавшие меня картины, скульптуры и фотографии, и невольно с еще большим восхищением взор мой возвращался к Антону Роменскому, полному кавалеру орденов Славы, и Георгию Москалеву, Герою Советского Союза,— нашим замечательным современникам, которые юношами взяли оружие в руки, изгнали врагов с родной земли, освободили Европу от фашистских захватчиков и вернулись к мирным делам.

* * *

О жизни, которая сложилась ярче сказки.

...Когда умерла жена, Норходжа совсем потерял голову. Как жить? Чем кормить детей? В доме такая бедность, что даже мыши убежали от голода.

Иногда вечерами, чтобы как-то развлечь и утешить ребят, Норходжа, сидя в неосвещенной комнате

у сандала, рассказывал им сказки. Они всегда были со счастливым концом: сирота или скромный юноша-декханин становился падишахом или женился на дочери султана.

— Вам тоже аллах пошлет хорошую жизнь. Смотрите, про нашу семью можно сказать так же, как начинаются многие сказки. Жили-были старик со старухой. Было у них двенадцать сыновей и одна дочь. Ну чем не сказка? И купцы с караванами, и беки богатые, и эмир, и белый царь на троне — все вокруг нас как в настоящей сказке.

Бедный Норходжа придумал только начало сказки. Вскоре он умер, не оставив детям своим ничего, кроме этого зачина. Жизнь продолжила повествование за него. Я расскажу вам, как она сложилась. И героем этого рассказа возьму, как делал в своих сказках Норходжа, самого маленького, самого беззащитного, младшего в семье мальчика — Файзулла.

Итак, недалеко от Чуста, на узбекской земле, в кишлаке Кизилтепа жили старик со старухой. Было у них двенадцать сыновей и одна дочь. Самого младшего звали Файзулла, он родился тринадцатым.

В это традиционное сказочное начало сразу же вторгается суровая жизнь.

Родители тринадцати детей не были стариком и старухой, по нашим сегодняшним понятиям они считались бы людьми среднего возраста. В те годы нужда не только рано состарила, но и сломила их — мать умерла, когда маленькому Файзулле было всего два годика. После нее и отец бедствовал не долго. Остался Файзулла круглым сиротой в пять лет. Случилось это в 1916 году.

Ходили по земле тогда не сказочные, а живые — эмир, принцы и беки, и здесь же, на этой земле, умирали от голода и болезней совсем не сказочные дети.

Семья Норходжаевых распалась. Некоторое время Файзулла был пастушком. Рано утром уходил в поле с небольшим стадом коров и баранов. Вечером в пахнущем дымом кишлаке каждую корову и барашка ждала распахнутая дверь хлева. Только у пастуха Файзуллы не было такой двери. Кто-нибудь давал ему ломоть черствой лепешки или горсть сушеного урюка. Спал Файзулла в одном из сараев вместе с животными, которых пас днем.

Гонимый голодом малыш пошел из кишлака в город, нищенствовал, беспризорничал.

Уж кому-кому, а маленькому Файзулле, к тому же по рождению тринадцатому, в те тяжкие дни безусловно суждено было погибнуть.

В жизни чудес не бывает. Он умер бы. Может быть, не сразу, а постепенно, испив до дна горькую чашу нищеты.

Но грянула Великая Октябрьская революция. Она спасла и осчастливила многих людей, в том числе и маленького Файзулла.

Гремели бои гражданской войны, гибли взрослые люди, многие умирали от эпидемий, а их уцелевшие дети, одичавшие, грязные и бездомные, собирались в ватаги беспризорников, как могли боролись за жизнь: воровали, попрошайничали. Был среди них и Файзулла.

Советская власть еще не окрепла, отовсюду лезли враги. В стране разруха, но, несмотря на невероятные трудности, Ленин первым пришел на помощь детям. По его предложению были созданы Совет защиты детей, а затем Комитет по улучшению жизни детей. Руководить этой трудной и неотложной работой было поручено Председателю ВЧК Дзержинскому.

Беспощадно преследуя врагов, Дзержинский отдавал детям часть своей большой души. По его инициативе были созданы сотни детских домов. Ребят одели, накормили, стали учить. В один из таких домов в Ташкенте попал и Файзулла. Теплом ленинского сердца согрела Советская власть обездоленного сироту, поддержала, показала дорогу в большую светлую жизнь.

Впервые услышал Файзулла в те годы непонятное слово — большевик. Воры, буржуи произносили это слово с ненавистью. Файзулла, конечно, не мог сразу разобраться в сложных политических вопросах, но в детском доме ему разъяснили: именно большевики позаботились о нем, они строят новую жизнь для таких, как он.

Ни в одной сказке не слышал Файзулла о такой жизни. Она была для него так желанна, что он заявил:

— Я хочу быть большевиком. Хочу побыстрее построить новую жизнь для всех.

— Ты еще молод,— сказали ему,— но если очень хочешь, вступай в комсомол. Комсомол — молодой помощник большевиков.

Так в 1922 году Файзулла стал комсомольцем.

Однажды во дворе построили воспитанников детского дома, к ним приехала необыкновенная делегация: мальчики были одеты в щегольскую военную форму — черные шинели и брюки с красными кантами, на головах кубанки, лихо сдвинутые набок.

Один из парней рассказал:

— Республика в постоянной опасности, ее надо защищать от врагов, которые хотят восстановить старые порядки. Кто хочет быть военным и защищать Родину, поступайте в нашу Бухарскую военную подготовительную школу.

Файзулла очень обеспокоило то, что сказал мальчик в военной форме. Возвратить старые порядки — опять голод, холод, побои, бездомная жизнь? Ни за что! Файзулла сделал шаг вперед и сказал:

— Я пойду в военные, буду защищать Родину!

Сорок восемь лет отделяет Файзулла Норходжаевича от того первого шага на военную стезю. Это был хоть и трудный, но светлый и радостный путь становления советского военачальника.

Файзулла ехал в Бухарскую школу поездом. В вагоне — чисто, тепло, уютно. Пржеде он ездил только внизу, под вагонами, в так называемых «собачьих ящиках».

Надев военную форму, мальчик гляделся, как в зеркало, в обычное оконное стекло и не верил своим глазам. Неужели это он — Файзулла? Никогда у него не было такой красивой, удобной одежды. А может быть, это начинает осуществляться сказка, начатая отцом?

В школе ребят учили общеобразовательным предметам и военным дисциплинам. В лагере проводилось летом много учений. Ребята познавали смысл жизни, законы пролетарской борьбы и вдохновенно пели по вечерам «Интернационал» на родном узбекском языке.

В 1927 году Файзулла Норходжаева направили для дальнейшей учебы в Ташкентское военное училище имени Ленина. Он попросился на артиллерийское отделение.

Великолепное здание училища показалось Файзулле сказочным дворцом — огромные классы, актовый зал, библиотека. Всюду паркетные полы, картины в золоченых рамах...

Наставниками курсантов оказались прославленные командиры гражданской войны, с боевыми орденами

на груди и шрамами на теле. Начальником училища был Малышев, его заместителем Мирбадалев.

Юные курсанты не только слушали рассказы опытных войной командиров, нередко им самим приходилось идти в бой. В те годы еще кружили по нашей земле банды басмачей. В лихих кавалерийских атаках и в упорных боях против басмачей будущие командиры перенимали славные традиции первых героев гражданской войны.

В актовом зале училища на мраморных досках золотыми буквами записаны бои, в которых славные красные курсанты били врагов, защищая Родину. Во многих стычках участвовал и Файзулла Норходжаев. В 1931 году он окончил училище и получил назначение в Кушку на должность командира артиллерийского взвода.

Военная пословица гласит: «Дальше Кушки не пошлют». Но, оказывается, слова эти не совсем точны. Есть места еще и подальше Кушки! Прослужив на самой южной точке страны два года, Норходжаев внезапно получил назначение на одну из дальних восточных окраин — она так и называлась: Дальний Восток.

В те годы была очень напряженная обстановка на маньчжурской границе. Желая оградить свои рубежи, страна двинула сюда подкрепления. Был в их строю и Файзулла.

Несколько месяцев добирался Норходжаев к новому месту службы. Улыбаясь, думал: «Опять жизнь сложилась словно в сказке — еду за тридевять земель!» Наконец прибыл в Усть-Сунгурийский укрепленный район.

Это грозное название пока было только на бумаге, в чертежах. Укрепления предстояло еще построить. И вот Файзулла с подчиненными ему красноармейцами стал возводить дот — свою будущую огневую точку. Работали буквально не выпуская из рук оружие, потому что провокации на границе следовали одна за другой.

Тайга, комары... За продуктами и почтой снаряжалась целая экспедиция — до ближайшего поселка семь дней пути и столько же обратно. Ездили на лодках по извилистым протокам, потому что позиция Норходжаева находилась на одном из островов, отрезанном от Большой земли старыми руслами реки.

И так было пять лет!

Спросите себя, молодые люди, те, кому сегодня двадцать два года, каково тогда было Файзулле? Многие ли из вас способны на такие длительные суровые испытания? Пять лет — без кино, не говоря уж о телевизоре, без многих удобств современной благоустроенной жизни. Единственная духовная пища — газеты месячной давности. Комары, сухари... И каждую минуту надо быть готовым вступить в бой: враг рядом.

Есть подвиги, которые совершаются в минуты и как яркая вспышка освещают красоту души советского человека. А бывают подвиги и такие, когда человек долгие годы переносит лишения и невзгоды ради счастья своих соотечественников. Не будем судить, что труднее и почетнее, сойдемся лишь на общеизвестной истине: подвиг в любом проявлении прекрасен и делает честь человеку.

Когда я спросил Норходжаева, что помогло ему выстоять, перенести невероятные трудности и лишения в те годы, он ответил коротко, по-военному, одним словом:

— Долг!

И слышалась мне в этом слове не только обязанность служить Родине, когда она тебя позовет, но еще и долг в смысле отдачи, платы за все доброе, что сделала Родина для него, Файзуллы, лично. Родина была для него матерью в прямом значении. Когда мать велит сделать что-то, никто не думает: трудно или легко это будет сделать. За мать дети отдают жизнь, ни на минуту не задумываясь об этом.

Через пять лет Норходжаев получил назначение в тот самый поселок, до которого надо было добираться семь дней. В этом небольшом поселке было около пятидесяти домов, магазин. Все это казалось теперь большим городом.

С жаром приступил Норходжаев к своим новым обязанностям. Теперь он был командиром учебной багарей.

...Здесь, на далеких берегах Амура, одержал Файзулла одну победу, значение которой не хотелось бы ни преуменьшать, ни преувеличивать. Но, как говорится, все по порядку...

Всем хорошо известно, что Дальний Восток был краем военных, геологов, изыскателей, ученых — в общем, людей в большинстве своем временных, коман-

дированных и, как правило, мужчин. Женщин на Дальнем Востоке даже в городах было очень мало. А в тех краях, где служил Норходжаев, только у пожилых командиров были старые боевые подруги — жены. И в этой глуши вдруг появляется молодая красивая полька Марта Станиславовна. Она приехала в гости к родственнику, военному врачу, служившему в этом гарнизоне.

Нетрудно представить, как принялись начищаться, наглаживаться и стали ухаживать за приезжей красавицей многочисленные холостяки-командиры.

И в этом своеобразном рыцарском турнире самым веселым, остроумным и красивым оказался Файзулла Норходжаев. Он покориł сердце Марты Станиславовны, женился на ней, и по сей день она подруга его жизни.

В 1940 году Норходжаев получил повышение — стал заместителем начальника штаба артиллерийского полка. Повышение, конечно, радость. Но оно было еще более приятным оттого, что служить ему предстояло в родных краях, в Среднеазиатском военном округе!

Зачарованно глядел он из окон вагона на родные края — виноградники, хлопковые поля, деревья, склонившиеся под бременем щедрых плодов. «Нет,— думал Файзулла,— как бы ни были увлекательны заморские края в сказках, нет ничего прекраснее родной земли!»

Здесь, в своих солнечных краях, Норходжаев познал счастье отцовства. У него появились дети: дочь Галина и сын Евгений. Но недолго пришлось наслаждаться Норходжаеву радостью. Грянула война! Тяжелые бои, ранения, госпитальные палаты, бомбежки, атаки, схватки с танками, новые раны... И снова госпитали. Все это понеслось в жизни Норходжаева стремительной, огненной, дымной, гремющей взрывами чередой, как и у многих его братьев по оружию в годы Великой Отечественной войны. Файзулла Норходжаев оборонял Москву, участвовал в битве под Сталинградом, освобождал Донбасс.

Боевые дела его трудно будет описать даже в большой книге, поэтому познакомимся лишь с несколькими короткими эпизодами из этой героической военной эпопеи.

Остановимся на боях в Донбассе. Норходжаев был тогда командиром артиллерийского полка. После

освобождения Ворошиловграда полк получил пополнение.

Начальник штаба доложил командиру:

— Большинство в пополнении чернобровые, черноглазые земляки ваши.

Командир полка пошел поговорить с солдатами:

— Откуда вы?

— Из Ташкента, Намангана, Ферганы.

— А нет ли среди вас чустских?

— Есть,— сказал один парень.

— А не знаете ли вы кишлак Кизилтепа?

— Я из этого кишлака.

Файзулла старался удержать, не показать охватившее его волнение. Перед ним стоял земляк, которого он видел впервые за четверть века — крепкий, коренастый паренек.

— Не знаете ли вы кого-нибудь из семьи Норходжи? Правда, он умер давно, еще до революции.

— Норходжу-ака я не знал, конечно, а вот один из сыновей его, Дададжан, живет в кишлаке. Вернсе жил. Сейчас он тоже служит в армии.

— Где, не знаете?

— Кажется, в Свердловске.

Времени на долгий разговор не было. Командир сказал новым бойцам:

— Надо готовиться, ребята, к серьезным битвам.

— Мы готовы,— ответил паренек и показал свой чустский нож, висевший на военном ремне. Были такие ножи и у других красноармейцев.

— Этого мало,— улыбнулся Норходжаев,— война сейчас не та. Теперь ножи не помогут — будете из пушек бить врага.

Но обстановка сложилась так, что даже опытный командир не предугадал. Гитлеровцы не могли сломить сопротивление бойцов на этом участке. Ожесточенные атаки доходили до рукопашной. Пошли в ход и чустские ножи. Норходжаев был восхищен мужеством своих земляков. А гитлеровцы, озверев от неудач, решили во что бы то ни стало уничтожить героических защитников. Сюда были брошены несколько эскадрилий пикирующих бомбардировщиков. Восемьдесят шесть заходов насчитал Норходжаев, лежа в дрожащем от непрерывных взрывов окопе. Много бомбежек перенес бывалый командир, но такой еще не было.

Как только скрылись самолеты, Норходжаев, зная, что фашисты обязательно пойдут в атаку, кинулся к своим бойцам. В изрытых бомбами траншеях и блиндажах он обнаружил много убитых. С уцелевшими солдатами откапывал засыпанных землей бойцов, приводил их в сознание. А через некоторое время с остатками полка вновь отбивал врага. Позиции были удержаны. Но один из осколков поразил командира.

Очнулся Файзулла уже в госпитале. Лечили долго — три месяца. Когда поднялся на ноги, дали краткосрочный отпуск. Поехал в Фергану, где ждала его жена с детьми. Невеселое было это свидание. Конечно, радостно обнять жену и ребятишек. Но увидев, как тяжело живется людям в тылу, заторопился опять на фронт и стал еще крепче бить врагов.

Его назначили командиром полка истребительной противотанковой артиллерии. Он ходил по тылам врага с 4-м казачьим Кубанским кавалерийским корпусом генерала Плиева. Освобождал Одессу, Бобруйск, Барановичи.

Под Брестом кавалерийский корпус пошел в рейд по тылам врага. Полк Норходжаева находился с ним, защищал кавалеристов от танков. На уничтожение казаков гитлеровцы бросили танки — они и быстроходны, и неуязвимы для клинков. Но на пути бронированных машин встали артиллеристы Норходжаева. Танков оказалось много, это были резервы, которые спешили к фронту. Уничтожение прорвавшихся казаков было для них лишь попутной задачей. Но, столкнувшись с истребителями танков, гитлеровцы ни кавалерию не уничтожили, ни к фронту не дошли! Артиллеристы сожгли и подбили около двадцати машин. Бой был настолько жестоким, что даже сам командир полка Норходжаев встал к пушке на место погибшего наводчика. Горели танки, падали деревья, артиллеристы отстреливались на все четыре стороны, потому что танки лезли отовсюду. Если бы не подоспели на выручку наши танки, может быть, эта схватка стала бы для Файзуллы последней. Он был ранен в этом бою, но не оставил позиций до прихода своих.

Подлечился. Прибыл в штаб 1-го Белорусского фронта за назначением. Его радушно встретил командующий артиллерией фронта генерал-полковник Казаков.

— Наслышан о вас, товарищ Норходжаев, как о лихом командире! Я думаю, что ваш горячий характер больше всего подходит к истребителям танков.

— Готов бить врага, где прикажете!

И опять принял полк истребительной артиллерии.

На этот раз среди многих боев особенно трудной была схватка с танками врага под Дойчкроне. Здесь действовали войска генерала Батова. Они попали под сильный танковый удар фашистов. На помощь из резерва был брошен полк Норходжаева. Он совершил двухсоткилометровый марш и с ходу вступил в бой. Танки врага были остановлены. Разъяренные фашисты посылают пикирующие бомбардировщики для уничтожения артиллеристов.

Взрывной волной Норходжаева забросило в подвал. Кровь текла изо рта и ушей. Однополчане думали — погиб славный командир. Но он выжил. Открыл глаза. Говорить не мог, ничего не слышал, но написал на клочке бумаги: «Не имею права умирать, пока не разбили врага!»

После сильной контузии Норходжаева нельзя было тревожить, он был нетранспортабелен. Так и пролежал в этом подвале двадцать дней, объясняясь записками. А когда поднялся и стал немного говорить, на предложение врачей ехать в госпиталь наотрез отказался:

— Зачем... теперь ехать... не хочу.

И через два дня уже руководил форсированием реки Одер под Кюстрином.

Закончил войну полковник Норходжаев в Берлине. Он штурмовал Восточный вокзал и с этого направления шел к центру города в составе армии генерала Берзарина — будущего коменданта Берлина.

Здесь, в Германии, Норходжаев служил до 1950 года.

В 1957 году его, как проявившего яркий военный талант в годы войны, направили учиться в Москву, в Академию Генерального штаба. Он окончил академию успешно и был назначен на командную должность.

Советское правительство, заботясь о безопасности страны, дало на вооружение армии самую новую и современную технику. Настал век ракет!

Опять Норходжаев на учебе. Он овладел самым новым, самым грозным оружием. После учебы едет на должность заместителя командующего артиллерией Северной группы войск в Польше.

В 1961 году, уже будучи генералом, он приехал в родной кишлак Кизилтепа. И стар и млад вышли встречать бывшего пастушонка Файзуллу.

У генерала Норходжаева двое детей — сын окончил Саратовский университет, работает научным сотрудником. Дочь Галина тоже окончила Саратовский университет и здесь же преподает сейчас студентам русский язык и литературу. Узбечка учит русскому языку русских парней и девушек — такого, кажется, даже в сказках не бывает!

Файзулле Норходжаевичу Норходжаеву Совет Министров Союза ССР присвоил высокое звание генерал-лейтенанта.

...Генерал-лейтенант стоял у окна. Моложавый, стройный, подтянутый. Лишь седина — след пережитого. Отодвинув штору, он смотрел на пришедшую в город весну.

Размышляя о большой жизни этого военачальника, я снова вспомнил сказку. Как бы ни была увлекательна выдумка, жизнь в наши дни гораздо стремительнее любой фантастики. Советский человек оказался сильнее сказочных падишахов и таинственных волшебников. В небе летают огромные лайнеры. Воду мы дали земле и людям в таком количестве, о котором Фархад даже не мечтал. Простые советские люди совершают такие подвиги, что им могут позавидовать сказочные богатыри. А то, что я рассказал о генерале Файзулле Норходжаеве — лучшее свидетельство этому! Жизнь его ярче любой сказки!

* * *

Расскажу о подпольной комсомольской организации, которая действовала неподалеку от города Витебска. Для того чтобы получше все узнать, увидеть, я поехал туда и разыскал бывших членов этой организации.

В поселке Оболь, в крепком кирпичном особняке, сейчас находится музей комсомольской славы. Его директор — Неля Адольфовна Азолина, сестра одной из погибших подпольщиц. В музее собрано много материалов о деятельности подпольной организации. На стендах фотографии юных мстителей — живых и павших.

Домик музея стоит на пригорке, отсюда хорошо видны поля, сады, река. Вот здесь, на этой земле, и вершили свои славные дела юные патриоты.

Глядя на раздольные поля, невольно думаешь о людях и об этой земле. Много видела витебская земля. Она дарила хлеб людям в мирные предвоенные дни. Она была кормилицей и в суровые дни вражеской оккупации. Фронтное пламя обожгло землю и ушло дальше, а люди, оставшиеся здесь, продолжали жить по-старому. Они соблюдали советские законы, защищали их от врагов. Были целые районы, куда фашисты боялись сунуться, — не покорился им народ, не приняла их земля.

Разыскал я бывшего комиссара подпольной организации, ныне доктора исторических наук, Бориса Кирилловича Маркиянова. Он рассказал о том, как боролась с гитлеровцами молодежная организация.

Вместе с Маркияновым я поехал в тот лес, где начиналась деятельность местного подпольного райкома. Сюда не было шоссейной дороги, ехали по мягкому и пыльному проселку.

Маркиянов огляделся, обошел старые, заросшие и оплывшие котлованы — в них прежде были партизанские землянки. Сели мы на опушке, и Борис Кириллович начал рассказ:

— Это — место зарождения партизанского отряда и место нахождения подпольного Шумилинского райкома партии. Здесь находился Антон Владимирович Сибко, секретарь подпольного райкома партии. Сюда я прибыл от Центрального штаба партизанского движения. С октября — ноября сорок первого года началась наша деятельность именно с этого места. Мы от Оболи проезжали с вами, видели деревню Сорино. Это была наша первая партизанская застава. Там стоял пулеметный взвод охраны, и в Шешенский лес пройти невозможно было, минуя заставу. Когда мы впервые собрались здесь, в подпольном райкоме партии, встал вопрос об организации обольского подполья. И на меня пал выбор создавать это подполье. Почему? Потому что я окончил обольскую школу и являлся секретарем комитета комсомола. Всех ребят я знал...

Пошел я на встречу в Оболь. Встретился с Володией и Евгением Изовитовыми, Марией Лузгиной, Марией Дементьевой. Вот этих ребят я знал, в комсомол принимал, поэтому они меня очень радостно встретили. Тогда я договорился с ними предварительно о том, что надо бороться, не опускать рук. Ребята сказали, что у них есть кое-что. Собрали оружие. У Марии

Дементьевой был пулемет «максим», который она сразу дала в партизанский отряд. А кому руководить комсомольской организацией? В подпольном райкоме партии долго думали: кого же назначить вожаком подполья? И выпал выбор на Ефросинью Зенькову. Во-первых, она находилась в Оболи, значит, могла свободно общаться с этими ребятами. Во-вторых, она оказалась очень хорошим организатором. Мы испытывали ее на самых сложных поручениях. Она серьезно, ответственно относилась к выполнению этих поручений. И мы решили официально утвердить ее секретарем подпольной комсомольской организации. Когда я объявил об этом Зеньковой, она несколько испугалась и говорит: «Вы знаете, Борис Кириллович, я не справлюсь с этим, что вы, что вы, лучше я буду выполнять ваши отдельные поручения». И тем не менее Зенькова оправдала доверие и заслуженно получила звание Героя Советского Союза. Это замечательный человек. Мы буквально все в партизанском отряде были влюблены в нее.

— А кого она привлекла в подполье?

— Сначала образовалось ядро подпольной организации, в которую входили три брата Изовитовых — Володя, Евгений и Илья, Федя Слышанков, Мария Дементьева и сестры Лузгины — Мария и Тоня. А затем уже организация стала обростать людьми. Даже ленинградская школьница Зина Портнова и та вошла в нее. Упросила принять. По возрасту ее нельзя было брать, она была пионеркой. Мы ее приняли в комсомол уже в партизанском отряде.

— А первое задание с чего они начинали?

— Заданий было много различных. Но главным образом вначале вели разведку. Нас чрезвычайно интересовал один вопрос — прохождение эшелонов в сторону фронта. Сколько их прошло за сутки, характер грузов. И мы немедленно передавали по радио на Большую землю, что в сторону фронта прошло столько-то эшелонов и характер груза такой-то. А для разведки это чрезвычайно важно было. Затем уже стали совершать диверсионные акты.

Ребята приняли присягу белорусского партизана. Выдали им оружие, пистолеты ТТ для самообороны. Но использовали это оружие и для нападения. Смотришь, ухлопают одного офицера, и еще какие-то небольшие операции совершали. Однажды ребята взорвали

электростанцию. Взорвать ее дали задание Зине Лузгиной. Она работала диспетчером на электростанции по нашему заданию. Мы подобрали мину замедленного действия и рассчитали, что мина взорвется примерно через три часа. Зина Лузгина спокойно уйдет с электростанции, а получилось так, что она заложила ее в сушилку, а там температура высокая. Мина сработала через 30 минут. А взрыв был вы знаете какой... Крыши с домов полетели. Словом, электростанцию вывели из строя, а она давала ток трем немецким гарнизонам!

— Это уже серьезное задание.

— Да, вред нанесли врагам значительный. А теперь поедem на берег реки, на место, где была совершена еще более серьезная операция,— предложил Маркиянов.

Мы сели в машину и вскоре приехали к водокачке. Она расположилась на берегу и не была похожа на обычные высокие железнодорожные водокачки, потому что была новая, современная. Воду она подавала машинами.

Борис Кириллович и здесь по-хозяйски огляделся: посмотрел на речку, на берега, на заросли вокруг водокачки, а затем продолжил свой рассказ:

— Вот здесь и был произведен взрыв водокачки. На первый взгляд может показаться, что это ерунда. Что такое водокачка? Мелочь! Но дело в том, что на всем протяжении железнодорожной магистрали от Риги до Орла ни одной водокачки. А тогда ведь ходили паровозы, которым нужна вода.

— Куда же они делись? — спросил я.

— Отступающие части нашей армии их уничтожили. А вот эту водокачку, которая спряталась в складках местности, забыли. И вот мы заметили, что все эшелоны, которые шли в сторону фронта, останавливались обязательно в Оболи. Происходила заправка паровозов водой, только после этого они шли дальше. И вот мы решили разработать операцию по взрыву этой водокачки. Взорвать ее нелегко было. Вот смотрите: здесь расположены были доты, девяносто человек охраны.

— По высотам?..

— По высотам, совершенно правильно. Сейчас доты все обрушились. А тогда это была большая сила. Если штурмовать через реку, значит, погубим большое

количество партизан. По нашему заданию в комендатуре работала подпольщица Нина Азолина. Она сказала — дайте мне такую мину, чтобы она была похожа на кусок каменного угля. Я ее занесу на территорию водокачки и взорву... Начальник штаба партизанского отряда Петр Дмитриевич Кузиков соорудил такую мину. Две шашки тола залил воском, этот воск набил каменным углем, положил капсюль, сделал соответствующее углубление, чтобы капсюль от удара не мог взорваться преждевременно. Нина Азолина забрала эту мину и унесла в сумочке на территорию водокачки.

— Она могла туда пройти по своему служебному пропуску?

— Да. Занесла, значит, она мину, нагнулась, будто бы поправить туфель, и положила мину в кучу каменного угля.

Ждем одни сутки, вторые, третьи, а взрыва нет. Ребята сидели день и ночь на соснах и наблюдали в бинокль за Оболю. И вдруг на третий день в 12 часов — взрыв. Водокачку как корова языком слизала. Больше двух недель ее восстанавливали. В Оболи образовалась пробка, эшелоны, как говорят, без воды «ни туды и ни сюды»! А мы в это время передали нашей авиации: бомбите пробку! И день и ночь гудели самолеты. Все тут с землей перемешано! И железная дорога была уничтожена. По неполным данным, немцы не получили на фронт примерно 700—800 эшелонов за это время. Для наступательных действий Советской Армии это имело большое значение.

Очень важная операция была, когда наши разведчики обнаружили группу эшелонов, идущих в сторону фронта. Как раз перед битвой на Курской дуге. Эта группа эшелонов — их было одиннадцать — почему-то совершенно не охранялась. В вагонах было только сено. Когда наши самолеты летали над эшелонами в порядке разведки, смотрели, то ни одного выстрела по самолетам не было. Очень странно все это выглядело. Мы дали задание Николаю Алексееву узнать, что же это за сешные эшелоны идут на фронт? Николай Алексеев взял бутылку с бензином и поджег одну платформу. Немецкие охранники набросились, стали баграми растаскивать горящее сено, и оказалось: под сеном брезент, а под брезентом — танк! А танки — «тигры»! На танке было написано «Тотен копф» — «Мертвая голова»...

Много еще интересного рассказал Маркиянов. В общей сложности за 605 дней и ночей борьбы с фашистами юные подпольщики совершили двадцать одну крупную операцию, не говоря уже о ежедневном сборе ценных разведывательных данных.

Конечно, фашисты были не только взбешены, они предпринимали все меры, чтобы обнаружить подпольную организацию. В конце концов им удалось напасть на след. Они послали провокатора, который многих узнал и выдал. Начались аресты.

Я встретился с Аркадием Николаевичем Барбашовым. Сейчас он работает слесарем на местном кирпичном заводе, а тогда был членом организации, и именно он спас Ефросинью Зенькову. Барбашов рассказал, как ему это удалось:

— Услыхал я, что в Оболи аресты. Пошел в Оболь узнать, кого именно арестовали. Оказалось, нашу подпольную организацию почти всю схватили. Один полицейский проговорился: «Всех арестовали, кто имел связь с партизанами. Только атаманшу не схватили». Атаманшей фашисты Зенькову звали.

А мне было известно, что она в Полоцк уехала по заданию партизан. Надо было как-то предупредить ее. Мать ее арестовали как заложницу. Отец успел скрыться. Ну, я и пошел туда, под Полоцк. Долго ждал и вот вижу, на одной из немецких машин она едет. Там и другие женщины были. Я начал махать, остановил машину. Фруза сразу заволновалась, я ее позвал. А она говорит немецкому шоферу: «Во, кавалер мой!» И немец начал смеяться. Машина поехала дальше, а мы остались. Я говорю: все арестованы, спасайся. Я ухожу в партизанский отряд. А она пошла узнать о семье и как раз в лесу встретила отца. Они направились тоже в партизанский отряд. Ее бы сразу схватили немцы, если бы она появилась в городе...

— А кто еще уцелел? — спросил я.

— Тогда уцелела Зина Портнова, я и еще несколько ребят.

Навестил я и Ефросинью Савельевну Зенькову. Она прибаливала. Сказывались, видно, переживания, выпавшие на ее долю. Но все же она и сейчас очень порывиста, подвижна, легка. А какой энергичной была в молодости!

Попросил ее рассказать об организации подполья.

— Однажды пришел представитель из подпольного райкома партии Маркиянов, дал задание: организо-

вать подпольную комсомольскую организацию. Первое время нам поручали вести разведку, собирать сведения: о гарнизоне, о войсках, о движении поездов, с какими они грузами...

— А как название «Юные мстители» возникло?

— Нашей работой руководил подпольный райком, так вот райкомовцы и называли нас «Юные мстители». Начинали мы постепенно, помаленьку. Но не было такого случая, чтобы нам дали задание и чтобы мы его не выполнили, несмотря на то что было тяжело и очень опасно.

— Ефросинья Савельевна, расскажите о каком-нибудь эпизоде борьбы, о диверсии...

— У нас много было диверсий. Вот расскажу вам об одной из них. Это было на льнозаводе. Из льна здесь вырабатывали нитроклетчатку и вывозили в Германию для изготовления пороха. И нам было дано задание, чтобы мы вывели из строя этот завод. Мне пришлось нести мины для взрыва этого завода. Несла я их в бидоне с молоком. И вот мне встретились полицейские. «Эй, иди сюда, тебе говорят, иди сюда». Я как будто не слышу, а они снова повторяют. Подхожу к ним и думаю, как мне выйти из этого положения? Вижу, идет на расстоянии комендант. Я стала кричать: «Пан офицер, пан офицер». Он подошел и на меня ругнулся: «Чего, дура, орешь!» Я объясняю: «Несу милък дойче солдат, станция Оболь». Эти слова сказала по-немецки. Они любили, что их язык изучают. Он говорит: «Ах, милх, дойче солдат, станция Оболь. Зеер гут, паненка, зеер гут». И улыбается. Я говорю: «Да, да, пан», — и беру бидон. И мне махают — иди, мол, иди. Ну, я пошла, конечно. Когда я шла, руки у меня отнимались, чудилось, будто стреляют в спину.

Донесла я бидон до места, и с Марией Дементьевой мы эти мины сразу же замаскировали. Не успели отойти за речку, как грянул взрыв и поднялся в воздух льнозавод. Дым такой черный, ужасно что было, ужасно!.. Ну, начали подсылать шпионов и провокаторов разных, начали искать: кто это сделал и как, все хотели поймать...

Мне хотелось узнать не только о боевых делах, но и о ребятах подробнее — какие они были?

— Обыкновенные были, — ответила Зенькова, — обыкновенные ребята! Но когда на нашу землю ступил враг, каждый старался помочь фронту. Мы были

комсомольцами, горели душой за Советскую власть. Все были настоящие комсомольцы, готовые и в огонь и в воду. Жаль, что многие погибли. И моя семья погибла: отец, мать и тетя... Меня они не поймали, а забрали их. Они погибли вместе с моими товарищами.

— Ефросинья Савельевна, кроме вас, кому еще было присвоено звание Героя Советского Союза?

— Портновой Зине. Она была хорошим товарищем. И была очень улыбочивая. Однажды послали ее в разведку: узнать причину провала организации, установить новые связи. Но когда она пришла в деревню Маштишны, ее опознали. Она пыталась убежать. Ее догоняли, и она хотела себя убить. У нее была «лимонка». Она бросила эту гранату, но граната не взорвалась, и Зину схватили. Начали ее допрашивать, мучить, издеваться. Она была так избита, что не могла ни стоять, ни сидеть. Это дело было в Оболи. Однажды во время допроса зазвонил телефон. Офицер поднял трубку и стал слушать. И в этот момент Зина схватила со стола парабеллум и убила его. Когда она была в отряде, то научилась хорошо владеть оружием, очень способная была девочка. На выстрел вбежал еще один офицер. Зина убила и его и бросилась к речке. Отстреливалась, хотела переплыть речку. Но кончились патроны. Ее окружили. Она нажала курок, а выстрела не было. Ее снова взяли, снова мучили. Потом отправили в тюрьму в Полоцк. Там сидела с ней одна девушка, и она нам потом о Зине рассказывала. Когда Зину должны были увести, она сказала этой девушке: «Прощайте, и если кто останется жив, расскажите, что сегодня последнюю ночь живу, что сегодня уже меня поведут на расправу». И в 4 часа утра ее увели.— Ефросинья Савельевна вздохнула.— Очень мужественная девочка была...

Кроме музея есть в Оболи обелиск, поставленный в честь подвигов героев-подпольщиков. Есть школа имени Героя Советского Союза Зины Портновой.

* * *

Комбайн осторожно объезжал бетонный серый с черными подпалинами дот. Пшеницу качало ветром, она шуршала и, будто море, переливалась волнами.

Литые бетонные доты, вросшие в землю, торчали в поле, словно черепа с пустыми глазницами. Их было много. Выстроившись в изогнутую линию, доты глядели исподлобья с пригорков, таились на опушках рощ. Здесь, на берегу пограничной реки Буг, 22 июня вспыхнули первые бои, были совершены первые подвиги. Мы не знали, какие величественные и трагические дела происходили тут. Защитники этих сооружений погибли, не сделав ни шагу назад.

По проселку катил зеленый газик, из него кто-то помахал рукой — и комбайн остановился. С комбайна слез грузный здоровяк. Из машины выпрыгнул стройный среднего роста мужчина. Они пошли навстречу друг другу, встретились в пшенице, пожали руки.

— Ты чего сам выехал?

— Не простаивать же комбайну, Тимофей Андреевич.

— А бригадой кто командовать будет?

— Все, что надо, я сказал, когда к уборочной машины готовили. А в атаку пошли, что ж я в траншее останусь? Командиры в бой шли вместе со всеми. А то и первыми на штурм поднимались...

Этот «военный» разговор меня натолкнул на мысль: те, кто сегодня живет и трудится рядом с дотами, говорит таким армейским языком, наверное, что-нибудь знают о первых боях на границе, и вообще, кто они, эти люди?

Мне повезло. Человек, приехавший на газике, оказался первым секретарем Сокальского райкома партии. Фамилия его Маханек, зовут Тимофеем Андреевичем. Повезло не только в том, что он здешний партийный вожак и познакомил меня с людьми и достопримечательностями этого района Львовщины, а еще и в том, что сам Тимофей Андреевич оказался именно тем человеком, который помог найти ответы, дать объяснение многим событиям, происшедшим на этой земле.

Сельская жизнь и работа — не менее напряженная, чем городская, но все же нет в ней суеты и торопливости. Здесь люди вершат свое большое дело — кормят страну хлебом, овощами, фруктами, дают сырье промышленности, и делают они это солидно, без беготни, без нервных криков и экспансивной жестикуляции. Здесь даже говорят не так, как в городе. На селе беседуют основательно, неторопливо, без каких-нибудь: «потрясно» или «убиться можно»...

Вечером за чашкой чая у Маханька обстановка располагала поговорить не только о заготовке силоса и надоях, но и о делах личных. Я спросил:

— Вы из каких мест, Тимофей Андреевич?

— Из Сумской области. Окончил там в 1938 году педагогический техникум, работал в школе. Поступил в учительский институт.— Маханек помолчал, видно, не хотелось ему заводить долгий разговор, в котором неизбежны грустные воспоминания, и резюмировал:

— Хорошо жизнь намечалась, но помешала война.

Я глядел на Тимофея Андреевича — ладный, хорошо сложенный, темные кудри с сединой, выразительные карие глаза — он и сейчас красив, а тогда, до войны, наверное, все девушки заглядывались на него.

— На срочную службу меня призвали в 1939 году, попал в Сибирь, в Красноярск, стал артиллеристом. В боях довелось участвовать с августа сорок первого, когда фашисты уже подступали к Москве. Наш свежий сибирский корпус ударил по гитлеровцам в районе города Белый, нанес врагу большие потери. Мы были сильные, ушли далеко вперед, а соседние части, истощенные, измотанные боями, не смогли продвинуться так же глубоко, вот и получились у нас открытые фланги. Фашисты ударили под основание клина с двух сторон и отрезали наш корпус. Долго бились мы в окружении, но все же пришлось отойти.

Я смотрел на Тимофея Андреевича с удивлением и даже с небольшой оторопью, он заметил это и спросил:

— Вы что-нибудь знаете о тех боях?

— Не только знаю — я был там и кое-что видел своими глазами. Служил я в одной из дивизий, которая, к сожалению, не смогла поддержать наступление вашего корпуса. Мы сначала пошли вперед, но роты у нас были очень малочисленные. Вскоре почти все вышли из строя, и продвижение остановилось. Я очень хорошо помню ваш корпус — все бойцы как на подбор — здоровые, brave. Может быть, я и вас, Тимофей Андреевич, видел. Даже словом могли перекинуться.

— Вполне возможно!

Я смотрел на Маханька теперь уже совсем по-другому: передо мной сидел боевой товарищ, с которым мы бились бок о бок. На некоторое время я забыл о своей писательской задумке, расспрашивал Тимофея

Андреевича и сам поведал ему о своей фронтовой жизни.

— Ну, а после Белого куда вы двинулись?

Маханек был рад, что мы почти однополчане, и живо откликнулся:

— Потом я бил немецкие танки под Можайском, наступал и освобождал Смоленск, Оршу, участвовал в освобождении Белоруссии в операции «Багратион». Затем штурмовал крепость Кенигсберг.

— Ну надо же! — воскликнул я. — Все время были где-то рядом. Ну а какой самый памятный бой? Может быть, и в нем мы были вместе?

Лицо Маханька стало серьезным.

— Самый памятный был неподалеку отсюда. В 1944 году приближались мы к границе, заканчивали освобождение родной земли. Настроение было радостное. И вдруг на нашем участке фашисты нанесли сильный контрудар. Только на позицию нашего дивизиона прорвалось двенадцать «тигров». — Маханек заволновался, глаза его заблестели. — Обычно, когда говорят о самом памятном бое, имеют в виду наиболее трудный бой. Вы тоже, наверное, имели в виду такой?

— Разумеется, — кивнул я.

— Для меня этот бой у границы тоже был тяжелым, война шла к концу... Никому не хочется умирать накануне победы. Хотя — что я говорю — умирать никто не хотел ни в начале, ни в середине войны. В общем, когда навалились на нас «тигры» и стали мы их бить из орудий, вспомнились мне вдруг те наши бои под Белым, у Смоленска. Тогда фашисты давили нас танками, а мы отбивались бутылками с «горючкой». А в сорок четвертом совсем другое дело! Правда, и танки немцев стали более мощными, чем в сорок первом, — вы сами знаете, «тигр» — грозная машина, — однако и мы обрели огромный боевой опыт и прекрасную технику. И так мне было радостно от ощущения этой силы, что я про страх забыл, корректировал огонь своих орудий, танки загорались один за другим, а я про себя приговаривал: «Это вам за наших ребят-сибиряков, что легли под Белым! Это вам за нахальство, чтоб на чужую землю не лезли!» Так мы их все и пожгли. Сколько шло, столько и осталось на поле — все двенадцать! Наградили меня за тот бой орденом Красного Знамени. И памятен он мне не только трудностью, но и тем, что уж очень лихо

громили — просто мастерски крушили врага наши артиллеристы.— Маханек подумал и добавил: — И еще одно обстоятельство запало мне в душу в те дни навсегда. Вышли мы к Бугу, увидели эти доты почерневшие, разрушенную пограничную заставу. И так защемило сердце. Я думал о том, что мы вот пришли — огромная сильная армия, у нас много оружия, техники. А как же они, наши пограничники, здесь стояли на смерть, слыша удаляющийся на восток шум боя! Как им было трудно! Мне очень хотелось в память этих людей, в знак преклонения перед их подвигом сделать что-то особенное. Но бои продолжались, надо было идти вперед. Так я и не узнал тогда ничего о защитниках границы. Воевал я до последнего выстрела. День Победы встретил в Праге. И вот после демобилизации поехал не в родные места на Сумщину, а сюда, на львовскую пограничную землю. Не выходили у меня из памяти эти доты и разрушенные заставы. Думал: кто же тут жизнь начнет восстанавливать? А в те годы, вы, наверное, помните, здесь разгуливали банды бандеровцев, националистов. Ну как допустить, чтоб на такой священной героической земле не было покоя? Кто же его обеспечит, кто этим займется? Если не я, то кто же?!

«Вот так проявилось в советском человеке, коммунисте, чувство хозяина земли и ответственности за нее»,— подумал я, а Маханек между тем продолжал:

— Сначала я жил во Львове, надо было подучиться, я ведь институт из-за войны не закончил. Вот поэтому работал и учился на заочном отделении университета, на историческом факультете. Все еще надеялся стать педагогом. А жизнь ставила все новые и новые задачи. Направили меня на партийную работу. В 1954 году избрали вторым секретарем райкома в городе Броды, а в 1957-м там же стал первым секретарем. Был секретарем горкома в Стрые и вот уже больше десяти лет первый секретарь здесь, в городе Сокаль.

— За эти годы, наверное, вам приходилось слышать какие-нибудь вести о пограничниках, о тех, кто первыми приняли здесь бой?

— Не только слышал, но даже видел людей, участвовавших в тех боях, и вас познакомлю, если пожелаете.

— Конечно, очень хочу,— воскликнул я, не веря своим ушам.— Неужели такое возможно?

На следующий день мы поехали на заставу Лопатина. Было прохладное утро, машина катила по чистым улицам. Справа и слева стояли добротные двухэтажные кирпичные дома. Здесь такая мода — все строят дома с мезонинами. Окруженные садами и множеством цветов, они больше похожи на дачи, чем на жилые дома колхозников.

— Это колхоз имени героя-пограничника Лопатина. Сейчас на окраине будет хата, обратите на нее внимание,— предупредил Тимофей Андреевич.

Вскоре за окошком машины мелькнула темная изба с подслеповатыми окошечками и почерневшей от времени соломенной крышей. Маханек коротко пояснил:

— Единственная довоенная хата, уцелевшая в деревне...

Машина остановилась на зеленом травянистом берегу широкого Буга. Неподалеку от воды, на взгорке, возвышался обелиск, рядом — аккуратный домик под шиферной крышей. Тимофей Андреевич сказал:

— А тут стояла застава Лопатина.

На крыльце, приветливо нам улыбаясь, ждала милостивая женщина невысокого роста.

— Знакомьтесь! Анфиса Алексеевна Лопатина.

Эту фамилию не раз слышал и прежде. Часто проносил ее в разговоре мой собеседник, видел на обелиске, на вывеске правления колхоза. Все, что в моем представлении было связано с этим именем, было где-то далеко, по ту сторону войны, поэтому я подумал, что Анфиса Алексеевна просто однофамилица легендарного теперь Лопатина. Маханек заметил, что я не совсем понимаю, кто стоит перед нами.

— Анфиса Алексеевна, жена начальника заставы лейтенанта Лопатина. Во время боя 22 июня сорок первого она была здесь рядом с мужем.

Мы обошли с нею чистые комнатки своеобразного музея, хранящего священную память о подвиге бойцов заставы. Много уникальных экспонатов: оружие героев, фотографии, документы, письма. Потом прошли с Анфисой Алексеевной к могильным плитам: «Начальник заставы лейтенант Лопатин», «Младший политрук Гласов П. И.— зам. нач. заставы по политчасти», «Клищенко П. П.— старшина заставы»,

«Рядовой Никитин Иван Иванович — секретарь комсомольской организации». Всего пятьдесят восемь могил. Из шестидесяти защитников заставы уцелели двое.

Я смотрел на противоположный берег Буга, откуда пришла война. Тихо звучал голос Анфисы Алексеевны Лопатиной:

— В ночь на двадцать второе июня муж, как обычно, пошел на границу проверять службу нарядов. Вернулся он в три часа ночи. Я ждала его с ужином. Есть он не стал, сказал: «Очень беспокойно, тревожно и на душе, и на границе». Прилег отдохнуть и только заснул — вдруг ударила по дому артиллерия. Очень неожиданно это было, то была тишина и вдруг, как обвал, как гром и молния ударили по заставе. Муж вскочил и крикнул: «Бери детей, беги в укрытие». У нас тогда двое сыновей подрастали. Я побежала с детьми к подвалу и увидела, что гитлеровцы переправляются через Буг. Жены командиров оставили детей в подвале с бабушкой, а сами пошли помогать мужьям, стали перевязывать раненых, подносить патроны, гранаты. Первые четыре попытки фашистов переправиться были отбиты, тогда они перебрались правее и левее заставы и вскоре окружили нас и стали обстреливать со всех сторон. Пограничники держались стойко, все были уверены — скоро придут наши и выбьют нарушителей границы. Но бои гремели повсюду, и мы поняли — это не провокация, а война. На четвертый день Лопатин послал Галченкова и Герасимова в разведку — узнать, где наши? Они не вернулись, и мы не знали, что с ними случилось. На седьмые сутки немецкий офицер кричал в рупор: «Сдавайтесь, вам никто не поможет! Наши войска взяли Минск!» Мы этому, конечно, не верили, но и держаться становилось все труднее. Многие пограничники были убиты, остальные ранены, но оставались в траншее. Фашисты перестали нас атаковать, наверное, решили взять измором.

А с западного берега Буга все шли и шли войска на нашу территорию. И, видимо, вот из этих новых частей, не зная, что застава еще жива, на девятый день боя к нам подъехали две машины и мотоциклисты. Пограничники воспользовались этим, забросали машины гранатами, уничтожили гитлеровцев, а одного офицера захватили в плен. Попала в наши руки и рация. Пытались мы по этой рации связаться со своими,

но гитлеровцы, взбешенные гибелью своих офицеров, решили, видно, стереть заставу с лица земли — открыли ураганный артиллерийский огонь и буквально смешали все с землей. Но все же, пока оставались живыми несколько пограничников, жила и застава. На десятый день осталось всего восемь бойцов. Я умоляла мужа уйти в лес, пробиться к своим или к партизанам, но он непреклонно отвечал: «Я заставу не оставлю, буду стоять насмерть, а ты и другие женщины должны спасать детей». Ночью мы с детьми поползли.

Лопатина идет по крутому берегу и показывает на скат: «Вот здесь и ползли берегом, скрываясь от пуль, прикрывая своим телом детишек».

Мне приходилось бывать на местах боев, в которых я участвовал. Обычно те, кто бывал в это время рядом, не расспрашивали меня ни о чем. Они понимали, что мне надо побыть в тишине, собраться с мыслями, вспомнить все, как было. А для меня та тишина грохотала боем, я слышал выкрики людей, видел лица своих однополчан. Так и для Лопатиной, наверное, в эти минуты гремели выстрелы, пули летели со всех сторон.

Я тоже ни о чем не спрашивал Анфису Алексеевну, понимая, как далеко она сейчас от нас.

— Трава была холодной и скользкой, мы ползли вон к тому сараю. Немцы нас обнаружили. Они ведь были повсюду. Схватили. Стали допрашивать. Били. Издевались. Требовали от меня: «Иди к своим, скажи — сопротивление бесполезно!» Я не пошла. Опять били. Потом нас повезли куда-то и, наверное, расстреляли бы. Но в селе, куда нас привезли, мы смешались с другими беженцами, а местная охрана не знала, что мы жены пограничников. А мы, понимая, что скоро они это узнают, постарались сбежать. Укрыли нас жители деревни Скоморохи, — Лопатина показала на красивые дома, мимо которых мы ехали, — вон они Скоморохи — много там добрых людей, они-то и помогли нам в черные дни гитлеровской оккупации.

Пограничники погибли все, кроме Галченкова и Герасимова, которые ушли тогда в разведку. Герасимов попал в лапы гитлеровцев и прошел долгие муки плена, а Галченков пробрался к партизанам. Оба они после войны приезжали не раз на родную заставу. Когда немцы ушли, житель ближнего к заставе дома Иван Васильевич Онищенко захоронил погибших пограничников в траншее. А после войны помог найти их

останки. В музее мы видели оружие, ремень, знаки различия Лопатина. Все это нашли благодаря тому, что Онищенко показал, где надо искать.

— А как сложилась судьба ваших сыновей? — спросил я.

Мать не без гордости сказала:

— Я вырастила своих сыновей. Оба они пошли по стопам отца — стали пограничниками. Анатолий подполковник, одно время был начальником заставы, которая носит имя отца. Вячеслав тоже пограничник — сейчас майор!

Я глядел на мужественную женщину и думал: нет, не погиб, живет и сегодня лейтенант Лопатин — он живет в своих сыновьях, живет в воспоминаниях своей боевой подруги, живет в сердцах всех, кто преклоняется перед его героическим подвигом.

* * *

Иван Лукич Хижняк жил в Москве. Он встретил меня радушно. Пожилой, кряжистый, с кустистыми седыми бровями, из-под которых глядят мудрые глаза.

Мы сели к столу, раскрыли альбомы с фотографиями и повели неторопливый разговор.

— С чего начнем? — спросил Хижняк.

— С самого начала, Иван Лукич. С тех дней, когда вы впервые соприкоснулись с революционными делами.

— Ну, с революцией я соприкоснулся еще в 1905 году. Жил я тогда в Ейске, работал в столярной мастерской. Рабочие не раз поручали мне расклеивать листовки. Кстати, в выпуске прокламаций в те далекие годы в Ейске участвовал и будущий известный писатель Федор Гладков.

Иван Лукич рассказывал негромко, не торопясь, а я, листая альбом, слушал и разглядывал посветлевшие и выцветшие фотографии тех дней. В годы первой мировой войны побывал молодой Иван Хижняк на турецком фронте, дважды ранен, затем попал на западный фронт. Не раз награжден за храбрость в бою, свидетельство тому еще одна фотография: Хижняк — георгиевский кавалер с лихо закрученными усами.

— Февраль 1917 года меня застал в тифлисской школе прапорщиков, — продолжал рассказ Иван Лукич. —

Я уже был членом большевистского кружка, который существовал в школе. Читал нелегальную литературу, участвовал в спорах, беседах, выступал на митингах. После окончания школы прапорщиком опять попал на фронт. В сентябре этого года меня избрали председателем полкового комитета, а в декабре в Харькове вступил в партию большевиков. Партийный билет мне вручал Артем, который тогда возглавлял городскую парт-организацию. Харьков в те дни находился в руках петлюровцев, гайдамаков и эсеров. Когда из Петрограда прибыл отряд во главе с Антоновым-Овсеенко и Сиверсом, к нему примкнули и местные красногвардейцы. Я тогда командовал ротой. После освобождения Харькова Антонов-Овсеенко направил меня на Кубань, в Ейск, для организации красногвардейских отрядов.

В Ейске комитет РСДРП поручил сформировать отряд Красной гвардии большевику Балабанову. Он был мой старый знакомый, рабочий, потом фронтовик. Меня назначили начальником штаба. Мы сформировали этот отряд и по указанию комитета РСДРП боролись с местной, очень сильной, контрреволюционной сворой: белогвардейцами, казаками, монархистами, эсерами... Вскоре мы установили в Ейске Советскую власть.

После этого по приказу Военно-революционного комитета я со своим батальоном выехал на защиту Екатеринодара от Корнилова. Там шли тяжелые бои. Город мы отстояли.

— После этого вы вернулись в Ейск?

— Да. Там вскоре произошел контрреволюционный мятеж. При подавлении его я уже командовал полком. Кстати, Ейск дал в те годы Красной Армии одиннадцать революционных полков и четыре батальона. В Центральном музее В. И. Ленина хранится служебная книжка красноармейца на имя Ленина Владимира Ильича. Эту книжку вручила вождю революции в те далекие годы специальная делегация от 195-го Ейского стрелкового полка.

Однажды меня вызвали в штаб Батайского фронта, где я встретился с чрезвычайным комиссаром Юга России товарищем Орджоникидзе. Встреча произошла в вагоне. Были здесь Иван Кочубей и еще несколько командиров частей.

Орджоникидзе расспросил нас о состоянии частей, о борьбе с контрреволюцией. Я чувствовал, что скоро

нас перебросят на другой участок. И действительно, в июне по приказу главкома полк погрузили в эшелон, и мы прибыли на царицинскую железнодорожную ветку. Здесь бились с отборной офицерской бригадой Деникина. Этой бригадой командовал Марков. Он был известен своей смелостью и жестокостью. В этом бою была разбита его бригада, а сам Марков погиб.

В момент напряженных боев на наш участок прибыл Серго Орджоникидзе. Когда я докладывал ему обстановку, белые прорвались на участке батальона, которым командовал Синица. «Твое решение?» — спросил Орджоникидзе. «Брошу туда резерв, открою артиллерийский огонь по вражеской коннице», — доложил я. «Правильно!» Я решил и сам поспешить в район прорыва, крикнул, чтоб дали коня. «И для меня коня!» — сказал Орджоникидзе. Я стал возражать: «Вам нельзя, товарищ чрезвычайный комиссар». — «Я знаю, знаю. Быстро лошадей!» И мы поскакали к месту прорыва.

Очень смелый, горячий и энергичный человек был товарищ Орджоникидзе. Он сам горел и всех зажигал революционной страстностью.

Иван Лукич помолчал, вспоминая, тяжело вздохнул: ведь многих уже нет, о ком он рассказывал.

— Свела меня фронтовая дорога в те годы еще с замечательными пролетарскими полководцами: Ковалевым, Ковтюхом, Федько, Жлобой, Книгой. Особенно хочу выделить Ивана Федоровича Федько. Он украинец, сын бедняка. За храбрость в годы первой мировой войны направлен в школу прапорщиков, успешно окончил ее. Еще на фронте стал большевиком. В Феодосии организовал красногвардейский отряд. На Кубани Федько командовал 3-й колонной войск. На Северном Кавказе в нее входили: 1-й Черноморский, Тимашевский, Таганрогский, Приморско-Ахтырский полки, бригада Жлобы и мой Ейский полк. Федько — один из немногих командиров, награжденных в годы гражданской войны четырьмя орденами Красного Знамени.

Хижняк взял фотографию — на ней советский генерал: на груди его, кроме наших орденов, четыре Георгиевских креста.

— Василий Иванович Книга. В 1919 году спас мне жизнь. Случилось это так. Я заболел тифом, лежал в госпитале во Владикавказе. Белые захватили город,

а меня выдал предатель. Два раза выводили на расстрел, случайно остался жив. Перегоняли из тюрьмы в тюрьму. В Ростове-на-Дону сидел в камере смертников, ждал расстрела.

Хижняк взял книгу, полистал ее, открыл нужную страницу и подал мне:

— Вот, взгляните, как генерал-майор Книга рассказывает об этом случае.

Я взял мемуары и прочел:

«Когда Первая Конная подошла к Ростову, от разведки я получил сведения, что в тюрьме находятся около трехсот командиров и комиссаров. Я решил как можно скорее добраться до тюрьмы и освободить заключенных. Я продвинулся со своей бригадой далеко вперед. А потом взял эскадрон и поскорее к тюрьме. И вовремя — белогвардейцы из Дикой дивизии готовились уничтожить заключенных. По моему сигналу буденновцы в несколько минут расправились с палачами. С несколькими бойцами я ворвался во двор тюрьмы, где застал десятка два контрразведчиков. Они успели пробраться по коридорам и открыть стрельбу по арестованным. Я подал команду: «Товарищи, выходите на свободу!»

Я положил книгу, а Иван Лукич улыбнулся:

— Вот так третий расстрел намечался, но не попался я в лапы смерти и на этот раз! А положение было почти безнадежно. Беляки торопились, стали расстреливать арестованных прямо в камерах. Мы забаррикадировали дверь, не пускали в камеру палачей, но долго не продержались бы. Вдруг слышу — началась перестрелка и крик: «Выходите, товарищи!» Это кричал Василий Иванович Книга.

— А позднее приходилось вам встречаться с ним?

— Приходилось. Служили рядом в мирные дни. И в годы Отечественной неподалеку были.

Я попросил Ивана Лукича рассказать об Отечественной: где и как началась для него война.

— Двадцать второго июня 1941 года я находился недалеко от западной границы, в городе Новозыбково. Был я в те дни заместителем командира дивизии. Наша дивизия передислоцировалась в Новозыбково. Я приехал пораньше осмотреть новое место, организовать размещение частей. В общем, когда грянула война, я оказался вблизи границы без войск, с несколькими командирами. 23 июня меня назначили старшим

воинским начальником Жлобинского участка. Здесь и в Рогачеве были большие склады боеприпасов, продовольствия, горючего. Я получил приказ уничтожить склады. Очень жалко было уничтожать добро, по врагу же оставить нельзя. Я пошел посоветоваться с секретарем горкома. Предложил раздать имущество воинским частям, сформировать и укомплектовать новые части Красной Армии. Мос предложение было одобрено.

С помощью городской партийной организации полковник Хижняк стал формировать воинские части, вооружал их, обеспечивал всем необходимым, выдвигал на рубежи обороны и сам руководил боем, преграждая путь фашистам. Нарком обороны высоко оценил мужество и инициативу умелого командира. Хижняк был награжден орденом Красного Знамени. После этих событий Хижняк был назначен командиром 117-й стрелковой дивизии. Она сражалась упорно, но вскоре оказалась в окружении. Со всех сторон наседали враги, а боеприпасы были на исходе.

У Ивана Лукича даже голос стал хрипловатым, когда он рассказывал об этой трагической эпопее:

— Приказал я начальнику штаба выводить главные силы, чтоб сохранить их, а сам остался с отрядом прикрытия в сто пятьдесят человек. Я считал, раз командир здесь, то сила отряда увеличится, уверенность бойцов будет крепче. С этим прикрытием мы бились до последнего. Дивизия была спасена. Когда нас в прикрытии осталось восемь человек, я был тяжело ранен пулеметной очередью в грудь...

Бойцы вынесли командира из окружения на носилках. Группу возглавлял старшина Шепелев. Лесами и болотами, голодные и обессиленные, бойцы все же выбрались к своим. Хижняка на санитарном самолете отправили в Москву. В воздухе на санитарный самолет напал «мессер», обстрелял и подбил его. Самолет упал. Но Иван Лукич остался жив! В бессознательном состоянии его направили в госпиталь.

Командование сделало все, чтобы спасти жизнь отважному командиру. Его лечил известный хирург, академик Сергей Сергеевич Юдин. И поскольку Хижняк находился в тяжелом состоянии, надо было сохранить образ смелого полковника для потомков. Обратились к известному скульптору Вере Игнатьевне Мухиной. Она приступила к работе прямо в госпитальной палате, где лежал Хижняк.

— Я лежал без сознания,— рассказал об этом Хижняк,— и вот однажды пришел в себя, вижу, как в тумане: передо мной женщина в белом. Что же тут надо мной колдует эта женщина? Склонилась она ко мне и говорит: «Я скульптор Мухина, делаю ваш портрет». Вот оно что! Радостно мне стало, но все же чувствую себя очень плохо: «Не до портретов мне сейчас». Она отвечает: «Я не буду вас беспокоить, просто буду смотреть и лепить. Это очень надо!» — «Ну, если надо — лепите».

Вера Игнатьевна работала над скульптурным портретом с вдохновением. Очень ей понравился командир, совершивший много подвигов и теперь страдающий от тяжелых ран. Творческий задор у Мухиной был настолько силен, что она создала один из выдающихся скульптурных портретов. За него она была удостоена в 1942 году Государственной премии. И сегодня стоит бюст Хижняка в зале Третьяковской галереи.

— Мы подружились с Верой Игнатьевной в те дни и позднее переписывались. У меня сохранились ее письма, вот почитайте.— Иван Лукич достал из ящика письменного стола стопку писем. Я раскрыл некоторые конверты и прочитал. Поскольку Юдин и Мухина — личности весьма примечательные, я привожу эти письма дословно:
«26 июня 1942 г.

Дорогой Иван Лукич, очень была рада, что Вы не забыли и черкнули о себе. Радуюсь за Вас, что начинаете поправляться и раны заживают. Можете сами шинель надеть или еще нет? Я мое обещание не забыла и послала Вам фотокарточки недели через две, как Вы уехали. Так и думала, что письмо не дойдет, ведь говорят, фото посылать нельзя, но я еще раз попытаюсь. За это время сработала еще человека четыре, но Ваша голова, по-моему, лучшая, очевидно, потому, что была очень симпатичная модель! Как будто скоро мои вернутся: муж получил вызов в Москву. Пишите и будьте здоровы. Надеюсь увидеть Вас совсем крепким. Сердечный привет. В. Мухина».

«Дорогой Иван Лукич! Только что С. С. Юдин прочел мне по телефону Ваше послание. Очень рада была узнать о Ваших замечательных успехах на фронте. Кос-что я знала из газет раньше. Примите мое искреннее поздравление по поводу Ваших наградений. Очень рада была узнать о них от Вас лично. Значит, Вы живы и здоровы. А все-таки Сергей

Сергеевич Юдин Вас здорово починил! Если будете в Москве, не забывайте нас. Шлю сердечный привет. Оленины тоже.

17 декабря 1943 г.

В. Мухина».

— Да, академик Сергей Сергеевич Юдин совершил чудо. Он буквально воскресил меня. С Юдиным я тоже подружился и переписывался.

Хижняк подал мне письмо Юдина:

«Дорогой Иван Лукич!

Очень благодарю Вас за Ваше письмо и добрую память и сердечно поздравляю со столькими высокими правительственными наградами. Они ярко знаменуют собой Ваш пламенный патриотизм и Ваше высокое воинское мастерство.

Мое русское сердце наполняется гордым сознанием, что залогом всех Ваших блестящих побед над врагами была и моя скромная победа над Вашей болезнью, когда, увидев Вас среди недостаточно опытных врачей госпиталя, я сразу и бесповоротно решил взять Вас к себе в клинику, в Институт имени Склифосовского, изображение коего Вы узнаете на данной виньетке — заставке моего письма. Здесь по моим указаниям художник изобразил наш институт «ощетинившимся» в памятные дни глубокой осени 1941 года — эпохи обороны нашей первопрестольной Москвы — столицы моей любимой Родины. Пулеметы между колоннадой уже убраны, но кирпичные бойницы остались до сих пор. Я постараюсь, чтобы эти бойницы так и остались навсегда как архитектурный добавок к нашему чудесному зданию и как вещественный символ немеркнувшей славы русской доблести и русского оружия.

Я тоже могу рапортовать Вам некоторыми заслугами перед Родиной за время, как мы с Вами расстались. За эти два года я написал и выпустил около десяти отдельных книг по военно-полевой хирургии, помогающих молодым врачам лучше лечить наших раненых. Удалось сделать и некоторые ценные научные работы по хирургии. За них я получил Государственную премию, ученое звание Заслуженного деятеля науки и орден Ленина. За границей труды мои были отмечены исключительно высокой почестью. Я избран Почетным членом Королевского общества хирургов Англии и Почетным членом американского Колледжа хирургов. Из русских я третьим в мире достаиваюсь столь высокого избрания.

Сам я часто выезжаю на фронт и обучаю армейских хирургов лечению раненых прямо на месте. Сейчас у меня все готово к очередному полету, на этот раз в Вашу сторону на юг.

Крепко жму Вашу руку. Нежно обнимаю Вас. Бейте фашистов беспощадно, истребляйте их всеми способами и везде, где бы ни встретились.

Ваш проф. С. Юдин.

Москва, 18.12.1943 г.».

Наш разговор прервала Нина Андреевна — жена и верный друг Ивана Лукича. Она подала нам чай и, увидев, что я читаю письмо Юдина, сказала:

— Сергей Сергеевич долго лечил Ивана Лукича, сам присутствовал на всех перевязках, увозил его с собой в Куйбышев, когда клиника Склифосовского туда эвакуировалась. Все же он поднял его на ноги. Я учила Ивана Лукича ходить. Руки у него не действовали. Каждый палец мы с ним тренировали, разрабатывали. Ну, ничего, окреп, стал двигаться. Хотели его уволить из армии на пенсию. Куда там! Не та у него натура. Здоров, говорит! Только на фронт поеду, больше никуда! О том, какой он «здоровый», знали. Мне разрешили быть при нем. Я ведь его каждый день перевязывала. Рана его еще не зажила. Подчиненные не подозревали об этом. Он всегда был среди них в полном порядке. Только я знаю, чего это ему стоило!

После лечения — снова фронт. Иван Лукич участвовал в боях на Кавказе, командовал 11-м гвардейским корпусом, освобождал Тамань. Гвардейская Таманская дивизия, которая стоит под Москвой, — мы видим ее теперь на праздничных парадах — входила в 11-й корпус генерала Хижняка и удостоена наименования Таманской именно в те дни, когда он командовал этим корпусом.

Вот что пишет о Хижняке Маршал Советского Союза Гречко, который был тогда генерал-лейтенантом и командовал 56-й армией, куда входил и 11-й корпус: «Хижняк — смелый, решительный и волевой командир. Быстро оценивает обстановку и принимает решения. Энергично и настойчиво проводит их в жизнь».

Иван Лукич принимал участие во многих операциях по освобождению Кавказа. Прорывал он известную своей неприступностью Голубую линию. Она состояла из нескольких укрепленных рубежей — левый фланг упирался в Азовское море, а правый заканчивался на берегу Черного, в районе Новороссийска. В числе других частей, прорвавших линию, был и 11-й гвардейский

корпус. В этих боях особенно проявились находчивость и боевой опыт Ивана Лукича.

Вот как Хижняк рассказал о начале этого сражения:

— Мы решили обмануть врага, изменив обычный наш способ ведения боя. Шаблон в каждом деле вреден. На войне — особенно. Потому-то мы и решили начать наступление не днем, не на рассвете, как делали раньше, а глубокой ночью. Мы отказались от артиллерийской подготовки. Основная задача возлагалась на пехоту — надо бесшумно подползти к траншеям фашистов, пустить в ход гранаты и штыки. А уж если дело дошло до штыка, против советского воина никто не устоит! Штык-батушка не раз выручал русских чудо-богатырей, приносил славу нашему оружию. Мне и самому доводилось ходить в штыковую атаку в годы первой мировой войны, и я знал цену русскому штыку. Накануне наступления мы провели занятия, потренировали солдат, подучили приемам штыкового боя. Политработники пошли в подразделения, обстоятельно разъяснили замысел и особенности предстоящего ночного удара.

И вот 3 августа, ровно в полночь, поползли бойцы с запасом гранат, с примкнутыми штыками. Бесшумно подобрался к траншеям гитреловцев и ворвался туда. Наша задумка осуществилась блестяще! К рассвету мы овладели несколькими траншеями и уничтожили до двух третей состава вражеских подразделений! А с рассветом пошли в бой танки, артиллерия. Прорыв развивался. Мы преодолели Голубую линию. Последний вражеский опорный узел на берегу Черного моря — порт Новороссийск был нами освобожден 16 сентября 1943 года.

...После очередного ранения — опять госпиталь. Затем Иван Лукич был назначен заместителем командующего Закавказским фронтом.

После победы над фашистской Германией Хижняк по состоянию здоровья вынужден был уйти в отставку. Как ни тяжело расставаться с армией, но что поделаешь!

* * *

Во все времена «человек с ружьем» являл собой загадку даже для полководцев, которые им командовали. Познать «душу солдата» стремились все, но удалось это немногим.

А каков наш солдат сегодня?

Из сложного комплекса проблем, касающихся солдата, давайте возьмем одну, именно ту неосоздаваемую, невидимую, но очень весомую, которая называется «душой солдата».

Один прусский монарх признавался: «Если бы наши солдаты понимали, за что мы воюем, то нельзя было бы вести ни одной войны».

В годы первой мировой войны многие солдаты поняли то, что имел в виду прусский монарх, и вместе с революционными рабочими повернули оружие против своих угнетателей; усилилось революционное движение. Это навсегда запомнили империалисты. Страх перед своим же солдатом постоянно одолевал агрессоров. Генерал фон Сект после Октябрьской революции сформулировал хитрую теорию: «Целью современной военной стратегии будет: добиваться решения при помощи подвижных, высококачественных, способных к ведению операций сил без того или до того, как мыслы придут в движение». Этой теорией руководствовались гитлеровские стратеги при разработке «молниеносной войны».

Ну, а какова душа нашего солдата? Не только мы и не только потому, что этот солдат наш,— вся освобожденная от фашизма Европа говорит: душа советского солдата прекрасна! Она открыта, доброжелательна, радушна для друзей. Бескомпромиссна и тверда для врагов. В ней все видят безграничную любовь к социалистической Родине, прочную веру в правоту дела партии, непоколебимую решимость выполнить все, что прикажет Советское правительство.

Коммунистические идеалы — грозное оружие для наших врагов. Мы верили в эти идеалы, эта вера придавала нам силы. В сорок первом, когда фашисты бросили на нас армады танков и самолетов, мы выстояли благодаря этому оружию. Весь мир не мог понять, чем мы держимся, когда фашисты были под Москвой и на Волге.

Когда мы гнали врага от столицы, я с разведчиками захватил в плен гитлеровского офицера. Он оказался кадровым воякой, имел высшее образование, держался вызывающе, нагло, выпячивал грудь, кричал: «Хайль Гитлер!» Но глаза его были полны недоумения, он глядел на нас, как на пришельцев с другой планеты... Немного опомнясь от шока после пленения, гитлеровец спросил:

— Скажите мне: в чем секрет? Как вы смогли опрокинуть наши бронированные армии? Я не выдам

вашу тайну своим. Вы меня расстреляете. Но, умоляю вас, откройте мне перед смертью эту тайну.

Мой фронтовой друг Ваня Казаков, лихой разведчик и весельчак, ответил:

— Темный ты человек, поэтому ничего не понимаешь. Кроме оружия, вера нужна. А какая в тебе вера? Зачем ты пришел на мою землю? Истребить здесь хозяев, получить поместье, заставить на себя работать русских людей. А кто ты такой? Почему ты должен всем владеть? Потому что ты арийской расы? Какой ты особый человек — ты просто бандит, грабитель. Вот и вся твоя суть.

Мой отец рассказывал, как во время гражданской войны один писарь сочинял всей роте письма домой. Я сам помню, в 1940 году в военное училище приехал майор. Все курсанты искали случая встретиться с ним и посмотреть на «академика» — этот майор был единственным в училище офицером с высшим образованием! А сегодня каждый лейтенант — выпускник командного училища (уж не говоря о специалистах) имеет, кроме военного образования, диплом инженера-автомобилиста. Солдаты, как правило, с десятилеткой или техникумом.

Мне довелось командовать полками и бывать в самых далеких гарнизонах — на Памире, в Каракумах, на Сахалине, на дальних островах, и нигде я не чувствовал разницы в интересах солдат. Всюду воины живут в едином ритме, знают и переживают общие для всей страны радости и печали. Везде у них одно стремление — добиться высоких показателей в боевой и политической подготовке, написать об этом домой, порадовать близких.

В Кушке, например, я прослужил три года. В этом гарнизоне особенно видны изменения за последние полвека. До революции сюда ссылали прогрессивно настроенных офицеров. В те годы и сложилась пословица «Дальше Кушки не пошлют», так как до нее добирались три месяца — сначала в Тбилиси, потом через Каспий, затем караваном на верблюдах и лошадях: железной дороги еще не было. Сегодня можно из Кушки вылететь на самолете утром, а обедать уже в Москве или в Крыму. Воинская часть, которая там стоит, участвует во всех общеармейских делах и не раз выходила победительницей в соревновании с другими частями. Кушкинские солдаты и офицеры ничем не отличаются от своих братьев по оружию, разве только загар у них бронзовее, чем у других.

А природа там не балует: жара, песчаные бури, безводье — все это для хлипкого в моральном отношении человека могло бы стать причиной падения духа. Но не таков советский солдат. Благодаря высокому сознанию трудности только закаляют его. Помню такой случай. Рядовой Саидов, пулеметчик, служил добросовестно, командиры были им довольны. Казалось бы, все хорошо. Но солдатская душа не позволяла Саидову успокоиться и довольствоваться достигнутым. Он старался быть не только хорошистом, а и отличником. И вдруг выяснилось, что отличником ему никогда не быть: он стрелял лишь на «хорошо». Это для него предел. Природа обидела Саидова — правый глаз его видел хуже левого. А ручной пулеметчик смотрит правым глазом, прищуривая левый. Ну что поделаешь! Другой бы смирился, но комсомолец Саидов не хотел отставать от других. Левый глаз видит лучше? Значит, надо переучиться на «левшу». На первый взгляд, все просто — приставляй приклад пулемета к левому плечу и стреляй. Но на деле все гораздо сложнее: руки уже привыкли действовать в определенной последовательности, да и пулемет сконструирован для «правши». Три месяца «переквалифицировался» Саидов и все же добился своего — стал отличником Советской Армии!

Этот случай и многие другие наблюдения в мирные дни натолкнули меня на раздумья. Мы часто говорим: и в мирные дни есть место подвигу. При этом имеем в виду самоотверженные, смелые поступки, похожие на подвиги героев войны. Но подвиги в будни свершаются не так уж часто. Солдат вынес ребенка из горящего дома, защитил девушку от хулиганов, обезвредил старую мину, задержал опасного преступника, и еще несколько хорошо всем известных ситуаций. Поступки эти благородны, они украшают солдата. Но не кажется ли вам, что у нас подвигов в мирные дни гораздо больше, только мы их почему-то не видим, не считаем за подвиги. На войне каждый день, каждый час создается обстановка, требующая мужества, отваги, а нередко и подвига, связанного со смертельным риском. В дни мирной учебы такие обстоятельства встречаются очень редко. И хорошо! Пусть реже бывают ЧП и из ряда вон выходящие случаи, связанные со смертельной опасностью. Но это вовсе не значит, что без них не будет ситуаций для подвига. В мирные дни героические дела тоже совершаются массово и ежедневно,

только проявляются они в настойчивом самоотверженном труде. Гагарин да и все космонавты к подвигам готовились упорно и долго. Подвиг в мирное время по сравнению с боевым часто как бы более растянут по времени. На войне он тоже был разной продолжительности, например, у Карбышева — несколько лет, у Зои Космодемьянской — сутки, у Матросова — секунды. В мирное время для подвига характерны прежде всего упорный труд и мастерство в своем деле.

Но для всех подвигов, как для фронтовых, так и в мирные дни, основой является та самая «солдатская душа», о которой мы говорили, — полная беспредельной любви к своему народу и Родине.

Много лет я дружил с экипажем Н-ской атомной подводной лодки. Познакомились мы так. Моряки пригласили меня выступить в их клубе, на базе. Я ни разу в жизни не бывал на подводной лодке, но, понимая, что атомоход — объект весьма секретный, сказал адмиралу:

— Если можно, покажите мне подводную лодку. Какую-нибудь старенькую, которую завтра отправите на металлолом.

Адмирал, улыбаясь, ответил:

— Вы плохо знаете моряков. Мы народ гордый. Покажем вам самую новую атомную, — и лукаво глянул на меня, — а насчет секретности не беспокойтесь. Все равно вы там многого не поймете.

Адмирал оказался прав, во время осмотра подводной лодки я чувствовал себя полным профаном. Но я увидел то, что нужно мне — людей, которые владеют этой невероятно сложной техникой. Веселые и озорные, серьезные и сосредоточенные, внимательные и любопытные, матросы были очень похожи на тех, с кем мне доводилось ходить в атаки на фронте. Там, расстегнув бушлаты, чтобы была видна тельняшка — морская душа, морячки бежали вперед, словно тигры бросались в окопы фашистов. А в рукопашной этим парням равных не было! Недаром фашисты прозвали советских моряков «черная смерть». И вот беседовал я, глядел на лица матросов, стоявших у сложнейших приборов, и не только хорошая зависть, но и глубокое уважение охватывали меня. Эти ребята могут повторить подвиги фронтовиков в тельняшках, да к тому же на «ты» со сложнейшей атомной и электронной техникой. Чудесные парни!

То, что служба в армии — закалка на всю жизнь, солдат поймет позднее, когда на себе почувствует, что

она ему дала. А дает она очень многое. В этом убедилось и единодушно подтверждает не одно поколение наших соотечественников. Армия готовит не только воина для защиты нашей Родины от врагов. Здесь продолжается огромная воспитательная работа, которую ведет партия по формированию нового советского человека. Пусть не будет войны, пусть не пригодятся специальные военные знания — человек, прошедший армейскую школу, приобретает для дальнейшей работы, учебы, создания семьи много полезных качеств.

Военная техника сейчас настолько сложна, что все знания, полученные в школе по физике, химии, математике и другим предметам, не только потребуются в повседневной службе, но и будут совершенствоваться.

А физическая закалка? Я не раз видел, как солдаты смеялись, разглядывая свои фотографии, сделанные в начале службы. На этих снимках многие с тонкой шейкой, ноги болтались в широких голенищах сапог. Теперь смеялись, разглядывая фотографии, загорелые, здоровые парни. Их гимнастерки распирали бугристые мышцы.

Это, разумеется, внешняя перемена. А как взвесить, оценить и порадоваться духовным, волевым и психологическим изменениям, которые принесла служба? Характер, личность человека проявляются в делах, поступках. Всю жизнь будут благодарить армию за эти новые моральные качества не только сами бывшие солдаты, но и те, кто их окружает, кто будет с ними рядом трудиться. Даже мать с отцом не раз скажут спасибо армии за воспитание своего сына. Вы, наверное, не раз слышали, как родители, утратившие власть над своим разболтанным чадом, уповали: «Погоди, призовут в армию, там с тебя всю шелуху счистят, там из тебя сделают человека!»

И действительно сделают. Воспитательная работа в армии ведется хорошо подготовленными офицерами на базе научной педагогики, подкрепленной надежной системой политического воспитания.

«Каждый солдат носит маршальский жезл в своем ранце». Я много думал об этой поговорке. Даже написал роман, который так и называется — «Маршальский жезл». Смысл моего романа не ограничивается тем, что каждый солдат может стать маршалом. Если в капиталистических армиях — это лишь громкая фраза, то у нас действительно все маршалы выросли из простых людей, бывших когда-то солдатами. Но в на-

ши дни я вижу в этой поговорке нечто большее. Советский солдат за годы службы приобретает широкий политический кругозор, он знает, что стоит на страже не только своей страны, но и мирового прогресса, что его мастерство, боевая готовность сдерживают агрессоров от авантюр. Наш солдат мыслит государственными категориями. Конечно, маршал по долгу службы знает еще и какие-то большие секреты, но что касается политической подготовки, то она и у маршала и у солдата одна — марксистско-ленинская. И не случайно маршал и солдат называют друг друга — товарищами.

Все мы — генералы, офицеры, рядовые — плоть от плоти своего народа. И в этом единстве Ленин видел главную силу Советской Армии. Вот это ощущение ответственности за судьбу Родины, чувство коллективизма, братства народов, единой семьи, преданности партии — одно из главных качеств, которое приобретает солдат во время срочной службы. Конечно же, оно ему нужно не только на войне, но и в мирном труде. И, ощущая в себе эту моральную силу, солдат снимет через два года военную форму и скажет, может быть, не перед кинокамерой и не корреспонденту газеты, а сам себе:

— Как хорошо, что я прошел такую замечательную школу, как много она мне дала, как я благодарен своим воспитателям!

Каковы они, эти сегодняшние командиры-воспитатели? Они ведь тоже не сразу становятся опытными офицерами.

День был теплый и светлый. Полк строился в парадной форме. Солнечным блеском сияли погоны офицеров, блестели начищенные сапоги. На оружии солдат небо отражалось голубоватым стальным холодком. Ордена, медали, знаки солдатской доблести цветистой россыпью сверкали по всему строю.

Сегодня вставали в строй молодые офицеры, прибывшие из военных училищ. Прослужил я в Советской Армии немало — сам командовал полками, встречал, помогал «встать на ноги» многим молодым командирам. Однако такого, что сегодня вершилось в полку, в годы моей службы не было. На первый взгляд, ничего особенного: построился полк, встали в строй вновь прибывшие офицеры — и вроде бы все мероприятие. И прежде такое бывало. Такое, да не совсем. Я вовсе не хочу умалить работу командиров моего поколения —

были и беседы, и советы, и отеческая помощь и поддержка, все это было, но вот такой, я бы сказал, глубокой продуманности, тончайшего психологического анализа у нас при подобных мероприятиях не было.

Итак, полк строился в парадной форме специально по случаю прибытия и вступления в строй молодых офицеров. Только по этому поводу. Весь личный состав тщательно готовился к построению: начищал обувь, наглаживал мундиры — все ждали, хотели увидеть, узнать, какие они, эти прибывшие выпускники-лейтенанты?

И вот они стоят перед строем полка — их двадцать, они пока еще каждый в форме своего училища — коммандиры мотострелковых подразделений с красными петлицами на мундирах и околышами на фуражках; танкисты, артиллеристы, связисты — с черными. Все они похожи, как родные братья, и не только форма делает их похожими — они стройные, подтянутые, гибкие и, видно, очень сильные и ловкие. Очень ладные и красивые эти молодые, полные сил офицеры — и я бы еще сказал, — щеголеватые — уж так все на них подогнано, начищено, отутюжено. Ведь здесь, перед всем полком, будешь представлять не только себя, но и дорогое сердцу училище, которое совсем недавно оставил. Всю жизнь каждый из них с гордостью будет называть свое, родное, незабываемое: я из Новосибирского, я из Ленинградского, я из Московского, я из Полтавского, я из Орджоникидзевского...

Командир полка подал команду — и от штаба к строю поплыло Боевое знамя в сопровождении могучего марша. Музыка сразу заполнила весь двор и вскинулась вверх к голубому небу и солнцу, которое, казалось, само извлекало музыку из сияющих золотом труб.

Боевое знамя трепетало и радостно приветствовало и полк, и стоящую напротив него шеренгу молодых офицеров.

Недолго несли Знамя перед строем полка, но за эти минуты мне вспомнились и моя командирская молодость, и товарищи по оружию, и бои Великой Отечественной войны.

Правильно, очень правильно сделали сегодня, вынося Боевое знамя именно по случаю прибытия в полк молодых офицеров. Я уверен, это им запомнится на всю жизнь. Ведь такое не забывается! Много раз офицеры будут видеть вынос Знамени по разным поводам,

недалек год, когда сами, уже командуя полками, будут приказывать: «Полк, под Знамя, смирно!» Но вот такой вынос — именно в честь их прибытия и вступления в строй — бывает только один раз... У меня такого в жизни не было, и я искренне сожалею об этом.

Нас, курсантов, учившихся в 1939—1941 годах, выпустили в мае 1941 года, за месяц до вероломного нападения фашистов. Этот месяц каждому из нас полагался как отпуск. И мы его отгуляли, как говорится, с шиком: ладные гимнастерочки, подворотнички белее снега, рубиновые кубари на петлицах, два тонких золотых угла на рукавах, разделенных неширокой малиновой полоской под цвет петлиц. Новые ремни и хромовые сапоги похрустывали так обворожительно, что у девушек замирало сердце. Отцы, матери, родные и близкие не могли налюбоваться нами. Никто не предполагал тогда, как мало дней отделяло нас от грандиозной беды.

Нет, нас не встречали в полках, мы вступали в бой, прибежав в часть из горящих эшелонов, бросали свои чемоданчики где попало и хватали оружие. Многие полегли, защищая родную землю, в первых же боях. Это были великолепные ребята, очень похожие на сегодняшних молодых лейтенантов — стройные, гибкие, ладные и сильные. Они так же любили Родину. Они кидались в штыковые атаки, встречали танки связками гранат. Виктор Сабуров, Василий Пирятинский, Семен Солопенко, Леонид Смирнов, Петр Робин...

Рванув новенькую гимнастерку на груди, повел бойцов «в последний и решительный», когда кончились боеприпасы, Петр Цирульников. Какой это был прекрасный парень — спокойный, сильный, добрый и, я бы сказал, нежный в дружбе. Я и сейчас вижу его прекрасное русское лицо с крепкими скулами, русые волосы, спокойные голубые глаза. Таких, как он, было в нашей роте ровно сто, и почти все получили назначение в части на западной границе. За тридцать лет после войны я встретил не больше десяти однокашников. Вот так мы вступали в строй.

Сегодня, глядя на Боевое знамя, каждый из вновь прибывших принимал на себя почетный долг продолжать и умножать славные дела, которые свершились под этим воинским стягом. А сделано было немало. Об этом узнали молодые офицеры в беседе с командиром дивизии. Много славных дел, защищая Родину, совершили воины этого соединения. Наверное, будет

ко времени вспомнить добрым словом тех, кто стоял одним из первых под знаменем этой дивизии. Конечно же, о них, о победах, одержанных ими, о подвигах бойцов и командиров можно написать большую книгу; я приведу лишь короткий послужной список дивизии, который составил ее основатель и командир, герой гражданской войны Г. Гай:

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

- | | |
|--|--|
| 1. Имя | — Двадцать четвертая. |
| 2. Отчество | — Симбирская. |
| 3. Фамилия | — Железная. |
| 4. Специальность | — стрелковая. |
| 5. Год пождения | — 1918. |
| 6. Кем рождена | — Октябрьской революцией. |
| 7. Место рождения | — на реке Волге, под Симбирском. |
| 8. Происхождение | — из рабочих и крестьян Симбирской и Самарской губерний. |
| 9. Образование | — окончила университет гражданской войны. |
| 10. Подданство | — штаб мировой революции — III Коммунистический Интернационал. |
| 11. Место прописки | — Союз Советских Социалистических республик. |
| 12. Какие имеет награды | — 10 Почетных Красных знамен ВЦИК, до 20 знамен от Симбирского и Самарского губисполкомов; более 1000 орденов Красного Знамени от РВСР. |
| 13. За что | — за участие в освобождении Повольжья, Симбирской, Самарской, Оренбургской губерний и освобождение более 100 городов от врагов Советской власти. |
| 14. Чем занимается в настоящее время | — охраной границ СССР и обучением молодых бойцов. |
| 15. Кто может подтвердить правильность вышеизложенных сведений | — пролетариат Симбирска, Самары, Оренбурга и царские генералы Колчак, Дутов, Деникин. |
-

В годы Великой Отечественной войны в июне сорок первого она сражалась за Минск. И было здесь немало молодых лейтенантов, только что прибывших из училищ. Вот что сообщалось в те дни в «Правде»:

«Окруженные части дрались хладнокровно и умело, наносили врагу серьезные потери и часто сами окружали фашистов в их тылу. Именно так действовало соединение, которым командовал генерал-майор Галицкий».

Сталинград, Донбасс, Днепр, Карпаты, освобождение столицы Чехословакии — Праги — таков боевой путь Железной дивизии за годы войны. Ордена Красного Знамени, Суворова II и III степени, Богдана Хмельницкого украшают ее Боевое знамя. Славные подвиги бойцов и офицеров венчают эти награды.

Вот такую эстафету принимал сегодня каждый молодой лейтенант, выходя к Знамени, вставая на одно колено, снимая головной убор, целуя алый шелк, пронесенный могучими руками предшественников через все бои.

Какие слова, какую клятву мысленно произносили в эти минуты молодые офицеры? Нет текста этой клятвы, она не написана, она рождается в горячем сердце каждого из них. Наверное, слова ее разные, но смысл у всех, несомненно, один: пылкая любовь к Родине и желание отдать ей все свои силы, всего себя без остатка.

Ритуал между тем продолжался. Командир полка прочитал приказ о назначении молодых офицеров на должности. Они здесь же идут к своим командирам батальонов и представляются по случаю назначения. От комбата — к ротному. И вот выводится из строя и предстает в двухшереножном строю взвод, которым отныне будет командовать лейтенант. Он знакомится с врученным ему списком, медленно идет вдоль строя и в первый раз смотрит в глаза своим подчиненным. А они смотрят ему в глаза. Эти встречные взоры открытые и доброжелательные. Лейтенант видит в глазах солдат не только готовность выполнять его приказы, но и понимание его положения, и простое человеческое: «Не робей, лейтенант, мы тебя не подведем». И, обнаружив эту извечную доброту русского воина, его уважение к командиру, молодой лейтенант ощущает прилив уверенности, и именно с этой минуты в сердце его зарождается теплая командирская любовь к солдатам. Эта взаимная любовь — огромная сила, о ней не говорится в уставах и приказах, но она была, есть и всегда будет в нашей Советской Армии, потому что все мы — и командиры, и подчиненные — сыны одного народа, вершим одно общее дело, и нет между нами никаких разделяющих барьеров. А необходимость

соблюдать дисциплину, сознательное подчинение воле и решениям командиров — именно эта сознательность делает наши ряды монолитными и непобедимыми.

Познакомившись с подчиненными, лейтенанты рассказывают им о себе. Просты и коротки еще их биографии, во многом похожи: десятилетка, высшее военное училище, одни науки изучали, разве только видами спорта отличаются: один — перворазрядник по гимнастике, другой — по бегу, третий — кандидат в мастера по лыжам. Много знаний получили они в училищах, каждый из них не только офицер, но и инженер. Не успела их пока испытать на прочность жизнь, ну что ж, это не недостаток, это всего лишь незаполненные графы тоненького личного дела. Появятся в них со временем и награды, и звания, и победы, лучше бы, конечно, на мирных полях, на учениях, в соревнованиях за первенство по боевой подготовке. Но случись беда, несомненно, каждый из этих молодых людей, так же как и мы когда-то, быстро «обстреляется» и мудрость фронтовую приобретет. Причем все это у них произойдет быстрее, чем у нас, потому что они отлично подготовлены именно к современному быстротечному бою.

Такую способность некоторые из них продемонстрировали при первой же возникшей острой ситуации. Вот хотя бы выпускник Рязанского училища Рамазан Арзыкули-оглы Рамазанов. В 1972 году, всем нам памятным дымными пожарами, Рамазан был еще курсантом. Училище приняло участие в борьбе со стихией. Спасая лес, курсанты самоотверженно боролись с огнем. Коварное пламя затаилось под землей в толстой прослойке торфа, и, когда воины углубились в лес, огонь вдруг выплеснулся из-под земли и стал пожирать дома поселка. Это было настолько неожиданно, что жители выбегали из домов, объятых пламенем. Выбегали не все, кое-кому пламя преградило путь. В ту жаркую сушь дома вспыхивали мгновенно, сгорали за несколько минут. В деревне оказалось несколько курсантов, среди них был и Рамазанов. Около одного из домов ломала руки и кричала обгоревшая женщина — в пылающем доме осталась ее дочь. Мать кидалась в огонь, но ее не пускали, кровля уже начинала рушиться. Объятые огнем стропила с треском и скрежетом падали внутрь дома.

— Облейте меня водой! — крикнул Рамазанов.

На него плеснули из ведер, и он тут же кинулся в огонь. Нечем было дышать, казалось, огонь ворвался в легкие, одежда мгновенно высохла и загорелась. Но Рамазанов продолжал искать девочку. Он нашел ее под столом. Она была без сознания. Он схватил ребенка и, уже не помня себя, пылающий, как факел, выбежал из пламени. Дом рухнул за его спиной. Рамазанов этого уже не видел. Он пролежал в госпитале три месяца. Президиум Верховного Совета СССР наградил его медалью «За отвагу на пожаре». На обороте этой медали отчеканен боец, выносящий ребенка из пламени. Вот так проявляется характер у молодых офицеров в первой же критической ситуации.

Солдаты с любопытством смотрят на медаль на груди командира. Им хочется узнать, за что он получил эту награду. Конечно же, он расскажет как-нибудь вечером в час досуга. А сейчас бойцы уже гордятся им: «Вот какой к нам командир пришел, с правительственной наградой! Орел!»

В первый же день показали свои характеры и еще несколько лейтенантов. Для того чтобы иметь представление о человеке, не обязательно видеть его в критической ситуации: повседневная работа, жизнь, быт наш также дают возможность разглядеть хорошие или плохие качества в людях.

Вот лейтенант Ильин Владимир Николаевич. Он приехал вечерним поездом и, не дожидаясь утра, поспешил в полк. Это уже говорит за себя. В штабе его принял командир полка, побеседовал, сказал, что Ильин будет командовать взводом, что для личного устройства лейтенант располагает двумя днями, рота сегодня ночью уходит на стрельбы. И вдруг Ильин попросил:

— Разрешите мне убыть на стрельбы.

— Вы не успеете: батарея в пять ноль-ноль уже будет на огневых позициях.

— Успею, товарищ подполковник!

— И с жильем вы еще не устроены и, наверное, не ужинали с дороги.

— Все будет в порядке! — уверял Ильин.

Командир разрешил. На рассвете лейтенант Ильин уже командовал взводом и сам выполнил упражнение.

В день, когда полк принимал в свои ряды молодых офицеров, Ильин фактически уже вступил в его строй, и солдаты, уже зная его, сообщали соседям:

— Силен наш лейтенант, с ходу показал, па что способен!

Очень любопытно и своеобразно заявил о себе и выпускник Омского училища лейтенант Кучерявый Виктор Иванович, сын рабочего, служившего срочную службу в Группе советских войск в Германии. Во время беседы с молодыми офицерами командир полка, распределяя должности, сказал об очень ответственной службе в разведке и спросил:

— Может быть, кто-то хочет добровольно пойти в разведподразделение? Это дело непростое, требует любви, увлеченности...

Молодые офицеры задумались. Мне очень понравилась эта пауза, эти размышления — они свидетельствовали о серьезности лейтенантов. Я вспомнил, как с такой же серьезностью относились фронтовики к предложению идти служить в войсковую разведку. Лейтенанты понимают, что разведка — служба особая, требующая и каких-то иных качеств от человека. И вот, не зная, есть ли у них такие качества, опасаясь прежде всего подвести своих сослуживцев, молодые офицеры задумались.

Я уверен, пауза, наступившая в кабинете командира, означала именно такие размышления и характеризовала лейтенантов как людей вдумчивых, с большой ответственностью относящихся к служебному долгу.

И вот поднялся Виктор Кучерявый:

— Прошу назначить меня в разведроту.

— Почему сделали этот выбор? — поинтересовался командир полка.

— Сейчас я это решил окончательно, а думаю об этом уже не первый год. В училище у нас был преподаватель тактики майор Вшивцев Юрий Иванович, он сам служил в разведподразделениях, много и всегда очень тепло и увлеченно рассказывал о разведчиках. Читал я немало и специальной литературы. Полюбил это дело, поэтому и решил.

Вот так и в мирные дни делается этот «шаг вперед перед строем». И это уже поступок, и его положительность определить нетрудно.

После вступления в должность молодых офицеров полк прошел торжественным маршем. И теперь молодые лейтенанты уже в общем строю, как его родная кровь и плоть, шагали со всеми вместе. Они чеканили великолепнейший строевой шаг, и сердца их стучали

в такт музыке громко и ритмично. Отныне и на многие годы идти им в этом прекрасном мощном строю!

Однако введение в строй молодых офицеров не заканчивалось торжественным маршем. Проводив Знамя, лейтенанты отправились принимать технику и вооружение.

Хочется сказать и о «неофициальной», но очень важной части вступления в строй молодых офицеров. И тут опять приходят воспоминания. Как мы сами устраивали быт после выпуска из училища, как принимали молодых в послевоенной разрухе, уже сами командую полками. Селились молодые на частных квартирах, снимали «углы» у старушек, а то и у молодых, очень разбитных дамочек. И нередко бывало, что быт губил неопытных офицеров, засасывал то в пьянки, то в скверный круговорот случайных знакомств. Было такое, к сожалению, и потери от этого мы несли даже в мирные дни. Все мы об этом знаем и с радостью говорим сегодня, как о пройденном этапе.

Когда-то я, будучи командиром полка, с большим трудом организовал общежитие для молодых офицеров, выделив для этого трехквартирный домик. Тогда считалось это большим достижением, принесло мне много радости, я наконец мог встречаться с офицерами, беседовать, более активно влиять на становление их характеров.

Теперь в офицерском городке высится четырехэтажное здание. Построено оно в современном архитектурном стиле по специальному индивидуальному проекту. Это не гостиница и не многоквартирный дом, это удобное жилье для молодых офицеров, в котором есть небольшие комнаты со всеми удобствами и кухоньки на несколько семей, и комнаты для бытовых нужд, и залы для отдыха. Уютное жилье дает возможность отдохнуть, подготовиться к занятиям, повеселиться. Молодые лейтенанты, к которым я заходил в комнаты, с радостью говорили:

— Мы не ожидали, что нас разместят с таким комфортом!

...Полк приступил к занятиям по распорядку дня, подразделения разошлись по учебным классам, спортивным городкам, на стрельбище, в автопарки. Теперь уже все офицеры делали одно большое общее дело. Но праздничное начало офицерской биографии останется навсегда в сердцах молодых лейтенантов.

Прежде чем поставить сегодня точку, мне хочется подвести пусть не исчерпывающий, но все же итог сказанному в этой книге.

Идет по улице рота. В такт шагам звучит походная песня. Мальчишки бегут рядом со строем, блестят озорными глазами, восхищенно смотрят на солдат и командиров.

Обычная сценка, но сколько воспоминаний всколыхнула она в моей душе! Когда-то и я так же вприпрыжку бегал за строем.

Теперь я знаю, что такое военный строй и какой глубокий смысл таит в себе строевая песня. Она согревает в мороз, бодрит в жару, при усталости прибавляет сил и во всех случаях объединяет людей в монолитный коллектив. Как упоение полетом ведомо только летчикам, а радость возвращения из долгого плавания — морякам, так и чувство сплоченности понятно только тому, кто сам шагал в строю, где все едино: ритм, движение ног, дыхание и даже биение сердца! А в строю ходят все: мотострелки и летчики, танкисты и ракетчики, моряки и артиллеристы... Отшагал и я двадцать пять календарных лет. Но и теперь волнует воинский строй, и теперь я с завистью гляжу на молодых солдат, думаю: все у них впереди, их ждут увлекательные дела. Какие? Этого пока никто не знает. Но предположить можно. Вспомним молодые годы моего поколения. Ни я, ни солдаты тех лет даже не предполагали, какие великие испытания выпадут на нашу долю.

Итак, 1934-й. Почему именно этот год? Потому, что я хочу связать свой рассказ со званием Героя Советского Союза, которое было введено в том году. Мне было тогда двенадцать лет. Чтобы разговор был более конкретным, возьмем на заметку несколько человек из тех далеких дней. Ну вот хотя бы молоденького военного в строю, его звали Сашей, и мальчишек — четырнадцатилетнего Ивана, десятилетнего Васю. Не забудем и одного новорожденного, который тогда только что появился на свет. Все мы жили в разных концах страны, но все в то далекое время (разумеется, кроме новорожденного) говорили об одном, смотрели одну и ту же кинохронику — о спасении челюскинцев, о присвоении звания Героя Советского Союза первым отважным летчикам: А. Ляпидевскому, С. Леваневскому, М. Сленеву, Н. Каманину, М. Водопьянову, В. Молокову, И. Доронину. Мы видели на экране, как героев

Арктики встречала Москва: открытые автомобили двигались по центральной улице города, их засыпали цветами, листовками, серпантином.

В тридцать четвертом для нас встретиться с одним из первых героев было почти несбыточной мечтой. Ведь я жил в Средней Азии, Саша шагал в строю в Сибири, Иван бегал по пыльному проселку на Украине, Вася — в шахтерском краю — Донбассе, ну а о том, кто в пеленках, и говорить нечего.

Но не напрасно, видно, пели в те дни солдаты: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор...»

Перенесемся в наши дни, посмотрим, как быль затмила сказку. Есть на Суворовском бульваре в Москве, в большом красивом доме, одно заветное окно. Вечером, когда я иду с работы, оно светится электрическим светом, как сотни других, но мне кажется, в окне не обычный, а солнечный свет, сияние того дня, когда я впервые услышал о человеке, который здесь живет. А живет в этой квартире Герой № 1 — Ляпидевский Анатолий Васильевич. Я бывал у него в гостях, рассматривал Золотую Звезду № 1. Разве это не чудо для того мальчишки, который видел первого Героя на экране и фотографиях более сорока лет назад?! Я сказал Анатолию Васильевичу о неожиданностях, которые преподносит жизнь, и о том, что подвиг тоже чаще всего совершается неожиданно. Ляпидевский, вспоминая что-то свое, улыбнулся и согласился.

— Да, и я 13 февраля 1934 года не подозревал об изменениях, которые произойдут в моей жизни. Летел из Владивостока в бухту Провидения, чтобы снять больных с судов «Север», «Анадырь» и «Хабаровск», зазимовавших в тяжелых льдах. Пурга вынудила сделать посадку в заливе Св. Лаврентия на Чукотке. Стали мы ждать погоду на местной культбазе, заведовал ею молодой парень Тихон. Кстати, вот вам пример еще удивительного поворота в жизни. Этого Тихона впоследствии узнала вся страна: он стал писателем Тихоном Семушкиным, написал роман «Алитет уходит в горы». Так вот, 13 февраля пришла телеграмма о том, что в 15 часов 30 минут затонул раздавленный льдами «Челюскин». Мне было приказано начать поиск людей, высадившихся на лед. Ни первый, ни десятый, ни двадцатый вылеты ничего не дали: видимость плохая, торосы, из трещин идет пар,

моржи похожи на людей. От перенапряжения воспалились глаза. И только 5 марта, на тридцатом вылете, я нашел челюскинцев...

Я гляжу на мужественное и в то же время доброе лицо легендарного летчика и думаю о том, что в первых же подвигах наших летчиков отразилось то главное, что стало свойственным для многих последователей на этом пути мужества. Прежде всего, подвиг состоялся ради спасения людей, смелость и отвага не ради удали и славы, а с благородной целью — совершить деяние, нужное соотечественникам, всей стране. Таким образом, общественная значимость, государственный смысл отличают подвиг от простого смелого поступка. Подвиг совершался с риском для жизни, летчики преодолевали невероятные трудности не ради наград (они ведь не знали, что страна назовет их Героями, еще и звания такого не было). Пилотами руководило желание спасти людей, выполнить приказ Родины во что бы то ни стало!

Но одного желания еще мало, надобно умение, недюжинные физические и моральные силы. Первые герои проявили не только отвагу, но и высочайшее мастерство в своей профессиональной подготовке, продемонстрировали твердость воли, упорство, неотступную устремленность к выполнению приказа. Эти особенности подвига и черты людей, его совершающих, были взяты на вооружение для воспитания молодежи.

Мы, в то время юноши и девушки, знали все подробности славных дел первых Героев, а потом и тех, кто вписал новые страницы в героическую летопись подвигов на Хасане, Халхин-Голе, в Испании, в боях на финском фронте. Мы также изучали в школе на уроках истории, читали в книгах, видели в кино мужественные дела советских людей — участников Октябрьской революции, гражданской войны — комиссаров в кожанках, красноармейцев в буденовках, матросов, перехваченных крест-накрест пулеметными лентами. И еще нас воспитывал комсомол, и мы твердо знали свое место в жизни, шли дорогой, указанной Лениным.

Настало время, и мы надели шинели, встали в строй, вот тут-то впервые и поняли силу воинской спайки, чувство локтя и мощь воинского коллектива. Наверное, поэтому, когда грянула война и обстановка потребовала и от нас подвига, мы нашли в себе силы, чтобы его совершить.

Вот сидит рядом со мной тот самый Вася из Донбасса. В 1943 году он был командиром минометного расчета, молоденький, всего девятнадцати лет, но задорный и смелый паренек, за что и избрали его комсомольцы вожаком батальонной организации. При форсировании Днепра в одной из рот перебило всех командиров, командование подразделением взял на себя сержант Василий Данилов. Комсорг умело организовал оборону плацдарма, а потом повел вперед роту, стал теснить врага, обеспечил переправу части.

Родина высоко оценила подвиг сержанта Василия Александровича Данилова, присвоив ему звание Героя Советского Союза. Он прошел через всю войну, совершил еще немало славных дел.

Лет пятнадцать назад служили мы с Василием Александровичем в одном соединении, был он тогда начальником политотдела дивизии, с тех пор и дружим. Не раз думал я, глядя на него: есть в нем все самое лучшее от многих предшественников — и горячая лихость Павки Корчагина, и негибаемая принципиальность большевика-комиссара, и яркая отвага героя Отечественной войны, и высокая образованность современного военачальника. Не случайно вырос батальонный комсорг до генерал-лейтенанта, члена Военного совета, начальника Политического управления Северной группы войск.

Ну а кто же те, другие мальчишки и молоденький военный, о котором я уже упоминал? В строю шагал в тридцать четвертом Саша — ныне трижды Герой Советского Союза, маршал авиации Покрышкин Александр Иванович. Я учился с ним сразу после войны в академии имени М. В. Фрунзе, ходил в одном строю — полковник Покрышкин был у нас знаменосцем.

Четырнадцатилетний Ваня из села Ображеевки Сумской области тоже трижды Герой Советского Союза — Кожедуб Иван Никитович. Он попал на фронт лишь в 1943 году, в нем так много скопилось боевой энергии, что за полтора года, с февраля 1944-го по май 1945-го, он лично сбил 62 вражеских самолета и трижды был удостоен этого высокого звания.

Ну а кто же был в 1934 году тот новорожденный? Нет, я не случайно просил вас запомнить его. В дни рождения звания Героя родился и первый человек, увидевший нашу голубую планету из космоса. Это был Юрий Гагарин, наш советский Колумб Вселенной.

Много славных дел совершили наши соотечественники, представители всех родов войск в славной плеяде героев, — мужчины и женщины, пожилые и юные, сыны всех народов Советского Союза. Подвиги их вершились на поле брани, всех их объединяет одно общее: горячая любовь к Советской Родине.

И сегодня идут в строю солдаты, сержанты и офицеры. Любуются ими и стар и млад. У каждого в строю мужественное, открытое лицо. И любой не только похож на героя, но и готов стать им. И это не громкая фраза.

Вот почему мы, участники Великой Отечественной войны, так внимательно и любовно вглядываемся в лица солдат и сержантов в проходящем строю. Нам нравится каждый из них, и без преувеличения можно сказать, что любой так же близок к подвигу, как и мы были когда-то, только не подозревает об этом, как не догадывались и мы в свое время о том, что и в нас есть нужные силы и качества.

Есть у вас, дорогие друзья, все необходимое. О вас позаботилась Родина. Она дала вам прекрасное образование, вручила самую современную технику и оружие. У вас превосходные наставники — командиры и политработники — люди высокой культуры, мастерски знающие тонкости военного дела. Партия вручает вам эстафету героических дел и побед для того, чтобы вы несли ее дальше, прославляя наше социалистическое Отечество.

ВСЕГДА В СТРОЮ

Прочитал повести Владимира Карпова, и первое, что захотелось воскликнуть, — как быстролетно время! Кажется, совсем недавно я, будучи командующим Первым Прибалтийским фронтом, встречал в разведывательных сводках фамилию старшего лейтенанта Карпова. И вот он, тот же самый, лихой, смелый разведчик, теперь — известный писатель.

Нам всем очень повезло, что Владимир Карпов остался жив, пишет для нас и для нового поколения замечательные книги. Я говорю — повезло, потому что работа разведчика очень опасна, а Карпов много раз ходил за «языками» и на передний край, и в тыл врага. И сам Карпов написал очень хороший роман «Взять живым!», в котором он без прикрас показал суровую, опасную и труднейшую службу войсковой разведки. Я считаю эту книгу одной из лучших книг о жизни и боевой деятельности самого трудного полкового звена — воинов переднего края, а также разведчиков, чья деятельность проходила в расположении врага. Достоверность, знание всех тончайших деталей боевой окопной жизни — одно из достоинств романа «Взять живым!». И основано это на том, что почти во всех описанных заданиях принимал участие сам автор. Владимир Карпов сражался не только на фронте, которым я командовал, он вел активные боевые действия и на соседнем, 3-м Белорусском, и, как мне известно, пользовался уважением командующего фронтом Ивана Даниловича Черняховского.

Да, летит время, и в этом движении, в наших трудах, в наших достижениях послевоенных лет занимает большое место и труд советских писателей. Не скрою, мне очень приятно встречать на обложках книг, в журналах, на экране телевизора боевого друга суровых дней Великой Отечественной войны Владимира Карпова.

Многие фронтовики после боев пошли учиться, стали инженерами, учеными, работниками искусства, прославились трудовыми делами на заводах и колхозных полях. Например, командир 629-го полка, в котором служил Владимир Карпов, сначала майор, а в конце войны полковник Алексей Кирил-

лович Картунов, стал руководителем строительства крупных нефтеразработок, а позднее много лет был министром газовой промышленности СССР.

У Владимира Карпова жизнь и работа шли по двум направлениям. Как два рельса магистрального железнодорожного пути, они вели его к одной желанной цели. Он сочетал военную службу и литературное творчество. Конечно, это, видимо, было нелегко: и то, и другое требуют не только много времени, но и полной отдачи всего себя. Большая любовь к делу, талант, высокая трудоспособность помогали офицеру Карпову преодолевать все трудности. Он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, а затем Высшие академические курсы Генерального штаба и был назначен на работу в Генеральный штаб. Очень высокая это честь для военного, и, как видим, Владимир Васильевич был удостоен этой чести как признанный мастер ратного дела.

Продолжая все эти годы писать, Владимир Карпов ощущал недостаток специального литературного образования, как он мне говорил, чувствовал, что «кустарничает», не зная теории и специфики литературного труда. Поэтому решил поступить на вечернее отделение Литературного института имени А. М. Горького на отделение прозы. Шесть лет напряженного труда! Очень нелегко было офицеру Генерального штаба сочетать учебу с работой, бессонные ночи за книгами и очень ответственные командировки. И еще надо было и очень хотелось писать. Творческими руководителями Владимира Карпова в институте были К. Паустовский и А. Чаковский.

Сразу же после защиты диплома в 1954 году подполковник Карпов подал рапорт с просьбой направить его в войска. Карпову очень хотелось писать не только о войне, но и о сложной, интересной жизни армии в мирные дни.

В Министерстве обороны поняли стремление писателя, и Карпов был направлен в жаркие края Туркестанского военного округа, где он служил в течение нескольких лет на командных должностях, всматривался в повседневную армейскую жизнь, накапливал материал, который ложился в основу его литературных произведений.

Я не случайно так подробно останавливаюсь на описании жизненного пути Владимира Карпова, этот путь объясняет истоки и содержание повестей, помещенных в книгу.

Литературные произведения Владимира Карпова достаточно высоко оценены критикой. Мне же хочется отметить большую воспитательную силу его повестей. Написанные о том, как происходит становление характера и формирование

личности в армейских условиях, эти повести интересны не только как литературный материал, они еще и поучительны в самом деловом, служебном отношении, потому что основаны на личном опыте автора. А опыт у него большой, глаз зоркий, ум проницательный, склонный и к анализу, и к обобщениям. Командовать писателю больше пяти лет полком — это не одно и то же, что съездить в творческую командировку в воинскую часть! Сходить много раз в тыл врага со специальным заданием и писать об этом, опираясь на собственные наблюдения и переживания,— это, конечно же, более весомо, чем писать по расспросам или по рассказам других, выполнявших такие задания.

Я не хочу этим сказать, что писатель обязательно должен пережить, пройти через то, о чем он пишет. Силой воображения и таланта литератор способен проникать и в человеческие сердца, и в космические дали. Говоря же о творчестве Карпова, я лишь подчеркиваю то, что усиливает достоверность его произведений, порождает к нему доверие как к автору, укрепляет веру в то, что он утверждает как писатель: любовь к Родине, к Советской Армии, преданность коммунистическим идеалам.

В повести «Не мечом единым» Владимир Карпов ставит важную проблему воспитания молодежи в армейских условиях, той части, которая попадает под влияние буржуазной пропаганды, приходит в армию, надевает военную форму, становится солдатом. Но это лишь внешне! Писатель как раз заостряет внимание на том, что советским солдатом надо стать еще по убеждениям, что это случается не просто, не вдруг, а чаще с помощью командиров, воинского коллектива. Происходит это не всегда безболезненно, порой сопряжено с внутренней психологической борьбой.

Наша армия сегодня вооружена самым современным оружием, но сила ее не только в ракетах, атомоходах и самолетах новейших конструкций. Сила ее еще и в том, о чем постоянно заботится наша партия и о чем так умело и доходчиво пишет в своих произведениях писатель Карпов,— в идейной прочности, безграничной вере в ленинские, коммунистические идеалы, в преданности Родине и народу — это всегда сильнее любого другого оружия и помогает нам одерживать победы над самыми сильными и коварными врагами.

Это оружие не стареет. Поэтому, я думаю, и произведениям Владимира Карпова предстоит долгая жизнь. А самому Владимиру Васильевичу как моему соратнику по оружию в годы войны и доброму другу в дни мирные я желаю

дальнейших успехов на литературном и военном поприще. На военном потому, что такой писатель, как он, не уходит в запас, он всегда в строю, всегда с воинами и офицерами, которые любят его и считают своим бессменным сослуживцем.

21 января 1981 г.

Маршал Советского Союза Баграмян И. Х.

СОДЕРЖАНИЕ

О работе и жизни. <i>Предисловие автора</i>	5
Взять живым! <i>Роман</i>	23
Последнее задание. <i>Повесть</i>	503
Рассказы	
Утро победы	544
Пропавший без вести	558
После победы	568
О войне после войны	587
<i>И. Баграмян. Всегда в строю</i>	778

Карпов В. В.

К26 Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Взять живым!: Роман; Последнее задание: Повесть; Рассказы; О войне после войны / Послесл. И. Баграмяна.— М.: Худож. лит., 1990.—782 с.

ISBN 5-280-01058-8 (Т.1)

В первый том вошли роман «Взять живым!» — одна из лучших книг о жизни и боевой деятельности воинов-разведчиков, повесть «Последнее задание», рассказы о Великой Отечественной войне, а также публицистический цикл очерков «О войне после войны».

К $\frac{4702010201-193}{028(01)-90}$ **37-90**

ББК 84Р7

Владимир Васильевич Карпов
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ
ТОМ ПЕРВЫЙ

Редактор Н. НОВИКОВА
Художественный редактор И. САЛЬНИКОВА
Технический редактор В. НЕЧИПОРЕНКО
Корректоры Н. УСОЛЬЦЕВА, А. ОШАНИНА

ИБ № 5757

Сдано в набор 30.08.89. Подписано в печать 13.03.90. Формат 84 × 108 ¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура Тип «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 41,16 + вкл = 41,21. Усл. кр.-отт. 41,26. Уч.-изд. л. 43,60 + вкл = 43,65. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3572. Заказ № 2816. Цена 3 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

